П. И. МЕЛЬНИКОВ
(АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

БИБЛИОТЕКА ОТЕЧЕСТВЕННОЙ КЛАССИКИ

П. И. МЕЛЬНИКОВ (АНДРЕЙ ПЕЧЕРСКИЙ)

Собрание сочинений
в восьми томах

ТОМ 7

БИБЛИОТЕКА «ОГОНЕК»

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРАВДА». МОСКВА. 1976

Составление и общая редакция
М. П. Еремина

НА ГОРАХ



КНИГА ВТОРАЯ

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Не прежде как отъехавши версты полторы от Луповиц, отец Прохор стал разговаривать с Дуней. Обливаясь слезами, рассказала она все, что случилось с нею минувшей ночью. Все рассказала, ничего не потаила от спасшего ее от гибели. Молча и внимательно слушал отец Прохор исповедь Дуни. Когда ж она все рассказала, спросил у нее:

— Зачем же вы, Авдотья Марковна, ежели решились оставить ересь и самый дом, где были совращены, зачем, говорю, пошли вы ночью на их сборище и даже в особую комнату для свидания со злейшим еретиком Денисовым? Ведь я вас предупреждал об нем... Еще слава богу, что так обошлось, а то ведь непременно сделались бы его жертвой. Немало бывало примеров. Лишились бы и чести и доброго имени, если бы не молитвы за вас святого отца нашего Амвросия епископа Медиоланского. Так я смотрю на дело вашего спасения и глубоко верую, что совершилось оно не иначе, как по ходатайству пред богом сего святителя. Примите же совет мой, примите стариковскую просьбу: ежели бы вы находились в ограде истинной церкви, я бы, при ваших достатках, посоветовал вам устроить хоть придел в честь и славу сохранившего вас от гибели святителя, но как вы принадлежите к тем, что разнятся с нами в обрядах и своих церквей не имеют, так устройте хоть икону святителя Амвросия и всю жизнь свою утром и вечером молитесь перед нею теплою молитвой благодарения. Святитель Амвросий Медиоланский чествуется у ваших,

равно как и у нас,— память его совершается в седьмое число декабря, на другой, значит, день зимнего Николая. Последуйте же моему совету, и святый отец не умалит дивных своих к вам милостей. Скажите мне, исполните ли искренний и душевный совет мой?

— Исполню, отец Прохор, непременно исполню,— с горячим порывом ответила Дуня.

— А ежели по молитвам отца нашего Амвросия, имеющего дерзновение обращаться с ходатайством к отцу небесному, когда-нибудь, рано ли, поздно ли, войдете вы в ограду святой церкви, на что имею полную надежду, соорудите тогда хоть придел во имя его, а ежели достанет средств, то и новый храм.

Не ответила Дуня отцу Прохору.

— А ежели, по божию благословению, вступите в жизнь супружескую,— продолжал он,— то первому сыну нареките имя Амвросий. Пускай и на старости ваших лет непрестанно напоминает он вам преславное имя избавившего вас от гибели святителя.

Дуня опять промолчала... Больше версты они проехали молча. Наконец, отец Прохор спросил:

— Скажите мне теперь по чистой совести самую сущую правду, что побудило вас, открыто заявивши фармазонам, что вы душевно и телесно чуждаетесь их, что побудило вас прийти на сходбище оных богопротивников и даже идти на свиданье с Денисовым?

Дуня рассказала, как Луповицкие ее уговорили и как она до последней минуты не предвидела со стороны Денисова ни обмана, ни злого умысла.

— Злодеи, злодеи! — вскрикнул отец Прохор.— Доколе терпит их господь!

И, немного погодя, сказал:

— Я отвезу вас в губернию [1]. Там будет вам безопасно — еретики там ничего не посмеют сделать. Привезу я вас в хороший купеческий дом. Семейство Сивковых есть, люди благочестивые и сердобольные, с радостью приютят вас у себя. Только уж вы, пожалуйста, ни про наших господ, ни про Денисова, ни про их богохульную веру ничего им не рассказывайте. Ежели донесется об этом до Луповиц, пострадать могу. Так уж вы, пожалуйста, богом прошу вас, Авдотья Марковна.

---

[1] Губернский город.

— Будьте уверены, слова никому не вымолвлю,— отвечала Дуня.— И разве можно говорить мне, ежель это повредит вам. Ведь вы мой избавитель, я ведь без вас непременно бы пропала. А как бы после того показалась я на глаза тятеньке?

— Так уж, пожалуйста. Я вполне надеюсь,— сказал отец Прохор.— А у Сивковых как будет вам угодно — к батюшке ли напишите, чтобы кто-нибудь приезжал за вами, или одни поезжайте. Сивковы дадут старушку проводить — сродница ихняя живет у них в доме, добрая, угодливая, Акулиной Егоровной зовут. Дорожное дело знакомо ей — всю, почитай, Россию не раз изъездила из конца в конец по богомольям. У Сивковых и к дороге сготовитесь, надо ведь вам белья, платья купить. Деньги-то есть ли у вас на покупку и на дорогу?

— Денег у меня довольно, на все достанет,— отвечала Дуня.

— Ну вот и хорошо, вот и прекрасно,— проговорил отец Прохор.— А если бы паче чаяния нуждались в деньгах, можно бы было у Сивковых достать, он ведь каждый год к Макарью ездит и порядочное число соленой рыбы закупает. Надо полагать, что и родителя вашего знает, может статься, и знакомство с ним водит. Он ни в чем не откажет вам... Вот еще о чем спрошу я вас, Авдотья Марковна,— немного подумавши, продолжал отец Прохор.— Не осталось ли у вас в господском доме каких-нибудь писем или записок о ваших сношеньях с хлыстами?

— Нет, ничего не осталось,— ответила Дуня.

— То-то, этого теперь пуще всего надо опасаться,— молвил отец Прохор.— Нужно вам сказать,— только до времени об этом пока никому не говорите,— не в долгом, надо полагать, времени господам Луповицким будет разгром: наедет суд, обыски начнут у них в доме делать, пойдет следствие. Сохрани боже, если найдется какой-нибудь клочок бумажки, где помянуто ваше имя. Это может и вас к делу припутать. А дело, по-видимому, разгорится очень важное, и для всех хлыстов Луповицких и других самое неприятное по своим последствиям.

— Нет, отец Прохор, никаких моих бумаг в ихнем доме не осталось,— сказала Дуня.— Но что ж это за следствие? Что такое случилось?

— Всего подробно теперь объяснить вам не могу,— отвечал отец Прохор.— Сам многого не знаю. На третий день после Успеньева дня я ездил в губернию, в консистории по одному делу был. Там один верный человек, хорошо знающий дела, сказывал мне, что новый владыка крепко принялся за хлыстов. Из Петербурга, слышь, из самого святейшего синода получил он указ насчет господ Луповицких и о том, что скоро к ним должен приехать самый злейший еретик Денисов... Как он приедет, так их и накроют. А дело о хлыстах началось в Москве, и по взятым у них бумагам открылось, где, в каких, значит, местах теперь они находятся. И повсюду, слышно, розыски пошли до следствия. Не знаю уж, от кого и каким образом узнал владыка, что я в губернии, и велел прийти к нему. И без малого целый час изволил келейно со мной беседовать насчет луповицкой хлыстовщины. Известное дело, перед архипастырем всю правду надлежит рассказывать. Я и рассказал. Тут владыка благословил меня ехать восвояси и примолвил о наших соседях: «Видно, им того же захотелось, что с отцом их было».

— А что такое было с их отцом? — спросила ничего о старых делах не знавшая Дуня.

— Не слыхали разве? — сказал отец Прохор.— Про это не любят они разговаривать. Отец ведь тоже был в этой самой ереси, а как человек был знатный и богатый, то никто к нему и прикоснуться не смел. Сильная рука у него была в Петербурге, при самом царском дворе находились друзья его и благоприятели. А все-таки не избежал достойной участи — в монастырь сослали, там в безысходном заточенье и жизнь скончал.

— А давно ль это было? — с любопытством спросила Дуня.

— Да уж лет тридцать прошло с той поры, как его под стражей из Луповиц увезли. Я был тогда еще внове, только что удостоился принять рукоположение,— отвечал отец Прохор.— Но его хорошо помню — важный такой вид имел, а корабль у него не в пример больше был теперешнего. И в том корабле были все больше из благородных да из нашего брата, из духовенства... А вот мы и приехали,— прибавил отец Прохор, указывая на огоньки и на белевшие в полумраке здания губернского города.

Отец Прохор подъехал к большому каменному дому купца Сивкова. Радушно встретили его и хозяин, только что воротившийся от Макарья, и жена его, и две снохи, и дальняя сродница Акулина Егоровна, та самая, что разъезжала, а иной раз и пешком ходила по богомольям. Отец Прохор рассказал хозяину придуманный дорогой вымысел насчет Дуни.

— Не знаете ли, Поликарп Андреич, Марка Данилыча Смолокурова, рыбой у Макарья торгует? — спросил он Сивкова.

— Как не знать Марка Данилыча! — отвечал Сивков.— На Гребновской он первый воротила. Довольно знаем Марка Данилыча, не раз товар бирали у него, кредитовались, значит.

— Вот это его дочка,— сказал отец Прохор, взявши Дуню за руку.

Хозяйка, обе снохи и Акулина Егоровна стали обнимать и целовать Дуню. Как ни удерживалась Дуня, а от этих искренних ласк незнакомых людей слезы вдруг в три ручья покатились у нее из глаз, а подступавшие рыданья совсем было задушили ее.

— Что с вами? Что с вами? — услуживая Дуне, говорили жена и снохи Сивкова, а старушка Акулина Егоровна со всех ног бросилась за холодной водой и с молитвой напоила Дуню. Той стало немного полегче.

Между тем отец Прохор рассказывал, что Авдотья Марковна с одной пожилой купчихой из ихнего города собралась съездить в Киев на богомолье и далеко еще туда не доехала, как с ней случилось несчастье. Верстах в двадцати пяти от Луповиц остановились богомольцы ночевать на постоялом дворе у крестьянина. И в то время как все уж заснули, на том дворе загорелось. Авдотья Марковна с вечера не раздевалась и в одном платье выбежала из пылавшего дома, а ехавшая с нею купчиха и еще семь ли, восемь ли богомолок сгорели. Все имущество, и кибитка, и ямские лошади — все погорело.

— А я тогда случился в соседнем селе,— прибавил отец Прохор,— дельцо там было одно у меня. Вот и взял я на свое попеченье бесприютную девицу.

— Ах, господи! Ах, горе-то какое! Всякого избави и сохрани господи от такой беды! — воскликнули женщины, осыпая ласками Дуню.

— Это в Перигорове пожар-от был? — спросил Поликарп Андреич.

— Так точно,— отвечал отец Прохор.— А я на ту пору был в селе Слизневе, и версты не будет от Перигорова-то, побежал на пожар, да и нашел Авдотью Марковну.

— И до нас об этом пожаре вести дошли, и про то еще рассказывают, что сколько-то богомольцев тут сгорело,— сказал Сивков.

А дня за три в самом деле был пожар в Перигорове, и несколько человек, бог их знает откуда приехавших, сгорело на постоялом дворе. Отец Прохор этим случаем воспользовался для своего рассказа.

— Как взял я Авдотью Марковну, так и порешил, не заезжая домой, к вам ехать,— продолжал отец Прохор.— На вас рассчитывал, зная, что не покинете бедняжку в трудном ее положении. Опять же и то, что здесь можно ей будет во всем исправиться: белья купить, платья и всего другого, что понадобится. Деньги есть у Авдотьи Марковны, а вот шубейку и платок и черевики у слизневской матушки попадьи на время для нее я взял, было бы в чем до вас доехать. Уж вы сделайте милость, Поликарп Андреич, примите в ней участие. Родитель ее будет вам очень благодарен за неоставление единственной дочери.

— Об этом, отец Прохор, нечего и толковать,— сказал Поликарп Андреич.— Опричь того, что Марку Данилычу я всегда и во всякое время со всякой моей радостью готов услужить, насколько сил и уменья станет, мы бы и по человечеству должны были принять участие в таком несчастье Авдотьи Марковны. Не соскучилась бы только у нас,— прибавил он, обращаясь к Дуне.

— Помилуйте, Поликарп Андреич. Да я к вам точно в рай попала после того, что было со мной,— со слезами благодарности ответила Дуня.

— Полноте, полноте, вы опять за слезы! — воскликнул Сивков.— По-моему, вам бы теперь отдохнуть, успокоиться. Семеновна,— прибавил он, обращаясь к жене,— и вы, сношеньки, подите-ка, мои матушки, успокойте Авдотью Марковну. А завтра поезжайте с ней за покупками. А ежели у вас, Авдотья Марковна, в деньгах может быть недостача, так вы об этом не извольте

беспокоиться — чем могу служить, все для вас и для Марка Данилыча сделаю.

Поликарп Андреич вдвоем остался с отцом Прохором. Долго рассуждали они, как быть с Дуней. Наконец решили так: только что исправит она свои покупки, отправить ее к отцу с Акулиной Егоровной, а меж тем послать письмо к Марку Данилычу и отписать, где теперь она находится и в какой день намерена в дорогу выехать.

На другой день отец Прохор простился и с Сивковыми и с Дуней. Ее прощанье было самое задушевное. Обливаясь слезами, до земли она преклонилась пред своим избавителем, но благословения не приняла — все-таки ведь он никонианин.

На прощанье дала она отцу Прохору сторублевую. Сначала тот не хотел было брать, однако взял. Дуня обещала писать к нему, никогда не забывать его благодеяний и помогать ему в трудной жизни его.

На другой день стали покупать необходимое для Дуни. Она была окружена самым теплым участием и бесконечными ласками Сивковых. А Поликарп Андреич, зная теперь, что она единственная дочь у Смолокурова, говорил наедине своей Семеновне:

— Вот поторопились мы с тобой Василья-то женить! Вот бы невеста ему. При теперешних обстоятельствах дело-то, может быть, сладилось бы. Поторопились, поторопились. Миллионщица ведь.

— Уж чего ты, батька, не наскажешь,— недовольным голосом ответила жена.— Значит, не было на то воли божией. Да кто еще узнал — пошла ли б она за нашего Васильюшку.

— А отчего ж бы и не пойти? — возразил Поликарп Андреич.— Чем парень не вышел? Взял и ростом, и дородством, не обидел его господь и красой и разумом. Отборный жених. А главное то возьми в расчет, что ведь миллионщица! После отца одной ей все достанется.

— Перестань, батька, пустяки городить. Взбредет же такая чепуха в голову,— сказала Семеновна и ушла от мужа в другую комнату.

Покупки были готовы, и Дуня сбиралась в дорогу с Акулиной Егоровной. Поликарп Андреич подрядил извозчика на долгих довезти их до того городка, где жил Марко Данилыч. Решено было ехать на другой же день,

а между тем и Сивков и Дуня письма к Марку Данилычу написали, ни одним словом, однако, не поминая о пожаре в Перигорове. Дуня уведомляла отца, что Марья Ивановна едва ли не до зимы пробудет у своих родных и что знакомый ему Поликарп Андреич Сивков, войдя в се положение, отправляет ее в родительский дом с надежной женщиной, своей сродницей.

* * *

На другой день, после того как отец Прохор воротился домой, Аграфена Петровна к нему приехала. Сказанные им слова, что Дуня «пропала без вести», до того поразили вихоревскую тысячницу, что вся она помертвела и долгое время в себя не могла прийти. Отец Прохор догадался, что она не просто знакомая Смолокуровым, а что-нибудь поближе. Когда пришла в себя Аграфена Петровна и немного поуспокоилась, сказал он:

— Из такой вашей тревоги должен я заключить, что вы не совсем чужая Авдотье Марковне. Может статься, сродницей ей доводитесь?

— Не родная я ей, зато самая близкая,— едва слышным, прерывающимся от рыданий голосом отвечала Аграфена Петровна.— Ах, господи!.. Господи!.. Беда за бедой!.. Горе следом за горем бежит!

— Вы сказали, что у Авдотьи Марковны родитель при смерти лежит,— молвил отец Прохор.

— Да, с ним удар,—ответила Аграфена Петровна.— Без движенья лежит, без языка, а как кажется, в памяти. И вдруг еще это горе! И такое ужасное!

— Смиритесь, сударыня, перед перстом господним,— учительно сказал ей отец Прохор.— Создатель лучше нас знает, что нам на пользу и что во спа́сенье.

— Вы близко ее знали? — спросила Аграфена Петровна.

— Очень близко,— отвечал отец Прохор.— И ежели, бог даст, увидитесь, лихом она меня не помянет. А могу ли я у вас попросить какого-нибудь видимого знака в доказательство, что близки вы с Авдотьей Марковной? — продолжал после короткого молчания отец Прохор.— Извините, не зная вас лично, вполне довериться не могу...

— Дунину руку знаете? — несколько подумавши, спросила Аграфена Петровна.

— Знаю.

— Вот ее письмо ко мне, сличите.

А письмо-то писано было года полтора перед тем. Дуня называла в нем Аграфену Петровну самым дорогим, самым сердечным другом своим и говорила, что, кроме ее, нет у нее никакого близкого.

Кликнул отец Прохор Степанидушку и велел принести Дунино письмо, писанное к попадье из губернского города с благодарностями за привет и ласки. Когда Степанидушка принесла письмо, отец Прохор, внимательно рассмотрев оба, сказал:

— Теперь вижу, что вы близки, и могу много сообщить вам об Авдотье Марковне.

— Где она? Где? Не мучьте, ради бога, меня, скажите скорей! — быстро схватив отца Прохора за руку, с нетерпеньем воскликнула Аграфена Петровна.

— Не беспокойтесь. Она в месте безопасном, теперь ей не может быть никакой неприятности,— сказал отец Прохор.— Поезжайте в наш губернский город, там у купца Сивкова найдете Авдотью Марковну. Марку Данилычу тот купец знаком. Дела у них есть торговые.

— Так я сейчас же поеду,— сказала Аграфена Петровна.

— Отдохните немножко, выедете под утро,— молвил на то отец Прохор.— Дня три либо четыре Авдотье Марковне надо будет с делами управиться. Ведь она в одном платьице из барского дома ушла. Хорошо еще, что деньги-то были при ней.

— Как в одном платье? — с изумлением спросила Аграфена Петровна.— Это как так?

— Ночью она убежала,— сказал отец Прохор.— Грозило ей большое несчастье, беда непоправимая. В окошко выпрыгнула. Не до того было ей, чтоб пожитки сбирать... Да я лучше все по порядку расскажу. Неподалеку от того города, где жительствует родитель Авдотьи Марковны, одна пожилая барышня, генеральская дочь, именье купила. Из семьи здешних господ она — Алымова, Марья Ивановна.

— Знаю я ее, знаю,— торопливо молвила Аграфена Петровна.— С год тому назад сделала она для меня такое благодеяние, что никогда его нельзя забыть. Ма-

ленькую дочку мою от верной смерти спасла — из-под каретных колес ребенка выхватила. Не будь Марьи Ивановны, до смерти бы задавили мою девочку... Всегда богу за нее молюсь и почитаю благодетельницей.

— Вот! Одной рукой людей от телесной смерти спасают, а другой ведут их в вечную смерть, в адскую погибель,— вздохнув и поникнув седой головой, сказал отец Прохор.— Доколе, господи, терпишь ты им?

— Неужели Марья Ивановна? — сказала Аграфена Петровна.— Не могу понять, как это случиться могло.

— А вы там, в своей стороне, не слыхали ль чего про Марью Ивановну? — спросил отец Прохор.

— Бог ее знает,— сказала Аграфена Петровна.— Мало ль какие слухи по народу стали теперь обноситься — всего не переслушаешь. Толкуют, что какой-то особой веры держится она, фармазонской, что ли, какой.

Промолчал отец Прохор. Не пускался он с Аграфеной Петровной в откровенности, боясь, чтобы коим грехом его слова не были перенесены в барский дом. Конечно, Дуня обещалась не оставлять его своей помощью, однако ж лучше держать себя поопасливей — береженого и бог бережет. А дело, что началось насчет хлыстов, еще кто его знает чем кончится.

— Увидитесь, бог даст, с Авдотьей Марковной, пусть она сама расскажет вам про все,— молвил отец Прохор.— А теперь вот что я скажу вам: Марья-то Ивановна, стало быть, знает вас? Знает, стало быть, и то, что вы с Авдотьей Марковной близки?

— Знает, все знает,— сказала Аграфена Петровна.

— Так видите ли — хоть мы и рады гостям во всякое время, а советовал бы я вам и ради Авдотьи Марковны и ради меня, чтобы вы теперь же ночью выехали из Луповиц,— сказал отец Прохор.— Не то увидит вас Марья Ивановна да узнает, что вы у меня остановились, тогда чтобы беды какой не случилось, особливо для меня. А я человек зависимый и хоть уверен, что Авдотьей Марковной оставлен не буду, однако ж надо мной есть начальство. Вздумают здешние господа пожаловаться — рука у них сильная, а я человек маленький, безо всякой защиты. Так вы уж, пожалуйста, не посетуйте, хоть мне и очень совестно, да что ж тут делать?

— Вы хорошо придумали, отец Прохор,— сказала Аграфена Петровна.— Лошадей я наняла в губернском го-

роде, сюда и обратно. Вот немножко покормят их, я тотчас и в путь. Но где ж найду я там Дунюшку?

— В губернском городе, недалеко возле базарной площади, большой каменный дом купца Сивкова стоит, всякий его укажет вам,— отвечал отец Прохор.— Поклонитесь и Авдотье Марковне, и Сивкову Поликарпу Андреичу со всем его благословенным семейством. Люди они хорошие, сердечные — завтра сами увидите.

Заполночь уж было, когда на покормленных немножко лошадях поехала из Луповиц Аграфена Петровна. С любовью и радушием проводили ее и отец Прохор, и матушка попадья, и обе поповны, говоря, что очень соболезнуют, не угостивши как бы следовало приехавшую из такой дали гостью. А когда, проводя ее, воротились в дом и отец Прохор вздумал поправить лампадку, что теплилась перед образами, на полочке киотки увидал сторублевую бумажку! Ясно, что ее оставила Аграфена Петровна. Не ворочать же ее с дороги. Отец Прохор с матушкой решили написать промелькнувшей в доме их гостье благодарное письмо — благо знали, как надписывать письма к Смолокурову. В два дня две сотни прибыли отцу Прохору, не считая десятирублевой, данной Андреем Александрычем. А луповицкий поп в целый год за требы с прихожан не получал таких денег. Да, кроме того, и впереди надежда — Авдотья Марковна со своими миллионами не забудет его, поможет при нужном случае.

Хоть ветер стих немного, но непогодь не переставала. Как из сита сыпал мелкий осенний дождик и громко шумел о кожаную крышку дорожной кибитки, где сидела Аграфена Петровна с глухой Степановной, взятой в попутчицы из смолокуровского дома. Наскоро накормленная тройка чуть тащила по глубокой, по самую ступицу, грязи, больше тащилась шагом, а кругом не видно ни зги. Выехавши из Луповиц и добравшись до соседней деревни, Аграфена Петровна успокоилась, а до того все погони из барского дома боялась. Она думала теперь, что Луповицы место недоброе, а барский дом — вертеп самых злых людей. Отец Прохор не сказал ей, какая опасность угрожала Дуне и от какой беды спасена она, потому Аграфена Петровна и не могла понять, отчего это ее подруга убежала из того дома в одном платье, бросивши пожитки. Чего только не приходило ей

в голову, но, не зная тайн фармазонской веры, не могла она представить себе о беде, грозившей Дуне.

Поздно вечером Аграфена Петровна добралась до «губернии». Сыскать дом Сивкова было нетрудно, каждый его знал. Супротив того дома был широкий одноэтажный деревянный постоялый двор; в нем на пути в Луповицы останавливалась на несколько часов вихоревская тысячница, не подозревая, что напротив постоялого двора была тогда Дуня.

Был уже час одиннадцатый, огней у Сивкова не видно, должно быть все спать полегли. Аграфена Петровна решилась переночевать в той же гостинице, где останавливалась накануне. Однако ж ей не терпелось. Поглядывая из-за своих запотелых и дождем закрапленных окон, она то и дело посматривала на дом Сивкова. Ни единого огонька, но вот растворилась вделанная в широкие ворота узенькая калитка, и лениво вышел из нее дворник, закутанный в дубленый полушубок, с лицом, наглухо обвязанным платком. Вышел он на улицу, снял шапку, трижды перекрестился на церковь, что стояла середь базарной площади, и, широко, во весь рот зевнувши, уселся на приворотной скамейке. Видит это Аграфена Петровна, и вдруг захотелось ей узнать, тут ли Дуня, или уж уехала. Не надеясь на глухую и разоспавшуюся Степановну, быстро накинула она на себя шубейку и, выйдя с постоялого двора торопливым шагом, перебежала улицу по булыжной мостовой, покрытой сплошь черной, как смоль, липкой, невылазной грязью.

— Послушай, голубчик,— сказала она, подойдя к дворнику.— Это дом Сивкова?

— Поликарпа Андреича Сивкова — так точно,— хриплым голосом, сквозь зубы промычал дворник, не вставая со скамьи и поворачиваясь спиной к северу, откуда рвался студеный порывистый ветер.

— Послушай, голубчик, я проезжая, часу нет, как пристала на этом постоялом дворе,— начала Аграфена Петровна.

— Понимаем. Это нам можно понимать,— недовольным голосом промолвил дворник.

— Мне бы надо было знать о девушке, третьего дня никак приехавшей со священником, отцом Прохором,— проговорила Аграфена Петровна.

— Не наше дело,— сказал дворник и махнул рукой: убирайся, мол, подобру-поздорову.

— В окошках не видно свету, надо думать, что спать полегли, а то бы я прямо к Поликарпу Андреичу пошла,— сказала Аграфена Петровна.

Дворник не дал ответа.

— Послушай, голубчик,— сказала Аграфена Петровна, вынимая зелененькую.— Праздники подходят, скоро будет мала пречиста [1]. Возьми на этот праздник.

Дворник взял бумажку и, несмотря на дождь и на крепкий ветер, подошел к уличному фонарю, разглядел подаренье и, спрятав его, подошел к Аграфене Петровне.

— Много вам благодарны остаемся,— сказал он ей. Дай вам господи всякого благополучия и во всем доброго успеха. В чем же вам до меня надобность? С готовностью могу все для вашей чести. Конечно, люди мы, как изволите знать, маленькие, подчиненные, многого сделать не можем; а о чем спросите, ответ дадим с удовольствием.

— Скажи, пожалуйста, приезжая девица у вас еще иль уехала? — спросила Аграфена Петровна.

— Покамест у нас,— отвечал дворник.— А завтра под вечер либо послезавтра утром поедет она, куда ей надобно, с нашей Акулиной Егоровной, сродница хозяину-то будет. Погорела, слышь, ваша-то знакомая в деревне Перигорове на постоялом дворе. Много, сказывают, людей живьем там погорело, и пожитков, и лошадей, и всякого другого добра. Эти дни приезжая-то все искупала себе на дорогу. По всему видится, что она при больших достатках. А впрочем, дело не наше — верно сказать не могу. А гуторят пó дому, в застольных, значит, и у нас на конюшнях. Я ведь, сударыня, у хозяина-то днем конюхом, а ночью на карауле стой. Таков уж распорядок. Хуже крепостных аль дворовых живем, даром что государевыми пишемся. Крепостные да дворовые изленились и стали в тягость барам, а все-таки ихняя жизнь не в пример нашей краснее. Купец ведь совсем тебя вымозжит.

— Скажи, любезный,—перерывая дворника, спросила Аграфена Петровна.— Не в задних ли комнатах приезжая девица? Может, она еще не спит, я бы прошла к ней, коли бы ты провел меня. Я бы за то тебя хорошо поблагодарила. Хочешь пятирублевую?

---

[1] Рождество богородицы, 8-го сентября.

Жалобно дворник вздохнул. Очень хотелось ему получить благостыню, но сделать не мог ничего. Постоял молча, минуты с две раздумывая, нельзя ли как пробраться к приезжей, но ничего не придумал. Сказал он Аграфене Петровне:

— Теперь никак нельзя. Весь дом, пожалуй, перебулгачишь. Нет, уж вы лучше завтра утром пораньше приходите. Хозяева примут вас со всяким удовольствием — будьте в том несомненны. А поутру, как только проснется приезжая, я ей через комнатных девушек доведу, что вы ночью ее спрашивали, а сами пристали на постоялом дворе супротив нас. Может, и сама к вам прибежит. Как только сказать-то ей про вас?

Аграфена Петровна сказала свое имя, и дворник, удовлетворенный трехрублевою благостыней, на своих руках перенес вихоревскую тысячницу через заплывшую грязью улицу.

На другой день только что проснулась Аграфена Петровна и стала было одеваться, чтоб идти к Сивковым, распахнулись двери и вбежала Дуня. С плачем и рыданьями бросилась она в объятия давней любимой подруги, сердечного друга своего Груни. Несколько минут прошло, ни та, ни другая слова не могли промолвить. Только радостный плач раздавался по горенке.

Изумилась Дуня, увидевши, что такая домоседка, как Аграфена Петровна, покинув мужа, детей и хозяйство, приехала к ней в такие дальние, незнакомые места. Ее сердце почуяло что-то недоброе — она еще ничего не знала о смертной болезни Марка Данилыча и засыпала Груню расспросами.

Только что услыхала Дуня о болезни отца, минуты две или три не могла слова сказать. Потом, закрывши лицо руками и громко зарыдав, без чувств упала на не прибранную еще постель Аграфены Петровны. Нескоро пришла в себя, нескоро собралась с силами.

— Тятенька, тятенька! — восклицала она.— Милый ты мой, дорогой, бесценный! И все это без меня, без меня!.. Куда теперь денусь, куда приклоню свою победную голову?

Сколько может, утешает ее Аграфена Петровна, но долго еще лились потоками горячие слезы из глаз безотрадной Дуни. Утишился, наконец, первый приступ страшного горя, перемогла себя Дуня и рассказала обо

всем, что случилось с ней в Луповицах. С ужасом выслушала Аграфена Петровна рассказ ее.

— При чем же тут Марья Ивановна? — спросила, наконец, она, все еще сохраняя благодарную память о спасительнице своего ребенка.— Неужели и она такая?

— Ах, ничего ты не знаешь, моя сердечная... И того не знаешь, что за зверь такой эта Марья Ивановна. Все от нее сталось. Она и в ихнюю веру меня заманила!.. Она и к Денисову заманила!..— вскликнула Дуня, стыдливо закрыв руками разгоревшееся лицо.— Все она, все она... На всю жизнь нанесла мне горя и печали! Ох, если б ты знала, Груня, что за богопротивная вера у этих божьих людей, как они себя называют! Какие они божьи люди?.. Сатаны порожденья.

И, отвыкшая в продолжение долгого времени произносить имя злого духа, Дуня невольно содрогнулась, когда с чистых, девственных уст ее слетело имя отца нечестия и вечной злобы.

— Да что ж это за вера? — спросила Аграфена Петровна.

— Самая богомерзкая,— быстро ответила Дуня.— Это лжеучители, лжепророки и лжехристы, про которых истинный Христос сказал, что явятся они в последние времена мира.

— Фармазонами, слышь, зовут их,— молвила Аграфена Петровна.— По нашим местам за Волгой таких нет, что-то не слышно, и ничего про них я не знаю, а слушая тебя, все-таки не возьму в толк, что это за вера. Знаю одно, что на днях в Фатьянке всех переселенных туда Марьей Ивановной из Симбирской губернии людей забрали и куда-то отвезли. Поэтому больше за тобой я сама и поехала. А то было и к Марье Ивановне и к тебе батюшка Патап Максимыч письма с эстафетой послал, прося, чтобы везли тебя скорее, успеть бы тебе увидать родителя в живых и последнее благословение его получить. А только что пали слухи про фатьянковских, батюшка Патап Максимыч в какие-нибудь полчаса меня в дорогу снарядил. В чем же их вера? Нехорошая, должно быть, ежели за нее людей целыми деревнями забирают.

Дуня рассказала про хлыстовскую веру, не упоминая, конечно, ни про Сен-Мартена, ни про Гион, ни про других мистических писателей. Она знала, что все это

для Аграфены Петровны будет темна вода во облацех небесных. Сказала, однако, Дуня, что Марья Ивановна сблизила ее со своей верой сперва книгами, потом разговорами.

В ужас пришла Аграфена Петровна, услыхавши про радения и пророчения, и больше слушать не захотела дальше, когда Дуня стала было рассказывать ей о схождениях самого господа Саваофа на гору Городину, а потом на гору Араратскую.

— Мерзость пред господом! — громко вскликнула она, перервавши Дуню.— И слушать не хочу, и не говори ты об этом ни мне и никому другому. Подумать страшно, даже в помышлении держать. Великий грех и слушать это безумное вранье.

Облилась Дуня слезами при этих словах давнего, верного друга. Сознавала она правду в речах Груни и не могла ничего возразить. В глубокую думу погрузилась она и через несколько минут, надрываясь от горя, кинулась на постель Аграфены Петровны и, спрятав лицо в подушки, не своим как будто голосом стала отрывисто вскрикивать. Если б эти рыданья, эти сердечные вопли случились в сионской горнице, собор божьих людей возопил бы: «Накатил! накатил!» Хлыстовские душевные движенья оставались еще в Дуне.

Причитала она:

— Тятенька, тятенька! Золотой мой тятенька! До чего дошла твоя любимая дочка!.. Лежишь ты при смерти, а дочка твоя балованая всего натерпелась от злых людей в дальней сторонушке... Зачем ты послушал Марью Ивановну, зачем отпустил меня с ней? Весело было мне и радостно, как поехала с ней, и вот радость и веселье до какой беды дошло. Ох ты, тятенька, тятенька! Чует ли твое сердечушко, что случилось с любимою дочкой твоей? Живучи при тебе, золотой мой тятенька, никем не была я обижена, никем-то не была я огрублена, жила за тобой, как за стеной каменной, не посмел ветерок дохнуть на лицо мое белое, ниоткуда не чаяла я невзгодушки, а теперь вот до чего дошла!.. Хоть бы раз еще на тебя хоть глазком посмотреть!.. Принять бы у твоего смертного одра последнее родительское благословение!.. Знаю я, знаю, красно мое солнышко, в какой путь ты сбираешься, куда идти снаряжаешься!.. Сама знаю, сама ведаю, по какой дорожке идти ты отправ-

ляешься — на заветное наше кладбище, ко своим милым родителям! Оставляешь меня, сироту бедную, покидаешь бессчастную... На кого покидаешь ты победную мою головушку? Оставляешь свою доченьку горькой сиротой, безутешною... Подломились мои ноженьки, опустились руки белые, не радостен стал божий свет!

Больше и больше приходя в восторженность, Дуня приподнялась с подушки, села на постель и стала топать ногами... Опустила руки на колени, глаза разгорелись у ней, лицо побагровело, и вся затряслась она; мелкие судороги забегали по лицу. Вне себя стала.

— Накатил, накатил! — начала она вскрикивать, еще не вполне очистивши себя от хлыстовского нечестия.— Слушайте волю, слушайте волю!.. Близится фиал ярости, близится миру конец... Конец, конец!.. Разрушенье!..

Хлебнула Аграфена Петровна холодной воды и нежданно спрыснула Дуню. Восторженность прекратилась, но корчи тела и судороги на лице усилились еще больше. Аграфена Петровна, придерживаясь старорусского врачевания, покрыла лицо Дуни большим платком. Не прошло и четверти часа, как она очнулась и, слабая, изнеможенная, приподнявшись с постели, спросила Аграфену Петровну:

— Что со мной, Груня?

— Сама не знаю,— отвечала Аграфена Петровна.— По Марке Данилыче причитала, а потом, ровно не в своем уме, бог знает, что говорила, какое-то несообразное — я понять не могла. На-ка выкушай, это облегчит.

И подала Дуне стакан холодной воды. Та с жадностью выпила и пришла в себя.

Когда Дуня успокоилась, она пошла с Аграфеной Петровной к Сивковым. Там с сердечным радушием приняли вихоревскую тысячницу.

Покупки были сделаны, и приятельницы на другой же день поехали домой. Узнав о тяжкой болезни Марка Данилыча, Сивковы не настаивали, чтобы Дуня, как следует по старым обычаям, осталась на сколько-нибудь погостить у них.

* * *

Патап Максимыч держал дом умиравшего приятеля в крепких руках, но незнание дел по прядильным и лес-

ной пристани затрудняло его при распорядках. Поверив счеты приехавшего с Унжи Корнея Евстигнеева, он открыл воровство на большую руку и, несмотря на ругательства и даже угрозы Прожженного, при помощи городничего отобрал от него доверенность и прогнал со двора долой. То же постигло и Василья Фадеева. Тогда в доме водворился порядок — работные люди, и годовые и временные, были чрезвычайно довольны распорядками Патапа Максимыча, избавившего их от ненавистных приказчиков. Они стали усердны к работам и в скором времени должны были покончить их. Но вот беда — в октябре Патапу Максимычу надо непременно заняться своей горянщиной, а потому долго оставаться у Смолокурова было ему нельзя. Хоть бы приказчиков до того времени приискать почестнее да подельнее и сдать бы все дело им на руки. Марку Данилычу долго не прожить, это замечал Чапурин, а лекарь говорил, что в таком жалком состоянии хоть и долго продышит, но до смерти останется немым, бесчувственным и безо всякого движенья. Дочь — девица молодая, ни к чему не приучена, да, кажется, и не таковская, чтобы к делам привыкать, рассуждал Патап Максимыч, нужно ей человека два верных людей.

И тут пришел ему на мысли шурин Никифор Захарыч. После Настиной смерти он совсем остепенился и стал другим человеком, добрым, хорошим, сметливым и добросовестным, капли вина в рот не брал, и Патап Максимыч не раз убедился, что какое дело Никифору ни поручи, исполнит его как можно лучше. Вот уж больше года, как стал он нравом тих и спокоен — не то чтоб буянить да драться, как прежде бывало, теперь он удалялся от всякого шума, и, когда живал у Патапа Максимыча в Осиповке, только у него и выхода было с двора, что на могилку Насти. Будь проливной дождь, будь трескучий мороз, ему все нипочем. Несколько раз посылал его Патап Максимыч по своим делам в дальние места, и Никифор Захарыч так исполнял их, как не всякому удается. Парень-от был он смышленый и умелый, зелено̀ вино только губило его столько времени. Его-то и решил Чапурин пристроить на время к смолокуровским делам. Но другого приказчика где сыскать?

Уныло глядел дом Марка Данилыча, когда подъезжали к нему изусталые в дороге Дуня и Аграфена Пет-

ровна. Перед домом во всю улицу лежали снопы соломы, дня через три либо через четыре накладываемые по приказанию городничего, все окна в доме были закрыты наглухо, а вокруг него и на дворе тишина стояла невозмутимая, не то что прежде, когда день-деньской, бывало, стоном стоят голоса, то веселые, то пьяные и разгульные. Ровно вымерло все. На крыльце встретили приехавших Патап Максимыч, возвращавшийся с прядилен, и Дарья Сергевна, завидевшая кибитку из окошка своей горенки.

— Что тятенька? — не выходя еще из кибитки, вскрикнула Дуня.

— То же все,— сухо и мрачно отвечал, глядя в сторону, Патап Максимыч.

— Не знаю, как и благодарить вас, Патап Максимыч. До смерти не забуду ваших благодеяний. Бог воздаст вам за ваше добро,— сказала Дуня, подходя к Чапурину и ловя его руку, чтобы, как дочери, поцеловать ее.

— Что это вы, что это, Авдотья Марковна? — не давая руки, вскликнул Патап Максимыч.— Ведь я не поп, чтоб вам руки у меня целовать. Лучше вот так, попросту, по старине. При моих годах это вам незазорно.

И обнял Дуню и трижды поцеловал ее со щеки на щеку. Вся зарделась она, хоть и немного еще прошло времени с тех пор, как знакомым и незнакомым мужчинам без малейшего зазрения стыда и совести усердно раздавала она серафимские лобзания.

— Здравствуйте, моя милая, здравствуйте, моя сердечная,— обратилась Дуня к Дарье Сергевне и в слезах поцеловалась с нею. Дарья Сергевна зарыдала, склонившись лицом на плечо Дуни. Но что-то недовольное таилось в душе ее с тех пор, как ее воспитанница поддалась влиянию ненавистной Марьи Ивановны.

— К тятеньке, скорей к тятеньке,— надорванным голосом вскликнула Дуня и, несмотря на усталость, стремглав бросилась вверх по лестнице.

Навстречу ей лекарь. Как давнишний житель городка, он знал ее.

— Вот какая у вас беда стряслась, да еще без вашей бытности! — сказал он.— Батюшка ваш все в одном положении с того дня, как это с ним приключилось. Голова, по-моему, лучше, начал понемножку людей узнавать,

говорит даже изредка, но нетвердо, невнятно, трудно понять. Наперед скажу — может он прожить год, пожалуй и больше, но не поправится никогда и не встанет с постели, до самой смерти останется без языка, без движенья и даже почти без сознанья. Ужасный удар, редко такой бывает, мне во всю мою долголетнюю практику еще не случалось такого видеть. Каждый день бываю я у вашего батюшки, но, уверяю вас, Авдотья Марковна, созовите вы хоть всех самых ученых и самых опытных врачей, и те его здоровья не восстановят.

— Благодарю вас за ваши попечения о бедном тятеньке, очень благодарю, ото всей души благодарю, но, извините, я спешу к нему. Завтра, если будете у нас, я с вами побольше поговорю,— сказала Дуня.

— Могу и сегодня приехать, ежель угодно вам будет,— ответил лекарь.— А теперь попрошу я вас немножко обождать видеться с батюшкой. С четверть часа или минут с двадцать подождите. Надо его приготовить к свиданью, потому что в этой болезни каждый душевный порыв, от радости ли, от несчастия ли, сильно может повредить больному, может даже убить его. Я пойду и предупрежу его... А он вас ждет, сегодня, хоть и очень невнятно, сказал он: «Дуня». А когда я сказал, что вы еще не приехали, он долго метал в тоске здоровой рукой, а потом и глаза закрыл. Опасаюсь, чтоб ваше внезапное появленье не было во вред ему. Нет, уж позвольте, я лучше предупрежу его.

Пошел лекарь к Марку Данилычу, а Дуня в бессилии опустилась в кресло и не внимала словам Патапа Максимыча, Дарьи Сергевны и Аграфены Петровны.

Прошло с четверть часа, лекарь вышел от больного и сказал Дуне:

— Пожалуйте. Наш больной приезду вашему обрадовался, ждет вас... Только одни ступайте к нему и пробудьте не больше десяти минут; я, впрочем, за вами сам приду... Слез вам удержать нельзя, но скрепите себя, сколько возможно. Ни рыданий, ни вскриков, ни других порывов. Помните слова мои.

Неслышными стопами вошла Дуня в комнату, где отец лежал на страдальческом ложе. Не слыхал он, как вошла Дуня, и все еще оставался с закрытыми глазами. Она безмолвно опустилась на колени и в тихих слезах склонилась головкой к подушке.

Так прошло минуты две. Слышно только было тяжелое, порывистое дыханье Марка Данилыча. Наконец, открыл он глаза и, увидя возле себя дочь, чуть слышно и едва понятно сказал:

— Дуня!

И потекли из глаз его обильные слезы. Застонал он, но в стоне слышалась радость.

Дуня припала к здоровой руке отца и целовала ее, обливая слезами. Марко Данилыч хотел улыбнуться, но на перекошенном лице улыбка вышла какою-то странною, даже страшною.

Высвободя здоровую руку и грустным тоскливым взором глядя на дочь, Марко Данилыч показывал ей на искривленное лицо, на язык и на отнявшуюся половину тела. С большим трудом диким голосом сказал он:

— Н-нет.

— Успокойся, тятенька, бог милостив, оправишься,— дрожащим от сдерживаемых рыданий голосом промолвила Дуня.— Я сейчас говорила с лекарем, он надеется, что тебе скоро облегченье будет.

— Н-нет,— с усилием сказал Марко Данилыч.

И, указывая на стоявший возле постели железный сундук, с чрезвычайным напряжением остававшихся сил, глухо промычал:

— Ты... т... тебе.

В это время вошел лекарь. Обращаясь к больному, сказал он:

— Ну, вот и с дочкой увиделись. Теперь надо успокоиться, не то, пожалуй, утомитесь, и тогда вам хуже будет. Заснуть извольте-ка. А вы, Авдотья Марковна, со мной пожалуйте. Сосните хорошенько, Марко Данилыч, успокойтесь. Дочка приехала в добром здоровье, теперь нет вам ни тревоги, ни заботы из-за нее. Будьте спокойнее духом — это вам полезно. Прощайте, до свиданья. Завтра навещу; смотрите же, будьте у меня молодцом.

Лекарь с Дуней вышел из комнаты больного, и Марко Данилыч тотчас же сомкнул глаза и вскоре заснул крепким сном.

По уходе лекаря все сели вокруг чайного стола. Немножко успокоенная, но еще вполне не понимавшая опасности, в какой был отец, грустная, печальная, Дуня

рассказала о своем с ним свиданье. Дошла речь и до сундука.

— Он много раз на него мне указывал,— возьми, значит, да вскрой,— сказал Патап Максимыч,— однако ж я без законной наследницы, без вас то есть, Авдотья Марковна, на это не отважился. Злых людей на свете не перечтешь — мало ль чего наплести могут. Пожалуй, скажут, что я тут попользовался. Полицию да подьячих призывать не хотелось бы. Поэтому и поджидал я вас, Авдотья Марковна, чтобы вскрыть сундук на ваших глазах. Там, говорят, у вашего батюшки и деньги и векселя положены. Надо все привести в известность. Завтра, а не то послезавтра покончим это.

— Что ж? Я готова, потому что знаю теперь волю тятенькину,— ответила Дуня.

— И прекрасно,— молвил Патап Максимыч.— Так мы завтра же вскроем.

— Как вам угодно, а я всегда готова,— ответила Дуня.— Только уж сделайте милость, устройте, сколько можно, наши дела. Ведь я ничего в них не понимаю и сделать ничего не умею. А кроме вас, у меня нет никого, кто бы помог.

— Будьте спокойны, что могу, то сделаю,— сказал Патап Максимыч.— А теперь вот о чем хочу спросить я вас: от слова не сделается, а все-таки... сами вы видели Марка Данилыча... Вон и лекарь говорит и по всем замечаниям выходит, что не жилец он на свете. Надо бы вам хорошенько подумать, как делами распорядиться.

— Ах, что вы говорите, Патап Максимыч! — вскликнула Дуня.— Бог милостив, тятенька встанет, будет совсем здоров. Зачем же прежде времени об этом говорить?

И горько заплакала.

— Конечно, у бога милостей много,— сказал Патап Максимыч,— и во власти его чудеса творить. Но мы по-человечески рассуждаем. Наперед надо все обдумать и к новой жизни приготовиться.

Дуня молчала. Аграфена Петровна сказала Патапу Максимычу:

— Не видишь разве, тятенька, что Дуня ничего не может теперь придумать... Лучше эти разговоры отложить до другого времени.

— Откладывать нельзя,— сказал Патап Максимыч.— Долго мне здесь гостить невозможно — свои дела есть. Наезжать когда дня на два, когда на три могу, но подолгу проживать мне нельзя. Поэтому надо теперь же решить, как вести дела Авдотье Марковне. Продолжать их, как было при Марке Данилыче, нельзя — нужны люди, а где их возьмешь? На улице не сыщешь, на базаре не купишь. Надо людей верных и знающих, как дело вести. Ежели и при Марке Данилыче Корней с Фадеевым все по сторонам тащили да рабочих обирали, что же будет, как Авдотья Марковна сама в дела вступит,— облупят ее, ровно липочку. Поэтому и думал бы я так распорядиться — к Покрову, а может, и раньше, все работы будут кончены; отпустивши работных людей, надо будет счета очистить. Долги окажутся, расплатиться, с должников деньги получить, рыбные промыслы на Низу и лесные дачи на Унже продать, а не то отдать в кортому — охотники найдутся. А сделавши все это, жить на капитал, положивши его в ломбард, не то держать в сериях. Чтобы устроить все это, я бы пожил здесь до Покрова, а пожалуй, немножко и подольше. Что вы на это скажете, Авдотья Марковна?

— Не знаю, что и сказать вам, Патап Максимыч,— утопая в слезах, ответила Дуня.— Ничего я не знаю, ничего не понимаю. Делайте как угодно, как вам господь бог на мысли положит.

— Хорошо-с. Постараемся услужить,— молвил Патап Максимыч.— Теперь люди нужнее всего: Корнея да Василья Фадеева я рассчитал: минуты невозможно было терпеть — отъявленные мошенники! Понять не могу, как столько времени терпел их Марко Данилыч! Одного человека я нашел, сегодня ж к нему напишу, и дён этак через пяток либо через неделю он будет здесь. А другого надо приискивать, а этого скоро не сделаешь. Я, Груня, полагаю Никифора сюда прислать.

Аграфена Петровна в недоуменье покачала головой.

— Что головой-то мотаешь,— досадливо сказал Патап Максимыч.— Разве не знаешь, что теперь он совсем не тот, каким прежде был?.. Отвечаю за него, как за самого себя,— вот тебе и весь мой сказ. Не беспокойтесь, Авдотья Марковна, останетесь довольны. Он у вас был бы при доме, и на Унжу его можно бы было послать приискивать лесных покупателей.

Вечером Дуня легла в своей комнате, там же приготовили постель и Аграфене Петровне. Хоть обе были утомлены от дороги, но сон ни к той, ни к другой что-то не приходил.

— Что лекарь-то вечером сказал тебе? — спросила Аграфена Петровна у Дуни.

— Что сказал! Нехорошо он сказал,— отвечала Дуня...— сначала, как и Патап Максимыч, советовал дела устроить, а потом сказал, что надо мне быть на все готовой, что тятеньке недолго жить.

И зарыдала.

— А что еще говорил? — спросила Аграфена Петровна, когда Дуня успокоилась.

— Что еще говорил! Не в свое дело мешаться вздумал... Глупости! — вскликнула с досадой Дуня.

— Да что такое? Что он сказал? — настоятельно спрашивала Аграфена Петровна.

— Говорил, что, ежели не станет тятеньки,— трудное для меня будет время. Замуж выходить скорей советовал,— немного смущаясь, ответила Дуня.

— А что ж? Ведь он правду сказал,— молвила Аграфена Петровна.— В самом деле, надо об этом подумать. Аль луповицкие бредни у тебя все еще в голове?

— И думать о них забыла,— сказала Дуня.— Но зря за первого встречного замуж не пойдешь.

— Конечно,— согласилась Аграфена Петровна.— Не на улице искать суженого. А все-таки ищи, да не будь чересчур спесива да разборчива. В самом деле, надо тебе об этом хорошенько подумать... Есть ли кто на примете?

— Нет,— робко и чуть слышно промолвила Дуня, и румянец вдруг покрыл лицо ее.

— А что было да прошло, про то совсем, видно, позабыла? — с хитрой улыбкой спросила Аграфена Петровна.

— К чему вспоминать?..— со вздохом промолвила Дуня.— Про меня ведь и думать забыли.

— А если нет? — возразила Аграфена Петровна.

— Груня, богом тебя прошу, не поминай! — вскрикнула Дуня.— Что тебе за охота?

— Выслушай меня,— прервала ее Аграфена Петровна.— Точно, в прошлом году с ярманки уехал он за

Волгу, и то правда, что поехал он в Комаровский скит к Фленушке. Дошли до него тогда слухи, что она закурила, к водочке пристрастилась, так хотел ее уговорить, перестала бы пить, если не хочет вконец погубить себя. Прожил он в Комарове меньше недели. Ни у матери Манефы, ни у матери Таисеи не останавливался, а с Фленушкой виделся всего только раз. И на другой день после ихнего свидания она приняла постриг. Матушка Манефа при всей обители благословила ее быть на игуменстве, и теперь все у нее в руках, а матушка на покое живет и редко входит в обительские дела... Только что постриглась Фленушка, Петр Степаныч уехал в Казань — дело там у него с дядей было насчет капитала, и он в Казани что-то очень долго прожил. Получил, что ему следовало, а получивши, за Волгу к нам приезжал, до тятеньки Патапа Максимыча в те поры у него было какое-то дело. Жил у него в Осиповке, оттуда и к нам в Вихорево приезжал, с неделю, коли не больше, прогостил у нас. По старой памяти заезжал и в Комаров и опять-таки ни в коей обители не пристал, а где-то у сирот. Приходил и в обитель, однако Фленушка с ним и в разговор не вступила, сказала, слышь, слова два, да тем и кончила.

— Да к чему это ты, Груня, мне все рассказываешь? — сказала Дуня.— Ездил он в Комаров, не ездил,—мне-то какое дело? И какое еще время нашла говорить об этом!

— Какое время? — спросила Аграфена Петровна.

— Как какое? — возразила Дуня.— Тятенька при смерти, а она со своими рассказами про Самоквасова. И на память-то ему, думаю, никогда я не приходила.

— То-то и есть, что с ума никогда не сходишь... Боится только он тебя. Страшно ему на глаза к тебе показаться, совестно, значит,— сказала Аграфена Петровна.— Ты-то вспоминала ль о нем хоть изредка? Водилась с этой Марьей Ивановной, наслушалась фармазонских бредней и несбыточных затей, убедили тебя, что законные браки богу не угодны, а угодны только духовные, на какие покушался приезжий с Арарата — как бишь его, Денисов, что ли... От их внушений противным казался тебе человек, что готов за тебя хоть сейчас и в огонь и в воду идти... Так, что ли? А онто, сердечный, гостивши в Вихореве, так тосковал и

убивался, вспоминая тебя... Скажи по душе, сущую правду скажи, хоть разок приходил ли он тебе на разум?

— Да... приходил... в последнее время...— чуть слышно промолвила Дуня.

— Скажи, не утай, что было тогда у тебя на душе? — спросила Аграфена Петровна, вставши с постели и подсев к лежавшей Дуне.

— Вспоминала я про него,—почти вовсе неслышным голосом ответила Дуня крепко обнимавшей ее Аграфене Петровне.— В прошлом году во все время, что, помнишь, с нами в одной гостинице жил, он ни слова не вымолвил, и я тоже... Ты знаешь. И вдруг уехал к Фленушке. Чего ни вытерпела, чего ни перенесла я в ту пору... Но и тебе даже ни слова о том не промолвила, а с кем же с другим было мне говорить... Растерзалась тогда вся душа моя.

И, рыдая, опустилась в объятья подруги.

Утишились рыданья, и Дуня продолжала исповедь:

— Хотела его совсем позабыть, как будто никогда его и не видывала. Противен он стал мне, возненавидела я его всей душой... Злоба во мне разгоралась... Без содроганья, кажется, я убила бы его... Начались со мной припадки, особливо по ночам. Никто не замечал их, никто не знал про них, никому я не говорила, даже тебе ни слова не сказала... А сердце кипело огнем... В Оку думала броситься, зарезать себя думала... Тут появилась Марья Ивановна. Доброй такой она мне показалась, задушевной, участливой... Не уезжай он перед тем, не наругайся надо мной, не бывать бы мне близкой с Марьей Ивановной!.. А может быть, он и не виноват, может, не заметил моей склонности, думал о другой — не знаю, ничего не знаю... Такова уж судьба моя!.. Ну, указала мне Марья Ивановна на книги, и стала я за ними проводить и дни и ночи... Подготовляла она меня, а весной совсем с пути сбила... Ввела меня в корабль, и я не только его,— тятеньку даже забыла, Дарью Сергеевну, всех, всех... А как теперь, со слов отца Прохора, поняла, не я была нужна им, а тятенькин капитал... Мы, дескать, ее опозорим, ей не за кого будет замуж идти, поневоле у нас останется, и рано ли, поздно ли, достатки ее будут у нас в руках...

Дуня замолчала.

— Ты, Дунюшка, обо всем об этом еще дорогой мне рассказывала. Об нем-то почему же не скажешь ничего? — сказала Аграфена Петровна.— Думала ль хоть когда-нибудь о нем? Вспоминала ли?

— Да, с той поры, как стала сомневаться в правоте той веры,— тихо промолвила Дуня.— И тут стал чудиться мне его голос, нежный такой и жалобный, а после и сам всем обличьем начал мерещиться мне. Стоит, бывало, ровно живой...

— Что ж, пугалась ты? — спросила Аграфена Петровна.

— Нет, каждый раз, бывало, как увижу его, радостно и весело станет на душе,— отвечала Дуня.— А потом вдруг нахлынет тоска со всего света вольного, и заноет сердце, кровью обливаючись. И каждый раз после того долго бывала я как сама не в себе. На уме мутится, мысли путаются.

— А теперь что? — спросила Аграфена Петровна.

— Как убежала, больше он не казался, и голоса не стало слышно,— отвечала Дуня.— Зато тоски вдвое прибыло. Как вспомню про него да подумаю, так и захочется хоть минутку посмотреть на него.

— Может, и увидишь,— улыбаясь, сказала Аграфена Петровна.— Теперь он ведь в здешних местах, был на ярманке, и мы с ним видались чуть не каждый день. Только у него и разговоров, что про тебя, и в Вихореве тоже. Просто сказать, сохнет по тебе, ни на миг не выходишь ты из его дум. Страшными клятвами теперь клянет он себя, что уехал за Волгу, не простившись с тобой. «Этим, говорит, я всю жизнь свою загубил, сам себя счастья лишил». Плачет даже, сердечный.

— Ну, уж и плачет? — с недоверьем и с тем вместе с довольной улыбкой промолвила Дуня.

— Сколько раз у меня в каморке на ярманке плакивал,— сказала Аграфена Петровна.— А, бывало, молвишь ему, что он тебе по мыслям пришелся, вздохнет, бывало, таково глубоко, да и скажет тоскливо: «Как посмею я к ней на глаза показаться? Моя доля, говорит, помереть с тоски. Порешу, руки наложу на себя — уж лучше один конец, чем всю жизнь в тоске да в печалях изжить». Вот его речи... Однако заговорились мы с тобой, скоро уж полночь. Давай-ка спать,— прибавила

Аграфена Петровна, уходя на свою постель.— Покойной ночи, приятного сна! Желаю во сне его увидать.

Легли и замолчали. Но не успели заснуть, как в доме послышались беготня и громкие клики.

Кто-то из женщин тихонько отворил дверь в Дунину спальню.

— Авдотья Марковна, и вы, матушка Аграфена Петровна,— осторожным шепотом сказала вошедшая женщина.— Пожалуйте! Марку Данилычу что-то неладно.

Мигом и Дуня и Груня набросили на себя попавшиеся под руку платья и побежали к больному. Они услыхали в прихожей необычайный шум: кто-то хриплым голосом бранился, а Патап Максимыч громко приказывал.

— Сейчас в полицию его, разбойника, да руки-то хорошенько скрутите. А ты беги скорей за лекарем, спит, так разбудили бы.

Когда Дуня вбежала к отцу, он лежал недвижим. Помутившиеся глаза тоже были недвижны, здоровая до тех пор рука омертвела. С громким воплем ринулась к нему растерявшаяся Дуня и обхватила его обеими руками. Марко Данилыч уж холодел, и только легкий хрип в горле еще показывал, что последний остаток жизни сохранялся еще в нем. Мало-помалу и хрип затих.

Пришел лекарь, пощупал пульс, пощупал сердце — и, отойдя от постели, сказал:

— Кончено!

Дуню без чувств вынесли из комнаты.

Патап Максимыч вынул из-под подушки ключи от денежного сундука, отнес их к Дуне, но она была без памяти. Он передал их Аграфене Петровне.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Вечером в день приезда Дуни, когда все разошлись по местам, комнатная прислуга пошла в кухню ужинать. Разбитной Матрене с начала болезни Марка Данилыча было велено ложиться у дверей его спальни, и она исправно исполняла этот приказ, но теперь не утерпела и тоже в кухню пошла побалясничать с глухой Степановной, порасспросить ее про чужую сторону и «про людей неведомых». Пошла, да и заболталась, а наружные двери хозяйских покоев остались незапертыми. Заболталась Матрена со Степановной, и прочие все засиделись на

кухне, слушая рассказы ездившей в такую даль старушки.

Окна кухни выходили на улицу. Заслушавшиеся россказней Степановны не заметили, что кто-то, подойдя к окну, долго рассматривал каждого из сидевших и, кажется, считал их. Потом, подойдя к воротам, перелез через забор и отпер калитку. Собаки залаяли было на него, но он поманил их к себе, приласкал, и псы, узнав своего человека, разбежались по конурам.

Осторожно взобрался он на крыльцо, поднялся в верхний ярус дома и вошел в хозяйские комнаты, зная, что там все спят, потому что нигде, кроме комнаты больного, огня не горело.

Знакомым ходом прошел он к Марко Данилычу. Тот спал, но пришлый смело подошел к нему, взял за здоровую руку и сказал вполголоса:

— Проснись, хозяин, пробудись, ваше степенство, Корней Евстигнеич проститься пришел с твоей милостью.

Открыл Марко Данилыч глаза и, увидав перед собой Прожженного, хотел было вскрикнуть, но вместо крика вырвалось из уст его лишь слабое мычанье.

— Заволжский друг-приятель твой с места меня согнал,— продолжал Корней.— Рассчитал и меня и Василья Фадеича как следует, ни копеечки против расчетных книжек не удержал. В этом ему надо чести приписать. Да чуешь ли ты, что я говорю тебе?

Марко Данилыч опять промычал неведомо что.

— Знаю, что кондрашка тебя прихватил, еще на Унже пали мне о том вести,— говорил меж тем Корней Прожженный.— Что, язык-от не двигается?.. Ну, да ничего — ты молчи, ваше степенство, а говорить я стану с тобой. Было время — быком ревел, на нашего даже брата медведем рычал, а теперь, видно, что у слепого кутенка, не стало ни гласа, ни послушания.

Марко Данилыч только храпел, глядя на присевшего к нему на кровать Корнея, о чем тот прежде и подумать бы не посмел.

— Я, ваше степенство, теперича за другим расчетом к тебе пришел,— продолжал Корней Евстигнеев.— Лучше меня самого знаешь дела мои. Дела, за какие в Сибирь на каторгу ссылают... Кто велел мне орошинского приказчика Ефима Волчанина избыть? Письмо-то ва-

шей милости у меня цело... Утопил я Волчанина, сделал в акурат, а особого награжденья не получил. Забыл, видно? А как на Низу поддельные документы мы с тобой сбывали — и это, видно, забыл? А как обобрали сытнинскую купчиху Молодцову — тоже запамятовал? А как до смерти угорело у тебя двое молодцов, чтоб только расстаться тебе с ними и чтоб они дел твоих на суде не показали? Печи-то ведь я по твоему приказу топил. Пропадать так пропадать, зато уж и ты, ежель выздоровеешь,— пропадешь... Понял дело? Двести тысяч подавай!

Собравшись с последними силами, Марко Данилыч испустил было крик, но так тихо, так беззвучно, что никто и не слыхал его. Беспомощным лежал грозный некогда Смолокуров перед Корнеем. Что думал он в то время, один бог его знает, но злобно глядел он померкающими очами на нахала приказчика.

— Сегодня прынцесса твоя воротилась, значит, завтра, а не то послезавтра она с заволжским твоим приятелем вскроют сундук-от, тогда мне полушки не получить. Так разочтемся же теперь. Двести тысяч подавай, не то сам возьму... Давай ключи-то!

Не может ни слова сказать Марко Данилыч.

— А не то так, пожалуй, мы и прынцессу твою к уголовщине прицепим,— продолжал Корней.— Из Фатьянки-то всех фармазонов забрали, ищут и тамошнюю барыню Алымову. Не сегодня, так завтра и она будет за железной решеткой сидеть. А ведь всем известно, что твоя дочка с ней уехала — шàбаш, что ли, ихний справлять, аль другое что. Верно говорю. Сгниет твоя прынцесса в остроге, и сундук ей впрок не пойдет... Все на суде расскажу. Давай же делиться. Где ключи-то? Под подушкой, что ли?

И полез рукой под подушку умиравшего.

Напрягши какие оставались силы, Марко Данилыч поднял было здоровую руку, но она упала и осталась неподвижною.

Отведенная Патапу Максимычу комната была рядом со спальней Марка Данилыча. Заволжский тысячник, проснувшись, услыхал говор. Голос мужской. «Кому бы это быть?» — подумал Чапурин и, накинув халат, босой вошел к больному и увидел Прожженного, запустившего руку под подушку.

Оторопел Корней. Хоть был он и моложе и гораздо сильней Чапурина, хоть после и нашли при нем стальной сахарный топорик, однако он остолбенел и стал у кровати как вкопанный.

Чапурин открыл окно и зычным голосом крикнул караульщику, чтоб скорей бежал к нему, а по пути кликнул людей из кухни. Корней улучил время, когда Патап Максимыч подошел к окну, и хотел было наутек, но Дарья Сергевна, услыхав шум и увидев выходящего из спальни Корнея, смекнула, что творится недоброе, и в чем была, в том и побежала за людьми в кухню. Но там уж всполошились по крику караульщика. Домашние терпеть не могли Корнея и, узнав, что он забрался в спальню к Марку Данилычу и сделал что-то неладное, бросились наверх. Там в передней шла уж борьба у Корнея с Чапуриным и подоспевшим караульщиком. Кто-то из прислуги сбегал в работные избы и поднял на ноги всех рабочих. Они ненавидели Прожженного и, не одеваясь, в одних рубахах, толпой человек в семьдесят кинулись к дому. Корнею, крепко оборонявшемуся от Патапа Максимыча и караульщика, теперь пришлось сдаться. Тут нашли у него топорик и много дивились, как это он не пустил его в ход, оставаясь несколько времени один на один с Чапуриным.

Рабочие были уверены, что тут и Василья Фадеева дело, что он где-нибудь спрятался в доме. Все мышиные норки обыскали, но Фадеева не нашли.

Рано утром городничий со стряпчим приехали в дом Смолокурова. Марко Данилыч уж на столе лежал, покрытый простынею. С Дуней беспрестанно делались нервные припадки, однако лекарь сказал, что большой опасности для нее нет, но необходимо, чтоб она, сколько возможно, оставалась в покое. Дарья Сергевна, Аграфена Петровна, глухая Степановна, разбитная Матрена и прочая женская прислуга были безотлучно при Дуне. Городничего со стряпчим встретил Патап Максимыч.

— Что такое случилось? — спросил городничий, знавший уж Чапурина. Заволжский тысячник не раз бывал у него по смолокуровским делам.

— Да вот, ваше высокоблагородие, разбоем ночью прорвался Корней Евстигнеев,— отвечал Патап Максимыч.— Ограбить вздумал умершего.

— Однако ж не ограбил? — сказал городничий.

— Ограбить не поспел, а больного добил до конца. Поглядите — лежит,— молвил Патап Максимыч.

— Как же это случилось? — спросил стряпчий.

Патап Максимыч подробно рассказал обо всем, что знал.

— Улик недостаточно,— вполголоса заметил стряпчий городничему, исподлобья поглядывая на Чапурина.

— Это мы разберем,— отвечал городничий.— Это уж наше дело. Надо вам подать объявленье,— прибавил он, обращаясь к Патапу Максимычу.

— Слушаю, ваше высокоблагородие,— сказал Чапурин.— Тут в том главное дело, что уеду я скоро, покойникова дочка останется одна только с женским полом. Мало ль от таких людей что может приключиться.

— В обиду не дадим. Это уж наше дело,— ответил городничий.— Когда хоронить?

— А вот как управимся,— молвил Патап Максимыч.— Держать не будем.

— Попа, чать, своего привезете? — с усмешкой спросил городничий.

— Какие, ваше высокоблагородие, у нас попы по нынешним временам!.. Сами изволите знать. На всю-то Россию, может, двое либо трое осталось,— сказал Чапурин.— Кто-нибудь из домашних прочитает молитву над покойником, и дело с концом.

— То-то, смотрите. У меня на этот счет строго. Высшее начальство обратило внимание на вашего брата. А то и в самом деле очень много уж воли вы забрали,— проговорил, нахмурясь, городничий.— Так подайте объявление, а в день похорон я побываю у вас вот с господином стряпчим да еще, может быть, кое с кем из чиновных. А что дочь покойника?

— Лежит, больше все в забытьи,— молвил Патап Максимыч.

— Понятно. До кого не доведись,— сказал городничий.— Ну, покамест до свиданья, прощайте,— прибавил он и из дома пошел со стряпчим.

Патап Максимыч до самых ворот проводил незваных гостей.

Меж тем похоронным делом спешили. Хотелось Патапу Максимычу на третий же день опустить в землю приятеля, чтоб он живым «рук не вязал», но вышло за-

трудненье, некому было чин погребения справить, некому над покойником последнюю молитву прочесть. Беглых попов ближе Москвы нет, да рогожский поп и не поедет в такую даль. За Волгу в скиты послать за канонницей некогда — она не поспеет ко времени; наставник спасова согласия, что проживал в городе, сам на смертном одре лежал. Как быть, как извернуться? Нельзя ж такого богача, как Марко Данилыч, просто в землю зарыть. Не зная ни города, ни его окрестностей, Патап Максимыч спросил Дарью Сергевну, кому бы отправить чин погребения.

Не придумала вдруг Дарья Сергевна, на кого указать. Приходилось либо ей самой «читать погребение», либо просить Аграфену Петровну взять на себя такой труд. Она грамотная, в скитах обучалась, пригляделась там к порядкам и не откажется в останный раз послужить Марку Данилычу и тем хоть сколько-нибудь утешить совсем убитую Дуню.

— Разве вот кого попросить,— сказала, наконец, Дарья Сергевна.— Живет недалеко отсюдова, всего четыре версты, да и тех, пожалуй, не будет, человек книжный и постоянный. Старинщик он, старыми книгами торгует да иконы меняет. Только вот беда, не уехал ли куда. То и дело в отлучках бывает.

— Кто такой? — спросил Патап Максимыч.

— Чубалов, Герасим Силыч,— ответила Дарья Сергевна.— В деревне Сосновке он живет. Прежде частенько бывал у Марка Данилыча, и обедывал, и ночевывал, а иной раз и по два и по три дня у него гостил. Да вот уж с год, как ни разу не бывал. Болтал Василий Фадеев, что какие-то у него расчеты были с покойником, и Герасим Силыч остался им недоволен. А другое дело, может, все это и вздор. Ведь Фадеев что ни слово, то соврет.

— Не поедет, пожалуй,— сказал Патап Максимыч.

— Человек он добрый и по всему хороший, опять же нарочито благочестивый,— ответила Дарья Сергевна.— Ежели только не в отлучке, непременно приедет. А ежели отъехал, можно племянника его позвать, Ивана Абрамыча. Парень хоша и молодой, а вкруг дяди во всем божественном шибко наторел. А оно и пристойней бы и лучше бы было, ежель бы чин погребения мужчи-

на исправил. Женщине ведь это можно разве при крайней нужде.

— Так посылайте к нему. Записочку, что ли, напишите,— сказал Патап Максимыч.— А насчет расчетов я сам спрошу у него по совести, сколько считает он за покойным, и заплачу с процентами. Авдотья Марковна; конечно, против того не будет... А плачеи у вас в заведении, вопленицы по-нашему, по-лесному?

— Как же, бывают, без них что за погребение,— сказала Дарья Сергевна.

— Позвать надо,— молвил Чапурин.

— Сами придут, столько наберется, что сквозь их и не протолкаешься,— отвечала Дарья Сергевна.— То же воронье — как прослышат покойника, особливо достаточного, стаями налетят.

— А домовину кому нести? — продолжал расспросы Патап Максимыч.

— А работники-то на что? — сказала Дарья Сергевна.— Они со всяким удовольствием. Конечно, надо будет их похоронным обедом угостить, вином обнести, ну и по рукам по сколько-нибудь на помин души раздать.

— Окроме того, надо вам, Дарья Сергевна, озаботиться, чтоб в день похорон изготовлен был самолучший обед,— молвил Патап Максимыч.— Сейчас были городничий со стряпчим — сами назвались. И другого чиновного люда в городе тоже ведь достаточно — надо всех подмаслить, чтобы вам с Авдотьей Марковной было без меня беспечально, да и никаких нападок от начальства тоже не было. Надо замасливать, беспременно надобно, особливо в сиротском деле.

— Это точно,— согласилась Дарья Сергевна.— Только вот что я скажу вам, благодетель,— не вскроете ли сундука-то? Денег ведь много понадобится.

— Без Авдотьи Марковны ни за что на свете не вскрою,— повысив голос, промолвил Патап Максимыч.— Вскроем после похорон. А об деньгах не заботьтесь. У меня их достаточно, а расчесться успеем, времени много впереди. Пишите же записку да посылайте скорей за этим старинщиком.

Дарья Сергевна вышла, и Патап Максимыч остался один.

Вошел он в комнату, где лежал Марко Данилыч. Там ни души не было. Покойник, совсем уж одетый, лежал под простыней. Подошел к нему Патап Максимыч и раздумался сам с собою.

«Эх, Марко Данилыч, Марко Данилыч! — думал он.— Много ты на свете жил, а, надо правду говорить, жить не гораздо умел. В каком положенье семью оставил!.. Положим, капиталов достаточно, да разве в одних деньгах счастье? Изжил ты, приятель, свой век в этом городе, а друзей не нажил ни одного. Все на тебя глядели, да и теперь глядят, как на мешок, и одно норовят, как бы что-нибудь стащить из него... Бедная Авдотья Марковна, куда-то денется она, как-то пристроится!.. Горькая участь!.. Хоть бы какой хороший человек поскорей взял ее за себя. Надо с Груней об этом посоветоваться».

Вдруг тихими, неспешными шагами вошла Анисья Терентьевна Красноглазиха, в обычном темно-синем сарафане, в черной душегрейке, повязанная по голове белым платком в знак похоронной печали, и с толстой книгой под мышкой. Помолилась она перед стоявшею в головах покойника иконой, поклонилась в землю Марку Данилычу, потом отвесила низкий поклон Патапу Максимычу.

— Что угодно? — мрачно, но вежливо спросил он у заплакавшей Красноглазихи.

— Здешняя обывательница буду, Анисья Терентьевна, по прозванью Красноглазова,— отвечала она.— Сызмальства знала сердечного покойничка, много его милостями пользовалась. Добрейший был человек, истинно ангельская душенька. Всех бедных, неимущих оделял от своих благ со щедротою. Никого не оставлял без помощи.

— Так что же нужно-то? Поклониться, что ли, пришла? — с нетерпеньем спросил Красноглазиху Патап Максимыч.

— Для того больше пришла я, ваше степенство, что вот лежит теперь милостивый покойничек без молитвы, без чтения. А я бы, по своему усердию и поминаючи его благодеяния, почитала над ним. Вот и псалтырь нарочно захватила,— унылым голосом проговорила Анисья Терентьевна.

— Я, матушка, человек не здешний,— сказал Патап Максимыч.— Никого из здешних обывателей не знаю, приехал сюда по давнему приятельству с Марком Данилычем единственно для того, чтоб его дела устроить. А насчет похоронного поговорите с Дарьей Сергевной. Это все на ее руках,— как решит, так и быть тому.

В одни двери вышла Красноглазиха, в другие вошла Ольга Панфиловна, вся в черном. Помолившись и поклонясь до земли покойнику, и она обратилась к Патапу Максимычу с предложением услуг — присмотреть за похоронным столом и за чаем, потому что Дарье Сергевне будет не до того.

— Я здесь по всем домам заправляю столами и по купечеству и у дворян, потому что сама из благородных и все порядки сызмальства до тонкости знаю,— вкрадчиво говорила Ольга Панфиловна.

И ей тоже сказал Патап Максимыч, чтоб повидалась она с Дарьей Сергевной.

Через какую-нибудь четверть часа Анисья Терентьевна, став за налой, протяжно и уныло стала псалтырь читать, а Ольга Панфиловна, бегая по комнатам, принялась хлопотать по хозяйству. Первым делом у ней было кутью сварить — много ведь ее потребуется, человек на сто надобно припасти. Кисель сварила и сыту сделала в первый же день своего прихода.

К вечеру и Чубалов приехал. На всякий случай привез он и племянника, чтобы тот помогал ему.

Как скоро Чубалов из письма Дарьи Сергевны узнал о смерти Марка Данилыча, сейчас же стал в путь сбираться. Брат Абрам стал его отговаривать.

— Забыл, что ли, как он в прошлом году два раза обидел тебя — здесь да у Макарья в ярманке? — говорил Абрам Силыч.— Не сам ли ты говорил, что твоей ноги у него в дому никогда не будет? А теперь вдруг ехать туда.

— Смерть все покрывает,— сказал брату Герасим Силыч.—На мертвых зла не держат, а кто станет держать, того господь накажет. Марко Данилыч теперь перед божьим судом стоит, а не перед нашим земным, человеческим.

И поехал в город с Иванушкой.

Когда вошли они в комнату, где стоял покойник, их встретила Дарья Сергевна. Конца не было ее благодар-

ностям за приезд Герасима Силыча. Познакомила его с Патапом Максимычем.

— А я было и племянника с собой прихватил,— сказал Герасим Силыч, перейдя с Дарьей Сергевной и Патапом Максимычем в другую горницу.— Думал, что псалтырь почитает он.

— И хорошо сделал, что привез,— сказала Дарья Сергевна.— Анисья Терентьевна женщина немолодая, где ей читать все время без роздыха? Мы так уговаривались, что я стану с ней чередоваться. А вот господь и послал помощника, ночью-то он почитает, а я по хозяйству займусь — много ведь дела-то, и то не знаю, Герасим Силыч, как управлюсь.

— Иной раз Груня может почитать, она эти порядки знает,— сказал Чапурин.

— Нет уж, Патап Максимыч, пущай ее при Дуне остается,— молвила Дарья Сергевна.

— Что Авдотья-то Марковна? — спросил Чубалов.

— Плачет, убивается,— отвечала Дарья Сергевна.— Да как и не убиваться, Герасим Силыч, девушка молоденькая, никаких делов не знает, а тут еще по приезде-то всего каких-нибудь полчаса родителя в живых видела. Пошли отдохнуть с дороги, а тут и приключилась беда. Без памяти теперь лежит, сердечная, сиротка наша бедная, горемычная.

— Да скажите, пожалуйста, как это случилось? — спросил Чубалов.

— Господь один знает, как случилось,— отвечала Дарья Сергевна.— Никого тут не было. Корнея-то Евстигнеева знавал?

— Довольно знаю,— сказал Чубалов.— Недобрый человек, разбойником так и глядит, недаром в народе Прожженным его прозвали. Признаться, я всегда дивился, как это Марко Данилыч, при его уме, такого человека в приближенье держит. Знаю я про иные дела Корнеевы — давно по нем тюрьма тоскует.

— Ну вот, его Патап Максимыч и рассчитал,— говорила Дарья Сергевна.— Потому рассчитал, что из книг узнал, как он плутовал на Унже в лесных дачах, и Василья Фадеева рассчитал для того, что он весь работный народ на каждом шагу безбожно обижал и сполна зажитых денег не отдавал никому. Житья от него никому не было... Ну вот, вчера ночью и проберись Кор-

ней в спальню Марка Данилыча; как он туда попал, бог его знает. Что у них было в спальне, тоже никому не известно — Марко Данилыч был без языка и лежал ни живой ни мертвый. Думается, что Корнею хотелось деньгами из сундука поживиться. И топорик принес с собой, может быть думал сундук-от им разбить. Услыхал Патап Максимыч, прибежал на шум. Корней было бежать, да, спасибо, людей много набралось. Схватили молодца, связали и в полицию отправили.

— Эко дело-то какое,— удивляясь рассказу Дарьи Сергевны, сказал Чубалов.

Дарья Сергевна пошла по хозяйству. Чубалов один на один остался с Патапом Максимычем. Поговорили о том, о другом; Чапурин спросил, наконец, Герасима Силыча:

— Дошли до меня слухи, что у вас с покойником какие-то дела были и он сколько-то вам должен остался.

— У меня никаких нет документов, да никогда их и не бывало,— отвечал Чубалов.

— Ваша совесть, Герасим Силыч, и для Авдотьи Марковны и для меня, душеприказчика покойного, ценнее всяких документов,— сказал Чапурин.— Скажите по душе и по правде, много ль он вам должен остался?

— Ни копейки он мне не должен,— отвечал Герасим Силыч.— Ни одной копейки. Точно, были у меня с покойником дела: в прошлом году весной около Саратова редкостные старинные книги продавались — и мне очень хотелось купить их, да купил-то не хватало тогда. Тысячу рублей займовал я у покойника и вексель ему выдал. А он еще задолго до срока маленько поприжал меня, последние восемьсот целковых, что были у меня налицо, должен был я отдать ему, а потом за пятьдесят рублей в том же году у Макарья книг да икон взял он у меня уж чересчур по дешевой цене. Так что ж тут? Было на то мое согласие — никто в шею меня не толкал. Нет, Патап Максимыч, о том нечего и говорить. Сказано, что Марко Данилыч в расчете со мной,— ни он, значит, мне, ни я ему не должны ни копейки. Стало быть, и тому делу конец. Не будем про него разговоров разводить. Не для чего. Когда бы вживе был Марко Данилыч, может статься, я бы и потолковал с ним, а теперь поздно, он говорить не может, а я не хочу.

И, как ни уговаривал его Патап Максимыч, ни единого слова Чубалов больше не сказал.

Понравился он заволжскому тысячнику. «Вот это человек, так человек,— думал Чапурин,— мало таких ноне на свете водится».

Схоронили Марка Данилыча. Герасим Силыч и в доме и на кладбище службу по нем отправил, а Патап Максимыч поблагодарил властей, что помехи не было, и просил, чтоб впереди какой-нибудь неприятности не случилось. Без благодарности ведь того и гляди пойдут бумаги писать да всех и приструнят. Городничего и стряпчего, исправника и городского голову просили быть на похоронах и всех угостили на славу. Протопопа с причтом опасались, чтоб он не послал доноса, но, по совету городничего, Патап Максимыч послал на весь клир два воза рыбы, икры и прочего другого, потому все и обошлось благополучно.

После похоронного обеда все, чересчур утомленные, прилегли отдохнуть. Патап Максимыч вместе с Чубаловым легли в спальне покойника и стали говорить.

— Нет, уж как вы хотите, Герасим Силыч, а скоро я вас отсюда не выпущу,— говорил Чапурин.— Завтра, бог даст, сундук будем вскрывать, посторонний человек при таких делах лишним не бывает. Так вы уж, пожалуйста, побудьте здесь. А потом у Авдотьи Марковны и у меня будет до вас просьбица — окажите помощь бедной безродной сиротке.

— Какую ж могу я ей помощь подать? — с удивлением сказал Герасим Силыч.— Человек я маленький, она богатая наследница. Шутите вы, Патап Максимыч, право, шутки надо мной шутите.

— Тут не шутки, а настоящее дело,— возразил Чапурин.— Выслушайте меня да по душе и дайте ответ. Вот дело в чем: Авдотья Марковна осталась теперь как есть круглой сиротой. В торговых и в других делах ни она, ни Дарья Сергевна ничего не разумеют — дело женское, эти дела им не по разуму. По моему рассужденью, о чем я Авдотье Марковне еще до кончины покойника говорил и она на то согласилась,— надо ей все распродать либо на сроки сдать в кортому.

— Так лучше, по-моему, будет,— сказал Чубалов.— Где же в самом деле Авдотье Марковне заниматься та-

кими делами, да и Дарье Сергевне не приходится. Правду вы сказали, что это не женское дело.

— А для того, чтоб заведенья и промысла оборотить в деньги, необходимо нужны по крайней мере двое человек: один чтобы унженский лес и на Низу рыбные промыслы и баржи продал, а другой покамест бы здесь при доме понаблюл и тоже продавал бы понемножку, что есть при нем,— сказал Патап Максимыч.— Для посылок в лесные дачи и на волжские промысла есть человек у меня на примете — шурин будет мне, а для здешних дел в виду никого нет. А как вы, Герасим Силыч, здешние обстоятельства знаете и живете отсель только в четырех верстах, так и пришло мне на ум попросить вас принять участие в сироте, приглядеть здесь за всем.

— Что вы, что вы, Патап Максимыч!..— с живостью вскочив с дивана, вскликнул Чубалов.— Как это возможно? Да и что я за хозяин? Век такими делами никогда не занимался. Не могу, как хотите, не могу; не моего ума это дело. Еще напорчу, пожалуй.

— По крайней мере своими советами не оставьте, бывайте здесь почаще. А всего бы лучше, если бы на это время и поселились здесь в доме у Авдотьи Марковны,— говорил Чапурин.— По осени аль зимой думаю я ее и Дарью Сергевну за Волгу перевезти к себе. Пущай погостят да развеют сколько-нибудь мысли горькие свои. Дом-от на ваши руки в таком разе они покинули бы. Нет уж, Герасим Силыч, не отрекайтесь от этого, по доброй вашей душе сироту не оставьте. Зато вам господь воздаст. Сами вы как начетчик знаете: «Кто призрит сиротку, тот божью волю творит».

— Да не могу же я, Патап Максимыч, никаким способом не могу по-вашему сделать,— сказал Герасим Силыч.— Посоветоваться — отчего ж не посоветоваться иной раз. От этого я не прочь, а чтобы долго здесь заживаться, на это не могу согласиться. У меня ведь тоже свои делишки бывают, частые разъезды, этим ведь мы только и кормимся.

— На этот счет не беспокойтесь, в убытке не останетесь,— сказал Патап Максимыч.— Угодно вам, плату сами назначьте, не хотите, мы назначим. Уверяю вас, останетесь с выгодой.

— Не знаю, что вам и сказать на̀ это,— долго подумав, молвил Чубалов.— Да что об этом толковать? Ус-

пеем еще — утро вечера мудренее, а я меж тем хорошенько о том поразмыслю.

А сам думает: «Положили бы целковых сотнягу на месяц, куда бы ни шло, можно бы было решиться. Тогда, ежели где и редкостное выпадет, можно послать Иванушку, он наторел и по книгам, и по иконной части, и по редкостным вещам. Удатливая головушка! Хорошо, ежели бы столько положили. Да не дадут. Шутка сказать, тысяча двести целковых на год... Не дадут — это все одно мое пустое рассужденье».

И под эти думы заснул Герасим Силыч, а Патап Максимыч давно уж храпел во всю ивановскую.

* * *

С самой смерти Марка Данилыча Дуня почти не приходила в себя. Утомленная дальней дорогой, а потом пораженная смертью отца, не говорила она ни слова и даже мало понимала из того, что ей говорили. Однако в день похорон переломила себя, выстояла в доме длинное погребение и потом версты две прошла пешком до кладбища за гробом. Воротясь домой, удалилась в свою комнату и впала в забытье. Аграфена Петровна ни на минуту не оставляла подруги. Похоронной трапезой в доме распоряжался Патап Максимыч с Дарьей Сергевной. Много пособляла и Ольга Панфиловна. На трапезе у рабочих всем заправлял Герасим Силыч с племянником. Сам на то назвался. И все прошло чинно, стройно, хорошо.

Гости разошлись по домам, и в смолокуровском доме все притихло. Не успокоилась только Дуня: то в беспамятстве лежит, то болезненным стоном проявляет не угасшую еще в ней жизнь, то, очнувшись из забытья, зальется обильными слезами.

На другой день похорон немножко она оправилась, даже поговорила с Аграфеной Петровной о том, что надо ей делать теперь. Дарья Сергевна пришла, и с ней пошли такие же разговоры. С общего согласья стали на том, чтобы все дела предоставить Патапу Максимычу и из его воли не выступать — что ни скажет, исполнять беспрекословно.

Позвала Аграфена Петровна Патапа Максимыча.

— Будьте вы и мне родным отцом... в моем сирот-

стве... как были вы Груне,— с низким поклоном чуть не до земли отчаянным голосом сказала вся в слезах Дуня, обращаясь к Патапу Максимычу.— Войдите в трудное мое положение! Бог не оставит вас за то своими милостями. Сжальтесь, смилуйтесь надо мной, отец мой второй!

— Ну вот на старости лет еще дочку господь даровал.— Все дочки да дочки! — обнимая Дуню, сказал, улыбаясь, до слез растроганный Чапурин.— Ин быть по-твоему. Здравствуй, дочка богоданная! Смотри ж у меня, нового отца слушаться, а он постарается, чтоб у тебя было все цело и сохранно. И в обиду не дам тебя никому.

И трижды со щеки на щеку поцеловал новую дочку.

— Вот как, по моему рассужденью, надо бы тебе поступить,— сказал Патап Максимыч, садясь на диван возле Дуни,— что ни осталось после Марка Данилыча, в наличные деньги обратить, а заведения и промысла продать хоть и с убытком, а потом и жить на проценты с капитала, какой выручим. Как думаешь?

— Вы лучше меня знаете, я ничего в этих делах не понимаю. Делайте, как надо по-вашему, а я наперед на все согласна,— промолвила Дуня.

Патап Максимыч подробно рассказал ей предположения свои насчет Никифора и Чубалова. Дуня во всем согласилась с ним.

— А пройдут шесть недель, тогда не переехать ли тебе с Дарьей Сергевной к нам в Осиповку? И у Груни поживешь,— сказал Патап Максимыч.— На людях все-таки меньше тоски.

— А дом-от как же покинуть? Его на чьи руки оставить? Сколько ведь в нем имущества! — возразила Дарья Сергевна.

— Надо хорошенько будет попросить Герасима Силыча,— сказал Патап Максимыч.— Он за всем присмотрит. Да вот еще что думаю — для чего вам оставаться в здешнем городе, не лучше ль в ином месте устроиться домком? Из близких у вас здесь ведь нет никого. Ни единого человека нет, кого бы можно было пожалеть, с кем бы прощаться было тяжело.

— Ах, батюшка Патап Максимыч,— возразила Дарья Сергевна.— А могилки-то родительские как же останутся?

— На помины можно ездить сюда,— молвил Патап Максимыч.

— Конечно, можно,— сказала Дарья Сергевна.— Да с домом-то как же расстаться? Дунюшка родилась ведь в нем, в нем и выросла, и радости в нем видела, и горя пришлось дождаться... Тяжело ей будет, Патап Максимыч, с родительским домком расставаться, ой как тяжело.

— Что скажешь на̀ это, Дуня? — спросил Чапурин.

— Что мне дом? — грустно она отвечала.— Что теперь мне в нем дорогого? Не глядела бы ни на что. Одна отрада была, одно утешенье — тятенька голубчик, а вот и его не стало... Одна на свете осталась безродная.

И залилась слезами.

— Конечно,— сказала Аграфена Петровна, обращаясь к Дуне,— конечно, ты здесь одна с Дарьей Сергевной пропадешь с тоски, а за Волгой будешь не одна. Бог даст, твое горе мы и размыкаем. Вы уж не противьтесь, Дарья Сергевна, право, и самим вам отраднее будет у нас, чем здесь, в опустелом доме.

— По мне, что ж? Я здесь, так здесь, за Волгой, так за Волгой,— не совсем довольным голосом ответила Дарья Сергевна.— Жить мне недолго, а где в сыру землю ни зароют — все равно. Поверх земли не оставят же.

— Так как же, Дуня? Решай,— сказала Аграфена Петровна.

— У меня теперь новый тятенька,— потупив глаза, тихо промолвила Дуня.— Как прикажет, так и сделаю; из его воли не выступлю.

— Ну вот и прекрасно, вот мы и устроим, как только можно лучше,— целуя Дуню, припавшую головкой к его плечу, сказал глубоко тронутый Патап Максимыч.

— С домом-то как же? — всхлипывая от подступивших слез и печально повесивши голову, спросила Дарья Сергевна.

— Выищется покупатель, продадим, хоть и убытка придется принять, не то отдадим внаймы — это уж нам Герасим Силыч устроит,— сказал Патап Максимыч.

Потом еще довольно потолковали о распоряжениях, какие надо сделать. Дуня казалась спокойнее прежнего. Заметивши это, Чапурин сказал:

— Теперь бы надо сундук вскрыть, а то толкуем мы, толкуем, а все равно в потемках бродим. Надо узнать, сколько наличного капитала, сколько векселей, опять же там и счета̀, покойник-от сам ведь их вел, своей рукой писал. А может статься, найдется и последняя его воля.

— Вскрывайте,— сказала Дуня, подавая ключи Патапу Максимычу.

— Нет,— сказал он, не принимая ключей.— Хоша ты мне и дочка теперь, а без твоей бытности все-таки сундука пальцем не трону. Пойдем туда, ежель есть силы — дело будет недолгое.

Дуня встала, повинуясь приказу «нового тятеньки».

— Пойдемте, Дарья Сергевна, а ты, Груня, сыщи Герасима Силыча да вместе с ним и приходи,— сказал Патап Максимыч.

Все сошлись в бывшей спальне Марка Данилыча.

Патап Максимыч своими руками отпер железный сундук. На столе, поставленном возле, стал он раскладывать найденные бумаги — в одну сторону откладывать тучные пачки серий, ломбардные билеты, наличные деньги; по другую векселя и сохранные расписки, в третью сторону клал купчие крепости и закладные разных людей. Особо клал Патап Максимыч счета и торговые книги, особо контракты и условия. Завещания не нашлось.

Выбравши все из сундука, Патап Максимыч стал считать, а Чубалов на счетах класть. В сериях, в наличных деньгах и векселях до восьмисот тысяч рублей нашлось, да домов, лесных дач, барж и промысловых заведений тысяч на четыреста выходило, так что всего за миллион перевалило.

Разбирая расписки, Чапурин взял одну из них и, оглядев, подал ее Чубалову и примолвил:

— Что за тарабарщина?

— По-татарски,— сказал Герасим Силыч.— Да вот и перевод, и маклера подпись, и печать казенная.

Читает вслух Патап Максимыч русский перевод расписки.

«Тысяча восемьсот такого-то года, августа в двадцатый день, в Нижегородской ярманке, я, нижеподписавшийся оренбургский первой гильдии купец Махмет Бактемиров Субханкулов, получил от почетного гражданина и первой гильдии купца Марко Данилыча Смоло-

курова тысячу рублей серебром, с тем, что обязуюсь на будущей Нижегородской ярманке возвратить сии деньги ему самому или кому он прикажет, ежели я, Субханкулов, до тех пор не вывезу в Россию из хивинского плена находящегося там Мокея Данилова».

Все диву дались, а Дарья Сергевна, всплеснув руками и громко вскрикнувши, так и покатилась на стоявший возле диван.

* * *

На другой же день Чапурин послал к Субханкулову эстафету, уведомляя о кончине Марка Данилыча и о том, что, будучи теперь душеприказчиком при единственной его дочери, просит Махмета Бактемирыча постараться как можно скорей высвободить Мокея Данилыча из плена, и ежель он это сделает, то получит и другую тысячу. На этом настояла Дуня; очень хотелось ей поскорей увидеться с дядей, еще никогда ею не виданным, хотелось и Дарью Сергевну порадовать.

Но самоё Дарью Сергевну нимало не заботило, скоро или поздно увидит она Мокея Данилыча, она даже боялась встречи с бывшим женихом своим. «Что я ему?— она думала.— Больше двадцати годов за упокой его поминала, больше двадцати годов не было об нем ни слуха ни духа... И забыл, чать, про меня совсем. А сам-от сердечный, сколько горя-то в полону натерпелся. Бьют, слышь, там наших-то, мучат. Чего-чего натерпелся он в эти годы. А дурища Матрена еще говорит давеча: «Были похороны, теперь свадьбу надо будет играть...» Нашли невесту! Старая я, болящая — куда уж мне об венце помышлять: жених мой — гроб сосновый, давно меня он дожидается. А хочешь не хочешь, придется с Мокеем Данилычем встретиться! Боязно. Ведь ровно с того света выходец... Вот как бы Дунюшке дал бог скорей пристроиться за умного, за хорошего и за доброго человека. Поглядела бы я маленько на новое житье-бытье ее, да и пошла бы в скиты грехи свои замаливать да за других молиться».

Не любила она даже, когда иной раз о Мокее Данилыче при ней речь заведут. Сейчас замолчит и уйдет вон из комнаты.

Дуня поправлялась помаленьку. Она могла уж разговаривать с Патапом Максимычем об устройстве дел.

Чапурин со дня на день ждал шурина Никифора, чтобы скорей получил он от Дуни доверенность на продажу унженских лесов, баржей и низовых промыслов и ехал бы поспешней на Унжу. Насчет дел по городу разные люди являлись к Чапурину с предложеньями заняться устройством их, были в том числе и отставной стряпчий, и выгнанный из службы становой, и промотавшиеся дотла помещики, и прогоревшие купцы. А сын предводителя, узнав, что Дуне больше миллиона досталось, опять стал свататься, сам предводитель по этому делу приезжал «к мужлану», как звал его,— Патапу Максимычу. Стали разузнавать стороной мысли о замужестве богатой сироты и те кумушки, что прежде были засылаемы к Марку Данилычу сватать купчиков. Но всем от Патапа Максимыча один был ответ: «Авдотье Марковне ни приказывать, ни советовать я не могу, да и раненько бы еще ей о выходе замуж думать — у родителя в гробу ноги еще не обсохли...» И, ругая Чапурина, искатели смолокуровского миллиона в злой досаде расходились по своим местам. «И откуда они этого непутного заволжанина выкопали? — говорили они.— Ни слуху ни духу про него у нас никогда не бывало, вдруг ровно из земли вырос, как из ведьминой трубы вылетел, и ну чужим добром распоряжаться! Хорошо, видно, подмаслил городничего, не то бы давно ему в кутузке сидеть. Да и она-то дура неповитая! Зачем проходимца слушается».

До Патапа Максимыча такие толки не доходили. А и дошли бы, плюнул бы только, да и прочь от сплетников.

Сидели вечером за чаем Дуня, Дарья Сергевна, Аграфена Петровна, Патап Максимыч и Герасим Силыч, перед тем отправивший племянника в Сосновку. Зашла речь, как бы устроить дела в городе и присмотреть за домом.

По совету Патапа Максимыча, Дуня стала просить Чубалова, чтоб оказал он ей милость, сжалился бы над ней, принял на себя дела в городе.

Герасим Силыч всячески отрицался, говоря то же, что говорил Чапурину: у него-де свои дела, и покинуть их даже на короткое время нельзя.

— Сказано было вам, Герасим Силыч, что в убытке не останетесь,— громко промолвил Патап Максимыч.—

Скажите откровенно, сколько бы взяли вы в месяц с Авдотьи Марковны?

Чубалов замолчал и низко склонил голову.

— Да говорите же, Герасим Силыч,— настаивал Чапурин.

— Не знаю, что и говорить,— едва слышно, помолчав, промолвил Чубалов.

— А то и говорите, что для вас не обидно будет,— сказал Патап Максимыч.

— Тут в том главное дело, что совсем должна стать моя торговлишка, и в разъезды за стариной ездить мне не удастся,— сказал Чубалов.— Конечно, Иванушку бы можно посылать, да все уж это не то, как я сам. Да он же в дальних отлучках без меня и не бывал никогда. Парень молодой, иной раз может и прошибиться.

— Ах ты, господи! — повысивши голос, с нетерпеньем сказал Патап Максимыч.— Этак мы, пожалуй, до смерти не столкуемся.

И, встав из-за стола, закинул руки за спину и широкими шагами стал ходить взад и вперед по комнате.

— Нет, так пива не сваришь! — сказал он.— Ты ближе к делу, а он про козу белу; ты ложки, а он тебе плошки.

И, остановившись перед старинщиком, положил ему руку на плечо и спросил:

— Скажите по совести, много ли в месяц барыша получаете?

— Месяц на месяц не придется, Патап Максимыч,— отвечал Чубалов.— В иной месяц, кроме расхода, нет ничего, а в другой и больно хорошо. К примеру взять: у Макарья в ярманке, на Сборной в Симбирске, в Ирбитской. Да еще когда на Вятку к тамошним домоседкам заедешь либо на Урал к казакам.

— Это так, это во всякой торговле бывает, какую ни возьми,— сказал Патап Максимыч.— А в год сколько барыша?

— И это мудрено сказать,— уклончиво ответил Герасим Силыч.— И год на год не приходит.

— Фу ты пропасть какая! Чуть не битый час толкуем, а все попусту. Толков много, только толку нет,— вскликнул, нахмурясь, Патап Максимыч.— Так рассуждать все одно что в решете воду таскать! Давно ль торг ведете?

— Больше пятнадцати годов,— отвечал Чубалов.

— Который из годов самый был прибыльной?

— Первые годы после моего странства были самые прибыльные,— сказал Герасим Силыч.— Потом истратился на семью, дом поставил, землю купил, племянников от рекрутчины свободил, от того капиталу и стало у меня много поменьше. А ведь по капиталу и барыш.

— Вот у нас дело-то как идет,— с досадой молвил Патап Максимыч, обращаясь к Дуне.— Ни из короба, ни в короб, в короб не лезет, из короба нейдет и короба не отдает. В первые-то года поскольку барышей получали? — прибавил, обращаясь к Чубалову.

— Целковых тысячи по полторы, а были годы, что и по две получал,— отирая платком раскрасневшееся лицо, ответил Чубалов и опять понурил голову.

— Так вот какой разговор будет у нас,— сказал Патап Максимыч.— Авдотья Марковна даст вам не две, а две с половиной тысячи в год за хлопоты ваши и за распоряжения по здешнему хозяйству. И будете ли вы ее делами заниматься месяц ли, два ли, целый год, все равно получите сполна две тысячи с половиной целковых. Согласны?

Чубалов не ожидал этого. И на сто рублей в месяц не надеялся, а тут вдруг две с половиной тысячи. По стольку ни в один год он не получал. По-прежнему сидел, опустя голову и не зная, что отвечать.

— Согласны, что ли? — спросил его Патап Максимыч.— Мало, так прямо скажите.

— Согласен,— едва слышно проговорил Чубалов.— Ваш слуга, Авдотья Марковна, хоть по самый конец жизни,— прибавил он, низко кланяясь Дуне.

— Очень, очень рада я, что вы согласились. Теперь я спокойна насчет здешних дел. Да это еще не все, что сказал вам Патап Максимыч. Давеча мы с ним про вас много разговаривали. Он скажет вам.

Оторопел Герасим Силыч. «Что еще такое у них обо мне решено?» — подумал он и повернулся к севшему за стол Чапурину, выжидая слов его.

— Видите ли, любезнейший Герасим Силыч,— сказал Патап Максимыч.— Давеча мы с Авдотьей Марковной положили: лесную пристань и прядильни продать и дом, опричь движимого имущества, тоже с рук сбыть. Авдотье Марковне, после такого горя, нежелательно

жить в вашем городу, хочется ей, что ни осталось после родителя, в деньги обратить и жить на проценты. Где приведется ей жить, покуда еще сами мы не знаем. А как вам доведется все продавать, так за комиссию десять процентов с продажной цены получите.

И во сне не снилось это Чубалову. Не может слова сказать в ответ. Чапурин продолжал говорить, подавая деньги Герасиму Силычу:

— А это вам пятьсот рублей за труды при погребении Марка Данилыча.

— Помилуйте, Патап Максимыч, это уж чересчур!— воскликнул Герасим Силыч.

— Не моя воля, а молодой хозяюшки,— сказал Патап Максимыч.— Ее волю исполняю. Желательно ей было, чтобы похороны были, что называется, на славу. Ну, а при нашем положении, какая тут слава? Ни попов, ни дьяков — ровно нет ничего. Так мы и решили деньги, назначенные на погребенье, вам предоставить. Извольте получить.

Чубалов ошеломлен был такими милостями, о каких и в голову никогда ему не приходило. Особенно поразили его обещанные проценты с продажной цены. «Ведь это, мало-мало, десять тысяч целковых. Буду богаче, чем тогда, как воротился в Сосновку, да к тому ж и расходов таких, как тогда были, не предвидится. Истинно божеская милость мне, грешному, выпала!»

Молча взял он пятьсот рублей, поклонился Патапу Максимычу и, подойдя к Дуне, сказал:

— Вы, Авдотья Марковна, столько благодеяний мне оказали, что буду я теперь неустанно бога молить, да устроит он ваш жизненный путь. Пошли вам господи доброго и хорошего сожителя, дай бог удесятерить достатки ваши, дай вам бог во всю вашу жизнь не видать ни горя, ни печалей. А я, после таких ко мне милостей, вековечный и верный служитель ваш. Теперь ли, после ли когда, для вас на всякую послугу готов.

— Очень рада, Герасим Силыч, что мы с вами поладили и вы не отказались оказать сироте помощь,— с ясной улыбкой проговорила Дуня.

— Не я вам, а вы мне, Авдотья Марковна, великую, неслыханную помощь являете,— со слезами на глазах ответил Чубалов.— Богачом хотите сделать меня. Воздай вам господи!

— Герасим Силыч,— сказала, потупивши светлые очи, Дуня Чубалову.— Ведь у вас тятенька покойник выменял икону преподобной мученицы Евдокии. Ангел мой. Теперь уж больше года та икона возле кровати в изголовьях у меня стоит.

— Точно так, Авдотья Марковна, Марко Данилыч у меня ту икону выменял,— отвечал Чубалов.— Редкостная икона, царским жалованным изографом при святейшем Филарете, патриархе московском, писана. Комнатная была у благочестивой царицы Евдокии Лукьяновны.

— И Марка Евангелиста икона, что у тятеньки покойника при гробе в головах стояла,— тоже от вас?

— И ее у меня же выменял. Она баронских писем, совсем почти фряжская. Эта много будет попростее, чем икона вашего ангела, и помоложе,— сказал Герасим Силыч.

— А нет ли у вас иконы святителя Амвросия Медиоланского? — спросила Дуня.

— Такой не имеется,— отвечал Герасим Силыч.— Да едва ли можно такую найти старинных писем. Сколько годов я по иконной части делишки веду, чуть не всю Россию изъездил из конца в конец и всего-навсе две только старые иконы Амвросия Медиоланского видел. А теперь их нет: одну за перстосложение отобрали, другая в пожаре сгорела.

— Мне хоть бы новую,— сказала Дуня.

— В таком разе можно поморским заказать, а не то в Москве на Преображенском,— ответил Чубалов.— Ежели наскоро требуется, могу в самом близком времени ее получить.

— Сделайте одолжение,— сказала Дуня.— Это самое мое усердное желание иметь икону святителя Амвросия,— молвила Дуня.— Буду вам очень благодарна.

— Постараюсь, Авдотья Марковна, будьте благонадежны,— сказал Чубалов.—Штилистовая требуется или побольше?

— Чтобы в киотку, что у меня в комнате, поставилась. Снимите мерочку. Хочу, чтоб она всегда у меня в изголовьях была,— ответила Дуня.— И оклад закажите, пожалуйста, серебряный, густо позолоченный, а каменья на икону я вам сама выдам.

— Слушаю-с. А к какому времени потребуется? — спросил Чубалов.

— Срока не назначаю, а чем скорее, тем лучше,— ответила Дуня.

— Да ты обещанье, что ли, дала?—спросила Дарья Сергевна.

— Да, обещанье,— потупившись, сухо промолвила Дуня.

* * *

С того дня Чубалов стал хозяйствовать в смолокуровском доме. Съездил он на день в Сосновку и переехал в город со всем книжным скарбом. Иванушку взял с собой.

Устроивши главные дела покойного Марка Данилыча, Чапурин, несмотря на просьбы новой своей дочки, собрался в путь-дорогу в свои родные леса. Аграфена Петровна с ним же поехала. Страшно показалось Дуне предстоявшее одиночество, особенно печалила ее разлука с Груней. К ней теперь привязалась она еще больше, чем прежде, до размолвки.

Уговорились так: к двадцатому дню после кончины Марка Данилыча приедет к Дуне Патап Максимыч и Аграфена Петровна с детками, и все они пробудут до сорочин. После того Дуня с Дарьей Сергевной двинутся за Волгу со всеми пожитками.

Никифор между тем приехал и, получив доверенность, на другой же день покатил в Унжу.

За день либо за два до отъезда Патапа Максимыча Дуня спросила у него:

— В векселях, что выданы тятеньке покойнику, не нашлось ли векселей или расписок купца Поликарпа Андреича Сивкова?

— Есть векселек,— ответил Патап Максимыч.— На нонешней ярманке выдан.

— Велик ли? — спросила Дуня.

— Помнится, тысячи на три, а уплата на будущей Макарьевской,— ответил Патап Максимыч.

— Дайте мне его, а из счетов, пожалуйста, вычеркните,— сказала Дуня.

— Зачем это, дочка? — ласково и озабоченно спросил у нее Чапурин.

— Так надо мне,— сказала решительно Дуня и другого ответа не дала.

Патап Максимыч пристально посмотрел на нее. А у ней взгляд ни дать ни взять такой же, каков бывал у Марка Данилыча. И ноздри так же раздуваются, как у него, бывало, когда делался недоволен, и глаза горят, и хмурое лицо багровеет — вся в отца. «Нет, эту девку прибрать к рукам мудрено,— подумал Чапурин.— Бедовая!.. Мужа будет на уздечке водить. На мою покойницу, на голубушку Настю смахивает, только будет покруче ее. А то по всему Настя, как есть Настя».

Отдал он Дуне вексель Сивкова, и та тотчас же разорвала его пополам.

— Что ты? Что сделала? — вскочивши с места, с изумленьем вскрикнул Патап Максимыч.— Теперь вексель не годится.

— Знаю,— равнодушно ответила Дуня.

— Зачем же это?

— Долг уплачиваю. Поликарпу Андреичу я должна больше, чем он был тятеньке должен,— сказала Дуня, переглянувшись с Аграфеной Петровной.

— Как должна? В толк не возьму,— сквозь зубы проговорил недовольный Чапурин.

Дуня не отвечала.

— Тятенька,— вступилась Аграфена Петровна,— вы ведь еще ничего не знаете, как мы с Дуней от Луповицких уехали. Много было всяких приключений, говорить теперь не стану, сама когда-нибудь расскажет. Поликарп Андреич да еще один человек и ей и мне много добра сделали. Будь у меня такие же деньги, как у Дуни, я бы и больше трех тысяч не пожалела.

— Вот оно что! — тихо промолвил Патап Максимыч.— Да что ж вы ничего не расскажете? Три тысячи деньги ведь немалые, кидать их зря не годится. Может быть, одолжения Сивкова и десятой доли этих денег не стоят.

— Когда Дуня тебе расскажет все, сам увидишь, что помощь Сивковых стоит больше,— сказала Аграфена Петровна.

— Так расскажи, Дуня, не утай от второго отца,— ласково молвил стихший Патап Максимыч.

— После расскажу, после, когда буду у вас в Осиповке,— сказала Дуня,— а теперь, видит бог, не могу.

Язык не поворотится. Знаете, отчего мне хочется покинуть этот город и в нем даже родительские могилки? Чтобы подальше быть от этих Луповицких, от Фатьянки, от Марьи Ивановны. Много я от них натерпелась — говорить, так всего не перескажешь.

Навострила Дарья Сергевна уши, услыхавши от Дуни такие слова про Марью Ивановну. Довольная улыбка озарила лицо ее. Радостно она вокруг посмотрела.

— Как? С Марьей Ивановной рознь у тебя? — промолвила она.— Слава богу! Никогда я не чаяла в ней толку.

— Все они обманщики, богопротивники! — с горячностью вскликнула Дуня.

— Уж они тебя в поганую свою веру не приводили ль?—спросила Дарья Сергевна.—Весной, как Марья Ивановна жила у нас, она ведь про какую-то новую веру рассказывала тебе да расхваливала ее. Я слышала сама из каморки, что возле твоей комнаты. Только что слов ее тогда понять не могла.

Дуня не дала ответа.

— А ведь я в Фатьянке-то без тебя была,— продолжала Дарья Сергевна.— Покойный Марко Данилыч думал, что ты уж приехала сюда с Марьей Ивановной и, только что воротился с ярманки, посылал меня за тобой. В Фатьянке мы никого не достучались, а ночь провели в Миршени у одной вдовы. Она и порассказала нам кое-что про фатьянских. Это, слышь, особая какая-то вера — фармазонами прозывают тех, кто ее держится. После того и стала я думать: Марья-то Ивановна не той ли же веры? А вот на днях дошли вести, что фатьянских за ихнюю противную веру посадили в острог. Туда и дорога безбожным!

Дуня смутилась. Стала жаловаться, что у ней голова разболелась, и ушла с Аграфеной Петровной в свою спальню.

* * *

На возвратном пути Патап Максимыч с Аграфеной Петровной у Колышкиных остановились. Рады были гостям и Сергей Андреич и Марфа Михайловна.

— Что так долго загостились? — спрашивал Сергей Андреич Патапа Максимыча.

— Схоронили ведь мы Марка-то Данилыча,— отвечал Чапурин.

— Как? — вскликнул Колышкин.

— Когда с Груней мы к нему приехали, был он без языка и только одной рукой владел немножко. Груня поехала в Рязанскую губернию за дочерью его. И в тот день, как они воротились, другой удар случился с ним. Так и покончил жизнь.

Подробно рассказал Патап Максимыч, как он ночью застал Корнея возле умиравшего Смолокурова, рассказал и о распоряженьях своих по делам сироты. Колышкин нашел, что крестным все сделано было хорошо.

— А в этот раз, как были вы у меня с Аграфеной Петровной, не успел я вам сказать, что на короткое время я отсюда отлучался. В Казань надобность была съездить. Назад ехал на своем пароходе. Ехал на тот раз со мной молодой купчик с большим багажом, из Казани на житье сюда переселяется он. Разговорились мы, вижу и слышу — парень умный и, надо думать, доброй души, однако, кажется, маленько озорной, кровь-то молодая, видно, еще не совсем уходилась в нем. И тебя знает он и Аграфену Петровну; знал и покойного Марка Данилыча. Здесь покамест стоит на квартире, а сам присматривает, где бы домик купить себе.

— Не Самоквасов ли Петр? как величать по отечеству — забыл,— сказал Патап Максимыч.— Петр-то он, Петр,— в прошлом году на Петров день в Комарове мы именины его справляли. И Марко Данилыч с нами был тогда.

— Он и есть,— молвил Сергей Андреич.— Петром Степанычем зовут его.

— Ну так, так, Петр Степаныч,— подхватил Патап Максимыч.— А что озорной, так впрямь озорной. Сколько он в скитах у матерей начудил, так и рассказывать всего не расскажешь. А голова умная, и точно что доброй души человек. Куролесит, а перейдет время, остепенится, и, ежели возьмет за себя умную да хорошую жену, чистое золото выйдет из него.

— Частенько у меня бывает,— сказал Колышкин,— да и живет неподалеку. С неделю назад прибежал он ко мне, бледный такой, расстроенный, и спрашивает, не слыхал ли я чего про Смолокурова и про его дочь. Я не знал еще ничего и сказать не мог, а он ушел от меня та-

кой притуплённый, даже слезы, кажется, из глаз выкатились.

— Как бы с ним повидаться? — сказала вошедшая Аграфена Петровна.— Мы довольно с ним знакомы, в ярманку, бывало, каждый день к мужу в лавку ходил.

— Не придет ли вечерком, давно что-то не бывал,— ответил Колышкин.— А не придет, спосылать можно.

— Пожалуйста, Сергей Андреич, спосылайте. Мне непременно хочется с ним повидаться.

— Можно и послать,— молвил Колышкин.

И тотчас же послал за Самоквасовым. И записку написал на случай, если бы посланный не застал его. Приписал, что теперь у него Патап Максимыч с Аграфеной Петровной и что на другой день уезжают они в свои леса за Волгу. Прибавил также, что Марко Данилыч приказал долго жить.

Не застал посланный Петра Степаныча, куда-то по делам он уехал. Записку Сергея Андреича оставил.

К вечернему чаю Самоквасов пришел к Колышкиным. Его радушно встретили, и Патап Максимыч вскоре обратился к нему:

— Давненько, Петр Степаныч, мы не видались. Как твое дело с дядей? Покончил ли?

— Слава богу, покончил. Поделились,— отвечал Самоквасов.

— Как же? — спросил Чапурин.— Чем решили?

— Не мы решали, суд порешил,— сказал Самоквасов.— Я получил свое, хоть не без хлопот, надо было выручать присужденное наследство. И надоела же мне эта Казань после этого, хоть и родина, а век бы не видать ее. Сюда на житье переехал, здесь хочу устроиться.

— И дело,— молвил Патап Максимыч.— Хорошо придумано. На новом месте и новая жизнь пойдет. А сколько с дяди-то пришлось?

— Половина, что после дедушки осталось. На двести тысяч,— ответил Самоквасов.

— С таким капиталом можно повести дела,— молвил Чапурин.— Переписывайся в здешние купцы да заводи торги. Только чур не шалопайничать — по скитам ради озорства не ездить, не повесничать там. Пора остепениться, любезный Петр Степаныч. А то и не увидишь, как дедушкины двести тысяч вылетят в трубу.

— Что было, то прошло, да и быльем поросло,— с глубоким вздохом промолвил Петр Степаныч.— Был молод, был неразумен, молодая кровь бурлила, а теперь уж я не тот,— укатали сивку крутые горки. Как оглянешься назад да вспомнишь про прежнее беспутное время, самому покажется, что, опричь глупостей, до сей поры ничего в моей жизни не было.

— Ожениться бы тебе, Петр Степаныч. С хорошей женой и сам бы ты был хороший человек,— сказал Патап Максимыч.— Годков-то уж тебе не мало, из подростков вышел,— право, не пора ли? От дяди отделился, имеешь теперь свой капитал, рожна, что ли, тебе еще? Аль в скиты тянет с белицами да с молоденькими старицами валандаться?

— Что мне скиты? Пропадай они пропадом, и ухом не поведу,— сказал Петр Степаныч.— Дядя каждый год меня с милостиной туда посылал, не своей охотой ездил я на Керженец. Теперь то время прошло.

— Толкуй! Знаем и мы кой-чего понемножку,—сказал Патап Максимыч.— Никому спуску не давал. Хоть Фленушку взять, сестрицы моей воспитанницу. Валандался ведь с ней? Ну, скажи правду-матку как есть начистоту.

И лукаво поглядел на Петра Степаныча.

— В скитах да и везде в ваших лесах много сплеток плетут, Патап Максимыч,— ответил Самоквасов.— А если что и было, так я теперь ото всяких обителей отшатился. Пропадай они совсем.

Все примолкли. Спустя немногое время Колышкин спросил Петра Степаныча:

— Домика не присмотрели ль?

— Нет,— тоскливо ответил Самоквасов.— Да и на что мне дом, как порассудить хорошенько. Истратишься на него, а после с рук не сбудешь... А где мне еще придется жить, сам покуда не знаю. В Москве ли, в Питере ли, или у черта на куличках где-нибудь...

— А ты, парень, не черкайся [1], коли говоришь про хорошее дело,— внушительно сказал ему Патап Максимыч.— Зачем супротивного поминать? Говорю тебе — женись. Поверь, совсем тогда другая жизнь у тебя будет.

---

[1] Не поминай черта.

— И рад бы жениться, да жениться как? — молвил Петр Степаныч.— Нет ли у вас на примете подходящей невесты, я бы со всяким удовольствием.

— Сваха, что ль, я тебе? — засмеялся Чапурин.— Сам ищи, дело-то будет вернее.

Под эти слова еще человека два к Колышкину в гости пришли, оба пароходные. Петр Степаныч ни того, ни другого не знал. Завязался у них разговор о погоде, стали разбирать приметы и судить по ним, когда на Волге начнутся заморозки и наступит конец пароходству. Марфа Михайловна вышла по хозяйству. Улучив минуту, Аграфена Петровна кивнула головой Самоквасову, а сама вышла в соседнюю комнату; он за нею пошел.

— Садитесь-ко возле меня, Петр Степаныч,— указывая на кресло, сказала она.

Он сел, Аграфена Петровна продолжала:

— А я ведь далеко за Дуней ездила, в Рязанскую губернию. И только что воротилась, в первую же ночь Марка Данилыча не стало.

— Слышал я давеча утром, тамошние торговцы сказывали,— молвил Петр Степаныч.— Она что?

— Известно что. Плачет, и утешить ее невозможно,— ответила Аграфена Петровна.— Вот я сама всего девяти годков была, как померли у меня батюшка с матушкой и осталась я одна в чужом, незнакомом городе... Мала была и неразумна, а до сих пор сердце кровью обливается, как вспомнишь, как плакала я у ворот Мартыновской больницы... И послал мне тогда бог милосердого человека — тятеньку Патапа Максимыча. И была я у него и до сих пор осталась как родная дочь... А у Дунюшки кто заступа?.. Где покровитель? Одна-одинешенька, что в поле головешка... Дарья Сергевна при ней, да что ж она может? Нашлось в бумагах покойника, что брат не утонул в море, а больше двадцати годов у бусурман в полону живет — выкупают его теперь. Да ежели и вынесет его бог на русскую землю... Какой же он защитник племянницы? Изживши век середи бусурманов, пожалуй, и порядки-то русские все перезабыл. Трудно Дуне, трудно бедняжке. Денег хоть и много после отца ей досталось — больше миллиона, да ведь не в деньгах людское счастье, а в близком, добром человеке. Пройдут сорочины, приедет она с Дарьей Сергевной за Волгу, у меня поживет, у тятеньки Патапа Максимыча погостит, а

после того как устроится, один господь ведает. Не раз об этом я с ней заговаривала, только она и речей не разводит: «Во всем, говорит, полагаюсь на власть божию».

Печально повесивши голову, ни слова не сказал Самоквасов Аграфене Петровне. Лишь минуты через две тихо и робко спросил он:

— Обо мне не было речи?

— Были речи, Петр Степаныч, были. Не один раз заходили,— отвечала Аграфена Петровна.— Да вы прежде скажите-ка мне по душе да по совести — миллиона, что ли, ее вам хочется?

— Что мне миллион! — горячо вскликнул Петр Степаныч.— На что он мне? Теперь у меня у самого денег за глаза — на жизнь хватит, еще, пожалуй, останется. По ней изболело сердце, а не по деньгам, по ней по самой... Вам все ведь известно, Аграфена Петровна,— помните, что говорил я вам в Вихореве?

— Помню. Это было чуть ли не накануне того дня, как в Комаров вы поехали, к матери Филагрии, что ли,— с усмешкой сказала Аграфена Петровна.

— Издали даже не видал ее,— пылко ответил Петр Степаныч.— Что она мне? Ну было, что было прежде, то было, а теперича нет ничего.

— Зачем же вы тогда уехали от нас?

— С тоски, Аграфена Петровна, с одной только тоски,— отвечал Самоквасов.— Опротивел мне божий свет, во всем я отчаялся. «Дай, подумал я, съезжу в Комаров, там много знакомых. Не размыкаю ли с ними кручину». Однако напрасно ездил. Хоть бы словечко кто мне по душе сказал. Все только говорили, что очень я переменился — ни прежнего-де удальства, ни прежней отваги, ни веселости нисколько во мне не осталось. Тоски в Комарове прибыло, и там я пробыл всего трое суток.

— А потом?

— Потом только и думал что про нее,— сказал Петр Степаныч.

— Так ли, полно?

— Верно, Аграфена Петровна. Бог свидетель, что говорю не облыжно,— горячо вскликнул Самоквасов.— Господи! Хоть бы глазком взглянуть! А говорить не посмею, на глаза к ней боюсь показаться. Помнит ведь она, как я в прошлом году за Волгу уехал, а после того, ни с кем не повидавшись, в Казань сплыл?

— Помнит, очень твердо помнит,— сказала Аграфена Петровна.

— Что ж мне теперь делать? Господа ради скажите, Аграфена Петровна, что делать мне? — со слезами на глазах просил Самоквасов.

— Не знаю, что вам сказать, Петр Степаныч. Много бы я вам еще порассказала, да, слышите, Марфа Михайловна идет,— сказала Аграфена Петровна.— После сорочин, когда будет она в Вихореве, приезжайте к нам, будто за каким делом к Ивану Григорьичу. А к двадцатому дню расположили мы с тятенькой Патапом Максимычем ехать к ней. Остановимся здесь. Заходите.

В это время вошла Марфа Михайловна. Разговоры покончились.

* * *

С тех пор Петр Степаныч каждый день, а иногда и по два раза заходил к Колышкиным узнавать, нет ли каких вестей про Патапа Максимыча и про Аграфену Петровну, но про Дуню Смолокурову даже не заикался.

Раз Сергей Андреич, говоря с Самоквасовым, как думает он устроиться, сказал ему:

— А ведь крестный мой точную правду сказал, как был у меня. Жениться вам надо, Петр Степаныч, молоду хозяюшку под крышу свою привесть. Тогда все пойдет по-хорошему.

— Сам понимаю это,— отвечал Самоквасов.— Да ведь невест на базаре не продают, а где ее, хорошую-то, сыщешь? Девушки ведь все ангелы божьи, откуда же злые жены берутся? Жену выбирать — что жеребей метать,— какая попадется. Хорош жеребей вынется — век проживешь в веселье и радости, плохой вынется — пожалуй, на другой же день после свадьбы придется от жены давиться либо топиться.

— С вашим капиталом да не найти хорошей невесты! — молвил Сергей Андреич.— Да возьмите хоть у нас в городу. Здесь всякими невестами, хорошими и плохими, старыми и молодыми, хоть Волгу с Окой запруди. Словечко только молвите — стаями налетят, особенно ж теперь, при отдельном вашем капитале.

— Не мало уж свах налетало,— сказал Петр Степаныч.— Да это и на дело-то нисколько не похоже. Как я стану свататься, не зная ни невесты, ни семейных ее?

— На невесту-то я вам, пожалуй, укажу,— сказал Сергей Андреич.— Сам ее не видал никогда, а все одобряют, много слышал я про нее хорошего. С миллионом приданого, с вашим-то капиталом до полутора набралось бы... Какую бы можно было коммерцию завести. Про Смолокурову говорю, про сироту. Сама еще молода, из себя, говорят, пригожа̀, и нравом, вишь, кроткая, и ко всем сердобольная. В своем городу отцовское хозяйство она нарушает, за Волгу едет жить к моему крестному. А крестный, как вижу, вас жалует. Поищите. Да не зевайте — миллионная невеста, в девках не засидится.

Ни слова не сказал Петр Степаныч, но такая краска бросилась ему в лицо, что он даже побагровел весь.

Колышкин будто и не заметил того.

— Знавали вы ее когда-нибудь? — спросил он у Самоквасова.

— Знал,— робко ответил Петр Степаныч, понизивши голос.— В прошлом году видались.

— Что ж? Нравится? По мыслям? — спросил, улыбаясь, Колышкин.

Не отвечал смущенный Самоквасов.

— Повидайтесь с моим крестным, как он будет здесь, да поговорите с ним об этом откровенно,— хлопнув ладонью по плечу Самоквасова, сказал Сергей Андреич.— Авось на свадьбе попируем.

— Что вы, что вы, Сергей Андреич? — полушепотом только мог проговорить вконец растерявшийся Петр Степаныч.

Колышкин, глядя на него, улыбнулся.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

В городе, где жил Смолокуров, только и говора было, что о несметном богатстве Дуни. Досужие языки уж не миллион насчитывали, а пять либо шесть. Иные стали обращаться к ней с просьбами о помощи, другие просто денег просили взаймы, третьи уж не просили, а простонапросто требовали крупных сумм на общественные надобности — на дамские вечера в клубе, на музыку, даже на благородные театральные представления, до которых богатой наследнице никакого дела не было. Если б не Герасим Силыч, Дуня не знала бы, как и отделаться от

толпы просителей. Он так хорошо их выпроваживал, что Дуня никого из них и не видала. Боясь, чтоб кто-нибудь из просителей вдруг не разжалобил Дуню, Чубалов, оставивши небольшую часть наличных денег для хозяйства, остальное отослал в ломбард и получил именные билеты.

Вексель в три тысячи рублей, выданный Марку Данилычу Сивковым, Дуня послала по почте. В письме к Поликарпу Андреичу, извещая о кончине отца, просила она, чтобы он, взяв половину денег в благодарность за данный ей приют, другую половину вручил бы отцу Прохору.

А отцу Прохору написала, что он навсегда будет получать от нее по пятисот рублей в год и что за первые три года получит полторы тысячи рублей от Поликарпа Андреича Сивкова..

Недели через полторы Дуня получила ответные письма. Сивков рассыпáлся в благодарностях и в пожеланиях скорей оправиться от горя и счастливо устроить судьбу свою. Насчет отца Прохора писал он, что послал к нему пятьсот рублей, а остальные отдаст после, когда дозволят ему торговые обороты. Отец Прохор в самых теплых выражениях благодарил Дуню за полученные от Сивкова пятьсот рублей и за обещание не оставлять его и на будущее время. «А по отъезде из Луповиц Аграфены Петровны, коей при сем покорнейше прошу засвидетельствовать усерднейшее наше почтение и благодарность за неоставление нас, бедных и беспомощных,— писал отец Прохор,— у нас, в Луповицах, произошли неожиданные новости. Третьего дня приезжал какой-то важный чиновник из Петербурга со здешним исправником и с жандармским полковником. Денисова они взяли, и жандармские солдаты увезли его неизвестно куда. По всему дому был произведен обыск, и меня тут пригласили по моему сану. Сионскую горницу и все, что возле нее, запечатали казенными печатями, а равно и богадельню еретицы Матрены. Здешние господа остаются покамест нетронутыми, но с них, кроме Марьи Ивановны, как заезжей, взяты подписки о невыезде из имения; наблюдение же за ними поручено нашему господину исправнику. А гостившую в Луповицах барышню Кислову отвезли в город к родителям и до времени отдали под полицейский надзор. Чем все это кончится, пока неизвестно, но ходят слухи, что правительство строго

взялось за преследование богопротивной секты. Ожидают, что с нашими господами кончится тем же, чем кончилось и с родителем их, сосланным, как известно, в монастырь на неисходное покаяние. Таковые предположения слышатся не токмо от простых людей, но и от чиновных, при коих имел счастие находиться. А они в барском доме не пристали, а остановились петербургский чиновник с жандармским полковником у меня в домишке, а другие у отца дьякона да у причетников. А Марья Ивановна сегодня в ваши места поехала. О сем пишу по той причине, что, быть может, вздумает она с вами повидаться, так вы обходитесь с ней строго и бережно, дабы снова не уязвила вас. А лучше бы всего, если бы с нею вовсе вы не видались. Узнавши, что теперь вы богаты, она, надо полагать, станет у вас денег просить на ихнее дело, то есть чтобы как-нибудь, и насколько возможно, опять присовокупить вас к их кораблю. Прошу я вас, отнюдь не поддавайтесь просьбам ее — храните себя. Боюсь, не осталось ли у вас в их доме каких-нибудь писем, касающихся до богомерзких их деяний. При обыске таковых не нашлось, но ведь дело не кончено, могут оказаться после. Сами же ни к Марье Ивановне и ни к кому из них ни единой буквы не пишите. Платье и разные ваши вещи, у них оставшиеся, пускай пропадают. Откажитесь от них, и дело с концом. По моему рассуждению, кажется, вам нечего опасаться, а если б и довелось ответ давать, покажите сущую обо всем правду. С таковых взыску никогда не бывает. А главное, молитесь, ежедневно возносите моления, во-первых, самому господу богу, незримыми путями всякого земнородного руководящему, а во-вторых, святому отцу нашему Амвросию, епископу Медиоланскому. Они спасли вас от страшных бед. Теперь начинает открываться, что Денисов со своей сродницей Варварой Петровной, а также с барышней Кисловой в прежние годы то же самое учинил, на что и относительно вас покушался. Дай боже ему в монастыре раскаяться в богопротивных делах... А сколько за то будет избавлено от позора молодых девиц и даже несмысленных отроковиц».

Письмо отца Прохора обеспокоило Дуню — она боялась встречи с Марьей Ивановной. Впрочем, еще надеялась, что, после всего бывшего в Луповицах, она проедет мимо города прямо в Фатьянку.

В самом деле, они не встретились, но вскоре из Фатьянки приехал нарочный от Марьи Ивановны. Он привез два чемодана с платьем и с разными вещами, оставленными Дуней в Луповицах. В одном из чемоданов было положено все хлыстовское, что употребляла Дуня во время радений. Тут были и белые ризы, и покровцы, и знамена, и пальмовые ветки. На вещах было положено письмо.

Вот что писала Марья Ивановна:

«Что это сделала ты с нами, милая, дорогая моя Дунюшка? Сокрушила ты всех нас печалью, а мы столь много и столь пламенно тебя любим. Сколько принесла ты нам горя, тревог и беспокойства своим исчезновением. Долго искали мы, куда могла бы ты скрыться, но не могли узнать; после уж стороной услыхали, что была ты в губернском городе у купца Сивкова, а от него с какою-то женщиной поехала к больному отцу. Не можем придумать, как очутилась ты у Сивковых. Через день после того как ты скрылась, была получена эстафета с письмом ко мне. Извещали меня о внезапной болезни Марка Данилыча и просили сейчас же тебя привезти, чтоб отца в живых ты застала. И я бы исполнила это, ежели бы ты у нас на ту пору оставалась. А все произошло, я полагаю, из какого-нибудь недоразумения с твоей стороны. Надо думать, что тебе показалось бог знает что такое. Так и Егорушка говорил. Никогда, милый друг мой, не должно действовать под первым впечатлением, иначе это будет опрометчивостью. Я, впрочем, осталась вполне уверенною, что ты не покинула святого дела и не поругалась ему по вражьему наважденью. Великий, страшный ответ перед богом придется давать тебе, ежели не устоишь против искушений лукавого. Сама знаешь, какою ты приехала к нам и какою, прельщенная миром и суетой его, оставила нас. Ради вечного душевного спасения твоего умоляю тебя, милый дружок, не забывай того, что преподано тебе, и оставайся верною богу до самой кончины. Теперь, по смерти доброго Марка Данилыча, стала ты ни от кого независимою, тем более, что и достатки тебе достались немалые. Ни о чем об этом не думай, никаких забот на себя не принимай. Угождай только богу святыми делами. Хорошо бы тебе воротиться на прежнее место, либо у меня пожить в новом именье, но этого до некоторого времени исполнить невоз-

можно, потому что случилось у нас неожиданное и великое несчастье. Железная скелетная рука Полифема, сына Посидонова [1], коснулась и нашего тихого от суеты мирской убежища и грозит тем, что было со спутниками Одиссея в пещере Циклоповой. Егорушку увезли неизвестно куда, дом братьев описали и отчасти запечатали, я отпросилась в свое именье и дорогой узнала, что Полифем и туда простер ужасную свою руку. По этой причине лучше тебе покамест оставаться в своем доме, а когда утишатся скорби, тогда к нам переезжай. Посылаю тебе покинутые тобою вещи и все нужное для истинного богомоления. Пусть эти принадлежности к работе по святому и спасительному делу напоминают тебе о данных тобой клятвах и обещаниях. С этим же нарочным пришли ответ, человек он совершенно надежный и верный, писать с ним безопасно. Это письмо на всякий случай сожги, чтоб никаких следов от него не осталось, и я равным образом также поступлю с письмом, которое пришлешь мне. Времена пошли неблагоприятные, подули с севера все доброе и истинное мертвящие холодные ветры, необходимо их переждать и беречь себя как можно осторожнее, чтобы не получить болезни. Прощай, милая моя и дорогая Дунюшка, ты всегда была избранной любимицей моего сердца; забудь же недоразумение, по которому ты исчезла из братнина дома. Уверяю тебя, что тут не было ничего дурного, ничего предосудительного, тебе только показалось что-то нехорошее. Умоляю тебя не забывать, что тобою принято, и вручаю тебя покровительству царицы небесной. Ты ведь ее за себя порукой давала. Не увлекайся мирской суетой и помни всегда, что не в ней заключается полнота духа, праведное восхищение и душевный ни с чем не сравнимый восторг. Ты ведь не раз испытала его».

Раздумалась над этим письмом Дуня. «Все ложь, все обман, правды нет нисколько! — подумала она.— Какое-

---

[1] Это и некоторые другие выражения письма Марьи Ивановны дословно взяты из письма образованной петербургской хлыстовки, писанного во второй половине сороковых годов. Ни означения года, ни имени писавшей нет, но видно, что барыня хлыстовка хоть несколько была знакома с Гомером. Под именем Полифема разумеется правительство, а из сопоставления других подобных документов видно, что это преимущественно относится к министру графу Перовскому, обратившему строгое внимание на распространившуюся в его время хлыстовскую ересь.

то недоразумение нашла... Какое тут недоразумение, когда сама ввела меня в ловушку. И про мои достатки, что остались после тятеньки, поминает. Их хотелось Луповицким... Прочь, лукавые! Ни думать не хочу о вас, ни вспоминать про вашу обманную веру».

Вошла разбитная Матрена.

— Что тебе, Матренушка? — спросила ее Дуня.

— Посланный ответа ждет,— отвечала Матрена.

— Скажи, что ответа не будет,— нахмурясь, сказала Дуня.

— Он говорит, что без вашего письма никак ему нельзя домой воротиться. Строго-настрого ему, слышь, наказывали письмо привезти от вас.

— Скажи ему от меня, что никакого ответа не будет и чтоб он скорей уезжал с моего двора,— повысивши голос, сказала Дуня, и глаза ее загорелись пылким гневом.

Волей-неволей посланный от Марьи Ивановны поехал долой со двора.

— Затопи, Матренушка, в моей спальне печку,— приказала Дуня.

— Да ведь нехолодно на дворе-то, Авдотья Марковна,— сказала было Матрена.

— Затопи, когда приказывают! — повелительно крикнула Дуня.

Изумилася Матрена. Всегда тихая и кроткая смиренница так грозно и властно стала покрикивать. Ни дать ни взять покойник Марко Данилыч. Видно, яблочко от яблоньки недалеко падает.

Когда печка разгорелась, Дуня заперлась изнутри и покидала в огонь белые ризы, еще недавно так с восторгом ею надеваемые. Знамена, покровцы и пальмовые ветви тоже в печку пошли. Между платьем нашла она писанную водяными красками картину «ликовствования» и несколько мистических книг, купленных Марком Данилычем у Чубалова и взятых Дуней в Луповицы. И это все в огонь полетело. Когда сгорело все, что могло напоминать ей о хлыстах, ровно тяжесть какая свалилась с нее и на душе стало покойней и веселее. Ей казалось, будто вышла она на вольную свободу из душной темницы. Все отношения ее к луповицким хлыстам были навсегда теперь разорваны.

После, когда рассказала она обо всем этом Аграфене Петровне, та похвалила ее.

В тот же день вечером разговорилась Дуня с Чубаловым.

— Скажите мне, пожалуйста, Герасим Силыч, правду ль я слышала, будто вы, странствуя по разным местам, во многих верах перебывали? — спросила она.

— Правда, Авдотья Марковна, вам необлыжно сказывали,— отвечал Чубалов.— С ранних годов, когда еще я подростком был, с ума у меня не сходило, что вот здесь, вокруг нас, староверы разных толков живут. И каждый толк не любит другие, обзывает их отступниками, отщепенцами. Где ж, думал я, единая, правая Христова вера, в коей вечное спасение несомненно. Кого ни спрашивал, никто прямого ответа мне не дал, свою веру хвалил, другие проклинал... Тогда прочел я книгу Ефрема Сирина. А в ней сказано: в последние времена праведная вера сокроется из мира и мир по своим похотям пойдет и забудет творца своего. Тогда держащие праведную веру побегут в горы и будут пребывать в вертепах и в пропастях земных. И пошел я в странство отыскивать те вертепы и пропасти, чтоб до конца живота пребывать с людьми истинной веры. Много странствовал, но не мог их найти. Пошел по сектам,— в которой год, в которой больше оставался. А как замечу, бывало, какую ни на есть неправоту, тотчас ухожу в иное место... И таким образом пятнадцать лет провел я в странстве и все переходил из одного согласа в другой. Но нигде не видал прямой истины. Тогда, наскучив праздным шатаньем, домой воротился. И вот теперь провожу житие в той вере, в коей родился, по спасову согласию.

— Вы находите ее всех праведнее? — спросила Дуня.

Не вдруг ответил Чубалов. Думал он. Долго думал; потом тихо промолвил:

— Вы, Авдотья Марковна, слышал я, много книг перечитали и с образованными господами знакомство водите. Так не может же быть, чтоб и вам на ум не приходило, до чего дошел я чтением книг.

— Что ж такое, Герасим Силыч? — живо спросила его Дуня.— До чего дошли вы?

— Не в пронос мое слово будь сказано,— запинаясь на каждом слове, отвечал Чубалов.— Ежели по сущей правде рассудить, так истинная вера там.

И показал на видневшиеся из окна церковные главы.

— Как? В великороссийской? — спросила удивленная Дуня.

— Да, в великороссийской,— твердо ответил Герасим Силыч.— Правда, есть в ней отступления от древних святоотеческих обрядов и преданий, есть церковные неустройства, много попов и других людей в клире недостойных, прибытками и гордостию обуянных, а в богослужении нерадивых и небрежных. Все это так, но вера у них чиста и непорочна. На том самом камне она стоит, о коем Христос сказал: «На нем созижду церковь мою, и врата адовы не одолеют ю».

Задумалась Дуня.

— Да, между тамошним священством есть люди недостойные,— продолжал Чубалов.— Но ведь в семье не без урода. Зато не мало и таких, что душу свою готовы положить за последнего из паствы. Такие даже бывают, что не только за своего, а за всякого носящего образ и подобие божие всем пожертвуют для спасения его от какой-нибудь беды, подвергнутся гневу сильных мира, сами лишатся всего, а человека, хоть им вовсе не знакомого, от беды и напасти спасут. И будь хоть немного таковых, они вполне бы возвеличили свою церковь, а в ней неправды нет — одно лишь изменение обряда. А обряд не вера, и церковь его всегда может изменить. Бывали тому примеры и в древней церкви, во дни вселенских соборов.

Дуня молчала, об отце Прохоре она думала: «Разве мне, чуждой его церкви, не сделал он величайшего благодеяния? Разве не подвергался он преследованиям? Разве ему самому не угрожали за это и лишение места и лишение скудных достатков?»

Прошло несколько минут, Дуня спросила у Чубалова, зорко глядя ему в очи и ровно застыдившись:

— Когда вы были в странстве, Герасим Силыч, не случалось ли вам когда-нибудь сходиться с людьми божьими? — спросила Дуня.

— Все мы божьи люди, Авдотья Марковна, все его созданья. Не знаю, про каких божьих людей вы спрашиваете,— отвечал Чубалов.

— Такая секта есть,— сказала Дуня.— Сами себя они зовут людьми божьими, верными-праведными зовут-

ся также и праведными последних дней, познавшими тайну сокровенную.

— Не доводилось знать таких,— ответил Герасим Силыч.— Не знаю, про кого вы говорите.

— Вместо моленья они пляшут и кружатся,— тихонько промолвила Дуня.

— Так это хлысты. Фармазонами их еще в народе зовут,— ответил Чубалов.— Нет, бог миловал, никогда на их проклятых сборищах не бывал. А встречаться встречался и не раз беседовал с ними.

— Что ж вы думаете о них? Что это за учение?

— Бесовское,— ответил Герасим Силыч.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Работы на пристани и на прядильнях Смолокурова еще до Покрова были кончены, и Чубалов рассчитал пришлых работников. Рассчитались они честно и мирно—не так, как бывало при Василье Фадееве. После выгонки ненавистного приказчика голоса никто не повышал в работных избах, а ежель и случалось кому хмельком чересчур зашибиться, сами товарищи не допускали его бушевать, а если слов не слушался, так пускали в ход палки и кулаки. Иные работники, особенно дальние, после расчета Христом богом молили оставить их при смолокуровском доме за какую угодно плату, даже из одного хлеба. Чубалов соглашался, и эти работники были полезнее других, они сделались бдительными и верными стражами осиротелого дома. А это было нелишнее. Не раз были попытки подкопаться под какую-нибудь смолокуровскую постройку, где лежало мало-мальски ценное. Охотников до чужбинки в том городке, где жил покойный Марко Данилыч, было вдоволь, и потому Герасим Силыч по ночам в доме на каждой лестнице клал спать по нескольку человек, чтоб опять ночным делом не забрался в покои какой-нибудь новый Корней Прожженный.

Тихо, бесшумно шла новая Дунина жизнь, хоть и было ей тоскливо, хоть и болела она душою от скучного одиночества. С нетерпеньем ждала она тех дней, когда заживет под одной кровлей с сердечным своим другом Аграфеной Петровной.

Дни и ночи рук не покладаючи Герасим Силыч работал над устройством смолокуровских дел. Они шли успешно: кусовые и косные, реюшки и бударки, строенные на пристани, бечева, ставные сети, канаты и веревки, напряденные весной и летом, проданы были хоть и не вовремя, хоть и по низкой цене, но все-таки довольно выгодно. Лес, на пристани заготовленный на два года, был продан дороже, чем обошелся он Марку Данилычу. Приехал с Унжи Никифор, хорошо уладивши тамошние дела. За унженские дачи в свое время дешево Марко Данилыч заплатил промотавшемуся их барину. Не один год вырубал он десятин по сотне и сплавлял лес на пристани свою и нижегородскую; к тому ж и Корней Евстигнеич, будучи на Унже, не клал охулки на руку, а все-таки Никифор Захарыч, распродавши дачи по участкам, выручил денег больше, чем заплатил Марко Данилыч при покупке леса. С домом оставалось только развязаться, тогда бы и дело с концом, но продать большой дом в маленьком городке не лапоть сплести. Из местных обывателей не было такого, кто бы мог купить смолокуровский дом, даже и с долгой рассрочкой платежа, а жители других городов и в помышленье не держали покупать тот дом, у каждого в своем месте от отцов и дедов дошедшая оседлость была,— как же оставлять ее, как менять верное на неверное? Старым, насиженным местом русский человек паче всего дорожит — не покинет он дома, где родились и сам и его родители, не оставит места, где на погосте положены его дедушки, бабушки и другие сродники. Внаймы смолокуровского дома сдать было некому — у каждого купца, у каждого мещанина хоть кривенький домишко, да есть,— у чиновных людей, что покрупнее, были свои дома, а мелкая сошка перебивалась на маленьких квартирках мещанских домов — тесно там, и холодно, и угарно, да делать нечего — по одежке протягивай ножки. А главное дело в том, что по всему городку ни у кого не было столько денег, чтоб купить смолокуровский дом, красу городка, застроенного ветхими деревянными домишками, ставленными без малого сто лет тому назад по воле Екатерины, обратившей ничтожное селенье в уездный город. Вот уж семьдесят лет, как тот городок ни разу дотла не выгорал,— оттого и строенье в нем обветшало.

Носились слухи по городу, что молодая наследница Марка Данилыча для того распродает все, что хочет уехать на житье за Волгу. Одни верили, другие не давали веры: «Зачем,— говорили они,— такой молоденькой и богатой невесте забиваться в лесную глушь. Там и женихов-то подходящих нет — одно мужичье: дровосеки да токари, красильщики да валяльщики». Раннюю продажу лодок и прядильного товара тем объясняли, что неумелой девушке не под стать такими делами заниматься, но в продажу дома никто и верить не хотел. Поверили только к Сергиеву дню, когда настали «капустки». В то время по всем городкам, по всем селеньям в каждом доме на́ зиму капусту рубят, к зажиточным людям тогда вереницами девки да молодки с тяпками [1] под мышками сбираются. А ребятишкам и числа нет, дела они не делают, зато до отвала наедаются капустными кочерыгами. Шум, визг, крики разносятся далеко, а девицы с молодицами, стоя за корытами, «Матушку капустку» поют:

Я на камешке сижу,
Я топор в руках держу,
Изгородь я горожу.
Ой лю́ли, ой люли́,
Изгородь я горожу.

Я капусту сажу,
Я все беленькую,
Да кочанненькую.
Ой лю́ли, ой люли́,
Да кочанненькую.

У кого капусты нет —
Просим к нам в огород,
Во девичий хоровод.
Ой лю́ли, ой люли́,
Во девичий хоровод.

Пойдем, девки, в огород
Что по белую капустку
Да по сладкий кочешок.
Ой лю́ли, ой люли́,
Да по сладкий кочешок.

А капустка-то у нас
Уродилась хороша,
И туга, и крепка, и белым-белешенька.
Ой лю́ли, ой люли́,
И белым-белешенька.

[1] *Тяпка* — малый, заостренный, круглый и острый заступ, употребляемый при рубке капусты.

Кочерыжки — что твой мед,
Ешьте, парни, кочерыжки —
Помните капустки.
Ой люли, ой люли,
Помните капустки.

Отчего же па́рней нет,
Ай зачем нет холостых
У нас на капустках?
Ой люли, ой люли,
У нас на капустках?

Возгордились, взвеличались
Наши парни молодые,
Приступу к ним нет.
Ой люли, ой люли,
Приступу к ним нет.

А в торгу да на базаре,
По всем лавкам и прилавкам
Не то про них говорят.
Ой люли, ой люли,
Не то про них говорят.

Вздешевели, вздешевели
Ваши до́бры молодцы,
Вся цена им — кочешок.
Ой люли, ой люли,
Вся цена им кочешок.

Ноне девять молодцов
За полденьги отдают
И дешевле того.
Ой люли, ой люли,
И дешевле того.

Тяпи, тяпи, тяп!..
Тяпи, тяпи, тяп!..
Ой, капуста белая,
Кочерыжка сладкая!

Звонко разносится веселый напев капустной песни, старой-престарой. Еще с той поры поется она на Руси, как предки наши познакомились с капустой и с родными щами. Под напев этой песни каждую осень матери, бабушки и прабабушки нынешних девок и молодок рубили капусту. Изо всех домов далеко раздается нескончаемый стук тяпок, а в смолокуровском такая тишь, что издали слышно, как на дворе воробьи чирикают. Бывало, к пристани Марка Данилыча лодок по десяти с капустой приходило — надо было ее на́ зиму заготовить, достало бы

на всех рабочих, а теперь смолокуровские лодки хоть и пришли, но капуста без остатка продана была на базаре. Тут только уверились горожане, что смолокуровские заведения в самом деле закрываются и молодая хозяйка переселяется с родины в иное место.

В то время как рубили капусту, подошел двадцатый день по смерти Марка Данилыча, и к Дуне приехал Патап Максимыч с Аграфеной Петровной и с детьми ее. Похожий на пустыню смолокуровский дом огласился детскими кликами, беготней и играми, и Дуня повеселела при своей сердечной Груне. В полусорочины [1] Герасим Силыч отправил в доме канон за единоумершего, потом все сходили на кладбище помолиться на могилке усопшего, а после того в работных избах ставлены были поминальные столы для рабочих и для нищей братии, а кроме того, всякий, кому была охота, невозбранно приходил поминать покойника. На другой же день поминовенья начались сборы в путь-дорогу. Одна Дарья Сергевна была недовольна решеньем переехать за Волгу: сильна в ней была привязанность к дому, где она молодость скоротала и почти до старости дожила. Патап Максимыч больше всего заботился, чтобы как-нибудь дом сбыть с рук. Узнавши, что присутственные места в городке до того обветшали, что заниматься в них стало невозможно, он вступил в переговоры с начальством, чтобы наняли смолокуровский дом, ежели нет в казне денег на его покупку. Городничий рассчитал, что в том доме, опричь помещения присутственных мест, может быть и для него отделана хорошая даровая квартира, и потому усердно стал хлопотать о найме. Патап Максимыч, будучи с Дуней один на один, сказал ей про то.

— Знаете ли, что я придумала? — выслушав Чапурина и немного помолчавши, сказала она.— Не надо бы дома-то продавать, лучше внаймы отдать на короткий срок, на год, что ли, а не то и меньше.

— Что ж это тебе вздумалось? — спросил Патап Максимыч.

— А помните, как мы разбирали тятенькин сундук и нашли бумагу про дядюшку Мокея Данилыча? — сказала Дуня.— Ежели, бог даст, освободится он из полону, этот дом я ему отдам. И денег, сколько надо будет, дам. Пущай его живет да молится за упокой тятеньки.

[1] *Полусорочины* — двадцатый день после смерти.

— Добрая душа у тебя, добрая,— ласково улыбаясь, сказал ей Патап Максимыч.— Значит, дом внаймы отдавать только на год?

— Как уж там рассудите,— отвечала Дуня.— А как думаете, скоро ли дядя воротится из полону?

— Не ближе лета. Поглядим, что оренбургский татарин напишет, а ответа от него до сих пор еще нет,— сказал Патап Максимыч.— Схожу-ка я теперь к городничему да потолкую с ним о найме дома на год. Да вряд ли он согласится на такое короткое время,— дело же ведь не его, а казенное.

— Так вовсе не отдавать,— быстро промолвила Дуня.— Караульщиков можно нанять. Герасима Силыча попросить, не согласится ли он пожить здесь до дяди.

— Хорошо,— молвил Чапурин, но все-таки пошел к городничему.

* * *

Только что вышел он из Дуниной комнаты, вошла Аграфена Петровна.

— С приезда не удавалось еще мне поговорить с тобой с глазу на́ глаз,— сказала она Дуне.— Все кто-нибудь помешает: либо тятенька Патап Максимыч, либо Герасим Силыч, либо Дарья Сергевна, а не то ребятишки мои снуют по всем горницам и к тебе забегают.

— Что ж? Пусть их побегают, здесь просторно играть им,— молвила Дуня.

И, зорко поглядевши в глаза приятельнице, сказала:

— По глазам вижу, Груня, что хочется тебе что-то сказать мне. К добру али к худу будут речи твои?

— Каково почтешь,— ответила Аграфена Петровна, тоже улыбаясь.— По-моему, кажется бы, к добру, а впрочем, как рассудишь.

— Что ж такое? — немного смутившись, спросила Дуня. Догадывалась она, о чем хочет вести с ней речь приятельница.

— Два раза виделась я с ним у Колышкиных,— сказала Аграфена Петровна.— Как за Волгу отсюда ехали да вот теперь, сюда едучи. С дядей он покончил, двести тысяч чистоганом с него выправил, в Казани жить не хочет, а в Нижнем присматривает домик и думает тут на хозяйство сесть.

— Что ж он? — вся потупившись, спросила Дуня.

— Ничего. Жив, здоров,— отвечала Аграфена Петровна.— Про тебя вспоминал.

Ни слова Дуня.

— Тоже тоскует, как и тогда у нас в Вихореве,— немного помолчав, сказала Аграфена Петровна.— Тоскует, плачет; смертная ему охота хоть бы глазком поглядеть на ту, что с ума его свела, не знает только, как подступиться... Боится.

— Так и сказал? — чуть слышно промолвила Дуня.

— Так и сказал,— ответила Аграфена Петровна.— Терзается, убивается, даже рыдает навзрыд. «Один, говорит, свет, одна услада мне в жизни была, и ту по глупости своей потерял». В последний раз, как мы виделись, волосы даже рвал на себе... Да скажи ты мне, Дуня, по истинной правде, не бывало ль прежде у вас с ним разговоров о том, что ты ему по душе пришлась? Не сказывал ли он тебе про свои намеренья?

— Нет,— ответила Дуня,— ни он мне, ни я ему словечка о том не сказала. Он не заговаривал, так как же я-то могла говорить? Мое дело девичье. Тогда же была я такая еще, что путем и не понимала своих чувств. А когда узнала, что уехал он к Фленушке, закипело мое сердце, все во мне замерло, но я все-таки затаила в себе чувства, никому виду не подала, тебе даже не сказала, что у меня сталось нà сердце... А тут эта Марья Ивановна подвернулась. Хитрая она — сразу обо всем догадалась. Лукавыми словами завлекла она меня в ихнюю веру, и я была рада. У них вечное девичество в закон поставляется, думать про мужчин даже запрещается, а я была тогда им так много обижена, так ненавидела его, всякого зла и несчастья желала ему, оттого больше и предалась душою фармазонской вере... Когда же образумилась и познала ихние ложь и обманы, тогда чаще и чаще он стал вспоминаться мне. Голос его даже слыхала, призрак его видела. И с той поры стала сердцем по нем сокрушаться, жалеть [1] его.

— И он тебя жалеет, и он по тебе сокрушается,— тихонько молвила Аграфена Петровна.— С того времени сокрушается, как летошний год уехал в скиты. Так говорил он в последнее наше свиданье и до того такие же

[1] *Жалеть* — в простонародье любить.

речи не раз мне говаривал... Свидеться бы вам да потолковать меж собой.

— Нет! Как можно! — покрасневши вся, молвила Дуня.— Не бросаться же к нему на шею.

— Вестимо, на шею не бросаться, а не мешает самой тебе узнать, как он по тебе сокрушается, особенно теперь, как ты осиротела... Как, говорит, теперь она устроится? Беспомóщная, беззащитная! — сказала Аграфена Петровна.

Задумалась Дуня. После недолгого молчанья Аграфена Петровна сказала ей:

— Теперь он чуть не каждый день у Колышкиных. Приедем в город, увидишься с ним. Поговори поласковей. Сдается мне, что дело кончится добром.

Не ответила Дуня, но с тех пор Петр Степаныч не сходил у нее с ума. И все-то представлялся он ей таким скорбным, печальным и плачущим, каким видела его в грезах в луповицком палисаднике. Раздумывает она, как-то встретится с ним, как-то он заговорит, что надо будет ей отвечать ему. С ненавистью вспоминает Марью Ивановну, что воспользовалась душевной ее тревогой и, увлекши в свою веру, разлучила с ним на долгое время. Про Фленушку и про поездку Самоквасова в Комаров и помина нет.

Пришел Покров девкам головы крыть [1] — наступило первое зазимье, конец хороводам, почин вечерним посиделкам. Патап Максимыч уладил все дела — караульщики были наняты, а Герасим Силыч согласился домовничать. Через недолгое время после Покрова пришлись сорочины. Справивши их, Патап Максимыч с Аграфеной Петровной, с Дуней и Дарьей Сергевной поехали за Волгу. На перепутье остановились у Колышкиных.

И Сергей Андреич и Марфа Михайловна рады были знакомству с Дуней, приняли ее с задушевным радушьем и не знали, как угодить ей. Особенно ласкова была с ней Марфа Михайловна — сиротство молодой девушки внушало ей теплое, сердечное к ней участье. Не заставил долго ждать себя и Петр Степаныч.

---

[1] С Покрова (1-го октября) начинаются по деревням свадьбы. После венчания молодой расчесывают косу и кроют голову повойником.

Вошел он в комнату, где сидели и гости и хозяева. Со всеми поздоровавшись, низко поклонился он Дуне и весь побледнел. Сам ни словечка, стоит перед нею как вкопанный. Дуня слегка ему поклонилась и зарделась как маков цвет. Постоял перед ней Самоквасов, робко, скорбно и страстно поглядел на нее, потом отошел в сторону и вступил в общий разговор. Аграфена Петровна улучила минуту и прошептала ему несколько слов. Немного погодя сказала она Дуне:

— Пойдем в те комнаты, надо мне на ребяток моих посмотреть, не расшалились ли; да и спать уж пора их укладывать.

Медленно встала Дуня и пошла за подругой. Посмотрели они на детей; те играли с детьми Колышкина и держали себя хорошо. После того Аграфена Петровна пошла с Дуней в гостиную. Сели они там.

— Ну что? — спросила едва слышно Аграфена Петровна.

Не отвечала Дуня.

— Что ж молчишь? говори!

— Жалким таким он мне показался,— немного помедливши, проговорила Дуня.

— Чем же жалок-то? — с улыбкой спросила Аграфена Петровна.

— Так,— пальцами перебирая оборку платья, тихонько ответила Дуня.

— А ты путем говори,— вскликнула Аграфена Петровна. — Мы ведь здесь одни, никто не услышит.

— Жалкий такой он, тоскливый...— промолвила Дуня.

— По тебе тоскует, оттого и жалок,— сказала Аграфена Петровна.

В это самое время робкими, неровными шагами вошел в гостиную Петр Степаныч и стал у притолоки. Назад идти не хочется, подойти смелости нет.

— Подите-ка сюда, Петр Степаныч, подойдите к нам поближе,— улыбнувшись весело, молвила ему Аграфена Петровна.

Тихой поступью подошел к ней Самоквасов.

— Винитесь, в чем согрубили,— сказала Аграфена Петровна.

— Глаз не смею поднять...— задыхающимся, дрожащим голосом промолвил Самоквасов.— Глупость бы-

ла моя, и теперь должен за нее век свой мучиться да каяться.

— Что ж такое вы сделали?.. Я что-то не помню,— вся разгоревшись, промолвила Дуня.

— А уехал-то тогда. В прошлом-то году... Не сказавшись, не простившись, уехал...— сказал Петр Степаныч.

— Что ж? Вы человек вольный, где хотите, там и живете, куда вздумали, туда и поехали, никто вас не держит,— проговорила Дуня.— Я вовсе на вас не сердилась, и уж довольно времени прошло, когда мне сказали о вашем отъезде; а то и не знала я, что вы уехали. Да и с какой стати стала бы я сердиться на вас?

— Авдотья Марковна, Авдотья Марковна! Раздираете вы душу мою! — вскликнул Самоквасов.— Сам теперь не знаю, радоваться вашим словам иль навеки отчаяться в счастье и радости.

Дуня сгорела вся, не может ничего сказать в ответ Петру Степанычу. Но потом эти слова его во всю жизнь забыть не могла.

Немного оправясь от смущенья, повела она речь о постороннем.

— Что ваш раздел? — спросила она.

— Покончил, судом порешили нас,— отвечал Самоквасов.— Прежде невеликую часть из дедушкина капитала у дяди просил я, а он заартачился, не хотел и медной полушки давать. Делать нечего — я к суду. И присудили мне целую половину всего именья — двести тысяч чистыми получил и тотчас же уехал из Казани — не жить бы только с дядей в одном городе. Здесь решился домик себе купить и каким-нибудь делом заняться. А не найду здесь счастья, в Москву уеду, либо в Питер, а не то и дальше куда-нибудь... Двухсот тысяч на жизнь хватит, а жить мне недолго. Без счастья на свете я не жилец.

— Ну, будет вам, Петр Степаныч,— сказала Аграфена Петровна.— Мировую сейчас, хоть ссоры меж вами и не было. Так ли, Дунюшка?

— Какая же ссора? — молвила Дуня, обращаясь к подруге.— И в прошлом году и до сих пор я Петра Степаныча вовсе почти и не знала; ни я перед ним, ни он передо мной ни в чем не виноваты. В Комаров-от уехали вы тогда, так мне-то какое дело было до того? Петр

Степаныч вольный казак — куда воля тянет, туда ему и дорога.

— Ну, будет, пойдемте, не то придет сюда кто-нибудь,— сказала Аграфена Петровна.— Ступайте прежде вы, Петр Степаныч, мы за вами.

Послушно, ни слова не сказавши, вышел Самоквасов. Когда ушел он, Аграфена Петровна тихонько сказала Дуне:

— На первый раз пока довольно. А приметила ль ты, какой он робкий был перед тобой,— молвила Аграфена Петровна.— Тебе словечка о том не промолвил, а мне на этом самом месте говорил, что ежель ты его оттолкнешь, так он на себя руки наложит. Попомни это, Дунюшка... Ежели он над собой в самом деле что-нибудь сделает, это всю твою жизнь будет камнем лежать на душе твоей... А любит тебя, сама видишь, что любит. Однако ж пойдем.

И пошли из гостиной в столовую, где и хозяева и гости сидели.

Патап Максимыч дня четыре прожил у Колышкиных, и каждый день с утра до ночи тут бывал Самоквасов. Дуня помаленьку стала с ним разговаривать, а он перестал робеть. Зорко поглядывала на них Аграфена Петровна и нарадоваться не могла, заметив однажды, что Дуня с Петром Степанычем шутят и чему-то смеются.

Перед отъездом Аграфена Петровна сказала Самоквасову, чтобы дён через десять приезжал он к ней в Вихорево.

* * *

Переправясь через Волгу, все поехали к Груне в Вихорево. Эта деревня ближе была к городу, чем Осиповка. Патап Максимыч не успел еще прибрать как следует для Дуни комнаты, потому и поторопился уехать домой с Дарьей Сергевной. По совету ее и убирали комнату. Хотелось Патапу Максимычу, чтобы богатая наследница Смолокурова жила у него как можно лучше; для того и нанял плотников строить на усадьбе особенный дом. Он должен был поспеть к Рождеству.

Не заставил себя ждать Петр Степаныч. на десятый день, как назначила ему Аграфена Петровна, он как снег на голову. Дуня была довольна его приездом. хоть ни-

чем того и не выказала. Но от Груни не укрылись ни ее радость, ни ее оживленье.

— Рада гостю? — спросила она Дуню вечером, когда осталась вдвоем с ней.

Дуня поалела, но ничего не ответила.

— По глазам вижу, что радехонька. Меня не проведешь,— улыбаясь и пристально глядя на Дуню, сказала Аграфена Петровна.

— По мне, все одно,— молвила Дуня, облегчив трепетавшую грудь глубоким вздохом.

— Разводи бобы-то! Точно я двухлетний ребенок, ничего не вижу, ничего не понимаю,— с усмешкой сказала Аграфена Петровна.— Лучше вот что скажи — неужто у тебя еще не вышли из памяти Луповицы, неужели в самом деле обрекла ты себя на девичество?

— Про Луповицы не хочу и вспоминать. Если б можно было совсем позабыть их, была бы тому радехонька,— с живостью вскликнула Дуня.

— Только замужем совсем про них забудешь,— сказала Аграфена Петровна.

— Это почему? — спросила Дуня.

— Да уж так,— ответила Аграфена Петровна.— Не тем будет голова занята. Думы о муже, заботы о детях, домашние хлопоты по хозяйству изведут вон из памяти воспоминанья о Луповицах. И не вспомнишь про тамошних людей. А замуж тебе пора. Теперь то возьми: теперь у тебя большие достатки, как ты с ними управишься? Правда, тятенька Патап Максимыч вступился в твое сиротство, но все ж он тебе чужанин, а сродников нет у тебя ни души: да тятенька и в отлучках часто бывает, и лета его уж такие, что — сохрани бог, от слова не сделается — и с ним то же может приключиться, что с твоим покойником. На дядю надеешься? Так выйдет ли он из полону, нет ли, одному богу известно. А ежель и выйдет, что за делец будет? Столько годов проживши в рабстве у бусурман, не то что от наших дел отстал, а пожалуй, и по-русски-то говорить разучился. К тому ж и он уж человек не молодой, и к нему старость подошла. Он же не только тебя никогда не видывал, а даже не знает, что и на свете-то ты есть. Как ему сберечь твое добро, не зная русских порядков! Правду ль я говорю?

— Конечно, правду,— поникнув разгоревшимся личиком, сказала Дуня.

— Иное дело — замужество,— продолжала Аграфена Петровна.— Хоть худ мужненек, да за мужниной головой не будешь сиротой; жена мужу всего на свете дороже.

Не отвечала Дуня, крепко призадумалась над речами друга сердечного и противного слова не могла ей сказать.

— А что, Дунюшка, пошла бы ты за Петра Степаныча, если б он к тебе присватался? — спросила вдруг у ней Аграфена Петровна.

Слезы выступили у Дуни.

— Не знаю,— она молвила.

— Его-то знаешь,— подхватила Аграфена Петровна.— И то знаешь, что он по тебе без ума. Сам он мне о том сказывал и просил меня поговорить с тобой насчет этого... Сам не смеет. Прежде был отважный, удалой, а теперь тише забитого ребенка.

Молчала Дуня, но Аграфена Петровна по-прежнему приставала к ней:

— Скажи, Дунюшка, скажи, моя милая. Ежели хочешь, словечка ему не вымолвлю. Пошла бы ты за него али нет?

По-прежнему Дуня ни слова.

— Не сионская ли горница тревожит тебя?.. Не об ней ли вспоминаешь? Не хочешь ли сдержать обещание вечного девичества, что обманом взяли с тебя? — сказала Аграфена Петровна.

Встрепенулась Дуня при этих словах.

— Нет, нет! — вскрикнула она.— Не поминай ты мне про них, не мути моего сердца, богом прошу тебя... Они жизнь мою отравили, им, как теперь вижу, хотелось только деньгами моими завладеть, все к тому было ведено. У них ведь что большие деньги, что малые — все идет в корабль.

— Да не в том дело,— прервала ее Аграфена Петровна.— Пошла ли бы ты за Петра Степаныча? Вот о чем я тебя спрашиваю... Пожалей ты его... Он, бедняжка, теперь сам не свой, от хлеба даже отбился. Мученик, как есть мученик... Что ж ты скажешь мне? Пошла бы?

Крепко прижалась Дуня лицом к плечу подруги и чуть слышно прошептала ей:

— Что ж нейти, коли есть на то воля божия...

И, сказавши, громко зарыдала.

— Так я скажу ему. Поскорей бы уж делу конец... Что томить его понапрасну? — молвила Аграфена Петровна.

— Ах нет, Груня, не говори,— вскликнула Дуня.— Как это можно?

— Ежели станем молчать, ни до чего не домолчимся,— сказала Аграфена Петровна.— Непременно надо вам переговорить друг с другом, а там — что будет богу угодно.

— Ах, нет!.. Нет, ни за что на свете! У меня и слов не достанет,— вскликнула Дуня.

— Так ин вот что сделаем,— сказала Аграфена Петровна.— Так и быть, хоть я еще и молода, пойду в свахи. Потолкую с ним, а потом и с тобой слажу. Ладно ли будет?..

— Не знаю. Делай как лучше,— чуть слышно прошептала Дуня.

И всю ночь после того глаз не могла сомкнуть она, думы так и путались у ней на уме. А думы те были все об одном Петре Степаныче, думы ясные и светлые. Тут вполне сознала Дуня, что она полюбила Самоквасова. Заснула только под утро, и во сне ей виделся только он один.

Утром Аграфена Петровна передала Петру Степанычу, что Дуня не прочь за него идти. Он так обрадовался, что в ноги молодой свахе поклонился, а потом заметался по горнице.

— Так и быть, сведу вас,— сказала Аграфена Петровна,— только много с ней не говорить и долго не оставаться. Ведь это не Фленушка. Робка моя Дуня и стыдлива. Испортите дело — пеняйте на себя. Сама при вас буду — меня во всем извольте слушаться; скажу: «довольно» — уходите, скажу: «не говорите» — молчите.

Вечером, когда Дуня с Аграфеной Петровной сидели вдвоем, вошел к ним Петр Степаныч. Не видавши целый день Дуни, он низко ей поклонился, а она ответила едва заметным поклоном.

Все трое молчали.

— Я, Петр Степаныч, по вашей просьбе, говорила с Дуней насчет ваших намерений,— начала Аграфена Петровна.— Вот она сама налицо, извольте спрашивать, как она думает.

Неровной, медленной поступью подошел Самоквасов к Дуне. Хочет что-то сказать, да слова с языка не сходят. Сам на себя дивится Петр Степаныч — никогда этого с ним не бывало. Нет, видно, здесь не Каменный Вражек, не комаровский перелесок.

— Да говорите же! — вскликнула с нетерпеньем Аграфена Петровна.

Оправившись от смущенья, тихим, взволнованным голосом, склонив перед Дуней голову, сказал он:

— Ежели не противен... не откажите... явите божескую милость... Богом клянусь — мужем добрым буду, верным, хорошим.

У Дуни в глазах помутилось, лицо вспыхнуло пламенем, губы судорожно задрожали, а девственная грудь высоко и трепетно стала подниматься, потом слезы хлынули из очей. Ни слова в ответ она не сказала.

— Согласны ль будете выйти, Авдотья Марковна, за меня? — спустя немного промолвил Петр Степаныч.

Дуня через силу прошептала:

— Да.

— Ну и слава богу,— радостно вскликнула Аграфена Петровна.— Домолчались до доброго слова!.. Теперь, Петр Степаныч, извольте в свое место идти, а я с вашей невестой останусь. Видите, какая она — надо ей успокоиться.

— На одну минутку,— не помня себя от восторга, вскликнул Самоквасов и вынул из кармана дорогое кольцо.— Так как вас, Авдотья Марковна, Аграфена Петровна сейчас назвала моей невестой и как я сам теперь вас за невесту свою почитаю, то нижайше прошу принять этот подарочек.

Дуня не брала кольца.

— Возьми, Дунюшка,— молвила Аграфена Петровна.— Так водится.

Нерешительно и робко протянула Дуня руку. Петр Степаныч положил в нее подарок.

— Теперь ступайте с богом, Петр Степаныч, оставьте нас,— промолвила Аграфена Петровна.

Самоквасов молча повиновался.

* * *

На другой день рано поутру Аграфена Петровна послала нарочного с письмом к Патапу Максимычу. Она

просила его как можно скорей приехать в Вихорево. Чапурин не заставил себя долго ждать — в тот же день поздним вечером сидел он с Груней в ее горнице.

— Что случилось? Зачем наспех меня требовала? — спрашивал он.

— Худого, слава богу, не случилось, а хорошенького довольно,— ответила Груня.— Так как ты, тятенька, теперь и защитник и покровитель сиротки нашей, почитаешь ее за свою дочку, так я и позвала тебя на важный совет. Самой одной с таким делом мне не справиться, потому и послала за тобой.

— В чем дело-то? — спросил Чапурин.— Что тянешь? Скорей да прямей говори.

— Видишь ли, тятенька, дней пять тому назад приехал к нам в гости Самоквасов Петр Степаныч,— молвила Аграфена Петровна.— Дуня крепко ему приглянулась.

— Это я еще у Колышкиных приметил,— сказал Патап Максимыч.— Еще что?

— А еще то, что вечор Дуня согласилась замуж идти за него,— сказала Аграфена Петровна.— Покамест об этом мы только трое знаем: жених с невестой да я. Что ты на это скажешь?

— Что сказать-то? Дело доброе,— молвил Патап Максимыч.— Девица она умная, по всему хорошая, и его из хороших людей не выкинешь. Заживут, бог даст, припеваючи. Помнишь, я еще тогда, как только помер Марко Данилыч, говорил, что при ее положении надо ей скорее замуж идти. Ведь одна как перст... Доброе дело затеяно у вас, доброе... Был он прежде забубенным ветрогоном, проказил на все руки, теперь переменился, человека узнать нельзя. А как женится, еще лучше будет. Присватался бы какой-нибудь негодный парень к Дунину миллиону, ну и мучься она с ним до гробовой доски. Что тут хорошего-то? А пожалуй, и такой бы хахаль навернулся, что обобрал бы ее до ниточки, да и бросил, как вон Алешка Лохматый Марью Гавриловну обобрал да бросил. Этот женится не на деньгах — у него двести тысяч в кармане. Нет, вашего дела охаять нельзя, хорошее, очень даже хорошее дело. Одобряю.

— Ты с ней, тятенька, покуда об этом не говори,— сказала Аграфена Петровна.— Не вдруг, значит, начинай. Она такая ведь пугливая да робкая. Нельзя пока-

мест с ней много говорить насчет этого. Скажу тебе, когда можно будет.

— А с ним? — спросил Чапурин.

— С ним отчего ж не поговорить,— отвечала Аграфена Петровна,— только бы она не знала об этом. С недельку, пожалуй, надо будет обождать, покамест они привыкнут друг к другу.

— А ведь я было на усаде хотел особый дом для нее ставить; теперь, значит, не нужно? — сказал Патап Максимыч.— Когда свадьба-то?

— Об этом не заводили еще речей, да, признаться, и некогда было,— отвечала Аграфена Петровна.— А по-моему бы так: до филипповок с приданым да с тем и другим не управиться нам; хоть бы тотчас после Крещенья свадьбу сыграть. Тем временем Петр Степаныч дом купит и уберет его, как надобно. Это время Дуня у меня бы аль у тебя погостила. А венчаться им в городе и лучше бы всего в единоверческой, тамошний-то венец покрепче сидит на голове. Опять же Петр Степаныч сам говорил мне, что при их достатках, ежели повенчаются они у проезжающего священника, того и гляди доносы пойдут да суды. С Дуней об этом я еще не говорила, а думаю, что и она будет не прочь обвенчаться в единоверческой.

— И распрекрасное дело,— сказал Чапурин.— Что там ни говори, попы наши да скитские келейницы, как ни расписывай они свою правоту, а правда-то на той стороне, не на нашей.

Было уж поздно, наступала полночь, яркими, мерцающими звездами было усеяно темно-синее небо. Простившись с Груней, Патап Максимыч из душных горниц пошел на улицу подышать свежим воздухом. Видит — возле дома Ивана Григорьевича сидит человек на завалинке. Высоко он держит голову и глядит на небесные светочи. Поближе подошел к нему Патап Максимыч и узнал Самоквасова.

— Наше вам почтение,— слегка приподнимая картуз, сказал Чапурин.

— Ах, здравствуйте!.. здравствуйте, Патап Максимыч,— вскочив с завалины, с живостью вскликнул Самоквасов.— Слышал, слышал я о вашем приезде, только свидеться не удалось пока.

— У Груни я посидел,— ответил Чапурин,— а теперь вышел на сон грядущий вольным воздухом подышать. А вы здесь какими судьбами?

— Да вот вздумалось у Аграфены Петровны погостить,— отвечал Петр Степаныч.— Ивана-то Григорьича дома нет, а я не знал о том. Да наша хозяюшка такая ласковая, приветливая, хлебосольная, как и сам Иван Григорьич.

— Дела, что ли, какие до него? — спросил Чапурин.

— Особенных пока не заводилось. А кой о чем надо посоветоваться. Вот я и приехал,— отвечал Петр Степаныч.

— Валеным товаром, что ли, заняться? — с усмешкой спросил Патап Максимыч.

— Валеным товаром торговать я не стану, а надо же чем-нибудь заняться,— ответил Петр Степаныч.

— Так ко мне бы приехал. Побольше Ивана Григорьича видо̀в мы видали: по какой хочешь торговле смыслим больше его,— сказал Чапурин.

— К вам-то я не посмел,— отозвался Самоквасов.

— А ты пустяков не плети,— сказал Патап Максимыч.— Сейчас с Груней говорил и знаю, зачем ты приехал. Не к ней пожаловал и не к Ивану Григорьичу, а к кому-то другому.

— Как к другому? — спросил смущенный Самоквасов.

— Невесту высватать приехал. Что ж? Невеста хорошая,— с ясной улыбкой промолвил Чапурин.— Мало таких на свете.

Примолк Петр Степаныч, молчал и Патап Максимыч. Спустя немного времени Чапурин сказал:

— Чего таиться-то? Дело задумано нехудое. Груне я так и говорил: она ведь мне все рассказала.

— Ежели Аграфена Петровна вам рассказала, так мне таиться не приходится. Да, Патап Максимыч, сдается мне, что попал я на добрую стезю.

— Справедливо. Дай бог совет да любовь, а при них и счастье придет,— молвил Патап Максимыч.— Как насчет свадьбы располагаешь? Когда думаете делом-то совсем покончить?

— Хотелось бы то̀тчас после Крещенья, только не знаю, управимся ли,— отвечал Петр Степаныч.— Домик в городе присмотрел, надо купить его да убрать как сле-

дует, запасы по хозяйству тоже надо сделать, прислугу нанять, лошадей завести, экипажи купить. Мало ль сколько дела, а на все время требуется.

— Свадьбу-то где думаете играть? — помолчав немного, спросил Патап Максимыч.

— В городе. Стану Сергея Андреича и Марфу Михайловну просить, чтоб они из своего дома невесту к венцу отпустили,— сказал Петр Степаныч.

— Та-а-к,— протянул Патап Максимыч.— Ладно придумано, лучше не надо. Завтра поутру надо будет мне с Груней покалякать, а потом повидать невесту. Хоть не родная, а все-таки не чужая. Долго ль здесь располагаешь прожить?

— Надо будет Ивана Григорьича дождаться,— ответил Петр Степаныч.

— Что ждать-то его? Не скоро воротится, до самого Николы, может, проездит, а тем временем дело-то у тебя будет ни взад, ни вперед,— сказал Чапурин.— Помоему бы, вот как: помилуйся денька три-четыре с невестой, да и поезжай за дела приниматься. Скучно станет, сюда дорога не запала, опять же и близко — хоть каждо воскресенье к невесте приезжай. Таков мой совет. Опять же и то надо сказать, что в добрых людях не водится, чтобы жених с невестой долго под одной кровлей жили. Видеться хоть каждый божий день видайтесь, а жить в доме не приходится. Осудят, а попадешь кумушкам на язычок, того наплетут, что тошно станет и слушать-то.

Тяжело вздохнул Самоквасов, но согласился с Патапом Максимычем. А уж как бы не хотелось ему разлучаться с невестой. Весь бы день с утра до вечера сидел с ней да любовался на ее голубые глаза, стройный стан и девственные перси.

— Однако, парень, не пора ли спать? Пойдем-ка, друг, опочив держать,— сказал Чапурин, отходя к воротам. Самоквасов следом за ним пошел.

На другой день Патап Максимыч долго беседовал с Аграфеной Петровной. Обо всем переговорили насчет Дуниной свадьбы. Груня согласилась на все, кроме одного только.

— Как это можно отпускать под венец невесту от Сергея Андреича? — сказала она.— Конечно, дом у него большой, а все-таки всем нам не поместиться. Смекни-ка,

сколько на свадьбу-то наедет гостей. Стесним только Сергея Андреича.

— Как же быть-то? — в раздумье спросил Патап Максимыч.— Ты ведь у меня разумница, скажи, как, по-твоему, это дело поглаже обладить?

— По-моему, вот бы как,— ответила Аграфена Петровна.— Нанять в городе большую, просторную квартиру на месяц либо на два и перед свадьбой туда всем переехать. Оттуда отпустим и невесту.

— Ладно-то оно ладно,— покачивая головой, сказал Чапурин.— Только по скорости вряд ли такую квартиру найдешь. Да и сдерут же за нее.

— Насчет денег нечего думать. Дуня за все заплатит,— сказала Аграфена Петровна.— А ежель подходящей квартиры в городе не найдется, в гостинице остановимся. Только заранльше надо нанять сколько надо горниц.

— И то правда,— молвил Патап Максимыч.— Теперь как насчет приданого?

— О приданом еще не говорила я с Дуней,— ответила Аграфена Петровна.— Одна себе обсудила.

— Как же решила ты, разумница? Это дело бабье, я тут ни при чем. Ни советовать, ни отсоветовать не смогу,— сказал Патап Максимыч.

— Я вот как придумала,— молвила Аграфена Петровна.— Ведь Дуня станет ходить по-городскому, поэтому и я тут ни при чем; надо будет Марфу Михайловну попросить, она в этом знает толк. Съезжу к ней, попрошу, авось не откажет.

— Не откажет, об этом нечего и говорить. Что только сумеет, все сделает,— сказал Чапурин.— Она добрая, услужливая.

— Да особенных-то хлопот, кажется, ей и не будет,— сказала Аграфена Петровна.— Вон у меня в кладовой Дунины сундуки стоят, ломятся от приданого, что покойник Марко Данилыч ей заготовил. Как сбирались мы сюда, пособляла я укладываться. Чего только там нет — белья носильного и столового видимо-невидимо, и все-то новенькое, ни разу не надеванное; три шубы чернобурой лисы, одну только что привез покойник с ярманки; серебра пуда три, коли не больше, а шелковых да шерстяных материй на платья целая пропасть... Бриллиантов также множество и других разных дорогих ве-

щей. Марфу Михайловну не очень затруднит приданое, потому и хочу просить ее.

— Что ж?.. Дело хорошее,— молвил Патап Максимыч.— Съезди в самом деле, попроси. И от меня попроси, она самым лучшим порядком уладит все... Да что невеста не кажется?.. Неужто до сей поры нежит в постели белое тело свое?

— В светелке наверху сидит. Сейчас кликну ее. Сама еще не видала сегодня ее,— сказала Аграфена Петровна, выходя из горницы.— Только будь ты с ней, тятенька, осторожней, да опасливей, шуточки-то не больно распускай. Она такая стыдливая, совестливая. И с женихом даже стыдится словом перекинуться. Говорила я ей, что так нельзя,— не слушается.

«Прыгает, видно, девка по-козьему, а как косу-то под повойник подберут, станет ходить серой утицей,— подумал Чапурин, когда вышла из горницы Аграфена Петровна.— Девичьих прихотей не перечесть, и на девкин норов нет угодника и не бывало».

* * *

Скоро воротилась Аграфена Петровна, а вместе с ней и Дуня пришла. Была она до крайности взволнована, лицо алым румянцем подернулось, от усиленного перерывчатого дыханья высоко̀ подымались девственные ее груди. С потупленными взорами, несмелой поступью подошла она к назва̀нному отцу и смутилась, ровно грех какой совершила, либо постыдный поступок.

— Здравствуй, дочка, подходи ближе,— весело и приветливо сказал, увидавши ее, Чапурин.

Подошла Дуня, поздоровалась с ним.

— Сядь-ка рядком, покалякаем,— сказал Патап Максимыч, указывая на стоявший возле стул.

Ни слова не молвив, Дуня села возле названного отца.

— Каково поживаешь? Не соскучилась ли? — немного помедливши, спросил Патап Максимыч.

— Нет,— тихонько ответила Дуня.

— Ну, и слава богу. Это лучше всего. А ко мне в Осиповку когда сбираешься? — спросил Чапурин.

— Не знаю,— прошептала она.— Вот как Груня.

— А я было у себя на усаде домик для твоего житья

хотел ставить, чтобы, значит, жить тебе на своей полной воле, отдельно от моей семьи. Да чуть ли не опоздал,— с ласковой улыбкой проговорил Патап Максимыч.

— Покорно благодарю вас за ваши попечения,— тихо молвила Дуня.

— Какие тут благодарности?.. Что между нами за счеты? — вскликнул Патап Максимыч.— Доброй волей, без твоей просьбы привелось мне взять попеченье о тебе и делах твоих... На то была воля божья. Так я рассуждаю. Какие ж тут благодарности? А, кстати, оренбургский татарин письмо прислал.

— Что ж он пишет? — с оживленьем спросила Дуня.— Есть ли надежда выручить дядюшку?

— Есть,— отвечал Патап Максимыч.— Обрадовался некрещеный лоб другой тысяче, что ты обещала ему. Беспременно, пишет, выкуплю, а не выкуплю, так выкраду, и ежели только он в живых, к лету вывезу его на русскую землю.

— Слава богу,— сказала Дуня.— Как только вспомню я, что у меня дядя родной в полону, сердце кровью так и обольется... Поскорее бы уж вынес его господь... Дарья Сергевна как у вас поживает?

— Ничего, здорова. С самого приезда в Осиповку не выходит почти из моленной. С канонницей чередуется — службу правит. Только скучает, очень даже скучает,— проговорил Чапурин.

— Жаль мне ее,— молвила Дуня.— Вот я и молода еще, а куда тяжело менять жизнь, а ей-то на старости лет каково?..

— Тебе-то, Дунюшка, от перемены в жизни тяготы не будет,— сказал, улыбаясь, Патап Максимыч.— Да что ж ты все молчишь, что не поделишься со мной своей радостью? Можно, что ли, поздравить тебя с женихом?..

Вспыхнула вся Дуня и с укором взглянула на Аграфену Петровну. «Это она рассказала»,— подумала она.

— Чего еще таиться? — молвила Аграфена Петровна.— Еще не долго — и все будут знать, как же тятеньке-то наперед не сказать?

Дуня молчала.

— Так можно, что ли, поздравить-то? — ласково улыбаясь, спросил Чапурин.

— Можно,— чуть слышно промолвила Дуня.

Обнял ее Патап Максимыч и трижды поцеловал в горевшие ланиты.

— Вместо отца поздравляю, вместо родителя целую тебя, дочка,— сказал он.— Дай вам бог совет, любовь да счастье. Жених твой, видится, парень по всему хороший, и тебе будет хорошо жить за ним. Слава богу!.. Так я рад, так рад, что даже и рассказать не сумею.

— Благословите меня за тятеньку покойника на новую жизнь,— со слезами на глазах сказала Дуня Патапу Максимычу.

— Изволь, милая, изволь. Благословлю с великим моим удовольствием,— отвечал он.— Побудь здесь с Дуней,— прибавил он, обращаясь к Аграфене Петровне,— а я в твою образную схожу да икону там выберу. Своей не привез, не знал.— Не бойсь, Груня, твои благословенные иконы знаю — ни одной не возьму.

И вышел вон из горницы.

Вскоре воротился Чапурин с иконою в позолоченной ризе. Следом за ним вошел Петр Степаныч.

— Надо будет нам благословить и невесту и жениха, для того я сюда и привел Петра Степаныча,— сказал Патап Максимыч.— Отдельно каждого станем перед венцом благословлять, а теперь это за рукобитье пойдет. Ты, Груня, будешь за мать; неси же хлеба каравай, да соли, да чистое полотенце.

Аграфена Петровна вышла, а Чапурин сказал Петру Степанычу:

— С нареченной невестой!.. Поцелуемся. Смотри же, парень, люби ее да береги... Да что это вы, посмотрю я на вас, у́пырями друг на дружку глядите?.. Словечка меж собой не перемолвите. Так ведь не водится.

Вошла Аграфена Петровна с папушником [1], покрыла стоявший в красном углу стол скатертью, поставила на нем принесенную Патапом Максимычем икону, затеплила свечку, положила возле иконы хлеб и покрыла его полотенцем.

Положили семипоклонный нача́л, потом Патап Максимыч с Груней обычным порядком благословили жениха с невестой.

— Ну, юнец-молодец и ты, раскрасавица-девица,— сказал Патап Максимыч.— Теперь, по дедовскому и прадедовскому завету, следует вам поцеловаться на любовь

---

[1] *Папушник* — пшеничный хлеб домашнего приготовления.

на совет, на долгую и согласную жизнь. Извольте целованьем завершить божие благословенье.

Самоквасов подошел к Дуне. Ни жива ни мертва стояла она и свету не взвидела, когда Петр Степаныч поцеловал ее. Не видала она лица его, только чувствовала, как горячие, трепещущие уста крепко ее целовали. Нет, это не серафимовские лобзанья, что еще так недавно раздавала она каждому на раденьях людей божиих.

— Теперь бы следовало про здоровье нареченных князя с княгиней винца испить,— молвил Патап Максимыч.— Тащи-ка, Груня, что есть у тебя про запас. Эка досада, не знал, на что еду. Тебе бы, Груня, отписать, я бы холодненького прихватил с собой. А у тебя, поди ведь, сантуринское либо церковное. Да уж делать нечего, за недостачей хорошего хлебнем и сантуринского. Тащи его сюда!

— Позвольте, Патап Максимыч,— вступился Петр Степаныч.— Со мной есть маленький запасец. Рассчитывал, что пригодится к седми спящим отрокам [1], к именинам, значит, Ивана Григорьича. А теперь вот, на мое счастье, бутылки на другое понадобились.

И, спешно выйдя из горницы, воротился бегом с парой бутылок шампанского.

Розлили вино, выпили, и Дуня маленько пригубила.

— Горько! — вскричал на всю горницу Чапурин.

— Горько! — сказала и Аграфена Петровна.

— Надо жениху с невестой поцеловаться, тогда и вино сладко будет,— сказал Патап Максимыч.

Делать нечего. Должна была Дуня еще раз целоваться с женихом. Теперь горячий поцелуй Петра Степаныча показался ей таким сладким, таким приятным, что рада бы она была, ежели б еще и еще он целовал ее да все бы чаще да чаще.

— Надо теперь говорить про дело,— сказал Чапурин, когда бутылка была опростана.— В людях водится, чтобы тотчас после рукобитья и первого благословенья судили-рядили, когда свадьбе быть, а также насчет приданого и другого прочего, как на первое время житье устроить молодым. Рукобитья у нас не было, да некому и по рукам-то бить — невеста сирота, да и жених все одно что сирота. Зато было у нас божие благословение,

---

[1] 22 октября. Из семи отроков младший назывался Иоанном.

на веки веков нерушимое. А это первое дело, много важней оно рукобитья. Станемте ж теперь, жених с невестой, толком говорить, как привести ваше дело к доброму совершению.

Все молчали.

— На счет приданого я не судья,— продолжал Патап Максимыч.— В этом на Груню надо положиться. Что сама сумеет, все сделает, чего не сумеет — у Марфы Михайловны попросит совета. Ладно ль придумано? Скажи, родная,— прибавил он, обращаясь к Дуне.

— Кому ж лучше Груни?..— сказала невеста, потупив свои голубые глаза.

— А ты что, Груня, скажешь? — спросил Патап Максимыч.

— По мне, тятенька, не только в этаком случае, а всегда, во всю жизнь мою, рада я для Дуни всякие хлопоты на себя принять,— ответила Аграфена Петровна.

Молча обняла ее Дуня.

— Марфу Михайловну и я стану просить, не оставила бы нас в этом деле; оно ведь ей за обычай,— сказал Самоквасов.— У меня в городу дом есть на примете, хороший, поместительный; надо его купить да убрать как следует... А хотелось бы убрать, как у Сергея Андреича,— потому и его стану просить. Одному этого мне не сделать, не знаю, как и приступиться, а ему обычно. А ежель в городе чего нельзя достать, в Москву спосылаем; у меня там довольно знакомства.

— Покланяйся в самом деле Колышкиным, попроси — не откажут,— сказал Патап Максимыч.— Только, чур, делать все, как они посоветуют, а не по-своему. Сергей Андреич лучше знает, что и как надо: смолоду по-господски живет, а мы перед ним деревенщина. Твое дело взять: жил ты у дяди, ровно в мурье, только и свету у тебя было, что по скитам с подаяньями разъезжать да там загащиваться. Вот разве как в Москве да в Питере побывал, так, может, нагляделся, как хорошие люди живут. Одними деньгами тут ничего не возьмешь, тут нужны уменье да сноровка. Возьми, к примеру, Алешку Лохматого — сколько денег он на дом потратил, а все-таки вышло шут его знает что: обои золотые, ковры персидские, а на окошках, заместо хороших занавесок, пестрядинные повешены. Не нами, а дедами и прадедами сказано: «Всяко дело мастера боится».

— Это так точно, Патап Максимыч, это речи справедливые и согласные,— отвечал Петр Степаныч.— Ежели бы Сергей Андреич согласился оказать мне милость, как же бы я мог делать по-своему? Не выступлю из его приказов.

— Проси же его, проси скорее,— сказал Чапурин,— а я и сам отпишу, чтоб он для тебя постарался.

Тем разговор и кончился, а жених с невестой все-таки при людях словечка не сказали, несмотря на старанья Патапа Максимыча и Аграфены Петровны.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Трое суток прогостил Чапурин у богоданной дочки. Собравшись в Осиповку, сказал он Дуне:

— У Груни кладовая-то деревянная, в подклете под домом, а строенье старое да тесное. Долго ль тут до беды? Ну как, грехом, случится пожар? А у меня палатка каменная под сводами и строена на усаде вдалеке от жилого строенья. Не перевезти ли до времени твои пожитки ко мне?.. Страху будет меньше. Как думаешь?

И Аграфена Петровна со своей стороны прибавила, что в Осиповке Дунино приданое не в пример будет сохраннее.

— Ведь у тебя в сундуках-то добра больше, чем на сто тысяч, Дунюшка,— сказала она.— Шутка ли это? Подумай. Тятенька придумал хорошо. Ты как решишь?

Дуня согласилась и благодарила Патапа Максимыча за его заботы.

В тот же день наняты были подводы и Дунины сундуки отправлены в Осиповку под надзором приказчика, заправлявшего делами Ивана Григорьича.

За обозом отправился и сам Патап Максимыч.

После того Дуня чаще и чаще видалась с женихом и стала с ним разговорчивей и доверчивей. Раза по два да по три на дню бывали у них и молчаливые тайные поцелуи — нравились они Дуне, а об женихе и говорить нечего. Любила Дуня вспоминать с ним про катанье в косных по Оке и про то время, как видались они во время Макарьевской. Но, кроме того, ни о чем из прошлого Дуня речей не заводила.

А он другое вспоминал.

— Знаете ли вы, с коих пор полюбил я вас? — спросил он однажды у Дуни.

— Не знаю,— с самодовольной улыбкой отвечала она.— С той, может статься, поры, как мы с Дорониными в косных катались?

— Раньше,— сказал Самоквасов.— Полюбил я вас не за красоту, не за пригожество, а за ваши речи добрые и разумные. Помните ли вы про Ивана-царевича?

— Про какого Ивана-царевича? — спросила Дуня.— Про сказку, что ли, говорите?

— Да, про сказку,— отвечал Петр Степаныч.— Помните, как в Комарове, при вашей там бытности, на другой день после Петрова, Дарья Никитишна, середь молодых девиц сидючи, эту сказку рассказывала? Еще тогда Аграфена Петровна в девичьей беседе сидела.

— Припоминаю теперь что-то,— молвила Дуня.

— А как кончила сказку Дарья Никитишна, всем девицам она молвила: «Сказывай по ряду одна за другой, как бы каждая из вас жила в замужестве, как бы с мужем свою жизнь повела». И стали девицы открывать свои мысли и тайные думы. Ни у одной не было хороших, разумных речей, опричь той, что после всех говорила. А говорила она вот что: «Замуж пойду за того, кого полюблю, и стану его любить до̀веку, до последнего вздоха, только сыра земля осту́дит любовь мою. А что буду делать я замужем, того не знаю, не ведаю. Одно знаю — где муж с женой в ладу да в совете живут, по добру да по правде, в той семье сам бог живет. Он и научит меня, как поступать».

Дуня зарумянилась.

— Помню, теперь помню,— промолвила она,— но как же вы все это знаете? Вы ведь от слова до слова мои речи говорите? Груня, должно быть, рассказала вам.

— Не она,— ответил Петр Степаныч.— Не вспомните ли, чем девичья беседа кончилась?

— Чем кончилась? Посидели, поговорили да по своим местам разошлись,— сказала Дуня.

— А забыли, что Аграфена Петровна после ваших слов выглянула в окошко и сказала: «А у нас под окном в самом деле Иван-царевич сидит».

— Что-то припоминаю,— сказала Дуня.

— Я Иваном-царевичем был, я сидел на завалинке и от слова до слова выслушивал девичьи речи,— сказал

Петр Степаныч.— И с того часу полюбил я вас всей душой моей. А все-таки ни в Комарове, ни в Нижнем потом на ярманке не смел к вам и подступиться. Задумаешь словечко сказать, язык-от ровно замерзнет. Только бывало и счастья, только и радости, когда поглядишь на вас. А без того тоска, скука и мука.

— Видно, с того ко Фленушке в Комаров вы и уехали? — с хитрой улыбкой спросила его Дуня.

— Именно оттого,— ответил Самоквасов,— только Фленушки я и не видал почти тогда. При мне она постриглась. Теперь она уж не Фленушка, а мать Филагрия... Ну да господь с ней. Прошу я вас, не помышляйте никогда о ней — было у нас с ней одно баловство, самое пустое дело, не стоит о нем и вспоминать. По правде говорю, по совести.

Привыкла Дуня к жениху, не стыдилась больше его и перестала отворачиваться, когда, любуясь на свою красавицу, он страстно целовал ее подернутые румянцем ланиты.

Через неделю Петр Степаныч поехал к Патапу Максимычу в Осиповку, а потом в город переговорить с Колышкиными. Он обещал невесте каждый праздник приезжать в Вихорево.

Прощаясь с женихом, Дуня, по настоянью Аграфены Петровны, сказала ему:

— Послушайте, что я скажу вам, Петр Степаныч. В прошлом году, еще прежде того как мы гостили в Комарове, великим постом мне восьмнадцать лет исполнилось. На мои именины покойник тятенька подарил меня разными вещами. Тут было и обручальное колечко. И сказал он мне тогда: «Восьмнадцать лет тебе сегодня минуло — может статься, скоро замуж пойдешь. Слушай же отца: наши родители ни меня, ни мать твою венцом не неволили, и я не стану неволить тебя,— вот кольцо, отдай его кому знаешь, кто тебе по мыслям придется. Только смотри, помни отцовский завет, чтобы это кольцо не распаялось, значит изволь с мужем жить дóвеку в любви и совете, как мы с твоей матерью жили». И заплакал он тут, горько заплакал, ровно знал, что в круглом сиротстве придется мне замуж идти... Возьмите.

И со слезами на глазах подала ему кольцо.

Взволнованный Петр Степаныч стал целовать неве-

сту. Слов у него недоставало, зато радостные слезы красно́ говорили.

Поехал он. И только что съехал со двора, Дуне стало тоскливо и скучно.

* * *

Когда Патап Максимыч воротился в Осиповку, у крыльца своего дома увидал он Василья Борисыча. Сидя на нижней ступеньке лестницы, строгал он какую-то палочку и вполголоса напевал тропарь наступавшему празднику казанской богородицы. Патап Максимыч сказал зятю:

— Видно, все еще настоящего дела не нашел себе. Палочку строгает да напевает что-то себе под нос. Беспутный ты этакой!..

— Ох, искушение! — с глубоким вздохом вымолвил Василий Борисыч, бросил палку и пошел вслед за тестем в горницы. На полдороге остановил его Чапурин:

— Кликни Пантелея.

Пантелей был на дворе, слышал приказ и тотчас подошел к хозяину.

— Здорово, Пантелеюшка,— ласково молвил ему Патап Максимыч.— Все ли без меня было благополучно.

— Слава богу, батюшка Патап Максимыч, слава богу, все было благополучно,— отвечал Пантелей.— Посуду краси́ть зачали...

— А токарни что?

— В ходу, батюшка, все до единой.

— Вот что, Пантелеюшка,— сказал Чапурин.— У тебя, что ли, ключи от каменной палатки?

— Надо быть, у Аксиньи Захаровны,— отвечал Пантелей.

— А что в ней сложено?

— Да так, всякий хлам. Разное старье,— отвечал Пантелей.

— Надо ее опростать,— молвил Патап Максимыч.— Сегодня подводы с сундуками придут из Вихорева. Их туда поставить.

— Не случилось ли чего у Ивана Григорьича? — тревожно спросил Пантелей.

Вспало на ум старику, не пожар ли был в Вихореве и не к себе ль перевозит Патап Максимыч уцелевшие пожитки погоревшего кума.

— Ничего не случилось,— сказал Патап Максимыч.— Смолокуровой Авдотьи Марковны пожитки привезут. Ради сохранности от пожарного случая хочу в палатке поставить их. Надо сейчас же очистить ее от хлама.

Взойдя наверх, Патап Максимыч прошел в горенку Аксиньи Захаровны, в ту самую горенку, где жила и померла покойница Настя. Василий Борисыч туда же вошел и молча стал у притолоки. У Аксиньи Захаровны сидели Параша и Дарья Сергевна.

— Что, Захаровна? Как можешь, сударыня? — спросил Патап Максимыч у жены, лежавшей в постели.

— Так же все, Максимыч, ни лучше, ни хуже,— отвечала Аксинья Захаровна.— С места подняться не могу, все бока перележала. Один бы уж конец,— а то и сама измаялась и других измучила.

— Чепуху не городи! Бог даст, встанешь, оправишься, и еще поживем с тобой хоть не столько, сколько прожили, а все-таки годы...— сказал Патап Максимыч, садясь возле больной.

— Ты наскажешь, тебя только послушай,— с ясной, довольной улыбкой тихим голосом промолвила Аксинья Захаровна.

— Вы каково, Дарья Сергевна, без меня поживали? — обратился к ней Патап Максимыч.— Авдотья Марковна вам кланяется и Груня также.

— Благодарю покорно,— молвила Дарья Сергевна.— Что Дунюшка-то, здорова ли, сердечная?

— Слава богу, здорова,— отвечал Чапурин.

— Не скучает ли? — спросила Дарья Сергевна.

— В мою бытность не скучала, а скоро, надо думать, приведется ей скучать,— с загадочной улыбкой ответил Патап Максимыч.— Захаровна, у тебя, что ли, ключи от каменной палатки?

— У меня,— сказала Аксинья Захаровна.— А что?

— Что там лежит у тебя? — спросил Чапурин.

— Прежде приданое дочерей лежало, а теперь нет ничего,— ответила Аксинья Захаровна.— Хлам всякий навален — старые хомуты, гнилые кожи.

— Подай-ка мне ключи,— сказал Патап Максимыч.

По приказу Аксиньи Захаровны Параша вынула ключи и подала их отцу.

— Авдотьи Марковны сундуки хочу там поставить.

Груня говорит, что в них добра тысяч на сотню,— сказал Чапурин.

— По-моему, больше,— заметила Дарья Сергевна.

— Ну вот, видите! Груня поставила сундуки в кладовой, да ведь строенье у кума Ивана Григорьича тесное, случись грех — малости не вытащишь. Потому и решил я сундуки-то сюда перевезти да в палатке их поставить. Не в пример сохраннее будут,— сказал Патап Максимыч.

— Конечно, сохраннее,— примолвила Аксинья Захаровна.— Это ты хорошо вздумал, Максимыч.

— Сама-то скоро ли Дунюшка приедет? — спросила Дарья Сергевна.

— Этого не знаю,— отвечал Патап Максимыч.— Покамест у Груни остается, а потом вместе с ней в город поедет, к Колышкиным. И не раз еще придется ей до Рождества съездить туда.

— Зачем же ей так разъезжать? — спросила Дарья Сергевна.

— Да самого-то главного я ведь еще и не сказал,— молвил Патап Максимыч.— Замуж выходит Авдотья-то Марковна. После филипповок свадьба.

Все удивились, особенно Дарья Сергевна. Аксинья Захаровна перекрестилась и пожелала счастья Дуне, Прасковья Патаповна по обычаю равнодушно поковыряла в носу, а Василий Борисыч вздохнул и чуть слышно промолвил:

— Ох, искушение!

«Так вот оно какое вышло положение-то! — думал он сам про себя. —Тогда на Китеже, как впервые ее увидал я, светолепна была — очи голубые, власы — янтарные волны, уста — червленные ленты, ланиты — розовый шипок. Не то что моя колода Парашка. А в Комарове какова была! Ангелам подобна!.. Но вертоград для меня заключен, источник радостей запечатлен. Миллион, опричь приданого во сто тысяч!.. То-то бы зажили... Бог суди Фленушку с Самоквасовым да с Сенькой саратовцем — окрутили, проклятые, меня, бедного — валандайся теперь век свой с этой дурищей Парашкой».

Больше и больше зло разбирало бывшего посла рогожского. Всех клял, всем просил по́мсты у бога, кроме себя одного.

— За кого ж это выходит Дунюшка? — чуть слышно спросила у Патапа Максимыча Дарья Сергевна.— Неужто она в лесах могла найти судьбу свою?

— Жених не лесной, а из города Казани. Теперь он с большим наследственным капиталом в Нижнем поселился. Да вы его знаете, у Колышкиных каждый божий день бывал, как мы у них останавливались... Петр Степаныч Самоквасов,— сказал Патап Максимыч.— Груня, кажись, и сосватала их.

— Не пара, не пара,— со слезами на глазах промолвила Дарья Сергевна.

— Чем же не пара? — спросил Патап Максимыч.

— У Самоквасова на уме только смешки да шуточки. Какой он муж Дунюшке?..— сказала Дарья Сергевна.— В прошлом году в одной гостинице с ним стояли. Нагляделась я на него тогда. Зубоскал, сорванец, и больше ничего, а она девица строгая, кроткая. Того и гляди, что размотырит весь ее капитал. Нет, не пара, не пара.

— Женится — переменится,— молвил Патап Максимыч.— А он уж и теперь совсем переменился. Нельзя узнать су́против прошлого года, как мы в Комарове с ним пировали. Тогда у него в самом деле только проказы да озорство на уме было, а теперь парень совсем выровнялся... А чтоб он женины деньги на̀ ветер пустил, этому я в жизнь не поверю. Сколько за ним ни примечал, видится, что из него выйдет добрый, хороший хозяин, и не то чтоб сорить денежками, а станет беречь да копить их.

— Вашими бы устами да мед пить, Патап Максимыч,— грустно проговорила Дарья Сергевна.— А впрочем, мне-то что ж? В ихнем семействе я буду лишняя, помехой, буду, пожалуй. Люди они молодые, а я старуха. Черную рясу решилась надеть я. Слезно стану молить мать Манефу, приняла бы меня во святую свою обитель, а по времени и ангелоподобного чина удостоила бы.

— Нынче, Дарья Сергевна, скитские обители не то, что прежде,— сказал Патап Максимыч.— Со дня на день выгонки ждут. Вон сестрица моя любезная, Манефа-то, целу обитель в городу себе построила, человек на семьдесят,— туда до выгонки хочет переселяться. А как вы к тому городу не приписаны, так вам, пожалуй, и не дозволят там проживать. Всегда бывало так по другим местам, где старообрядские монастыри закрывали: на

Иргизе так было, и в Стародубе, и по другим местам. Которые были из других мест, тех высылали на родину, и велено было за ними смотреть, чтоб оттоль никуда не отлучались. Так ежели у вас есть твердое желание спасаться в какой-нибудь из здешних обителей, так повремените немногое время, обождите, чем ихнее дело кончится. А кончится оно, думать надо, в скором времени.

— Что ж! — молвила Дарья Сергевна.— До времени гостьей у матушки Манефы поживу, чтоб не попасть в скитские списки. А настанет выгонка, куда-нибудь нà время уеду.

— У нас живите, Дарья Сергевна,— тихо проговорила Аксинья Захаровна.— При вас мне отрадней, не так скучно, вы со мной и поговорите, вы мне и от божественного что-нибудь почитаете.

— А ко всему, что сказал я, прибавлю вам, Дарья Сергевна, еще,— молвил Патап Максимыч.— Теперь ведь Манефа игуменьей только по имени, на самом-то деле мать Филагрия всем заправляет — и хозяйством, и службой, и переписку с петербургскими да с московскими ведет. Чать, знаете ее? Манефина-то наперсница, взбалмошная, бесшабашная Фленушка.

— Как мне Фленушки не знать? — сказала Дарья Сергевна.— Довольно ее знаю, не мало ведь времени выжила я с Дуней у матушки Манефы в обители.

— Сумасброд была девка! — заметил Патап Максимыч.— Все бы ей какое-нибудь озорство. А теперь, говорят, хозяйство повела мастерски; вся, слышь, обитель в такой у нее строгости, какой и при Манефе не бывало. И вам, сударыня Дарья Сергевна, стало-быть волей-неволей придется из ее рук смотреть и все исполнять по ее приказам. Вы бы об этом хоть порассудили. Не желаете у Дуни жить, найдется угол вам у меня в дому: что есть — вместе, чего нет — пополам. Подумайте хорошенько, матушка. Жалеючи вас говорю. Вот и старуха моя говорит, что ей с вами отраднее. Право, не лучше ли вàм у нас остаться. Вы хорошая хозяйка, я это заметил, живучи у вас, а у меня хозяйка с постели не сползает. О Прасковье говорить нечего — сами видите, что умом не дошла — ей бы только сладко поесть да день-деньской на кровати валяться. А за вами по хозяйству я бы ровно за каменной стеной был. Поразмыслите об этом, ежели решились у Дуни не жить.

Пошел Патап Максимыч токарни осматривать.

Дарья Сергевна также вышла. Прошла она в моленную, а там наемная канонница за негасимой свечой стоит и псалтырь читает. Там присела Дарья Сергевна на боковую лавочку и поникла головой. Дуня вспоминалась ей. «С детства ровно к родной матери была ко мне привязана, ни одной, бывало, тайной думы от меня не скрывала,— думала она.— А в последнее время не такой стала. Полюбились ей мирские книги, и стала она скучать божественными. Читаешь, бывало, ей из «Пролога» или «Торжественника» — не слушает, зачнешь говорить о душеспасительном — и ухом не ведет. А тут на беду подвернулась окаянная Марья Ивановна. Совсем с тех пор переменилась Дуня, стала нетерпелива, сумрачна и молчалива. От зари до зари, бывало, сидит над какими-то еретическими, видно, книгами, путного слова тогда от нее, бывало, не добьешься. Не то что со мной, с отцом говорить перестала. А как на Троицу принесло к нам в дом эту проклятую Марью Ивановну — еще хуже пошло... И как воротилась Дуня от нее из гостей к больному отцу, словечка не сказала мне про житье-бытье у Луповицких, хоть я не раз о том речь заводила. О чем ни спрошу — молчит, ровно стена. И по-прежнему ко всему холодна и по-прежнему ко всему безучастна. Как уехал от нас Патап Максимыч с Аграфеной Петровной, одни мы остались с ней,— известное дело — скука, тоска в одиночестве. Поведешь, бывало, с ней разговор о душеспасительном — молчит, зачнешь читать что-нибудь от святых отец — молчит, зевает, спать на нее охота найдет, заместо душевного-то умиления. Я в тягость ей была. Как же жить мне с ней, как замуж-то она выйдет? Муж еще бог его знает каков человек, как еще поглядит на меня. Нет, не житье у них — и себе в тягость и им не на радость. У Патапа Максимыча остаться тоже не след: по всем замечаньям, Аксинья Захаровна не жилица на свете, а помрет она, Параша будет хозяйкой, а как с ней ужиться?.. И разумом не вышла, и нрав крутой, и паче меры привередлива; нет, с ней жить нельзя... Стану кланяться матушке Манефе, призрела бы меня, одинокую, поклонюсь до земли и матери Филагрии, не оставила бы меня Христа ради, дала бы кров и пищу. Откажут, в иных обителях поищу благодетельниц. Жить мне недолго, собой никого не отягощу. Что есть

в тридцать лет накопленного, вкладом внесу за кусок хлеба да за теплый угол... А Дунюшка!.. Дай ей, господи, всякого счастья!.. Забыла меня — бог с ней. Не поставь этого во грех ей, господи!..»

И залилась Дарья Сергевна слезами, сидя в моленной на лавочке.

Вслушивается — канонница дочитывает первую кафизму. Когда кончила она ее, Дарья Сергевна подошла к ней и сказала:

— Давай, я вторую прочитаю.

Положив начал, канонница, не говоря ни слова, отошла от налоя. Дарья Сергевна стала на ее место и начала протяжное чтение.

— «Возлюблю тя, господи, крепости моя. Господь утверждение мое, и прибежище мое, и избавитель мой, бог мой, помощник мой и уповаю нань. Защититель мой, и рог спасения моего, и заступник мой. Хвалам призову господа и от врагов спасуся. Одержаша мя болезни смертные и потоци беззакония смутиша мя. Болезни адовы обыдоша мя, предвариша мя сети смертные. И внегда скорбети призвах господа и к богу моему воззвах. Услыша от церкви святые своея глас мой и вопль мой пред ним, внидет пред очима его» [1].

Возвышенные и душу возвышающие слова царя-псалмопевца подходили к душевному состоянию Дарьи Сергевны и заставили ее забыть на время заботы и попеченья о будущем житье-бытье. В благочестивом восторге страстно увлеклась она чтением псалтыря. Кончив вторую кафизму, принялась за третью, за четвертую и читала до позднего вечера, а наемная канонница храпела на всю моленную, прикорнув в тепле на лавочке за печкой.

Только что ушли от Аксиньи Захаровны Патап Максимыч и Дарья Сергевна, ушла и Параша, сказавши матери, что надо ей покормить Захарушку. Покормить-то она его немножко покормила, но тотчас же завалилась спать, проснулась вечером, плотно поужинала, потом опять на боковую. Стала звать к себе мужа, кричала, шумела, но никто не знал, куда тот девался.

Василий Борисыч сейчас после жены от тещи ушел; осталась больная одна-одинешенька. Хорошо, что Ма-

---

[1] По дониконовскому переводу, что теперь в обиходе у единоверцев и раскольников.

трена пришла, а то бы недвижимой хозяйке дома ни достать, ни отдать чего-нибудь было некому.

С тоски, что ни день, ни ночь в тестевом доме не покидала Василья Борисыча, вышел он на улицу и завернул в токарни. Работники всегда бывают чутки к хозяйским делам, давно они уж заметили, что Патап Максимыч зятя в грош не ставит, на каждом шагу глумится на ним и считает ни на что не годным. И от первого до последнего батрака все они не уважали Василья Борисыча, обходились с ним запанибрата и в глаза даже насмехались над ним. Пришлось рогожскому посланнику молчать да терпеть. Года полтора перед тем был он славим по всему старообрядству как сведущий в уставах человек, был принимаем в самых богатых домах «древлего благочестия», а теперь до того дошел, что последний из тестевых батраков смеется над ним в глаза безбоязно и безнаказанно!

Видя, что кончившие работу токари и глядеть на него не хотят, пошел он прогуляться на всполье. И луговая трава и тощая озимь уж поблекли от морозов, лиственные деревья оголели, только один ельник сохранял зеленый свой цвет. Калужи́ны, как стеклом, подернуты были блестящим ледком. Высоко́ на ясном небе плыл полный месяц, озаряя бледным светом замирающие поля, леса и перелески. Стоял легкий морозец. Крепко кутаясь в ватную чуйку, Василий Борисыч шел все дальше и дальше, по дороге к смежной деревушке Ежовой, что стояла верстах в полуторах от Осиповки. Идет Василий Борисыч не спеша и не медля, а сам такие думы в уме раскидывает.

«Вот оно положение-то! Не чаял, в уме даже никогда не держивал дойти до того, что сталось со мной!.. Будь она проклятым проклятà ночь в улангерском перелеске, где навернулась мне постылая, ненавистная Парашка... А все Фленушка, все это мать Филагрия по-нынешнему! Подурачиться ей вздумалось, вот и подурачилась. А ты век свой страдай да мучься!.. Ни дна бы тебе, ни покрышки — первым бы кусом тебе подавиться! Она и Самоквасова с Сенькой выкрасть меня из Комарова подустила, а потом окрутить с этим бревном, паскудной Парашкой! Все ее дело. На первых порах и Прасковья то же говорила... На что ж я стал теперь похож? От берега отстал, к другому не пристал. С Москвой, со всем

старообрядством дело вконец расклеилось — клянут меня за то, что женили здесь меня да еще венчали в великороссийской. А разве на то моя была воля? Силком ведь повенчали. Теперь из старообрядцев никто и ко двору меня не подпустит, а ведь я ими только и жил. К единоверцам тоже хода нет, а великороссийские и вниманья на меня не обратят. Допрыгался я, бедный, допрыгался, бессчастный, в этих скитах, до того допрыгался, что теперь хоть руки на себя наложи... Сыт, обут, одет — не могу в этом на тестя пожаловаться, зато жена-то какая!.. Глупее барана, злее самого черта. Рассказывает теперь тесть, что сам он нашу свадьбу состряпал. Кто их разберет — он ли в самом деле, или Самоквасов с Сенькой саратовцем».

А вот и Ежова. Первая с краю изба освещена внутри, и в ней не лучина горит, а сальные свечи. И на окошках свечи стоят, и у ворот фонарь с зажженной свечкой повешен. Доносятся из избы веселые девичьи клики, хохот и громкие песни. В той избе жила разбитная, бойкая вдова Акулина Мироновна, та самая, что когда-то верней всех мужиков разгадала, для чего, ожидая в гости Снежковых, Чапурин ни с того ни с сего вздумал большие столы окольному народу ставить. По смерти ежовского десятника осталась Акулина Мироновна бездетною. Сама женщина еще молодая, лет тридцати, любила она с девками да с парнями возиться. Потому и завела у себя в избе посиделки; сходилась к ней вся ежовская молодежь, приходили повеселиться и из соседних деревень. Весело было Акулине Мироновне, а вместе с тем и выгодно.

С ранней осени до масленицы по деревням у таких вдовушек, как Акулина, посиделки или супрядки по нескольку раз на неделе бывают. В назначенный день, только зачнет смеркаться, девушки в нарядных платьях с гребнями и до́нцами, с шитьем иль вышиваньем, сбираются к ней в избу. Ласково каждую гостью встречает хозяйка. Собравшись, девушки садятся по лавкам и заводят меж собой разговоры про домашние дела, наряды и рукоделья. Начинаются шутливые насмешки над ожидаемыми парнями и над их зазнобами. А между тем все усердно работают. Сначала работа спори́тся, особенно у тех, кому мать урок задала столько-то напрясть, столько-то нашить. Часов в восемь, а иной раз и в девять, один

по одному, начинают парни сбираться; каждый приносит свечку, пряников, стручков, маковников, подсолнечных зерен и других деревенских лакомств, а иной и пивца притащит, либо молодой осенней бражки, а пожалуй, и штоф зелена вина, а тем, кто не пьет, сантуринского. И закуски приносят с собой; кто говядины, кто баранины, кто живых кур либо уток. Их сейчас режут, хозяйка отпаривает, ощипывает, а потом из них к ужину похлебку варит. Другие парни яиц притащат, масла, сметаны, творогу, а иной спроворит с шестка каши горшок либо щей, а попадет под руку — так и цельный каравай хлеба. Оттого матери и злобятся на посиделки, что, сколько ни копи, как ни стереги, а добро уходит да уходит на угощенье девкам в избе какой-нибудь Мироновны. Потому еще матери боятся супрядок, что дочери там на шаг от греха. Но, должно быть, вспоминая свою молодость, сквозь пальцы смотрят они на девичьи забавы и такие наставленья дают дочерям: «Любись с дружком, как знаешь, только чтоб покору на честно́й родительский дом от того не было. Пуще всего берегись с парня́ми грешить. Берегись этого пуще огня, пуще полымя. А ежель не устоишь, умей концы хоронить. Не то гулливой прозовут, опозоришь и себя и нас, подруги отшатнутся от тебя, и не будет тебе места ни зимой на супрядках, ни летом в хороводах, а что хуже всего — замуж никто не возьмет».

Собрались к Акулине девки ежовские, шишинские и других деревень. Две пришли из Осиповки. Разговоры зачались у них за рукодельем.

— Чапурин-от, слышь, домой воротился? — спрашивала Акулина у осиповских девок.

— Воротился,— отвечала одна из них.

— Что привез? — спросила Акулина.

— Покамест ничего. Не знаю, что дальше будет,— сказала осиповская девка.— Только женщину неведомо какую привез.

— Сиротку Смолокурову, что ли? — спросила одна из ежовских.

— Нет. Та, слышь, еще молоденькая, а эта старуха, свояченицей, слышь, доводилась она самому-то Смолокурову. Дарьей Сергевной зовут. Сколько-то лет тому назад в Комарове жила она в Манефиной обители. Смо-

локурова-то дочь обучалась ведь там в одно время с дочерьми Патапа Максимыча.

— Вот как,— промолвила Акулина Мироновна.

— А сегодня, перед тем как нам сюда идти,— продолжала осиповская девица,— страсть сколько сундуков к Патапу Максимычу привезли, целый обоз. И говорили, что в тех сундуках сложено приданое Смолокуровой. Не на одну, слышь, сотню тысяч лежит в них. Все в каменну палатку поставили, от огня, значит, бе́режнее.

— Сто тысяч! — вскликнула Акулина.— Вот где деньги-то! У купцов да у бояр, а мы с голоду помирай! Им тысячи — плевое дело, а мы над каждой копейкой трясись да всю жизнь майся. А ведь, кажись, такие же бы люди.

— А всего-то, говорят, богатства ей после отца досталось больше миллиона,— сказала осиповская.

— Что за миллион такой? Я, девки, что-то про него не слыхивала,— сказала ершовская.

— Значит, десять сотен тысяч, тысяча тысяч,— пояснила одна из шишинских, сколько-то времени обучавшаяся в скитах.

— Господи владыко! — на всю избу вскликнула Мироновна.— Да что ж это такое? Ни на что не похоже! У одной девки такое богатство, а другие с голоду колей! Начальство-то чего глядит?

— А ведь как я погляжу на тебя, тетка Акулина, так глаза-то у тебя не лучше поповских, завидущие,— сказала девушка из ежовских. Сродницей Акулине она приходилась, но за сплетни не больно любила ее.

— А ты, дура, молчи, поколева цела,— крикнула на нее тетка Акулина.— В голове пустехонько, а тоже в разговоры лезет. Не твоего ума дело. Придет Алешка, принесет гармонику, ну и валандайся с ним, а в дела, что выше твоего разума, не суйся.

Замолчала ежовская, примолкли и другие девушки.

— Заводи зазы́вную! — вдруг крикнула пряха из Шишинки.— Пора. Может, парни давно у ворот, да, не слыша зазы́вной, на двор нейдут.

Зашурчали веретена, громко девки запели. Тетка Акулина суетливо бегает взад и вперед по избе, прибирая в ожиданье гостей разбросанные вещи.

— Заводи, заводите, красны девицы,— говорит она.— Скликайте пареньков, собирайте молодцов.

Поют деви́цы зазы́вную: [1]

Летал голубь, летал сизый,
Летал сизый по возгорью,
Искал голубь, искал сизый
Своей сизыя голубки.
Моя сизая голубка очень знакомита:
Через три пера рябенька, головка гладенька,
Руса коса до пояса, в косе лента ала,
Ала, ала, голубая, девонюшка молодая.
Возвивалась голубушка высокò далёко,
Садилася голубушка на бел горюч камень,
Умывалась голубушка водою морскою,
Утиралась голубушка шелковой травою,
Говорила голубушка с холостыим парнем:
«Уж ты, парень, паренек, глупенький твой разумок —
Не по промыслу заводы ты заводишь,
Трех девушек, парень, за один раз любишь:
Перву Машу во Казани
Да Дуняшу в Ярославле,
А душеньку Ульяшеньку в Нижнем городочке;
Купил Маше ленту алу,
А Дунюшке голубую,
А душеньке Ульяшеньке
Шелковое платье.
Ты носи, моя Ульяша, мною не хвалися;
Коли станешь выхваляться —
Нам с тобой не знаться,
А не станешь выхваляться —
Век нам не расстаться».

А меж тем одинокий и грустный, усталый и до костей продрогший, переминаясь с ноги на ногу, Василий Борисыч стоит у ворот Акулины Мироновны. Тянет его в круг девичий, но берет опаска — неравно придет кто из осиповских да потом дома разблаговестит, что хозяйский зять у Мироновны на девичьих поседках был. Дойдут до жены такие вести — жизни не рад будешь, да и тесть по головке не погладит: «Ты, дескать, закон исполняй, а на чужих глаза пялить не смей». Мимо токарен да красилен лучше тогда и не ходи — трунить, зубоскалить станут рабочие, на смех поднимать...

А громкие деви́чьи голоса в избе Мироновны так и заливаются. Дрожь пробирает Василья Борисыча; так бы и влетел в избу козырем, облюбовал бы, какую помо-

---

[1] Зазывною песнью зовется всякая, что первою поется на посиделках.

ложе да попригожее, и скоротал бы с ней вечерок в тайной беседе... Издавна́ на такие дела бывал он ловким ходоком, теперь уж не то. Что было, то сплыло, а былое быльем поросло.

Не стерпел, однако, Василий Борисыч, услыхавши зазы́вную. «Эх, была не была,— подумал он.— Авось не узнают, а ежели и явятся праздные языки, можно их закупить, на́ это денег хватит».

И вошел в беседу девичью, парней никого еще не приходило. Все диву дались, увидавши такого гостя.

Не знает, не придумает Акулина Мироновна, как принять, чем приветить Василья Борисыча. Рада приходу его — такие гости с пустыми руками не ходят; столько отсыплет чапуринский зятек, что, пожалуй, во всю зиму таких денег супрядками и не выручишь... И боязно шустрой вдовушке: «Ну, как проведает Патап Максимыч, что зять его у нее на посиделках был, да взбредет ему на ум, что я прилучила его, пропадай тогда головушка моя. Жить не даст! Доведет до большого начальства, что в дому у меня корчемство, тогда беда неминучая — в одной рубахе отпустят... Хоть шею тогда в петлю, хоть в омут головой!..»

— Здравствуй, Мироновна! — переступая вдовин порог, громко вскликнул Василий Борисыч.— Здравствуйте, девицы-красавицы!.. Примите меня, голубоньки, во свой круг, во свое веселье девичье, приголубьте меня словом сладким, ласковым,— прибавил он, вешая шапку на колок.

— Милости просим,— в один голос отвечали девушки, раздвигая на лавках донца и опоражнивая место нежданному, негаданному гостю.

Оглядел Василий Борисыч девок и вдруг видит двух из Осиповки. Так его и обдало. «Теперь и невесть чего наболтают эти паскуды,— подумал он,— дойдет до тестя — прохода не будет, до жены дойдет — битому быть. Хорошенько их надо угостить, чтоб они ни гугу про ночные похождения женатого, не холостого».

В другой раз оглядел Василий Борисыч круг девичий и видит — середь большой скамьи, что под окнами, сидит за шитьем миловидная молоденькая девушка. Сел он возле нее, видит — белоручка, сидит за белошвейной работой. Спросил у нее:

— Как зовут, красавица?

— Как поп крестил — Лизаветой звал,— вскидывая плутовские глаза на Василья Борисыча, бойко отвечала белоручка и захохотала на всю избу. Другие девушки тоже засмеялись.

— А из коей будешь деревни? — спросил Василий Борисыч, подвигаясь к Лизавете. Та от него не отодвигалась.

— Ты, Василий Борисыч, человек поученый, книжный,— сказала она.— Тебе бы прежде спросить, как величают меня по отчеству, а потом и пытать, из какой я деревни.

— Так как же тебя звать, красавица, по отчеству?— спросил Василий Борисыч.

— Трофимовна,— отвечала она.— Отецкая дочь[1]. Тятенька Трофим Павлыч не то что по нашей деревне, а по всей здешней волости из первых людей.

— А чем промышляет? — еще ближе подвигаясь к Лизавете, спросил Василий Борисыч.

— Известно, горянщиной. По всей нашей палестине[2] все живут горянщиной,— отвечала отецкая дочь.

Смотрит Василий Борисыч на Лизавету Трофимовну — такая она беленькая, такая чистенькая и миловидная, что другие девушки перед ней уроды уродами. И приемы у отецкой дочери не те, что у тех, и все обхожденье,— с первого же взгляда видно, что не в избе она росла, не в деревне заневестилась. Руки нежные, не как у деревенских чупах, тотчас видно, что никогда Лизаветины руки черной работой не бывали огрублены.

Бывший рогожский посол еще поближе подвинулся к Лизавете, положил ей руку на плечо и стал полегоньку трепать его, не говоря ни слова. Отецкая дочь не противилась. С веселой вызывающей улыбкой поглядывала она исподлобья, и, когда Василий Борисыч стал мешать ей шить, она взяла его за руку и крепко пожала ее. Сладострастно засверкали быстрые маленькие глазки бывшего посла архиерейского. Горазд бывал он на любовные похожденья, навык им во время ближних и дальних разъездов по женским скитам и обителям.

В это время Акулина Мироновна, из красного угла перетащивши стол направо от входа в избу, покрыла его

---

[1] Не сирота, а дочь, у которой жив еще отец и притом человек достаточный.

[2] *Палестина* — родные места, своя сторона.

столешниками[1] и расставила тарелки с пареной брюквой, солеными огурцами, моченым горохом, орехами, подсолнухами, городецкими пряниками, жомками, маковниками, избойной, сушеной черникой и другими деревенскими лакомствами. Тут же ставлены были ломтями нарезанная солонина, студень, рубцы, соленый судак, вареный картофель. Убирая стол, Акулина подозвала Василия Борисыча и тихонько ему молвила:

— Угощай девиц, Василий Борисыч, ежели на то есть у тебя желание... Можно и пивца достать, пожалуй даже и ренского, а тебе, ежель в охоту, достану и водочки. Да вот что еще хочу сказать тебе,— прибавила она шепотом на ухо Василью Борисычу,— ты к Лизке-то скорохватовской не больно примазывайся. Придет Илюшка пустобояровский да увидит твои шуры-муры с ней, как раз бока тебе намнет — ни на что не поглядит. У него с Лизкой-то еще до Покрова лады зачались; перед масленой, надо быть, поп венцом их окрутит. А Илюшка — косая сажень, сила страшеннейшая, кулачище — хоть надолбы вколачивай. Так ты поопасся бы, Василий Борисыч. До греха недолго. Парень же он такой задорный, что беда... Да и к другим-то девушкам не больно приставай, ведь каждая, почитай, из них чья-нибудь зазноба. А вот как нагрянут парни на посиделки, угости ты их всех как можно лучше, тогда и возись себе с любой из девушек. Тогда супротивничать тебе уж не станут.

Покоробило немного Василья Борисыча, но ни слова он Акулине не вымолвил. Подойдя к девушкам и по-прежнему садясь возле Лизаветы, сказал:

— Угощайтесь, красны девицы, берите, что ни ставлено на столе Мироновны... А наперед песенку бы надобно спеть, да, глядите ж у меня, развеселую, не тоскливую.

Улыбаясь, девушки стали словами перекидываться, о чем-то шепотком посоветовались и, наконец, запели:

Ах, зачем меня мать пригожу́ родила,
Больно сча̀стливу, талантливую,
Говорливую, забавливую,
Что нельзя мне и к обедням ходить,
Мне нельзя богу молитися,
Добрым людям поклонитися?

---

[1] Полотенце, что кладут за столом двум, трем человекам вместо салфеток.

С стороны-то люди галются [1],
А попы служить мешаются,
Пономарь звонить сбивается,
Дьячок читать забывается —
Поглядев на меня, дьячок мимо пошел
Да нарочно мне на ножку наступил,
Больно на́ больно се мне отдавил,
Посулил он мне просфирок решето,
Из сетечка [2] семечка,
Крупы черепиночку [3],—
Мне всего того и хочется,
Да гулять с дьячком не хочется.
Увидал меня молоденький попок,
Посулил мне в полтора рубля платок,
Мне платочка-то и хочется,
Да гулять с попом не хочется.
Увидал меня молоденький купец,
Посулил он мне китаечки конец,—
Мне китаечки-то хочется,
Да гулять с купцом не хочется.
Увидал меня душа дворянин,
Посулил он мне мякинушки овин,—
Мне мякины-то не хочется,
С дворянином гулять хочется.

Показалось ли Василью Борисычу, что лучше всех спела песню Лизавета Трофимовна, нарочно ль он это сказал, но, по обычаю посиделок, поцеловал бойкую певунью.

— А вы бы нас петь поучили, Василий Борисыч, как летошний год обучали в Комарове девиц,— немножко погодя сказала ему Лизавета Трофимовна.

— А как тебе известно, что я обучал их? — спросил он.

— Сами о ту пору мы в Комарове проживали,— ответила отецкая дочь.— У Глафириных гостила. Хоша с Манефиными наши не видаются, а все-таки издалечка не один раз видала я вас.

— Как же я-то не видал такой красоточки? — с улыбочкой, еще ближе подвигаясь к Лизавете, сказал Василий Борисыч.

— Не до меня вам было тогда,— ответила Лизавета.— И какая ж я красотка?.. Смеетесь только надо

---

[1] *Галиться* — глаза пялить, глазеть, дивоваться на что-нибудь, любоваться, засматриваться.

[2] *Сетево, сетечко* — лукошко с зерновым хлебом, которое севец носит через плечо.

[3] Уменьшительное от *черепня* — глиняная посудина, в которой запаривают толченое конопляное семя для битья масла.

мной! Устинья Московка не в пример меня краше, опять же Домнушку улангерскую взять али Грушеньку, что в Оленеве у матушки Маргариты в келарне живет.

— И тех знаешь? — сказал Василий Борисыч.

— Хоша не больно знакомита, а много известна про них,— отвечала отецкая дочь.

— Ишь ты какая! всех знает! — обнимая стан Лизаветы, промолвил Василий Борисыч.

— Не к лицу вам к девицам-то приставать.

— Это почему? — спросил Василий Борисыч.

— Жена есть у вас, супруга,— ответила Лизавета.— Теперь не прежняя пора — на чужих не след вам и заглядываться! Это для вас грешно.

— Две шубы — тепло, две хозяйки — добро,— прижимаясь к Лизавете, молвил Василий Борисыч.

— Хозяйкой отчего не быть, а в подхозяйки никому неохотно идти,— сказала Лизавета, быстро взглянувши в глаза послу архиерейскому.

— Все едино — хозяйка ли, подхозяйка ли, любиться бы только,— промолвил Василий Борисыч.

— Хорошо вам так говорить, а девушкам и слушать такие речи зазорно. И поминать про эти дела хорошей девице не годится, не то чтобы самой говорить,— сказала отецкая дочь.

— Экая ты сердитая! — вскликнул Василий Борисыч.— Перестань же серчать.

В то время не один по одному, как водится, а гурьбой ввалило в избу с дюжину молодых парней. Маленько запоздали они — были на гулянке. В пустобояровском кабаке маленько загуляли, а угощал Илюшка, угождавший Лизавете так, что никто другой и подходить к ней не смел.

Когда распахнулись двери настежь, первым из парней влетел в избу Илюшка. Взглянул он на свою облюбованную, видит возле нее какого-то чужого, но одетого чистенько и по всему похожего больше на купца, чем на простого мужика. Злобой вспыхнуло лицо Илюшки, и кулаки у него сами сжались, когда увидал он, что Лизавета к самым плечам подпустила Василья Борисыча. Грозно сделал Илюшка два-три шага вперед, но Акулина успела ему шепнуть, что с зазнобой его сидит не кто другой, а зять Патапа Максимыча, человека сильного и властного по всей стороне. И злобы у Ильи как не бы-

вало, подошел он к парочке и шутливо молвил Василью Борисычу:

— И вы в нашу беседу к Мироновне. Милости просим, напередки будьте знакомы.

И сел по другую сторону возлюбленной. Начали песни петь. Звонко пели девки, громко подпевали парни. Пели сначала песни семейные, потом веселые, дело дошло до плясовых. На славу, ровно на показ, ловчей и бойчей всех других отплясывал Илья пустобояровский, всех величавей, павой выступала, всех красивей плечами подергивала, задорней и страстней поводила глазами и платочком помахивала отецкая дочь Лизавета Трофимовна. Другие, что ступы, толкутся себе на месте, пол под ними трещит, чуть не ломится, а она легко и тихо порхает, ровно метель-порхунок [1]. Хоть и выросла Лизавета в благочестивых скитах, хоть и обучалась у матери Глафиры божественному, а только что вышла из обители, скорехонько обыкла и к мирским песням и к той пляске, что в скитах зовется бесовскою.

Каждый пляшет, каждая голосит развеселую. Пошла изба по горнице, сени по полатям — настоящий Содом. Один Василий Борисыч не пляшет, один он не поет. Молча сидит он, облокотясь на подоконник, либо расплачивается с Мироновной за все, что пьют и едят парни и девки. Раза три дочиста они разбирали все, что ни ставила на стол досужая хозяйка. Вдобавок к съестному и к лакомствам вынесла она из подполья четвертную бутыль водки да дюжины три пива.

Для того за всех платил Василий Борисыч, что боялся, не осерчали бы парни с девками, не рассказали бы в Осиповке, что были и пили вместе с ним у Мироновны.

Веселая гульба чуть не до света шла. Не раз порывался домой Василий Борисыч, но парни его не пускали, обещаясь проводить дȍ дому и дорогой беречь от волков, а при этом просили поставить на стол кубышечку бальзамчику [2]. И бальзамчика Мироновна откуда-то вынесла. Опростали парни кубышку, еще попросили, но у Мироновны бальзама больше не было.

Грустно возвращался домой Василий Борисыч, провожаемый хмельными парнями. И дорогой ни на минуту

---

[1] Мотылек, ночная бабочка.

[2] Хлебное вино, перегнанное на душистых, смолистых травах.

не сходили у него с ума докучные мысли: как-то он попадет в дом и где-то проведет остаток ночи. К жене идти и думать нельзя, подняться в верхние горницы — разбудишь кого-нибудь. И решился он ночевать в подклете у старика Пантелея. И вовсе почти не спал — то вспоминались ему злобные, язвительные тестевы насмешки и острые женины ногти, то раздавался в ушах звонкий, переливчатый голос отецкой дочери Лизаветы Трофимовны:

Лен, лен, лен не делен,
И посконь не таскан!

Несмотря на все предосторожности, в тот же день проведали в Осиповке про ночные похождения Василья Борисыча. Худые вести всегда опережают. Тотчас после обеда не только насмешки, но самые крепкие ругательства и громкие окрики привелось ему выслушать от Патапа Максимыча.

— Так ты вздумал и на стороне шашни заводить,— кричал разъяренный тестюшка.— На супрядки по чужим деревням к девкам ходить! Срамить честной мой дом хочешь! Так помни, бабий угодник, что батраков у меня вволю, велю баню задать — так вспорют тебя, что вспомнишь сидорову козу. До смерти не забудешь, перестанешь бегать от жены!.. Смей только еще раз уйти на посиделки!

И выгнал любезного зятя из горницы, а на прощанье еще тумака задал ему в спину.

Как проведала про мужнины проказы Прасковья Патаповна, затряслась вся от злобной досады. Увидавши супруга, кинулась на него, ровно бешеная. Василий Борисыч тотчас закрыл лицо ладонями, чтоб милая женушка опять его не искровенила. И кричит она и визжит, шумит, как голик, брюзжит, как осенняя муха, ругается на чем свет стоит и, взявши кожаную лестовку, принялась стегать муженька по чем ни попало. Мало этого показалось Прасковье Патаповне, схватила попавшийся под руку железный аршин, да и пошла утюжить им супруга. Едва вырвался Василий Борисыч из рук разъяренной подруги жизни и опрометью бросился вон из тестева дома. Выбежав на улицу, стал на месте и так рассуждал: «Что теперь делать?.. Куда идти, к кому? Как в темнице сижу, тяжкой цепью прикован. Нет исхода... Ох, искушение! Удавиться ли, утопиться ли мне?»

С самого утра дул неустанный осенний ветер, а Василий Борисыч был одет налегке. Сразу насквозь его прохватило. Пошел в подклет погреться и улегся там на печи старого Пантелея. А на уме все те же мысли: «Вот положение-то! куда пойду, куда денусь?.. Был в славе, был в почестях, а пошел в позор и поношение. Прежде все мне угождали, а теперь плюют, бьют, да еще сечь собираются! Ох, искушение!»

И стал Василий Борисыч раздумывать, куда бы бежать из тестева дома, где бы найти хоть какое-нибудь пристанище. Думает, думает, ничего не может придумать — запали ему все пути, нет места, где бы приютиться.

Дня три шага не выступал он из Пантелеева подклета и обедать наверх не ходил, дрожмя дрожал от одного голоса жены, если, бывало, издали услышит его. В доме знали от старика Пантелея, что ему нездоровится, что день и ночь стонет он и охает, а сам с печки не слезает. И в самом деле, железный аршин не по костям пришелся ему. Заходил в подклет и сам Патап Максимыч. Хотелось ему наведаться, чем зять захворал, что за болесть ему приключилась. Пришел, Пантелея в избе о ту пору не было, а Василий Борисыч стонал на печи.

— Что, распевало? Аль ежовски посиделки отрыгаются?..— с усмешкой спросил у него осиповский тысячник.— Или тебя уж очень сокрушила Лизка скороховатовская? Целу, слышь, ночь у тебя с ней были шолты-болты[1]. Шутка сказать, на десять целковых прокормил да пропоил у этой паскуды Акулины! Станешь так широко мотать, не хватит тебе, дурова голова, и миллиона. Акульке радость,— во всю, чать, зиму столько ей не выручить, сколько ты ей переплатил. С похмелья, что ли, хвораешься?..

— Не с похмелья у меня, батюшка, голова болит, не с поседок мне хвораешься,— охая, отвечал Василий Борисыч.— Болит головушка и все тело мое от злой жены. Истинно во святом писании сказано: «Удобее человеку со львом и скорпием жити, неже со злою женой». От дочки вашего степенства житья мне нет. И теперь болею от любви ее да от ласки — полюбилось ей бить меня, железным аршином приласкала меня! В трех местах голова

[1] *Шолты-болты* — вздор, пустяки, дрянь, негодные вещи.

у меня прошиблена до́ кости, и весь я избит — живого места не осталось на мне... Пожалейте меня хоть сколько-нибудь, пожалейте по человечеству...— со слезами молил тестя Василий Борисыч.— Теперь деваться мне некуда, свадьба с Прасковьей Патаповной затворила мне все хо́ды к прежним моим благодетелям. Куда денусь? сами посудите.

— Живи с законной женой, да мамо̀шек на стороне не смей заводить... Тогда все пойдет по-доброму да по-хорошему,— промолвил, насупившись, Патап Максимыч.

— Нельзя с такой глупой да злой женой жить по-хорошему,— отозвался вполголоса Василий Борисыч.

— А какой леший толкал тебя в улангерском лесу к Параньке? — также вполголоса, с язвительной насмешкой сказал осиповский тысячник.— Ведь я все знаю. И то знаю, как ты по Фленушкиным затеям у свибловского попа повенчался. Не знаю только, кто свадьбу твою сварганил, кто в поезжанах был... А то все, все до капельки знаю. А не вытурил я тебя тогда с молодой женой и́з дому да еще на друзей и для окольного народа пир задал и объявил, что свадьбу я сам устряпал, так это для того только, чтоб на мой честно́й дом не наложить позору. Что Прасковья дура, про это я раньше тебя знаю; что зла она и бранчива, тоже давно ведаю. Да ведь не я ее тебе на шею вешал, не я тебя в шею толкал. Тут я ни при чем. Сам свою судьбу устраивал, сам выбирал себе невесту, ну и живи с ней, терпи от нее попреки и побои, а мое дело тут сторона.

— Хоть бы уехать куда на недолгое время,— сказал Василий Борисыч.

— А к какому шайтану уедешь? — возразил Патап Максимыч.— Сам же говоришь, что деваться тебе некуда. Век тебе на моей шее сидеть, другого места во всем свете нет для тебя. Живи с женой, терпи, а к девкам на посиделки и думать не смей ходить. Не то вспорю. Вот перед истинным богом говорю тебе, что вспорю беспременно. Помни это, из головы не выкидывай.

Долго бранил Патап Максимыч Василья Борисыча, а тот, лежа на печке, только стонет да охает от жениных побой, а сам раздумывает, что лучше: бежать иль на чердаке удавиться.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Заходили по народу толки, будто Патап Максимыч привез в Осиповку несметное богатство сироты Смолокуровой и что сложено оно у него в его каменной палатке. А пошли те толки со слов осиповских девок, что пировали на посиделках у Мироновны, и, кроме них, привоз сундуков видели батраки, работавшие в токарнях и в красильнях. По ближним и дальним деревням заговорили об этом, и народная молва гласила уже, что привезено не приданое Смолокуровой, а несметные сокровища, каких ни у кого еще не бывало: сундуки, битком набитые чистым золотом и другими драгоценностями. Толковали: «С давних лет многое множество богатых кладов в земле лежит, но ни в одном нет столько добра, как теперь в каменной палатке у Чапурина. Притом же все земляные клады, сколько их ни есть, кладены с зароком, а бережет их супротивная сила, а туда положено золото безо всякого зарока, и до него нечистому нет никакого дела». По этому самому никакой и вещбы тут не надо, ни тайного слова. И при таких разговорах много людей зарилось на чапуринскую палатку.

Дён через десять после того как Василий Борисыч был в гостях у тетки Мироновны, у нее опять были посиделки. Народа было множество, особливо парней. Тесно было во вдовьей избе, иным ни на лавках, ни на скамьях недоставало места,— сидели на печи, лежали они на полатях. Пели песни, плясали, пили, ели, прохлаждались, а веселая, довольная Мироновна, видя, как гости очищают ее стряпню, металась из стороны в сторону, стараясь угодить каждому. Не одну песню спели, не раз поплясали, и тут у парней и девок зачались меж собой суды и пересуды. Судили, рядили обо всех окольных, про ближних и дальних, старух и стариков, про женатых и холостых, про красных девушек и молодых молодушек: всем косточки перемыли, всем на калачи досталось,— известное дело, от пересудов, да напраслины, да сплеток ни пешком не уйти, ни на коне не уехать.

Вспоминая Василья Борисыча, ровно по книге рассказывали про его похожденья, как не давал он в скитах спуску ни одной белице, что была моложе да пригожей из себя. Осиповские девки рассказали, как ему за посиделки у Мироновны тесть в шею наклал, а женушка

железным аршином до костей пробила грешное его тело. И никого не нашлось изо всей беседы, кто бы пожалел его; все потешались, а пуще других отецкая дочь Лизавета Трофимовна. Перешла речь на самого Патапа Максимыча. Сидели у Мироновны люди к делам его непричастные, работ и хлебов осиповского тысячника не искавшие и, по зависти к богатству и домоводству его, готовые натворить ему всяких пакостей не только языком, но и делом. И пошли они цыганить Патапа Максимыча, глумиться над ним, надо всей семьей его и надо всеми к нему близкими. Смеха было вволю, а всех больше насмехался над Чапуриным, пуще всех глумился над ним за то, что он тысячами ворочает, Илюшка пустобояровский. Усевшись на печку и колотя по ней задками сапогов, он мало говорил и то изредка, но каждое слово его поднимало не только веселый, но даже злобный хохот всей беседы, и от того хохота чуть не дрожали стены в Акулининой избе. Зашла речь и о приданом Смолокуровой. Мироновну та речь затронула за живое, рассыпалась она в ругательствах на Дуню за то, что у нее такое несчетное богатство, а ей не на что избенку проконопатить — со всех сторон дует, углы промерзают, житье в ней мало лучше, чем в ином сарае либо на сеннице. И укоряла бога вдовица, что несправедливо он поделил меж людей земные богатства, и начальство бранила, что до сих пор не додумается деньги поровну поделить между крещеными.

— А много ль денег в самом-то деле поставил Чапурин в палатке? — спросил Миней Парамонов, мрачный, никогда не улыбавшийся парень из деревни Елховки, с нахальным взглядом посматривая на молодежь.

— Десять возов с чистым золотом,— помолчав немного и подыгрывая на гармонике, сказал тот самый Алешка, что ухаживал за Акулининой племянницей.

— Здорово же ты, парень, врешь,— крикнул на всю избу Миней.— Не в подъем человеку вранье твое. Как заврешься, под тобой, парень, и лавка не устоит,— слышь, потрескивает. Поберегись. Убавляй, не бойсь, много еще останется.

— Нет, точно десять возов привезено и в палатку поставлено,— заметил один из осиповских токарей, Асаф Кондратьев, только что прогнанный Патапом Максимы-

чем за воровство и пьянство.— Сам своими глазами видел,— продолжал он.— Вот с места не сойти!

— И золото видел? — спросил Миней.

— Нет, врать не хочу, золота не видал, видел только воза да сундуки,— ответил осиповский токарь.— Сундуков, укладок и коробья пропасть.

— Надо думать, что лежат в тех сундуках платья, да шубы, да иное приданое, может статься, есть тут и золото и серебро, а чтобы все десять возов были полны чистым золотом — этому поверить нельзя,— насмешливо молвил Миней и переглянулся с Илюшкой пустобояровским.

Тот будто и не заметил, сидит себе на печи да ногами побалтывает.

— Что, Илюшка? — спросил у него, подходя к печке, Миней.

Илюшка молчал, но, когда Миней, взгромоздясь на печь, сел с ним рядом, сказал ему потихоньку:

— Лишних бревен в избе много, после потолкуем,— прошептал Илья пустобояровский.

Меж тем Мироновна продолжала плакаться.

— Господи Исусе! — причитала она.— И хлеб-от вздорожал, а к мясному и приступу нет; на что уж дрова, и те в нынешнее время стали в сапожках ходить. Бьемся, колотимся, а все ни сыты, ни голодны. Хуже самой смерти такая жизнь, просто сказать, мука одна, а богачи живут да живут в полное свое удовольствие. Не гребтится им, что будут завтра есть; ни работы, ни заботы у них нет, а бедному человеку от недостатков хоть петлю на шею надевай. За что ж это, господи!

И до самого расхода с посиделок все на тот же голос, все такими же словами жалобилась и причитала завидущая на чужое добро Акулина Мироновна. А девушки пели песню за песней, добры молодцы подпевали им. Не один раз выносила Мироновна из подполья зелена вина, но питье было неширокое, нешибкое, в карманах у парней было пустовато, а в долг честная вдовица никому не давала.

— Что сегодня мало пьете, родимые? Нешто зареклись, голубчики? — ласково, заискивающим голосом говорила она парням.— Аль и у вас, ребятушки, в карманах-то стало просторно? Не бывал вот чапуринский зять, то-то при нем было веселье: изломала, слышь, сердеч-

ного злая жена железным аршином. Эх, ребятушки, мои голубчики! Раздобыться бы вам деньжонками, то-то бы радость была и веселье! Эй, дружки мои миленькие, оглянитесь-ка, сударики, на все четыре сторонушки, попытайте-ка, не лежит ли где золота казна, клада в окольности поискать бы вам.

— Боязно, тетушка, да и грех велик,— вступился Алешка, поглядывая на свою зазнобу, племянницу Мироновны.— Ведь при каждом кладе бесовская сила приставлена, ни отбечь [1], ни отчураться от нее никак невозможно... Беда!

Вскинулась на него честна̀я вдовица, обругала на чем свет стоит и под конец прибавила:

— Коли ты из заячьей породы, страховит да робок, лежи себе на полатях, разинь хайло-то [2], да и жди, что богатство само тебе в рот прилетит. Про бесовские клады по всей здешней палестине и слыхом не слыхать, зато лежат иные, и ни лысого беса к ним не приставлено. Взять те клады легко, все едино что в полое [3] рыбу ловить. Нужна только смелость да еще уменье.

Илюшка с Минеем молча переглянулись меж собой, когда Мироновна ругала Алешку.

Вдруг Илюшка спрыгнул с печи, стал среди избы, кликнул, гаркнул беседе громким голосом:

— Эй вы, девушки красоточки! Пойте, лебедушки, развеселую, чтобы сердце заскребло, чтобы в нас, молодцах, все суставчики ходенем пошли... Запевай, Лизавета, а вы, красны девицы, подтягивайте. Пляши, молодцы! Разгула хочется. Плясать охота. Ну, девки, зачинай!

И запели девки развеселую, и вся беседа пошла плясать, не стерпела сама Мироновна. Размахивая полотенцем заместо платочка, пошла она семенить вдоль и поперек по избе. Эх, был бы десятник жив, уже как бы накостылял он шею своей сожительнице, но теперь она вдова — значит, мирской человек: ее поле — ее и воля.

А Илюшка пустобояровский, немного поплясав, сел среди шума и гама за красный стол, под образами. Сидит, облокотясь на стол, сам ни слова. Не радуют его больше ни песни, ни пляски. Подошла было к нему Ли-

[1] Отбежать.

[2] Горло, рот, зев, пасть.

[3] Заливное, поемное место берега или луга, пойма, займище, остаток весеннего разлива.

завета Трофимовна, стала было на пляску его звать, но возлюбленный ее, угрюмый и насупленный, ни слова не молвивши, оттолкнул ее от себя. Слезы навернулись на глазах отецкой дочери, однако ж она смолчала, перенесла обиду.

И что-то всем стало невесело. Недолго гостили парни у Мироновны, ушли один за другим, и пришлось девушкам расходиться по домам без провожатых; иные, что жили подальше от Ежовой, боясь, чтобы не приключилось с ними чего на дороге, остались ночевать у Мироновны, и зато наутро довелось им выслушивать брань матерей и даже принять колотушки: нехорошее дело ночевать девке там, где бывают посиделки, грехи случаются, особливо если попьют бражки, пивца да винограденького.

Минею Парамонову с осиповским токарем идти было по дороге, но к ним пристал и дюжий Илья, хоть его деревня Пустобоярова была совсем в другой стороне. Молча шли они, и, когда вышли за ежовскую околицу, вымолвил слово Илья.

— Что ж, други? Станем, что ли, клад-то вынимать?

— Какой клад? — спросил прогнанный Патапом Максимычем токарь. А звали его Асафом Кондратьичем.

— Эх, ты! — с усмешкой сказал ему Илья в ответ.— Сам ходит вокруг клада, каждый день видит его, а ему и невдомек, про какой клад ему сказывают.

— Я пойду,— молвил Миней Парамонов.— Чем с бедности да с недостатков чужие клети ломать, цапнуть сразу тысячу-другую да и закаяться потом.

— Да где же клад-от лежит? — спрашивает недогадливый Асаф.— И какой зарок на нем?

— Никакого зарока нет, а лежит клад у тебя под носом,— молвил Илья пустобояровский.— Сам же давеча сказывал, что на десяти возах к Чапурину клад на днях привезли.

— Так ведь он его в каменну палатку сложил,— сказал Асаф.

— А что ж из того? — спросил Илья.

— Ключи у самого, как без них в палатку войти? — молвил Асаф Кондратьев.

— Не то что палатку, городовые стены пробивают,— сказал Илья.— Были бы ло̀мы поздоровей да ночь потемнее.

— А как услышат? — промолвил Асаф.

— Надо так делать, чтобы не слыхали,— отвечал Илья.— Ты осиповский, тебе придется сторожить. Ходи одаль от палатки, и на задах ходи, и по улице. Ты тамошний, и кто тебя увидит, не заподозрит — свой, значит, человек. А ежель что заметишь, ясак [1] подавай, а какой будет у нас ясак, уговоримся.

— Ведь десять возов — всего не унести,— заметил Асаф.

— А кто тебе про все говорит? — сказал Илья.— Вестимо, всего не унесешь. Возьмем, что под руку попадется; может, на наше счастье и самолучшее на нашу долю достанется. Ну что ж, Асаф Кондратьич, идешь с нами али нет?

— В ответе не быть бы...— колеблясь, промолвил Асаф.

— Какой тут ответ, когда только сторожем будешь,— возразил Миней Парамонов.— Да ты постой, погоди,— ночные караулы бывают у вас на деревне?

— Исправник и становой не один раз наказывали, чтобы в каждой деревне караулам быть, только их николи не бывает,— отвечал Асаф.— Дойдет до тебя черед, с вечера пройдешь взад да вперед по улице, постучишь палкой по клетям да по амбарам, да и в избу на боковую. Нет, на этот счет у нас слабовато.

— А у Чапурина есть свои караулы? — спросил Илья.

— Как ему без караулов быть? Нельзя,— отвечал Асаф.— У токарен на речке караул, потому что токарни без малого с версту будут от жилья, а другой караул возле красилен. Эти совсем почти в деревне, шагов сто, полтораста от жилья, не больше.

— А далеко ль от палатки те караулы? — спросил Миней Парамонов.

— Далеконько,— ответил Асаф,— токарни-то ведь по другую сторону от деревни.

— А за палаткой что? Назади-то ее, значит? — продолжал расспросы Миней.

— Да ничего,— отвечал Асаф.— Одно пустое место, мочажина, болотце гладкое, без кочек. А за мочажиной

---

[1] Сторожевой клик или другой знак, непонятный постороннним.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Глава I.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Глава I.

перелесок, можжевельник там больше растет, а за перелеском плохонький лесишка вплоть до Спасского села.

— Так хочешь, что ли, с нами? — спросил Илья.

— Да я, право, не знаю,— нерешительно отвечал Асаф.— Боязно, опасно, ежели проведают. В остроге сгниешь.

— Коли что, так мы с Илюшкой в ответе будем,— молвил Миней.— Твое дело вовсе почти сторона, станешь ходить по приказу начальства да по мирской воле. Твое дело только ясак подать, больше ничего от тебя и не требуется. А дуван станем дуванить, твоя доля такая ж, как и наша.

— Вина тогда, Асафушка, будет у тебя вволю. В город поедем, по трактирам станем угощаться. А какие, братец ты мой, там есть любавушки, посмотреть только на них, так сто рублей не жаль, не то что наши деревенские девки,— говорил Илья осиповскому токарю.

Асаф долго колебался, наконец решился. Очень уж прельстился он никогда до тех пор не виданными городскими любавушками, что поют на всякие голоса, ровно райские птицы, а в пляске порхают, как ласточки, что обнимают дружка таково́ горячо, что инда дух занимается. Знал Илья пустобояровский, за какую струну взяться, знал он, что Асаф чересчур уж падок до женского пола и что немножко брезговал деревенскими чупахами. С полчаса он расписывал ему про веселое житье в городе и про тамошних красавиц, что на все руки горазды и уже так ласковы и податливы, что и рассказать недостанет слов. Уговорились ломать палатку, только что настанут темные ночи. Ежели будет сухо, нести добычу к Илюшке в Пустобоярово, а если грязно, так нести сначала прямо в лес по мочажинам, чтобы не было заметно следов.

Подойдя к Осиповке, приятели, по указанию Асафа, свернули в сторону и пошли по задам деревни. Полный месяц обливал чапуринскую палатку. Она ставлена была позади дома на усаде, и усад был обнесен плетнем. Плетень как плетень, пихни ногой хорошенько, он и с места долой. Плетня, однако же, парни не тронули: следа бы не оставить после себя, а перелезли через него, благо ни души нигде не было, обошли палатку кругом и видят, что без большого шума нельзя через дверь в нее попасть, дверь двойного железа, на ней три замка.

— Нет, про дверь и думать нечего,— молвил опытный в воровском деле Миней Парамоныч. Он два года в остроге высидел, но по милостивому суду был оставлен только в подозренье, а по мелким кражам каждый раз отделывался тем, что ему накостыляют шею, да и пустят с богом на новые дела.

Поднял он валявшуюся неподалеку оглоблю и пошел вкруг палатки, постукивая об ее стены и чутко прислушиваясь ко звукам.

Обойдя кругом палатку, он подумал немножко и молвил товарищам:

— Стены-то, никак, в два кирпича.

— Так точно,— подтвердил Асаф.— Помню я, как Чапурин ее клал, я еще известку тогда ему месил да кирпичи таскал. Точно, в два кирпича строена.

— Ну, айда по домам,— сказал Илья.— Да тише, черти, через плетень-от перелезайте.

Перелезли и вышли на проселок одаль от деревни.

— Стену легче пробить, чем дверь сломать,— сказал там Миней.— Ты, Илюха, добудь лом поздоровей, а у меня есть наготове, а ты, Асаф, заранее оповести нас, когда придется тебе на карауле быть.

Затем все трое разошлись по своим местам.

В Осиповку приехал Никифор Захарыч. Ездил он на Низ, наполовину покончил смолокуровские там дела, но их оставалось еще довольно, приводилось весной туда плыть, только что реки вскроются. Возвращаясь, Никифор побывал у Чубалова, там все шло хорошо, оттоле проехал в Вихорево, рассказал Дуне все по порядку обо всем, что ни делал он в низовых местах, и выложил кучу денег, вырученных за продажу лодок, снастей[1] и бечевы. Дуня слушала, мало что понимая из речей Никифора Захарыча, денег не взяла, а просила съездить в Осиповку, обо всем рассказать Патапу Максимычу и деньги ему отдать. Никифор так и сделал.

Выслушав шурина и принявши деньги, Чапурин сказал:

— До весны у меня оставайся, по зиме, может, приведется кой-куда послать тебя по моим делам, не по смо-

---

[1] *Снасти* — сети, мережи, невода и другие делаемые из пряжи орудия рыболовства.

локуровским... Там к весне-то свой хозяин будет, Авдотья Марковна замуж, слышь, выходить собирается.

— Слышал и я об этом стороной,— ответил Никифор,— только ни Груня, ни сама Авдотья Марковна мне ни слова о том не сказали. Приезжаю в Вихорево, а там Иван Григорьич в отлучке, и большая горница полнехонька девок: семь ли, восемь ли за белошвейною работой сидят, а сами поют свадебные песни; спрашиваю: «Кому поете?» Авдотья Марковна, сказывают, выходит замуж за приезжего купца. Я Груню спросил, а она говорит: «Немножко повремени, обо всем расскажу, а теперь не скажу». Так ничего я и не добился. А невесту так и не спрашивал, не мое, думаю, дело.

— Самоквасова Петра Степаныча знавал? Он еще каждое лето в Комаров с подаяниями от дяди из Казани приезжал,— сказал Патап Максимыч.

— Слыхать слыхал, а видеть не доводилось,— отвечал Никифор.

— За него выходит,— молвил Чапурин.— Хоть богатством своим много уступит своей нареченной, а все-таки сотни с две тысяч у него и своих наберется.

— Видно, что, как лист к листу, так и деньги к деньгам,— заметил Никифор Захарыч.

— Видно, что так,— сказал на то Патап Максимыч.— Опричь капиталов, домов, земель и прочего, одного приданого у ней тысяч на сто, ежели не больше. Побоялись мы в Вихореве его оставить, не ровен случай, грешным делом загорится, из Груниной кладовой ничего не вытащишь, а здесь в каменной у меня палатке будет сохраннее. Десять возов с сундуками привезли. Шутка ли!

— А караул-от у палатки ставится ли по ночам? — спросил Никифор.

— Не для чего,— ответил Патап Максимыч.— Палатка не клеть, ее не подломаешь, опять же народ близко, а на деревне караулы; оно правда, эти караулы одна только слава, редко когда и до полуночи караульные деревню обходят, а все-таки дубиной постукивают. Какой ни будь храбрый вор, все-таки поопасится идти на свой промысел.

— Оно точно. Справедливо сказано,— промолвил Никифор.— По себе хорошо знаю. Да ведь вот что надо го-

ворить: «Вор вором, а крадено краденым». В деревенскую клеть залезть нужна отвага, да не больно большая. Что взять с полушубков да с бабьих сарафанов? С голодухи больше клети подламывают да еще ежели пить хочется, а в кармане дыра... А тут вдруг на сто тысяч! При таком богатстве у всякого вора прибудет отваги, и на самое опасное дело пойдет он наудалую: бог, мол, не выдаст, свинья не съест. Нет, во всяком разе, по-моему, надо бы к палатке караул приставить, да не ночной только, а и денной, палатка-то ведь почти на всполье стоит, всяких людей вокруг бывает немало.

— Крепка, не проломают,— самоуверенно сказал на то Патап Максимыч и повел совсем про другое речь.

— Как озими на Узенях? — спросил он у шурина.

— Озими хорошие,— отвечал Никифор.— После Покрова зажелтели было, потому что с Семенова дня дождей не было ни капельки, погода сухая, а солнышко грело, ровно летом, ну а как пошли дожди да подули сиверки, озимые опять зазеленели.

— У Зубкова как? — спросил Патап Максимыч.

— Хорошо, очень даже хорошо,— отвечал Никифор.

— А на моих хуторах, что переснял я у Зубковых, случилось тебе быть? — спросил Чапурин.

— Как же. Нарочно два раза туда заезжал. Все осмотрел,— отвечал Никифор Захарыч.

— Ну, что же?

— Да ничего, все слава богу,— сказал Никифор.— Озими тоже зазеленели, скот в теле, овса, сена, яровой соломы и всякого другого корма до будущего хлеба с залишком будет, приказчики на хуторах радивые, рабочий народ всем доволен, соседские, слышь, завидуют ихней жизни.

— Весной, даст бог, сам сплыву, кстати же надо будет с казной новые условия писать, прежним-то к осени предбудущего года сроки минут. Беспременно поеду, коли жив буду,— сказал Патап Максимыч.— Ступай повидай сестру-то,— прибавил он.— Плохо, брат, ее дело, больно плохо... Не знаю, что и будет, какую волю господь сотворит над ней. А сохрани бог, не станет Захаровны, сгинет дом и пропадет моя головушка!.. Как жить с этой дурищей Прасковьей да с ее мужем бездельником?.. Мука будет одна... Да повидай внучонка, Заха-

рушку-то, что наша дурища принесла... Пойдем, Никифор, пойдем, любезный ты мой, к Захаровне.

У изголовья Аксиньи Захаровны сидела Дарья Сергевна и читала ей из «Пролога» житие преподобно-мучеников Галактиона и Епистемии: память их на другой день[1] приходилась. Жадно слушала болящая мирное, протяжное чтение Дарьи Сергевны, с благочестивым упоением; не пророня ни словечка, слушала она про лютые мучения, коим подвергали нечестивые верных рабов божиих, и ровно светочи горели на ее безжизненном, неподвижном лице. Тут же, тыкаясь носом, дремала в углу Прасковья Патаповна, едва держа у груди заснувшего Захарушку, того и гляди заботливая матушка брякнет об пол своего первенца. Никифор благоговейно вступил в горницу, где умирающая Настя прощальными речами преобразила душу его и возвела падшего из греховной погибели. Навернулись у него слезы, когда клал он поклоны перед святыми. Обратясь потом к сестре, он низко поклонился ей и спросил про здоровье.

Аксинья Захаровна ненавидела брата, когда проводил он беспутную жизнь, проклинала его всякими клятвами, называла кровным врагом своим и в разговорах с мужем нередко желала Никифору сгибнуть где-нибудь под оврагом. Но теперь она переменилась. Не вдруг изменила она об нем свои мысли, не сразу поверила братнину исправлению, думала, что все это у него одно притворство, но мало-помалу уверилась, что он на добрую стезю напал. И тогда возвратила она прежнюю любовь к нему, такую же почти любовь, какую питала, будучи уже большенькой девочкой, когда нянчила маленького своего братишку. Его дельные и всегда удачные распоряжения по даваемым ему Патапом Максимычем поручениям убедили Аксинью Захаровну, что Никифор человек — золото, за что ни возьмется, дело у него так и кипит. И стал он ей дорог и любезен, и, кроме мужа, кажется, она его любила больше всех. Груня, что ни говори, все-таки чужая, а к дочери и зятю сердце ее вовсе не лежало.

— Ну что? Как тебя бог милует? — спросил Никифор, подойдя к сестре.

---

[1] Ноября 5-го.

— Все так же, Микешенька, все так же, родной. Ни лучше, ни хуже, измаялась я совсем,— отвечала со стоном Аксинья Захаровна и с ясной улыбкой глядя на брата.— Ты где летал, где был-побывал? — ласково она промолвила.

— На Низ ездил да вот маленько и замешкался,— отвечал Никифор.— Туда-то по Волге сплыл, и скорехонько и без хлопот, а назад ехал на конях, для того что по воде-то стало опасно, через неделю, много через полторы, Волга совсем станет.

— Пора уж, пора, Микеша, ведь Михайлов день на дворе,— заметила Аксинья Захаровна.— По смолокуровским делам, что ли, ездил-то?

— И по смолокуровским и по вашим. Все, бог подал, управил, теперь до весны придется на печи лежать,— сказал Никифор Захарыч.

— Ну, слава богу, слава богу,— проговорила Аксинья Захаровна и смолкла. Тяжело было много ей говорить.

— Вы как поживаете, сударыня Дарья Сергевна? — спросил у ней Никифор Захарыч. Как только вошел он в комнату больной, она сложила «Пролог», положила его на стол и, опустя голову, недвижно сидела у изголовья Аксиньи Захаровны.

— Живу, пока бог грехам терпит,— тихо промолвила Дарья Сергевна.— Вы как, в своем здоровье, Никифор Захарыч? — прибавила она.

— Ничего,— отвечал Никифор.— Вот только теперь дорогой маленько порастрясло меня. Студено, дорога промерзла, езда бедовая, а мне довелось без малого две тысячи верст по такой дороге промучиться.

В это время одаль стоявший Патап Максимыч быстро подскочил к дремавшей дочери и схватил Захарушку, совсем уже почти скатившегося с колен матери.

Очнулась Прасковья Патаповна, зевнула во всю сласть и, впросонках, тупым взглядом обвела всех бывших в комнате.

— Ах ты, дурафья безумная! — вскрикнул на нее Патап Максимыч.— Даже рожденья своего не жалеет! У скотов даже этого не бывает, и у них мать детеныша бережет... Не тебе бы, дура, мужа бить да стегать, ему бы следовало тебе хорошую выволочку задать! Плох, боль-

но плох он у тебя и на то даже умом не вышел, чтобы жену учить!

Затем, подойдя к Никифору и показывая ему глядевшего синенькими глазками и улыбавшегося младенца, сказал ему:

— Гляди, помилуйся на внучка-то. Переживешь нас со старухой, береги ты его, Никифор, одного только его береги. Вскорми, воспитай, уму-разуму научи. На отца надежда плоха, о Прасковье нечего и поминать. А я все, что ни есть у меня, вот этому малышу после себя отдам, все добро мое пойдет внучку моему любезному, Захарушке. Дура Парашка и муж ее, московский распевало, хоть под оконьем шатайся, Захарушка бы только счастлив был... Эх, Настя, Настя! Была бы жива ты,— прибавил он надорванным от горя голосом.— Все с собой унесла, белая моя ласточка!

— Все,— едва сдерживаясь от рыданий, молвил Никифор.— Все унесла, все!

Еще при первых словах отца Прасковья Патаповна молча вышла из горницы больной матери. Пришла к себе и прямо на постель. Раскида́лась, разметалась на ней дочь осиповского тысячника, закрыла глаза, а сама думает: «Хоть бы Васька пришел, каков ни есть, а все-таки муж!»

А Никифор пошел отдохнуть после трудного и долгого пути в подклеть, на давно облюбованное им место, в боковушу рядом с Пантелеем. Сколько ни уговаривал его Патап Максимыч выбрать жилье где-нибудь наверху, Никифор не соглашался.

Проходя в свою боковушу чрез Пантелееву избу, он услыхал стоны, взглянул на́ печь, там Василий Борисыч лежит.

— Что, друг, лежишь? Аль неможется? — спросил у него Никифор.

— Уж так неможется, Никифор Захарыч, что и рассказать тебе не могу,— тихо и жалобно ответил Василий Борисыч.

— Трясучка [1], что ль, одолела? Много теперь народу трясучкой болеет,— сказал Никифор.— А коли так, для чего здесь на печи валяешься, зачем в горницы к жене нейдешь?

---

[1] Лихорадка.

— Скорее в лес на съеденье волкам пойду, чем в горницу твоей племянницы, Никифор Захарыч,— оживляясь понемножку, сказал Василий Борисыч.— Сын Сирахов гласит: «Лучше жити со львом и змием, неже с женой лукавою. Всяка злоба мала противу злобы женской» [1]. А какова Прасковья умом вышла, сам не хуже моего знаешь. От нее болею, от нее горькие мои недуги. Чуть ли не изломала железный аршин об меня. Ума и рассудливости у нее с накопыльник [2] нет, а дурости и злобы горы превысокие. Хоть руки на себя наложить, вот она меня до чего довела.

— Человек я не книжный,— сказал на то Никифор Захарыч,— силы писания не разумею, а скажу, что от старых людей слыхал: «Не рыба в рыбах рак, не птица в птицах нетопырь, не зверь во зверех еж, не муж в мужьях тот, кем жена владает». И у меня, голубчик, бывала жена Мавра, не знаю, померла аль в живых еще. Не честью мы с ней были венчаны, похмельным делом окрутили нас. Бо̀рзая баба была, однако ж я и ее в ежовых рукавицах держал, покамест на сторону она не сбежала. А потачки ей не давал, знала бы, что муж есть глава... А ты что! Фалалей, больше ничего.

— Да, попробуй-ка пальцем тронуть Прасковью Патаповну,— охая, промолвил Василий Борисыч.— Жизни не рад будешь. Хоть бы уехать куда, пущай ее поживет без мужа-то, пущай попробует, небойсь и теперь каждый вечер почти шлет за мной: шел бы к ней в горницу. А я без рук, без ног куда пойду, с печки даже слезть не могу. Нет уж, уехать бы куда-нибудь хоть бы на самое короткое время, отдохнул бы хоть сколько-нибудь.

— Что ж не попросишься у Патапа Максимыча? У него всяких делов по разным местам довольно. Попросись-ка ты,— молвил Никифор Захарыч.

— Не пошлет он меня, ни в каком разе не пошлет,— ответил Василий Борисыч.— И думать об этом нечего.

— Да,— несколько подумавши, молвил Никифор Захарыч.— Не раз он и мне говаривал, что считает тебя ни на какие дела не пригодным. Когда, говаривал, у Насти

---

[1] Иисуса, сына Сирахова, XXV — 18, 21.

[2] Поперечный брусок у саней для связки верхних концов копыльев.

покойницы он на сорочинах был, говорил он таково умно, что мне он полюбился. Таково хорошо да умно рассказывал про разные страны, в коих быть тебе доводилось, и про всякие промысла, от коих народ божий кормится. И почел он тебя тогда человеком во всем достаточным, и стал он раздумывать, как бы тебе на Прасковье жениться, а потом послать на Горы промысла там заводить. Жениться-то ты женился, а ни на какое дело не сгодился, говорил он после. От того от самого у него и доверия к тебе никакого нет. Точно, что он ни к какому делу тебя ни за что не приставит и одного тебя ни за каким делом не пошлет.

— А зачем же меня женили силом? Хотел разве я жениться на этой колоде, сватался, что ли? Обманом да силой из Комарова меня выкрали, венчали супротив моей воли... А потом говорил он, что все это вот было его рук дело. А теперь отлынивать стал, намедни здесь, на этом самом месте говорил, что он делу тому непричастен,— с озлобленьем сказал Василий Борисыч и, поворотясь, застонал и заохал.

— Ишь ты! Отлынивает! — молвил Никифор Захарыч и в сильном раздумье покачал головой.— А прежде точно, что не те слова говорил он.

— Во всем я у него виноват,— горько промолвил Василий Борисыч.— С тоски погулять пойдешь, на людей поглядеть, и тут шуму да гаму не оберешься. Наплетут невесть чего, чего никогда и не бывало. Просто до того я дошел, дядюшка Никифор Захарыч, что хоть руки на себя наложить, так в ту же пору.

— Ну, а ты уж не больно,— сказал Никифор.— Обожди, бог даст, перемелется — все мука будет. То ли еще я терпел по своей глупости, такие ли мы виды видали, а вот, по милости господней, все обошлось как не надо лучше... И ты, друг, потерпи, и все будет хорошо. А главное дело — примись-ка за какую ни на есть работу, пусть бы тесть увидал, что ты не бездельничаешь да пустяковиной больше не занимаешься. Себя в пример приведу: чать, и сам ты слыхал, что был я совсем последним человеком. Во хмелю жизнь проводил, воровал, когда не на что стало пить. Здесь, у Патапа Максимыча, и места мне не было, сестра не велела и к дому близко подходить. А вот, как видишь, теперь не на ту стать пошло. А от-

чего? Пить бросил, за дело принялся; так и ты, друг, принимайся помаленьку за какое-нибудь дело, да полно день и ночь стихе́ры да псальмы распевать. Оно хоть и божественное, а все-таки надоело всем.

— Одному этому я, дядюшка, и обык,— молвил на то Василий Борисыч.— Смолоду ни к какой работе не был приучен.

— Человек ты еще не старый, Василий Борисыч, ко всякому делу мог бы еще приобыкнуть,— сказал Никифор Захарыч.— Попробуй. Хочешь, я насчет этого поговорю с Патапом Максимычем?

Василий Борисыч ни слова не ответил на это.

— Мне бы в Москву,— сказал он, немного повременя.— Хоть и лишился я там благодетелей, а все же своя родная сторона. Хоть мирским подаяньем питаться, только бы там быть.

— Пустое выдумал,— молвил Никифор Захарыч.— От добра добра не ищут, а у тебя добро под руками, только приневоль себя на первый раз, работай хоть в токарне, хоть в красильне. Верь, друг, месяца не пройдет, как Патап Максимыч станет на тебя ласковым оком глядеть. Поговорить, что ли, мне с ним?

— Ни в токарню, ни в красильню ни за что на свете не пойду,— очень уж обидно будет перед батраками,— сказал Василий Борисыч.— Да к тому же за эти дела я и взяться не сумею. Нет, уж лучше петлю на шею, один по крайней мере конец. А уж если такая милость, дядюшка, будет мне от тебя, так похлопочи, чтобы меня при тебе он послал. У тебя на чужой стороне буду радрадехонек даже на побегушках быть, опять же по письменной части во всякое время могу услужить. Мне бы только от Парашки куда-нибудь подальше.

А у самого не то на уме. «Если бы только из заволжских лесов выбраться, уехал бы к старым своим благодетелям, авось бы поладили как-нибудь».

— Ладно, молвлю ему,— сказал Никифор Захарыч.— Может статься, и согласится; только, друг, на согласье его я не больно уповаю. По себе сужу: когда пришла ко мне божья благодать и над гробом моей белой голубушки, Настеньки покойницы, очувствовался и заклятье сам себе дал бросить непутную жизнь, не сразу он поверил мне, не тотчас даже стал говорить со мной о

чем-нибудь дельном. С полгода, а может, и подольше было так, и только тогда, как уверился он во мне, стал дела доверять. Так, думаю, и теперь, что, не видавши твоей работы и усердия, не отпустит он тебя из Осиповки, хотя бы и со мной. И то опять возьми, станешь ты отлучаться, станешь впрохолость [1] жить, а Прасковья бабенка молодая, и хоть дебелая и толстая, а по всему видится, что горячая она и запальчивая, хоть, правду сказать, умом и не вышла. Хоть Патап и сам Прасковью не больно жалует, но не будет согласен, ежели она без мужа по грехам пойдет. Нет, друг, по-моему, надо тебе наперед дома каким ни на есть делом хорошенько заняться, а жену вовремя ублаготворить, после того он, пожалуй, и пустит тебя на сторону.

— Ох, искушение! Да ведь солдатки мужей и дольше ждут,— тихонько пробормотал Василий Борисыч.

— То солдатки,— заметил Никифор,— а эта — отецкая дочь. Патап Максимыч не дозволит, а ежели бы ты и лыжи куда навострил, так от него, друг, не уйдешь: со дна морского достанет... Однако меня дорогой-то порядком изломало. Пойти бы отдохнуть.

И с этим словом пошел в свою боковушу.

Приходилось Асафу караулить деревню под самый Михайлов день, и о том повестил он друзей своих, приятелей. Ночи стояли безлунные, а темная ночка ворам, что матушка. Ждали они полной удачи в задуманном деле. Следов не видно будет. Но с утра Михайлова кануна погода вдруг изменилась, сначала по небу пошли беловатые косички, потом мороз стал быстро спадать, а тут подул ветерок из гнилого угла [2]. Мало-помалу надвигалась на небосклон снежная туча и скоро весь его заволокла. Посыпал снег, ветер стих. Чем дольше идет время, тем гуще и сильней снег валит — и к вечеру всю землю покрыл. Сельщина-деревенщина была рада ему, как дорогому гостю, не радовались только Илья, Миней да Асаф. Того и гляди пороша помешает ихней затее, по первому снежку увидят следы, придется от палатки лесом утекать, а лесом столько добра на себе не сволочешь, сколько можно его по дороге стащить. От дела, однако, все трое были не прочь, задумано-затеяно — на попят-

---

[1] Житье по временам не вместе с женой.
[2] Юго-запад.

ный идти не приходится. Смеркалось, когда Илья да Минеи, один после другого, пришли в избенку Асафа. Невзрачная была та изба, сквозь прогнившую тесовую крышу текли ручьи, сама изба скривилась набок, а ставней на окнах давным-давно уже не было. В эту совсем почти заброшенную Асафову избу пришли воровские други его, а пришли врознь и в разное время, один пришел с одной стороны Осиповки, другой — с другой, чтобы, в случае коли бы накрыли, не заметили бы по следу, что двое зараз из одного места приходили к Асафу. А ломы были уже наготове, дня за три приятели принесли уж их в Осиповку.

К вечеру ветер потянул с полночи. С каждым часом он больше и больше усиливался, а свеженький, только что выпавший снежок струйками понесся по полям. Выше и выше поднимались с земли эти струйки, повалил пухлый, густой снег, замела метелица, поднялась пурга: завыл полуночник [1], воет он в деревенских печных трубах, хлопает неприпертыми калитками и дверьми, шелестит в соломе на овинах. Закутавшись в шубу, либо в армяк, крестьянин, лежа в избе, не нарадуется. «Пришел и к нам господь с великой своей милостью, принес и нам, грешным, зиму-первопутку, отдохнет теперь божий народ на новой, гладенькой дорожке, отдохнут и наши лошадушки. Слава тебе, господи, всяких благ подателю!»

А в избе у Асафа не тому радуются. Вьюга все следы заметет, никто не приметит их. Вьюга да непогода ворам первая подмога.

По всей деревне потухли огни, потухли они и у работников, теплились только лампадки пред иконами в доме Патапа Максимыча. Все заснуло, все притихло, только ветер сильней и громче завывает в дымовых трубах. Ни на одном дворе собака не взлает. Только что смерклось, Асаф разбросал знакомым псам маленькой деревушки куски говядины с каким-то зельем, принесенным Минеем. Свернувшись в клубок, собаки лежат по дворам и не чуют чужого.

Ясак свой сказал Асаф приятелям. Сам будет тихо ходить, а увидит иль услышит что недоброе — станет по клетям и заборам дубиной изо всей силы поколачивать.

---

[1] Северный ветер.

Тогда хорони концы, береги хвосты, беги наутек, куда кто знает.

И пошли Илья да Миней с ломами к палатке. Окольным путем шли они вкруг деревни. Перелезли через забор в усад Патапа Максимыча, подошли к палатке, слегка постукали по стенам ее ломами и, выбрав более других способное для пролома место, принялись за работу. Асаф между тем тихо похаживал по деревне, прислушиваясь ко всякому шороху.

В эти дни у Василья Борисыча женины побои немного зажили, и начал он ходить не только по избе в подклети, но и по двору, выходя, однако, наружу только по ночам, чтобы, грехом, с женой не столкнуться где. Ненависть к ней сильно накипела в нем. Дни проводил он в разговорах со стариком Пантелеем да с Никифором Захарычем либо вполголоса напевал себе духовные песни да псалмы, а ночи просиживал на крылечке подклети. В ночь на Михайлов день и Никифор в своей боковуше и старый Пантелей спали крепким, непробудным сном, а Василью Борисычу с тоски не спалось. В избе было жарко и душно, и он вышел на крыльцо освежиться. Вьюга метет и крутит, но он сидит себе у входа в подклеть, ветром его тут не знобит, снегом не заносит. И раздумался Василий Борисыч про житье-бытье свое, и, как вспомнится ему, в какую беду попал он, женившись на Прасковье, сердце так и замрет, а на душе станет тоскливо и сумрачно.

Ветер дул с той стороны, где стоял усад Патапа Максимыча и палатка. Василий Борисыч вдруг услыхал какие-то странные, глухие удары; сначала подумал, что это ему показалось, но, прислушиваясь, ясней и ясней слышит удары. Раздумывает, что б это такое было, и не может сообразить хорошенько. Наконец, вспало ему на ум, уж не к палатке ли гости с ломами да с пешнями подъехали. Сильней стал он прислушиваться к стуку. Точно, палатку взламывают. Сам идти будучи не в силах, стал он Пантелея да Никифора Захарыча будить, но добудился нескоро, очень уже разоспались и тот и другой. Очнувшись, не вдруг смекнули они, что говорит Василий Борисыч, а когда поняли, пошли все втроем на крыльцо послушать. Слушают,— точно, идет воровская работа ломом да еще не одним. Прислушиваясь к звукам, Никифор

заметил, что ломают палатку в два лома, один побольше, другой поменьше.

Тут старый Пантелей, не тревожа народ в деревне, пошел в работные избы людей поднимать, чтоб они на воров осторожней облаву сделали и, окружив их со всех сторон, руками перехватали бы. На счастье, вышло так, что, когда он переходил улицу, Асаф был на другом конце Осиповки и при разыгравшейся вьюге не заметил вдали человека. Немало нужно было времени, чтобы поднять на ноги токарей и красильщиков, не сразу они оделись. Наконец, человек до сорока работников, на всякий случай с дубинками и рогатинами, двинулись на воров. Тут подоспел Никифор Захарыч, тоже не замеченный караульщиком. Он распорядился, по скольку и куда отправляться рабочим. Сначала они все дальше и дальше отходили в сторону от деревни, потом, вдали друг от друга, пошли к палатке, чтобы густою толпой сразу окружить воров. Немного времени спустя, когда, по расчету Пантелея, облава приближалась уже к палатке, ступая тихо и осторожно и не говоря ни единого слова, один по одному рабочие, до поры до времени остававшиеся в своих избах, стали входить в деревню. Было их всего человек двадцать, у ворот каждого дома в Осиповке стало по человеку, у кого дубина в руках, у кого веревка! Увидал их Асаф и тотчас смекнул, что дело Илье с Минеем выходит дрянь. Немедля подал он изо всей мочи ясак и зачал колотить в ворота своей избы, стоявшей на краю деревни. Между его избой и палаткой Чапурина никаких не было строений, стало быть Илье да Минею хорошо был слышен ясак. Они всполошились, побросали ломы и хотели было бежать, но работников Патапа Максимыча набиралось на улице больше и больше, и кроме ставших у каждого двора, их пришло еще по двое и по трое со двора, они стали в каждом проулке между крестьянскими усадьбами, да, кроме того, на чапуринский двор пришло немало батраков, а оттуда на усад, стали по его окраине, а сами вперед ни шагу. Такими распорядками Никифора да Пантелея воры со всех сторон были окружены, и некуда было выскочить ни Илье, ни Минею. Завидя работников, приходивших друг за другом в деревню, Асаф уже без счету стал колотить в свои ворота, ровно всполох бить.

— Чего колотишь? — сурово сказал ему ставший поблизости красильщик.

— Караулю,— кутаясь в шубенку, отвечал Асаф.

— Коего лешего караулишь? — зарычал почти на него рабочий.— Кто тебя ставил на караул?

— Миром положено,— отвечал Асаф,— а сегодня мой черед.

В это время послышались неистовые крики на усаде Чапурина. Они становились громче и громче. Раздались отчаянные вопли и стоны. К облаве побежали работники, что оставались на деревенской улице, шум поднялся еще больше, весь народ в Осиповке до последнего ребенка проснулся. Проснулись и сам Патап Максимыч и домашние его. Он выбежал на улицу и увидал, что впереди работники ведут со связанными руками Илью да Минея, а за ними трех рабочих, всех в крови от ударов ломами. Воры, не зная, что на них собралась целая облава, ударили работников, что прежде других прибежали к палатке, но потом, видя, что народа набежало пропасть, перестали защищаться и молча сдались. По приказу Патапа Максимыча заперли их покамест в пустом амбаре, а только что рассвело, отправили в становую квартиру.

* * *

Когда все успокоилось, Патап Максимыч сел в верхних горницах за самоваром вместе с Никифором. Позвали чай пить и старика Пантелея, а Василий Борисыч в подклети на печке остался. Спать он не спал, а лежа свои думы раздумывал. Между тем Чапурин, расспрашивая, как узнали о подломе палатки при самом начале дела, подивился, что стук ломов первый услыхал Василий Борисыч. Не сказал на то ни слова Патап Максимыч, но по лицу его видно было, что он доволен.

— Да что он в подклети-то у вас делает? — погодя немного спросил Патап Максимыч.

— Да ничего не делает,— сказал Пантелей.— Теперь вот дня с три ему полегчало, так по дням больше читает, а по ночам сидит на крыльце да что-то потихоньку попевает.

— Гм! — отозвался Патап Максимыч и задумался, барабаня по столу пальцами.

Прошло несколько времени, Никифор Захарыч прервал общее молчанье.

— Можно ли мне попросить тебя насчет его, Патап Максимыч? — сказал он вполголоса.

— О чем это? — быстро спросил у шурина Чапурин, но не гневно, не сурово, как прежде бывало, когда про Василия Борисыча речь заходила.

— Живет он у тебя безо всякого дела,— сказал Никифор Захарыч.— Ну, известно, что каждый человек без дела во всякое время может с ума спятить. По себе сужу, сам от безделья до того, бывало, доходил, что стал по всему нашему заволжью самым последним человеком, знаться со мной никто не хотел, ребятишки даже походя надо мной смеялись да надругивались, сколько им хотелось. Вывел меня господь на добрую дорогу, и сам ты не один раз говаривал, что дело у меня из рук не валится. Тяжело мне было на добрый путь становиться, да, видно, молитвы Настеньки, нашей голубушки, до̀ бога доходны, ведь у смертного одра ее бог послал мне перемену в жизни. Слушая последние слова ее, решился я переменить жизнь. Она, моя радость...

И не мог больше говорить, залился слезами, склонясь на стол и крепко обхватив голову руками.

— Полно, Микеша, полно, родной ты мой,— с навернувшимися слезами молвил Патап Максимыч...— Не поминай! Было время, да уж нет его, была у меня любимая доченька, в могиле теперь лежит, голубушка... Не воротишь дней прошлых, Микеша... Полно ты меня сокрушать. Бог все к хорошему в здешнем свете строит, ни кому человеку не понять благостных путей его. Про него-то что хотел говорить ты? Про певуна-то нашего, про посланника архиерейского?

— То хотел я сказать про него и о том тебя просить: не вводи ты его во грех и напасть. Дай ты ему какое-нибудь дело,— молящим голосом сказал Никифор Захарыч.

— Много было у меня на него, беспутного, надежды,—несколько нахмурясь, сказал Патап Максимыч.—И никакого толку из него не вышло. К чему ни приставлял его для ради надзора за работами, куда ни посылал его, никакого толка не выходило. Нет, уж такой он беспутный, что на добрую стезю его не направишь. Да еще что на днях вздумал,— ты еще не приезжал тогда: худа ли, хороша ли у него жена, а все-таки, однако ж, жена, а он

к девкам на посиделки повадился. Путное ли это дело, сам посуди, ведь это всему дому моему зазор. Так или нет?

— Не мне судить об этом, Патап Максимыч,— сказал Никифор Захарыч,— сам был я во сто крат его хуже,— промолвил он, опустя голову.— А ведь ты отпустил же мне мое беспутство и прегрешения, а им ведь и числа нет. Отчего ж бы тебе не постараться зятя на истинный путь наставить? Ведь не чужой тебе...

— Наставишь его! как же! — молвил Чапурин.

Задумался Патап Максимыч и сказал потом:

— Разве вот что: поедешь куда, возьми его, чтоб он во всем из твоих рук смотрел.

— Что ж, я ото всей души рад и на него надеюсь,— ответил Никифор Захарыч.

— Так вот, надо мне послать тебя в Красну Рамень, на мельницы,— молвил Патап Максимыч.— Возьми ты его с собой, только, чур, глядеть за ним в оба, да чтобы не балбесничал, а занимался делом, какое ему поручишь. Да чтобы мамошек там не заводил — не в меру до них он охоч. Хоть и плохонький, взглянуть, кажется бы, не на что, а такой ходок по части женского пола, что другого такого не вдруг сыскать.

— Да уж я постараюсь, чтобы пустяками-то он не занимался,— сказал Никифор Захарыч.— Доброго слова он завсегда послушается, а бранью да насмешками... только пуще его раздражишь. Узнал я его хорошо, и сдается мне, что можно исправить его и приспособить ко всякому делу.

— Так бери его в Красну Рамень, поглядим, что выйдет. Поговори сегодня же с ним, а ежели еще подсыплет снежку, поезжайте с богом,— сказал Патап Максимыч.— А теперь немножко и соснуть успеем. Эх они, проклятые, как у нас всю ночь перебулгачили. А ты, Пантелеюшка, наряжай кажду ночь к палатке караул: кто их, мошенников, знает, может статься, не эти двое, а целая шайка стакнулась разграбить ее. Узнали, значит, окаянные, что не пустая стоит. Оборони господи от беды, ведь добро-то в ней не свое, а чужое положено... Да вот еще, Пантелеюшка: молви заутро стряпкам, чтобы работникам пирогов напекли, да надо будет в Захлыстино за вином да мировом съездить.

После того все по своим местам разошлись.

* * *

С большою охотой, даже с радостью выслушал Василий Борисыч от Никифора, что тот хочет взять его с собой в Красну Рамень. Хоть и не на долгое время, а все-таки подальше от постылой жены. Там, на мельницах, по крайней мере не будет слушать ни приставаний, ни ругани ее, ни тестевой брани, ни насмешек работных людей.

Выехали из Осиповки недели через полторы после подлома палатки. На прощанье строго наказывал Патап Максимыч зятю, чтоб он во всем слушался Никифора и без его спроса шага не ступил бы, промолвив, что, ежели на мельницах будет он полезен и о том Никифор скажет по возврате домой, тогда Василию Борисычу будет житье совсем не такое, какое до той поры было. Простился с зятем Чапурин по-доброму, по-хорошему, ласково простилась с ним и теща, а Прасковья Патаповна злобно завыла в источный голос, узнав о внезапном отъезде не один раз битого ею мужа.

— Да на что ж это похоже, да что ж это такое? — на весь дом голосила она.— Нешто на то он женился, чтобы надолго покидать молодую жену? И то недели две он ко мне не прихаживал!.. Хоть бы простился с женой в ее горнице, как быть следует всякому мужу с женой. И того не смыслит, шут этакой.

Молчал Василий Борисыч, ровно воды в рот набрал.

Пристала к отцу Прасковья Патаповна, требует, чтоб оставил он дома Василья Борисыча.

Молчал сначала Патап Максимыч, но когда любезная дочка надоела ему просьбами и воплями, строго прикрикнул на нее:

— Замолчишь ли, дурища ты этакая! Хоть бы стен-то постыдилась, бесстыжая. Молчать у меня! Не то плетки попробуешь. Давно она по тебе тоскует.

Прасковья Патаповна вдруг присмирела, услыхав родительскую угрозу. Сухо простилась она с мужем, а тот ей хоть бы единое слово промолвил.

Незадолго до сумерек тронулись из Осиповки Никифор с Васильем Борисычем. Никифор правил парой добрых лошадок, хорошо знал он в лесах все пути и дороги, в прежнее пьяное время они были им исхожены. Василий Борисыч сидел с ним рядом в легоньких санках-ка-

занках. Когда поехали, стала подувать непогода: синее небо потускло, и полный почти месяц заволокло ровно пухлыми белыми тучами, повалили хлопья снега, и забушевала метель. Ничего не стало видно в пяти шагах, дорогу замело, а на беду ехали чащей, ни деревца, ни кустика, и все, что было на виду, сплошь теперь покрыто было снегом. Никифор Захарыч убедился, что он сбился с дороги и не может опознаться, в какие места заехал, а казалось ему, что отъехали они уже верст пятнадцать, если не больше. Деревни в той стороне частые, не больше версты или в полутора друг от дружки стоят, но вот их, как на беду, ни одной не попадается. А волки так и прядают возле санок, еще хорошо, что колокольчик был навязан на дуге, зверь, сколь ни силен, сколько ни зол, все-таки его побаивается. Со страха робкий Василий Борисыч дрожмя дрожал; ему казалось, что теперь такая опасность наступила, пред коей почти ничего не значила даже скачка сломя голову по пылающему лесу на другой день после первого сближенья с постылою теперь и ненавистною женой.

— А ведь мы сбились с дороги-то,— сказал, наконец, Никифор Захарыч.

— Полно ты! — в ужасе вскликнул Василий Борисыч.

— Ей-богу, сбились,— молвил Никифор.— Судя по времени, надо бы давно нам Зименки проехать, а вот теперь ни их и никакого другого жилья не видать. Беда, просто беда!

— Ох, искушение! — в отчаянии проговорил Василий Борисыч.— Этак, пожалуй, замерзнем, либо волки нас съедят.

— Мудреного нет,— равнодушно отозвался Никифор.

А лошади приустали меж тем и едва двигаются по сугробам, а вьюга разыгрывается все пуще да пуще.

— Что ж нам теперь делать? — слезным голосом спросил немного погодя Василий Борисыч.

— На волю божью положиться. Что пошлет бог, то и будет,— ответил Никифор.— Ежели кони совсем станут, надо будет в снег зарываться. Сказывают, так не замерзнешь.

— Ох, искушение! Господи, господи! Царица небесная, спаси и помилуй,— вскликнул Василий Борисыч и стал читать одну молитву за другою.

А давно ли, кажется, натерпевшись жениных побоев и наслушавшись брани тестя, раздумывал он, как решить с самим собой, утопиться либо удавиться.

Никифор Захарыч опустил вожжи и дал лошадям волю идти куда знают. Только изредка похлестывал их, чтобы не стали. Долго путали они, наконец вдалеке послышались лай и вой нескольких собак: волков, значит, почуяли. Никифор стал править лошадей на доносившийся лай.

— Ну теперь, бог даст, куда-нибудь приедем,— сказал он, и Василий Борисыч начал читать благодарные молитвы за спасение от напрасной смерти.

Собачий лай становился все громче и громче, стало видимо, что путники подъезжают к какой-то деревне. Вот, наконец, и прясла околицы, виднеется и строенье. В крайней большой, но запущенной избе виден огонь. К той избе и подъехали. Никифор постучал в ворота и громким голосом крикнул:

— Эй вы, крещеные! Не дайте людям напрасно погибнуть, укройте от непогоды.

В избе пошел какой-то неясный говор, и через несколько времени послышался старческий голос:

— Постойте маленько, родимые, сейчас отомкнемся. Наталья, подь отопри добрым людям.

Вскоре растворилась калитка. Пред приезжими стояла женщина, сколько можно было заметить, еще молодая.

— Ведите под навес коней,— сказала она,— а в избу-то вот направо будет крыльцо. Уж не пороптите на нас, с лучиной-то на дворе ходить в такую непогодь опасаемся, а фонарика, по недостаткам, у нас не случилось.

Поставив лошадей, Никифор с Василием Борисычем вошли в избу. Не приборна она была, и сразу заметно, что запущена лишь в последнее время, но все же таки в ней было тепло, а для приезжих это было всего дороже.

— Как ваша деревня прозывается, старинушка? — спросил Никифор Захарыч, войдя в избу и снимая с себя промерзшую дубленку. Он позамешкал немного, убирая лошадей. Василий Борисыч в это время успел уж скинуть шубу и залез в теплое местечко на полати.

— Деревня Поромово, милый человек, деревня Поромово,— отвечал старик хозяин.

— А далеко ль от вас будет Осиповка? — спросил удивленный Никифор.

— Да как тебе сказать, не то пять, не то шесть верст — близехонько.

— Проплутали же мы! — молвил Никифор Захарыч.— Я думал, что мы верст пятнадцать отъехали, а всего-то пять проплутали. Да и попали не в ту сторону, куда надобно.

— А в кое место путь держите? — спросил старик.

— В Красну Рамень,— отвечал Никифор.

— И впрямь, заехали не по дороге, не по дороге,— молвил старик.— Да что за мудрость сбиться путем в такую вьюгу. Ведь свету божьего не видно. Долго ли тут до беды!..

Запасливый Никифор Захарыч захватил из Осиповки небольшой самоварчик. Надрогшись от стужи, захотел он чайку испить. Василий Борисыч тоже был не прочь от чая. Никифор принес из саней самовар и погребец с посудой, а хозяин кликнул в сени:

— Наталья, подь-ка сюда!

Немного повременя, вошла в избу молодая девушка, как видно сильная и работящая, но лицо у ней было истощенное, ровно изношенное, бледное, веки красные, глаза масленые, нахальные, бесстыжие, с первого взгляда видно было, что пожила она и потешилась.

— Поставь гостям самоварчик. А что, Параньки все еще нет?

— Еще не приходила,— молвила Наталья.

— Опять на всю ночь загуляла,— сказал старик.— Ну, а ты ставь самовар-от.

И Наталья скорым делом принялась за самовар.

— Из Осиповки едете, честные господа, аль подале откуда? — сидя на передней скамье, спросил хозяин у Никифора, тоже залезшего на полати поразогреть себя после такой вьюги.

— Из Осиповки,— ответил тот.

— Не от Патапа ли Максимыча едете? — опять спросил старик.

— От него от самого,— ответил Никифор.— В Красну Рамень на мельницы послал нас.

— Довольно известны про Патапа Максимыча,— сказал старик.— Оно и дело-то соседское и близехонько от него живем. Опять же в красные дни мои много я милостей от него видал.

— А как звать-то тебя, старина? — очнувшись от дремоты, спросил Василий Борисыч.

— Трифон Михайлыч буду, по прозванию Лохматый,— молвил старик.

Всем телом дрогнул Никифор Захарыч. Вот куда занесла его вьюга, к отцу ненавистного Алешки. Никогда не мог он простить ему Настиной смерти. Никифор все знал, а чего не знал, о том давно догадался.

Замолчал он, не говорит ни слова и Василий Борисыч. Между тем Наталья поставила самовар на стол, поставила умелой рукой и расставила вынутую из погребца посуду. Видно было, что в прежнее время не жила она в таких недостатках, какие теперь довелось ей испытывать.

Слезли с полатей Никифор Захарыч и Василий Борисыч и, усевшись на скамье, предложили чай-сахар и хозяину и ставившей самовар Наталье. За чаем пошла речь про Патапа Максимыча. Заговорил Трифон Лохматый.

— Благодетель он бывал нам в прежнее время. То есть не самому мне, а большему сыну моему, Алексею. А Алексей в те поры бога еще не забывал, родителям был покорен и деньги, что давал ему своею щедрою рукой Патап Максимыч, в дом приносил. Был тогда я человеком зажиточным, да напасть нашла на меня, токарня сгорела. И послал я тогда Алексея сколь-нибудь заработать, чтобы справиться, а был он самый первый токарь по всей стороне и полюбился Патапу Максимычу, и тот ему беспримерные милости делал. А вы, господа честные, не свои ли будете Патапу Максимычу?

— Да,—сказал Никифор,— я ему шурин, а это зять, на дочери его женат...

— Довольно слыхали, дело ведь недальнее,— сказал Трифон Лохматый.— Сам-от я хоть отроду не бывал у Патапа Максимыча, а знаю все, народ-от ведь говорлив, и рот у него не зашит,— прибавил он.

— Как же это при таком ближнем соседстве никогда ты не бывал у Патапа Максимыча,— он ведь в здешней стороне человек на виду,— молвил Никифор Захарыч.

— И больно даже на виду,— сказал Лохматый.— Первый человек по всему, да дела-то никогда у меня такого не доводилось, чтоб у него в доме быть. Когда господь меня еще миловал, когда еще он, праведный, не смирял моей гордыни, ни до кого мне не было дела, ни до коего человека. Опричь себя да семейных своих, и знать, бывало, никого не хотел... А когда дошел я до бедности, стыдно и совестно стало водиться с такими людьми, как Патап Максимыч. Еще, пожалуй, придет ему на мысль, думаю я себе, не за милостью ли какой пришел я, и вот я к нему ни ногой. Ежели я видал от него большие милости, так они были сделаны сыну моему за его усердие. Патап-от Максимыч возлюбил его как родного сына, ничего для него не жалел, ну, а я совсем иное дело... Что ему до меня? Поди, и не знает, каков есть на свете человек Трифон Лохматый. Большому кораблю большое и плавание, а мы что? У меня в последне-то время и мыши в амбаре перевелись с голодухи. Потому по самому в дружбе да в приятельстве мне с Патапом Максимычем быть не доводится, а кланяться ему да всячески подслуживаться не хочу... Умирать стану с голоду, а никому не поклонюсь; во всю жизнь одному только богачу поклонился я, Христом богом просил помощи моей старости, помощи родной семье, и то ничего не выпросил. И тот богач был свой человек. После того как я чужому богачу руку протяну, как я ему стану про бедность свою рассказывать? Нельзя, никак нельзя.

Рому бутылку из погребца вынул Никифор Захарыч и пунщик сделал. Три стаканчика опорожнил с гостями Трифон Лохматый и пуще прежнего разговорился.

— Да, Никифор Захарыч,— так начал он,— да, любезный ты мой, надо всяким человеком господня сила. Но кто знает, как ее снесет? Не в суд и не в осуждение будь тебе сказано, сам ты каков прежде был человек? По всей стороне довольно про то ведают. А как воссияла над душой твоей сила господня, стал ты теперь совсем иной... Был ты никуда негодящим человеком, и плохо бывало тебе. А теперь, как послышу, мало на свете таких умных, хороших людей, как ты. А ежели от кого отступит сила господня, тут сейчас враг. И как только он проклятую свою силу возымет над каким ни на есть человеком, будь он самый добрый, самый хороший, станет злым и отъявленным врагом всего доброго. По своим знаю и

ведаю, какова бывает сила бесовская, ежель она подведет хорошего человека под себя...

— Это правда,— молвил Никифор Захарыч.— Как только зачнет человек жить не по-хорошему, нечистый тотчас в его душу, и господня благодать его покинет... По себе знаю, Трифон Михайлыч.

— Был у меня сын Алексей,— после недолгого молчанья продолжал Лохматый.— Парень был разумный, смирный такой, рассудительный. А из себя красота, всем взял, и лицом, и ростом, и дородством. И на всякую работу по́ дому только его взять, во всяком крестьянском обиходе, бывало, его только взять, смышленый по всему парень был, любоваться, бывало, только на него. А по токарной части до того дошел, что не было ему еще полных двадцати лет, как первым, самым то есть самолучшим токарем по всей здешней стороне славился. По всему хороший был парень, к отцу, к матери почтительный, о братишке да об сестрах заботливый, по дому во всем старатель. Спать, бывало, не ляжет, не присмотревши всего во дворе, хоть за день-от совсем истомится в токарне. Бывало, мы с женой покойницей не нарадуемся на своего разумника. Подросточек мой Саввушка тоже было по братним стопам пошел, дочери были рукодельницы, хорошие помощницы моей Абрамовны. Добрая она у меня была хозяйка, вот только еще двадцать недель как померла. Жили мы в довольстве, жили да бога благодарили... Вдруг иные дни наступили, посетил нас господь испытаниями, токарня сгорела, лихие люди позавиствовали — подожгли. А по скорости и в клети похозяйничали, все почти добро повытаскали. Коней пару угнали неведомо куда. И с той поры по бедам я пошел. Послал я тогда большого сына в работу к Патапу Максимычу, и возлюбил его Патап Максимыч паче всякой меры, деньгами пожаловал, так что мы и токарню новую поставили и животиной обзавелись, только уж такой спорыньи по хозяйству, как прежде была у меня, не стало. Не на кого было всем делом положиться, большой сын на стороне в работе, Саввушка еще недоспел, однако ж и его я послал ложкарить — ловкий ложкарь из нашего мальца вышел. Взяться некем, самому не под силу была работа, к седьмому десятку тогда уж подходило, ну и захирело все по дому. Полугода не прошло, как куда-то послал Патап Максимыч Алексея по своим делам и наградил его не

по заслугам. Ну тут бы еще ничего: в дом деньги отдал, а тут по скорости пали к нам слухи, что женился он на богатой вдове, а женился без родительского благословения. А дом у меня все падал да падал, беды пришли великие, дочери нехорошими делами стали заниматься и тем мою Абрамовну в могилу свели. Саввушка тоже недобрым путем жизнь повел, в солдаты нанялся, где теперь он, сердечный, не знаю, не ведаю, угнали куда-то в дальние места голубчика. Так вот и остался я бобыль бобылем, в тоске, слова не с кем сказать, а я человек старый и немощный, вот скоро семьдесят лет исполнится, а ведь и в божьем писании сказано: «Что больше того, один труд и болезнь».

Под это слово старика Наталья принесла сковороду с яичницей и, низко поклонясь гостям, вышла вон.

— Покушайте, гости дорогие,— сказал Трифон Лохматый, придвигая сковороду к ним.— Не посетуйте, что лучше чего-нибудь не поставил. Было бы прежнее время, не так бы я вас угостил, а теперь, делать нечего,— недостатки и бесхозяйство.

— Нечего беспокоиться, не для чего было и глазунью на стол ставить,— молвил Никифор Захарыч.— За одно тепло тебе большое спасибо, ишь вьюга-то как разыгралась, так и завывает. Без твоего крова да без твоей доброты совсем бы нам пришлось замерзнуть.

— Так вот, гости мои дорогие,— немного погодя продолжал свой рассказ Трифон Лохматый,— сынок у меня тысячами ворочает, кажись бы мог помочь отцу при его крайности, ан нет, не туда оно пошло, не тем пахнет, женины деньги и все ее именье мой Алексей к своим рукам подобрал, и она, бессчастная, теперь сама без копейки сидит. Отцу тоже ничего не дает, забыл хлеб-соль родительскую, забыл родимый дом и брата забыл и сестер — всю свою семью. Не о том теперь у него думы, не обо мне попеченье. Был я у него, как он еще в нашем городу проживал, теперь, слышь, на Низ куда-то уехал и там в Самаре другим домом обзавелся, а прежний продал. Прихожу я к нему в дом, настоящий дворец, мало таких в городе. Насилу меня до него допустили. Увидались, однако, так он хоть бы бровью повел после долгой разлуки, хоть бы кусок черствого хлеба, хоть бы чашку чаю подал отцу-то. Поговорил я с ним, сказал про свои нужды, так он хоть бы словечко какое-нибудь вымолвил,

а на прощанье от такого богатства дал пятирублевую. «Отвяжись, дескать, ты от меня». Так вот какие нынче детки-то бывают: ты их пой, корми, вырасти, а после того они и знать тебя не захотят.

— Давно я его знаю,— нахмурившись и злобно глядя в сторону, сказал Никифор Захарыч,— всегда был беспутным, всегда умел за добро злом платить.

Вьюга не переставала, и Никифор с Васильем Борисычем остались ночевать у Лохматого. К утру стихла погода, и они собрались в путь, но Лохматый, как они ни отговаривались, не пустил их, не угостивши на прощанье блинами да яичницей.

На мельницах-крупчатках в Красной Рамени Никифор тотчас по приезде принялся за дело, и оно у него закипело; принялся за него и Василий Борисыч, сначала горячо, а потом с каждым днем охладевал к работе, потом совсем обленился, опустился и все время проводил в постели, не говоря ни с кем ни слова и только распевая стихеры. Скука была для него непомерная, а потом напала тоска. Напрасно Никифор Захарыч уговаривал его приняться за работу, просил и молил его, ничто не помогало. По-прежнему Василий Борисыч валялся на постели да попевал стихеры. А у самого только и на уме: «Куда бы деваться, чтобы не видаться с противною женой. Ни за что на свете не ворочусь к ней в Осиповку. О господи, ежели б ты ее развязал со мной! От нее от одной такое вышло мне положение. Без нее мог бы я к своим воротиться, а при ней сделать того никак невозможно, венчанная жена да еще венчана-то в великороссийской! Вот оно, искушение-то!»

Ровно услышана была молитва Василья Борисыча: за неделю до Рождества получил он от тестя коротенькую записочку: «Приезжай сколь возможно скорее. Параша лежит при смерти».

И лошади были присланы. Нимало не медля, Василий Борисыч собрался в путь и поехал в Осиповку. Дорогой работник рассказал ему все, что знал про болезнь Прасковьи Патаповны. Недели полторы тому, как она в бане парилась, а оттуда домой пошла очень уже налегке да, говорят еще, на босу ногу, а на дворе-то было вьюжно и морозно. Босыми-то ногами, слышь, в сугроб попала, ну и слегла на другой день. Много ль такой надо? Сам знаешь, какая она телом нежная, не то что у

нас, простых людей, бабы бывают, той ни вьюга, ни сугроб нипочем.

— Что ж, она в памяти? — спросил Василий Борисыч.

— В памяти-то, слышь, еще покуда в памяти, а сказывают, начала заговариваться,— отвечал работник.

— Что ж? за лекарем в город посылали или нет,— продолжал свои расспросы Василий Борисыч.

— Как же не посылать, посылали,— отвечал работник.

— Что же он говорит?

— Что говорит, про то я не знаю. Знаю только, что пробыл он у Патапа Максимыча не очень долго и, только что уехал, меня за тобой послали, а другого работника, Селиверста, в Городец за попом.

Встрепенулось сердце у Василия Борисыча. «Авось не отлежится, авось не встанет! Ох, искушение!» —подумал он.

Он застал жену без языка. Так и не пришлось ему двух слов сказать. На похоронах он громко подпевал городецким дьячкам,— скитницы не пожаловали петь к Патапу Максимычу, очень уже сердилась на брата мать Манефа,— и сама не поехала и другим не велела ездить. Все ее слов послушались, никто из сбирательниц не приехал в Осиповку.

Спустя недели полторы после похорон Патап Максимыч позвал зятя к себе в горницу и сказал:

— Вижу я, Василий Борисыч, что из тебя никакого толку не будет. Зачем же вместе нам жить, быть в тягость друг другу? Разойдемся-ка мирно, по-доброму, похорошему. Не поминай меня и дом мой лихом. О сыне своем, о Захарушке, заботы не имей, теперь он на руках у Дарьи Сергевны, а будет у Груни, как ей станет посвободней и ежели Дарья Сергевна хозяйкой в доме останется. А по времени, если будет богу угодно, все мои достатки ему с Груней пополам отдам. А на Аксинью Захаровну рассчитывать нечего, и с радостью бы понянчилась со внучком, да сама на ладан дышит. Лекаря к Параше привозили, поглядел он на Захаровну и сказал, что не жилица она на свете, до весны ни в коем разе не проживет. Так разойдемся-ка лучше, Василий Борисыч: у тебя своя дорога, у меня своя, не будем мешать друг другу. Знаю, что тебе в люди деваться некуда, так вот

на обзаведенье да на прожиток. Пиши, чтобы знать, где находишься, по силе возможности стану тебе каждый год присылать на житье. Прощай. Дарю тебе пару лошадок да санки, поезжай, куда знаешь. А это возьми.

И подал ему увесистый бумажник.

Молча принял Василий Борисыч подарок тестя и низко ему поклонился.

Так и расстались. Ни с той, ни с другой стороны на расставанье сожалений не было. Василий Борисыч радостно уехал из тестева дома.

Кинулся он в один скит, кинулся в другой, нигде не принимают. Тогда поехал на старое пепелище в Москву. Там была такая же встреча от Рогожских. Кланяться даже никто с ним не кланялся, Иудой предателем все обзывали. Купил тогда Василий Борисыч на одной из московских окраин небольшой деревянный домик и поселился там. И вечно один, а без людей жить нельзя — обуяет тоска одиночества, самая мучительная тоска, какая только есть на свете. Отвернулся Василий Борисыч от Рогожских и с другими людьми знакомство повел. Мало-помалу перестал он и думать об архиереях, хотя так недавно еще служил им верой и правдой. Как человек, много видавший и много из старообрядской жизни знающий, он для многих был занимателен. И скоро нашел немало близких приятелей, добрых людей из православных. А на Рогожское ни шага.

Груня с Марфой Михайловной усердно хлопотали над заготовленьем приданого, и все сделано ими было так хорошо, что все, кто ни видел его, не мог налюбоваться. Все было сделано и богато и с большим уменьем. Петр Степаныч купил большой, поместительный дом. По советам и указаньям на каждую мелочь Сергея Андреича, он устроил свой дом на славу. С нетерпеньем ждал Самоквасов Крещеньева дня, чтобы сыграть свадьбу, но пришлось помедлить: около Крещенья умерла Прасковья Патаповна, нельзя было Патапу Максимычу прямо с похорон на свадьбу ехать, а без него Дуня никак не хотела выходить замуж. «Он в горькие мои дни заместо отца мне был,— говорила она,— заботился обо мне все одно как об родной дочери, как же можно мне без его бытности, без его благословения венец принять». Решились повременить, а как в том году рождественский мя-

сосед был короткий, то, списавшись с Патапом Максимычем, положили обвенчаться пред масленицей. Хотя не очень-то нравилось это Петру Степанычу, но, делать нечего, надо было согласиться.

Так как Самоквасов еще никаких торговых дел не заводил, то и наперсник его Семен Петрович, саратовец, жил пока у прежнего хозяина Ермолая Васильича. Понадобилось ему по какому-то делу Семена в Москву послать, а кстати свезти на Керженец ежегодное подаяние, чтобы потом летом в другой раз туда не посылать. Саратовец по дороге заехал к Самоквасову и застал его в больших хлопотах по отделке новокупленного дома. Не надивится Семен Петрович убранству, каким украшал дом его приятель, а когда узнал, что у него скоро свадьба с богатейшею дочерью покойника Смолокурова, которую видал он в Комарове, так только руками развел от удивленья. Заметил он тут, что Петр Степаныч неохотно говорит про скиты и про былые там проказы, что вместе они там выкидывали.

Поехал Семен Петрович в Комаров и там, по обыкновению, пристал у Таисеи, в обители Бояркиных. Не бывав там года полтора, с тех пор как увезли Василья Борисыча да Прасковью Патаповну, много нового узнал он от Таисеи, узнал, что мать Манефа совсем разошлась с братом, а сама чуть не в затвор затворилась, передав управление обительскими делами Фленушке, для чего та постриглась в иночество и теперь стала матерью Филагрией.

— Увидите и не узнаете прежнюю Фленушку,— говорила Таисея.— Ровно восемь месяцев, как она уже в инокинях. Все под руку подобрала, никто в обители без позволения ее шагу сделать не может. Строга была Манефа, а эта еще строже; как сам знаешь, первая была проказница и заводчица всех проказ, а теперь совсем другая стала; теперь вздумай-ка белица мирскую песню запеть, тотчас ее под начал, да еще, пожалуй, в чулан. Все у нее ходят как линь по дну. Ты когда идти к ней сбираешься?

— Да завтра думаю,— ответил Семен Петрович.

— Иди пораньше,— молвила Таисея.— Скоро-то она до себя никого не допущает, особливо ежели кто из посторонних, не из скитских, значит. А о прежних проказах лучше и не поминай, вон выгонит.

— Ну, уж и выгонит? — голосом сомнения сказал Семен Петрович.

— Вот увидишь. Попробуй только,— молвила Таисея.— Да еще и твоему хозяину напишет, чтобы ни впредь, ни после он тебя в скиты не посылал.

— Не может быть того,— ответил Семен Петрович.— Ведь мы старые с ней знакомые.

— Что было, то былью поросло, благодетель. Говорю тебе, стала она совсем другой человек.

Не очень-то доверял словам Таисеи Семен Петрович и знакомым путем пошел к кельям Манефы. И путь не тот был, как прежде. Тогда по зеленой луговине пролегала узенькая тропинка и вела от одной к другой, а теперь была едва проходимая дорожка, с обеих сторон занесенная высокими снежными сугробами чуть не в рост человека. Отряхиваясь от снега, налипшего на сапоги и самое платье, пошел саратовец на крыльцо Манефы и вдруг увидал, что пред ним по сеням идет с какою-то посудой Марьюшка.

— Тебя откуда принесло, непутного? — не то с робостью, не то с радостью спросила она, увидя его.

— Из города Саратова, голубушка ты моя Марьюшка, Ермолай Васильевич прислал с подаянием. Ну здравствуй, моя дорогая. Что отворачиваешься? Поздороваемся по-прежнему, обними покрепче, поцелуй горячей,— начал было Семен Петрович, но Марьюшка руками на него замахала.

— Тише,— сказала она,— тише, услышит матушка, беда будет мне, да и тебе неладно. Нынче у нас такие строгости пошли, что и рассказать нельзя, слова громко не смей сказать, улыбнуться не смей, как раз матушка на поклоны поставит. Ты ступай покамест вот в эту келью, обожди там, пока она позовет тебя. Обожди, не поскучай, такие уж ноне порядки.

— И все эти строгости завела Фленушка? А я было совсем иного чаял. Помнишь?

— Молчи,— сказала Марьюшка и, затворивши дверь кельи, скрылась в переходах игуменской стаи.

Долго взад и вперед ходил по келье Семен Петрович. Это была та самая келья, где в прежнее время жила Фленушка. Сколько проказ тут бывало, сколько хохота и веселья, а теперь все стало могилой, с самих стен, казалось, веяло какою-то скукой. Порядочно-таки прошло

времени, как вошла в келью молодая, пригожая, но угрюмая и сумрачная белица. Ее никогда не видывал саратовец, бывая прежде в Комарове.

Мать Филагрия сидела за столом, когда вошел Семен Петрович, и внимательно перебирала письма и другие бумаги. Положив уставной начал, низко поклонился он матери игуменье. Тут только взглянула на него Филагрия и поспешно опустила на глаза флеровую наметку.

— Какими это судьбами не в урочное время пожаловал к нашему убожеству? — тихо промолвила мать Филагрия.— В прежние годы летом всегда приезжал, а теперь вдруг перед масленицей. Уж здоровы ли все, Ермолай Васильич и домашние его?

— Слава богу, и Ермолай Васильич и все его домашние здравствуют и вам кланяться наказывали,— отвечал Семен Петрович.— А так как довелось мне по хозяйскому делу в Москву ехать, так Ермолай Васильич и заблагорассудил, чтоб я теперь же заехал к вам в Комаров с ежегодным подаянием, какое каждый раз от него посылается.

— Спаси господи и помилуй своими богатыми милостями благодетеля нашего Ермолая и всех присных его,— встав с места и кладя малый начал, величаво сказала Филагрия.— Клавдюша! — кликнула она незнакомую Семену Петровичу послушницу, что у новой игуменьи в ключах ходила.

Неслышными шагами вошла та и смиренно стала у притолки.

— Поставь, Клавдеюшка, самовар да сбери нам чайку поскорее,— сказала мать Филагрия.— Да закусочек поставь закусить, водочки, мадерцы, еще что там есть.

— Слушаю, матушка,— с низким поклоном ответила послушница и торопливо вышла вон из кельи.

— Что матушка Манефа, как ее спасение?—спросил, немножко помолчав, Семен Петрович.

— Что матушка Манефа? Стара, дряхла, но духом бодра, плотью же немощна,— отвечала Филагрия.—Всего больше по хилости своей да по слабости телесных сил и поставила она меня на свое место в начальницы обители. А это дело нелегкое. Особенно трудно ладить с окольными мужиками, каждому стащить бы что со ски-

та, бога не боятся, и совести нет в глазах. Ну да, бог даст, ежели оставят нас на старых местах, уладимся с ними, теперь они все нашей выгонки ждут и надеются, что обительские строения им достанутся. Тяжело с ними ладить, ох, как тяжело, Семен Петрович! Скажите Ермолаю Васильичу — не оставил бы нас, убогих, при тепершних наших тесных обстояниях своими благодеяниями... Привезли ли что-нибудь?

— Как же, привез, матушка,— отвечал саратовский приказчик.— Только Ермолай Васильич наказывал отдать из рук в руки матушке Манефе. Должно быть, не знает о перемене у вас в обители.

— Матушка Манефа ни в какие дела теперь не вступает, все дела по обителям мне препоручила,— сказала мать Филагрия.— Теперь она здесь, в Комарове, приехала сюда на короткое время, а живет больше в городе, в тех кельях, что накупила на случай выгонки. Целая обитель у нее там, а я здешними делами заправляю, насколько подает господь силы и крепости. Отдайте мне, это все одно и то же. И прежде ведь матушка Манефа принимала, а расписки всем я писала. Ермолаю Васильичу рука моя известна.

— А матушку Манефу можно видеть? — спросил Семен Петрович.

— Никак нельзя,— отвечала Филагрия.— Еле бродит, вряд ли до весны дотянет.

Семен Петрович передал письмо и деньги матери Филагрии. Та, прочитавши письмо, молча и низко поклонилась, потом сосчитала деньги и написала расписку.

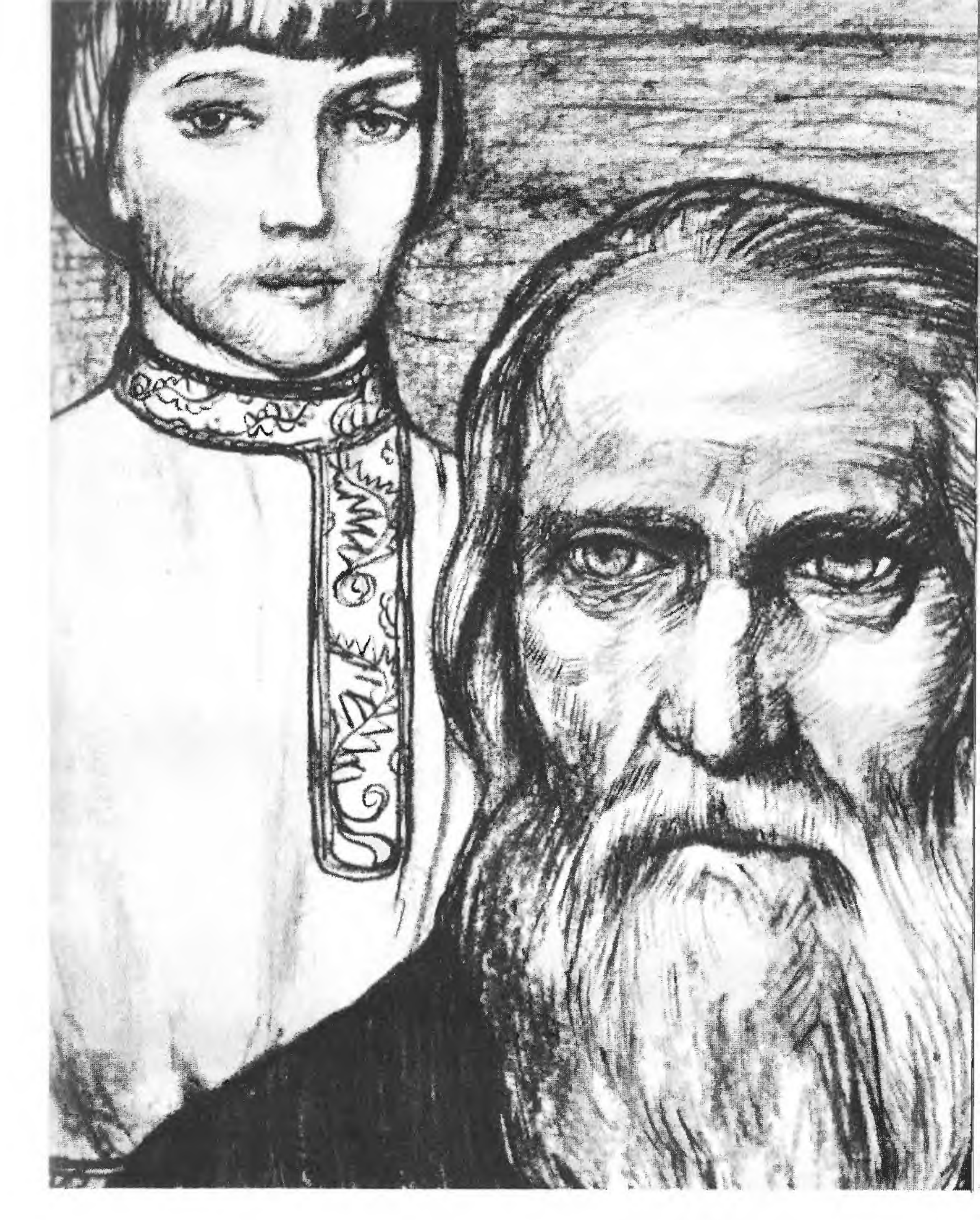
— Долго ли здесь прогостишь? — спросила она его.

— Гостить долго мне не приходится,— ответил Семен Петрович.— В Москву спешу по хозяйским делам. Завтра бы утром, пожалуй, и выехал.

— А здесь-то у кого пристал? — спросила Филагрия.

— Да все на старом насиженном месте, у матушки Таисеи в обители,— сказал Семен Петрович.

— Напрасно, не советовала бы я,— молвила на то мать Филагрия.— И Таисея напрасно приняла тебя. Время теперь опасное, хоть до лета, по письмам наших петербургских благодетелей, ничего и не предвидится, а все-таки на грех могут нагрянуть. И вдруг в женской



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Глава II.



ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. Глава VII.

обители постороннего мужчину найдут. И, бог знает, что из этого выведут. Ноне сторонние, что в Комаров приезжают, у иконника, у Ермилы Матвеича, пристают. Вот бы тебе там и остановиться, а ты по-прежнему прямо в святую обитель. И Таисея-то дура набитая, что пустила тебя... Ну на один-от день еще, пожалуй, ничего, авось бог милостив, а ежели дольше останешься в Комарове, к Ермилу Матвеичу переходи, там дело безопаснее.

Под это слово послушница Клавдеюшка внесла самовар и принялась уставлять стол чайным прибором, а другой разными закусками и напитками.

— Подкрепитесь-ка наперед водочкой либо винцом каким-нибудь, а после того и за чаек примемся, — молвила мать Филагрия.

Семен Петрович не заставил долго просить себя, выпил и закусил.

За самоваром мать Филагрия продолжала рассказ свой о тяжести обительских хлопот, что так неожиданно легли на ее плечи, жаловалась на судьбу, но обо всем говорила строго, с невозмутимым спокойствием.

— И по своей обители хлопотать и по всем другим скитам,— говорила мать Филагрия.— К нам по-прежнему, как при матушке Манефе, все благодетели имеют доверие и на наше имя высылают подаяния. И отовсюду, особенно из Петербурга и Москвы, письма к нам только пишут, а в них пишется все, что и до других скитов касается. От одного от этого голова иной раз кругом пойдет. А тут еще разбирай иной раз ихние свары да ссоры. Тяжеленько, Семен Петрович, иной раз очень тяжко приходится. Вы скажите обо всем об этом Ермолаю Васильичу, пожалел бы хоть сколько-нибудь нас, смиренных. Водочки-то другую рюмочку искушали бы,— прибавила она, указывая гостю на столик с напитками и закусками.— Осетринки кусочек возьмите, отменная осетрина, мало бывает такой, а в продаже и вовсе нет. От Смолокуровых, от Дарьи Сергевны на помин души Марка Данилыча прислана.

— Захлопоталась сама-то, должно быть,— заметил Семен Петрович.— Ведь в скорости после родительских похорон была просватана за Петра Степаныча.

Бровью даже не повела мать Филагрия при словах Семена Петровича. Хоть иноческая наметка была у нее

совсем назад закинута, но в лице ее незаметно было ни малейшего волнения, как будто разговор касался людей, совершенно ей чуждых.

— Что же? — твердым и спокойным голосом, помолчав немного, проговорила она.— Оба они люди мирские, иночества на них не возложено. Еще в земном раю, насажденном на востоке, господь бог сказал: «Не добро быти человеку единому, сотворим ему помощника». Не обретеся таковаго, и господь создал Адаму жену. И апостол сказал: «Лучше жениться, чем разжигаться»[1]. Самоквасов, сказывают, от дяди большое богатство получил, а у нее в шесть либо в семь раз того больше. Слава богу, есть чем жить, есть чем хозяйство управить. А хозяйство самое первое дело, как у богатых, так и у неимущих. Ее разумом и добрым нравом господь не обидел, и, если удастся ей забрать мужа в руки, у них в дому самым лучшим порядком пойдет и хозяйство и все, а если он станет всем в дому верховодить, рано ли, поздно ли, ихнее богатство прахом пойдет. Кланяйтесь, Семен Петрович, им от меня — и ему и ей; скажите, старица, мол, Филагрия доброго здоровья и от бога счастья желает им.

И с этими словами опустила на лицо наметку из двойного флера.

— Мадерцы хоть рюмочку искушали бы,— величаво промолвила она.— Вино хорошее, из Москвы, благодетелями прислано.

На этот раз твердый голос ее будто немного дрогнул, и, как ни укрыто было лицо ее под двойною наметкой, Семену Петровичу показалось, будто слеза блеснула на очах матери Филагрии. Но тотчас же все исчезло, и пред ним по-прежнему стояла спокойная, ничем не возмутимая мать игуменья.

— Еще маленькую калишку, Семен Петрович, извольте выкушать. На дорожку посошок,— сказала она, слегка улыбаясь.

— Прощайте, Семен Петрович,— сказала ему она.— Ермолаю Васильичу и всем домашним его поклонитесь от меня и ото всей нашей обители. Скажите им, что мы всегдашние их молитвенники. А ответ сегодня же вам пришлю. Только насчет будущего времени, прошу я вас,

---

[1] I Коринф. VII — 9.

у матери Таисеи и ни в какой другой обители не останавливайтесь, а случится приехать в наш скит, въезжайте к Ермилу Матвеичу, иконнику. Строго об этом накажу и матери Таисеи и прочим игуменьям. Прощайте, Семен Петрович, всякого вам благополучия.

Величаво, спокойно и без малейшего смущения простилась мать Филагрия с заезжим саратовцем, не раз бывшим свидетелем затейных проказ ее. Стояла она пред ним, ровно совсем другой человек, чем полтора года тому назад, когда они собирали к венцу Василья Борисыча.

Несколько времени в глубоком раздумье простояла она среди кельи. Потом, будто оправившись и придя в себя, громко крикнула:

— Клавдеюшка!

Послушница ровно из земли выросла; ожидая приказаний игуменьи, она стояла на месте, низко опустя голову.

— Прибери здесь все. Поскорее,— сказала Филагрия.

Тотчас все было прибрано, и самовар, и водка с московской мадерой, и закуски. А когда совсем прибралась, Филагрия сказала ей:

— Кто бы, по какому бы делу ко мне ни пришел, никого не допущай. Всем говори: письма, мол, к благодетелям пишет.

Вышла послушница из кельи, и Филагрия заперлась изнутри. Потом пошла в боковушу и там ринулась на кровать. Спрятав голову в подушки, судорожно она зарыдала. Но ни малейшего звука, ни малейшего знака внутренней тревоги бывшей Фленушки.

* * *

Настало, наконец, давно ожидаемое всеми близкими время Дуниной свадьбы. Венчались они в последнюю пятницу пред масленицей, после того, по церковному уставу, девять недель венчать было нельзя. Дня за четыре до свадьбы Дуня с Груней и с женихом поехали поклониться гробам родителей. Пред вступлением в новую жизнь Дуня считала сердечною необходимостью, по старому обычаю, помолиться над ними. Чубалов встретил при-

ехавших в смолокуровском доме и устроил такие же почти обеды и ужины, какие бывали при жизни Марка Даниловича. Поклонившись родителям, Дуня спешно стала собираться обратно и звала Герасима Силыча к себе на свадьбу. Чубалов, оставив Иванушку домовничать, поехал вместе с ней.

Только что вошла Дуня в отцовский дом, письма ей подали. Они только что получены были Герасимом Силычем, и он, с часу на час ожидая хозяйку, удержал их у себя. Оба письма были из Луповиц: одно от отца Прохора, другое от Вареньки.

Радостно отец Прохор приносил Дуне поздравления со вступлением в супружескую жизнь и благодарил ее за новую, совсем нежданную присылку с просьбой помолиться об ней и об ее женихе в тот день, когда предположили они венчаться. «А особенно утешили вы меня тем,— писал отец Прохор,— что свадьбу желаете справить в единоверческой церкви и потом остаться в оной навсегда, а зловредный раскол всесовершенно откинуть и, оградясь истинною верой, до смертного часа пребывать отчужденною от душепагубного раскола. Хотя и немало соболезную я тому, что не вошли вы прямо во спасительную ограду святой церкви, но и тому несказанно рад, что вошли, так сказать, в церковное средостение. Несказанно ото всей души моей радуюсь, что вы находитесь теперь под церковною сенью; подай вам боже скорей и совершенного душевного исцеления от пагубные язвы раскола. Молюсь и непрестанно, дондеже, есмь, буду творити о вас и о будущем вашем супруге молитвы и моления о вашем благочестном житии, мире в вашем семействе и о божественной благодати, которую да ниспошлет владыка мира на дом ваш. Молю же вас и слезно прошу подвизаться в делах христианского милосердия и украшать душу свою посильною милостынею и иными плодами любви евангельской: паче же всего хранить чистоту душевную и телесную. При сем не умолчу и о здешних происшествиях, в последнее время бывших. Николай Александрыч взят и неведомо куда отвезен, так что в Луповицах теперь остались только Андрей Александрыч с супругой и с дочкой, к имению же приставлена опека, и опекун ни на самое короткое время из Луповиц не выезжает. О Марье Ивановне имеются самые

достоверные сведения, якобы и она взята и неизвестно где заключена,— сказывают, в каком-то монастыре, где-то очень далеко; слышал я о том в консистории, а там сии вести идут от самого владыки, стало быть совершенно верны. Из простого народа также не мало забрано, даже духовного звания, в том числе известный вам заштатный дьякон Мемнон Ляпидариев. Вообще идет переборка пребольшая не токмо в нашей епархии, но и в соседних открывают множество фармазонов, по преимуществу из благородных. Премного радуюсь, что от вас не было никаких писем или посылок ни к господам Луповицким, ни к Марье Ивановне и ни к кому из открывшихся ныне фармазонов. А то теперь такое время, что за малейшее с ними сношение всякого привлекают к суду и законной ответственности. Взяты, рассказывают, даже два архимандрита, единственно по подозрению в сношениях с фармазонами, не говоря уж о светских людях. Затем, прекратя сие писание, вновь приношу наичувствительнейшую и глубочайшую нашу благодарность ото всего нашего семейства за ваше неоставление в бедной нашей доле, паче же всего от всей души моей и от всего сердца молю и просить не престану прещедрого и неистощимого в своих милостях господа бога, да излиет на супружескую жизнь вашу всякие блага и милости к вам. Да пошлет он, всесвятый, свое благословение на новую жизнь, в кою намереваетесь вступить, да пошлет вам с супругом от горнего престола своего премногие свои милости».

Напротив того, безотрадно и отчаянно было письмо Вареньки. «Господь тебе судья, что ты не захотела разделить с нами плачевную участь, нас постигшую,— писала она.— Впрочем, кто ж не старается избежать земного горя, кто не стремится к избежанию житейских печалей? Много ли найдется на свете таких, кто бы не страшился мирского страха, кои бы были беспечальными и радостно пошли бы на земные мучения? Поистине только одни избранные и носящие на себе горнее помазание, свыше даруемое. А у нас несчастия великие: дядю Николая Александрыча и тетеньку Марью Ивановну взяли жандармы и неведомо куда увезли, полагают, что в Петербург, думают и то, что оба они заключены в неизвестно каких монастырях. Много взято и

других разного звания людей, бывавших у нас на собраниях в Луповицах. А тетеньку забрали в ее новом имении в Фатьянке. Это в вашей губернии, невдалеке от того города, где ты живешь. Неужели ты и этого не знала, а зная, не помогла от великого твоего богатства нужною суммой для освобождения столь много любящей тебя тетеньки? Говорят, что это сделать было очень легко, да и денег требовалось бы не бог знает сколько, так что при теперешних твоих достатках освободить тетеньку было бы делом пустяшным. Сама я этих дел не понимаю, но наши все в один голос говорят, что ежели бы ты захотела ее выручить, то было бы легко и для тебя безобидно. Очень на тебя сетуют и нехорошо отзываются, но я много короче их знаю тебя и доброе твое к каждому человеку сострадательное сердце, чтобы верить таким наветам. Скорей так полагаю, что ты вовсе ничего не знала о нашем несчастии, не знала и о положении наших дел. Разве, что не знала, как и к кому обратиться? Так у тебя, конечно, есть доверенные люди, которым без страха и опасения можно было поручить это дело. С тех пор как ты совершенно неожиданно скрылась из Луповиц, кроме того, что батюшка твой скончался и ты стала владеть миллионами, мы о тебе никакой весточки не имеем. Обещала тетенька по приезде в Фатьянку разузнать о тебе и уведомить нас, но от нее писем не получали, потому что меньше чем через неделю ее взяли, а также иных из фатьянских, которых она вывезла из симбирского имения. Потому я и думаю, что, когда тетеньку взяли, ты о таких наших несчастьях и не знала, а в противном случае непременно бы помогла от своих великих достатков. Иначе и думать нельзя, особенно мне, когда знаю твою доброту и то, сколь много любила ты тетеньку: ведь она тебе вместо матери была и первая озарила тебя невечерним светом истины. Подай нам о себе весточку, добрая, милая моя Дуня, как ты поживаешь в новом своем положении, а главное, останешься ли верна тому, куда была приведена безграничною к тебе любовью тетеньки Марьи Ивановны. Пожалей ее, несчастную, пролей слезу от сердечного участия к печальной ее судьбе. А мы и сами находимся в ежедневном страхе, ожидая дней скорби и печалей. Дело, как надобно полагать, еще не кончено, берут то того, то другого из бывавших у нас и других совершенно не известных нам людей, мужчин и женщин, и

притом из таких городов и селений, которых никто из наших никогда и не знавал. Верно, дело идет большое, до всех добираются, говорят, что даже самые архимандриты призваны к ответу и лишены своих мест, не упоминают уж о попах, монахах и прочего звания духовных людях. Есть слух о некоторых из помещиков в дальних от нас местах, что одни взяты, а другие отданы под надзор полиции. Мы все, а также иные из наших дворовых и крестьян, тоже находимся под полицейским надзором, недели не проходит, чтобы кто-нибудь не наезжал в Луповицы, исправник либо становой пристав. Впрочем, их надзор легкий, весь состоит из угощения, и батюшка, чем может, не оставляет их. А приставленный от полиции солдат живет в Луповицах безвыходно, но от него никакого беспокойства не видим. Вот каковы печальные наши обстоятельства, милая Дунюшка, пожалей нас в несчастии. Вспомни нашу дружбу, нашу с тобой дружбу и любовь, и не забывай Луповиц и всего, что там узнала и чему научилась».

Прочтя письмо Вареньки, Дуня бросила его в топившуюся печку, а письмо отца Прохора положила в шкатулку, где лежали разные бумаги ее и документы. Это письмо прочитала она потом жениху.

— Вот как! — выслушав письмо отца Прохора, молвил Петр Степаныч.— С никонианскими попами в переписке.

— Что ж?—сказала Дуня.—Этот самый священник сказывал мне, что разница между нами и великороссийскими в одном только наружном обряде, а вера и у нас и у них одна и та же, и между ними ни в чем нет разности. А вот Герасим Силыч все веры произошел, и он однажды говорил мне, что сколько вер он ни знает, а правота в одной только держится.

— В какой же? — с любопытством спросил Самоквасов.

— В великороссийской,— ответила Дуня.

— В великороссийской,— сказал Петр Степаныч и крепко задумался.

— Я сам тех же мыслей,— тихонько молвил он невесте.

— А давно ли? — спросила Дуня.

Но разговор тем и кончился.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Свадьбу сыграли на славу, ни Дуня, ни Петр Степаныч денег на то не жалели. Но свадебный пир прошел скромно и бесшумно, так как Петр Степаныч не успел еще обзавестись знакомыми на новом месте житья-бытья. На свадебном пиру были только совсем осиротевший Патап Максимыч, Аграфена Петровна с мужем, оба Колышкины, Чубалов, Никифор Захарыч, Семен Петрович, только и всего. Как ни звали Дарью Сергевну, сколько ее ни уговаривали, не поехала из Осиповки, говоря, что совсем уж разлучилась со светом и стала чуждою всех его радостей. Только икону на благословенье прислала молодым.

Всю масленицу и великий пост молодые никуда не выезжали, бывали только у Колышкиных, и они у них. Петр Степаныч купил пару кровных рысаков — кони загляденье. На них почти каждый день катались Самоквасовы. Так как Петр Степаныч еще не приискал, каким торговым делом заняться, то и отпустил в Москву своего приятеля Семена Петровича, наказав ему, чтобы по весне он, оставив дела у Ермолая Васильича, приезжал к нему. А сам придумал заняться отцовским промыслом, хлебною торговлей: место же, благо, было подходящее и выгодное, недаром все почти тамошние торговцы вели хлебную торговлю, а он со своим да с жениным капиталами такой мог торг завести там, какого еще и не видывали. По самой весне Петр Степаныч вздумал ехать в низовые места, там снять из оброка казенные земли и устроить на них хутора и всякое иное хозяйство. Дуня не хотела расстаться со своим молодым, она также собиралась весной ехать с мужем в понизовые места. Патап Максимыч с Никифором Захарычем туда же сбирались: там у него было тоже хуторное заведение. Уговорились сплыть все вместе на одном пароходе, ждали только фоминой недели. Как ни уговаривал и Груню съездить вместе Патап Максимыч, с ним не поехала: и то ее дети по случаю свадьбы Самоквасовых долго оставались под призором нянек, хоть и были все время в том же городе, где жила их мать, но за свадебными хлопотами она почти не видала их.

Настала святая неделя, и в последние ее дни Патап Максимыч получил письмо от Махмета Субханкулова.

Тут вышла остановка в поездке на Низ. Дуня и сама не решалась ехать так далеко и мужа не отпускала без себя на пароход — хотелось ей прежде повидаться с незнакомым еще ей дядей.

В надежде на получение двух тысяч целковых, оренбургский бай сдержал слово, данное им покойному Марку Данилычу, а потом Патапу Максимычу, сдержал его даже раньше договоренного срока. Несколькими неделями прежде удалось ему русского полонянника высвободить из хивинского плена. Выкупил ли Махмет Субханкулов его за деньги, или подпоил хана вишневою наливкой, на славу приготовляемою Дарьей Сергевной, про то они только оба знали; известно было лишь то, что Мокей Данилыч со страстной недели жил в Оренбурге в доме Субханкулова, выжидавшего обещанных ему денег. Мокей Данилыч, совсем было перезабывший родной язык, написал Патапу Максимычу письмо какими-то каракульками, наполовину русскими, наполовину татарскими. О том, что есть у него племянница, покойника Марка Данилыча дочь, он хорошенько не знал, одно лишь смутное понятие имел об ней от оренбургского бая. Письмо дошло до Чапурина, но нескоро дошло оно до Дуни; а она, как только узнала, тотчас выслала Субханкулову обещанные деньги, а Мокею Данилычу на проезд из Оренбурга, и он вскоре воротился в родную свою губернию. Не мало времени разъезжал он, был в городе, где жил покойный брат его, и теперь встретил его Герасим Силыч Чубалов. Наконец, явился к замужней уже племяннице.

В оборванном и насквозь просаленном архалуке пришел он к Дуне. Глядя на ее богатый дом, не осмелился он вдруг подступиться к нему. Только дворник сказал ему, что действительно тут живет Авдотья Марковна Самоквасова и что она пред масленицей вышла замуж. Робкою рукой позвонил в дом хивинский полонянник; и на каждом шагу надивиться не мог роскоши дома племянницы, бывшего не в пример лучше, чем самые палаты хивинского хана. Когда ж он сказал свое имя, неведомая дотоле ему племянница и ее муж встретили Мокея Данилыча самым родственным приветом. Несмотря на невзрачный вид дяди, Дуня так и повисла у него на шее и заплакала радостными слезами, а молодой муж также с любовью отнесся к нему. Не прошло и несколько вре-

мени, как это была уж одна семья, дружная, любовная. Мокею Данилычу отвели хорошую комнату, а на другой день, по хлопотам Петра Степаныча, готово было ему хорошее платье, и хивинский полонянник надел его вместо истрепанного своего архалука. Он стал в новом наряде таким, что в нем накануне того дня его и узнать было нельзя.

На другой либо на третий день приехал в город Патап Максимыч и познакомился с известным ему заочно Мокеем Данилычем. Не на долгое время приехала и Груня порадоваться радости давнишнего своего друга. Кроме Патапа Максимыча, приехал Чубалов, и пошел у молодых пир, где дорогими гостями были и Колышкины муж с женой. Патап Максимыч звал выходца на русскую землю из басурманского плена к себе в Осиповку и отправился вместе с ним за Волгу.

Еще до отъезда их Дуня сказала дяде, что дарит ему родительский дом, кроме того, вручила ему крупную сумму денег, «на обзаведенье», как сказала она. Света не взвидел Мокей Данилыч, слушая речи племянницы, и в голову никогда ему не приходило так нежданно вдруг разбогатеть. Сам не знал, что говорил он Дуне, благодаря за ее милости. Ни Патап Максимыч, ни Дуня словом не сказали, и никто из других не сказал Мокею Данилычу, кого встретит он в Осиповке; приехал он туда и был крайне удивлен пустотой в доме. После смерти Аксиньи Захаровны и Прасковьи Патаповны не было хозяйки в доме. Распорядки по крестьянам и токарням лежали на старике Пантелее, а домом покамест управляла Дарья Сергевна, хозяйство у нее шло как по маслу. В тот же день, как приехали в Осиповку, Мокей Данилыч свиделся с Дарьей Сергевной. Так оба они изменились в двадцать лет, что, встретившись где-нибудь в ином месте, они не узнали бы друг друга.

— Ну что, Мокей Данилыч, узнал ли теперешнюю мою хозяйку? — спросил у Смолокурова Патап Максимыч. Мокей Данилыч отрицательно покачал головой, а Дарья Сергевна, услыхав не чуждое ей имя, вся смутилась, не знала, что делать и что сказать.

Патап Максимыч, глядя на них, сказал:

— Неужто не можешь признать бывшей своей невесты?

— Нет, не могу,— сказал Мокей Данилыч.— Двадцать лет — многое время, что мы не видались с ней. Я, как вам известно, был в бусурманском плену. Ни письма какого из дому и ни весточки какой-нибудь я не получивал. Мудрено ли в таком случае не узнать самых близких в прежние годы людей? Сами посудите, Патап Максимыч.

— Оно, конечно, времени прошло много. Отца родного позабудешь, не то што кого другого,— сказал Патап Максимыч.— Однако ж мне пора в красильнях моих побывать. Оставайтесь покамест одни, люди ведь знакомые. А ты, Дарья Сергевна, закусочку покамест поставь, да водочки, да винца, какое дома случилось. А я сейчас и назад. И до возврата моего закуски не убирай.

Он ушел, и бывшие жених с невестой остались наедине.

— Ну что ж, Дарья Сергевна, как без меня поживали? — спросил Мокей Данилыч.

— Как жила я? — отвечала Дарья Сергевна.— Сначала у покойницы Аленушки жила, а потом, как она покончилась, надела на себя я черный сарафан, покрылась черным платком в роспуск и жила в уютной горенке большого, только что построенного дома Марка Данилыча. Повела я жизнь христовой невесты и о брачном деле просила никого со мной и не говорить. И никто меня не видывал, опричь хозяев да одной старушки, что жила при мне. Чрез четыре года Алена Петровна померла, и стала я Дуне заместо матери. Марко Данилыч, покойник, тогда в торговые дела вдался, завел обширные прядильни для выделки канатов и рыболовных снастей, а на Унже леса скупал, сгонял их в свой город и строил там лодки для каспийских промыслов. По всем делам то и дело в отлучках бывал, и я одна растила твою племянницу. Когда ж она стала подрастать, отдал он ее в комаровский скит для обученья. Не могла я расстаться с ненаглядной моею Дунею и тоже поселилась в Комарове. Прошло довольно времени, как мы жили там, и, наконец, возвратилась она в дом родительский. И с тех пор жила я при ней до самого ее замужества. И привел мне бог закрыть глаза Марку Данилычу. На моих руках и помер он. Вот и все мои похожденья за все время.

— Ну, а теперь как располагаешь насчет своей жизни, Дарья Сергевна? — спросил у ней бывший ее жених.

— Недаром же надела я черный сарафан и до сих пор не снимаю его,— отвечала Дарья Сергевна.— Покамест подомовничаю у Патапа Максимыча, а по времени в скитах поселюсь: там у меня и знакомых и благодетельниц довольно. Найду себе место.

— А как же Патап-от Максимыч один останется? Ведь ты у него домом заправляешь. Как же он один-от останется? — спросил Мокей Данилыч.

— Свято место не будет пусто,— отвечала она.— И кроме меня, найдется много людей. Опять же слыхала я их разговоры с Груней, будет что-нибудь одно: или она со всею семьей поселится здесь, или Патап Максимыч переедет на житье в Вихорево. Здесь будет просторнее, чем там, и верней, ежели их бог сюда перенесет. Усадьба Патапа Максимыча обширная, найдется место, где устроить Ивану Григорьевичу и шляпное и войлочное заведения. К тому же наподалеку отсюда немало таких заведений, какими Иван Григорьевич промышляет. Работников найдется вволю. А про меня, пожалуй, и не вспомнят, как я в черничках буду в каком-нибудь ските.

— А как ты насчет прежнего думаешь, Дарья Сергевна? — спросил у ней Мокей Данилыч.

— Насчет чего это? — в свою очередь спросила она.

— Аль забыла, что было у нас с тобой до моего полону? — сказал Мокей Данилыч.— Таких делов, кажись, до смерти не забывают.

— Что ж это такое? — опустивши глаза, молвила Дарья Сергевна.

— Были мы с тобой, Дарьюшка, жених да невеста. Неужто и этого не вспомнишь? Теперь я по милости племянницы стал богат, и дом, где ты двадцать лет выжила, мой дом. Что бы нам с тобой старину вспомнить? Чего прежде не удалось сделать, то бы мы теперь разом порешили. Были мы жених с невестой, а теперь можно бы было сделаться мужем и женой.

— Голубчик ты мой, Мокей Данилыч, зачем старое вспоминать. Что было когда-то, то теперь давно былью поросло,— сказала, видимо смущенная, Дарья Сергевна.— Вот ты воротился из бусурманского плена, и ни по чему не видно, что ты так долго в неволе был. Одет как

нельзя лучше, и сам весь молодец. А вот погляди-ка на себя в зеркало, ведь седина твою голову, что инеем, кроет. Про себя не говорю, как есть старая старуха. Какая ж у нас на старости лет жизнь пойдет? Сам подумай хорошенько!

Ни слова на то не сказал Мокей Данилыч. Смутился он словами бывшей своей невесты.

— Ты теперь в достатках,— сказала Дарья Сергевна,— и на будущее время Дуня тебя никогда не оставит своей помощью. Ежели захочешь жениться, за невестами дело не станет, найдется много. А мой бы совет: к богу обратиться, ты уж ведь не молоденький. Ты же, я думаю, живучи в полону, пожалуй, и Христову-то веру маленько забыл. Так и надо бы тебе теперь вспомнить святоотеческие предания и примирить свою совесть с царем небесным.

В это время пришел из красилен Патап Максимыч и, взглянув на того и другую, догадался, что без него были меж ними какие-то важные разговоры.

— Дарья Сергевна, матушка!—молвил он,— что ж, я пред уходом сказал вам, чтобы вы закусочку для гостя поставили, а вот у вас на столе и нет ничего. Пожалуйста, поскорей сготовьте, наш гость, пожалуй, теперь и поесть захотел.

Дарья Сергевна вышла, а Патап Максимыч остался вдвоем с Мокеем Данилычем.

— Видится мне, что без меня у вас какие-то особые разговоры были,— сказал гостю Патап Максимыч.— Как только вошел сюда, догадался.

— Были разговоры, точно, что были,— сказал Мокей Данилыч.

— О чем же это? — спросил Патап Максимыч.

— Старину вспоминали,— отвечал Мокей Данилыч.

— Какую старину? — спросил Чапурин.

— Старые годы вспоминали, Патап Максимыч. Про то меж собой говорили, как были мы с ней люди друг к другу самые близкие, жених с невестой,— сказал Смолокуров.

— Уж не вздумал ли ты опять женихом к ней стать? — промолвил, понизив голос, Патап Максимыч.

— Что ж, я бы не прочь,— отвечал Мокей Данилыч.

— Полно-ка ты, не смущай себя, да и ее не смущай такими разговорами,— сказал Патап Максимыч.— Ведь

тебе, друг мой любезный, годов немало. Не очень много супротив моих лет. Только что я жил в своей семье, а тебе пришлось в полону жить. А что ни говори, жизнь пленника не в пример тяжелее нашей жизни. Воли, друг любезный, нет. А без воли всякий человек прежде старится. Нет вам моего совета по прежнему идти. Не смущай ты ее души, она с богом хочет пребывать и концом своих желаний поставляет житье в каком ни на есть ските керженском или чернораменском. Будучи черницей, думает она и век свой скончать. Потому ты ее и не смущай своими запоздалыми разговорами. Отдай ее господу богу на руки и сам подумай о своей душе. Пора, любезный друг, пора, наше время изжито.

— То же самое и она сейчас мне говорила,— сказал Мокей Данилыч.— А как я один-то жизнь свою свекую? Кто ж мне на смертном одре глаза закроет? Кто ж будет ходить за мной во время моих болезней? Спору нет, что будут в моем доме жить Герасим Силыч с племянником, да ведь это все не женская рука. Да и хозяйка в доме нужна будет.

— За хозяйкой и за женским уходом дело у тебя не станет,— молвил Патап Максимыч.— При твоих теперь достатках невест не оберешься, хоть тебе и не мало лет. Только этого я тебе не советую. Известно, что такое молодая жена у старого мужа. Не довольство в жизни будет тебе, а одна только маята.

Замолчал Мокей Данилыч, низко поникнул головой, а после того и не поднимал ее.

Дня через три Патап Максимыч с Никифором Захарычем поехали в город, чтобы сесть там на пароход. С ними и Мокей Данилыч отправился. Пробыв несколько дней у Дуни, он вместе с Чубаловым отправился в новое свое жилище на старом родительском пепелище. Там похлопотал Чубалов, и Мокей Данилыч скоро был введен во владение домом и пристанями, и как отвык от русской жизни и ото всех дел, то при помощи того же Чубалова завел на свой капитал хлебный торг.

* * *

Все, что было говорено про Марью Гавриловну, оказалось верным. Завладев ее капиталом, Алексей тотчас же покинул жену для Тани. Но и то было ненадолго, одна за другой являлись новые красотки, и с ними про-

водил время Алексей, забывал жену и все, что получил от нее. Чтобы быть подальше от отца и вообще от Керженского заволжья, он завел в Самаре на свое имя такие заводы и зажил на новом месте так, что знавшие его прежде не могли надивиться. Кроме того, что стал он в короткие отношения с местными властями, прикармливая их роскошными обедами, и в среде купечества он занял почетное место. Меньше чем через год назначены были городские выборы, и гласный думы, первой гильдии купец Алексей Трифоныч Лохматов был намечен будущим городским головой или по меньшей мере заступающим его место на собраниях. Переселившись в Самару, он взял с собой и жену, но Марья Гавриловна и здесь терпела прежнюю участь. Не имея ни копейки на свои надобности, она должна была во всем покоряться любовницам Алексея, хозяйничавшим у него в доме и ни малейшего внимания не оказывавшим настоящей хозяйке. Алексей никогда даже не говорил с ней. Когда он покинул Таню, она бросилась к ногам Марьи Гавриловны, прося у нее прощенья и, по обычаю, сваливая всю вину на смутившего ее беса. Добрая Марья Гавриловна простила взращенную ею девушку и с тех пор по-прежнему стала с ней неразлучна, как было до ее несчастного замужества. Алексей, казалось, и внимания не обращал на то; он и с Таней никогда не говорил больше ни слова.

Какое-то дело заставило его плыть на Низ. Он сел на один из самых ходких пароходов, ходивших тогда по Волге, на том же пароходе ехали и Патап Максимыч с Никифором Захарычем. Патап Максимыч поместился в каюте. Никифору Захарычу показалось там душно, и он отправился в третий класс на палубу. Чапурин из своей каюты через несколько времени вышел в общую залу. Осмотрелся, видит четырех человек, из них трое были ему совсем не известны, вгляделся в четвертого и узнал Алексея.

Ни к кому не обращаясь, Патап Максимыч снял с головы картуз и положил его на стол.

Алексей сразу узнал бывшего хозяина. Слегка приподнявшись с дивана, он с наглостью во взоре и с большим самомнением проговорил:

— Наше вам наиглубочайшее, господин Чапурин.

Ни слова не ответил на то Патап Максимыч и сел на диван против Лохматова.

— Как вы в своем здоровье теперь? — с тем же нахальным взглядом, смеривая глазами Патапа Максимыча, спросил у него Алексей.

Не ответил ему Патап Максимыч и, уже несколько времени подождавши, спросил у него:

— А что Марья Гавриловна? Она как?

— Ничего,— сказал Алексей.— Здорова, кажется. В Самаре осталась, а я вот подальше на Низ сплываю.

— Слухом земля полнится, Алексей Трифоныч, а говорят, будто она во многом нуждается,— злобно молвил, взглянув на бывшего своего приказчика, Патап Максимыч.

— Мало ль что по народу болтают, всего не переслушаешь,— сказал на то Алексей, поднимая кверху брови.— Живет она себе как хозяйка дома. И хорошая хозяйка, добрая, в этом надо ей честь отдать. Только все дома сидит да богу молится, ни с кем из наших самарских почти никогда и не видается. Вот они, наши самарские,— прибавил он, указывая глазами на сидевших в общей зале,— никто ее, можно сказать, не видывал, хоть и веду я в городе жизнь открытую. Не только на них, но даже и на всех сослаться могу, что никто ее, богомольницу, в глаза не видывал.

— Это так точно-с,— подхватил один из самарцев.— Марья Гавриловна у нас в городу как есть невидимка.

Промолчал Патап Максимыч и, мало повременя, взял картуз со стола и вышел из общей залы. Ни Алексей, ни его самарцы не знали, что он поместился в каюте как раз рядом с ними.

— Что за господин такой? — спросил у Алексея один из его самарских знакомых, только что ушел от них Патап Максимыч.

— Из наших заволжских. С Керженца,— отвечал Алексей.

— Давно знаете его? — спросил самарец.

— Давненько-таки,— отвечал Алексей.— Когда я еще находился в бедности, а в родительском дому отцовские достатки порасстроились от поджога токарни, а потом клеть у нас подломали, а после того поскорости воры и лошадей свели, я в ту пору слыл первым, самым лучшим токарем в нашей стороне; меня родитель и по-

слал на сторону, чтобы кое-что заработать для поправки семейных наших дел. И пошел я не по воле родителей, а по своей охоте в деревню Осиповку, что была от нас невдалеке, к Патапу Максимычу Чапурину, а у него в ту пору токарни были всем на удивленье. Слыхал про меня и прежде Чапурин, и очень ему хотелось иметь у себя такого работника, как я, и потому с радостью принял меня в дом. И жил я у него не как простой рабочий, а в его доме внизу, в подклете, в особенной боковуше, а ел и пил с хозяйского стола. И за мое мастерство и за мой добрый обычай, как сына, возлюбил меня Чапурин, и немного месяцев прошло после того, как я у него водворился, он через мои руки доставил отцу моему столько денег, что тот на них мог устроиться по-прежнему.

— Добрый он, значит, человек, этот Чапурин,— сказал один из самарцев.— Что ж, долго вы у него в токарях служили?

— Очень даже недолго,— отвечал Алексей.— Тут он со своими приятелями по каким-то случаям вздумал за рекой за Ветлугой на пустом месте золото искать и по доверию ко мне меня послал туда. Тут-то дорогой и спознался я с теперешней женой моей Марьей Гавриловной.

— Ну что же, долго у него еще оставались? — спросил самарец.

— Нет,— сказал Алексей.— Всего моего житья у него и полугода не было. Когда воротился я в Осиповку, хоронили старшую дочку хозяина. После похорон немного дней прошло, как он меня рассчитал. И так рассчитал, что, проживи я у него и два года и больше того, так по уговору и получать бы не пришлось. На этом я ему всегда на всю мою жизнь, сколько ее ни осталось, буду благодарен.

Лежа в соседней каюте, Патап Максимыч от слова до слова слышал слова Алексея. «Вот,— думает он,— хотя после и дрянным человеком вышел, а все-таки старого добра не забыл. А небойсь словом даже не помянул, как я к его Марье Гавриловне приходил самую малую отсрочку просить по данному векселю. А добро помнит. Хоть и совсем человек испортился, а все-таки помнит».

И, довольный сам собой и даже Алексеем, Патап Максимыч протянулся было спокойно на диване в каюте, как вдруг услыхал иные речи из общей залы.

— Что ж за причина была такая, Алексей Трифоныч? — спросил у него один из самарцев.— Чего ж это он вдруг после дочерних похорон спровадил вас от себя из дома? Была же на то какая-нибудь причина.

— Была причина, точно что была,— сказал Алексей, плутовски улыбаясь и почесывая затылок.

— Какая же? — спросил самарец.

— Дочка была у него старшая, Настей звали. Уж сколько времени прошло, как она в могиле лежит, а все-таки и до сих пор вспомнить о ней приятно.

Насторожил уши бывший по соседству Патап Максимыч. И сдается ему, что этот разговор добром не кончится.

— Беленькая такая,— продолжал Алексей, говоря с самарцами,— нежная, из себя такая красавица, каких на свете мало бывает. А я был парень молодой и во всем удатный. И гостила тогда у Чапурина послушница Комаровской обители Фленушка, девка, молодец на все руки, теперь уж, говорят, постриглась и сама в игуменьи поступила. Она в первый раз и свела нас.

«О-о! — подумал Патап Максимыч.— Так вон оно откуда все пошло. Значит, это все Фленушка устроила. На такие дела только ее и взять. Эх, ведал бы да знал я тогда об этом, таких бы надавал ей тузов, что, пожалуй, и в игуменьи теперь не попала бы».

А у самого сердце так и кипит, встал он и ходит, как зверь в узенькой клетке. Лицо горит, глаза полымем пышут, порывается он пройти в общую залу и там положить конец разговорам Лохматого, но сам ни с места. Большого скандала боится.

— Ну вот, и свела она нас,— продолжал Алексей.— Тем временем приезжали к Чапурину гости из Самары, Снежковы, отец с сыном, сродни они, никак, тебе доводятся. И было у них намеренье Настю сватать; только она, зная за собой тайный грех, не захотела того и отцу сказала напрямки, что уйдет в кельи жить, а не удастся, так себя опозорит и родительский дом: начнет гулять со всяким встречным. Раскипятился отец, а моя Настенька и вниманья на то не обращает. Стих Чапурин, а она продолжала наши дела. Меня на ту пору на Ветлугу послали. В эту мою отлучку Настенька догадалась, что она непраздна, что другой кто-то сидит в ней. Во всем откры-

лась матери и, только что все рассказала, упала и с той поры заболела; болезнь недолго продолжалась. Полежала сколько-то времени и покончила свою жизнь, а меня на ту пору у Чапурина не было, все по этому по ихнему золотому делу разъезжал. После об этом Фленушка мне рассказывала. Воротился я к Чапурину и, подъезжая к деревне, где он живет, похороны увидал. Это моя Настя без меня скончалась. А какая была покойница, теперь и сказать нельзя: страстная, горячо увлекалась всем, сама такая тихая, ровная и передо мной никогда, бывало, противного слова не молвит. Все с покорством, все с подчинением моей воле... Однако ж душно что-то здесь, каково-то ночью будет; впрочем у меня особая каюта; пойти бы на палубу освежиться немного.

Слышит Патап Максимыч, что Алексей вышел из общей залы и идет мимо кают. Не стерпело у него сердце. Одним размахом растворил он свою дверку, но Алексей уже поднимался вверх. Чапурин за ним вдогонку.

— А кто обещал про это дело никому не поминать? Кто слово давал и себя заклинал? А? — прошипел, подойдя к Алексею, Патап Максимыч.— Забыл?

Повесив голову, не говоря ни слова, Лохматов старался уйти от разъяренного Чапурина, но не удалось ему: куда он ни пойдет, тот за ним следом.

И вспомнились ему тут слова внутреннего голоса, что нередко смущали его, когда он жил у Патапа Максимыча в приказчиках: «От сего человека погибель твоя».

Ни шагу не отступал от него Патап Максимыч. Куда Алексей ни пойдет, он за ним с попреками, с бранью.

Подходили они к пароходному трапу, и ни одного человека кругом их не было. Патап Максимыч поднял увесистый кулак сокрушить бы супротивника, а из головы Алексея не выходили и прежде смущавшие его слова внутреннего голоса: «От сего человека погибель твоя».

Пятится Алексей от Чапурина, пятится. И дошел таким образом до самого трапа. А на станции в Батраках, по оплошности пароходных прислужников, забыли укрепить трап, через который девки да молодки дров натаскали.

Дошли до этого трапа, Алексей задом, Патап Максимыч напирая на него. Что-то такое говорил Алексей, но взволнованный Патап Максимыч не понимал его слов,

должно быть каких-нибудь оправдательных. Оперся Алексей Лохматов о трап, Патап Максимыч был возле него. Трап растворился, и оба упали в воду.

— Упали! упали! — раздались голоса по палубе, но никто ни с места. Не зная, кто упал, Никифор Захарыч, мигом сбросив с себя верхнюю одежду, бросился в Волгу. Недаром его смолоду окунем звали за то, что ему быть на воде все одно, что по земле ходить, и за то, что много людей он спас своим уменьем плавать.

Бросился он в реку, поплыл, первым увидел Алексея, тот даже схватил его, но Никифор Захарыч оттолкнулся от него, увидев невдалеке Патапа Максимыча, поплыл к нему, схватил его, ошеломил, по исконному своему обычаю, и поплыл к корме парохода.

Там с радостью приняли и утопленника и его спасителя. Собрались все бывшие на пароходе, забыв на минуту другого утопавшего, усиленно и неумело боровшегося с волжскими волнами.

Кто-то крикнул, наконец:

— Лодку! Живей! Человек тонет! — А сказал это после того, как напрасно всем миром просили Никифора Захарыча спасти и другого утопленника. Все видели, что это на воде не человек, а настоящий окунь. Но Никифор Захарыч упорно отказывался от просьбы.

— Не могу, и с этим устал,— говорил он.— Чего доброго, сам ко дну пойду.

— Лодку! лодку! — кричали между тем бывшие на палубе.— Скорей как можно лодку! Живей! Живей! Человек тонет! И как это трап-от не приперли! Еще, пожалуй, отвечать придется, ежели потонет. А все это наши ребята заболтались в Батраках с девками, да и забыли запереть трап как следует. Ох, эта молодежь, прости господи! — Такие голоса раздавались в то время по палубе, а Алексей Лохматов больше и больше погружался в воду.

Лодку, наконец, снарядили и подали. Быстро она понеслась к утопавшему, но еще несколько аршин не доплыла до него, как тот, с мыслью: «от сего человека погибель твоя», опустился на дно.

Так погиб Алексей Лохматов, нареченный самарский городской голова.

Марья Гавриловна приезжала на похороны и в тот же день, как зарыли ее мужа, уехала в Самару, а оттуда

по скорости в Казань к своим родным. Лохматов не оставил никакого духовного завещанья; Марье Гавриловне по закону из ее же добра приходилось получить только одну четвертую долю, остальное поступало в семью Трифона Лохматова. Но Трифон, зная, какими путями досталось богатство его сыну, отступился от нежданного наследства, и таким образом Марье Гавриловне возвратился весь ее капитал.

* * *

Петербургский чиновник, которого так долго и напрасно ждали на Керженце, приехал туда только летом. Долго задержали его в Петербурге. Только что приехал он, тотчас же отправился в Оленевский скит. Оттуда какие-то шатуньи, которых в скиту никто и не знал, пошли за Дон за сбором подаяний. Их взяла полиция и отправила сначала в Петербург, а оттуда они были препровождены в ту губернию, где ложно сказались жительницами. Там их никто не знал, и они до разъяснения дела посажены были в тюремный за́мок. Расспросив их и не добившись никакого путного ответа, петербургский чиновник поехал в Оленевский скит. Тот скит несколько лет пред тем весь выгорел дотла; а между тем дошли до Петербурга сведения, что там есть много обителей, а из них самою главною и многолюдною считается обитель Анфисина, построенная будто бы лет двести тому назад инокиней Анфисой, родственницей, как говорило предание, святого Филиппа митрополита. Чтобы застать службу во всех часовнях и моленных, чиновник выбрал для их осмотра вечер Успеньева дня. Осмотрев и запечатав все до одной моленные, чтобы скитницы чего-нибудь не спрятали, петербургский чиновник остановился в Анфисиной обители, осмотрел ее и составил подробную опись иконам и всему другому, там бывшему. Игуменья обители Маргарита, известная больше под именем Кузьмовны, с особенным радушием встретила приезжего и разговорилась с ним обо всех делах обительских. Ее племянница Анна Сергевна прислуживала гостю, разливала чай и потом сама подавала чем бог послал поужинать. Петербургский чиновник ночевал в обители Анфисиной и потом в ней не раз бывал. Из двадцати с лишком часовен и моленных только три уцелело после бывшего пожара, прочие, как вновь построенные, остались запечатанны-

ми и через несколько времени земскою полицией были сломаны.

Из Оленева петербургский чиновник, сопровождаемый местным исправником, отправился в незадолго пред тем обращенный к единоверию Керженский скит, уж обставленный церквами; там игумен Тарасий, после того архимандрит, встретил гостя даже со слезами.

— Ох, любезненький ты мой,— говорил он,— кого мне привел бог встретить в наших местах! Места наши пустые, лесные; как-то ты добрался до нас! Разве что с помощью господина исправника, он в своем уезде везде всю подноготную знает. А у нас место пустынное, как есть настоящее иноческое пребывание. Только и утехи нам, что окуней половить в Керженце да ими маленько себя полакомить. Ты не взыщи с меня, что встречаю я тебя в таком одеянии,— прибавил отец Тарасий, указывая на свою свитку, всю вымоченную водой,— сейчас в Керженце был, рыбешку ловил, как мне про тебя сказали. Не обессудь ты меня, любезненький мой; надо бы к тебе во всем чину явиться, а я вон какой измоченный да перемоченный. Не обессудь, касатик ты мой,— низко кланяясь, говорил петербургскому гостю отец Тарасий.— Ступай в мою келью, а я меж тем приоденусь и приду как надо встретить дорогого гостя.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, отец Тарасий,— сказал на то петербургский чиновник.— Не в одежде дело, а в радушии. Останьтесь как были, ежели это вас не холодит.

— За ласковое слово много благодарим,— сказал отец Тарасий, но, несмотря на приглашение чиновника, пошел переодеться и вскоре явился к нему в полном чину.

— Напрасно беспокоились, отец Тарасий,— сказал гость,— право, напрасно, разве что простуды боялись.

— Ах ты, мой любезненький, гость ты мой дорогой! — вскрикнул игумен, обнимая чиновника и лобызаясь с ним,— как же смею я быть пред тобой не во всем иночестве! А ты пойдем-ка со мной вот сюда.

И повел гостя в другую соседнюю комнату.

Там на столах стояли: уха из только что наловленных окуней, пирог с малосольною осетриной, каша с молоком, оладьи, а на другом столике были поставлены: водка, виноградное вино, а к ним копченые рознежские

стерляди и другая рыба, икра, соленые рыжики и грузди, маринованные грибы и другие снеди.

— Потрапезуем-ка, любезненький мой, чем бог послал у старца в келье,— говорил отец Тарасий.— Водочки прежде всего выкушай, и я вместе с тобой выпью монашескую калишку. Сделай милость, друг, откушай.

Выпив водки, гость расхвалил закуски, к ней поданные, особенно копченых стерлядей. Потом сели обедать.

За обедом, по иноческим правилам, все трое сидели молча. Один лишь игумен изредка говорил, потчуя гостей каждым кушаньем и наливая им в стаканы «виноградненького», не забывая при том и себя. После обеда перешли в прежнюю комнату, бывшую у отца Тарасия приемною. Здесь игумен подробно рассказывал петербургскому гостю о скитах керженских и чернораменских, о том, как он жил, будучи в расколе, и как обратился из него в единоверие вследствие поучительных бесед с бывшим архиепископом Иаковом.

Долго говорил игумен. Затем повел он гостя в церковь, где отправлено было молебное пение. Служил сам отец Тарасий, иноки пели тихо и стройно единоверческим напевом. Приезжий из Петербурга в подробности осмотрел церковь, хвалил ее чистоту и убранство, особенно святые иконы.

— Чудотворной-то нет у нас никакой,— тихо промолвил отец Тарасий, наклоняясь к приезжему, чтобы не смущать напрасно братию, не уходившую из храма.

— Молитесь богу, он не оставит вас,— так же тихо сказал ему петербургский чиновник.

Обойдя все церкви и кельи иноков, игумен повел гостя на конный и скотный дворы, на пчельник и везде показал ему монастырское свое хозяйство. Потом пошли на реку Керженец, и там послушники занесли бредень для ловли рыбы к ужину. Потом повел его игумен в монастырский лес; когда ж они воротились в игуменские кельи, там их ожидал самовар и блюдо свежей малины с густыми сливками, и все-таки с «виноградненьким».

Петербургский гость остался ночевать у Тарасия, так как время было уже позднее. На ужин явились все те же закуски, какие были поданы к обеду. Уха сварена была

из наловленных послушниками окуней, и явился к столу поданный ими жареный судак и другие давешние кушанья, кроме каши, замененной малиной со сливками.

Поутру, отстояв обедню, петербургский чиновник распрощался с отцом Тарасием. Игумен даже расплакался на прощанье со своим нежданным гостем.

Из керженского Благовещенского скита петербургский приезжий, пробыв несколько времени в уездном городе, отправился в шарпанский скит, где его вовсе не ждали. Он приехал туда ночью, часу во втором, и прошел прямо в моленную. Там в углу стояла икона казанской богородицы; говорят, что она была комнатною царя Алексея Михайлыча в первые годы его царствования. Она была заслонена другою большою иконой, но пред ней горела лампада. Рассказывали, что та икона во времена патриарха Никона находилась в Соловецком монастыре и что во время возмущения в среде соловецкой братии, когда не оставалось более никакой надежды на избавление обители от окруживших ее царских войск, пред ней на молитве стоял дивный инок Арсений. И видит он во сне, что икона богородицы поднялась в небесную высоту, и слышит он от той иконы глас: «Иди за мной без сомнения и, где я остановлюсь, там поставь обитель, и до тех пор, пока в ней будет сия моя икона, древлее благочестие будет процветать в той стороне», и был Арсений чудною силой перенесен с морского острова на сухопутье. Богородична икона идет по воздуху, а вслед за ней инок Арсений. И стала та икона и опустилась на землю в пустынных лесах Чернораменских, и там на урочище Шарпан поставил Арсений первый скит в тамошних местах. Вскоре больше сотни таких скитов возникло в Черной Рамени, в Керженских и Рышских лесах и по реке Ветлуге.

Таковы были между старообрядцами предания о первых насельниках лесов Чернораменских, и все, как ближние, так и дальние, с особым уважением относились к иконе, принесенной в Шарпан иноком Арсением. Они твердо веровали, что, как только соловецкая икона выйдет из Шарпана и будет поставлена в никонианской церкви, древлему благочестию настанет неизбежный конец. И потому, как только возможно, старались удержать ее на месте.

Опытный в делах подобного рода петербургский чиновник, войдя в шарпанскую моленную, приказал затушить все свечи. Когда приказание его было исполнено, свет лампады, стоявшей перед образом казанской богородицы, обозначился. Взяв его на руки, обратился он к игуменье и немногим бывшим в часовне старицам со словами:

— Молитесь святой иконе в последний раз.

И увез ее.

Как громом поразило жителей Керженца и Чернораменья, когда узнали они, что нет более соловецкой иконы в шарпанской обители. Плачам и воплям конца не было, но это еще не все, не тем дело кончилось.

Из Шарпана петербургский чиновник немедленно поехал в Комаров. Там в обители Глафириных издавна находилась икона Николая Чудотворца, также почитаемая старообрядцами чудотворною. Он ее взял точно так же, как и соловецкую из Шарпана. Страха и ужаса еще больше стало в обителях керженских и чернораменских, там всё считали для себя поконченным. Петербургский чиновник исполнил обещание, данное отцу Тарасию: соловецкая икона была перенесена в керженский Благовещенский монастырь, а икона Николая Чудотворца — в незадолго пред тем обратившийся к единоверию скит Осиповский. После того, объехав все скиты и обители, петербургский чиновник воротился в свое место.

Вскоре от высшего начальства из Петербурга вышло такое решение о скитах: им дозволено было оставаться по-прежнему только на полгода, после этого времени они все непременно должны быть совершенно порушены, тем из скитских матерей, что приписаны были к обителям по последней ревизии, дозволено было оставаться на их местах, но со значительным уменьшением их строений. Тем из обительских матерей, что приписаны были по ревизии к разным городам и селениям, велено было иметь там всегдашнее пребывание без кратковременной даже отлучки в скиты и другие места.

Все это исполнить было возложено на местную полицию, и сам исправник несколько раз объезжал для того скиты. Хоть окрестные крестьяне прежде и радовались тому, что рано или поздно скитские строения пойдут в их собственность, потому что матерям некому будет

продать их строений и они поневоле продадут их за бесценок, однако на деле вышло другое. Сколько ни приказывал исправник крестьянам Ронжина и Елфимова ломать обительские строения, никто из них не прикоснулся к ним, считая то великим грехом. Особенно комаровские часовни были для них неприкосновенны и святы. Сколько ни было у них ссор с комаровскими матерями, они горько скорбели и плакали над судьбой, постигшею скиты. И не мудрено то было: окрестные крестьяне так долго по праздникам ходили в комаровские часовни, что им нельзя было не пожалеть соседок; опять же многие из них были женаты на живших прежде в том скиту белицах. Сколько ни бился исправник, увидел, наконец, что тут ничего не поделаешь, и потому собрал понятых, преимущественно из православных. Они мигом приступили к работе. Когда были снесены кровли с Манефиной обители, считавшейся изо всех скитов самою главною, стоном застонали голоса. В то время собрались в Комарово почти без исключения все матери из всех обителей: точь-в-точь как съезжались, бывало, они на соборы, там сбиравшиеся. На завалинах и на разрушенных строениях сидят матери и горько плачут, смотря на разрушение старого их пепелища, ожидая и в своих скитах такого же разрушения и неизбежной высылки людей с насиженных ими мест, но не приписанных ко скиту. Приехала из города и мать Манефа с неразлучною Филагрией. Сели они возле своих келей, но ни плача, ни рыданий с их стороны не было. Переселясь заблаговременно в город, где была приписана по ревизии, Манефа только тихо, безмолвно горевала по своем старинном хозяйстве. Так же ко всему равнодушною казалась мать Филагрия: она также приписана была к городу и жила вместе с Манефой. Ничего в ней не было, что бы расстраивало ее при виде разрушения комаровских обителей. Зато все другие тут бывшие горевали и плакали по случаю постигшего всех их несчастия.

Сидит на завалинке мать Манефа с Филагрией, а рядом с ними все прежние противницы Манефины из-за архиерейства: кривая мать Измарагда, игуменья обители Глафириных, так еще недавно лишившаяся чудотворного Николина образа, мать Нонна, игуменья из скита Гордеевского, мать Евтропия обители Игнатьевой, мать Августа, игуменья шарпанская, у которой также недав-

но отобрана была соловецкая икона казанской богородицы. Не послушалась тогда мать Августа уговоров на соборе прочих игумений, не свезла в Москву эту икону, с которой связано давнишнее предание, что скиты керженские и чернораменские останутся неприкосновенными до тех только пор, покамест она не будет поставлена в великороссийской церкви,— а вот она теперь у отца Тарасия. Все эти игуменьи, при виде сломанных Манефиных строений, сотворили с ней прощу и мирно, с плачем и стонами, сидели рядом с бывшей своей несогласницей, ничем не возмутимой старицей. Общая скорбь примирила всех. Против этих игумений, на диванах и стульях из бывшего домика Марьи Гавриловны, сидели более или менее близкие к Манефе: Таисея, игуменья обители Бояркиных, игуменья обители Жжениных и настоятельницы мелких комаровских обителей мать Улия, игуменья Салоникеиных, Есфирь из обители Напольных, настоятельницы обителей, а также все улангерские матери, Юдифь и девяностолетняя Клеопатра Ерахтурка, никогда не чаявшая дожить до разорения скитов. Были тут и Агния, игуменья небогатого скита крутовражского, Христодула, начальница такого же скита ворошиловского, дебелая старица мать Харитина, тоже из бедного скита быстренского, и многоречивая Полихрония, настоятельница обители малиновской. Все бывшие слезно молили мать Манефу, чтобы дала им мудрый совет, как помочь себе в настоящие дни напастей.

Опустив голову и потупив очи, ничего никому не говорила в ответ мать Манефа. Ко всему видимому и слышанному, казалось, относилась она совсем равнодушно.

Больше и громче всех голосила добродушная мать Виринея, столь долго бывшая келарем в Манефиной обители. Не будет больше у нее ни пиров, ни соборов, не будут больше сбираться к ней белицы работать и петь псальмы, а частенько и мирские песни. А главное, что сокрушало ее, это то, что пришел конец широкому ее домохозяйству, что теперь, ежели она и поселится в городе у матери Манефы, не будет уже больше такого домоводства, какое было до сих пор. Вспоминала и мать Филагрия, прежняя Фленушка, о тех проказах, что выкидывала она у добродушной Виринеи тайком от игуменьи. Еще больше вспоминала она гулянки свои по Каменному Вражку, но все затаила в сердце, и казалась ничем не

возмутимою. За разрушением Манефиной обители последовало разрушение и других обителей Комарова, а затем и разрушение прочих скитов.

Так пали около двухсот лет стоявшие обители керженские и чернораменские. Соседние мужики сначала хоть и не решались поднять руки на часовни и кельи, через несколько времени воспользовались-таки дешевым лесом для своих построек: за бесценок скупили скитские строения. Вскоре ото всех скитов и следов не осталось. Были оставлены на своих местах только приписанные к ним по ревизии, и каждой жительнице отведено было по просторной келье, но таких приписанных ко всем скитам осталось не больше восьмидесяти старых старух, а прежде всех обительских жителей было без малого тысяча. Опустели и Керженец и Чернораменье.

Чрез некоторое время местному губернатору вместе с другим петербургским чиновником велено было осмотреть все скиты. Они нашли всюду полное запустение.

Зато в городе, где было много приписанных келейниц, образовались многолюдные обители с потайными моленными. Из них главною по-прежнему стала обитель матери Манефы.

ОЧЕРКИ ПОПОВЩИНЫ



ЧАСТЬ I

I

НАЧАЛО РАСКОЛА СТАРООБРЯДСТВА

В старые годы грамотных людей на Руси было очень мало, а полуграмотные переписчики церковных книг, по невежеству, вносили в них самые грубые ошибки. К тексту, исполненному такого рода ошибками, предки наши постепенно привыкали. Через два-три поколения ошибка переписчика делалась уже святынею для набожных людей, строгих ревнителей обряда и буквы. Такая порча книг началась издавна: так называемые «худые номоканунцы» были у нас еще в XII веке.

То же самое и относительно обрядов. От недостатка книжного наученья не только миряне, но и духовные путались во множестве сложных обрядов. Это особенно замечалось в Новгороде и Пскове. Оттуда и пошли по северной Руси обряды, несогласные с древними греческими, не известные в южной, киевской Руси, но получившие значение неприкосновенной святыни в глазах ревнителей старины северного края. Таковы: сугубая аллилуйя, двуперстное сложение, ходы посолонь и пр. На севере, то есть во всей Великой России, все эти обряды стали сильно распространяться и утверждаться с 1410 года, или со времени разделения русской митрополии на две половины — московскую и литовскую; окончательно же они утвердились во времена первых московских патриархов [1]. Ослабление связей с Константино-

[1] И. Д. Беляев так определяет происхождение двуперстного сложения, обряда, которому старообрядцы наши придают особен-

полем и потом полная, автокефальная независимость московской церкви обусловливали невмешательство восточных патриархов в великорусские церковные дела; между тем литовская половина Руси до конца XVII столетия зависела вполне и непосредственно от цареградской патриархии и всегда находилась в более тесных связях с восточными православными церквами, чем московская. Этим объясняется замечательное и в наше время явление: в южнорусских областях не было и нет испорченных обрядов и не образовалось раскола; до сих пор в Малороссии и Западном крае раскол чужд коренных жителей и содержится одними выходцами из Великой России.

Еще при Иване Грозном искажение обряда и буквы в Московском государстве было уже так велико и так повсеместно, что обратило на себя внимание самого царя. Вернейшим средством отвратить дальнейшую порчу книг малограмотными переписчиками призвано было книгопечатание. Стали печатать книги в Москве, но по тем неверным спискам, которые были во всеобщем употреблении. Самое же исправление книг отлагалось от

но важное догматическое значение. «Двуперстие распространилось в XIV веке в Галицкой Руси по случаю распространения там армян-монофизитов. Отсюда в XV веке оно перенесено в Новгород и было усвоено многими как оппозиция ереси Схарии, или так называвшихся «жидовствующих». Затем Феодорит, ученик св. Зосимы Соловецкого, написал известное «Слово Феодоритово», вошедшее в Стоглав (см. «День» 1863, №№ 9 и 10). Двойная аллилуия, другой важный, по мнению старообрядцев, обряд, пошел, как известно, из Пскова, тоже в XV столетии. Во время архиепископа новгородского Геннадия (1485—1504) и двоили и троили аллилуию, как видно из следующей отписки к нему Дмитрия Старого (Дмитрия Толмача) из Рима: «Господину преосвященному архиепископу Новагорода и Пскова, владыце Геннадию, слуга ваш, святительства твоего, Дмитрий Старый челом бьет. Велел еси, господине, отписати к себе о трегубной *ал ил уиа*, высмотрев в книгах. Ино, господине, того и здесь в книгах не описано, как говорити: трегубно ли, сугубно ли. Но мне ся помнить, что и у нас спор бывал меж великих людей, и они обоя одново осудили *ал ил уиа*, и в четвертое *слова Тебе, Боже*, является триипостасное божество и единосущнаго, а сугубное *ал ил уиа* являет в две естестве едино божество. Ино, как глаголет человек тою мыслию, тако добро. *Ал ил уиа* толкуется: *ал* — прииде, *ил* — явися, *уиа* — Бог,— пойте и хвалите живого Бога.— Инако толкуется: *ал ил уиа* — хвалите Богу или хвалите Господа или Сущаго хвалите, якоже и Давид вопияше, глаголя: Бог яве придет, Бог наш не премолчит».

времени до времени. Смутное время, в начале XVII века, и последствия его надолго задержали дело решительного исправления книг. Так и шло дело до половины XVII века.

В это время бархатную мантию с золотыми источниками надел Никон, мордвин, родом из села Вельдеманова, человек обширного ума и непреклонной воли, «собинный друг» царя Алексея Михайловича. Он принял решительное намерение — во что бы то ни стало исправить книги и исправленными одновременно и повсеместно заменить порченые, как печатные, так и рукописные. В 1654 году Никон издал «Служебник». В нем отменялись некоторые обряды, к которым привыкли и попы и миряне в продолжение не одного столетия. Ужасом поражены были люди набожные, строгие ревнители старины и обряда; для ненабожных было все равно. Недовольство патриархом обнаружилось тотчас же. И где же? Рядом с патриархией, в кремлевских теремах, на половине набожной и благочестивой царицы Марьи Ильиничны.

Воспитанная в старых обрядах, свято чтимых Милославскими и всеми их родственниками и свойственниками, набожная, но неразвитая, благочестивая, но не наученная книжной мудрости, царица с негодованием встретила Никоновы «новшества». Все окружавшие ее, самые близкие к ней люди недоброхотно смотрели на дело Никона. Старик Соковнин, ее ближайший советник, заведовавший ее частным хозяйством; сыновья его, бывшие при царицыном дворе; его дочери — Морозова и княгиня Урусова, самые любимые царицею боярыни, сверстницы ее по воспитанию[1]; вся родня ее, то есть Милославские, Хованские, были истые ревнители обряда и старины. С ненавистью смотрели они на Никона и хулили его дело в царицыном тереме. Сам духовник Марьи Ильиничны, благовещенский протопоп Стефан Вонифатьев, прежде приятель Никона, теперь явно ему воспротивился и много недоброго внушал своей духовной дочери о «новосоставленных, Никоном измышленных» обрядах. Главные соборяне кремлевских соборов были одних мыслей с царским духовником. Таким образом, при самом начале церковного раздора, во главе против-

---

[1] Из них Алексей Прокофьевич вместе с Циклером казнен Петром I; Морозова и кн. Урусова умерли в Боровске в тюрьме, где содержались за раскол.

ников Никона стала царица московская с ближними к ней людьми и самое высшее белое духовенство московского Кремля.

Царь и бояре, кажется, принимали в этом деле мало участия. Со времени издания «Служебника» Алексей Михайлович без малого два года почти без выезда находился в Литве, победоносно воюя с польским королем.

Из кремлевских теремов полился раскол по московским улицам, а из Москвы, изо всех застав ее, разлился во все стороны по городам, по селам и деревням. По городам во главе раскола стало также высшее белое духовенство. В числе первых расколоучителей видим протопопов и попов: Никиту—в Суздале, Аввакума—в Юрьевце, Лазаря — в Романове, Даниила — в Костроме, Логгина — в Муроме, Никифора — в Симбирске, Андрея — в Коломне, Серапиона — в Смоленске, Варлаама — во Пскове и проч. По селам приобыкшие к старому обряду попы сначала преспокойно положили новоисправленные книги на клиросах и, не заглядывая в них, пели службу по-старому. На первых порах сельский народ и не заметил перемены. Но в монастырях, где иночествующая братия была относительно развитее и разумнее приходского духовенства, новый обряд был принят. В монастырях служили по-новому, в приходах — по-старому. Народ, видя такую разность, соблазнялся. И пошли толки. Между тем монахи, патриаршие десятильники и заказчики доносили святейшему, что сельские попы «ему ослушны: по новым книгам его исправления службы Божией в приходных церквах не поют». По таким доносам начинались розыски: с попов, уличенных в службе по иосифовским книгам, брали денежные пени, сажали их по монастырям под начал, упорнейших держали в монастырских поварнях на цепях. Иногда ослушников воли патриаршей смиряли и батогами. Наказания ожесточали, и попы делались упорнее, думая, что страдают за правду, за старую отеческую веру. Стали некоторых, более влиятельных, посылать в ссылки. Народ смотрел на них как на мучеников за «старую веру», укреплялся в стоянии за старину и слушать не хотел никаких увещаний о покорении воле святейшего Никона. А между тем из Москвы, из палат и хором политических врагов патриарха, бывшего тогда почти полновластным правителем государства, неслись по сельщине и де-

ревенщине недобрые вести: «Никон старую веру рушит!..» И задумались православные. Задумались и в Москве, и на Волге, и на Севере, и в Сибири.

И встарь, как и теперь, русский народ каждое событие, выходящее из ряда обыкновенных и близко касающееся его домашнего быта, его собственных дел, объяснил по-своему. Объяснения бывали и бывают иногда до крайности нелепы, но они всегда замечательны, как выражение народных симпатий данного времени. Так было и при исправлении церковного обряда Никоном.

Откуда эти «новшества»? Кто возбудил Никона рушить старую веру? Чье веление творит он? Такие вопросы двести лет тому назад задавали себе на Руси ревнители старины. Первым виновником оказался, разумеется, дьявол, всегда иский кого поглотити, исконный пакостник роду христианскому. А за ним — папа римский, которому на этот раз, разумеется, и в голову не приходило ничего подобного. В то время и великоруссы и южноруссы были страшно озлоблены против поляков и римского костела. В Московском государстве у всех еще на свежей памяти были недавние события смутного времени и фанатическое зверство римских католиков в самых стенах Кремля. Люди Московского государства были современниками польских неправд и неистовств при варварском, насильственном, кровавом обращении южноруссов и белоруссов в унию. Малороссия только что поддалась «под высокую руку» православного царя, избегая польско-католического ига. Царь в Литве победоносно мстил обиды и многие неправды польского короля и панов рады. Уже Вильно и Гродно были наши, сама Варшава трепетала в ожидании очереди сделаться московским пригородом. Москвитяне находились в напряженном состоянии. Всякое зло приписывалось ненавистным полякам и козням римского двора и иезуитов. Эта ненависть поддерживалась и усиливалась разными сочинениями, писанными в литовской Руси с целью охранить православие от католицизма. По тогдашним московским понятиям, злее, душепагубнее латинства во всем мире другой ереси не было. И пустили враги Никона по народу слух нелепый, но зато быстро распространившийся от Днепра до Байкала и повсюду принятый за истину, не требующую доказательств: «Поляки да римский костел, чрез врага Божия, Никона, хотит замутить русскую зем-

лю». И пошли по народу одни толки за другими. И пошла по людям мирская молва, что по морю морская волна. И было много смятения в людях.

«Православный государь за многия неправды польскаго короля и панов рады и всей Речи Посполитой, с помощию Божиею и своим государевым счастием, отмщение чинит и храбрством своим, доброхотством же и многою службою и кровавыми ранами и пóтом христолюбиваго воинства, православныя церкви от прелестнаго папежского насилия боронит,— а на Москве сидит мордвин и всем царством мутит, держа руку государевым злодеям и последуя богоотметному римскому костелу». Так говорили в Московском государстве.

«Яко новый Иуда и святых православныя веры догматов отметник, Исидор митрополит зломудренный на злочинном флорентском соборе латинскую ересь прия и римскому папежу любезно прилепися; яко бесовский сын и страдник Игнатий-грек, во дни растригины на патриаршем престоле бывый и Божиим попущением, врага же человеческаго, диавола, действом, жезл святителя Петра в скверной руце своей державый, пагубному костелу и зловерным езувитам, тако же и папежу римскому себе предаде; — тако и сей многомятежный Никон, смутитель российския земли, латинскую, Богом ненавидимую ересь прия, к римскому костелу прилепися, повеления зломудраго папежа творяй, проклятаго папы Формоза и сына погибельнаго Петра гугниваго предания соблюдаяй, крайнюю лесть богомерзкаго латинскаго учения... в людях Московскаго государства проповесть, хотяй всех православных христиан широкими путьми пространнаго жития в кромешную бездну адову ко отцу своему, диаволу, привести». Так говорили на Москве, так говорили по городам, по селам, по деревням.

«Никон, толковали, приемший латинский (четвероконечный) крыж, ругаяся истинному и животворящему кресту Господню, трисоставному, осьмиконечному, нашил его, святыне и Богу Всевышнему ругаяся, на своих башмаках, да скверныма своима ногама ежечасно попирает святое знамение, его же беси трепещут и еже вселенную утверди».

«Никон, говорили, отметнув святый жезл Петра Чудотворца, повеле его своим страдникам в нуждную яму вкинути, а на своем скверном жезле змии антихристови

немецкою хитростию устрои, и егда свою литургию богоотменную служит, благочестивые и христоподражательнии людие воочию зрят, яко не святый омофор, но некий мерзкий и престрашный, чермный змий на плещах его висит, ползая и трегощуще».

Таковы были народные толки о Никоне. И раздался по городам и селам, по лесам и пустыням тот самый ясак, который лет сорок до того «воздвиг от сна уснувших», по выражению Минина. Ясак тот был: «погибает вера православная!». Еще живы были старики, что́ в юности порадели делу земскому, ходили с Кузьмой Захарьевичем да с князем Дмитрием Михайловичем очищать Москву «от польских людей и от русских воров». «На то ли мы боронили святоотеческую, православную церковь,— говорили они теперь,— чтобы с Никоном-отступником зловерию последовать и, впадже в смрадную яму еретичества, душами и телесами погибнуть?» Противление патриарху до того дошло, что не только по многим церквам царствующего града Москвы, но и в самом Успенском соборе священники и причт не переставали служить по-старому, по-Иосифовски. При самом служении патриарха в этом храме священник Иван Неронов не допускал чтецов троить аллилуйю и много раз споривал о том с самим Никоном, к явному соблазну богомольцев. Неронов был в милости при дворе, и Никон в то время еще не решился строго поступить с ним. «И мнози,— говорит один из известнейших раскольнических писателей,— яко от священных, тако и от мирских, о того (Никона) новинах смущахуся, и великия молвы и мятежи в Российской земли совершаху».

А между тем чума ходила по России, и были повсеместные неурожаи. Страшная была гибель народа. Мы, современники холеры, не можем вполне представить всех ужасов, которыми сопровождалось моровое поветрие 1654 года. Города опустели; посадские люди и крестьяне, которые не умерли, разбрелись врознь. Хоронить было некому; трупы гнили в домах; иные деревни вымерли поголовно. Поля остались незасеянными, кустарниками поросли. Оттого голод пошел, и на все непомерная дороговизна. Народ молился, женщины по ночам таинственно опахивали селения, мужчины по обету строили «обыденные» церкви, обретались чудотворные иконы и, как гласят благочестивые предания, избавляли целые

города от мора. Народ страдал и всю беду сваливал на того же Никона. «То — Божие наказание,—говорил он,— за то, что многие христиане, последуя за Божиим врагом, отринули святоотеческие заветы и предания». Стояли необычайные морозы, были страшные бури, градом выбивало поля, а на небесах то и дело видимы были знамения: столпы кровавые ходили, солнце меркло, явилась огромная звезда с метлой... «Зрите, православные, зрите знамения гнева Господня, излия бо Вышний фиал ярости Своея, грех ради наших. А за то всеблагий Творец род христианский наказует, что многие пошли по следам врага Божия и Пречистыя Богородицы — волка Никона!»

И малая доля подобных толков, проникая в крестовую патриаршую палату, могла бы смутить всякого, носившего жемчужных херувимов на голове и бархатную мантию на плечах, но не таков был Никон. Он, уж по природе своей, никак не мог своротить с раз избранного пути, никак не мог сделать какой-либо уступки,— словом, ни одного шага назад. Препятствия лишь усиливали его энергию и он, писавшийся «Божиею милостию великим государем и патриархом», всем объемом души верил в свое божественное право не только учить, но и повелевать. За отсутствием царя, он правил государством, и перед ним, вельдемановским мордвином, крестьянским сыном, волей-неволей преклонялись гордые, заносчивые, родословные люди Московского государства. Боярская дума думала так, как хотелось Никону. Во всех приказах творилась воля его; для непокорных же — тюрем и застенков было не занимать стать. Врач душевный карал телеса и карал тяжко. Непокорные попы томились в ссылках или в монастырских поварнях и погребах с цепями на шее. Дрожали и вельможи. Сама царица не считала себя вполне безопасною. Здоровье ее сильно расстраивалось.

Никон счел нужным строго, властию всей церкви, утвердить исправленный обряд. По правилам, это возможно было лишь посредством поместного собора. Собору же быть без воли и личного присутствия государя, по тем же правилам и по всем бывшим примерам, как в русской, так и в византийской церкви, нельзя. А государь все в Литве. И невольно медлил Никон, досадуя, давая волю гневу и в то же время постясь, молясь и нося тяже-

лые вериги, умерщвлял плоть свою. В это время он начинал уже деятельную переписку с восточными патриархами. Об уступках, о снисхождении, об усмирении народа патриарх и не помышлял: он презирал народ и его желания не меньше, чем впоследствии Петр.

Как скоро Алексей Михайлович воротился в Москву, Никон созвал собор русских архиереев (1656), еще раз утвердивший новоисправленный обряд, приравнявший двуперстие к ересям несториевой и армянской и проклявший крестящихся двумя перстами. Тогда же, для повсеместного прекращения службы по-старому, Никон приказал по всем приходам, и городским и сельским, отобрать старые книги. Поступая таким образом, он, конечно, имел в виду пример патриарха Филарета, не только повсюду отобравшего, но даже и сжегшего «Устав», напечатанный в Москве в 1610 году. Но что удалось царскому отцу, то не прошло благополучно при сыне вельдемановского мордвина. Двуперстники на соборную анафему отвечали анафемой, а разосланным для отобрания старых, свято чтимых книг «по многим городам и селам не отдавали и служить по ним не переставали». Посланные местами прибегали к насилиям; бывали драки и даже увечья из-за книг, а из некоторых церквей мирские люди тайком брали старые книги и, как драгоценность, уносили с собой в леса, в пустыни, в тундры отдаленного севера. До крайности крутая мера отобрания старинных книг на всем пространстве Московского государства потрясла всех, а особенно людей простых. «Как же,— говорили они,— ведь по этим книгам столько лет божественную службу правили, ведь по этим книгам святыя тайны совершали и нас освящали, а теперь эти книги не в книги? По этим книгам святые отцы Богу угодили, а теперь они негодны стали! Кто же правее, кто же святее: святые отцы и преподобные или Никон?» Вразумлять так говоривших, что таинство и души человеческие освящаются не внешним обрядом и не старыми или новыми книгами, а верою и благодатью, что исправление обряда необходимо — было совершенно невозможно. Простые сердцем и не книжные люди этого не понимали, да и понять не могли. Что́ же вышло? Все люди набожные, все люди, преданные церкви, уклонились от Никона и образовали *раскол*. Сюда принадлежало преимущественно простонародье, особенно женщины. На-

против, люди более или менее равнодушные приняли все, введенное Никоном. Сюда принадлежало большинство людей высших классов тогдашнего общества. Нелегко было и им переучиваться креститься: по привычке, усвоенной с младенчества, правая рука все складывала для крестного знамения два перста, но понемногу эти люди приобрели навык креститься по-новому.

Никон в своих действиях опирался на авторитет восточных православных патриархов и надеялся на них, как на каменную стену. Но люди Московского государства греков ставили ни во что. В XVII столетии патриархи, митрополиты, архимандриты, монахи и купчины греческие то и дело к нам ездили: привозили они четки иерусалимские, иконы, камешки от святых мест Палестины и взамен того получали червчатые бархаты венецейские, дорогие аксамиты и алтабасы, сибирских соболей, кафимский жемчуг и золотые ефимки. Чтобы получить побольше милостыни от набожного царя и благочестивых его подданных, греки возбуждали их к большей щедрости преувеличенными нередко рассказами о падении православия на Востоке. «От тесноты и гонения агарянского,— говорили они,— померче православия свет на Востоке; только во единой Москве, сем третьем Риме, истинная вера сияет, яко светило». Такие речи приходились русским по сердцу; они льстили народному самолюбию. Иные греки говорили: «К вам, в Москву, надо ездить учиться благочестию». Это еще более радовало русских и прибавляло хорошие лишки к милостыне, подаваемой «разоренным грекам». Но уважать греков—не уважали. Слова «суть же греци льстивы (то есть обманщики) до сего дня» со времен преподобного Нестора не выходили из сознания русских людей. Бывавшие в Москве греческие патриархи и митрополиты (1649—1654), видя рознь московских обрядов с греческими, не одобряли ее и советовали Никону поскорее приступить к решительному исправлению. Афонские старцы тоже говорили, что московский обряд нехорош, и жгли книги московской печати. Русский народ не слушал ни патриархов, ни афонских монахов, зато послушал старца Арсения Суханова, своего, русского, посланного царем и Никоном на Восток досматривать тамошние обряды. Суханов все, что видел, описал в своем «Проскинитарии», и списки с этого сочинения быстро разошлись в народе. В нем русский палом-

ник описал все несходства обряда греческого с нашим, но еще более описывал небрежение греков к обряду. А для русских людей это больше всего значило. Равнодушие греков к памятникам святыни, сообщения их с иноверцами, несоблюдение постов в том строгом виде, в каком установились они в последнее время у нас на севере, странная для московского глаза одежда духовных лиц и самих монахов, ношение мирянами европейского платья — все это до глубины души возмущало Суханова, и он с наивностью паломника записал свои впечатления. Особенно поразило наших предков, когда они прочитали у Суханова о гречанках. На Москве женщины были особенно набожны и приходили в церковь не иначе, как под фатой, и становились особо от мужчин. Гречанки же, по словам Суханова, «ходят по-франкски (то есть по французской моде), рубашек не застегают, груди все голы, вся шея до сисек нага и держат шею и сиськи чисто гораздо, якобы для прелести. И так ходят не токмо жены, но и девицы. И женятся греки у франков и франки у греков». Это на московские глаза было самою страшною ересью и самым сильным развратом. Никогда не пользовавшиеся добрым мнением наших предков, греки, с появлением сухановского «Проскинитария», упали еще ниже. В то же время узнали на Руси, что многие греки признали главенство папы римского, что из самих константинопольских патриархов иные склонялись к латинству, что в Константинополе некоторые греки уклонились и в кальвинство. Еще двадцати лет не минуло, как тамошний патриарх, Кирилл Лукарис, явный протестант, был утоплен турками. И не только в западной Руси, в самой Москве явились было кальвинисты, последователи Лукариса. Хотя дело об этом ведено было в большом секрете, однако же слух о патриархе-кальвинисте ходил по Москве.

«У греков вера пестра,— говорили двуперстники,— по взятии турским салтаном Царьграда православие у них погибло, и они теперь, под личиною православия, содержат ереси: латинскую, кальвинскую и армянскую». «А Никон к нам хочет вводить сию пеструю веру!» — говорили другие. И когда указывали им на восточных патриархов, сидящих на апостольских престолах, что и они содержат те самые обряды, которые Никон теперь велел на Москве исполнять, что эти патриархи вполне одобри-

ли новые книги,— слушать ничего не хотели двуперстники, начитавшиеся «Проскинитария», и отвечали увещателям: «Знаем мы тех патриархов, знаем мы, как они с богомерзкими турками с одного блюда мясо едят». А тут Аввакум-протопоп из заточения рассылает грамотки, двуперстники переписывают их в сотнях экземпляров. И говорит Аввакум вслух всей России: «Мудры б-ны дети греки; да с варваром турским с одного блюда патриархи кушают рафленыя курки, а русачки миленькие не так: в огонь полезут, а благоверия не предадут».

Задавали себе русские люди, ревнители старины и старого обряда, вопрос: «православны ли греки?» — и всегда почти решали такой вопрос отрицательно. «Ведь сами же греки сказывали, что им надо ездить в Москву учиться православию, а теперь хотят нас учить».

«Сказывают,— толковали на Руси и в домах, и на базарах, и на других многолюдных собраниях,— сказывают, что и крещены-то греки не в три погружения, а обливаны, как обливают в римском костеле. А крещение такое несть крещение, но паче осквернение. И в черкасских городех (Малороссии) тоже обливают, и в Киеве водится та же ересь, и у белоруссцев, а все оттого, что тамошние люди всегда были под греческим, цареградским патриархом, а не под нашими, православными. Оттого святейший Филарет, патриарх московский, и велел крестить белоруссцев совершенно».

«Везде нарушена вера православная, только в Московском государстве до дней наших стояла она твердо и сияла яко солнце. А теперь и у нас враг Божий Никон хочет ее извести»... «Что́ же это значит? К чему все это идет?» — спрашивали грамотеев скорбные, упавшие духом люди. Грамотеи раскрывали свято почитаемую народом и опороченную Никоном «Книгу веры», собирали вокруг себя кружки и, возгласив «внемлите, православные!», так читали и толковали:

«По тысящи лет от воплощения Божия Слова бысть развязан сатана, и Рим отпаде со всеми западными церквами от восточныя церкви. В 595 лето по тысящи жители в Малой Руссии к римскому костелу приступили и на всей воли римскаго папы заручную грамоту дали ему. Се второе оторвание христиан от восточныя церкви. Егда же исполнится 1666 лет, да нечто бы от прежде бывших вин зла некаковаго не пострадати и нам».

Роковой год приближался. Число 666 есть число апокалипсического зверя. Не народился ли в лице Никона антихрист? Такой вопрос возник у двуперстников и был решен положительно. Возненавидели Никона все от мала до велика, и не было ему другого имени, как враг Божий да антихрист. А он строил себе свой Воскресенский монастырь, по подобию великой иерусалимской церкви, спорил с боярами, поссорился и с царем. Самовольно оставив престол святителя Петра, засел он в своем Новом Иерусалиме и ни шагу в Москву. Между тем раскол церковный с каждым днем развивался более и более. Государь то и дело изо всех концов царства получал челобитные на Никона, с просьбой восстановить нарушенный им обряд. Двуперстники твердо были уверены, что долго созываемый собор для суда над Никоном отвергнет его «новшества». Собор как нарочно собрался в роковом 1666 году. Никон был осужден, но все распоряжения его по исправлению обряда одобрены и утверждены, а ревнители старины преданы анафеме.

«Погибло православие!» — завопил народ, ревностно преданный старине. И был стон и плач по селам и деревням, в лесах и пустынях.

Стали ждать с часу на час трубы архангела. «Мир кончается, антихрист явился, близок час страшнаго суда христова!» — говорили повсюду.

При таком настроении умов совершился в русской церкви раскол *старообрядства.*

II
ПЕРВАЯ МЫСЛЬ ИСКАНИЯ АРХИЕРЕЙСТВА

На стороне противников Никона, ревнителей упраздненного в господствующей церкви обряда, оказались не исключительно одни белые священники: были и монахи, были даже архиереи. Таковы, по сказаниям раскольников, были: Макарий новгородский (1663), Маркелл вологодский (1656), Александр вятский (1679) — три иерарха северной части Великой России, где первоначально появились, дольше употреблялись и сильнее чем где-нибудь укрепились обряды, отвергнутые Никоном и проклятые собором 1667 года. Из названных архиереев дожил до этого собора один только Александр. Он был призван к соборному суду, раскаялся в своем заблужде-

нии, был принят в общение с церковью, но через семь лет опять пошел по старине, самовольно оставил вятскую кафедру и удалился в пустыню, подле Сольвычегодска. Не видно, однако же, из письменных памятников того времени, как церковных, так и раскольничьих, не сохранилось и в преданиях, чтобы архиереи новгородский, вологодский и вятский при самом начале раскола поставили для старообрядцев изначала желаемого ими архиерея.

Более явно, более гласно воспротивился Никону епископ Павел коломенский. Он был земляк Никону, и у них были старые между собой счеты. Под соборным постановлением 1654 года (при издании «Служебника») Павел написал следующий протест: «аще кто от обычных преданий святыя кафолическия церкви отымет, или приложит, или инако развратит, анафема да будет». Никон увлекся: осудил личного врага своего *без собора* и сослал его в монастырь Палеостровский, что́ на берегу Онежского озера.

Имели старообрядцы попов довольно, но не было у них архиерея. Отделяясь от господствующей церкви не из-за догматов, не из-за форм церковной администрации, а лишь из-за обряда, они признавали, согласно православному учению, что в истинной церкви, которая, по слову спасителя, будет стоять до скончания мира, необходимо нужны три чина иерархии: епископский, иерейский и дьяконский, с преемственным от самих апостолов рукоположением. Необходимость иметь архиерея была для них крайне чувствительна. Потому приходившие к Павлу в палеостровское заточение, для собеседования и ради благословения, старообрядцы-двуперстники просили его о посвящении им архиерея. Видно, Палеостровский монастырь вовсе не был такою крепкою тюрьмой, какою представляют его некоторые раскольнические писатели, рассказывая о темничном заточении страдальца Павла. К нему имели свободный доступ. Он поучал приходящих, приказывал им свято хранить предания и крепко держаться иосифовских книг и старых обрядов, поддерживал в них ревность к старине, ненависть к Никону и его «новшествам», но вопреки некоторым позднейшим сказаниям решительно отказывался от посвящения не только архиерея, но даже и священника.

— Как же сохранимся в благочестии, владыка святый? — говорили Павлу, слезно рыдая, ревнители ста-

рого обряда.— Как же мы сохранимся в вере отцов и дедов наших, понеже ни един архиерей подобен тебе остался? Все они (архиереи) волею и неволею Никоновы книги и новые чины прияли. Посвяти нам епископа правоверного.

— Нет,— отвечал Павел,— не могу сего сотворите, понеже, хотя безвинно осужден есмь, самому же ся отмстить не повелено. Уже праведный Судья, Христос, бог наш, будет нас с Никоном судить.

— Но как же нам быть без епископа, владыко святый?

— Поищите от епископов,— отвечал палеостровский заточенник,— хоть они и подписалися Никоновы предания хранить, но еще благодать божия, по нужде, за преступление, от них до времени не отступила.

Много и неустанно молили Павла старообрядцы, но он оставался непреклонным. Без сомнения, сам Павел не воображал, как далеко зайдет раскол церковный впоследствии. Следуя его совету, двуперстники искали кого-либо из великороссийских архиереев, который бы пошел к ним, или бы согласился посвятить для них особого епископа, но «сего сделать, лютаго ради гонения, не могоша» [1]. Так и умер Павел, не поддавшись на многие и частые прошения приходивших к нему старообрядцев.

В 1667 году московский собор предал непокорных господствующей церкви двуперстников анафеме; они на

---

[1] Иона Курносый, рукопись XVIII ст. в 8-ку. Отсюда взят буквально разговор старообрядцев с Павлом коломенским. В дальнейшем рассказе разговоры заимствованы мною, также буквально, из сочинения Ионы. Иона Курносый, раскольнический писатель поповщинского толка, жил во второй половине XVIII ст. в Комаровском скиту (верстах в 25 от города Семенова, подле деревни Елфимовой), основанном раскольником Комаром, пришедшим сюда, на Керженец, из Тверской губернии. В этом скиту была мужская обитель, в которой в половине прошлого века был настоятелем старец Ефрем; в его-то обители и жил Иона, один из самых умных и начитанных старообрядцев того времени. В Комарове крепко держались правила, чтобы приходящих от великороссийской церкви попов и мирян принимать *вторым чином*, т. е. посредством миропомазания. Хотя «дьяковщина» (требовавшая от приходящих только «исправы» и «проклятия ересем» (прием *третьим чином*) возникла здесь же, на Керженце, от Александра — дьякона, казненного в марте 1720 года в Нижнем, однако последователей этого толка мало осталось здесь: последователи его почти все ушли в Стародубье; на Керженце же оставались немногие в Оленевском скиту, где и держались даже до 1853 года.

анафему отвечали анафемой. Дело зашло уже слишком далеко, так далеко, как не думали и не предвидели первые поборники старого обряда, толковавшие о Никоновых «новшествах» в боярских хоромах и в теремах царицы Марьи Ильиничны. Примирение сделалось невозможным. Отлученные от церкви хорошо понимали, что им уже нет возврата в ее недра. Но так как они не отвергали ни догматов, ни правил православия, ни уставов церковных, действовавших до Никона, а только некоторые обряды внешнего богопочтения совершали по старине, по-иосифовски, то естественно должны были озаботиться о полноте священного чина в своей церкви, которую считали единою истинною и православною. В священниках на первый раз недостатка у них не было: белого ду-

---

Иона Курносый был ревностный приверженец учения «перемазывания» и на московском соборе поповщины, бывшем в 1779 году и окончательно утвердившем это правило, крепко стоял за него (Анд. Иоан. Журавлева «Ист. изв. о раскольниках», стр. 321 и след.). Он написал для этого собора «Историю о бегствующем священстве» и другие сочинения; его «Историю о бегствующем священстве» не должно смешивать с сочинением Ивана Алексеева под тем же названием. «История о бегствующем священстве» Ионы Курносого напечатана Г. В. Есиповым — в приложениях ко второму тому «Раскольничьих дел XVIII столетия», где, однако, не означено почему-то имя автора. Рукописная история Ионы Курносого, та самая, что напечатана г. Есиповым, 20 июня 1799 года была представлена казанским архиепископом Амвросием (см. дело московского губернского архива старых дел 1799 г. № 181171, на 20 листах). У г. Есипова недостает конца истории Ионы Курносого. Особенно важно для истории архиерейства у старообрядцев «Письмо соборнаго старца, первейшаго во время собрания или соборования о нужнейших случаях заседателя». Оно, по-видимому, писано было к заводским старообрядцам, то есть к ушедшим с Керженца и поселившимся на Урале, на заводах Демидова (Нижнетагильском и др.), где некоторое время жил Иона и едва ли не там и писал «Послание соборнаго старца». На это послание мы преимущественно ссылаемся в этом сочинении. В предисловии к посланию говорится между прочим: «купно согласовал он, написатель (Иона), и своему игумену, отцу Ефрему, и прочим старшим отцем, помудренее его, написателя». Иона Курносый считается у керженских старообрядцев праведным; у его гробницы (в Комаровском скиту) растет большая ель, называемая *иониною елью*; ствол ее весь изгрызен. Набожные старообрядцы приходят на гробницу для поклонения, поют «канон за единоумершаго» и молятся. Особенно много ходит сюда больных зубами. Приписывая «иониной ели» силу чудотворения, они грызут ее и, как уверяют, исцеляются. После Ефрема, Иона был настоятелем обители, которая с того времени и получила название «иониной». В этой обители до тридцатых годов нынешнего столе-

ховенства, уклонившегося в раскол при самом начале его, было довольно; но где же взять епископа, который бы рукополагал им новых священников, освящал миро и антиминсы, судил духовные дела и правоправил клиром и церковью?

В первое время после анафемы, провозглашенной в московском Кремле на непокорных двуперстников, заботы их об отыскании архиерея не были очень сильны. Тогда, как сказано уже, распространилось в народе всеобщее глубокое убеждение в близкой кончине мира. Повсюду слышались толки, что наступили последние времена, что скоро померкнет солнце, звезды спадут с неба и сгорит земля, а на ней и все дела человеческие. Были твердо и несомненно убеждены, что царство антихриста началось с 1666 года, согласно пророчению автора «Книги Веры».

По Апокалипсису же, власть антихриста должна продлиться ни более ни менее, как два с половиною года. Стало быть, в 1669 году кончина мира неминуемо должна последовать. И вот по Поволжью, где особенно силен был раскол, а также в лесах и пустынях отдаленного севера, собираются люди толпами, постятся, молятся, приносят друг другу покаяние в грехах, приобщаются старинными дарами и, простившись с земным миром, ожидают в страхе и трепете трубы архангела. Одни надевают черные рясы монашества, другие отказываются от пищи и добровольно умирают голодною смертью — «запощеваются». Исстари было и до сих пор повсеместно сохранилось в русском народе суеверное убеждение, буд-

---

тия сохранились сочинения Ионы (см. иеросхимонаха Иоанна «Дух мудрования некоторых раскольнических толков». Москва. 1841 г., стр. 42). В 1832 году умер последний настоятель иониной обители, Павел. Он был *тайный православный*, оставаясь ради житейских выгод игуменом раскольнической обители. По духовному завещанию. все строения и движимое имущество обители, официально значившиеся частной его собственностью, завещал он в церковь села Пафнутова и тамошнему священнику, своему тайному духовнику. Куда при этом девались рукописи — неизвестно. Оставшиеся монахи и бельцы, в числе 8 человек, после смерти Павла разошлись по сторонам. Старая большая деревянная часовня с колокольнею, построенная еще Ионою, и ветхие деревянные кельи, со службами, оставлены были без всякого призора и разваливались постепенно; в 1850 г. в них уже опасно было ходить; их сломали. Было в начале сороковых годов намерение устроить в них женскую единоверческую общину, но, по недостатку денежных средств, это не состоялось.

то кончина мира последует не иначе, как ночью, в самую полночь, или с субботы на воскресенье перед масленицей,— в это воскресенье, в старину, в Москве, в Успенском соборе, совершался даже особый обряд страшного суда,— или в ночь на Троицын день. Эти ночи в 1669 году старообрядцы нижегородские, а вероятно, и других мест, без сна проводили в лесах и оврагах. Надев чистые рубахи и саваны, ложились они в заранее приготовленные долбленые гробы и, лежа в них, пели заунывным, протяжным, за душу хватающим напевом:

Древян гроб сосновый,
Ради мене строен.
В нем буду лежати,
Трубна гласа ждати.
Ангелы вострубят,
Из гробов возбудят.
Я, хотя и грешен,
Пойду к богу на суд.
К судье две дороги,
Широкие, долги;
Одна-то дорога —
Во царство небесно,
Другая дорога —
Во тьму кромешну [1].

Другие по чину церковному сами себя отпевали, ежеминутно ожидая, что вот-вот земля потрясется, камни распадутся, солнце и луна померкнут, звезды, как дождь, посыплются на землю, и протекут реки огненные, и пожрут те реки всю тварь земнородную. Не только излишним, но даже богоборным делом считали заботы о земном. Еще с осени 1668 года забросили поля, не пахали, не засевали, а в 1669 забросили и домà. Голодная скотина, брошенная на произвол судьбы, бродила без пастухов и жалобным мычанием вторила заунывному пению лежавших в гробах хозяев. Ясачная мордва и бортники, а вместе с ними и русские люди, не подвергшиеся влиянию нравственной эпидемии, забирали беспризорный скот и расхищали дочиста покинутые деревни.

Миновали страшные ночи, миновал и весь роковой год, а мир стоит по-прежнему.

Что́ же это? Как же не исполнилось святое, не мимо идущее слово Апокалипсиса? Два с половиной года про-

---

[1] Это песня так называвшихся в XVIII столетии «гробополагателей», которую они «пели во гробех». Вероятно, она перешла к ним из описываемой эпохи.

шли, а кончины мира не бывало. Не знаем, много ли было благоразумных, отрезвившихся при этом, но мысль о близкой кончине мира долго и после того не покидала старообрядцев. Вспомнили, что «Книга Веры» начинает свое пророческое летосчисление с года Рождества Христова, а ведь сатана, говорили они, был связан в день спасительного воскресения Иисуса Христа. Рассчитали поэтому, что антихрист придет в 1699 году, конец же мира наступит не ранее половины 1702 года, ибо тридцать три года было земной жизни Спасителя. Тогда будет кончина мира, тогда непременно будет антихрист чувственный, антихрист, во плоти пришедший. И завладеет он царством, и наденет на главу свою венец, и на месте святе учинит мерзость запустения, Даниилом пророком проповеданную, и муками и великими прощениями истребит он поклонение господу Иисусу Христу. Это верование подготовило Григория Талицкого и иных, огласивших Петра I антихристом и тем навлекших на раскольников страшные гонения со стороны правительства. Начались толки о пришествии в 1666 году антихриста не во плоти, не «чувственного», а пока еще «духовного». Начались выкладки и расчисления апокалипсических двух с половиной лет и данииловых седьмин. День страшного суда отсрочили, но ненадолго; с часу на час ждали антихриста во плоти. Глава раскола, Аввакум, прежде сильной и искренней речью поддерживал в старообрядцах твердую уверенность в действительность совершившегося уже в 1666 году пришествия «чувственного» антихриста. Он даже прямо, как будто очевидец, писал прежде своим приверженцам: «Я, братия моя, видел антихриста, собаку бешеную; право, видел. Плоть у него вся смрад и зело дурна, огнем пышет изо рта, а из ноздрей и из ушей пламя смрадное исходит, по нем царь наш последует, и власти, и множество народа». Теперь он, пустозерский заточенник, заговорил иное: «А о последнем дне и о антихристе не блазнитеся: еще он, последний черт, не бывал. Нынешние бояре комнатные, ближние друзья его, еще возятся, яко беси, путь ему подстилают и имя христово выгоняют. А как вычистят везде, так еще Илья и Енох, обличители, прежде придут, а потом антихрист в свое время». Слова «изящного страдальца» за старую веру, «протосингела российской церкви», как называли раскольники Аввакума Петровича, как и сам он называл се-

бя, были в ту пору высшим авторитетом для отлучившихся от общения с церковью. Смутное время денно-нощного ожидания архангельской трубы прекратилось, но зато день за день ждали Илию и Еноха, а за ними и настоящего антихриста.

Но годы шли за годами, а труба архангельская все не гремела, и жизнь мира все по-прежнему шла своею обычною чередою. В семействах старообрядцев младенцы возмужали, люди взрослые постарели, пожилые сошли в могилу дряхлыми стариками, не дождавшись светопреставления. А попов с каждым годом становилось у них меньше да меньше, к исходу же XVII века и совсем вымерли попы, что̀ оставили господствующую церковь при самом появлении никоновского «Служебника», те, которые ни разу не обошли налоя против солнца, ни разу не перекрестились тремя перстами. Смерть брала свое.

При таком «оскудении священства» одни раскольнические общины решились остаться вовсе без попов. «Сам Христос,— говорили они,— будет для нас невидимым святителем, как непреложно есть. Он невидимый глава церкви православной». «Сами себя освящайте, сами себе священники бывайте»,— эти слова златоустовского «Маргарита» сделались теперь для них основным пунктом догматствования. И, не отвергая священства по принципу, они отвергли его по факту. «Благодать Божия взята на небо,— сказали они,— нет более ни священства ни освящения и не будет его до кончины мира, она же не закоснит». Так образовался раскол *беспоповщины*, вскоре распавшийся на многие толки. Беспоповщина решительно отвергла брак и снисходительно отнеслась к блудной жизни и самому разврату. Идеалом ее было общество монахов, самый суровый аскетизм и всеподавляющая мертвая обрядность. Последователи этого толка явились первоначально в Заонежском крае, в Поморье, в лесах Севера и Сибири, вдали от городов и больших селений, среди пустынной, унылой, мертвенной природы. Эта суровая, мрачная природа имела немалую долю влияния на ту суровость миросозерцания, которую истые беспоповщинские раскольники всецело удержали даже до дней наших.

Не то было в городах и больших селениях, и вообще в местах, где население жило теснее, где было больше

жизни, где исстари теснее были завязаны узы общественные и семейные. Там образовалась так называемая *поповщина*. Последователи ее не чуждались мира и связей семейных, считая их необходимыми, и необходимым считали правильное церковное благословение брачного сожития, т. е. таинство брака. Они твердо держали в своей памяти, что брак, как и другие таинства, приемлемые православием, должны, по слову Спасителя, существовать до скончания мира. Поэтому считали необходимым священство, считали еще более необходимым иметь попов, как совершителей таинств. Но, не имея архиерея, преемственно от апостолов получившего власть святительскую, который бы имел право и власть рукополагать новых попов, старообрядцы толка поповщины стали привлекать к себе священников от господствующей церкви «старого», т. е. дониконовского рукоположения и «старого» крещения. Через немного лет вымерло поколение попов, посвященных ранее 1654 года, по старым книгам. Тогда поповщина «нужды ради» стала принимать к себе попов «нового» рукоположения, но крещения «старого». Прошли еще годы, и вымерло почти все поколение людей, родившихся прежде 1654 года и крещенных по иосифовским книгам. Это почти совпало с тем временем, когда южнорусские церкви подчинены были духовной власти московского патриарха и вслед затем много священников, а особенно архиереев, родом из Малороссии, явилось по городам великорусским. Это были люди ученые, получившие в Киеве и других местах такое образование, о каком и не снилось тогдашним людям Московского государства. Но раскольники давно уже заподозрили Малороссию в некотором отступлении от православия, в уклонении к римскому костелу, чему особенно подавало повод «обливательное крещение», нередко бывшее в малороссийских церквах, да и в Великой России, в крайних случаях, т. е. в случае болезни младенца, допускавшееся «Требником» первого московского патриарха Иова. Обливательное крещение, по понятиям раскольников, есть еретическое, а крещение еретическое, сказано в старых книгах, «несть крещение, но паче осквернение». Потому, решившись принимать беглых попов от церквей православных, последователи старообрядческой поповщины поставили непременным условием принимать попов лишь великороссийских, а отнюдь не малороссийских, и при-

том таких, которые бы получили рукоположение от архиереев-великоруссов, крещенных в три погружения.

Затем возник вопрос, как принимать попов великороссийских: перекрещивать ли их, как еретиков, или миропомазывать, как схизматиков, или же ограничиваться одною «исправою» (покаяние) с проклятием ересей. Об этом было много толков, споров и словопрений. Для решения этих вопросов собирались на Керженце особые соборы. Первоначально попов, переходивших в раскол, перекрещивали, потом принимали их только с «исправой», затем стали принимать «вторым чином», т. е. посредством миропомазания. Так ведется и до сего времени, особенно с 1779 года, когда на соборе, бывшем в Москве, окончательно было решено «перемазание».

Но архиереев все не было в поповщине, хотя последователи этого согласия и употребляли много трудов, много стараний, чтобы «снискать чин епископский». Мысль, что старообрядчество не есть истинная церковь, ибо не имеет трех чинов духовной иерархии, тяготила совесть отделившихся от православия. Неграмотные или мало сидевшие над свято-чтимыми книгами, люди молодые, которым было все равно, относились к этому предмету равнодушно, но пожилые грамотеи рано или поздно дочитывались в старых книгах, что без епископа церковь не церковь, а «самочинное сборище». Они приходили в ужас от таких слов, сказанных святыми отцами, и говорили набожным людям: «у нас нет епископа, стало быть, церковь наша не истинна, стало быть, нет в ней спасения; тщетны наши труды, тщетны наши страдания, напрасны лишения и самопожертвования!»

В утешение ли себе, в подкрепление ли колеблющихся, старообрядцы еще в последних годах XVII века распустили слух, что хотя они и не имеют в России епископа, но есть на земле места сокровенные, богом спасаемые грады и обители, где твердо и нерушимо соблюдается «древлее благочестие» и епископы правоверные сияют, как солнце. «Иначе и быть не может,— говорили они,— ведь должна же церковь Христова с богопреданным священством и епископами стоять до скончания мира». «Удобнейше есть солнцу от течения своего престати, неже церкви Божией без вести быти». Какая же весть

о ней? Где она, эта святая церковь по древлему благочестию? В какой стране, в каком царстве?

— Далеко-далеко, там, на Востоке,— говорили поборники старообрядства, но где именно на Востоке, точно сказать не умели.

И вот, бог знает когда, бог знает откуда, распространился слух, что не все восточные патриархи от притеснения турецкого ослабели в правоверии и исказили веру Христову латинскою и кальвинскою ересями, что патриарх антиохийский, с подведомственными ему церквами, непреложно и нерушимо хранит святоотеческие правила, предания и обряды во всем, и твердо содержит «древлее благочестие». Почему именно старообрядцы отнесли это к антиохийскому, а не к другому патриарху, трудно теперь сказать. Разве оттого, что Арсений Суханов, не быв в Антиохии, ничего не говорил о ней. Антиохийский патриарх Макарий два раза был в Москве и даже проезжал Волгой; жил некоторое время в Желтоводском Макарьеве монастыре, вокруг которого раскол был в полном разгаре. Отлучившиеся от церкви своими глазами могли видеть и видели, что «патриарх Божия града Антиохии» не соблюдает их обрядов. Но они говорили: «так, Макарий действительно отступил от православия, это верно; но Господь не допустил его до Божия града, да не внесет в него разврата и еретическаго учения: на пути он злою смертию издше, и благочестие сияет в Антиохии по-прежнему». Слух об антиохийском патриархе был принят за неоспоримую истину не только поповщиной, но и беспоповцами. Он держится даже до сих пор. В XVIII столетии, по всей вероятности, во второй уже половине его, распространилось по раскольническим обществам рукописное путешествие беспоповщинского инока Марка из монастыря Топозерского. Ходил этот старец в Сибирь, добрался до Китая, перешел степь Гоби и добрался до Японии, до «Опоньского царства», что́ стоит на океане-море, называемом «Беловодие», на семидесяти островах. Искав с долгим терпением древлего благочестия на Востоке, Марко нашел его будто бы в Японии. Там видел он 179 церквей «асирского языка». Тамошние христиане, говорит Марко, имеют своего, православного патриарха, антиохийского поставления, и четырех митрополитов. А русских церквей в Японии сорок, и русские имеют митрополита и епископов, которых по-

святил тот патриарх «асирского языка». От гонения римских еретиков много народу (греческого?) уклонилось в те самые восточные пределы, а россияне, во время изменения благочестия, уклонились сюда из Соловецкой обители и из прочих мест; много народу отправлялось кораблями Ледовитым морем и сухопутным путем. Бог наполняет сие место[1]. Что в китайских владениях (в принадлежащей теперь России Амурской области) издавна селились беглые из Сибири раскольники, это не подлежит никакому сомнению: об этом производилось несколько дел. Но о старообрядцах в неведомой Японии говорит, сколько нам известно, один лишь Марко Топозерский, да еще в 1807 году поселянин Бобылев подавал об них правительству особую записку. Не отрицаем и не утверждаем, во всяком случае, любопытного известия о

[1] «Путешественник, сиречь маршрут в Опоньское царство, писан действительным самовидцем иноком Марком, Топозерской обители, бывшим в Опоньском царстве. Его самый путешественник» (рукопись). Вот эта замечательная рукопись: «Маршрут, сиречь путешественник. От Москвы на Казань, от Казани до Екатеринбурга и на Тюмень, на Каменогорск, на Выбернум деревню, на Избенск, вверх по реке Катуни на Красноярск, на деревню Устьюбу, во оной спросить страннопримца Петра Кириллова. Около их пещер множество тайных, и мало подале от них снеговыя горы распространяются на триста верст, и снег никогда на оных горах не тает. За оными горами деревня Умьменска (по другому списку, Устьменска) и в ней часовня; инок, схимник Иосиф. От них есть проход Китайским государством, 44 дня ходу, через Губань (Гоби?), потом в Опоньское государство. Там жители имеют пребывание в пределах окияна-моря, называемое Беловодие. Там жители на островах семидесяти, некоторые из них и на 500 верстах расстоянием, а малых островов исчислить невозможно. О тамошнем же пребывании онаго народу извещено христоподражателям древляго благочестия святыя соборныя и апостольския церкви. Со истиною заверяю, понеже я сам там был, со двемя иноками, грешный и недостойный старец Марко. В восточных странах с великим нашим любопытством и старанием искали древляго благочестия православнаго священства, которое весьма нужно ко спасению, с помощью Божиею и обрели асирскаго языка 179 церквей, имеют патриарха православнаго, антиохийскаго поставления, и четыре митрополита. А российских до сорока церквей тоже имеют митрополита и епископов, асирскаго поставления. От гонения римских еретиков много народу отправлялось кораблями Ледовитым морем и сухопутным путем. Бог наполняет сие место. А кто имеет сомнение, то поставляю Бога во свидетеля нашего: имать приноситися бескровная жертва до второго пришествия Христа. В том месте приходящих из России принимают первым чином: крестят совершенно в три погружения желающих там пребыть до скончания жизни. Бывшие со мною два инока согла-

русских в Японии. Не мудрено, что сибирские раскольники и пробрались на Курильские острова, а оттуда в Японию, но патриарх японский, и митрополиты, и 179 православных церквей, по всей вероятности,— плод изобретательной способности старца Марка. Тем не менее известие его убедило русских старообрядцев в том, что у них есть своя иерархия, хотя они и оторваны от нее дальностью расстояния и другими обстоятельствами. Это успокаивало их совесть. «У нас есть епископы, стало быть, церковь наша истинна»,— говорили они. Толки о «патриархе асирскаго языка», живущем в Японии, сильней и сильней распространялись впоследствии и наконец распространились по всему русскому старообрядчеству, точно так же, как в средние века распространилось и в продолжение нескольких столетий признавалось за неоспоримую истину существование где-то на востоке пресвитера Иоанна. И действительно, вся обстановка сред-

---

сились вечно остаться: приняли святое крещение. И глаголют они: «вы все осквернились в великих и разных ересях антихристовых, писано бо есть: изыдите из среды сих нечестивых человеки и не прикасайтеся им, змия, гонящагося за женою: невозможно ему постигнути скрывшейся жены в расселины земные». В тамошних местах татьбы и воровства и прочих противных закону не бывает. Светскаго суда не имеют; управляют народы и всех людей духовныя власти. Тамо древа равны с высочайшими древами. Во время зимы морозы бывают необычайные с рассединами земными. И громы с землетрясением немалым бывают. И всякие земные плоды бывают; родится виноград и сорочинское пшено. И в «Шведском путешественнике» сказано, что у них злата и серебра несть числа, драгоценнаго камения и бисера драгого весьма много. А оные опонцы в землю свою никого не пущают, и войны ни с кем не имеют: отдаленная их страна. В Китае есть град удивительный, яко подобного ему во всей подсолнечной не обретается. Первая у них столица — Кабан».

«Шведский путешественник», о котором упоминает старец Марко Топозерский, есть подобное же раскольническое сочинение о старообрядцах, живущих в Финляндии, Норвегии и Швеции. В нем говорится о богатстве металлами тех стран и затем присовокупляется, что «на восточных отоцех, иде же от древнейших времен блюдется истинная вера, злата и сребра и драгоценнаго камения еще множае».

В архиве департамента общих дел министерства внутренних дел есть дело об японских и китайских раскольниках, производившееся в 1807 году (по архивной описи № 1). В 1807 году приехал в Петербург поселянин Томской губернии Бобылев и донес министерству, что на море-океане, в Беловодье, живут старообрядцы, русские подданные, ушедшие туда во время церковных раздоров, бывших при царе Алексее Михайловиче, во время осады Соловецкого монастыря царскими войсками. Там, говорил Бо-

невекового пресвитера Иоанна вполне сходна с обстановкой раскольничьего «асирскаго патриарха, что̀ в Опоньском царстве». И тот и другой — первосвященники, и тому и другому подсудны все мирские дела. «Там светскаго суда не имеют,— говорит Марко,— управляют народы и всех людей духовныя власти, и преступлений там нет». Совершенно то же, что̀ и в царстве Иоанна-пресвитера. Далее вся обстановка таинственной земли Опоньской, эти земные расседины, эти необычайные морозы, при которых, однако, растут и виноград и рис, эти землетрясения и беспрестанные громы и молнии — все это так сходно, если не совсем похоже на средневековые европейские сказания о таинственных землях отдаленного Востока. Старообрядцы твердо были уверены в действительности патриарха и епископов в «Беловодье», и нередко бывали случаи, что люди недобросовестные, в XVIII и в начале

былев, они имеют *своих епископов*, священников и церкви, в которых служат по старым книгам; при крещении младенцев и при браке ходят посолонь, молятся двуперстным крестом, книг, напечатанных при Никоне патриархе и после него, нет, не принимают, за государя и за войско молятся. Когда дошел до них слух, что государь Александр Павлович позволил старообрядцам строить церкви по старому закону, то они изъявили желание служить его величеству верно, нести все тягости и повинности, и испрашивают за оставление отечества прощения. Живут они, по уверению Бобылева, в трех местах; к ним ехать надо по дороге из Бухтарминской волости через китайскую границу; в одном месте их слишком тысяча душ, в другом до семисот, а в «Беловодье» более полумиллиона. Дани никакому государству не платят. Бобылев вызывался отправиться к ним и исполнить все, что̀ будет ему приказано, для того, чтобы те старообрядцы возвратились в подданство русского императора. Правительство приняло предложение Бобылева. Ему дали 150 руб. и приказали явиться к сибирскому генерал-губернатору, от которого он получит дальнейшие приказания. Но Бобылев к генерал-губернатору не явился и пропал без вести. Его разыскивали, но нигде не нашли. В декабре 1839 года к семеновскому исправнику Граве представлен был бродяга, взятый в Поломских лесах, где жили и, вероятно, доселе живут в землянках раскольнические пустынножители, близ керженских скитов. На вопрос, кто он такой,— бродяга сказался подданным Японского государства и старообрядцем. Он уверил, что в Японии живет много русских людей-старообрядцев, что там много церквей старообрядческих, есть и архиереи старообрядческие и даже патриарх. Разумеется, все это было принято за сказку. Бродягу, как непомнящего родства (он так и сказался), сослали на поселение в Сибирь. В сороковых годах нынешнего столетия многие из жителей Бухтарминского края бежали в китайские пределы для поселения в загадочном «Беловодье». Скитаясь там дол-

XIX столетия, пользовались уверенностью раскольников в действительности японской иерархии: самозванцы-попы сказывались священниками, ходившими за посвящением в Опоньское царство, показывали какие-то ставленные грамоты от небывалых архиереев и собирали деньги за исправление треб.

Увеличению и разнообразию раскольнических толков о «сокровенных епископах древляго благочестия» немало помогала и народная фантазия. Пошли по народу толки о невидимых городах и монастырях, колокольный звон которых бывает будто бы слышен в тихие летние ночи. Пошли толки о Млевских монастырях [1], о невидимом граде Большом-Китеже, о старцах гор Архангельских, или Кирилловых, и Жигулевских и т. п. [2]. Ко всем

гое время по степям и истощив съестные припасы вместе с прочим достоянием, которое они взяли с собою, искатели Опоньского царства в самом жалком состоянии возвратились в места своего жительства, не найдя того Эльдорадо, о изобилии которого и богатстве ходили между ними обольстительные слухи. Впоследствии, по случаю отлучки за границу двух инородцев Бобровых, находившихся там в бегах более трех лет, в июне 1861 года из деревень Бухтарминской волости, Алтайского горного округа, начались снова отлучки крестьян за китайскую границу для отыскания загадочного «Беловодья». Бежавшие все были раскольники беспоповщинского толка. Вследствие возврата на родину некоторых из ходивших и не нашедших «Беловодья» и Опоньского царства с «патриархом асирскаго языка», в 1862 году движение за китайскую границу и самые толки о загадочной стране между бухтарминскими раскольниками несколько уменьшились.

[1] Млевские монастыри в Вышневолоцком уезде, Тверской губернии. Это древние земляные окопы на р. Мсте, близ села Млева. Рассказывают, что тут были монастыри, но когда-то опустились в землю, что до сих пор в них живут монахи и монахини, к которым можно пройти, но с чрезвычайными затруднениями. Говорят, что по большим праздникам бывает слышен звон невидимых Млевских монастырей.

[2] Большой-Китеж — невидимый город на берегу озера Светлояра, в нижегородском Заволжье (Макарьевского уезда, Нижегородской губернии, подле села Владимирского, имения князя Сибирского). Другой Китеж, Малый, на Кирилловых (по другим, на Архангельских) горах, в селе Городце (Балахонского уезда, Нижегородской губернии, на Волге). Жигули, или Жигулевские горы — на Волге же, в Симбирской и Самарской губерниях. Город Китеж не упоминается в летописях, но имя его встречается в народных былинах о древних богатырях (см. «Песни» Киреевского, т. I, выпуск 4, прим. стр. CXVIII—CXXXII). Кажется, в Китеже было свое братство богатырей, подобное киевскому братству при дворе Владимира Красного Солнышка. Вообще Китеж в народных преданиях представляется стольным городом суздальской ве-

этим и подобным им местам народная фантазия, под влиянием раскола, приурочивала и «архиереев древляго благочестия».

Но сказочное антиохийское старообрядческое архиерейство и рассказы о Японии, Китеже, Млевских монастырях и т. п. не могли вполне удовлетворить старообрядцев, искавших не фантастического архиерейства. Они с каждым годом сильней и сильней чувствовали необходимость епископов в своей среде. Вследствие того еще в последних годах XVII столетия возникло у них сильное стремление каким бы то ни было способом добыть себе архиерея. Но как и откуда взять его? За местом его водворения, за безопасностью от неминуемых преследований со стороны правительства дело не стало бы. Много было укромных мест и дома, а еще более за границей. Но к великороссийским архиереям и подступить было нельзя с предложением перейти в раскол; к малороссийским еще более, да к тому же они все поголовно заподо-

ликороссийской земли, как Киев стольным городом киевской южнорусской. В «Китежском летописце» (рукопись, особенно распространенная между поволжскими раскольниками) говорится, что когда подступил к Большому-Китежу Батый — «град сделался невидимым, и будет он стоять невидимым до скончания века». Там есть и церкви, и монастыри, и множество народа; летними вечерами на Светлояром озере слышится звон китежских колоколов. В «Китежском летописце» описываются эти церкви, монастыри, городские стены, их длина и пр. В большом ходу у раскольников, даже и у православных, «Послание к отцу от сына из онаго сокровенного монастыря, дабы о нем сокрушения не имели и в мертвы не вменяли скрывавшагося из мира. В лето 7209 (1702) июня в 20 день». Приводим это послание, заимствуя его из рукописного сборника второй половины XVIII ст. Оно дает понятие о том воззрении, какое имел и имеет наш народ на невидимые монастыри: «Г. И. Х. С. Б. п. н. а. (т. е.: Господи Исусе Христе Сыне Божий, помилуй нас, аминь). Родителям моим, батюшке моему, имя рек, и матушке моей, имя рек. Здрави будите. Пишу вам аз, родители мои, о сем, что вы хощете меня поминать и псалтирь говорить друга моего советнаго (жену) заставливаете. И вы о сем престаньте: аз еще жив; егда приидет смерть, когда я вам ведомость пришлю, ныне же сего не творите. Аз живу в земном царствии, с отцы святыми, в месте покойне. Поистине, родители мои, царство земное. И покой, и тишина, и веселье, и радость духовная, а не телесная. Сии бо святии отцы, с ними же аз живу, процветоша, яко крини сельные, и яко финики, и яко кипарисы, и яко камение драгое и многоценный бисер, и яко древа не стареющияся, и яко звезды небесныя. И от уст их непрестанная молитва к отцу небесному, яко фимиам благоуханный, и яко кадило избранное, и яко миро добровольное. И едва нощ приидет, тогда от уст их молитва видима, яко столпы

зрены были в обливанстве. Есть предание, будто бы нижегородский митрополит Исаия (1699—1707), человек престарелый и набожный, привержен был к старым обрядам и потворствовал раскольникам, что раскольники питали надежду на его согласие перейти к ним. Но это предание требует подтверждения, тем более, что оно, кажется, не отличается древностью, а сложилось в позднейшее время. Был еще в то время архиерей, сочувствовавший раскольникам: Игнатий Тамбовский, приятель Григория Талицкого, распространявшего около 1700 года мнение, что Петр I есть антихрист. Этого Игнатия лишили сана и сослали в Соловецкий монастырь, в Головленскую тюрьму. Но ни из дела о нем не видно, ни преданий не сохранилось, чтоб он был в сношениях со всеми раскольниками.

Кажется, всего бы проще было старообрядцам избрать из своей среды влиятельного, уважаемого и достойного человека и возвести его на степень первосвятительства. Но, по первому апостольскому правилу и по шестидесятому карфагенского поместного собора, необходимо, чтобы епископ был рукоположен епископами и притом не менее как двумя или тремя. Стало быть, старообрядцам надобно было просить православных архиереев, чтобы они посвятили им епископа. Иного средства

пламенные со искрами огненными, и яко от месяца и звезд велий не токмо месту оному свет, но и всей стране оной свет, яко молния. В то время книги чести или писати можно, без свещного сияния. Иже возлюбиша Бога всем сердцем и всею душою и всем помышлением своим, тем и Бог их возлюби и преклони ухо свое с высоты святыя своея, и возлюби их, яко мати любимаго си чада, и что просят в молитве своей от Бога, все подаст. Иже возлюбиша безмолвие и вся добродетели исправиша всем сердцем, и Бог их возлюби, и хранит их, яко зеницу ока, и покры их невидимо дланию своею, иже достойне и праведне. Тому припадающим, по словеси Господню, могут горы преставити с места на другое. Но того убо не похотеша отцы наши, но паче желают жития на небесех, ниже богатство временное, но паче возлюбиша богатство на небесех, егда приидет Господь судити живых и мертвых; и воздаст им за труды их царство небесное и покой, и радость, и веселье. Вы же, родители, чего ради возлюбили сей свет прелестный и временный, и богатство тленное? Но паче поищити себе богатства на небесех, яже и тля не тлит, ни молие поядают, ни татие крадут. И еще другу моему любимому (жене) поклон от мене отдайте. Аминь». На озере Нестиаре (Макарьевского уезда Нижегородской губернии) тоже слышится звон невидимых монастырей. Подобные места есть в Архангельской губернии и в Сибири.

не было. Но ни великороссийские, ни малороссийские архиереи ни в каком случае не согласились бы исполнить такую просьбу раскольников. Они были довольно обеспечены, а в случае согласия на просьбу старообрядцев им предстояло бы по меньшей мере кончить жизнь на Соловецком острове или в Рогервике. Оставалось обратиться к православным архиереям заграничным, которые, не зная русского языка и не разумея хорошо, в чем именно состоит образовавшийся в русской церкви раскол и что́ такое значат слова: «старый обряд» и «древлее благочестие», могли посвятить старообрядцам архиерея. Старообрядцы и остановились на этой мысли.

Эта мысль явилась у них еще в первых годах XVIII столетия. Поповщинские общины решили послать на восток, к грекам, хорошего человека, искусного в церковных уставах, чтоб он изведал, какова в самом деле у греков вера и можно ли от них принять епископа. Выбор пал на старца Леонтия. В конце 1701 года он поехал в Киев, а отсюда в феврале 1702 года пустился в заграничное странствие. Через польские владения и через Яссы Леонтий проехал в Галац и отсюда плыл водой до Константинополя. Пробыв здесь четыре месяца, отправился он в Египет и Иерусалим и в июне 1703 года воротился в Россию. Вести, привезенные Леонтием, были неутешительны для старообрядцев. Он не нашел нигде на востоке такого православия, о каком мечтали наши ревнители «древляго благочестия». В его сочинении: «Разгласие греков с древним святых отец преданием восточныя церкви» гораздо сильнее, чем в «Проскинитарии» Суханова, представлены мнимые отступления от православия восточных христиан. Так начинается это сочинение старообрядческого паломника: «Греки *в крещении обливаются, а не погружают;* крестов на себе не носят, крестятся в молении не истово, ни на чело ни на плечо не доносят рукою, махают семо и овамо; в церкви стоят в шапках, не скидают, как молятся; в церкви стоят в стойлах [1], искривяся, гордо, а глядят на стену, а не ко образам святым; служат литургию на одной просфоре, и то на черствой; мирские у них, не говев, приобщаются, патриархи, митрополиты и прочий духовный чин табак пиют и в грех того не ставят; патриархи, митрополиты

[1] Это так называемые «формы», находящиеся в греческих церквах, особенно же монастырских.

и попы усы себе подбривают, и гуменцов не подстригают, но некако странно — снизу голову кругом подголяют до полголовы, как обысы махаметанские подбривают, так бритися у них научилися; в пост великий всякия гадины и ползающия животные в море и в реках едят, и в прочие дни также те ползающия едят; мирские и женский пол сквозе царския двери в алтарь ходят, и затворяют двери жены, а кадят простолюдины по-поповски: когда поп с переносом идет, а мужик идет перед попом задом, кадилом машет на святыя; греки, когда за трапезу приидут, то сядут, «Отче наш» сидя говорят, также после трапезы за «Достойно» не встают, сидя говорят. Евангелие в церкви чтут, оборотя на запад. Патриарх греческий церкви на откуп погодно отдает по 100 рублев и по 200. А кто больше талярей даст в год, хощь таляр передаст, так тому и церковь отдаст. Свечи у них воск с салом да с смолою мешают, а воск белый, а когда в церкви свечи горят, свежему человеку зело тяжко, а когда светильня на свещи нагорит, и тогда, сняв свечу с подсвечника, наступя ногою, да и оторвет светильню — странно зело! Часов пред обеднею не поют, разве обедни не будет; греки на заутрене «Бог Господь» никогда не поют, а песни во псалтире пред каноном всегда говорят; а церкви у них, как простая хоромина: крестов на них нет, ни звону нет, против воскресения ходит пономарь по улицам, кричит, чтобы шли до церкви... а в домах их икон нет, с турками во всем смесилися. Греки непостоянны и обманчивы, точию христианами слывут, а и следу благочестия в них нет, да и неоткуду им благочестию и научиться, ибо книги им печатают латыни в Венеции; каковые пришлют латыни, по их и служат и поют. Греки нравы и поступки внешние и духовные держат все с турецкого переводу; духовный чин у греков хуже простого народа. Крестятся странно в церкви: рукою махнет, а сам то на ту сторону, то на другую озирается, что коза; а митрополиты и в церкви зело неискусны, во время пения со стороны на сторону с греками говорят криком и смеются, что и пения не слыхать от их неискусства... Грекам жену или сына поучить и побить нельзя, скажет: «я потурчуся». Греки московских людей зело не любят... Сами греки сказывали Леонтию москвитянину: ни близ-де христианства не хранят, в посты и в великий пост, такоже во весь году среду и пяток мясо едят; гре-

ческия власти (архиереи) у себя в келии красиков держат, а греки о семь их весьма злословят и поносят недобрым именем. Турки милостивее греков, и жиды нравами лучше грек» и т. д.

Такого рода «разгласий» греческих обычаев с старорусским обрядом было больше чем достаточно для совершенного убеждения тогдашних наших раскольников, что ни в Царьграде, ни в Иерусалиме и нигде на Востоке нет истинного православия. Особенно смущало их то обстоятельство, что греки, по словам Леонтия, совершают обливательное крещение. Это всегда смущало русских старообрядцев и даже в настоящее время значительную часть поповщины отвращает от белокриницкой иерархии, главою и источником которой был *грек* (?) Амвросий, многими заподозренный в обливанстве.

Но нужду в архиерее так сильно чувствовали старообрядцы, особенно на Ветке, что вскоре началось искание архиерейства — в Молдавии.

III

ЗАРУБЕЖНЫЕ СТАРООБРЯДЦЫ. ИСКАНИЕ АРХИЕРЕЙСТВА В МОЛДАВИИ

В XVIII столетии, когда старообрядцы поповщинского толка начали искать архиерейства, их общины находились уже не только в разных местах России, но и за границей. Преследования раскола со времен собора 1667 года, а в особенности известные двенадцать статей царевны Софьи Алексеевны 1685 года, апреля 7-го [1], были причиной переселений раскольников за границу.

[1] По этим статьям полагалось: а) *Жечь в срубе:* тех, которые хулят господствующую церковь и производят в народе мятеж или соблазн и остаются упорными, а также и тех, которые на казни покорятся св. церкви, но снова обратятся в раскол; тех, которые увлекали других к самосожигательству. б) *Казнить смертью:* тех, которые перекрещивали людей в свою секту; тех, которые, перекрестившись, не соглашаются возвратиться к церкви. в) *Бить кнутом и ссылать в дальние города:* раскольников, скрывающих принадлежность свою к расколу, хотя бы после и раскаялись; всякого звания людей (то есть и нераскольников), укрывших раскольников у себя в доме, зная, что они раскольники, и не донесших о них начальству. Имение казненных и ссылаемых конфисковалось на том основании, что на прогоны и на жалованье «сыщикам» по государству раскольников «много шло государевой каз-

Раскольники уходили из городов и селились по лесам и, как некогда казаки, отодвигались далее и далее от Москвы к украйнам государства. Вскоре отдаленное Поморье и южные украйны на Дону, на Волге, на Яике, в Сибири наполнились старообрядцами. Казаки поступили в раскол почти поголовно. Московское правительство не ослабляло между тем мер преследований: костры горели, резались языки, рубились головы, удары кнута раздавались в застенках и на площадях, тюрьмы и монастыри были полны раскольниками. Царевна Софья или, вернее сказать, ее богомолец, святейший патриарх Иоаким малоросс, самый ужасный из всех гонителей раскола, в 1689 году велел «смотреть накрепко, чтобы раскольники в лесах и волостях не жили, а где объявятся — самих ссылать, пристанища их разорять, имущества продавать, а деньги присылать в Москву». Преосвященный Макарий в своей «Истории раскола» говорит, что «раскол решительно был запрещен в России, и никто ни в городах, ни в селениях не смел открыто держаться его. Потому раскольники или таили веру свою, или убегали в пустыни и леса, где заводили для себя приюты. Но и там их отыскивали, жилища их разоряли, а самих приводили к духовным властям для убеждений, а, в случае нераскаянности, предавали градскому суду и часто смерти». И этих слов достаточно для уразумения того безвыходного страшного положения, в каком находились раскольники, особенно во время Иоакимова патриаршества. Им не позволялось жить ни в городах, ни в волостях, ни в лесах, ни в пустынях. Куда же было деваться? Ушли они в леса поморские, сибирские, печорские, чердынские, кайгородские, керженские; ушли туда, где, быть может, до того и ноги человек не накладывал, но сыщики и там их находили. Их ловили, и если они объявляли себя раскольниками, но не отказывались от своих верований, не присоединялись ввиду казни к господствующей церкви, готов был сруб или костер. Если не сознавались в расколе, готов был кнут, а за ним ссылка и конфискация имения. Если же наконец они обращались в православие, им все-таки, на основании Софииных статей 1685 года, «чинили наказание», после чего отправляли в дом патри-

ны».— См. «Полн. собр. зак. Росс. Имп.» т. I, и «Акты Арх. Эксп.» т. IV.

арха или епархиального архиерея «ради исправления» на тяжкие работы, за замки и затворы, на хлеб и на воду. Раскольники бегали по лесам, с разоренных жилищ в глубокие трущобы, за болота, за трясины, но усердные сыщики и здесь отыскивали их.

В это тяжкое для старообрядцев время из конца в конец русской земли раздался голос наставников раскола: «за рубежом древлее благочестие во ослабе»[1]. И громадные толпы бросились в Швецию, в Пруссию, в Польшу, в Турцию, за Кавказ, в китайские владения и даже, если верить Марку Топозерскому, в Японию.

Переселение за рубеж в случае какой-либо невзгоды на родине — одно из самых старых и самых обыкновенных явлений русской жизни. До XVII столетия оно составляло даже весьма важное и в течение долгого времени упорно отстаиваемое право аристократии, право, для сокрушения которого Иван Грозный употреблял самые энергические меры, а все-таки не смог вконец сокрушить его. Самая торная, в продолжение веков протоптанная русскими выходцами дорога вела за литовский рубеж, в то время не очень далекий от Москвы. По этой-то дороге преимущественно и устремились раскольники. Особенно сильно было переселение их по кончине царя Федора Алексеевича.

Московский поп Кузьма, прихода Всех святых на Кулишках, бывший в числе тех беглых священников города Москвы, которые с самого начала церковного раздора открыто пошли против Никона, поддерживал в среде уважавших его за добрую жизнь и благочестие прихожан отвращение от «новшеств» и ревность к старому обряду. Прихожане по большей части были посадские люди, занимавшиеся городскою промышленностью и местною торговлей. Люди были все достаточные. Когда собор 1667 года провозгласил анафему, поп Кузьма не захотел оставаться в Москве, которую теперь называл «Вавилоном». С двенадцатью семействами самых ревностных к старому обряду прихожан бежал он на самый рубеж литовский, в Украйну Стародубскую. Здесь у него был приятель, вероятно, один из сотников Стародубского полка, Гаврила Иванович. Снисходя к просьбе попа

[1] То есть за границей старообрядство свободно, не преследуется.

Кузьмы, велел он курковскому атаману Ломаке поселить московских выходцев в местечке Понуровке. Подле этого местечка, на реке Ревне, явилось в 1669 году первое раскольническое поселение в Стародубье. Слух об этом прошел между старообрядцами в Москве и в околомосковных городах. О Кузьме говорили, как о некоем святителе, странствующем «ради старыя веры». В первый же год беглые из России раскольники, стремившиеся по следам попа Кузьмы, населили четыре слободы: Белый-Колодец, Синий-Колодец, Шелому и Замешево. Пятнадцать лет жили они спокойно в лесах стародубских. Сюда к ним пришел и другой священник из города Белева, по имени Стефан, и с ним много старообрядцев из нынешних Тульской и Калужской губерний. Они основали слободу Митьковку. Царевна Софья и патриарх Иоаким узнали об этих поселениях. Тамошнему полковнику повелено было применить относительно поселившихся в Стародубье 12 статей 1685 года и возвращать их на родину. «Таковому указу разгласившуся,— говорит один раскольнический писатель: — ревнители древних преданий бегу яшася, по разным местам рассеяшася... Гонению же в Великороссии на старообрядца належащу, мнози оставляюще своя отечества». Насельники старообрядских слобод перешли рубеж литовский, бывший от них всего верстах в пятнадцати. Здесь, у самой почти русской границы, они нашли для себя удобное место. На пустом острове р. Сожи, текущей в Днепр, недалеко от нынешнего города Гомеля, они построили первую слободу, названную, по имени острова, Веткою. Пан Халецкий, которому принадлежал этот остров, был очень рад пришельцам, отвел им пустовавшую дотоле у него землю и, получая за нее от старообрядцев хороший чинш (оброк), защищал их, сколько мог. Это было в 1685 году. Последователи поповщины, жившие в России и подвергавшиеся преследованиям, узнав, что за литовским рубежом «старая вера во ослабе», устремились из разных мест «во оная на Ветке прославляемая места, изволяюще странствование, оземствования паче утешения своих мест со отступлением. И сицевыми народы пустая места и зверопаственная населяхуся, и вместо древес людей умножение показася, трава и терния растущия в вертограды и садовия обратишася, гради втории показашеся населением человек, ими же населишися Косец-

кая, Романово, Леонтиева». Всего в самое короткое время старообрядцы населили четырнадцать больших слобод.

Через десять лет по основании, Ветка сделалась средоточием всей поповщины, как бы ее митрополией. Это случилось вследствие переселения сюда из Керженских скитов черного попа Феодосия. Много странствовал на своем веку этот человек. При начале церковного раздора ушел он из Рыльского монастыря на Донец, но был пойман, судим и, по лишении сана, заточен в Кирилловом Белозерском монастыре. Здесь сидел Феодосий семь лет и обратился к церкви, но, когда его заставили читать синодик и дали ему некоторую свободу, он бежал в Поморье, а оттуда в Керженские леса, где, вместе с пошехонским дворянином Федором Яковлевичем Токмачевым поселился сначала на Белмаше, а потом в скиту Смольяны [1], который был тогда центром всего Керженца и Чернораменья. Прежде жил тут Дионисий Шуйский, у которого был довольный запас мира и св. даров, освященных еще при патриархе Иосифе. Это возвысило Дионисия на степень главы старообрядчества, а жительство его, Керженец, сделало как бы митрополией всех последователей поповщины. Не имея ни антиминсов ни одиконов,— ни Дионисий ни другие попы, уклонившиеся в раскол, не могли служить литургий, и тот, у кого было более старых запасных даров, делался самым влиятельным человеком.

---

[1] Этот скит был основан Сергием Салтыковым, Ефремом Потемкиным и другими смольянами, пришедшими из Бизюкова монастыря на Керженец около 1656 года. Это место недалеко от деревни Ларионова, что близ города Семенова. За Шарпанским скитом, уничтоженным в 1853 году, в густом лесу, по болоту, есть тропинка. На ней местами уцелели полусгнившие сосновые и еловые кладки Конной езды, кажется, тут никогда и не бывало. Тропинка приводит пешехода до признаков старого скита, уже поросших матерым лесом. Заметны погребные ямы, следы огородных гряд и кладбища. На кладбище 12 могил, на могилах двенадцать камней. Тут похоронены Дионисий Шуйский, бывший некогда главою поповщины, и другие одиннадцать попов. Урочище это называется «Смольяны» или «Смольяные». Предание говорит, что тут был большой скит, разоренный еще прежде Питирима, *в котором жили царские бояры*, не захотевшие принять никоновых нововведений. Это «Старый Керженец», первый раскольнический скит, основанный еще в 1666 году. Белмаш, речка, впадающая в Керженец (в Макарьевском уезде Костромской губернии, на самой почти границе с Нижегородскою). Здесь, на устье Белмаша, в XVII столетии старообрядцы устроили скит, уничтоженный Питиримом, который, по указу Петра в 1708 году, устроил тут Троицкий Белмашский женский монастырь, доселе существующий.

За дарами приезжали на Керженец издалека, и повсюду распространялась слава Дионисия и Керженца, в то время еще не разделившегося на секты. Феодосий около 1690 года сделался преемником Дионисия и вместе с Токмачевым правил всем Керженцом: собирал соборы, распространял и поддерживал раскол, и этим обратил на себя зоркое внимание правительства. Начались розыски. Токмачев был арестован, его судили и сожгли, а друг и собеседник его Феодосий успел бежать в Калугу. Смольяные были разорены дотла. Это было в 1694 году. Феодосий, не имея при себе ни мира, ни запасных даров, которые при скором бегстве оставил в Смольянах, чувствовал, что он лишился влияния на старообрядцев; что слава его, как главы раскола, миновала. В Калуге представился однако ему счастливый и совершенно неожиданный случай поправить дела. Выше сказано было, что старообрядцы в то время нигде не служили обедни, и что у них повсюду чувствовался крайний недостаток в святых дарах [1]. В Калуге стояла одна ветхая церковь Покрова Богородицы. Много лет уже не отправлялось в ней, за ветхостью, церковной службы, но церковь не была нарушена: в ней был и престол и антиминс, освященные еще при патриархе Иосифе, и иконостас времен Ивана Грозного. Старик Феодосий, уже более полувека не служивший обедни, изыскал случай ночью, в великий четверток 1695 года, совершить в этой запустелой церкви литургию и освятить запасные дары. Все сделано было сообразно требованиям самых строгих ревнителей старого обряда. В дониконовской церкви, на дониконовском антиминсе, дониконовского рукоположения священник совершил литургию по старому «Служебнику». Святость даров, освященных Феодосием, была для всех несомненна; даже самые беспоповцы просили у него совершенных им даров. Феодосий разослал частицы их по всем сторонам, где жили старообрядцы, и его падавшая было слава возникла в новом, большем прежнего блеске. Осталось неизвестным, каким образом Феодосий получил доступ в калужскую церковь, но полагать надобно, что тут действовали деньги. ибо вскоре после того Феодосий сделался владетелем Иоанновского иконостаса,

[1] Запасные дары мешали с мукой и испеченные из этой муки хлебы принимали, как таинство; тесто с крупицами святых даров намазывали на полотно и лоскутками его приобщались.

сто лет с лишком находившегося в калужской церкви, в которой удалось ему отслужить обедню, доставившую ему столько славы и влияния. В русских пределах с такими приобретениями Феодосию оставаться было небезопасно; розыски его не кончились. За литовским рубежом было невпример надежнее и безопаснее. На Ветку усердно звали его тамошние старообрядцы, сведав, каким сокровищем он обладает. Ветковские отцы послали искусного старца Нифонта и других в Калугу с просительными письмами к Феодосию, приглашая его к себе на жительство. Феодосий согласился и в 1695 году перешел литовский рубеж и явился на Ветке, «вси же радостными приветствы возблагодариша приход его к ним и вси радостное торжество о нем сотворяюще, всяко место и всяк дом радостное возглашающе, ликующе, купно и веселящеся на вступление того, вси увядшие печалию весело хождаху».

Посмотрел Феодосий; видит — ветковская моленная мала, не может вмещать всех богомольцев, ибо с каждым днем население тамошних слобод увеличивалось бегавшими за границу старообрядцами. И велел ее распространять. Обрадованные ветковцы живо схватились за топоры и в несколько дней срубили из дубового леса большую церковь. Феодосий поставил в ней калужский иконостас и вместе с двумя попами — родным братом своим Александром и приехавшим из Москвы Григорьем — освятил церковь во имя Покрова Богородицы, на антиминсе, который был на Ветке еще до водворения в ней Феодосия. Предшественнику его, ветковскому попу Иоасафу, привезла этот старинный антиминс, по всей вероятности, выкраденный из какой-нибудь православной церкви, старица из города Белева, по имени Мелания. Это была первая раскольническая церковь, и литургия, совершенная тремя попами в день освящения ветковской церкви, была первая раскольничья обедня.

Ветка с церковью и обеднями стала быстро возвышаться; толпы за толпами приходили на берега Сожи. Русские старообрядцы вскоре населили здесь четырнадцать больших слобод. В них было до сорока тысяч жителей. Явились монастыри, мужские и женские. Миряне занимались торговлей и управлялись выборными людьми. Феодосий сделался главою всей поповщины; он рассылал благословение и святые дары по всем общинам,

принимал беглых от господствующей церкви попов и рассылал их по разным местам. Нигде не могли принять попа без благословения настоятеля ветковской Покровской церкви. Самый Керженец преклонился перед Веткой: туда, в это бывшее дотоле средоточие всей поповщины, Феодосий посылал грамоты, как власть имеющий. Недоставало мира: старое, иосифовское, старообрядцы разбавляли деревянным маслом. Через полвека и разбавленного таким образом было очень мало. Феодосий сварил и миро.

Во время вторжения Карла XII и измены гетмана Мазепы раскольники ветковские, а также и оставшиеся в Стародубье сами собрались и стали против врагов русской земли. Они оказали услугу Петру I, отбивая у шведов обозы, нападая на малые отряды,— одним словом, ведя в это время партизанскую войну. Несколько сот шведов было убито старообрядцами, а захваченных пленников жители стародубских слобод представили лично Петру. Государь был доволен таким доказательством их верности, простил беглецов и утвердил за ними те земли Стародубья, на которых они поселились. Ветковцев он не велел трогать. Это обстоятельство много способствовало к возвеличению тамошних раскольнических общин. Стародубские слободы, запустевшие было за двадцать перед тем лет, вновь заселились больше прежнего. Через несколько лет они были сильны и влиятельны не менее самой Ветки.

Гонения были только в Москве, на Керженце и по Волге. Петра вооружили против тамошних старообрядцев распространяемые ими по народу толки о том, что Петр — немец, швед, подметный царь, антихрист, что не повиноваться ему, «братися с ним, яко со врагом Господним, яко с антихристом», сам бог повелевает. Мы уже говорили, что в 1669 году ошибшиеся в расчислениях о кончине мира раскольники высчитали, что антихрист придет в 1699 году, а кончина мира последует в 1702 году. В 34 году по Р. Х. распят был Спаситель,— говорили они,— и тогда же связан сатана на тысячу лет, то есть до 1034 года, когда отпала римская церковь от православия. С этого времени до явления антихриста долженствовало исполниться число лет, равное апокалипсическому числу в имени антихриста, то есть 666. Итак, он должен явиться в 1699 или 1700 году, а через

два с половиной года, то есть в 1701 или 1702 году, должно последовать светопреставление. Когда исполнились эти года, Петр I воротился из-за границы, обритый, в немецком платье, и стал переделывать Русь на «немецкий манер». Сведали старообрядцы, что, возвратясь в Москву, он, не заезжая ни в Кремль, к тамошним чудотворцам, ни к Иверской Божьей Матери, прямо проехал на Кукуй, в Немецкую слободу, в дом виноторговца Монса, где с его дочерью и Лефортом прокутил целую ночь. На другой день по приезде, когда представлялись к нему бояре, он обрил их, кроме только двух, и затем велел всех русских людей бороды лишать и всем немецкое платье надевать. Через пять дней, в день Нового года (1-го сентября), вопреки древнему, свято чтимому обычаю, Петр не явился на Кремлевской площади в царском облачении и не принял, по древнему обыкновению, благословения патриарха и поздравления от бояр и от народа, и сам не «здравствовал народ» с новолетием. Зато в этот самый день был на пиру у Шеина, много пил и велел шутам резать последние боярские бороды. Через неделю по приезде был пир у Лефорта, на пиру бритый царь, бритые бояре и немцы с женами и дочерьми сильно выпили. Музыка гремела; царь плясал с немками. Через двенадцать дней по приезде, не допустив царицу на глаза, постриг ее и заточил в Суздальский монастырь. Отправив такие пиры, принялся Петр за кровавый пир — за стрельцов: через три недели по возвращении его из чужих краев начался стрелецкий розыск. Стены Кремля были утыканы стрелецкими головами, и сам царь, в Преображенском, рубил головы стрельцам. Петр публично ел скоромное по постам. Изменил исчисление, перенес Новый год с сентября на январь. Соблазнились и смутились русские люди больше, чем сто лет перед тем смущались они во дни Гришки Отрепьева. «Да впрямь царь ли он? Не по-царски поступает. Не новый ли это у нас Гришка Расстрига объявился?» — заговорили в народе. И пошли толки: «благочестивый царь Петр Алексеевич поехал в Стеклянное государство[1] и там *пропал без вести*». Исключительно русское воззрение! Стали спрашивать: «а кто же теперь на Москве царство держит?» Отвечали: «сказывают, что некий жидовин от

[1] Русские Стокгольм называли «Стекольно», оттуда и Стеклянное царство.

колена Данова[1]. Как скоро-де он наехал на Москву и все стал творить по-жидовски: у патриарха благословения не принял, в дом Пресвятыя Богородицы честнаго и славнаго ея Успения, на поклонение ризе Господней, пречестной Владимирской иконе Богородицы, писанной Лукой евангелистом, и к цельбоносным мощам московских чудотворцев не пошел, потому что знал — сила Господня не допустит его, окаяннаго, до святого места. К Архангелу не ходил, гробам прежних благочестивых царей не поклонился, для того, что они ему чужи и весьма ненавистны. В кремлевские чертоги не вошел, глумяся над ними и сожечь их замышляя. Никого из царскаго рода: ни царицы, ни царевича, ни царевен—не видал, боясь, что они обличат его, скажут ему, окаянному: «ты не наш, ты не царь, а жид проклятый». Для того царицу и царевен постриг, а маленькаго царевича, сына благочестивого царя Петра Алексеевича, коему бы достояло теперь прияти великий скифетр московского государства и всея России, немцам отдал, а потом убил. Народу в день новолетия не показался, чая себе обличения, якоже и Гришке Расстриге обличение народное было, и во всем по-расстригиному поступает: святых постов не содержит, в церковь не ходит, в бане каждую субботу не бывает, живет блудно, с погаными немцами заедино, и ныне на Московском государстве немец стал велик человек. Самый лядащий немец теперь выше боярина и самого патриарха. Да он же, жидовин, с блудницами-немками всенародно пляшет. Бояр перебрил и в немецкие кафтаны обрядил и всех русских людей велел бороды лишать и всем немецкие кафтаны носить. Пьет вино не во славу Божью, а некако нелепо и безобразно во пьянстве валяяся и глумяся во пьянстве; своих же пьяниц оваго святейшим патриархом нарицает, овых же митрополитами, и архиепископы и епископы, себя же протодиаконом, горло велие имеяй и срамоты со священными глаголы смешивая, велегласно вопия на потеху своим немецким людям, паче же на поругание святыни. Сам табак пьет и других пить сие треклятое зелие повелевает, а при благочестивых царех тем, кто табак пьет, носы резали. Патриарший чин упраздни, и митрополитов такожде

[1] По сказаниям, антихрист будет еврей из колена Данова и явится на севере.

упраздняя. У Бога восемь лет украл [1], чая да не явится в людях пророченное о нем тайновидцем Иоанном Богословом исчисление времен,— да не явится антихристом, в мир пришедшим, еже и бысть. Страдничества же того жидовина и всяких дел его нечестивых всех по ряду невозможно описати, аще бы вся богопротивныя дела сего жидовина описати, мню со евангелистом Иоанном, миру целому не вместити пишемых книг. Оле! разорения благочестия, оле! попрания святыни Господней, оле же запустения на месте святе, пророченнаго Даниилом пророком» [2].

Под влиянием подобных толков образовалось в раскольниках убеждение, что антихрист, ожидаемый ими в

---

[1] В свято чтимых раскольниками старопечатных книгах говорилось, что от сотворения мира до Р. Х. не 5508, а ровно 5500 лет. Когда Петр заменил старинное летосчисление от сотворения мира общепринятым в Европе счислением от Р. Х. и при этом 7208 год стали считать не 1708, а 1700, от этого и пошел толк о том, что Петр I у бога восемь лет украл. Этот толк внесен во многие раскольнические сочинения.

[2] «Сказание вкратце о последних губительных временах крайняго антихриста» — в сборнике XVIII ст., в котором помещены и другие раскольнические сочинения. Из Преображенского приказа видно, что на Керженце и между кержаками, переселившимися в Пермскую губернию и Сибирь, были такие речи: «Петр швед обменный, потому, догадывайся, делает богу противно: против солнца крестят и свадьбы венчают, и образа пишут с шведских персон, и поста не может воздержать, и платье возлюбил шведское, и со шведами пьет и ест, и из их королевства не выходит, а паче того догадывайся, что он извел русскую царицу и от себя сослал в ссылку в монастырь, чтобы с ней царевичев не было, и царевича Алексея Петровича извел: своими руками убил для того, чтобы ему, царевичу, не царствовать, и взял за себя шведку, царицу Екатерину Алексеевну, и та царица детей не родит, и он (Петр I) сделал указ, чтобы за предбудущего государя крест целовать — и то крест целует за шведа; одноконечно станет царствовать швед, родственник царицы Екатерины Алексеевны или брат; и великий князь Петр Алексеевич (Петр II) родился от шведки — мерою в аршин с четвертью, с зубами — не прост человек: он антихрист.. а он (Петр I) с царицею Екатериною Алексеевною сжился прежде венца»... Когда царствовала Елизавета Петровна, при которой раскольников преследовали, они говорили, что она не прямая царица... а что настоящий, законный царь есть — Иван Антонович, отрасль благочестивого царя Ивана Алексеевича, за которого стрельцы стояли и головы свои за него сложили, по той причине, что царь Иван Алексеевич будто бы был старообрядец. За такие разглашения трое керженских келейных жителей в 1741 году биты кнутом с вырыванием ноздрей и сосланы в Нерчинск на горные заводы.

1699 году, не кто другой, как Петр I. Явились грамотеи, прилежно занявшиеся составлением выписок об антихристе из разных книг, с применением их к личности Петра I. Тотчас по возвращении его из-за границы такими выписками, между прочими, занялся переписчик книг Григорий Талицкий [1]. Писания его одобрялись не только священниками, но даже одним архиереем — тамбовским Игнатием. Подражателей Талицкому было много: немало было их и на Керженце и по Волге. Фанатики гибли на кострах и плахах, умирали с радостью, утешая себя мыслью, что гибнут от руки самого антихриста и потому несомненно будут удостоены царства небесного. По местам являлись люди, называвшие себя кто Енохом, кто Илией пророком, пришедшими для обличения антихриста. В 1701 году опять явились «гробополагатели» и, лежа в саванах, опять отпевали себя, опять тоскливо пели:

Древян гроб, сосновый,
Ради мене строен,
В нем буду лежати,
Трубна гласа ждати...

[1] Выписка из дела о Григории Талицком, представленная в 1750 году императрице Елизавете Петровне, напечатана Г. В. Есиповым («Раскольнические дела XVIII столетия», I, 59—86). Его пытали на Красной площади перед народом. Желябужский говорит: «в том же году (1704) мучен разными пытками на Красной площади ведомый вор Гришка Талицкой в великом государственном деле, и сожжен; и многие всяких чинов люди и от приходов из монастырей дьячки ловлены и пытаны; и розыски были великие». Епископ Игнатий тамбовский за сношения с Талицким, по лишении сана, сослан в Соловки; епархия тамбовская уничтожена, три попа, один пономарь и один иконник казнены вместе с Талицким; девять человек бито кнутом и сослано в Сибирь; жену Талицкого, двух попадей и жену иконника сослали в Сибирь. Талицкий намеревался свое сочинение выпустить в виде прокламации, и для того иконник вырезывал его на дереве. Кажется, Григорий Талицкий был родом из Талиц, отчего и прозывался Талицким. Талицы Большие и Талицы Малые — две смежные, составляющие одну населенную местность, деревни, Макарьевского уезда, Костромской губернии, на границе Семеновского уезда, Нижегородской губернии, близ реки Узолы, известного по своей торговле удельного села Ковернина. Население Талиц сплошь раскольническое. Верстах в пятнадцати от Талиц начинались керженские и чернораменские скиты. Раскольники в Талицах самые закоренелые. В окрестностях жители, желая сказать о ком-нибудь, что он упорный раскольник, говорят: «да он что́ твой Талицкой». Мысль, что Петр I — антихрист, по сих пор держится в Талицах, и сохранилось предание, что кого-то из их деревни антихрист-Петр мучил: на Москве живьем жег.

По городам толковали, и Талицкий писал, как Петр пойдет на войну, начинавшуюся тогда со шведами, то бы разосланным стрельцам собраться в Москву и посадить царевича Алексея Петровича на царство, а если и он в жидовство пошел и немцам во всем учинился, то выбрать царя православного. Указывали даже на кандидата в цари, на престарелого и богатого князя Михаила Алегуковича Черкасского, которому и Петр не посмел обрить бороды. Петр приказал Стефану Яворскому написать книгу «О знамениях пришествия антихристова», чтобы народ, читая ее, не верил раскольническим разглашениям, а раскольников объявил «лютыми неприятелями, государству и государю непрестанно зло мыслящими». Особенное внимание обратил он на Керженские леса, которые св. Дмитрий Ростовский назвал Брынскими [1]. Там было 77 скитов и в них более семисот монахов и слишком 1800 монахинь; деревенский же народ поголовно был в расколе. Там писались выписки и слагались россказни о Петре-антихристе, там бывали раскольнические соборы, там принимались беглые от церкви попы и рассылались по России.

В 1706 году живший сам прежде в кельях на Керженце и находившийся долгое время в расколе игумен Переславского Никольского монастыря, Питирим, послан был раздраженным Петром на Керженец для истребления раскола. Этот Питирим своими «равноапостольскими», по выражению Петра, подвигами почти в конец разорил скиты керженские и чернораменские. Из разоренных им скитов старообрядцы бросились за рубеж, на Ветку. Питирим и до Ветки стал добираться. Ровно за двадцать лет до «ветской выгонки», в 1715 году, предлагал он Петру разорить раскольничьи селения за рубежом, а особенно церковь на Ветке, говоря, что «велия будет в том польза, понеже бежать будет некуда». На разорение Ветки, находившейся в чужих владениях, Петр, как видно, не решился, хотя во время розысков над несчастным царевичем Алексеем Петровичем и посылал зачем-то на Ветку рекомендованного ему Питиримом Юрьевца-Поволжского Успенского монастыря монаха Авра-

---

[1] Действительно — Рымские. Так называются сопредельные с Керженскими леса в Макарьевском уезде, Костромской губернии, по селениям Большие и Малые Рымы, на речке Черный Лух, впадающей в Унжу.

амия. Результаты авраамиевой поездки остались нам неизвестны. Ветка между тем благоденствовала. Падение Керженца, ослабленного Феодосиевою церковью, внутренними раздорами и беспощадными преследованиями Питирима, придало еще более блеска и значения Ветке. У нее не стало соперника. В безопасности своей тамошние жители были вполне уверены. Они платили хороший чинш пану Халецкому, и Халецкий стоял за них горою. «У Петра рука долга, а сюда не хватит»,— говорили самодовольные ветковцы. «И наста (на Ветке) тихое житие и лета изобильна».

Ветковцы не довольствовались таким, сравнительно с оставшимися в России их одноверцами, счастливым положением. Они хотели большего блеска, большей славы в среде старообрядцев, большего влияния на них своей Ветки. Они хотели сделать ее действительною митрополией всех ревнителей старого обряда, где бы они ни жили.

Мысль, что только та церковь истинна, в которой сохраняются все три чина духовной иерархии, мысль, что должно иметь самостоятельную церковь со святителями, а не «обкрадывать церковь великороссийскую», занимала почти всех влиятельных людей на Ветке. Отчасти побуждала ветковцев искать архиерея и увеличивающаяся подле них с каждым годом сила Стародубья.

С 1715 года началось у старообрядцев деятельное *искание архиерея*. Дело, как сейчас сказано, было начато за рубежом. В России не все старообрядцы поповщинского толка были согласны на искание архиерейства. В Стародубье нашлось много дьяконовцев, сочувствовавших ветковскому предприятию, а также в общинах Московской, Тверской, Новоторжской, Ржевской; но Керженец, еще не павший в то время от руки Питирима, и старообрядцы, ушедшие с Керженца на Демидовские уральские заводы, а также жившие в Казани и по Волге, были несогласны на прием архиерея. Не знаем, как была принята эта мысль на Дону, где все казачество находилось в расколе. Таким образом на востоке, вдали от зарубежной церкви, оказалось среди старообрядцев несогласие на искание епископа, но чем ближе жили старообрядцы к литовскому рубежу, тем более замечалось сочувствия к этому предприятию. Впрочем, и здесь многие блазнились, говоря: «Как же мы от обливанцев еписко-

па примем? Не будет ли сия последняя вещь горше первыя? Не будет ли такое дело еретичеством, паче самого никонианства?» Ветковские старшины, предвидя, какие огромные выгоды будет получать их слобода, если в ней поселится старообрядческий епископ, сколько денег перевезется на Ветку из разных концов России, сначала и думать не хотели об обливанстве, опасения строгих ревнителей называя блажью. К тому же, живя в Белоруссии и видя, что тамошние православные священники не поливают, а погружают в три погружения, не очень-то и доверяли они тому, что у греков содержится обливательное крещение. Тем не менее решились искать архиерейства не у греков, а в Яссах, у молдовлахийского митрополита: он был поближе, и притом поселившиеся в Бессарабии и Молдовлахии русские выходцы, старообрядцы, с клятвою уверяли, что в тамошних местах у православных о поливательном крещении и слуху нет, а водится оно только у подвластных римскому костелу униатов.

По предварительному соглашению с Веткой, жившие в Молдавии старообрядцы вошли в сношение с тамошним митрополитом Антонием, обещав ему за поставление епископа построить для него в Яссах каменную церковь. Они «удобоприступна себе яссакаго митрополита Антония обретоша,— говорит Иван Алексеев в своей «Истории о бегствующем священстве»,— к нему же тамо живущие староверцы свободный вход в разговор имуще, чрез многа, тем и дерзновенно просиша его, да посвятит им от них человека во епископа. Он же на се соизволи и повеле подати доношение, кое поданное яве сотворено бысть господарю и советником его». Господарь-фанариот был не прочь: и он и Антоний едва ли хорошо знали, что́ такое русский раскол и в чем состоит разделение русской церкви. «И вси радостно соизволяху на то»,— прибавляет Иван Алексеев. Это было в 1730 году.

Молдавские раскольники не замедлили сообщить своим ветковским одноверцам об успехе дела. Немедленно черный поп Власий, игумен Ветковского монастыря, собрал собор из духовных и мирских; на соборе были и выборные из стародубских слобод дьяконовского толка. Избрали кандидата и вместе с выборными людьми, как ветковскими, так и стародубскими, в 1731 году отправили его в Яссы. Здесь явились они и господарю Михаилу и

митрополиту Антонию, тому и другому поднесли грамоты от Власия и от всего собора. Дело совсем было уладилось, но, на беду старообрядцев, нежданно-негаданно приехал в Яссы константинопольский патриарх, в зависимости от которого были и молдавская митрополия и Западная Русь, где находилась Ветка. Антоний доложил патриарху об искательстве старообрядцев. Патриарх пожелал видеться с ними и лично переговорить. Старообрядцы представились патриарху, подали и ему прошение. Фанариот обошелся с ними ласково, приветливо, ибо люди они были богатые, митрополиту дорогую каменную церковь вызывались построить. Много говорить с старообрядцами патриарх не мог: он не знал по-русски, они — по-гречески, однако ж передал им через переводчика, что об их деле он, по возвращении в Царьград, посоветуется с другими вселенскими патриархами и пришлет ответ в Яссы. Через несколько времени обещанный ответ действительно был получен Антонием. Это было двенадцать пунктов, принятие которых кандидатом во епископы патриархи вселенские поставляли непременным условием. Тут произошел совершенно неожиданный для старообрядцев оборот дела, так хорошо было пошедшего. Ветковцы со стародубскими дьяконовцами хотя и заодно приехали и об одном хлопотали, однако же, не имея между собою общения «ни в ястии, ни в питии, а тем паче в речей согласовании», действовали каждая сторона особо. Когда в Яссах получены были патриаршие пункты, написанные, разумеется, по-гречески, ветковцы, отдельно от стародублян, пришли к митрополиту Он показывал им пункты. Ветковцы просили перевода их на русский язык, и Антоний исполнил их просьбу. Получив перевод, ветковцы не сказали о том стародублянам. Эти, в свою очередь, пошли к митрополиту узнать, нет ли какого ответа из Царьграда. Антоний усомнился, но показал им патриаршие пункты. Когда же стародубские старообрядцы также попросили перевода, митрополит рассердился и «возмне шпирство некое от них быти, яростно их отсла от себе». Двенадцать пунктов, или статей, о которых упоминает Иван Алексеев при рассказе об этом происшествии, составляли именно то исповедание веры, которое, по церковному уставу, всякий новопосвященный архиерей должен перед хиротонией прочитать вслух всех предстоящих в церкви, в ответ на

вопрос старшего из посвящающих: «како веруеши?». Прочитать ветковскому кандидату символ и правила посвоему — значило бы не получить хиротонии; читать противное убеждению не дозволяла совесть и было зазорно от своих и от чужих. Вообще странным представляется поступок митрополита, как о нем рассказывает Иван Алексеев, из сочинения которого преимущественно заимствовали мы рассказ о посольстве старообрядцев в Яссы 1731 года. Сначала соглашаются на предложение и господарь, и митрополит, и даже патриарх, а потом вдруг отказ из-за самой пустой причины, из-за того, что старообрядцы во второй раз попросили перевода. Скорей можно было бы предположить, что Антоний, узнав точнее, в чем состоит раскол, образовавшийся в великороссийской церкви, не захотел иметь дела с его последователями и посвящать для них епископа. Но в таком случае, как же он после того хотел было посвятить Варлаама Казанского, зная также, что он раскольник. Не тянул ли он дело нарочно подольше, чтобы получить от приехавших за архиерейством больше денег, а когда получил их достаточное количество, прогнал от себя старообрядцев, придравшись к ничтожному предлогу. Подобный поступок был совершенно в нравах тогдашней румынской церкви и фанариотов, которых присылали туда из Царьграда на митрополичьи и епископские кафедры.

Пока ветковцы и стародубцы хлопотали в Яссах, у поморских беспоповцев также возникло желание получить епископа из-за границы. И их, видно, тяготила мысль, что церковь их не организована сообразно каноническим правилам и остается без пастырей и святителей. Избрав из своей среды благочестивого и набожного старика Якова Сидорова, большого начетчика и искусного в догматствовании, они снарядили его в заграничное путешествие и дали значительную сумму денег для получения хиротонии. По приговору их, Сидоров должен был ехать не в Грецию и не в Молдавию, а к автокефальному патриарху Сербии, независимому от патриарха цареградского. Не знаем об обстоятельствах поездки Сидорова, но она почему-то также не увенчалась успехом.

Тогда и поповщина и беспоповщина, испытав, каждая в свою очередь, по неудаче, решились действовать сообща. Соглашение происходило в Стародубье. Посла-

ли на Восток трех выборных: одного из ветковской поповщины, другого от стародубской дьяконовщины, третьего от беспоповцев поморского согласия. Соглашение было истинным праздником для старообрядцев. Видя то и дело вновь возникающие из-за обряда толки и разгласия, видя, что старообрядство более и более распадается на секты, из которых одна ненавидит другую, они думали, что наконец-то настанет теперь полное согласие между всеми ревнителями старого обряда, и «будет едино стадо и един пастырь». Не терпя прежде друг друга как еретиков, они вошли теперь в общение и в умилении душевном пели за общей трапезой: «се что́ добро и что́ красно, но еже жити братии вкупе». Не понравились, однако, такое сближение и такие замыслы беспоповцам ни в Поморье, ни в Москве, ни на Керженце. Но кого, из которой партии избрать человека, который бы сделался у всех епископом и первостоятелем церкви? Решение этого вопроса, каково бы оно ни было, непременно перессорило бы соединившиеся секты. Отвращая это и зная притом уже по опыту, что трудно, даже невозможно получить за границей хиротонию для раскольника, какого бы толка он ни был, собравшиеся на собор в Стародубье решились на то, что́ удалось потомкам их лишь в 1846 году. Они приговорили стараться склонить к себе какого-либо безудельного епископа, каких на Востоке много и теперь, много было и тогда. И такого епископа, «исправив», признать за святителя всех старообрядцев. Главным руководителем этого дела был поморец Михаил Иванович Витатин, один из самых влиятельнейших людей своего времени, пользовавшийся самым высоким уважением не только от единомысленных с ним поморцев, но и от старообрядцев прочих согласий. Это был один из самых ученейших людей, какие только были в расколе с самого начала его. Много он странствовал и по России, и в чужих краях, много видел, много знал и обладал необыкновенным даром привлекать и искренне привязывать к себе людей, каких бы религиозных убеждений они ни были. Но и эта попытка не удалась. Долго странствовали соединенные от разных согласий посланцы и нигде не успели. Витатин умер в 1732 году, 65 лет от роду, в галицком городе Кутах, в небольшом раскольническом монастыре, незадолго перед тем построенном на тогдаш-

ней польско-молдавской границе [1]. Спутники его воротились без всякого успеха.

Ветковцы послали новое посольство, не дожидаясь результатов поездки Витатина. Хотелось им как можно поскорее обзавестись архиереем. Инициатива нового предприятия принадлежала попу Василию Кондратьевичу Казанскому, незадолго перед тем перешедшему литовский рубеж. Это был чрезвычайно энергический человек, гордый, неуживчивый, сварливый, но обладавший большими сведениями в писании и необыкновенным даром убеждения. Бежав от великороссийской церкви, долго он священствовал у старообрядцев Казани и был главою поволжского раскола. Оттого и прозвали его Казанским. Он не давал много воли мирским людям, которые по своему богатству и влиянию на народ давно господствовали во всех поповщинских общинах и управляли делами секты. Василий Кондратьевич, по ссоре с «мирскими правителями», оставил Казань, предав проклятию своих недоброхотов, и ушел на Керженец. Он был еще не старый человек, и на Керженце о нем сомневались, не посвящен ли он епископом малороссийским обливанцем, хотя в действительности рукоположен он был митрополитом казанским Тихоном, уроженцем Нижнего Новгорода, стало быть, ни в каком случае не обливанцем. Рассорясь с жителями Керженца и Чернораменья, Василий Казанский уехал на Демидовские заводы, на Урал, но и тут, по тесным постоянным связям тамошних жителей с Керженцом, был заподозрен в получении своего сана от архиерея-обливанца. Тогда, прокляв и керженских и заводских старообрядцев, поехал он за литовский рубеж. На Ветке, как уже замечено, не очень верили обливанству, по крайней мере была там сильная партия, не верившая в обливанство малороссиян и белорусов. Василий Казанский сошелся с ними и очаровал их своим умом, знанием св. писания и учительскими дарованиями. В то время сама Москва, в которой еще и в заводе не было Рогожского кладбища, когда на месте его еще

---

[1] Куты или Кут на галицком берегу реки Черемоша, текущего в Прут и составляющего границу Галиции с Буковиной, а в XVIII ст. границу королевства Польского с Молдавией. Против Кута, на Буковинской стороне Черемоша, город Вишница. Это неподалеку от знаменитой ныне Белой Криницы, тогда еще не существовавшей.

хоронили тела запытанных в Преображенском раскольников, сама Москва (то есть московские старообрядцы) просила Ветку прислать в нее священника, мужа учительного и истинного пастыря душ человеческих. Ветка послала Василия. Он был в Москве, ездил и по другим городам и волостям «дондеже наполни чпаг серебром и златом». Возвратясь на Ветку с большими деньгами, поп Василий Казанский постригся в монахи и был наречен Варлаамом. Возвратился он на Ветку в то самое время, когда там кипело дело об искании архиерейства. Василий Казанский, или теперь уже Варлаам, пристал к стороне, нетерпеливо желавшей иметь как можно скорее архиерея. Так учительно и так красно говорил он о необходимости иметь епископский чин, такие выказал при этом способности на соборе ветковском, что все, даже и несогласные до тех пор на новое посольство в восточные страны, не дождавшись результатов поездки Витатина, убедились словами Варлаама. Единогласно решили ветковцы послать в Яссы к митрополиту Антонию коголибо из своих, чтобы посвятил его в епископы. Зашла речь о том, кого послать, кого епископом иметь. «Ты, отец Варлаам, поезжай»,— заговорили все в один голос. А он тому и рад: давно желал архиерейства.

Варлаам поехал в Яссы с своими собственными и ветковскими деньгами. Видно, на деньги он уже очень надеялся,— не хотел смирить своего нрава и перед митрополитом: говорил с ним свысока, пускался в многоглаголание, желая учить его; вообще вел себя «с бойством и велеречием», как выражается Иона Курносый. Митрополит принял, однако, прошение Варлаама, принял и «подарунки», то есть подарки, конечно, не дешевые, был приветлив и любезен с грубым, высокомерным, но щедрым и богатым просителем, и сказал ему: «Будь готов к посвящению». Варлаам стал готовиться. Осуществлялось давнишнее, усердное желание старообрядцев, исполнялось горячее желание властолюбивого Варлаама. День хиротонии был назначен. Накануне призывает его митрополит и беседует с ним наедине.

— Знаю, что ты из раскольников,— говорит Антоний.— Но когда я посвящу тебя во епископы, как ты будешь меня разуметь? Благочестив я или нет?

Варлаам помолчал и уклончиво отвечал митрополиту:

— Твое благочестие с тобой пребудет, а я в чем стою, то со мной.

Антоний понял, в чем дело, и оскорбился. Слово за слово, и закричал раздражительный грек:

— Так ты меня благочестивым не хочешь не только разуметь, но даже назвать! Фельдшера сюда!

Фельдшер явился по зову, и митрополит, указывая на Варлаама, сказал:

— Обрей этому раскольнику и еретику бороду и волосы. А потом в рудники его, в шахты, в оковы!.. Пусть, скованный, руду копает.

И обрил фельдшер в митрополичьих покоях честную браду Варлаама Казанского, и попал будущий ветковский архиерей в тюрьму. Посланные с ним из Ветки, видя такой неожиданный оборот дела, перетрусили и не знали, что̀ делать и ка̀к быть. А надо же чем-нибудь пособить обритому кандидату во епископы. Стали ходить с подарками к ясским властям, стали их улещать и просить, чтобы заступились за Варлаама, походатайствовали бы за него у грозного митрополита. И едва умолен был Антоний: не послал Варлаама в рудники. Избавившись от беды, он с товарищами и с пустым чпагом наскоро ускакал из Молдавии, пожил где-то в укромном месте и, когда отросла борода, приехал в Ветку. Там, перед собором духовных и мирских, Варлаам и с ним бывшие рассказали все, что происходило в Яссах. И не похвалили ветковцы Варлаама за то, что так отвечал митрополиту «Ты все дело испортил»,— сказали они. Выбрали другого кандидата и послали в Яссы.

Видя, однако, по двум неприятным опытам, что делу их оттого больше успеха нет, что ясский митрополит затрудняется посвятить раскольника, ветковцы повелели посланному исполнить все обряды, не принятые старообрядцами, и называть себя принадлежащим к великороссийской церкви, только бы получить желаемое архиерейство.

«После исправу примешь и проклянешь ереси»,— говорили они на соборе смутившемуся кандидату.

Он затруднялся: человек был совестливый, как и оба его предшественника.

«Хоть присягу прими,— говорили ему ветковцы,— а не делай так, как Варлаам: грех твой на всю церковь берем».

И отправились в Яссы.

Но в это самое время по старообрядческим общинам вдруг усилились толки о поливательном крещении у греков и вообще в заграничных православных церквах. Причиною того была изданная Феофаном Прокоповичем книга «Истинное оправдание правоверных христиан, крещением поливательным во Христа крещаемых». Она возбудила сильные толки. «Стало быть, справедливо,— заговорили старообрядцы даже и на Ветке,— что в Малороссии и в греках есть поливательное крещение, когда Феофан, сам сущий поливанец, защищает и похваляет таковое, святыми отцами не преданное крещение». Много было от этой книги Прокоповича соблазна для православных, а еще более для раскольников. Посланный ветковцами новый кандидат во епископы, прибыв на место, стал прежде всего разыскивать, как крестят в Молдавии у греков: в три погружения или поливательно? Откуда родом Антоний, и как он крещен? Верно или неверно сказали ему, что ясский митрополит крещен поливательно? Не желая получить хиротонии от обливанца, посланный воротился на Ветку и сказал, отчего он много не хлопотал о хиротонии. Не понравилось и это на Ветке, где всем, и мирским и духовным, очень хотелось хоть какого-нибудь да своего архиерея. «Они, слышавши, прискорбни беша»,— говорит Иона Курносый.

IV

ЕПИСКОП ЕПИФАНИЙ

Пока Стародубье и Ветка, не жалея ни денег ни трудов, хлопотали в Яссах об епископе, великороссийские старообрядцы нашли себе архиерея в самой Москве.

В конце 1731 года между московскими старообрядцами разнесся неясный вначале слух, что при синодальной конторе содержится под арестом один колодник, привезенный из Киева, что хотят его послать куда-то далеко в заточение, и что этот загадочный колодник — чуть ли не архиерей. В то время подобный слух не мог показаться невероятным: по влиянию Прокоповича, незадолго до того один епископ (Лев воронежский) сечен был кнутом, а четверо (Игнатий коломенский, Георгий

ростовский, Варлаам киевский, Сильвестр казанский) были лишены сана. Стали старообрядцы разузнавать, какой это архиерей и за что он посажен. Начали они ходить в синодальную контору и покупать у сторожей свидания с таинственным лицом. Видят, сидит старец в оковах, небольшого роста, приземистый, толстый, с бледным широким лицом, с серыми глазами, с большою черною бородой и с черными, с проседью волосами.

— Кто ты такой? — спрашивали старообрядцы у колодника.

— Смиренный епископ Епифаний,— отвечал он.

— За что же тебя посадили за приставы?

— За то, что в Яссах, в чужом государстве, посвящался.

— Как твое дело?

— Ссылают в Соловецкий монастырь под смирение.

Это действительно был епископ Епифаний, посвященный предместником уже известного нам Антония, ясским митрополитом Георгием. Вот похождения этого человека, чрезвычайно замечательного по превратности судьбы. Он был малороссиянин, родился в Киеве около 1685 года, учился в школе при киевском Богоявленском монастыре, поступил в число монашествующей братии Киево-Печерской лавры и был наречен Епифанием. По отце звали его Яковлевич. Через несколько времени Епифаний был посвящен в иеромонахи. Киевский архиепископ Варлаам Ванатович был к нему благосклонен, приблизил к себе и сделал экономом своего архиерейского дома. Будучи знатоком в приказных делах, Епифаний заведовал в то же время у Ванатовича и его канцелярией. Были у него в Киеве близкие родственники, все люди бедные, постоянно нуждавшиеся в средствах к жизни; он их очень любил и почти все, что́ ни добывал, отдавал им. К тому же, хотя и монах, а грешный человек — охотник был до молоденьких женщин и притом любил выпить. На все это нужны были деньги и притом немалые. И вот однажды послал архиепископ Варлаам своего любимого эконома в Козельский монастырь по каким-то хозяйственным делам. Там Епифаний положил в свой карман 240 р. монастырской казны — сумма довольно значительная по тому времени. Эти деньги отдал он родне. В то же время он обличен был в растлении одной девушки. Как ни любил Епифания Варлаам, однако дел

его замять никак не мог: очень уж они огласились по Киеву и произвели большой соблазн как в Софийском доме, так и в лавре. Началось следствие, но пока домашнее. Предвидя неизбежно дурной исход дела, Епифаний решился лучше бежать куда-нибудь, чем быть расстриженным или сидеть в лаврской тюрьме. Должность эконома Софийского дома была весьма почетная; он имел большое влияние на духовенство всей обширной киевской епархии — и вдруг с такого места да в тюрьму. Но куда бежать? Сыщут везде. И решился он направить стопы своя за границу. Из находившихся в его ведении дел киевской митрополии отрезал он на всякий случай от какой-то грамоты львовского (что в Галиции) православного епископа вислую печать, вырезал поддельную печать киевского митрополита и с ними отправился в киевскую губернскую канцелярию выправлять себе заграничный паспорт, будто бы для осмотра зарубежных домовых вотчин митрополичьего дома, бывших неподалеку от Триполя. Как софийскому эконому, часто ездившему для осмотра зарубежных вотчин, губернская канцелярия выдала ему паспорт беспрепятственно. Перебравшись благополучно за границу, Епифаний не знал, что затем ему делать: зазорно и небезопасно было ему воротиться в Киев; горько было также лишиться выгодного экономского места и притом удалиться, быть может, навсегда, от родного места и любимых родственников. В этом раздумье пришла ему мысль — сделаться *бродячим архиереем*. В то время, при полном господстве унии в южнорусских и западнорусских областях, бывших под польским владычеством, нередко встречались безудельные православные епископы, которые, иногда с разрешения даже епархиальных униатских архиереев, бродили по православным приходам для отправления богослужения. Особенно таких епископов довольно много встречалось в Подолии, на Волыни и в Галиции, где население было тогда почти сплошь православное, за исключением помещиков и шляхты. Униаты и униатские епископы с пренебрежением обращались с этими «бискупами хлопской веры», но в крестьянских (хлопских) хатах для таких пастырей всегда был готов искренний, радушный прием. Для получения епископского сана Епифаний отправился в Яссы, к тамошнему митрополиту Георгию. В бессарабском городе Сороках написал он под-

ложную грамоту от имени львовского православного епископа к этому Георгию и привесил к ней выкраденную в Киеве львовскую епископальную печать Написал такие же подложные грамоты будто бы от Варлаама Ванатовича к ясскому митрополиту и молдавскому господарю и привесил к ним подложные, им вырезанные еще в Киеве, печати. Представившись обоим в Яссах, он показывал тому и другому тоже подложный, составленный будто бы жителями Чигирина приговор о желании иметь Епифания у себя епископом. В подложной грамоте, писанной от имени Варлаама, Епифаний выражал то недовольство киевлян, которое затаенно действительно существовало в них со времени отчисления Киева и Малороссии из ведения константинопольского патриарха. Учреждение святейшего синода и издание «Духовного регламента», в котором находится немало антиканонического, еще более усилило недовольство местного духовенства. Прежде киевские митрополиты были «экзархами патриаршего фрону» и малым чем рознились от автокефальных первостоятелей церквей. Теперь они были поставлены наряду с прочими архиереями и даже из митрополитов низведены на степень архиепископскую. Упразднив сан патриарха, Петр I уничтожал постепенно и митрополичьи кафедры, так что к апрелю 1724 года, по смерти Тихона казанского, во всей России не было ни одного митрополита. Оставался в живых Сильвестр смоленский, и его перевели в Тверь епископом. Оскорбительно это было и вообще для русского духовенства, а для Киева, где ряд митрополитов восходил до дней самого св. Владимира, это было больше чем оскорбление. Прежде в Киеве митрополит правил церковью самостоятельно, а теперь, по указу его императорского величества — из святейшего правительствующего синода. Прежде в Киев съезжались к митрополиту южнорусские православные епископы, теперь киевский владыка сам должен был ездить не на собор, а на чреду священнослужения в далекий и новый Петербург. Членами святейшего синода были не только архиереи, но и архимандриты, даже протопопы и иеромонахи, между тем как архиереи первенствовавшей со дней св. Владимира кафедры не были синодальними членами и находились в зависимости не только от великорусских архиереев, но и от петербургских протопопов. Все это в самых энергических выражениях расписал Епи-

фаний в подложном письме от Ванатовича. «Избрание во епископа, по правилам апостольским и св. вселенских соборов,— писал он,— должно происходить в присутствии *митрополита,* как 19 правило святого Антиохийскаго поместнаго собора повелевает. По 4 правилу первого вселенскаго собора, утверждати епископа довлеет *митрополиту,* и тогда лишь совершается рукоположение. Поставленный же *без соизволения митрополита* не должен быть епископом по 6 правилу первого вселенского, что в Никее, собора. А у нас нет митрополита нигде, во всей Великой и Малой России, и аз, смиренный владыка и пастырь святыя славныя и великия церкви киевская и всея Малой России — точию *архиепископ,* власти епископы поставлять по божественному писанию, не имею». В заключение присоединена была просьба *архиепископа* Ванатовича к *митрополиту* Георгию совершить епископом Епифания, мужа благоговейна, с давнего времени испытанна в слове веры и в житии, сообразном правому слову, как подобает по 12 правилу Лаодикийского поместного собора, безбрачного же и прошедшего низшие степени служения благоговейно и незазорно. Цель посвящения Епифания во епископы объяснялась тем, чтоб он мог рукополагать во священники и дьяконы для зарубежных приходов киевской митрополии, о которых и знать не хотели ни петербургский синод, ни великороссийские власти.

Послание, в таком духе написанное, не могло не польстить самолюбию молдовлахийского митрополита. Подкреплено оно было «великими подарунками», которые, по свидетельству Ивана Алексеева, поднес Епифаний и митрополиту и господарю. Киевский эконом достиг желаемого: в ясском кафедральном соборе 22-го июля 1724 года Георгий возложил на него омофор. Получив епископский сан, Епифаний писал к львовскому и владимирскому (на Волыни) униатским епископам, прося их позволения жить в их епархиях и посвящать в попы, и затем отправился в Украйну. Здесь он познакомился с раскольниками, которые, нуждаясь в священниках, просили Епифания посвятить избранных ими лиц. Епифаний согласился, разумеется, не даром, и в продолжение какого-нибудь месяца поставил им 14 попов и дьяконов. В сентябре того же 1724 года он был схвачен людь-

ми прежнего своего благодетеля Ванатовича и посажен под арест в Киеве.

Киевский архиепископ донес об Епифании святейшему синоду. Синод потребовал его в Петербург. Весной 1725 года Епифаний был привезен в столицу; но не до него тогда было святейшему синоду: вступление на престол Екатерины I и процесс новгородского митрополита Феодосия на некоторое время отдалили решение его дела. Сентября 3-го наконец синод лишил Епифания священства и монашества и, как мирянина, передал гражданскому суду в юстиц-коллегии. И здесь дело продолжалось немалое время: лишь в июне следующего 1726 года последовал о нем приговор «высокого сената», по которому «велено онаго Епифания для поминовения блаженныя и вечнодостойныя памяти императорского величества (Петра I), по мнению юстиц-коллегии, от розыска и наказания учинить свободна; только за оныя его важныя вины на волю его не освобождать, но сослать в Соловецкий монастырь и держать тамо до смерти неисходно и употреблять в работу, в какую будет удобен». Из юстиц-коллегии препроводили Епифания в синод, и через семнадцать дней после сенатского приговора синод, или, вернее, Феофан Прокопович, еще раз помиловал земляка своего: для того же поминовения Петра I велено было возвратить ему клобук и камилавку и быть попрежнему монахом.

В Соловках прожил Епифаний почти три года, в числе монастырской братии. Не сиделось пылкому чернецу на уединенном острове Белого моря. Исполнилось пять лет, как он все сидел да сидел в заточении то в Киевской лавре, то в Петербургской крепости, то на Соловецком острове, где хотя и пользовался свободой, но ни под каким предлогом не мог съезжать на материк. Тянуло чернеца на волю, туда, на далекий юг, на берега днепровские, в Киев, где бы можно было повидаться с горячо любимыми родственниками, в Заднепровскую Украйну, где бы можно было снова архиерействовать. Каждое лето, как известно, на Соловецкий остров стекается множество богомольцев на поклонение св. Зосиме и Савватию. Толпами приплывают они в монастырь на карбасах, толпами и отплывают на матерую землю. Как-то, улучив удобное время, Епифаний, в июле 1729 года, вмешался в толпу отъезжавших богомольцев и благополуч-

но переправился на материк. В Соловках его хватились; началась тревога, послали погоню, но Епифания и след простыл. Много труда и немало лишений принял он, странствуя по архангельским пустыням, бродя окольными путями, для избежания поисков, наконец пристал к богомольцам, которые, помолясь в Соловках, шли на другой конец России поклониться святой Киево-Печерской лавре и киевским печерским угодникам. В Киеве Епифаний был тайно принят своими родными, с которыми так давно не видался, о которых изболело его сердце и в Петропавловской крепости и на Соловецком острове. Долго оставаться в Киеве ему было опасно, и опять пошел он знакомыми дорогами за рубеж, а одет был в монашеское платье и сказывался иеромонахом Софийского дома, Антонием. Пришел он на заставу и уж получил было дозволение на пропуск, но дело вдруг приняло неожиданный оборот. В то время, как Епифаний говорил с заставным офицером, в заставном доме прилучился один монах Красногорского Зазуловского монастыря, который, на беду нашего странника, лично знал и Антония и самого Епифания. Зазуловский монах сказал тихонько офицеру, что прохожий его обмануть хочет, что он вовсе не Антоний, а известный Епифаний, что он взят был в Петербург и по суду заточен в Соловки. Епифания задержали на форпосте и отправили под крепким караулом в Киев. Здесь началось о беглеце новое дело. Почему-то не сочли нужным или возможным держать его под стражей в Киеве; отправили в Переяславль и посадили в тамошнем Михайловском монастыре[1]. Здесь монастырская братия была вся знакома бывшему киевскому отцу-эконому: все друзья да приятели, помнившие хлеб-соль Епифания, когда он был во времени. Надзор за ним был слаб, больше все кутили смиренные иноки, поминаючи прежнее житье-бытье Епифания, ублажая своего «братчика» и браня, на чем свет стоит, правительство за то, что оно унижает духовенство и вздумало еще вмешиваться в управление монастырскими вотчина-

[1] Михайловский монастырь был в городе Переяславле (Полтавской губернии). Основан в 1069 году и был в XI и XII ст. престольною митрополией киевскою, ибо киевские митрополиты тогда жили более в Переяславле, да и монастырь Михайловский был в то время гораздо лучше Киево-Печерской лавры. Потом он был кафедральным монастырем епископов переяславских,— теперь же городской собор уездного города.

ми, во что не только что гетманы, да и сами короли польские, за их панованье в Киеве, не вмешивались. С ведома ли, без ведома ли добрых своих приятелей Епифаний из монастыря «утик». Выбравшись благополучно из Переславля, перешел он и рубеж, спустившись по Днепру на лодке. В Заднепровской Украйне, в вотчинах Пустынно-Николаевского монастыря[1], начал он было уж и обедни по-архиерейски служить, но отслужил их не очень много. Его схватили и опять привезли в Киев. Дело его, по обыкновению, тянулось, и не ранее 1731 года Епифаний, по требованию святейшего синода, отправлен был в Москву, где и посажен под арест в синодальной конторе, в арестантской, по-тогдашнему названию — в «бедности». В этой «бедности» содержался чигиринский епископ целые полтора года: с ноября 1731 до половины февраля 1733 г. В это время и познакомились с ним московские старообрядцы.

— Хочешь ли ты к нам? — спрашивали они Епифания.

— Куда?

— У нас есть монастырь в Польше. Слыхал ли? На Ветке.

— Да ведь вы раскольники?

— Мы только по старопечатным книгам последуем.

И пошли толки, и совещания, и соглашения. Все, как водится.

Задумался Епифаний. Как ни противны были ему церковные отщепенцы, но впереди ему были две дороги: в Соловецкую тюрьму, из которой уж ввек не убежать, и архиерейство, богатство и — что для него важнее всего — возможность помогать своим бедным киевским родственникам. Для них он готов был на все.

Приходили к нему старообрядцы не раз и не два и все соблазняли на переход в раскол. Епифаний, не любивший раскольников, долго колебался.

— Хорошо бы так, как говорите вы,— сказал он на-

---

[1] Пустынно-Николаевский монастырь находился в Киеве, на берегу Днепра. Он основан св. Владимиром тотчас по принятии христианства. Во время отъема монастырских имуществ оставлен первоклассным, а в 1831 году императором Николаем I передан в ведение киевского коменданта с переименованием сей древней обители в *военный* собор. Братия при этой перемене переведена в Киево-Слупский монастырь.

конец.— Но как же тому быть? Ведь я под судом и под неволею.

— Ты только дай нам слово, что хочешь к нам,— отвечали ему,— только согласись быть нашим епископом, а уж на воле будешь. Это дело наше.

Епифаний согласился и дал слово. И стали ходить к нему в «бедность» каждый день московские старообрядцы и благословения от него просили. «Он же приходящих к нему всякого чина людей благословлял и отправлял в епитрахили часы по чину священническому». Старообрядцы учили непривычного киевлянина своим старым обрядам, чтобы после, когда будет священнодействовать на Ветке, не произвел он какого-нибудь соблазна никонианским своим служением.

Вместе с Епифанием содержался в московской синодальной «бедности» архимандрит Спасо-Преображенского, что̀ в Казанском кремле, монастыря, отец Питирим. Он видел и слышал все и *репертовал* обо всем по начальству. Это было 26 июня 1732 года. Епифания с тех пор стали держать строже, но деньги старообрядцев были, видно, сильнее доносов питиримовых и по-прежнему доставляли богатым старообрядцам доступ в «бедности» к будущему их архипастырю.

8 января 1733 года состоялось в Москве решение по делу Епифания. Вот оно: «Монаха Епифана Яковлева, учиня ему жестокое наказание плетьми, отослать в Соловецкий монастырь *на его коште* и тамо содержать его всегда скована, не выпуская отнюдь из монастыря, и о том из святейшаго правительствующаго синода конторы в С.-Петербург святейшему правительствующему синоду ведение того же января 9 дня сообщено».

В Петербурге взглянули на дело Епифания гораздо строже. «Февраля 22, святейший правительствующий синод, рассуждав онаго Епифания вины, и что уже за показанными к нему, как бы святейшаго правительствующаго синода милосердиями, дерзнул из онаго Соловецкаго монастыря уйти, и с немалым трудом пойман, и чтобы потому ж и ныне обыкновенной утечки учинить не мог, *приказали:* синодальное января 8 дня об оном монахе Епифании определение отменить и его, Епифания, паки в Москву, в канцелярию святейшего синода возвратить; и, по возвращении, за продерзости его, монашескаго чина лишить, и с прописанием всех вин его отослать в

светский суд, для ссылки на сибирские горные заводы в вечную работу, при указе, без продолжения времени». Ве́дение из синода послано в Москву 26 февраля, получено 5 марта. Но Епифаний в это время скакал уже на переменных, подставных лошадях в зарубежную Ветку.

Московские старообрядцы снеслись с ветковцами о согласии Епифания перейти в раскол, сделаться архипастырем всего старообрядства. Ветковский игумен Власий и все тамошнее общество духовных и мирских было очень радо, тем более, что водворение у них Епифания, как они надеялись, скрепило бы теснее московских старообрядцев с ветковскими, в то время, по причине некоторых обрядовых споров, заметно поколебавшееся. Московские употребили все зависевшие от них средства и немалые деньги, чтобы приговор над Епифанием был немедленно исполнен. Епифания высекли плетьми и послали в Соловки, не дожидаясь ответа из Петербурга. Это было 14 февраля.

Замечательно, что Епифания, высеченного плетьми, везут в Соловки на его счет, не по пересылке, как обыкновенно отправляли подобных людей, а на почтовых лошадях (ямских подводах). Правда, его везли скованного, под караулом двух солдат (Николая Лапандина и Семена Честнова), но везли на *двух* подводах: на одной сидел Епифаний с солдатом, на другой его имущество с другим караульным. Не так возили в то время других, посылаемых в ссылку людей. Вероятно, все было предусмотрено и предупреждено старообрядцами.

Повезли Епифания на Ярославль. Несколько старообрядцев, у которых за атамана был некто Артемий Андреев, на вольных лошадях, запряженных в кибитки парами, выезжали из Москвы одновременно с пересыльным Епифанием. Доро̀гой они сказывались купцами и так пригоняли время, чтобы каждый раз останавливаться на ночлег на одном постоялом дворе с колодником. Тогда этапов еще не было: по селам и деревням, да и в самых городах, пересылаемых колодников обыкновенно помещали в частных домах, большею частью на тех же постоялых дворах, на которых останавливались и проезжавшие по своим надобностям. Таким образом и доехали старообрядцы до Ярославля, где и ночевали вместе с Епифанием с 16 на 17 февраля. Чем свет поднялись

они и выехали из Ярославля часами тремя раньше Епифания. Не доезжая первой станции по вологодскому тракту, Вокшерского-Яму, они своротили в сторону, в Коломинский лес, верстах в 25 от Ярославля, и засели вблизи дороги. Одна пара с мнимыми купцами осталась в Ярославле и выехала из города вместе с Епифанием. Ехала она впереди. Зима тогда была снежная, вьюжная, в феврале нанесло большие сугробы; дорога из Ярославля в Вологду была узенькая: ездили по ней гуськом. Когда доехали до условленного места засады,— а это было на рассвете,— передняя пара остановилась, старообрядцы поставили свою кибитку поперек дороги и вывернули оглоблю. Наезжают повозки с Епифанием и солдатами. Ни разъехаться, ни объехать нельзя. Ямщик Дмитрий Иванов, везший Епифания, закричал: «Прочь с дороги! Что̀ стал?» Начались обычные перебранки. Вдруг, заслышав крик Дмитрия Иванова, высыпали старообрядцы из-за леса, кто с дубиной, кто с кольями. А атаман мнимых разбойников, Артемий Андреев, был впереди и кричал:

— Коли их! Руби завертки! Руби гужи! Вяжи солдат!

Окружили повозку; солдаты не защищались. Дмитрий Иванов и другой ямщик, Иван Иванов, стояли у лошадей, понурив головы. Делать было нечего: разбойников много.

— Эй, ты, голоусый! — крикнул Артемий Андреев солдату.— Кто у вас тут сидит?

Солдат не отвечал; Артемий хватил дубиной по кибитке и крикнул ясак:

— Лшипьи, шомуйке! [1].

---

[1] Это на так называемом тарабарском языке, который в известных случаях, а также и в переписке, до сих пор употребляется раскольниками. Это тот же русский язык, но согласные буквы в каждом слове заменяются одни другими, гласные остаются те же. Вот ключ тарабарского языка:

б, в, г, д, ж, з, к, л, м, н,
щ, ш, ч, ц, х, ф, т, с, р, п.

Надо брать *б* вместо *ш*, *щ* вместо *б*, *в* вместо *ш* и т. д. Есть люди бегло говорящие на этом языке. Тарабарский язык давно у нас в употреблении: есть памятник его, относящийся даже к XV веку (см. Востокова, «Описание Румянцевского музея», стр. 255). *Лшипьи! шомуйке! свиньи! воруйте!* Ныне раскольники для секретной переписки, а иные и устно, употребляют три тайные языка: *тарабарский, офеньский и иносказательный.*

Мнимые разбойники мигом выбрали из повозки имущество Епифания. Вытащили и его самого.

— Заколоть его! — крикнул Артемий Андреев.

На Епифания бросились.

— Постой, постой! — крикнул атаман.— Здесь, на дороге, нельзя: кровь на снегу заметят.

И, бросив в сани колодника, умчали его в лес. Остались на дороге два солдата да два ямщика, и сначала придумать не могли, что́ это за разбойники, что у них колодника отбили, а резать в лес утащили.

На другой день, т. е. 18 февраля, и солдаты и ямщики явились в ярославскую провинциальную канцелярию. Оба солдата и ямщик Иван Иванов показали, что у них Епифания воровские люди отбили, а их, солдат, били и увечили. Другой же ямщик, Дмитрий Иванов, на допросе показал и на очных ставках уличал солдат и своего товарища, что они Епифания отпустили своею волею, а воровские люди того колодника не отбивали и воровских людей они не видали. Из этого можно заключить, что Честнов и Лапандин были подкуплены старообрядцами, а также и ямщик Иван Иванов. Солдат отправили

Офеньский — это язык ходебщиков, тряпичников, вязниковцев, которые с тесемочками, пуговками и всяким другим мелочным товаром кустарной промышленности ходят по России от Кяхты до Варшавы. Язык этот образовался более 150 лет и разделяется на несколько ветвей: собственно *офеньский* (во Владимирской губернии), *галиванский* (в Галиче, Костромской губернии) и *матрайский* (в Нижегородской и Рязанской губерниях). Язык этот, подобно языку петербургских мазуриков, приволжских прахов и т. п., искусственный· слова придуманы (например, *стос* — бог, *грутец* — отец, *возгран* — город), а грамматика русская. В иносказательном языке каждое слово имеет не прямое, а другое, условное значение. Нередко соединяют иносказательный язык с тарабарским. Для разговора на таком языке нужно необыкновенно быстрое соображение. Вот пример двойного тайного языка раскольников: «ры туниси лось ца лымую, нмолувиси па мочохтаж и ллынаси ш лулет». По переводу с тарабарского языка это будет: «мы купили соль, да сырую, просушили на рогожках и ссыпали в сусек». На иносказательном языке *соль* значит священник (вы есте соль земли), *сырая* — неисправленный, великороссийский, *сушить* — исправить, совершить прием беглого попа, *рогожка* — Рогожское кладбище в Москве, *ссыпать* — поместить, водворить, *сусек* — часовня, моленная. Таким образом, приведенная фраза означает: «мы достали попа, но не исправленного, исправили его в Москве на Рогожском кладбище и поместили при часовне». Иногда, но это уже только в письме, употребляется тройное тайнописание, т. е. и тарабарское, и иносказательное, и офеньское.

в Петербург, в синод, «для подлиннаго следствия»; затем виновные были преданы военному суду, наказаны шпицрутенами и сосланы в «сибирские гарнизоны».

Между тем как из синода по всем епархиальным архиереям и по всем ставропигиальным монастырям рассылались циркулярные указы (30 марта) «о крепком колодника старца Епифания во всех местах взыскании, о поимке и о присылке его в св. синод, в Москву, под опасным и добрым конвоем»,— Епифаний был уже за рубежом. Везли его однако не торопясь: больше трех месяцев. Отбили его 18 февраля, а доставили ветковским отцам 28 мая. Вероятно, опасаясь розысков по горячим следам, держали Епифания где-нибудь в укромном месте, в самой ли Москве, или в ее окрестностях, а когда опасность поимки на дороге миновалась, повезли свою добычу за рубеж На Ветке были рады дорогому гостю. Игумен Власий и Варлаам Казанский, уже отрастивший бороду в прежнюю меру, думали: «ну, теперь он нас во епископы поставит». Монахи ветковские тому были рады, что теперь, при архиерее, монастырь их еще больше процветет, прославится и разбогатеет от подаяний, как из России, так и от зарубежных старообрядцев. Рады были и причетники и бельцы: «поставит, говорили, нас владыка святый в попы, и жены наши матушки-попадьи будут». Но тогда же среди мирян и другие речи слышались. «Епифан родом из Киева,— говорили они,— мнится, не обливанец ли он, не опоганить бы нам души свои его архиерейством». Вообще водворение епископа на Ветке было, по-видимому, делом одного старообрядческого духовенства — монахов, попов и причетников. Миряне, кажется, были в стороне. Поэтому-то ветковские отцы и не держали пока Епифания в самой Ветке, а поместили его в какой-то пустыньке, бывшей неподалеку. Пришлось старцу, уже девять лет переходившему из тюрьмы в тюрьму, и здесь жить более года почти как в темничном заключении. Скучно было ему; не такой жизни он ожидал. До того была ему тяжела такая жизнь, что он, просидев целый год в пустыньке, писал в Киев письма, прося взять его от раскольников и предавая себя в руки правительства. Письма эти, посланные летом 1734 года, разумеется, секретно и от мирян и от ветковских отцов, имели, как увидим, весьма важные последствия; но не получая на них долго ответа и даже не зная наверное,

дошли ли они по назначению, Епифаний покорился своей участи.

Между тем миряне, проведав, что сидит в пустыньке архиерей, привезенный московскими старообрядцами из Ярославля, стали ходить к нему и допытываться, кто он такой, откуда, какого града был епископом, и, слыша его малороссийское произношение, тотчас же спрашивали: «А тебя как крестили? Обливали или погружали в три погружения?»

А Епифаний действительно, как кажется, был крещен обливательным крещением; и так как был он человек простодушный, бесхитростный, и мог, пожалуй, наговорить приходящим и такого, от чего по людям пошла бы большая молва и крамола, то главные затейщики дела, московские старообрядцы, что́ отбивали его в Коломинском лесу и привезли за рубеж, учили его, как отвечать любопытным и что́ говорить в феодосиевой, ветковской церкви, когда его будут принимать и исправлять. «Когда будут тебя вопрошать: како крещен, обливан ли или погружен, то скажи: «погружен»; а вопросят: ты как ведаешь? — скажи: малые дети, на улице играя, «утопленником» дразнили, и отец и мать дразнили сызмаленька «утопленником».

Был создан собор на Ветке в тамошнем монастыре. Игумен Власий председательствовал, заседали священно-иноки: Иов, Варлаам Казанский, Варсонофий, Исаия, Савва, казначей Павел и рядовые старцы. Было на соборе немало и мирских людей. Совещались о том, как и каким чином принять Епифания. Единогласно решили: приняв Епифания, по исправе и проклятии им всех ересей, требовать, чтобы он рукоположил другого епископа, «да корень епископства возрастает». Затем, не приступая пока к приему, послали верных людей в Петербург, в Москву, в Киев, в Яссы, чтобы подкупами и просьбами добыть верные справки из дел о личности Епифания. Справки собирались довольно долго — более года, а Епифаний все сидел да сидел, как в затворе каком, в пустыньке, скучал, томился неволею, бранился с старообрядцами. «Уж лучше бы было мне в Соловках сидеть, чем у вас, в раскольнической темнице»,— говорил он им. «Потерпи, владыка святый,— отвечали ему,— скоро такого дела сделать не можно». И прежде любил Епифаний выпить, теперь же в горелке отказу не было, только

постное ешь, а пей водку, сколько душе угодно. И стал Епифаний с горя да с печали пить темную, и допился до водянки. Очень стал хворать, а все пил.

Между тем справки о нем верными людьми были собраны. До того, что Епифаний обокрал Козельский монастырь, составлял подложные письма и растлил какую-то девочку, старообрядцам дела не было. Обокрал и обманул он «врагов божьих, никониан»,— рассуждали они — то не грех; девчонка — и это не грех, а только падение; из писания видно, что многие святые отцы впадали в блуд, да угодили богу покаянием. Известный вывод старообрядцев всех толков!.. Важно было для ветковцев то, что Епифаний, по справкам, оказался не самозванцем, что он действительно был хиротонисан митрополитом Георгием. Одного не могли дознаться никакими справками, обливанец Епифаний или в три погружения крещен? А это было всего важнее для старообрядцев: если он обливан, то его следует крестить вновь. А по правилам вселенских соборов, кто крестится вновь, тот хиротонии не сохраняет.

В то довольно продолжительное время, которое употреблено было ветковскими отцами на собрание справок о личности приобретенного ими епископа, они сделали и другое дело. Желая, чтобы отысканный после столь долгих и тщетных ожиданий епископ был принят всеми старообрядцами поповщинского толка единодушно, чтобы не произошло между ними из-за него какого-либо раздора или разделения, ветковские отцы, «да будет то дело общим делом всего христианства древляго благочестия»,— писали в Москву и к старшим отцам на Керженец, а также по городам: в Тверь, в Торжок, в Казань, в Тулу и другие. Все происходило в глубочайшей тайне. С стародублянами сносились не только письменно, но лесами неоднократно ходили к ним за рубеж для совета. С Керженца был получен решительный отказ признать Епифания за епископа. Тамошние отцы писали ветковским, что они «к совету их пристати, яко богу не угодну, не токмо не спасительну, но народодушепагубну отказашась не соизволивше». В Стародубье одни были согласны на прием Епифания, другие — нет; такое же разногласие было и в Москве и Торжке. Но Тверь и Тула согласились; Казань, едва ли не по влиянию керженских жителей, отказалась. Все эти переговоры и ссылки

Ветки с разными старообрядческими общинами продолжались год и два с половиной месяца. Много было денег изъезжено, много денег на поездки и всякие хлопоты истрачено. Наконец, 6 августа, в день Преображения Господня, 1734 года, Епифаний был привезен из пустыньки на Ветку и торжественно принят в старообрядство. Черный поп Иов, старшее духовное лицо на Ветке (игумен Власий не имел священства), привел Епифания к исправе. Принимаемый епископ торжественно, при всем духовенстве и огромном стечении народа, проклял ереси [1] и затем был введен в алтарь Покровской церкви игуменом Власием и Варлаамом Казанским. Не выходя из церкви, он соборне отслужил обедню по старопечатным книгам. Затем, служа довольно часто, он посвятил 12 попов и 6 дьяконов и сварил миро.

---

[1] Вот формула исправы, которую в XVIII ст. читали принимаемые в раскол попы и Епифаний в 1734 г.: «Предстоятель кладет *начало* (семь поклонов), и потом приходящий такожде семь поклонов. Предстоятель начинает, глаголя: «За молитв святых», «Царю небесный», «трисвятое» и по «Отче наш»,— «Приидите поклонимся» трижды, псалом 50: «Помилуй мя, Боже». И поставляет его перед церковью, откровенну главу имуща. И повелит ему исповедатися яве и отрицатися, и укоряти, и проклинати богомерзкую веру, в ней же был. и вся законы их и обычаи, в них же совратишася и осквернишася. И начинает проклинати ереси от яковитов, сице глаголя: «Аз, имя рек от гнусныя яковитов и ханьццарския ереси, и от мудрствующих с латины и приобщающихся отчасти еретическому и папежскому учению — днесь прихожду ко истинному, православному христианския веры закону, преданному от св. апостол и утвержденному богоносными отцы святых вселенских седьми соборов. Прихожду же не от нужды, или беды, или тесноты, или страха, или налога, или некоей вещи, на мя воздвизаемей, или чести ради мирския, и благодарований неких обещаемых, или леностью, или лицемерием, но от всея души и сердца и чиста неблазненна, Христа любяще и того истинныя веры животнаго закона желая получити. Прежде отрицаются мудрствующих и сообщающихся отчасти еретическому учению. Проклинаю отрекшихся Исуса и почитающих его равноухим, верующих во Иисуса и святую аллилуию тройственну четверящих: да будут прокляти. Проклинаю творящих развратно святое крещение, аще и во имя Отца и Сына и Святаго Духа глаголют, но обаче крещают водою во едино погружение, а трижды не погружают, иние же только обливают водою; и почитающих всякое омывание крещением, а в трехпогрузительном нужды несть: да будут прокляти. Аще кто ся не крестит во два перста, яко же и Христос, да будут прокляти. И творимое некое благословение, пятию персты, а Христом преданное двуперстное почитающих от некоего черта изданным: да будут прокляти. Проклинаю богоненавидимую и блуднаго образа прелесть, еже остригати браду, но и всегда поощряющих острига-

Великая была радость на Ветке. Все духовные лица ликовали и много гордились тем, что наконец добыли епископа, имеют наконец святителя и архипастыря. «Нельзя теперь про нас сказать, что церковь наша хрома: все три чина имеем,— и честное дьяконство, и боголюбивых иереев, и самого преосвященнаго епископа»,— говорили они. Попов, рукоположенных Епифанием, немедленно разослали по городам и волостям,— разумеется, за хорошие деньги, данные за то общинами старообрядцев,— и крепко надеялись все старообрядство таким средством подчинить своему влиянию и власти. Одного попа повез в Москву сам Варлаам Казанский, имевший большой вес у тамошних старообрядцев. Игумен Власий со всем собором ветковским приговорили, чтобы Варлаам утвердил всех московских старообрядцев в правильности архиерейства Епифаниева и, подчинив таким образом усиливавшуюся московскую общину

ти брады своя, и усы притинати постригалы и бритвами. Проклинаю вся враги, крест Христов нарицающих «брынским», а кланяющихся латинскому крыжу; иже не исповедуют бескровныя жертвы суща телеси Господа нашего Исуса Христа. Иже аще ясть млеко и яйца в великий пост, в субботу и неделю; с ними же и иную всякую ересь проклинаю, явную и неявную, и иже прежде соборов, или послежде на церковь благочестивую восташа и люди Господни отсекати и отторгати начинающе, вся еретицы сопротивно мысляще святым всея вселенныя седьми соборов: да будут прокляти».

«И вопрошает предстоятель: «обещаешилися Христу?» И отвещает имя рек: «обещаваюся Христу». И глаголет: «верую во единаго Бога Отца» весь до конца, трижды, «Господи помилуй» сто; и паки глаголет: «И тако верую и исповедую святую единосущную Троицу истинною любовию, всею душею моей, и всем сердцем моим, и всем помышлением моим, не имея в себе никакого лукавства. И тако покоряюся и прилагаюся благочестивому преданию святых отец, право исправльших слово истины, иже на всех седьми соборех вселенских и поместных. И такого причитаюся святей и апостольской церкви, единомудренно со всеми правоверными, душевное тщание имея, требую совершенно святым, истинным покаянием очищения от всех еретических совращений и осквернений, всяких прегрешений плотских и душевных. Еще же желаю, со страхом и трепетом и радостию сердечною, причастник быти святых и животворящих таин тела и крове Христа Бога нашего, яко да будет ми во освящение души и телу моему, и до кончины живота моего в наследие живота вечнаго царствия небеснаго, молитвами Пречистыя Владычицы нашея Богородицы и присно девы Марии и всех святых, иже от века Богу угодивших. Аминь» (Рукописный сборник конца XVIII столетия, писанный на Иргизе). В XIX или в конце XVIII столетия эта формула несколько изменена. Она будет приведена в своем месте.

Ветке, приезжал как можно скорей домой, где Епифаний должен был хиротонисать его во епископы. Таково было желание и мирян Ветки, изложенное в особом приговоре, заручённом многочисленными подписями.

Скучно было Епифанию у старообрядцев. Десять лет он уже архиереем и почти все десять лет провел в тюрьмах киевских, московских, в петербургской крепости, в Соловках, а потом еще год и два с половиной месяца в пустыньке, где его тоже держали почти как колодника. Не лучше ему пришлось и в самой Ветке. Он был совершенно чужд раскольникам, не только не разделял их убеждений, но, и став во главе их, кажется, довольно смутно понимал, из-за чего они отделились от церкви. Все разъединяло его с новою его паствой: и образ жизни и привычки. Сердце его лежало к Киеву, а тут должен был он выстаивать длинные службы, к которым не привык в Киеве, вести строгую жизнь и ни под каким видом не давать воли своему веселому, пылкому характеру. Тоска по родственникам мучила его, и хотя ветковские девицы, по отзыву самих старообрядцев, не отличались целомудрием, а Епифаний был охотник до женщин, но за епископом зорко следили сотни глаз, и ему решительно было невозможно завести с какою-либо ветковскою красавицей нежных отношений. А больше всего противны были Епифанию обряды ветковцев. Уже был он принят ими в общение, уже служил обедни и рукополагал попов, как два униата, жившие по соседству с Веткой, перешли в раскол и, как обливанцы, на основании заповеди Филарета патриарха, перекрещены старообрядческим попом в три погружения. Противно на это было смотреть Епифанию. Когда новокрещенные выходили из церкви, позвал он их к себе в келью и принялся кричать, понося их непотребными словами: «Благочестивое крещение,— говорил он им,— отложили, раскольничьим крестились во второе. А первое-то вам разве не крещение было?»

И был большой соблазн от того на Ветке. Пошли об этом слухи и на сторону. «Какой же это епископ? — говорили миряне,— это не пастырь, а волк». Много журили ветковские отцы своего епископа за такую выходку. Епифаний отмалчивался. Оттого-то и хотелось ветковским отцам, чтобы он поскорей посвятил им Варлаама. Тогда бы бог с ним, с Епифанием; дали бы ему

денег и пустили бы на все четыре стороны: иди, куда знаешь,— и зажили бы с своим епископом, от всей души и всего сердца преданным старому обряду.

Не понравился Епифаний иноку Афанасию, древнему старцу, живущему в Ветке с первых годов ея существования. При самом заведении Ветки был он уставщиком, а когда поп Феодосий освящал Покровскую церковь, он надписывал антиминс старицы Мелании. Больше сорока лет был Афанасий уставщиком, знал правила и уставы лучше всех, строго наблюдал за совершением «уставной службы» в ветковской церкви и теперь, на старости лет, увидя, как старые уставы нарушаются завезенным на Ветку епископом, много ссорился с игуменом и отцами и, не стерпя больше «злочиния церковнаго», ушел из Ветки в Россию. Афанасий пробрался в Москву, где Варлаам Казанский утверждал тогда старообрядцев в правильности епифаниева епископства. И в Москве, в Гуслицах[1] ходил старец Афанасий из дома в дом и рассказывал старообрядцам, что делается на Ветке с того дня, как владыкою тамошним учинился Епифаний. Он утвердительно называл его «ведомым обливанцем»; много говорил и против Варлаама Казанского, главного поборника епифаниева, ходившего с попом его поставления. «Блюдитеся,— говорил старец,— блюдитеся опасно их, яко не сущим попам им, но волкам». А Варлаама знали и почитали в Москве очень многие; знали его и по городам окол‌омосковным и по волостям. Везде у него было много духовных детей, и его очень уважали за строгую, подвижническую жизнь, за горячую преданность старым обрядам и «древлему благочестию», за его слово учительное, «преизящно философиею и мудростию христианскою украшенное». Ходя с епифаниевым попом из дома в дом, ночуя то там, то тут, он каждое утро, восстав от сна, и каждый вечер, ложась спать, по молитве, сначала сам благословлял своего спутника, а потом от него принимал благословение. И делал это всегда так, чтобы все видели и не сомневались бы о попе епифаниева рукоположения: такой же-де он, как и я, поп. Служа всенощные и молебны по домам старообрядцев, Варлаам всегда на

[1] Гуслицы, или Гуслицкая волость, в Богородском уезде, Московской губернии, почти сплошь населенная раскольниками поповщинского толка.

ектениях поминал епископа Епифания, и если кто из его духовных детей изъявлял хоть малейшее сомнение в правильности епифаниева архиерейства, тому он с яростью говаривал: «Проклят буди, кто из сынов моих духовных и дщерей к епифаниевым ставленным попам не пойдет под руку и на дух! Бог благословит! Мы рачим и стараемся, чтобы священство умножить и благочестие расплодить, а вы мятеж чините!» Но как ни велик был авторитет Варлаама, а много в Москве и Гуслицах явилось сомневающихся в Епифании. Стали толковать уж и о том: «да уж сохранилось ли древлее благочестие на Ветке, не пошли ли старообрядцы за рубежом широким путем никонианства?» А это все уставщик Афанасий рассеивал сомнения. Немало употребили московские и гуслицкие старообрядцы денег на то, чтобы собрать под секретом самые точные справки об Епифании в синодальной конторе и списать копии со всех дел, о нем производящихся. Нашли, что действительно он посвящен ясским митрополитом во епископы, а обливан он или крещен в три погружения, того доискаться не могли, а между тем молва, что Епифаний-обливанец, росла более и более. А распускал ее все тот же Афанасий.

Раз, в Гуслицах, призвал Варлаам Афанасия к себе на квартиру. Афанасий не ухоронился, пришел.

— Как ты смеешь,— закричал Варлаам,— учить моих детей духовных, чтобы не ходили они к попам епифаниевым? Как ты смеешь их волками нарицать?

— Волки они и есть,— смиренно, но решительно отвечал Афанасий.

Пылкий Варлаам не вытерпел, схватил палку и начал колотить седого, дряхлого старика. И бил его, сколько хотелось. Афанасий, по иноческому смирению, не защищался от ударов, но, как ни горячился, лютуя над ним, Варлаам, Афанасий кротко, но громко, одно говорил:

— Волки они, а не пастыри стада Христова, и Епифаний-обливанец такой же волк!

Были свидетели этого происшествия. Слух о побоях, претерпенных престарелым ветковским уставщиком от дюжей руки Варлаама Казанского, распространился по Москве и по всей Гуслицкой волости. Пали вести о том и на Ветку. Нигде не хвалили Варлаама, и еще сильнее

пошло сомнение в правильности епифаниева архиерейства. На Ветке также произошел большой раздор из-за него. Мы уже сказали, что прием Епифания был делом попов и монахов: миряне мало принимали в нем участия. Теперь, когда пошли слухи об его обливанстве, о том, что он не настоящий архиерей, не такой, какой им требуется,— миряне заволновались. Поступок Епифания с униатами (быть может, и действительно Епифаний на тот раз выпил лишнюю чарку горелки, как старались оправдать его отцы перед мирянами) увеличил ропот, волнения и раздоры. Во главе врагов Епифания стал некто Заверткин, крепкий ревнитель «древляго благочестия», сбежавший за рубеж с уральских заводов, куда пришел с Керженца, друг и почитатель Афанасия-уставщика. Он всенародно порицал Епифания, называя самый прием его великим соблазном для всей старообрядческой церкви и браня ветковских отцов, еще державших сторону своего епископа. Он и другие миряне укоряли Власия и соборных старцев за то, что они такого волка пустили в стадо христово, твердо пребывавшее дотоле в «древлем благочестии». С каждым днем более и более народа стало чуждаться Епифания, а рукоположенных от него попов и дьяконов не пускали близко и к домам своим, и стали отбирать у них даже силою данные им от Епифания ставленные грамоты. Были и такие миряне, которые преданы были Епифанию. «И бысть,— говорит Иона Курносый,— мятеж и молва на Ветке не мала: сталось разделение между собою у них даже до драки». Сойдутся, бывало, противники на улице; одни станут похвалять Епифания и хвастаться тем, сколь великую славу получило место их, благоспасаемая Ветка, от водворения в ней епископа, а принадлежавшие к совету Заверткина пойдут спорить и укорять их, говоря, что Епифаний — обливанец и сущий еретик, не пастырь добрый, а евангельский волк в овчей шкуре. Пойдут споры, книги из домов вытащат, от писания доказательства каждый свои читает, а толпа увеличивается, и словопрение обыкновенно оканчивалось тем, что спорщики примутся в кулаки да за дубины, и пойдет свалка и бой. Бывали и тяжкие увечья, даже смертоубийства из-за Епифания. И день за день таково было на Ветке. Епифаний перестал служить, ибо Заверткин и его сообщники громко кричали на улицах:

«за волосы его, пса, вытащу из святого алтаря, убью до смерти, только смей он служить».

Некоторые из братии, особенно же казначей Павел, сами стали сомневаться в искренности перехода в старую веру Епифания и в том, что он крещен правильным крещением, и стали сознавать вины свои, говоря, что не дело сделали, с такими хлопотами и издержками добыв себе нехорошего епископа. Епифаний сидел в своей келье, как заточенник, пил и перебранивался, но всегда с обычным своим добродушием.

По старообрядческим общинам в Великой России тоже немало было споров и толков по поводу епифаниева архиерейства. Керженец, Казань, Поволжье, Демидовские заводы — еще более утвердились «в своем противлении новопреданному архиерейству». В Москве и в Гуслицах произошло большое разделение, и с каждым днем редели ряды людей, бывших сначала за Епифания. Варлаам, побив Афанасия, много потерял авторитета. Тверь, Торжок и Ржев были совершенно равнодушны к делу. Стародубье почти поголовно отступилось от Епифания.

Ветковские отцы лучше других, отдаленных от них одноверцев знали поведение своего епископа. Но, чтобы не погрешить, решились они предварительно искусить своего архипастыря. Главное, хотелось им выведать от него, обливан он или в три погружения крещен; еще хотелось узнать, искренно ли он принял старообрядство и не держится ли в тайне никонианства, исполняет ли установленные посты, келейное правило и другие уставы. Хотя они, после соблазнительного поступка Епифания с униатами, после ропота мирян и укоров Заверткина с товарищами, значительно охладели к Епифанию, но совершенно отступиться от него и торжественно, перед всем народом, сознаться в вине своей, в той опрометчивости, с которою они приняли его к себе за архипастыря, решились не прежде, как по совершенном уверении в том, что он действительно обливанец, или что не исполняет положенных правил принятого им старообрядчества. Призвал к себе казначей Павел епифаниева келейника и говорит ему:

— Искуси ты его, не пожелает ли курочки ясти?

Келейник, истый ветковец, принялся за искушение. Говорит однажды он сидевшему, как в темнице, воли

и власти не имеющему епископу и крепко разболевшемуся:

— Неможешь ты, святый владыка, все хвораешь, худо кушаешь. Не желаешь ли курочки жареной?

— Сведают ваши,— грустно отвечал Епифаний,— крамолить будут. Ведь у вас епископы не вкушают...

— Я не монах, а белец,— отвечал келейник,— мне можно есть курочку. Повели, владыка святый, я, пожалуй, припасу, как бы про себя, а ты и покушай.

Лакомый епископ охотно согласился на предложение келейника. Давно не едал он вкусной пищи. Келейник так и сделал, как говорил. Сжаривши монастырскую курочку, подал на стол епископу; но в то самое время, когда Епифаний занялся запретным блюдом, по знаку, неприметно для него данному искусителем-келейником, вошли один за одним казначей Павел с другими старцами. Вошли, посмотрели и, слова не сказав, пошли вон из кельи, будто за надобностью какою приходили, да не вовремя. А Епифаний, как скоро они ушли, пеняет келейнику:

— Что бы тебе дверь-то запереть, а ты не запер.

А келейник его, как малого ребенка, уговаривает:

— Ничего, владыка святый. Ты ведь больше их — они тебе не указ.

Епифаний согласился с келейником.

Казначей Павел с прочими свидетелями соблазнительной трапезы ветковского епископа не пустили дела в огласку. Им нужнее всего было то, чтобы наверное узнать, обливан Епифаний или погружен, и действительно ли он привержен к старообрядству. Дали келейнику, которому добродушный епископ совершенно вверился, новое наставление.

Однажды Епифаний, здоровье которого таяло, как свечка, сидел грустный, задумчивый. Подошел к нему келейник.

— А что̀, владыка святый, спрашивает, есть ли у тебя родственники в Киеве?

Этот вопрос за живое тронул Епифания. У него вся душа была в родных. Сердце у него было доброе и доверчивое, и пустился он в откровенные разговоры с келейником.

— Есть же, кажу,— отвечал он со вздохом,— есть племянники и внучата есть...

На то келейник ему:

— Худое тебе житье здесь, владыка. Не взлюбили тебя и попы и старцы.

— И сам я вижу, что не взлюбили,— отвечал Епифаний,— и что́ делать, право, не знаю и не придумаю.

— Да напиши ты к своим письма,— сказал келейник,— уведомь о себе, что жив. Они о тебе обрадуются и попекутся о тебе.

«Прост он был человек,— замечает, передавая этот разговор, Иона Курносый,— поверил келейнику». Сейчас же сел за стол и стал писать письмо. Написав, говорит:

— Я, кажу, написал, да с кем пошлю?

— Поверь мне, владыка, письмо твое,— сказал келейник,— я добрых людей отыщу.

Доверчивый, простодушный Епифаний отдал письмо, а келейник прямо его к казначею Павлу.

Читают ветковские отцы письмо Епифания. Пишет он, «как раскольники его обольстили, и как разбоем на пути отнят, и как в Польшу его препроводили и привезли до своих *еретических вертепов*, где церковь их и раскольнический монастырь и слобода жителей-раскольников. «Учинили меня раскольники епископом, и поставил им по их просьбе двенадцать попов и шесть дьяконов, чего душа моя раскольников из младенчества ненавидела. Они же меня и возненавидели и держат под караулом. И не иное что́ помышляю себе от них, токмо как смерти».

Тогда на Ветке и последние оставшиеся у Епифания сторонники отступились от него. Но нашлись благоприятели в ином месте.

Неподалеку от Ветки было местечко (ныне уездный город) Гомель, населенное тоже русскими выходцами, раскольниками. Гомельские старообрядцы и численностью, и богатством, и связями превосходили ветковских, но Ветка все-таки была как бы столицей всего старообрядства, ибо в ней одной была церковь, в ней одной служилась обедня. Пребывание при ней архиерея еще более возвысило эту слободу, и Гомелю при всем богатстве невозможно было с нею соперничать. Завидуя Ветке и не будучи очевидцами соблазнов, которые там производил Епифаний, но узнав об охлаждении к нему ветковцев, миряне Гомеля предложили ему переселиться

к ним. Епифаний с радостью согласился. Построили они деревянную церковь, во всем подобную ветковской; епифаниевы попы освятили ее во имя Преображения Господня, а Епифаний, еще до размолвки с ветковскими отцами освятивший несколько антиминсов, послал один для гомельской церкви. Когда ветковские миряне стали чуждаться попов и дьяконов епифаниева рукоположения, гомельские жители приняли их всех и решились во что бы то ни стало сделать свою Преображенскую церковь кафедральным собором старообрядческого епископа. И усиленнее прежнего звали Епифания к себе. Но Ветка не давала его, ибо не дешево ей стоил Епифаний. Гомельские жители хотели купить у ветковцев архиерея и денег не жалели, но ветковцы не брали никаких тысяч за Епифания, предвидя, что, в случае приобретения гомельцами епископа, много убавится блеска у ветковской церкви.

— Да отдайте же нам епископа Епифания, когда вам не надобен,— говорили гомельские старообрядцы.

— Не отдадим. Он ваши души опоганит, потому что он обливанец. Погибнете вы душами вашими, когда его возьмете,— отвечали ветковцы.

— Не ваше дело; коли грех, так тот грех на нас будет. Отдайте Епифания и берите что́ хотите.

— Не надо нам никаких тысяч,— стояли на своем ветковцы,— а Епифания-обливанца не отдадим, греха на себя не примем: соблазна в вас не усилим; сказано бо в св. писании «горе тому человеку, им же соблазн в мир придет, унее тому человеку, да обесится камень жерновый о выю его и ввержится в море». И под такою клятвою самого Господа нашего Исуса Христа быть мы не хотим и обливанца-еретика вам в пастыри не отдадим.

И много было ссоры, много раздора и крамолы между ветковскими и гомельскими старообрядцами; нередко бывали между ними и драки. Священнодействовавшие в гомельской Преображенской церкви попы, особенно же белый Иоаким и черный Матвей, оба рукоположенные Епифанием, стали во главе гомельцев. Приехав из Москвы, Варлаам Казанский много уговаривал ветковцев отдать Епифания гомельцам, когда им не угоден. Ветковцы и слушать не хотели. Тогда гомельские слобожане, желая, чтобы в наступающий великий четвер-

ток (3 апреля) Епифаний сварил в их церкви миро, собрались в вербное воскресенье (30 марта) и пошли к Ветке — вооруженною рукою добывать мироварителя.

Но дело вдруг приняло неожиданный оборот: 1 апреля 1735 года не стало ни Ветки, ни Гомеля, ни епископа Епифания.

Мы уже сказали, что летом 1734 года, когда не принятый еще в старообрядчество Епифаний проживал в пустыньке, он, стосковавшись по горячо любимым племянникам и внучатам, писал к ним в Киев письмо. В это письмо вложил он другие два: одно к старинному своему приятелю, духовнику софийской кафедры Иакову, другое к самому Рафаилу, тогдашнему архиепископу киевскому. Епифаний, кажется, не сознавал вполне своей виновности ни перед церковью ни перед правительством и писал эти письма, прося взять его от раскольников и поставляя условием, чтоб ему «при софийской кафедре житие иметь свободное, по-прежнему» (то есть как было до первого побега его в 1724 году). С кем и как отправил он эти письма, мы не знаем, но, не получая на них долго ответа, он наконец в августе принял старообрядство, ставил попов, святил миро и антиминсы, и, разумеется, не сказывал никому про посланные письма. А дело по поводу их в Киеве и в Петербурге шло своим обычным чередом. «Неведомый человек», то есть, по всей вероятности, племянник или внук Епифания, подал письма духовнику Иакову, а духовник — архиепископу 12 июля 1734 года. Через два месяца, 18 сентября, Рафаил донес об этом синоду, и потом вследствие синодского указа писал к Епифанию письмо и звал к себе в Киев. Это было уже в начале 1735 года. Через кого киевский архиепископ пересылался с старообрядческим ветковским епископом, и получил ли даже последний письмо от Рафаила, не знаем; но известно, что Епифанию никак не удавалось, по приказу Рафаила, секретно уйти от старообрядцев. В это время из-за него разгорелась вражда между Веткой и Гомелем, и ветковцы держали несчастного Епифания в келье, как в тюрьме, уже совсем безвыходно. Хотя и не знали они, что Епифаний хочет бежать в Киев, но крепко боялись, чтобы он не ушел в Гомель.

Когда в Петербурге узнали о пребывании Епифания на Ветке, правительство Анны Ивановны озаботилось

не столько о «колоднике Епифании, скраденном воровскими людьми в Коломинском лесу», не столько о том, что у старообрядцев явился наконец давно желанный ими архиерей, сколько о зарубежных раскольнических поселениях. Уже несколько лет знали в Петербурге, что в одних слободах Ветковских живет более 40 000 беглых русских людей, и сверх того заселены такими же беглыми старообрядцами слободы в Киевском воеводстве по реке Припяти, на Волыни, в окрестностях Житомира и Новгорода-Волынского, в Подолии, по берегам рек Буга и Днестра и даже в Бессарабии и Молдавии. Не столько политические, сколько экономические соображения побудили русское правительство внимательнее заняться этим делом. Еще в 1733 году именем императрицы Анны Ивановны было объявлено зарубежным раскольникам, чтобы они возвращались в Россию безбоязненно, что государыня вины их им отдает и их совершенно прощает. Но ни один из зарубежных старообрядцев не воспользовался этим приглашением; напротив, многие из старообрядцев, живших в России, избегая тяжелых податей и частых рекрутских наборов, значительными толпами устремились за границу. В 1734 году приглашение было повторено, но также безуспешно. Тогда решено было принять самые энергические меры относительно ветковских слобод и во что бы то ни стало возвратить бежавших туда на родину. Польша в это время давно уже отжила красные дни свои и быстро клонилась к падению, раздираемая внутренними междоусобиями. Политические обстоятельства благоприятствовали правительству Анны Ивановны: в 1733 году умер польский король Август II и начались обычные шляхетские рокоши и усобицы в Речи Посполитой по случаю избрания нового короля. Для поддержания кандидатства саксонского курфюрста Августа против Станислава Лещинского, поддерживаемого Францией, императрица послала в Польшу русские войска под командою фельдмаршала Ласси. Русские заняли самую Варшаву; наше войско стояло и в Литве и в Польше, и русское правительство распоряжалось за литовским рубежом, как у себя дома. Не считали нужным и входить в какие-либо дипломатические сношения: просто велели полковнику Якову Григорьевичу Сытину, стоявшему с своим драгунским полком в Стародубье, «очистить Ветку», для

чего и дали ему под команду отряд, состоящий из пяти полков. С ними, в феврале 1735 года, Сытин перешел границу. Это никого не удивило: ни коренных жителей Белорусского края, ни раскольников.

Московские старообрядцы предостерегали ветковцев. Но на Ветке не все послушались этих предостережений. Впрочем, многие ушли далее: на Волынь, в Подолию и даже в Молдовлахию. Февраль и март полки Сытина переходили вокруг Ветковских слобод из селения в селение, а в этих слободах никто и не догадывался, что опасность действительно близка и неизбежна. Полки окружают наконец слободы со всех сторон, а между Веткой и Гомелем идут ссоры и драки из-за Епифания, и сам виновник этих ссор, больной, измученный душевною пыткой, сидит взаперти и ждет не дождется, как бы убраться куда-нибудь из Ветки.

Марта 30-го гомельские жители, как уже сказано, пошли на Ветку отбивать вооруженною рукой для своей церкви святителя Епифания. Но дорóгой видят они на другой день, что полки Сытина со всех окружных мест двинулись и идут на Ветку и на другие слободы. Спрашивает гомельская рать у солдат, куда они идут? — «Поход сказан в Белую-Церковь»,— отвечают солдаты. Поход в «Белую-Церковь» действительно был нарочно неверно объявлен солдатам, чтобы они не разболтали настоящей цели похода. А Сытину надо было отвлечь внимание раскольников, а затем внезапно и разом окружить слободы, чтобы врасплох захватить всех слобожан без изъятия. Гомельцы, однако, видно, догадались, к чему идет дело, и воротились домой. Рано утром 1 апреля Ветка была окружена войсками. К Покровской церкви и к монастырю приставили караулы, отцов привели к Сытину. Епифаний был в числе их.

— Где ваш епископ? — строго спросил командир у отцов ветковских.

Они указали на Епифания. А этот стоит ни жив, ни мертв, не понимая, чтó вокруг него делается. Сытин подошел к Епифанию под благословение и сказал:

— Ты не бойся, преосвященный, государыня послала нас тебя выручить.

Епифаний ожил. Радостью загорелись его живые, черные глаза. Перекрестился он и сказал с низким поклоном Сытину:

— Слава богу! Благодарю нашу всемилостивейшую государыню и век должен за нее бога молить.

Отцов рассадили по кельям под караул, а Епифанию дали некоторую свободу и обращались с ним почтительно, как с действительным архиереем.

Когда рассвело, вошел Сытин в Покровскую церковь и велел выносить книги и записывать число их, а также образа, ризы, сосуды, снял с колокольни колокола и запечатал церковь. Всего в слободах захватил он сорок тысяч народа. Таким образом совершилась *первая ветковская выгонка.*

Епифаний был крепко нездоров. У него, как уже было сказано, развилась водяная болезнь. С конвоем, состоявшим из драгун, под командой поручика, отправили его в Киев, но имущество осталось на Ветке: 250 рублей денег, одежда разная, серебра на 300 рублей, саккос, омофор, митра. Доро́гой обращались с ним хорошо, поручик и солдаты называли его не иначе, как преосвященным; вообще были внимательны к нему, предупредительны. Поручик был особенно почтителен к Епифанию; по всей вероятности, он и не знал, что сопровождает лишенного сана иеромонаха, и считал его за действительного архиерея. Добродушный Епифаний искренно полюбил поручика и доро́гой, откровенно разговаривая с ним о своем житье-бытье у раскольников, со слезами благодарил императрицу за то, что приказала она его выручить, по его выражению, из того вертепа, в котором был он два года, яко Даниил во рве львином. Бедняк был и в самом деле уверен, что войска приходили в Ветковские слободы единственно для его выручки. В первых числах мая привез его поручик в Киев. Здесь Епифания посадили в крепость. Тут только увидал он, что не жить ему свободно при софийской кафедре, на что он так сильно надеялся. Такое разочарование до того потрясло больного старика, что он слег в постель и уже не вставал. Мая 31-го написал он письмо к архиепископу Рафаилу. Говоря, что чувствует приближение смертного часа, Епифаний просил прислать к нему духовника. Его исповедали, приобщили, и на другой день он умер. Так кончилась многомятежная жизнь Епифания, исходившего русскую землю от Дуная до Белого моря и пересидевшего в десяти тюрьмах, не считая пустыньки и Ветки.

Умирая, он все просил, чтобы взять оставшееся у него на Ветке имущество и отдать его племянникам и внукам. Добрый старик не позабыл и приласкавшего его дорогой поручика. У него ничего не было в крепости, кроме пуховых подушек. Он завещал их офицеру.

Епифания схоронили возле церкви св. Феодосия в Киево-Печерской крепости. Отпевали, как мирского человека.

Варлаам Казанский, самый горячий, самый ревностный защитник Епифания, остался верен ему и по смерти.

Будучи выслан в Россию, он поселился с попами епифаниева поставления и с большею частью гомельских приверженцев покойного в слободе Клинцах. Сюда перевезли они гомельскую Преображенскую церковь и в двух верстах от слободы, рядом с нею поставили другую — во имя Николая Чудотворца. При этих церквах устроили старообрядческий Николо-Пустынский монастырь, существовавший до пятидесятых годов нынешнего столетия. Варлаам клятвенно всех уверял, что Епифаний старообрядство принял искренно и умер, не приняв перед смертью православного священника. То же проповедовали и попы епифаниева поставления, Иоаким и Матвей. Последний был настоятелем Николо-Пустынского монастыря Они певали по Епифании панихиды, как по епископе «древляго благочестия», и даже распускали молву, будто он принял кончину мученическую, крепко стоя за старую веру. Скоро огласили его святым и начали ходить в Киев на поклонение его могиле. Варлаам жил не более года в Стародубье. Когда узнали о его прошлом и о том, какое значение имеет он у раскольников, его арестовали и, по определению синода, 11 февраля 1737 года отправили в заточение в Нижегородский Печерский монастырь, где он и умер.

Попы Иоаким, Матвей и другие, поставленные Епифанием, продолжали священнодействовать в Клинцах. В этом посаде число принимавших правильность епифаниева архиерейства до того было значительно, что в 1789 году они выстроили в посаде еще церковь Михаила Архангела, которую и освятил 10 февраля беглый от великороссийской церкви поп, Данила Воскобойников. Поп епифаниева поставления, Иаков, дожил в Клинцах до 1790 года. Он был последним.

Почитавшие за свято память Епифания и принимавшие попов его рукоположения в XVII столетии были известны под именем *епифановщины*, где образовалось их средоточие. Немало их было в возобновленной Ветке и других зарубежных местах, были в Москве и в Гуслицах. Явились они даже и на Керженце, где при жизни Епифания и слышать о нем не хотели. В Никанорной обители Оленевского скита (Семеновского уезда, Нижегородской губернии), уничтоженной в 1853 году, до последнего дня существования этой обители свято сохранялась память Епифания, и его имя было записано в синодиках рядом с именем Павла Коломенского. Такие синодики случалось нам видеть у некоторых старообрядцев Владимирской, Московской и Черниговской губерний.

В настоящее время, когда возникла в Белой Кринице старообрядческая иерархия, известная более под именем *австрийства*, добрая память о добродушном Епифании восстановлена во мнении всех принявших эту новую иерархию. Они не хотят верить, чтоб Епифаний тяготился своим положением на Ветке, чтоб он тайно переписывался с Киевом, даже с самим Рафаилом и чтоб умер, возвратившись в недра православной церкви. Их немало не соблазняет его обливанство, так много смущавшее их прадедов, они совершенно об этом умалчивают и представляют Епифания великим святителем, положившим душу свою за овцы своя, мучеником, страдальцем за «древлее благочестие» и за старый обряд. Так, например, в новое сочинение об основании белокриницкой иерархии, написанное недавно (в 1861 году) и уже весьма распространенное между старообрядцами, введен следующий рассказ об Епифании. «К достижению же сей цели (отыскания архиерея) предпринимали разныя средства. Первыя покушения у наших христиан для отыскания епископа были еще в царствование Петра I, для чего они обращались в Молдавию и Грецию, но безуспешно. Потом достигли своего желания. Рукоположенный в Молдовлахии ясским митрополитом Антонием, в 1724 г., епископ Епифаний обратился в нашу православную веру и, по общему всех ветковских христиан согласию, принят был в Покровском монастыре, что на Ветке, священником Иовом, в лето 7232 (1724?). И по принятии, епископ Епифаний совершил божественную

литургию и отправлял святительскую должность: он рукоположил до четырнадцати человек в священнослужители, то есть в попы и дьяконы. Но как только разнесся об этом слух, то вдруг на сего православнаго епископа наведено со стороны правительства строжайших преследование; он был взят и после разных изнурительных последствий скончался в Киеве. Рукоположенные же им священники действовали даже до конца жизни».

Не так смотрели на Епифания его современники. В XVIII столетии значительное большинство старообрядцев поповщинского толка и в России и в зарубежных местах нимало не уважали памяти Епифания, и в некоторых раскольнических сочинениях Ветка подвергалась сильным укорам за принятие этого епископа.

Вот, например, что̀ говорил лет через пятьдесят после Епифания Иона Курносый, который может считаться отголоском не только Керженца, где он писал свое сочинение, но и вообще старообрядцев по поповщине, живших в восточной части Европейской России: «Нынешние епифаняне попы и последующие им и поныне исчезнувшу Епифанию в отступлении, веру к нему мертвому душою и телом, яко ариане Арию, в проходе пораженну, главу в порты забиту, веру храняху, сице епифаняне к Епифанию. А понеже отцы наши (керженские) до приему Епифаниева ветковских попов согласия отказашася и причастия их служения приимати отрекошася и во время требования совета к приятию Епифания за епископа отказашася и общим советом положиша ездящим в Москву к попам московским под руку ко благословению не ходити, и во время их служения за службу молитися, не ходити, ни с детьми духовными их ни ясти, ни пити, ни молитися, якоже и было, и быти неотложно сему узаконению тверду быти. Но понеже, яко же пишется, пастырем о овцах небрежение и людское ко священником непокорства належание, зане вси по своей воле ходят, особливо здешний народ, не хощет время плачевное призвати — время опасное сетовное. Пользовахомся священством, священниками, священноиноками, и иноками честными и инокинями, глубокою старостию и сединами и разумом духовным украшенными, егда быша священноинок Никифор, священноиерей Иоанн (иже потом от Никифора пострижен священноиноком) Иов и с ним Василий Торжковец и по них Иаков Варламов, не

ошибиться бы, мнится Авраамием Галицким принятый, но много разнства видится от тогда бывших священников и от сущих ныне. Тии сами не хотяще своя души погубити, знавше премену благочестия оставляюще приходы, приходяще ко священноиноком, священником и иноком, хотяще токмо при них спасти своя души, а не наствити, учитися, а не учити; и по усмотрению отец умоляеми, народныя ради пользы и принуждаеми нужды ради спасительная исправлять и не хотяще; а вынешних посылают искати яко на положенное и припасенное. Сыскав умоляем: «Поедем, речем им: видно, скудное житие твое, а у нас и тысящи нажить можешь». И привезши соборуем: како исправим. И аще мы до глубокой старости ищем их по подобию, яко по чужим житницам не зерны, но охоботие и паздерие собираем, а младыя дети где полчати будут и сыскивати, что не от обливанцев? Все говорим: «невозможно без попа быти: Господь не умирает и священство его не престает». Подлинно у епифановщины не перестанет. Почто перестать? Вся вселенная полна попов, не токмо попов, но и большаго чина всякаго полна вселенная, церковного причта».

Еще сильнее были укоры со стороны беспоповщинских раскольников, например, Ивана Алексеева в «Истории бегствующего священства». Многие самые горячие приверженцы Епифания и поставленных от него попов стыдились через некоторое время сознаваться, что они когда-то принадлежали к согласию епифановщины.

V

АФИНОГЕН

Как падение старого Керженца способствовало возвышению Ветки, так, в свою очередь, падение Ветки было причиною быстрого возвышения слобод Стародубских. Здесь поселилась бо̀льшая часть выведенных Сытиным из-за литовского рубежа старообрядцев. До того в Стародубье мало было попов, и жившие в тамошних лесах старообрядцы так одичали, что более походили на каких-то грубых инородцев, чем на русских людей. Грамотных у них вовсе почти не было, и кто с трудом и запинаясь на каждом слове умел читать «Часослов», тот считался

уже великим богословом. Старики правили службу только по «Часослову» и «Псалтыри», других книг и знать никто не хотел. Так, когда однажды в слободу Злынку привез один старообрядец из Москвы старопечатный «Октоих» и велел читать по нем канон, то едва успели сказать начальные слова первой песни: «Колесницегонителя Фараона погрузи», поднялся страшный шум. «Что̀ это за книга? — кричали злынковские старообрядцы,— зачем она здесь? Что̀ в ней за колеса да фараон? Это по новой вере! Это книга никонианская, еретическая. В печь ее, да сжечь!» Когда же поселились здесь ветковские раскольники, жизнь в Стародубье изменилась: явились промышленность и торговля, завелись вскоре и фабрики. В Клинцах особенно развилась фабрикация сукон Начались деятельные сношения с Москвой и Петербургом, явились значительные капиталы. Построение церквей и появление попов в достаточном количестве придали большой блеск Стародубью, и оно сделалось средоточием всей рассеянной по Руси и по зарубежным местам поповщины. Неблагосклонно смотрели, однако, коренные стародубляне. Когда зарубежные выходцы стали у них в слободах ставить церкви, они возроптали и произвели мятеж. «Зачем нам церкви? — говорили они.— Наши отцы от церкви из России ушли; у нас церквей слыхом не слыхано, видом не видано, а ныне церкви и в наших местах строят»,— и чуть не сожгли их. Когда в новопостроенных церквах начали служить обедню, большой ропот опять поднялся от коренных жителей Стародубья.

— Что̀ это за поп? — говорили они.— Сам причастье работает! Разве это можно? У нас было причастье старое, а это все новая вера!

Спустя несколько лет смягчились немного нравы стародубских дикарей, и они мало-помалу слились с зарубежными пришельцами в одни общины. Упорных осталось немного. Но в некоторых слободах все-таки никак не могли решиться на постройку церквей, довольствуясь часовнями, хотя и имели в свое время полную возможность и достаточно средств к устройству церквей.

В слободе Зыбкой (ныне уездный город Новозыбков, Черниговской губернии) была в тридцатых и сороковых годах прошлого столетия часовня дьяконовщины, на месте которой, не ранее 1771 года, построена была

церковь Рождества Христова. При ней с 1739 года был беглый поп Патрикий, ревностный последователь дьякона Александра, казненного в 1720 году, в Нижнем Новгороде, на Нижнем базаре. Патрикий был человек хитрый, умный, начитанный и честолюбивый. Он приобрел огромное влияние на старообрядцев дьяконовского согласия, как в России, так и за границей. Высокий ростом, с белыми волосами, с бородой едва не до колен, сановитый, с важною поступью, он внушал к себе чрезвычайное уважение. Жизни был строгой, подвижнической и самых честных правил. Его называли даже «патриархом». И во всем «дьяконовом согласии» он действительно был верховным правителем духовных дел: назначал попов, судил их и мирян, рассылал увещательные и обличительные послания. Словом, Патрикий стоял во главе сильной еще тогда дьяконовщины.

Тревожила нередко и Патрикия мысль, не оставлявшая издавна старообрядцев. «Ведь только та церковь свята и истинна,— думал он,— где преемственно сохраняются все три чина духовной иерархии; а где у нас епископы?»

В 1749 году явился в Зыбкую молодой монах, по говору великорусс, человек пылкого характера, острого ума, отлично знавший церковные уставы, красноречивый, ученый, знавший даже по-латыни, говоривший по-французски и по-польски. Наружность его была чрезвычайно красива: высокого роста, дородный, с бледным лицом, с блестящими умными глазами, с черными, как смоль, волосами и с такою же широкою, длинною, окладистою бородой. Голос у него был светлый и громкий, держал он себя сановито и имел самые изящные манеры, доказывавшие, что он, если не постоянно, то весьма часто обращался в хорошем обществе. Молодой чернец говорил, что происходит он из дворянской фамилии, какой — мы не знаем. И это было верно, что он хорошего роду. Платье на этом чернеце-дворянине было обыкновенное монашеское, старообрядческое, но камилавка и кафтырь как-то особенно ловко сидели на нем. На кафтыре и на келейной мантии, которую старообрядческие монахи и монахини носят как пелеринку, обычная красная оторочка вроде кантика выложена была из яркого кармазинного сукна, бросавшегося издали в глаза. Все было на чернеце так чисто, так опрятно, так щеголевато. Называл он себя священноиноком (то есть иеромонахом) Афиноге-

ном, говоря, что, познав истину «древляго благочестия», презрел он почести и славу и пошел, бога ради, странствовать, изыскивая хорошего места между ревнителями старого обряда, где бы мог проводить до конца дней своих тихое и безмятежное житие.

В Зыбкой приняли нового пришельца. Там всякого принимали. С первых же дней заметил Афиноген, что зыбковские слобожане имеют слепую веру к Патрикию. Что̀ Патрикий скажет, то и закон для всех. И стал он употреблять все средства, чтобы понравиться стародубскому «патриарху». Старику Патрикию крепко по душе пришелся красивый, скромный, ученый молодой чернец; он полюбил его, как сына, и даже поместил у себя в доме, проводя с ним все время в разумных и учительных беседах. Афиноген совершенно очаровал Патрикия своим бойким умом и обширными сведениями, а вместе с тем необыкновенной набожностью и подвижничеством.

Патрикий нахвалиться не мог своим нареченным сынком. «Его сам бог ровно с небес послал к нам»,— говаривал он и прочил Афиногена себе в преемники. И быстро разнеслась добрая слава об Афиногене по всему Стародубью и во вновь возникших на пепле разоренных Сытиным слободах Ветковских. Однажды в задушевной беседе Патрикий высказал сынку своему тяготившую его мысль о необходимости иметь правильного епископа. Молодой чернец совершенно соглашался с Патрикием, но с какою-то таинственностью постоянно уклонялся от дальнейших разговоров.

Еще казалось странным Патрикию, что, несмотря на доброе и спокойное житье в Зыбкой, под крылышком самого Патрикия, Афиногена все тянуло за границу. Таинственно намекал он, что у него в Петербурге есть сильные враги, власть имеющие, которые никак не простят того, что он познал «древлее благочестие» и ушел странствовать, что они опасаются, чтоб Афиноген не рассказал кое-чего ему известного, а от этого-де пойдет по государству великая крамола, и многим сильным людям не сносить тогда головы. Хитро намекал Афиноген и на то, что вот недавно по милости Епифания разорили Ветку и все зарубежные слободы, а если про него в Петербурге узна́ют, где он находится,—во всем Стародубье камня на камне не останется. «А я не желаю,

чтоб из-за меня грешного пострадали православные христиане, свято хранящие древние уставы».

— Но кто же такой? Какие у тебя обстоятельства были с сильными мира сего? — спрашивал у Афиногена Патрикий.

— Честный отче! — отвечал чернец,— ты видел мои бумаги, знаешь, что я не кто другой, как грешный священник Афиноген. Не искушай меня более. Мое со мной и останется.

И заводил Афиноген речь о том, как при бывших недавно переменах в правлении лица, стоявшие на самых высоких степенях, падали и в Сибирь отсылаемы были на вечное житье, что сам бывший император Иван Антонович и мать его, бывшая правительница государства, томятся в безвестном заключении.

— А если бы,— говорил он,— Анна Карловна [1] с божьею помощью возвратилась и сел бы на престоле царь Иван Антонович, процвело бы тогда «древлее благочестие» так же, как и при царе Михаиле Феодоровиче, потому что и Анна Карловна и царь Иван Антонович, в несчастии находясь, истинную веру познали.

Патрикий, в свою очередь, уклонялся от подобных разговоров. В то время за подобные слова угрожала тайная канцелярия, кнут, и если не смертная казнь, то уже наверное сибирские рудники или неисходное житье в каком-нибудь Рогервике или Шлиссельбурге.

Приехал в Зыбкую зарубежный старообрядец, по имени Марко, и привез от жителей главной побужской слободы, Борской, просительную грамоту на Ветку, в которой они умоляли тамошних отцов, «на утешение духовных печалей, яко народ жаждет священника», для исправления духовных треб прислать достойного иерея. Побужский посланец на Ветке, едва возникшей после разгрома 1735 года, нашел «великое оскудение священства». Оттуда некого было послать на Буг: тамошние отцы сами просили у стародублян попа своего согласия. Марко поехал далее, перебрался через границу и прибыл в Стародубье. Зная, что у Патрикия много было старого причастия, Марко обратился к нему, прося его приехать на время в Борскую слободу или же прислать кого-либо за себя с достаточным запасом причастия. Че-

[1] Анну Леопольдовну в народе звали больше Анной Карловной.

столюбивому Патрикию было очень лестно такое приглашение, но самому нельзя было предпринять дальнюю поездку: и преклонность лет и необходимость пребывания в Стародубье, где кипели тогда раздоры между старообрядцами, препятствовали его поездке, да стародубляне с его согласия, пожалуй, и не пустили бы его. Он придумал послать вместо себя любимого сынка своего. Когда он сказал о таком намерении Афиногену, тот смиренно отвечал, что чувствует себя недостойным идти на такой великий, апостольский подвиг, но готов творить волю пославшего.

Вот что̀ писал Патрикий старейшинам Борской слободы, Пимену Ивановичу и Ивану Кондратьевичу:

«Господам моим, предавшим себе за свидетельство Исус Христово, Пимену Ивановичу, Ивану Кондратьевичу, и всем православным христианам слободы Борской благодать божья и благословение да умножатся. Известившеся чрез посланного от вас, раба божья Марка, с писанием на Ветку, яко зельне народ жаждет священника, на утешение духовных ваших печалей, обретше священноинока Афиногена, посылаем вам в пастыря, котораго для некоторых нужд, понеже должно послать в Великую Россию, того ради как приидет время, молю вас самого дела Христа господа, ему споспешествуйте, самого же его, аки мою утробу, примите, повинующеся во страсе божии; несомненно бо уповаем, яко егда получите его, и дело православного учения и послужения со страхом божиим будет в вас соделываемо. Возвещаем же, братия, яко древлее наше благочестие отвсюду гонимо, в пастырех скудость, а овцы всюду умножаются. Тем же с сущею в вас церковию молитеся, да не внидем в напасть, но да здравы, обще с вами, мирно потерпим дне господня. Аминь. Всегда молящийся о душах ваших и промышляющий о добре их вечном, свидетель господа нашего Исуса Христа иерей, Патрикий. 1750 года».

Другое подобное послание писал Патрикий на Ветку в Пахомиев, что̀ на реке Соже, в 8 верстах от Ветковской слободы, дьяконовского согласия монастырь, к тамошнему настоятелю, черному попу Игнатию с братией, которым рекомендовал Афиногена. «Слышахом,— писал он,— вас болезнующих лишением духовнаго пастыря и отца (вероятно, Пахомия, основателя монастыря, незадолго перед тем умершего), болезнь вашу с нашею со-

единяем и купно сострадаем и зельне соболезнуем... дотоле страдахом и рыдахом, доколе всеблагий промышленник не услыша нас и плача нашего не остави и безделно возвратитися в недра наша, и не посла в общее утешение ваше и наше, *аки свыше*, священноинока Афиногена. То получивше, отрохомь слезы наша, зане обретохом и православно мудрствующа, и готова суща, рекше послушествовати к вам, его же абие и послахом».

Перейдя рубеж, Афиноген вздохнул свободнее, ибо были в его жизни обстоятельства, по которым ему действительно было небезопасно оставаться в русских пределах. Пробыв некоторое время в Гомеле и Пахомиевом монастыре, он проехал на Буг, и там, в слободе Борской, старшины Пимен Иванович и Иван Кондратьевич и все старообрядцы встретили его с большим почетом. Поселившись здесь, вскоре успел он привлечь к себе всех жителей побужских слобод. Это люди были богатые, зажиточные; хорошее житье у них было Афиногену. Одного только недоставало им: давно желали они иметь вместо часовен хоть одну церковь, на что не пожалели бы никаких денег, да антиминса не было, стало быть, и церковь нельзя было святить. Узнав о таком желании их, Афиноген сказал однажды на общем сходе: «У меня есть древний антиминс, стройте церковь, а я могу освятить ее». В Борской слободе построили деревянную церковь, и Афиноген освятил ее во имя Знамения Богородицы. Благодарные старообрядцы щедро вознаградили Афиногена за антиминс и освящение церкви, при которой он и остался священнодействовать. Здесь он вел самую строгую жизнь, что̀ в глазах старообрядцев составляет главное. Бледное лицо говорило о его постничестве, и он действительно был великий постник и неуклонно исполнял все обеты монашества и все правила устава. Говорил он красно, учительно, поражал грубых, малосведущих старообрядцев блестящим умом и обширными сведениями по разным отраслям знаний, удивлял их беглым разговором по-польски и основательным знанием латинского языка. Действительно, кроме поморских расколоучителей, князей Мышецких, раскол до того времени не имел еще такого ученого человека, каков был Афиноген. Уважение к нему росло, можно сказать, с каждым днем. Водясь с старообрядцами уже два года, он заметил, как все они чувствуют необходимость иметь своего

епископа, и притом такого, который бы не был обливанцем, подобно Епифанию. Почти все зарубежные старообрядцы решительно желали епископства; в России главным местом проповеди о необходимости иметь святителя было Стародубье, и именно те общины, которые держались дьяконовского толка. Оттуда еще в 1745 году рассылались увещательные письма о том, чтобы всеми силами и общими средствами искать правильного архиерея. Одно из таких посланий сохранил о. Журавлев в своем сочинении. «...желаем от вас тщание о лучшем,— сказано в нем,— сие есть елико сила ходатайствовать святительство: источник священства». Заметив, что и поселившиеся на Буге старообрядцы весьма желают получить епископа, Афиноген решился сделаться архиереем. Искать хиротонии у ясского или у другого какого-либо митрополита было затруднительно, и мало было надежды на успех, а потому и решился он на поступок небывалый до того времени в среде старообрядцев — сделаться самозванцем-епископом. Ловкий Афиноген очень хитро повел дело. Придут, бывало, к нему в келью с с какою-нибудь надобностью, а он сидит задумавшись и, услышав шаги вошедших, как бы опомнится и благословит обеими руками, по-архиерейски, а потом смутится, замешается и поведет речь о чем-нибудь постороннем. Положит, бывало, в углу под образами вместе с епитрахилью и омофор, чтобы приходившие к нему могли это заметить. Афиноген очень любил детей; встретит, бывало, на слободской улице ребятишек, непременно подойдет к ним, каждого порознь благословит, в головку поцелует, орехами, пряниками и другими лакомствами всех оделит. Мальчики полюбили доброго попа, стали к нему в келью ходить; он их грамоте учил, гостинцами оделял. Такая любовь к детям, разумеется, еще более увеличила приверженность родителей к Афиногену. Иной раз распахнутся нежданно двери его кельи, вбежит резвая толпа детей, и станут мальчики молча, как вкопанные, их добрый поп, их любимый учитель молится богу в епитрахили и омофоре. Дети и говорят дома, что застали они попа на молитве, а стоит он и молится не в одной, а в двух епитрахилях — одна, как надо быть у попа, а другая еще на плечах положена. Пошли таинственные толки. Заводят наконец старики речь с Афиногеном об одном предмете, но он всячески уклоняется от разго-

воров. Говорят ему про детские рассказы, а он отвечает, улыбаясь: «Что́ про них говорить! Известное дело,— малые дети, неразумные. Мало ли чего они, по глупости своей, ни наскажут!» Пришел Троицын день; Афиноген в Знаменской церкви служил обедню и вечерню. В эту вечерню читается особая молитва св. духу. У нас, в православной церкви, во время чтения ее все стоят на коленях, а у старообрядцев, по их обряду, «лежат на листу», то есть падают ниц на цветы и листья, которые держат в руках, и остаются в таком положении до самого конца молитвы. Кончив ее, Афиноген благословил лежащий народ обеими руками, как епископ. Это было замечено; пошел новый говор, сильнее прежнего, но, как ни приставали к Афиногену, он решительно отказался от всяких объяснений, говоря, что видевшим, будто он благословляет обеими руками, должно быть, почудилось. Через несколько времени проезжал через Борское старообрядческий поп. Афиноген воспользовался случаем, чтобы исповедаться. Духовник стал его исповедовать, как священноинока; Афиноген остановил его.

— Отче,— сказал он,— аз есмь епископ, а потому исповедать, разрешать и молиться за меня, грешного и недостойного, изволь надлежащим порядком. Я епископ Лука...

В смущение пришел духовник. И не смел много его спрашивать. Афиноген сам сказывал:

— Получал аз, смиренный, великого архиерейства хиротонию от сибирского митрополита Антония, удельной епархии у себя не имел, а находился при некоем великоважном темничнике. И, узнав старую правую веру, оставил всю честь свою и достоинство, и предприял бога ради странствовать.

— Кто же этот темничник? — спросил духовник.

— О нем никому не известно,— отвечал коленопреклоненный Афиноген, смиренно поникнув головой.

— Но рцы ми тайну сию,— возразил духовник.— Мне, как отцу твоему духовному, *подобает* знати вся сокровенная души твоей, не мне бо, недостойному, глаголати будеши, но самому господу богу и спасу нашему Исусу Христу.

— Дай мне того господа нашего во свидетели,— отвечал исповедник,— что, когда я объявлю тебе некую о себе тайну, тебе бы оную никому не открыть.

— Даю во свидетели господа нашего Исуса Христа,— сказал поп.

— Присягни же перед животворящим крестом и святым евангелием.

Поп присягнул и снова спросил Афиногена:

— Какой же это темничник, при коем мало что священноиерея, а даже и епископа нарочно держат?

Афиноген склонился еще ниже перед священником и едва слышным голосом сказал:

— Император и самодержец всероссийский Иоанн Антонович.

— Где же он?

— В Сибири [1], в дальних местах, томится в заключении вместе с своею родительницею, великою княгиней Анною Карловною. Долго находился я при их высоких особах; уразумев же древлее благочестие, бежал из дворца их императорского величества и переименовал себя Афиногеном [2].

И стал духовник исповедовать *епископа Луку* по чину архиерейскому.

Духовник ли огласил тайну исповеди, сам ли Афиноген,— неизвестно, но молва об его архиерействе росла более и более. В разговорах же с старообрядцами Борской слободы он по-прежнему держал себя уклончиво, избегая расспросов об его прежней судьбе, но в то же

---

[1] В то время никто не знал, где содержится бывший император Иоанн и мать его Анна Леопольдовна. Место заключения их сохранялось в глубочайшей тайне. Вообще же полагали, что они в Сибири. Поэтому и Афиноген, рассказывая вымышленную им историю, говорит тоже о Сибири. Притом же принцессы Анны в то время уже не было в живых. Она скончалась в Холмогорах 7-го марта 1746 года; тело ее привезено в Петербург и похоронено публично в Александро-Невской лавре со всеми должными почестями.

[2] «Дело святейшаго синода» 1757 года. По архивной описи № 337. Письмо лжеепископа Анфима к ясскому митрополиту Иакову, от 12-го декабря 1756 года. В 1744 году было покушение похитить трехлетнего Ивана Антоновича и увезти его за границу. Покушение это сделал какой-то монах. Его и Ивана Антоновича поймали в Смоленске. Что сделалось с монахом — неизвестно, а несчастного ребенка переименовали в Григория и увезли в Шлиссельбург (ср. Вейдемейера, «Обзор главнейших происшествий в России». Спб, 1835, т. III, 96). Нет ли тут чего общего с Афиногеном? Дела об Афиногене в св. синоде нет, и мне неизвестно, в каком архиве находится исследование об этом загадочном человеке.

время писал много писем в разные зарубежные старообрядческие места, не называя прямо себя архиереем, «но хитро давая знать о себе нечто великое». Таинственность, которою окружил Афиноген свою личность, увеличивала с каждым днем число его приверженцев.

По зарубежным старообрядческим общинам пошел сильный говор о новоявившемся епископе и достиг до Молдавии. В этой стране тогда уже было много беглых русских раскольников, как поповщинского, так и беспоповщинского толка. В Сучавском цинуте, верстах в двенадцати от города Фольтичени, близ большой дороги из Ясс в Буковину, они построили большую слободу Мануиловку, которая и теперь считается главнейшим местом старообрядцев, живущих в румынских княжествах. У них было два мужских и один женский монастырь и сверх того приходская церковь во имя Покрова Богородицы. Кроме того, в самой молдавской столице, в Яссах, старообрядцы населили особое предместье Забахлуйское. В городах Буташане, Тыргул-Фрумосе, Хирлеу, Бакео, Вислуе, Херце, Дорохое, Романе, Бырлате, Текуче, Фальчи, Хуше, Пятре и Нямеце старообрядцы составляли более или менее значительную часть местного населения, а несколько деревень, называвшихся Липовенами [1], подобно Мануиловке, были сплошь населены старообрядцами [2]. Такие же исключительно старообрядческие селения были Брататши и Костешти, близ дороги из Ясс в Буковину. В нынешней Бессарабской области, тогда принадлежавшей Молдавии, в так называемой Хотинской Раи, были также значительные поселения старообрядцев, в селении Ветрянка был у них монастырь, а в селении Долгая-Поляна — церковь. Даже в Валахии явилось несколько старообрядческих поселений—деревня Липовени близ Букареста, другая подле Браилова, третья на Дунае против Черноводы. В городах Браилове и Фокшанах также жили русские старообрядцы и имели свои часовни. Все молдовлахийские старообрядцы были довольно зажиточные; занимались они городскими

[1] Липовенами или Липованами зовут в Румынских княжествах, Австрии и Пруссии русских раскольников. Иначе «Пилипоны», что́, по всей вероятности, происходит от слова «Филипповщина», последователи которой были одни из первых переселенцев за границу.

[2] Подле города Бутушаны, подле города Вислуй и три деревни около Галаца.

промыслами, ремеслами и торговлей; весьма немногие поселившиеся в деревнях занимались хлебопашеством. Собственных земель у них не было, но они нанимали угодья у разных владельцев, а большею частью у православных монастырей и церквей. Народ все ловкий, смышленый, проворный.

Молдовлахийские старообрядцы тоже желали иметь особенного епископа и, когда дошел до них слух об Афиногене, послали к нему звать его в Волощину (так называли русские в то время Молдовлахию или нынешние дунайские княжества). Посланцы приезжали не один раз в Борскую слободу и представляли Афиногену жизнь в Волощине в таком привлекательном виде, что он с тех пор только и думал, как бы поскорее перебраться за реку Прут. Но старообрядцы побужских слобод не выдавали своего сокровища запрутским единоверцам. Эти хотели было силою отнять у них Афиногена, и оттого бывали в Борской слободе драки,— чуть до смертоубийства дело не доходило. Повторилась такая же вражда из-за епископа, какая была лет пятнадцать перед тем между слобожанами ветковскими и гомельскими.

Афиноген, однако, перехитрил жителей Борской слободы. Он всем говорил, что не хочет в Волощину, что, найдя у них спокойное жительство, желает жить и умереть в Борской, и таким образом совершенно уверил их, что он и не подумает уйти от них. Поэтому за ним не присматривали, и он разъезжал свободно. Вдруг получает он известие, что отец Патрикий послал верных людей в Петербург и Москву для собрания справок об его личности. Тогда он выехал из Борской слободы куда-то по соседству, для исправления духовных треб, и очутился за Прутом. Сначала он был в Мануиловке, потом жил в Яссах, где представился господарю и митрополиту. Оба поверили, что Афиноген действительно русский епископ, и господарь дал ему особую грамоту. С этою-то грамотою и разъезжал он по молдавским и валахским старообрядческим слободам, но чаще всего находился близ Хотина, в слободе Ветрянке. Здесь он ли, его ли приближенные — распустили молву, что он посвящен во епископы не в России, а в турецком городе Рени, проживавшим там православным браиловским митрополитом Даниилом. Слава о старообрядческом епископе распространилась по всем зарубежным слободам: из Поль-

ши и из Молдовлахии многие приезжали к нему для поставления попов, для испрошения мира и антиминсов. На последние однако же Афиноген был очень скуп. Богател же он не по дням, а по часам.

Но возвратимся в Стародубье, в слободу Зыбкую, к отцу Патрикию. Туда, в 1750 году, переехали из Орла и Коломны несколько богатых купцов; один из них, орловский выходец, Федор Григорьевич Суслов, отличался ревностью к старому обряду, доходившею до фанатизма, и обширною начитанностью. Суслов и приехавшие с ним вошли в тесную связь с Патрикием. Они также сознавали, что церковь не может быть без архиерея, и много хлопотали об отыскании епископа. Но история Епифания научила их быть крайне осторожными. Заподозрив всю Малороссию в обливанстве, они непременным условием поставляли, чтоб отыскиваемый ими архиерей непременно был родом из Великой России и, стало быть, несомненно крещенный в три погружения. Но в это время (1750) из всех православных архиереев только четверо было природных великоруссов: Алексей рязанский, Илларион астраханский, Варсонофий архангельский и Феофилакт воронежский. Все остальные были или малороссияне, или греки. Конечно, ни на одного из этих четырех епископов-великоруссов старообрядцы не могли рассчитывать и потому старались каким бы то ни было образом доставить кому-либо из своих архиерейский сан. Суслов, быв по каким-то делам в Борской слободе, говорил об этом с Афиногеном и чрезвычайно обрадовался, когда узнал от него за великую тайну, что он, будучи коренным великоруссом по происхождению, будучи крещен в три погружения, имеет сан епископа. Говоря о своем архиерействе, Афиноген рассказал и Суслову придуманную им сказку о мнимом пребывании при низложенном императоре. О чем так много и напрасно думали, на что едва смели надеяться старообрядцы, само без хлопот явилось.

— Уверьте в истине слов моих отца Патрикия,— говорил Афиноген, прощаясь с Сусловым,— и убедите его приехать поскорее ко мне в Борскую; я преподам сему светильнику церкви архиерейскую хиротонию. Но скажите ему, чтоб он не медлил. За великую тайну скажу вам, что мне и здесь, в областях польского короля, от

вашей русской царицы небезопасно. Хочу уехать подальше.

С Сусловым он послал к Патрикию письмо, в котором, уверяя в преданности, прямо об архиерействе своем не писал и даже подписался иеромонахом, но упомянул, что Суслову известно, кто он. Вот это письмо:

«Всемогущаго Бога избраннейшему иерею и таин его верному служителю, благочестивейшему господину, господину Патрикию, червь, а не человек, землекасательное поклонение. Аще добраго пастыря долг, оставя девяносто и девять овец в пустыни, сотной пойдтить, еже взыскивать, и обретше оную на рамо возложа ко Отцу привесть, то сего словеснаго стада пастырю, владыко твой Христос взыскует по тебе. Сие пишу, не уча духопросвещенную твою душу, но горящею спасения жаждою мысль хотя прохладити. Имееши мя, ожидающи благословения твоего, имееши душу, самовольно пришедшую во овчарню Христову, имееши наконец человека, иже, кроме тебя, никому не может открыти *тайну, всему благочестию необходимо нужную*. Что́ же объявлено от меня Божию угоднику, присланному от вас, Федору Григорьевичу, и то только о лице моем, а не о намерении. Прииди убо, светильниче мира, ниже презри написаннаго, аще же укосниши или не послушаеши, то Бог от руку твоею многи души взыщет. Целование уст моих ногам твоим, целование единомысленной братии, их же имена в книге животней. Аз, оканчивая, пребываю грешный о вашем здравии молитвенник, иеромонах Афиноген».

Патрикий, как ни хотелось ему самому сделаться архиереем, медлил отъездом в Борскую слободу. Чтобы не впасть в обман, решили собрать предварительно в Москве и Петербурге справки о личности Афиногена. Ехали туда двое из коломенских купцов, переселившихся в Стародубье; им и поручено было разведывание.

Прождав понапрасну немало времени Патрикия, Афиноген послал к нему новое приглашение через старшину Борской слободы, Ивана Кондратьевича, которому также сказал про себя, что он епископ Лука, находившийся при императоре Иоанне. Но и на этот раз в письме, посланном в Зыбкую, он не называл себя архиереем, на некоторое время «хотя (оставаться), как писал он, под образом прикровенным, страха ради от лжебратии, и ради своих же».

Патрикий, получив это письмо, сказал Ивану Кондратьевичу, что уж послано в Москву и Петербург для удостоверения в истине сказываемого Афиногеном, а до получения оттуда верных сведений ни он, ни стародубляне его согласия не предпримут ничего решительного. Как скоро Афиноген узнал, что старообрядцы, жившие в Стародубье, не так легковерны, как он полагал, то, ожидая, что справки о нем будут вовсе не в его пользу, уехал из Борской слободы. Находясь уже в Яссах, он послал в Зыбкую к отцу Патрикию своего старца Митрофана с новым пригласительным письмом, в котором уже называл себя епископом. Настоятельно просил он Патрикия, а также уставщика Григория Яковлевича и других из стародубской братии приехать к нему, чтобы получить от него архиерейскую хиротонию, «дабы тем восстановить чин церковный и не быти от иноверных в том поругании, в котором даже доныне пребываем». Пользуясь покровительством господаря, Афиноген уже не опасался за свою личность и просил Патрикия, прочитав публично его послание, разослать «точно списанное без прибавки и убавки в великороссийские грады, дабы чтущие и слышащие оное прославляли бога, творящаго дивная и ужасная, великая же и славная».

Но не пришлось Патрикию рассылать письма афиногеновы по городам Великой России. Коломенцы воротились в Стародубье и привезли об Афиногене нехорошие вести: он оказался самозванцем.

Случилось посланному из Стародубья ехать в Петербург вместе с одним офицером. Они разговорились, и коломенский купец узнал от него, что он отвозил императора Иоанна. Тогда, заклиная офицера богом живым, купец просил сказать ему, был ли сослан с Иоанном кто-либо из духовного чина. Офицер с клятвою уверил купца, что никого из духовных тут не было. Добравшись до Петербурга, стародубский посланец отыскал брата встретившегося с ним офицера и его тоже расспрашивал. И тот сказал, что действительно брат его был послан при Иоанне, но духовного чина при нем не было. А из Москвы были получены известия еще хуже. Там сведали и в делах синодальной конторы выправили, что Афиноген не Афиноген и не Лука, не епископ и даже не поп, а иеродьякон Амвросий, бывший в Новом Иерусалиме ключарем, растративший монастырское имущество и, из

опасения законного наказания, убежавший к зарубежным раскольникам.

Стародубье было озадачено такими известиями. Очень боялись розысков и преследований со стороны правительства, если узнают, что у них, в Зыбкой, нашел себе убежище такой преступник и довольно долгое время скрывался между тамошними старообрядцами. Те, у которых любезный сынок отца Патрикия исправлял требы, крайне соблазнялись, ибо оказалось, что он не только архиереем, но и попом никогда не бывал. Попы-самозванцы бывали между старообрядцами,— это не было какою-нибудь чрезвычайною новостью, но такого греха, такого соблазна, чтоб явился лжеепископ, еще не бывало. Посыпались на поповщину резкие укоры и язвительные насмешки из слободы Злынки, от живших там беспоповцев. Федор Суслов, дотоле приверженец Афиногена, привозивший из Борской слободы к Патрикию его пригласительное письмо и на словах передавший весть об его архиерействе, проклинал теперь лжеепископа и стал проповедовать о самом строгом исследовании прежних обстоятельств, не только по отношению к епископам, но и попам, говоря, что правильные попы и архиереи не только должны быть непременно великороссияне, но притом такие, которые бы рукоположение имели по восходящей линии постоянно от архиереев-великороссиян, несомненно в три погружения, а не обливательно крещенных, до времен патриарха Иосифа, без участия малороссиян, поголовно подозреваемых в обливанстве. От проповеди Суслова произошли разделения и раздоры в поповщинских общинах, как зарубежных, так и великороссийских.

О самозванстве Афиногена, наверное, узнали не ранее 1753 года. Патрикий немедленно написал к нему письмо, в котором не только не называет его епископом, но даже и иеромонахом, обращаясь к нему, как к монаху, с обычным титулом: «пречестный отец», и даже не посылая своему любезному сынку благословения. Вот это письмо, замечательное по чрезвычайной уклончивости:

«Пречестному отцу Афиногену лицеземное поклонение. Ведомо ти буди, писание ваше чрез старца Митрофана и другое, ныне чрез посланнаго вашего человека, я получил, в которых о себе объявляешь и бога свидетеля поставляешь, что сущая истина, и желаешь нас прибы-

ти к вам; но обаче, пока не проведаем, не буду. А о чем прежде посланные наши, прибывшие от вас, возвестили нам о вашей фамилии, слыша о вас, и о чине, через кого бы уведомитеся, то изнарочно от нас посылан был человек до Москвы и до Петербурга, и того всего не сыскалось. Тож случилось ему ехать из Москвы до Петербурга с офицером, который-де офицер, между прочим, в разговорах доро́гою о себе известил, что был он посылан с показанным тобою лицом, а духовнаго-де чина с ним не было; то-де он на его словах не утвердился, но проехал до Петербурга, ходил изнарочно к брату его родному, который тамо живет. И он тоже показал, что брат его посылан был при том лице, а духовнаго-де чина такова при нем не имелось. И потому люди наипаче пришли в сомнение, а больше память *о имени Амвросиеве*, и ныне еще намерены послать до вас человека изнарочно, да явиши ему чрез кого-б именно, о чем сказуешь, в Нежине греков и старцев, и бельцов уведомитись свидетельством, чтобы что́ о тебе подлинно дознати и самую истинную правду показати мог, понеже вещь сия не малая и дело сие суда правильна. Того ради, не испытав известно, без сомнения быти невозможно. Сам рассуди праведно. И аще суть истина, яко же ты глаголе́ши, то не скрый от нас, но яви подлинно кем уведомиться, без того бо о тебе едином уверитися сомнительно. При сем вам доброжелательный и отец духовный иерей *Патрикий* кланяюсь. Не поскорбети о сем и не гневатися».

Слухи о самозванстве Афиногена распространились еще быстрее, чем предшествовавшие им слухи об его архиерействе. Они росли с каждым днем, ряды приверженцев лжеепископа значительно редели. Напрасно живший у молдавских старообрядцев беглый из России поп Варлаам с клятвою уверял всех своих единоверцев, что Афиноген есть истинный и правильно поставленный епископ; напрасно он уверял, что Афиноген, быв у него на исповеди, присягу в том принимал; напрасно попы, рукоположенные лжеепископом, горячо стояли за своего архиерея и громогласно проповедовали о действительности принятого им на себя сана,— слухи о его недобросовестности, об обмане простодушных, но ревностных к старому обряду людей до такой степени усилились в Яссах, что сам господарь, считая и себя обманутым этим

ловким пройдохою, велел его поймать и хотел повесить: Афиноген вовремя сведал о грозившей ему опасности и, наскоро собравшись, бежал в Буковину, а оттуда пробрался в покинутую было им Борскую слободу. Но и здесь старообрядцы встретили его холодно, а ревностнейшие хранители старого обряда хотели даже убить его за соблазн, сделанный всему христианству древлего благочестия. Перетолковывая евангельские слова о тех, посредством которых вносятся в мир соблазны, они намеревались в самом деле привязать ему жернов на шею и, за неимением поблизости моря, бросить в Буг. Но Афиноген счастливо избегнул и этой опасности, бежал и из Борской слободы, но куда ни приходил, везде встречал или холодный прием, или даже угрозы схватить его и выдать русскому правительству. Он воротился было на Ветрянку, но и там не мог долго оставаться. Приходилось лжеепископу расстаться с своим омофором. Он так и сделал. «От стыда и срамоты,— говорит Иона Курносый,— борзо собрався и склався, на воз седши, погна борзо», и, прискакав в первый пограничный город королевства Польского, Каменец-Подольский, скинул здесь архиерейское платье, принял католическую веру, обрился, надел парик и записался в каменецкий гарнизон жолнером. Из самозванца-архиерея вышел красивый, блестящий жолнер. Ловкость обращения, приятные манеры, достаточное образование и значительные деньги, добытые архиерействованием у старообрядцев, открыли Афиногену вход в дома шляхетские и даже вельможные; ему покровительствовали иезуиты, в награду за обращение в римскую церковь, а женщины были в восторге от красавца-авантюриста. Дочь одного богатого пана влюбилась в бывшего архиерея. Уверившись в ее любви, он посватался было, но гордый пан наотрез отказал ему. Афиноген однако женился на своей возлюбленной и, кажется, не без романтических приключений. С богатым приданым жена принесла ему связи с значительными людьми, посредством которых бывший староверческий епископ в короткое время сделал большие успехи в королевской службе. Через четыре года после того, как он бежал в Каменец-Подольский (1757 г.), он был уже капитаном в Кракове и жил там с женою и детьми в довольстве и роскоши. Потом, если верить рас-

кольническим сказаниям, был он полковником и даже генералом.

Из какой фамилии был Афиноген — не знаем, но что он был дворянского происхождения, это положительно верно, иначе он не мог бы поступить в королевскую службу и так скоро сделаться капитаном, а может быть, и генералом. В Польше это было невозможно. Вероятно, в архиве московской синодальной конторы или в Новом Иерусалиме сохранилось какое-нибудь дело о расхищении ключарем Амвросием монастырского имущества и об его побеге. В нем, конечно, есть известие и о том, из какой фамилии происходил этот ловкий авантюрист.

VI
АНФИМ

Смиренный епископ, преобразившийся в ловкого капитана, целомудренный постник, женившийся на польской красавице, произвел громадный скандал во всем русском и зарубежном старообрядстве. Все и повсюду признали его обманщиком и самозванцем, кроме попов, им рукоположенных, которым не хотелось расстаться с полученным священством, доставлявшим хорошие средства к жизни. Но и им плохо приходилось: их никто не принимал в домы с требами, над ними смеялись, называя в шутку «капитанами» и «жолнерами». Но Афиноген был не последним лжеепископом. Вслед за ним явился новый, называвший себя *архиепископом кубанским и Хотинские Раи*. Звали его Анфим.

Как Афиноген отличался своею красивою, привлекательною наружностью, так преемник его неблагообразием. Лет пятидесяти от роду, среднего роста, плечистый, лицо полное, красное, обезображенное оспой и покрытое угрями, глаза кровавые, небольшая черная борода, длинные черные волосы и рваные палачом ноздри — вот наружность новоявленного у зарубежных старообрядцев епископа.

Родом был он с Дону, но неизвестно, из казаков или из поповичей. Был человек начитанный, сведущий в писании и церковных уставах — качества, весьма ценимые старообрядцами и во всякое время доставлявшие в среде их большой авторитет тому, кто обладал ими. Но в то

же время Анфим, по выражению современника его, Ивана Алексеева, был «муж забеглаго ума, своенравен и бессовестен». Великую известность, великое уважение получил он сначала между старообрядцами, ибо много пострадал за старый обряд и «древлее благочестие», что̀ доставило ему и славу «страдальца». Сделался он столпом старообрядчества, и вдруг гордость и любоначалие до того обуяли его, что натворил он дел необычайных, каких «ведущие его отнюдь и в мысли имяху». Предмет всеобщего благоговейного уважения сделался предметом смеха. «Велию,— говорит Иван Алексеев,— тот Анфим науку собою показа внимающим, что̀ деет любоначальство и коим концом любящие мирския чести овенчевают».

По словам самого Анфима, он тридцати лет от роду рукоположен был воронежским епископом, несчастным Львом Юрловым (1727—1730) в дьячки, а вскоре потом поступил в число братии Кременского монастыря и здесь воронежским же епископом Иоакимом Струковым (1730—1742) посвящен в иеродьяконы и иеромонахи. Познакомившись с старообрядцами, которых и тогда, как и теперь, на Дону было много, Анфим ушел к ним, но, не оставаясь долго между донцами, отправился странствовать по России. О первоначальных похождениях его между старообрядцами нам ничего неизвестно, но в конце сороковых годов прошлого столетия мы находим его уже схимником. Приняв схиму, конечно, в каком-нибудь старообрядческом ските, Анфим, вследствие сенатского указа 1746 года, декабря 13, о том, чтобы «сыскивать богопротивной ереси наставников и предводителей и их сообщников, а по сыску, заковав в ручныя и ножныя железа, отсылать их в следственную о раскольниках комиссию (бывшую в Москве при синодальной конторе) в самой скорости, безо всякаго задержания», был где-то пойман и представлен в Москву. Его судили, пытали, присудили к кнуту, вырванию ноздрей и ссылке в Сибирь на каторжную работу. С каторги ли, на пути ли в Сибирь, того не знаем, ему удалось бежать, и он после того долгое время по-прежнему странствовал между старообрядцами. Позорные клейма, наложенные рукой палача, рваные ноздри, следы кнутовых рубцов на спине Анфима были чествуемы ревнителями «древляго благочестия» как святые доблие раны великого страдаль-

ца за имя Христово. Лишь только появлялся он где-нибудь в укромном месте, среди горячих своих почитателей, как уже сходились к мученику за «старую веру» и стар, и млад, и мужчины, и женщины, и дети; как святыню, со слезами лобызали они следы ран Анфимовых и отверзтою душой слушали его поучения. А он был речист. Помнилось каждое слово учительного схимника, честно хранилась каждая незначительная вещь, даваемая странником-страдальцем на благословение. Но недолго продолжался этот второй период странствий Анфима: в 1750 году его опять поймали и опять переслали в Москву, в комиссию.

Сидит Анфим-страдалец в московской тюрьме каменной, приходит народ к колодникам сотворить святую милостыню и слышит учительные слова Анфима; слышит о том, как прежде был мучим красноречивый схимник за «древлее благочестие», как впереди предстоят ему новые, еще бо́льшие страдания. Старообрядцев множество посещало Анфима в «бедности», приходило множество и православных. И эти заслушивались речей красноречивого Анфима, и они удивлялись «разуму учения его».

В «бедности» у Анфима было особое помещение, и к нему приставлен был для караула особый сержант. Приходившие к «батюшке» Анфиму старообрядцы давали тому сержанту «почесть», то есть, попросту сказать, подкупали его, чтобы он не препятствовал беседам их с «страдальцем». Одна богатая старуха, вдова, дворянского рода, часто посещала «батюшку Анфима» и приводила к нему живших у нее двух девушек; одна из них была дочь купеческая, другая — секретарская. «Он же упользова ю, сказуя древляго благочестия содержимые церковныя узаконения и обычаи, измененные Никоном». Все три почувствовали сильную привязанность к страдальцу Анфиму и, прельщенные его словами, уклонились в раскол. Анфим, зная, что московская барыня очень богата, вздумал с помощью ее освободиться из тюремного заключения, избавиться от неминуемого тяжкого наказания и укрыться вместе с нею и ее богатствами в каком-либо надежном, недоступном для московских преследователей месте.

И стал он ее уговаривать, чтобы «ей с ним убраться в польские пределы, паче же на Ветку, мня прият быти

тамошними отцы». Все мысли, все помышления барыни-старушки были в воле Анфима; она в религиозном фанатизме, увлекшись учительными словами «батюшки-страдальца», своей воли более не имела и возражать ему, не только словом, но и мыслью, не могла. Обе девушки были в таком же настроении духа. Но побег из крепкой тюрьмы был возможен лишь при участии караульного сержанта. Хоть и сержант смотрел на своего заключенника, как на святого, однако же его не так легко было подговорить к бегству за границу. Понемножку, исподволь, осторожно стал Анфим склонять его к побегу, представляя в самых обольстительных красках будущее их житье-бытье на Ветке. «С нами бы поехала одна богатая барыня, денег у нее счету нет, не то что нам — тысяче человекам достанет на самый долгий век прожить на эти деньги во всяком удовольствии и спокойствии. Там, за рубежом, нет ни службы ни грозного начальства; там всякий человек сам себе господин, а здесь, на солдатской своей службе, знаешь ты только горе да недостатки, каждый день недоспишь, и от начальства му́ку принимаешь, а там, что́ только на ум вспадет — все будет тотчас же готово по твоему желанию». Сержант немалое время колебался, но обещаемое будущее так было привлекательно, что он дал свое согласие... Тогда барыня наскоро собралась с двумя девушками, будто бы в Киев на поклонение тамошним угодникам, и поехала из Москвы. Сержант избрал удобное время и ночью на 27 августа 1750 года бежал вместе с Анфимом. На дороге пристали они к барыне. Опасаясь погони, беглецы ехали на переменных лошадях до Стародубья и здесь на время нашли надежный приют у старообрядцев. Несколько дней спустя они, перебравшись через литовский рубеж, благополучно достигли Ветки.

Может быть успех Афиногена подал мысль честолюбивому Анфиму сделаться зарубежным старообрядческим епископом. Славолюбие, так долго питаемое уважением старообрядцев, доходившим чуть не до обожания, возрастило в сердце его гордость и страстное желание начальствовать, повелевать. Но при первом шаге за границу его гордости нанесен был сильный удар. До Ветки и вообще до зарубежных старообрядческих слобод не достигла еще слава Анфима-«страдальца»,

столь громкая на Дону, на Волге и в Сибири. Его приняли как обыкновенного выходца. Это оскорбило Анфима, не привыкшего к равнодушным встречам. «Постой же,— думал он,— коли так, примете же вы меня, павши ниц передо мною». И он сказался ветковским отцам, что получил он в Великой России великую архиерейства хиротонию, и просил принять его в соединение, общение и согласие по древлецерковному благочестию. Проученные уже Епифанием, ветковцы отвечали Анфиму, что в скором времени принять они его не могут. «Просто как мирянина принять тебя нельзя, потому что объявляешь себя епископом, а чтобы за епископа тебя признать, то, по божественному писанию и по правилам, достоит нам справиться, на которой ты епископии и в котором граде был и которыми епископами поставлен». Анфим, видя, что ветковцы не так легковерны, как он предполагал, замолчал, ибо не знал, как и сказать, в каком он городе был архиереем и какими епископами рукоположен. «Пойдут справки в России,— думал он,— и ложное показание рано или поздно обличится». С досадой, с плохо скрываемым озлоблением ушел он с собора ветковских отцов и тотчас же дал волю своему пылкому, своенравному, не терпевшему ни малейших противоречий характеру. Что́ ни день, то новая какая-нибудь ссора происходила у Анфима с ветковцами, которым в короткое время он до того надоел, что они не знали, как и отделаться от незваного гостя. То и дело он ругал и злословил их, «изрицая поносная, ругательная, изметая от злаго сокровища сердца своего злая глаголания».

— Вы беглецы! — кричит, бывало, на ветковских отцов сам такой же беглец Анфим,— забились сюда, в чужую державу, как сверчки!

И прискорбны были такие слова отцам ветковским, и писали отцы в Москву, жалобясь на выехавшего оттуда обидчика и ругателя. В Москве старообрядцы немало дивились ветковским вестям и никак не могли понять, что́ бы такое могло случиться с таким, славным учительством своим и страданиями, человеком. Между тем, увидав, что ужиться с ветковцами невозможно, Анфим уехал от них с своими домочадцами отыскивать такого пана, который бы отвел ему в своих маетностях хорошенькое местечко для заселения его новою слободой русских старообрядцев, которые тогда во множестве пе-

реходили за рубеж. Белорусские землевладельцы находили для себя весьма выгодным отдавать участки довольно пустынных и притом неплодородных земель своих под старообрядческие слободы, ибо получали от этих поселенцев такой доход, какого не могли бы извлечь из своего имения никакими средствами. Поэтому они с большою готовностью и позволяли им водворяться за известный чинш на своих землях, и потом, когда образовывались слободы, берегли их, как самые лучшие доходные статьи свои. При таких условиях богатому богатством московской барыни Анфиму нисколько не затруднительно было найти ясновельможного пана, который пустил бы его на свою землю. И ему не нужно было очень далеко ездить: соседний землевладелец, князь Чарторыйский, владелец местечка Гомеля, отвел ему прекрасное и удобное место в шести милях от Ветки, вниз по реке Сожу, в урочище, называемом Боровицы, где находилась и старая пустая часовня, едва ли не оставшаяся еще после ветковского разорения 1735 года. На деньги московской барыни Анфим в самое короткое время привел Боровицу в блестящее состояние. В часовне явились древние иконы с дорогими окладами, богатая ризница, полный круг богослужебных книг, драгоценные сосуды, дискосы и другая утварь. Анфим немедленно начал отправлять в этой часовне богослужение, а между тем приступил к постройке церкви и двух монастырей — мужского и женского. Кельи были немедленно выстроены для того и другого. В мужском сделался настоятелем сам Анфим. За братиею дело не стало; слух о несметных, неисчетных богатствах строителя Боровицких монастырей было распространился по России; чернецы, уставщики, послушники немедленно явились в Анфимовом монастыре. Приходили к нему даже с отдаленных берегов низовьев Волги. В женском монастыре игуменьей сделалась московская барыня; ее постриг Анфим и назвал в иночестве Елизаветой; приехавшие с ней девушки также приняли монашество и поступили в Боровицкий монастырь: одна наречена Анфимом при пострижении Андра (?) Пелагеей, другая — Алкаветой(?); через несколько времени Анфим рукоположил обеих в древний сан дьяконисс. Кроме них, было немало и других монахинь и белиц в новоустроенной обители матуш-

ки Елизаветы. Вокруг обоих монастырей вскоре образовалась довольно многолюдная слобода.

Анфим был такой человек, что если раз заберет он что-нибудь себе в голову, так уж чего бы то ни стоило, а пойдет добиваться задуманного до последней крайности. Не было силы, которая бы могла остановить его: упрямый был человек, гордый, и, считая себя умнее всех, не слушался ничьих советов. «Муж бессовестен был»,— сказал о нем Иван Алексеев, может быть, знавший его лично. Страсть повелевать, ненасытное желание видеть толпу преклоняющуюся, благоговейно слушающую каждое его слово, принимающую каждое его веление беспрекословно, без рассуждения,— этот дух любоначалия преобладал в Анфиме. Этот-то дух гордыни и вовлек его в те поступки, которые, в глазах даже самых приверженных к нему старообрядцев, наложили темное пятно на память этого «великого страдальца». Удовлетворить его любоначалие теперь мог только архиерейский омофор; его-то и стал он искать всеми средствами, не разбирая их нравственного достоинства. Ехать в Яссы и, подобно Епифанию, получить там архиерейскую хиротонию — сделалось целью его жизни; он был уверен, что рано ли, поздно ли, но такими или иными средствами, а уж достигнет он архиерейства, и без всякого зазрения совести, с совершенным спокойствием, стал называть себя «нареченным епископом». Как в старину «нареченные епископы» управляли церковью и действовали по-святительски, воздерживаясь только служить по-архиерейски и рукополагать священников и дьяконов, так и Анфим стал теперь управлять в Боровицах по-епископски, тайно сносясь с молдавскими старообрядцами и собирая сведения, как, где и от какого греческого митрополита удобнее будет получить хиротонию. Он имел в виду и митрополита ясского, и митрополита браиловского, и архиепископа крымского. Подкупность фанариотов была ему хорошо известна, и, располагая заплатить за омофор деньгами Елизаветы в таком размере, какого они потребуют, Анфим, у которого на памяти были все церковные уставы, не смущался правилами, по которым за деньги рукополагающий во епископы и рукополагаемый — оба подлежат лишению сана и извержению из церкви. Не каноны смущали его, а затруднительность дела. Надо ехать за Днестр или в Крым, надо просить господаря

или хана, надо ожидать неминуемых препятствий со стороны местных липован или же искать их любви и покровительства, а это было для него невозможно: его гордая, высокомерная натура никогда бы не допустила его до такого, по его мнению, унижения. В это время (в 1752 г.) был в пределах польских Афиноген. Анфим и обратился к нему за хиротонией. «Не вем, кому дивиться,— говорит по этому случаю Иван Алексеев в своей «Истории о бегствующем священстве»,—народному ли нечувствию или толикой страшной дерзости Анфимове? Яко толикий муж ведущий, и толико терпение за древнее пострадавый, легкими юзами любоначальства связан, тако паде и многим смех на себе привлече, разумным же страх, яко тако скорыма ногама к подложному епископу притече и неиспытно велие на себе обязательство оному даде, во вся дни потати и покорятися тому и прочая».

Афиноген, получив значительную сумму денег из сундука московской барыни, преобразившейся в раскольническую игуменью, обязал горделивого Анфима клятвою послушания себе и посвятил, но только пока еще в сан архимандрита, обещаясь, впрочем, со временем произвести его и в архиереи. Делать было нечего; смирился перед молодым красавцем старик Анфим, никому не покорный, но, служа, как архимандрит, святительствовал, как «нареченный епископ». Надев архимандричью шапку, «нареченный епископ» не очень стеснялся в правах своих: тотчас же, по известию Ионы Курносого, начал попов святить и рассылать их по старообрядческим зарубежным слободам. При крайнем недостатке попов, старообрядцы и их принимали: у них был достаточный запас святых даров, совершаемых Анфимом в Боровицах, а этого было уже слишком достаточно для тогдашних старообрядцев. В попы на первый раз он поставил только двух самых приверженных себе и более других угождавших его властолюбивому характеру людей: родных братьев — Михаила и Иосифа Буркиных. С ними вместе и со всем своим церковным кругом и с дьякониссами, освятил он новую Боровицкую церковь и постригал чернецов. В это время получил он известие, что в Москве старообрядцы крайне нуждаются в священниках, и немедленно послал одного из попов своего поставленья в Гуслицкую волость. Анфимовский поп приехал в Гусли-

цу и тотчас же принялся за поповское дело: стал исповедовать, крестить, венчать. хоронить. Немало нашлось и для него духовных детей. Но скоро и в Москве и в Гуслице сведали, что за архиерей такой Анфим-страдалец и что́ за поп его ставленник. Воротили попа за рубеж к пославшему его и велели говорить Анфиму: «Почто ты, отец архимандрит Анфим, попов поставляешь? Ведь архимандриту попов поставлять писания и правил нет». И умолчал Анфим, видя, что дело его худо и другим не спасительно. После этого он пуще прежнего стал добиваться у Афиногена архиерейской хиротонии. Афиногену нельзя было для этого ехать в Боровицу; мы уже знаем, в каком положении находился он в исходе 1752 и начале 1753 года: он уже бегал тогда из места в место, ежечасно опасаясь за самую жизнь свою. Анфиму же ехать за Днестр и принимать хиротонию от находившегося в столь незавидном положении епископа тоже было небезопасно. Как же помочь горю, как выйти из безвыходного почти положения?

Старообрядцы в своих действиях весьма часто держатся правила св. писания: «по нужде и закону пременение бывает». Поэтому они хотя и говорят, что все правила и уставы церковные должны сохраняться неуклонно и точно, однако же, «нужды ради», в случае необходимости, допускают большие уклонения от правил. Не находя положительных правил в уставах, они ищут примеров в церковном предании; если их не отыскивают, обращаются к примерам церковной практики, ищут каких-либо исключительных случаев, бывших в древней христианской церкви. Так, например, за неимением церкви, допускают они иногда совершение литургии в доме, применяясь к тому, что св. Лукиан даже в темнице на своих персях совершил евхаристию; так, принимая беглых попов, ссылаются они на житие Саввы Освященного и другие примеры церковной истории, и т. д. Словом, совершение действия, не узаконенного правилами, но в то же время и не воспрещенного прямо, имеет для них в известных случаях совершенную силу закона. Случается, и довольно нередко, что примерам, взятым из церковной истории, они дают широкое и даже слишком широкое толкование, оправдывая себя в таком случае теми же словами апостола Павла: «по нужде и закону пременение бывает». В правилах вселенских соборов и

св. отец нигде не говорится о дозволении совершать хиротонию заочно, но и нигде не воспрещена заочная хиротония. А церковная практика представляет пример подобного посвящения, совершенного епископом Федимом над св. Григорием Неокесарийским. Анфим ухватился за этот пример, как утопающий за соломинку. Написал к Афиногену послание, в котором, приводя в пример св. Григория, просил его последовать, нужды ради, примеру епископа Федима и рукоположить его заочно. «Благодать святого духа,— писал он,— всегда немощная и врачующая и не оскудевающая, не стесняется пределами земными, но везде и присно действует. Служи божественную литургию в предстоящий великий четверток в своей церкви и в положенное время читай молитвы святой хиротонии, аз же, смиренный, в тот самый час буду возлагать на себя одежды архиерейския». При послании положено было золото. Афиноген согласился. Уведомил он Анфима, чтобы готовился он к хиротонии и возлагал бы на себя священные одежды архиерейского сана в великий четверток, 11 апреля 1753 года.

Наступил этот день. Анфим начал в Боровицкой церкви служить литургию соборне с своими попами, как архимандрит. После малого входа с евангелием, вошел он в алтарь и стал на колена пред престолом, наклонив голову. В церкви было молчание. Знали, что в эти минуты там, далеко, за Днестром, в ином государстве, епископ Афиноген, положив руку на разогнутое евангелие, возглашал молитву хиротонии... Анфим встал, священники подали ему омофор, егколпий, митру, и он надевал их, при пении клироса: «аксиос». Затем взял в руки свечи троеплетенную и двуплетенную, вышел на амвон и осенил предстоящих при громогласном пении «исполла эти деспота». Народ пал ниц пред епископом. Кончая литургию, как архиерей, Анфим тогда же посвятил попа и дьякона. Это было сделано гласно, открыто, торжественно, отнюдь не тайком. Никто не сомневался в правильности обряда, ибо наперед было объявлено, что совершается такой обряд нужды ради, гонительного ради належания от еретик, по примеру Федима епископа, посвятившего некогда подобным образом св. Григория во епископы Новой Кесарии.

Анфим достиг цели — был архиереем, был владыкою старообрядцев; ненасытное его самолюбие вполне было

удовлетворено. Успокоив совесть примером св. Григория, он искренно верил в несомненную правильность принятого им сана, посвящал много попов и дьяконов и рассылал их по старообрядческим слободам. Михаила Буркина и Иосифа он «дополнил чином», то есть вновь рукоположил, уже как епископ. Уверенных в правильности его архиерейства было много даже в самой Ветке, где так не возлюбили было вначале Анфима; начались толки о том, не следует ли сего «страдальца за древлее благочестие» призвать православным епископом... И вдруг... каково это было узнать Анфиму? Приходит весть, что 11 апреля, когда Анфим в Боровицкой церкви надевал архиерейское облачение, Афиноген не только не служил обедни, но уже был католиком и, обритый, щеголял по улицам Каменца-Подольского в ловко сшитом кунтуше польского жолнера! «И остался Анфим в скорби и печали о неполучении нарекования епископом»,— говорит Иона Курносый. Скинуть омофор, торжественно надетый, было несообразно с своенравным характером Анфима; оставаться в литовско-белорусских краях, где все знали, как и в какой именно день посвящен Анфим, было также невозможно. В этих местах никто не поверил бы правильности его архиерейства. При таких обстоятельствах решился он кинуть только что устроенную им Боровицу и ехать подальше от мест, где он возложил на себя архиерейское облачение. Анфим решился ехать туда, где в последнее время находился Афиноген, чтобы вернее узнать, в какой именно день бежал он в Каменец и совершал ли он заочную хиротонию. В случае же неблагоприятных для себя по сему случаю известий он намеревался искать новой хиротонии или утверждения в архиерейском сане от ясского митрополита Иакова.

Показание двух старообрядческих писателей прошлого века, сохранивших известие о старообрядческих архиереях того времени, совершенно противоречивы. Иван Алексеев, беспоповец, писавший по слухам и притом с видимою целью показать нелепость искания поповщиной архиерейства, говорит, что Анфим удовольствовался небывалым заочным рукоположением польского жолнера. «В то мнимое его (Анфима) поставление, говорит он, уже Афиноген не епископом, но у некоего пана капитаном сотворися, обаче некоим слепым Анфим за епископа вменился и действова епископьская и во диаконы и в по-

пы поставляша, кои попы имяху немалыя подзоры (подозрения), их же он постави и доныне священная действует». Охтенский протопоп Андрей Иоаннов Журавлев, имевший, как видно, некоторые неизвестные нам источники, говорит об Анфиме весьма кратко, но так же, как и Иван Алексеев, замечает, что он удовольствовался заочною хиротонией Афиногена. Но Иона Курносый в своем «Послании», основываясь также, конечно, на слухах, распространенных по старообрядству Анфимовыми приверженцами, говорит, что Анфим «много думая и мысля — и яко от духа нечиста паде ему на ум: поеду в Яссы, негли могу желание получити — во епископы поставлюся. И сему бывшу,— продолжает Иона,— прибыв в Яссы, подаде исповедание согласно, яко такожде верует и исповедует, яко и он, ясской, подав прошение и дары немалы — все госпожи оныя нажитие; он же, епископ ясский, посвяти его, Анфима, епископом и отпусти, куда ему годе». Но не совсем так было на самом деле. Из дела об Анфиме, находящегося в архиве синода, видно, что основанные на слухах известия Ивана Алексеева, Ионы Курносого и отца Андрея Журавлева одинаково неточны: ни в том, ни в другом, ни в третьем нет настоящей истины. В дальнейшем описании судьбы Анфима, этого «мужа забеглаго ума», будем держаться преимущественно этого дела.

«Епископ Лука, переименовавший себя в Афиногена, муж в научении хитр, обаче в вере непостоянен, не стерпе зрети суеверий липованских, еще же убояся сильныя руки императорския, вдался до римских бископов, у которых пребывает даже и доднесь, кроме святительских действ, в лице панства. И преподаде нам, смиренным, великое сумнение и *неимоверство* о своем святительстве, понеже нам, смиренным, хиротонисанным бывшим им епископом Лукою, от игуменскаго степени даже до епископства. И нужда мне належала вдатися до святительскаго суда и принять своему сумнению решение и *действительное благословение*. В котором намерении 7261 (1753) из державы Польския поехал до вашего преосвященства (в Яссы) и достиг даже до Рущер, что̀ в повете Сочавском, в митрополии вашего преосвященства. И тамо живущие липоване много мне препятствия сотворили, чрез которое их препятствие мы, смиреннии, не могли видетися с вашим преосвященством и приять

от вас благословение и сомнению своему решение». Так писал Анфим к ясскому митрополиту Иакову в 1756 году, когда между ними началась переписка. Само собою разумеется, что Анфиму во всем верить нельзя, что препятствия со стороны липован, не допустивших будто бы его до свидания с Иаковом, были им придуманы впоследствии, как бы в виде оправдания. По всей вероятности, дело было так: Анфиму нельзя было оставаться в ветковских и гомельских пределах. Оставив попов Буркиных и Елизавету с дьякониссами Андро-Пелагеей и Алкаветой в Боровицах, он один поехал за Днестр, к молдовлахийским старообрядцам, сказав, что едет в Яссы за *действительным благословением*, то есть за довершением хиротонии посредством ясского митрополита. Прибыв же в Молдавию, он, умалчивая об Афиногене, «объявил о себе, яко бы он, будучи в России, от святейшаго правительствующаго синода посвящен епископом». В Мануиловке и других старообрядческих молдавских слободах, а равно и в Забахлуйском предместье города Ясс, он не мог в то время найти себе приверженцев. Об его «крепком стоянии за древлее благочестие святоотеческия предания», об его «страданиях» и великом подвижничестве в отдаленных странах России там не знали и даже не слыхали, а известие о мнимом посвящении его петербургским синодом приняли недоверчиво. Еще полугода не прошло с тех пор, как между ними был другой такой же «свежак» [1], и тот также рассказывал про себя, что посвящен он в России, однако же архиерейство его оказалось самозванным, и он, избегая достойно за свой обман кары, перешел в католичество и, к небывалому еще, беспримерному соблазну, женился и поступил в военную службу Анфим был встречен в Молдавии насмешками. Нелегко было перенести это такому славолюбивому и своенравному человеку. Он возненавидел молдавских липован и, не доезжая Ясс, поворотил из Рущера назад, за Прут. Здесь, в Хотинском цинуте, в слободе Ветрянке, встретил он радушный приют у тамошних старообрядцев и в 1753 году основал тут свое пребывание.

В Ветрянке он обдумал план своих действий. Православным румынам, славянам и грекам рассказывал, что он русский архиерей, удалившийся из отечества, и не

[1] Так заграничные раскольники зовут недавних выходцев из России.

распространялся о прежних своих обстоятельствах. Да и не для чего распространяться: в России часто низлагали в то время епископов и почти всегда безвинно; немало было и таких, которые сами удалялись из епархии. Самые следы публичного наказания на лице Анфима не могли особенно удивить молдавских православных, ибо у них ходили даже преувеличенные слухи о «гонении русских епископов» Прокоповичем, «вдавшимся в люторскую ересь», и единомышленниками его Бироном и иными немцами. Знали и то, что рукоположивший Анфима в дьячки Лев воронежский был сечен кнутом публично и притом безвинно [1]. Да и вообще молдаван и греков не могли особенно удивлять ни клейма на лбу и скулах Анфима, ни рваные его ноздри, ни покрытая кнутовыми рубцами спина: у них, во владениях турецкого султана, бывали архиереи с резанными ушами. Это за важное не считалось. Анфиму легко было сказаться одним из русских низложенных архиереев перед греками и румынами, но не так легко было огласить это среди живших в Молдовлахии раскольников: они бы навели, хотя бы посредством Ветки или Стародубья, справки в Петербурге и Москве, и ложь Анфима рано или поздно открылась бы. Ему нужно было, чтобы румынские архиереи признали его за архиерея, за своего брата и сослужебника: тогда не послали бы за справками в Россию. С этой целью вскоре по водворении в Ветрянке поехал он в Буковину, в знаменитый тамошний православный монастырь Драгомирну, что́ на реке Сучаве. Здесь жил в то время на покое престарелый митрополит Мисаил, бывший прежде радауцкий [2]. Анфим обратился к этому добродушному,

---

[1] Никогда не было у нас так много низлагаемо архиереев, как в течение сорока лет, с 1718 по 1758. В это время казнен смертью Досифей ростовский 1718; сечен кнутом Лев воронежский 1730; лишены сана и заточены: Феодосий новгородский 1725; Игнатий коломенский 1730; Сильвестр казанский 1731; Георгий ростовский 1731; Варлаам киевский 1731; Феофилакт тверской 1735; Досифей белогородский отлучен 1736; Геннадий костромской отрешен 1757; удалились в монастыри: Аарон корельский 1721; Филофей тобольский 1727; Иродион черниговский 1734; Илларион тоже черниговский 1738; Варлаам псковский 1738; Петр белогородский 1742; Леонид крутицкий 1742; Гавриил устюжский 1748.

[2] Радауц или Редовуц — город в Буковине, на реке Сучаве, недалеко от монастыря Драгомирны и нынешней старообрядческой митрополии — Белой-Криницы.

кроткому старцу, нуждавшемуся в средствах, как вообще нуждаются на Востоке не имеющие епаршеских доходов архиереи. За подарками дело не стало,— казны московской барыни было еще много у Анфима, но одними подарками нельзя было склонить Мисаила. Потому Анфим, явясь к нему, как архиерей, ищущий ради успокоения совести святительского суда, просил исповедать его грехи и преподать в них разрешение. Мисаил принял его на дух.

— Вам известно, преосвященный владыка,— говорил ему Анфим,— что в здешних пределах есть много христиан восточной веры, именуемых липованами. Они не суть какие-либо еретики, но отделились от великороссийской церкви единственно из-за грамматических разногласий и некоторых внешних обрядов, которые почитают за свято и за велико. По простоте своей, ибо нет между ними людей ученых и разумных, они разгласие свое с великороссийской церковью поставляют некиим догматствованием и не могут соединиться с российской церковью во едино стадо. Российские же епископы мнят силою их в общение привести и токмо паче раздражили их до того, что, избегая мук и страданий, они оставляют свое отечество и забегают в чужие государства, как и в сии. Но, следуя апостолу Павлу, иже с немощными был, яко немощен, некоторые из нашея братии, епископов, оставя честь свою и седение во славе, пошли к тем липованам пасти церковь Христову, да не погибнет какая-либо из овец заблудших. Таков был в Липованах епископ Лука, который бежал из Великой России, из дворца их императорских величеств, и преименовал себя Афиногеном,— муж в научении хитр, обаче в вере непостоянен: не стерпя бо зрети суеверий липованских, еще же убояся сильные руки императорския, вдался до римских бископов, у которых пребывает даже и доднесь, кроме святительских действ, в лице панства. От того епископа Луки, когда он в благочестии еще пребывал, получил я хиротонию по всем степеням от игуменства даже до епископства. И отступлением своим до римских бископов преподаде он, епископ Лука, нам, смиренным, великое сумнение и неимоверство о своем святительстве. И потому нужда мне подлежала вдатися до твоего святительского суда и принять своему сумнению решение и

действительное благословение,— подобает ли мне священнодействовати, как епископу?

Митрополит Мисаил, видя, что дело идет только о том, что хиротонисовавший Анфима, уже после его хиротонии, уклонился в римское католичество, отвечал:

— Не умрет сын, отца ради, но душа согрешившая, та в грехе.

Исповедав, дал Анфиму разрешение в грехах и, благословив его, написал ему разрешительную грамоту.

Анфим и то сказал Максиму, что он, по затруднительным случаям, нужды ради и гонения и тесноты обстояния, рукоположен епископом Лукою не лично, но заочно, подобно тому, как Федим епископ рукополагал св. Григория в сан архиепископа Новой Кесарии.

— Действительна ли моя хиротония,— спрашивал он старца митрополита,— и что́ должно мне делать, чтобы она была совершенна?

— Для этого,— советовал Мисаил,— надо, чтобы митрополит какия-либо области благословил тебя с рукоположением и молитвами, не хиротонисуя вторично, ибо, как человек дважды не родится, так и хиротония не повторяется.

Анфим просил Мисаила совершить над ним этот обряд, но тот уклонился, говоря, что это должно сделать правительствующему митрополиту, сидящему на престоле своем, а ему, Мисаилу, того сделать не можно, потому что он с своей митрополии сошел и в Драгомирне пребывает на покое. И советовал ему обратиться к Иакову, митрополиту молдавскому, в Яссах пребывающему, «во еже приняти от него действительное благословение». На Иакова Мисаил указал, по всей вероятности, потому, что монастырь Драгомирна, где происходила беседа его с Анфимом, находился тогда в епархии ясского митрополита.

«И многу пользу и рассуждение приях от его святыни»,— говорил после Анфим о Мисаиле.

Но, опасаясь ли старообрядцев Забахлуевского предместья, не надеясь ли на Иакова, Анфим и теперь в Яссы не поехал, а воротился в свою Ветрянку. А может быть, он и то соображал, что так как Ветрянка, где он жил, и весь Буджак (ныне Бессарабия) принадлежали к епархии браиловского, а не ясского митрополита, то уж лучше и правильнее просить руковозложения у него, у

браиловского. Кстати же он вскоре и прибыл в Хотин, обозревая свою митрополию. Звали этого митрополита Даниилом, жил он в монастыре при городе Рени и, как отзывался о нем в 1757 году ясский митрополит русскому агенту, посланному в Молдавию для разведываний об Анфиме, «человек был ученый, постоянный и всякой чести достойный, которому по его благочестию знатная епархия поручена».

Анфим, этот высокомерный человек, не признававший никого выше себя, требовавший от всех одного поклонения и немого раболепства, теперь смиренно, рабски предстал перед Даниилом в Хотине, с разрешительною грамотой Мисаила в руках. Известно, как и зачем разъезжали и разъезжают фанариоты-епископы по своим вотчинам-епархиям. Анфим предстал пред Даниилом, как непредвиденная в митрополичьем бюджете статья, и потому неудивительно, что липованский архиерей был любезно принят и предупредительно выслушан браиловским владыкой. Анфим подал ему особую бумагу, в которой изложил все свои обстоятельства в таком виде, как рассказывал Мисаилу, еще подробнее говорил он Даниилу «на речах» и подал грамоту, добытую в Драгомирне. Браиловский митрополит нисколько не усомнился, похвалил рассуждения Мисаила и, согласившись совершить над Анфимом обряд руковозложения для подкрепления заочной его хиротонии, велел приходить в следующее воскресенье в хотинский собор.

Полон был этот собор в назначенное время. Много собралось туда старообрядцев той стороны. Даниил служил литургию, сослужителем был Анфим. Во время «трисвятого», когда, по обычаю православной церкви, совершается архиерейская хиротония, Даниил возложил на коленопреклоненного Анфима руки и прочитал над ним молитву благословения. Обедню дослужили оба вместе. Повещенные наперед Анфимом старообрядцы из Ветрянки и слобод, находящихся близ Каменца, были при этом обряде и разгласили повсюду о хиротонии Анфима. Даниил благословил после того Анфима управлять духовными делами липован, живущих в браиловской епархии, и во утверждение подписал грамоту, данную ему Мисаилом.

Анфим, утвердивший, как сказано, свое местопребывание в Ветрянке, с согласия Даниила, выхлопотал в

Порте фирман на построение в этой слободе большой каменной церкви, которую задумал сделать митрополиею всех липован, живущих во владениях турецкого султана. А так как липоване молдавские не захотели бы иметь его своим главою, то властолюбивый и своенравный Анфим думал подчинить их властью светскою и православных митрополитов. В старообрядческих обществах везде, а особенно за границей, и тогда, как и теперь, всякого рода дела решаются выборными от мира старшинами, которые ворочают всем. Духовные лица там только исполнители распоряжений старшин и находятся в совершенной зависимости от богатых и влиятельных прихожан. Это не могло нравиться Анфиму, желавшему повелевать и требовавшему, чтобы каждое его слово исполнялось, как веление свыше. Отсюда целый ряд столкновений его с липованами, кончившийся гибелью этого властолюбивого и гордого человека.

Первым действием липованского архиерея в Бессарабии было запрещение священнодействовать попам, поставленным Афиногеном. Так высоко почитал Анфим рукоположение Даниила, что уже не признавал действительности хиротонии афиногеновой, хотя и не отрицал впоследствии, что сам от него получил архиерейство. Весьма может быть, что попы афиногенова посвящения не хотели признать Анфима своим владыкою, и он за то наложил на них запрещение.

Окончательно решившись утвердить свою кафедру в Ветрянке, Анфим собрался ехать в ветковские пределы, в свою Боровицу, где давно ожидали его Елизавета с дьякониссами и попы Буркины, где много было у него церковной утвари, которою теперь намеревался он украсить новую свою ветрянскую церковь, где, наконец, находилась значительнейшая часть богатства, вывезенного Елизаветой из Москвы. Уже он совсем было собрался в путь, как совершенно неожиданное обстоятельство заставило его отложить поездку.

В 1753 году к нему явилось посольство от кубанских старообрядцев [1]. Они, узнав о старообрядческом еписко-

[1] В царствование Петра I произошел на Дону известный бунт Кондратия Булавина (1708). Когда это возмущение, принявшее было громадные размеры, было подавлено воеводой кн. Долгоруковым, один из главных предводителей восстания, атаман Игнат Некрасов, с 2000 казаков, убежал на р. Кубань, подвластную тогда крымскому хану под верховным владычеством

пе, живущем в Хотинской Рае обратились к нему, прося приехать к ним и у них, в Гребенях, построить и освятить церковный причет. Вместе с просьбою кубанцев, посланцы привезли Анфиму приглашение и от крымского хана, в заведывании которого находились кубанцы. Анфим с радостью принял сильно льстившее его самолюбию приглашение и немедленно собрался в путь. Приехав в Крым, он прежде всего явился к тамошнему православному архиепископу Гедеону, жившему в Херсонесе, чтó близ нынешнего Севастополя. Это крайне не понравилось сопровождавшим его гребенским кубанцам, которые во всяком сближении с православным духовенством видели самое большое нарушение своей веры. Подозрение в том, не придерживается ли Анфим никонианства, запало в душу этим грубым людям, но Анфим был не из таких, чтобы стал обращать на подобные вещи внимание. Гедеон принял его любезно, много беседовал с ним и дал грамоту, которою передавал в его ведение всех старообрядцев, живших в обширной его митрополии, с тем, чтобы он действовал среди них архиерейски, ни от кого независимо. Еще не доезжая Крыма, в Добрудже, где в слободах Славе, Журиловке и Серяковой жили также кубанцы, переселившиеся сюда с своим атаманом Некрасовым и потому называвшиеся «некрасовцами», он встретился с другим старообрядческим архиереем — Феодосием, и поладил с ним. Этот Феодосий

султана турецкого. Все беглецы были старообрядцы по поповщине. Пришедши на Кубань, они в так называемых Гребенях завели много станиц и заселили край, поступив в подданство султана. К ним на «вольныя, обельныя земли» стали во множестве приходить казаки-старообрядцы с Дона, Волги и Яика. Переселение на Кубань было так значительно, что обратило на себя внимание русского правительства, тем более, что кубанские казаки, с ведома крымского хана и с помощью кубанских татар, делали частые вторжения в пределы России. Об этом Петр I писал в июле 1710 года султану Ахмету III, но напрасно. Во время войны Петра с Турцией кубанцы, утесняемые русскими войсками, во множестве переселились вместе с Некрасовым в Турцию. Построив каики, они переплыли Черное море и явились в Константинополе, прося у султана земель для поселения и предлагая службу против врагов его, а в особенности против Петра I. Просили они поселиться поближе к русским казакам и Запорожью. Им отведены были места в Добрудже и Бессарабии по устьям Дуная, по рукаву Дуная, Дунавцу, и при озере Разельм. В Добрудже они заселили три большие слободы: Серакой (по-русски Серяково), где теперь больше 600 домов, такой же величины слободу Слава и третье,

был посвящен в сан раскольнического «епископа кубанскаго и терскаго», то есть для оставшихся в Кубани гребенских казаков — архиепископом крымским. Гребенские кубанцы, чувствуя нужду в епископе и слыша, что в других зарубежных местах у одноверцев их есть такие, обратились к самому султану, прося его, чтобы он велел патриарху или крымскому архиепископу рукоположить им архиерея Султан велел Гедеону исполнить желание кубанцев, а им приказал везти в Херсонес выборного человека, которого они считают достойным быть у них архипастырем. Они привезли монаха Феодосия. Гедеон всячески уклонялся от посвящения его, но, когда посланный султаном паша с янычарами вошел в церковь и именем султана велел Гедеону рукоположить его, крымскому владыке делать было нечего, и он неволею рукоположил Феодосия в сан епископа кубанского и терского. Но почему-то Феодосий не остался у гребенских кубанцев, а водворился у кубанцев-некрасовцев, живших в Добрудже.

Из Крыма Анфим отправился на Кубань с проезжею грамотой от хана, которому представлялся в Бахчисарае.

Журилово, с 500 домами. Другая, меньшая часть вышедших в Турцию с Некрасовым казаков была поселена между Мраморным морем и Архипелагом, неподалеку от устья реки Марицы, впадающей в Эносский залив Там, близ города Эноса (родина первого белокриницкого митрополита Амвросия), есть селение Казак-Киой Третья, также небольшая часть кубанских казаков поселена была в Малой Азии. Там, неподалеку от Мраморного моря, есть большое селение, ими занимаемое, Бан-Эвле, на речке Мандрозе. Другое поселение старообрядцев в Малой Азии, тоже называемое Казак-Киой, находится близ устья р. Кизиль-Ирмака. Третье, тоже называемое Казак-Киой,— близ черноморского лимана Деркон, куда по зимам выезжают старообрядцы из Бан-Эвле для рыбной ловли. Во время войны султана Махмуда II с египетским пашой Мегемед-Али, 3 000 казаков отправлены были в Сирию, и которые уцелели в сражениях, те поселились в Сирии и Киликии. Наконец, по последним известиям, русские старообрядцы есть в Египте, даже в самом Каире, и около Багдада. Кубанцы в Турции известны под именем *Игнат-казаков* (по имени предводителя их Игната Некрасова), по-русски же больше называются «некрасовцами». Это народ грубый и невежественный, но сохранивший всецело русскую народность во всех условиях своего домашнего и общественного быта. Из Кубани не все казаки выселились с Некрасовым в Турцию. Потомки оставшихся и до сих пор входят в состав кубанского казачьего войска. Все они старообрядцы. Называются также «гребенскими казаками». К их-то предкам и ездил Анфим в 1753 году.

Сначала кубанцы приняли дорогого гостя радушно и с великими почестями. Он устроил для них монастырь и посвятил архимандрита, а по слободам — многое число попов, и дал им универсалы, чтобы иметь им по своим обрядам церковное служение. Потом рукоположил для Кубани двух епископов, имена которых нам неизвестны. Недолго, однако, продолжалось доброе согласие Анфима с гребенскими казаками. Он хотел властвовать, хотел стать во главе всего тамошнего казачества, требовал, чтобы не только другие начальные люди, но и сам атаман ничего не делал без его благословения, а кубанцы хотели, чтобы архиерей знал свою церковь да попов, а в их дела не мешался. Пошли ссоры, брань; своенравный Анфим слушать никого не хотел, и каждый день являлись с его стороны новые требования и притязания, а при малейшем противоречии он грозил анафемой. Ужиться ему с кубанцами было невозможно; притом же эти грубые, закоренелые в невежестве полудикари, суеверные до крайней степени, заподозрили его в никонианстве, потому что у него был «Чиновник архиерейского служения», напечатанный в Москве во времена Петра I. Все Гребени возмутились. «Как,— кричали казаки,— по еретической книге нам попов наставил да и сам по ней служит! Мы от таких книг из России ушли, а он, еретик, враг божий, сюда к нам их завез! В куль его да в воду и с книгами-то!» Анфим бежал, и казаки едва не пожгли все церкви, им освященные, называя их еретическими, никонианскими. Волнение, однако, чрез некоторое время утихло: нашлись между казаками люди благоразумные и притом влиятельные на их кругах, которые убедили толпу,что Анфима прогнали они без достаточного основания. Кубанцы раскаялись и послали к нему новых посланцев с письменным всенародным молением, прося у него прощения за свой поступок и приглашая его снова на Кубань. Они догнали его на дороге, но Анфим был не из таких, чтобы прощать подобные обиды. «Аще изгонят вас из града, бегайте в другой,— отвечал он посланным.— Нога моя не будет у вас, крамольники. Мира и благословения вам не даю,— ступайте откуда пришли». И воротились посланные ни с чем. Рукоположенные Анфимом два епископа продолжали, однако, архиерействовать на Кубани. Нам неизвестна дальнейшая судьба их, но, судя по некоторым толкам старообрядцев

позднейшего времени, можно предполагать, что поставленные Анфимом архиереи, в свою очередь, посвятили других и что таким образом на Кавказе раскольническая иерархия, происшедшая от Анфима, не прекращалась [1].

Возвратясь в Ветрянку в 1754 году, Анфим стал называться «епископом кубанским и Хотинския Раи». Из Ветрянки поехал он наконец в Боровицу, где московская барыня, а теперь игуменья Елизавета, с молоденькими дьякониссами и с попами Буркиными уже более года нетерпеливо ожидали возвращения своего архипастыря. В ветковских пределах он пробыл самое короткое время, необходимое только для сборов в дальний путь. Вместе с Елизаветой и дьякониссами, с попами и клириками, им руположенными, и некоторыми своими приверженцами из мирян, всего с 15 человеками, поехал он в Хотинскую Раю, где обещал своим домочадцам тихое и безмятежное жительство. Дорогой Анфим очень сблизил-

[1] Еще до начала белокриницкой митрополии раскольники поповщинского согласия были несомненно уверены, что на Кавказе, в недоступных русскому правительству местах, есть старообрядческие поселения, а там и архиереи. В одном «Сказании о заграничных раскольниках» говорится о старообрядцах, живущих где-то около Багдада, где у них три епископства, а затем прибавлено: «есть христиане между землею Турскою и Персидскою при реке Куре, именуемые *стрельцы*» (см. «Дело в архиве московскаго военного генерал-губернатора», 13 декабря 1837 г., по описи № 100). В сочинении «Сказание вкратце о первоначальном учреждении ныне существующей в нашей святой древле-православной церкви священной иерархии и уверение в действительности оной сомневающимся», писанном в Москве, в 1861 году, говорится, что Геронтий и Павел, отыскивавшие епископа для старообрядства и путешествовавшие по разным местам почти 10 лет, прежде всего (в 1837 году) отправились на Кавказ: *«И, по слухам, будто бы в закавказских ущельях находятся единоверные нам православные епископы*, прежде обратились в Грузию и прибыли в город Тифлис, но там ничего подобного сыскать не могли». Известно, что в первой половине нынешнего столетия раскольников за нарушение «уставов благочиния и благоустройства», а также за вторичное уклонение в раскол, ссылали на Кавказ. Все секты считали это за особенное милосердие божие, видимыми путями приводящее их к соединению. Каждый толк имел для сего основание: молокане — близость Арарата, скопцы — близость р. Риона, акинфьевщина — Шемаху, и т. д., а старообрядцы поповщинского толка — близость к епископам древлего благочестия, живущим в ущельях Кавказа. До того была сильна их уверенность в действительном существовании иерархии на Кавказе. Теперь из дела синода об архиепископе Анфиме оказывается, что в прошлом столетии действительно были на Кавказе старообрядческие архиереи.

ся с молоденькими дьякониссами: обе они сделались беременны. Проезжал Анфим гласно, с некоторою даже торжественностью, называя себя православным епископом, посланным будто бы от русского правительства в польские владения и в Молдовлахию отыскивать там беглых русских раскольников и вывозить их назад в Россию. Так сказался он и в местечке Радомысле. Случившийся в то время в этом местечке епархиальный католический епископ, узнав от своих людей о такой миссии проезжавшего Анфима, хотел подробнее и точнее удостовериться в том и послал за Анфимом, требуя, чтоб он немедленно явился к нему. Анфим перепугался и поскакал наскоро по дороге в Житомир. Его бегство возбудило в бискупе сильное подозрение; была послана погоня, и в двух милях от Радомысля Анфим со спутниками был схвачен и привезен к бискупу. Бискуп рассмотрел анфимовы бумаги и удостоверился, что он обманщик и никакого поручения от русского правительства не имеет. Вообще Анфим показался ему лицом подозрительным. Неточные, неопределительные и сбивчивые его ответы, а больше всего рваные ноздри внушили прелату подозрение, что это какой-нибудь преступник, бежавший с русской каторги. Он посадил Анфима в тюрьму вместе с дьякониссами и всем его причтом. «А которые были с бородами попы и мужики, тех всех перебрил, а его (Анфима) не брил, и деньги и сосуд его церковный и ризницу, которой у него было сот на пять, обрал». Несколько недель Анфим со всеми его приближенными томился в каменной тюрьме Радомысля. Впоследствии Анфим, объясняя ясскому митрополиту это обстоятельство, говорил, что польские бискупы хотели его обратить в унию. «Того ради много озлобления прияхом за правоверие нашея восточныя церкви,—писал он к этому митрополиту,— и того ради нас замуроваша в каменную стену, и едва, Вышняго Бога помощию, ушел из рук их, а имение мое, и люди, и кони, и все грамоты даже и до днесь в руках их». На счастье Анфима, вступился за него пан Лабуньский, владелец слободы Рудницкой, которая была населена старообрядцами, признавшими правильность епископства анфимова. Они просили Лабуньского, а Лабуньский, весьма дороживший поселившимися на его землях старообрядцами, ибо они доставляли ему отличный доход, принялся хло-

потать у епископа за Анфима и вскоре успел его выручить. Пробыв две недели в слободе Рудницкой среди выручивших его одноверцев, Анфим с дьякониссами отправился в Бессарабию, но почему-то не поехал в Ветрянку, а поселился в слободе Чебарчи, или Чобурчи, на берегу Днепра.

В начале следующего 1755 года в слободу Чобурчи прибыло новое посольство к Анфиму. Оно было из Добруджи от тамошних кубанцев, или некрасовцев. Все три слободы их, будучи недовольны епископом Феодосием за то, что он не хотел признавать православные церкви, греческие и русские, полными всякого нечестия и не имеющими ни малейшего следа благочестия, звали к себе Анфима для водворения церковного благочиния и благоустройства. И в Славе, и в Журиловке, и в Серякове шла тогда большая неурядица в духовных делах. Смятения были до того велики, что старообрядческий епископ Феодосий со своими приверженцами принужден был удалиться из Добруджи, где грубые, буйные некрасовцы грозили ему смертью. У них, как и на Кубани, расправа была короткая: соберут «круг» и начнут советоваться; старики приговорят: «в куль да в воду», а молодые тотчас и исполняют приговор. Едва избежав смерти, Феодосий поселился на левой стороне Днестра, неподалеку от возникшего впоследствии города Одессы. Здесь он построил старообрядческую слободу Маяки, чтó ныне город Херсонской губернии. Он и умер впоследствии в Маяках и похоронен там. До сих пор жители этой слободы, считая Феодосия святым, благоговейно чтут могилу этого «епископа кубанскаго и терскаго».

Анфим прибыл к некрасовцам в слободу Славу вместе со всеми своими присными: с дьякониссами, с попами Иосифом и Матвеем Буркиными и всем клиром церковным. Сначала он поладил с казаками и, кажется, даже успел помирить с ними Феодосия, освятил для них церковь, наставил попов и дьяконов столько, сколько им хотелось. Некрасовцы тоже были довольны Анфимом и предложили ему поселиться у них и быть «архиепископом всего православия». Анфим не заставил долго просить себя и церковь в слободе Славе сделал своей митрополией, наименовав ее «соборною церковью всего православия». Самых горячих своих приверженцев он пристроил к этой церкви: Матвея Буркина сделал «эконо-

мом соборныя церкви всего православия», а брата его Иосифа «логофетом». Сам же принял на себя звание «архиепископа всех старообрядцев», живущих в подданстве турецкого султана и крымского хана. На собор, бывший по этому случаю 20 апреля 1755 года в Славе, приезжал из Маяков и Феодосий. С епископами, находившимися на предгориях Кавказа, на реке Кубани, снеслись заблаговременно, и от них получено было согласие на возведение Анфима в сан «архиепископа».

Но Анфим недолго ладил с некрасовцами. Своим характером, своим стремлением подчинить себе всех атаманов до такой степени, чтобы не могли они без его воли ничего предпринимать, своими высокомерными выходками он возбудил всеобщее на себя неудовольствие; притом же отношения его к дьякониссам были слишком явны и производили большой соблазн между Игнат-казаками, которые хотя и не отличались скромностью и целомудрием, однако не могли терпеть соблазна, производимого их архипастырем. Но всего более раздражали их отзывы Анфима о православных греческих архиереях. Мы уже видели, как он искал благосклонности митрополитов ясского, браиловского, редовуцкого, крымского; это узнали некрасовцы и были тем крайне недовольны. Когда же, говоря о разных духовных делах, Анфим стал ссылаться на этих митрополитов, как на авторитеты, и отзываться о них с почтением, а не с ругательствами и проклятиями, на которые так щедры были некрасовцы, они его возненавидели едва ли не больше, чем бывшего у них до того Феодосия. Первые заводчики смуты против Анфима были, впрочем, не сами некрасовцы, а народ пришлый из молдавских старообрядческих слобод. По крайней мере так говорил впоследствии сам Анфим. Замутились некрасовцы, а с ними и попы не анфимова поставленья, и черницы, и уставщики, и клир. Раздался известный клик: «в куль да в воду!». Но Анфим и на этот раз избежал беды: он успел уйти в Чобурчи с дьякониссами, логофетом и экономом. Некрасовцы послали за ним погоню. На дороге догнали архиепископа, ограбили его дочиста и едва не убили. Добравшись до Чобурчей, Анфим сделался отцом семейства: обе дьякониссы родили — одна мальчика, другая девочку. После такого скандала ему нельзя было оставаться в Чобурчах,

и он водворился на старом месте, в Ветрянке. Здесь он начал иск против ограбивших его, жаловался крымскому хану и самому султану. По распоряжению хана и по султанскому фирману, кое-что из пограбленного имущества было найдено, но далеко не все. После грабежей в Радомысле и на пути из некрасовских слобод Анфим обеднел: почти все, что̀ досталось ему от московской барыни, почти все, что̀ было нажито архиерейством, осталось в руках хищников. На последние деньги он принялся, однако, строить в Ветрянке давно задуманную им каменную церковь, но 24 ноября 1756 года, когда самого Анфима в Ветрянке не было, из старой деревянной церкви воры украли заготовленные на постройку немалые деньги и также все церковное украшение, потиры, митры, ризы и пр. Украли и всю архиерейскую ризницу, так что Анфиму и служить было не в чем. Он подозревал в этом деле враждебных ему старообрядцев и, кажется, не без основания. Совсем обездолили они так недавно еще богатого Анфима. Теперь он был почти нищий.

А между тем паства его умалялась; его уже знать не хотели и бегали, как еретика, и некрасовцы, и жившие в Молдавии старообрядцы, и жившие в польских владениях. Лишь немногие из бессарабских старообрядцев да жители села Хребтовки, что̀ в Подолии, еще признавали его своим архипастырем. На Кубани, кажется, забыли Анфима. Отшатнувшись от Анфима и прогнав его попов, заднестровская поповщина по-прежнему, с большими трудами, с большими пожертвованиями, стала добывать себе беглых попов из России, и эти попы естественно сделались самыми сильными и самыми опасными врагами Анфима. Из них самыми влиятельными на народ оказались священствовавшие в Сальцах — черный поп Макарий, родом южнорусс (русняк) и, если верить Анфиму, бывший униат, да поп Иван Андреев, священствовавший прежде в России, но потом лишенный сана, отданный в солдаты и бежавший к старообрядцам за границу. Оба они беспрестанно и ревностно оглашали Анфима самозваным архиереем и еретиком, продавшим свою совесть и древлее благочестие греческим митрополитам за мирские почести. На все, что̀ пришлось Анфиму вытерпеть на Кубани и в Добрудже, они указывали, как на сильные аргументы его еретичества. «Вот, смотри-

те, провославные,— говорили они,— такие ревнители, такие поборники древляго благочестия, каковы оные кубанцы, первые увидали под овчей кожей алчнаго волка: от них не может скрыться никакое еретическое действо». Рассказывая об отношениях Анфима к обеим дьякониссам, о том, что он живет с двумя семьями, попы насмешливо говорили: «Вот Анфим уж и впрямь архиерей по чину Мелхиседекову! У него, что у турки, две жены, коли не завел третьей!» И Макарий и Иван Андреев говорили, что из всех ересей, какие когда-либо бывали на свете, нет и не бывало злее ереси анфимовой, и потому даже перекрещивали и перевенчивали крещенных и венчанных попами анфимовского поставленья. Были и другие попы, обличавшие Анфима, называвшие его еретиком и отклонявшие от него народ. Из них особенно влиятелен был живший в слободе Крокове (в Молдавии) престарелый иеромонах Авраамий, которого молдавские и бессарабские старообрядцы звали своим «патриархом», и другой, по имени Николай, живший в Долгой-Поляне, что́ в Бессарабии.

Плохо приходилось Анфиму; со всех сторон он был окружен врагами; положение его было хуже того, в каком находился Афиноген перед бегством в Каменец. В таких тесных обстоятельствах вздумал он прибегнуть к митрополитам и патриарху константинопольскому. Он подал доношение Даниилу браиловскому, прося его представить его просьбу самому цареградскому патриарху, а через несколько времени послал другое такого же рода доношение к митрополиту молдавскому. Вот этот, во многих отношениях любопытный документ:

«Великому господину, преосвященнейшему архиепископу Иакову, митрополиту всея Молдавския земли.

Доношение.

Доносит вашему преосвященству Анфим, епископ кубанский, а о чем мое доношение, тому следуют пункты:

1. Известно вашему преосвященству, что в митрополии вашей имеется многочисленнаго народа, великороссийских людей, именуемых *липовени*, и зовутся христиане греческаго исповедания, а от патриархов, митрополитов, и архиепископов, и епископов, и всего священнического чина действительных священников отступили и вси ни во что вменяют и всех таинств церковных не принимают, токмо некоторыя. Из них имеют у себя попов бег-

лых из Великороссии и от прочих епархиев и *от своих архиереов запрещенных*, овых расстриженных, овых безместных, и весьма грубых, и неразумных, и невеждей сущих, о чем ясно описано мною в поданном от меня доношении Даниилу, митрополиту Проилаву (Браилову?), которое послано и до святейшаго *нашего* патриарха константинопольскаго, Кирилла.

II. И оных попов примает у них поп, который к ним, мужикам, прежде пришел. И с ними, мужиками, пришедшаго к ним попа приимает сице: повелит ему проклясть всех восточныя церкве архиереов и прочие чины и уставы, действуемые в восточной церкви; и приносит оный поп всем у них прощение чернцам и черницам, и мужикам и бабам. Яко бы был в ереси, и тако благословение приняв от них шарвером (?) действует у них и учит и утверждает тако, что может-де приходящих от ереси приять и поп попа; и благословить его священнодействовать, зане-де иерейское благословение с архиерейскими равно есть, и тако восточныя церкве архиереов всех еретиками имянуют, точию себя православными зовут, и в них обещанию Христову глаголют исполнитися, реченному сице: «се Аз с вами до скончания века».

III. А ежели кто, *быв в них и познав их прелесть, приидет в сообщение соборныя церкви и приимет разрешение своим согрешениям, и действительное благословение от преосвященных архиереов, яко же и аз, смиренный*[1]*, бывый в их заблуждении и приял благословение и исполнение святыни с руковозложением* и молитвами чрез преосвященнейшаго митрополита Даниила и *совершенную власть епископскую* с подписанием рук от его преосвященства Проилава, Даниила и архиепископа Гедеона крымскаго и духовнаго моего отца проин епископа Мисайлы редовуцкаго, то они отступницы, липовени, такового зовут еретиком и отступником от православныя веры, и многия клеветы и укоризны произносят на православных служителей всюды, дабы точию их прелесть славна была и везде распространилась в сынах погибельных и в невежественных и заблудных человеках, яко овцах, неимущих пастырей.

IV. А от нас, смиренных, восточныя церкве благочестивых священников, крещенных человеков, ежели кто

[1] Стало быть, Анфим не считал уже более себя старообрядцем, а обратившимся из раскола в православие.

приидет в их прелестное мудрование, то овых перекрещивают, овых миром помазывают, котораго мира у них и не бывало, и друг после друга перекрещивают, и браки перевенчивают, яко же чинится ныне в митрополии вашего преосвященства от них, неосвященных липованских священников.

V. Есть в Замостии черный поп Макарий, который родом руснак, поставлен в попы во унии, и от них, униатов, ушел и крестился у липован, и был простым мужиком, потом паки в унию своими епископы униатскими приять во унию, и служил года с три, и паки к липованам пришел в митрополию вашего преосвященства, и от липованскаго попа постригся в монахи, и благословением чернцов и мужиков священнодействует и до днесь на Замостии и на Сокольницах и на прочих слободах,— крестит, исповедует, браки венчает и прочия действия действует, что́ ему повелят мужики, яко же у лютеран: ратушею пастора избирают и дают черную епанчу, а не архиереи рукополагают.

VI. А после сего попа Макария, ныне явившийся на Сальцах поп Иван Андреев перекрещивает второе и браки перевенчивает. А сей поп Иван Андреев был в России расстрижен по правильной вине, и в солдаты отдан, и ушед, зде действует в митрополии вашего преосвященства. Такожде и другий чернец, поп Панфутий, бывый расстрижен, и той действует в митрополии вашей, ездя по всем липованам. А ныне имеется на Долгой-Поляне и черный поп Николай, который пострижен от попа чернаго неимущаго архиерейскаго благословения и ставленныя грамоты, и священнодействует на Крокове у вашего преосвященства. И еще поп Авраамий имеется на Долгой-Поляне, также бывый белый поп, и постригся от чернаго же попа, неимущаго епископскаго благословения, и сам не имеет иеромонашеския грамоты, а священнодействует в митрополии вашея святыни. Сего попа они имеют яко патриарха, старости ради. И сии вышепоказанные неосвященнии священницы действуют во всех слободах в митрополии вашего преосвященства, не опасаяся никого, но надеясь на гроши мужиков, а вашему преосвященству о сем неизвестно, что они какие люди. И черные их попы действуют вся мирския потребы без благословения епископскаго, в противность правилам святых отец и всея восточныя церкви.

VII. А ныне ведомо учинилось нашему смирению, что оные пустопопы между собой совет учинили, дабы поставить себе церковь в митрополии вашего преосвященства, на Долгой-Поляне, позволения времене чрез мужиков от великаго вашего государя. И вашему преосвященству о сем известно ли? Аще ли ведомо, то убо не подобает о сем вашему архипастырству не радеть, дабы таковые своевольники церковь имели внутрь митрополии вашего преосвященства, но подобает всяко тщание иметь и советовать с великим государем и не попущать церковь строить таковым прелестником на утверждение прелести их, дондеже приложити под паству или вашего преосвященства живущие в митрополии вашей, или к нам, смиренным, да имеют покорение братския любве нас, смиренных, с вашим преосвященством, как и его преосвященство Даниил митрополит и его преосвященство Гедеон архиепископ позволили, и благословили, и подписалися, дабы мне иметь власть и смотрение над таковыми людьми, а не своеволием и разбойническим правом, противность правилам святых апостол и святых отец, яко же вышепоказанные своевольники бесчинством своим говорят; ибо сии ругатели восточныя церкви — откуда имеют миро? Откуда антиминсы? И под паствою которого архиерея хотят быть? Разве в своеволии церковь иметь хотят сии расстриги, яко же обычай им есть, да удобее свою прелесть и своеволие утвердят и распространят? И о сем вашему преосвященству не подобает небрещи, но всяко тщание иметь, дабы таковыя ереси покуль не имели растения внутрь митрополии вашего преосвященства и от братии своея, преосвященных архиереов, зазрения не было, зане вам имеется всяка власть и свобода ко возбранению таковыя прелести во всей митрополии.

VIII. Егда же сии своевольники, мужики, просят что́ иметь у вашего преосвященства или церковь поставить или о котором попе именно, то подобает вашему преосвященству их вопросить: с ведома ли они просят о церкви нашего смирения у вашего преосвященства, и имеется ли от мене письменное прошение о том до вашего преосвященства, и поп оный, о котором они просят, имеет ли ставленную или правильную грамоту и за подписанием ли руки нашего смирения, понеже мы, смреннии, им, липованам, пастыри есми, аще они и чинятся непокорные

от своеволия, обаче нам, пастырем сущим, подобает всякое иметь рассуждение, да братство и любовь будут и исполнится на нас реченное спасителем нашим Иисусом Христом: «о сем познают вси, яко Мои есте ученицы, аще любовь имате между собою». А не смотреть бы вашему преосвященству ни на какия их, мужиков, оговорки, что будут клеветать на наше смирение, ибо наши люди весьма лукави, и вашему преосвященству их пронырства неудобь может достижно уразуметися, ибо они не хотят никаким образом под паствою пастыря быть, но токмо в самочинии и в отчуждении восточныя церкви, о чем пространнее будем иметь разговор о всем с вашим преосвященством, когда персонально видетися будем.

Того ради ныне ваше преосвященство прошу сие мое доношение принять и о вышеписанном рассмотрение учинить и таким своевольникам церковь строить не попущать без ведения нашего смирения и попов их всех освидетельствовать, а таковых бы ересей им творить возбранить, что по дважды и по трижды крестить каждаго человека, такожде и венчать по дважды, и постригать чернцов и черниц по дважды, а неимущим самим власти ни единыя от преосвященных архиереов, а быть бы под властию архиерейскою им, попам, а не по своей воле, а с нашим смирением вашему преосвященству союз любве и братства иметь и о всем к нам писать в дом нашего смирения в Хотинскую Раю в село Ветрянку.

Преосвященнейший владыка, прошу вашего архипастырства о сем моем прошении благорассудительное усмотрение учинить. 7264 году июня 30 дня.

Smirennyi Anfim Archiepiskop Kubanskiy i
Chotinskia Ray Липовен»

Это был чистейший донос старообрядческаго архиерея на свою непокорную паству. Своенравному, властолюбивому Анфиму хотелось наконец силою предержащей власти заставить липован признавать его своим духовным главой. Он представляет липован людьми опасными и особенно обращает внимание ясского митрополита на то, что они митрополитов и епископов ни во что вменяют, а это, во всяком случае, не могло понравиться фанариоту Иакову, гордому божественностью своего права. Донося на старообрядцев, Анфим подстрекает молдавское правительство на крутые меры, подобные тем, какие были тогда во всей силе в России. Само собой раз-

умеется, что, когда липоване узнали о переписке «архиепископа всего православия» с православными греческими митрополитами и даже с самим константинопольским патриархом, они пуще прежнего возненавидели его и объявили еретиком. Молдавский митрополит отвечал Анфиму, но письмо его нам неизвестно. Из второго анфимова послания видно однако же, что Иаков спрашивал его, когда и кем он поставлен в архиереи, звал к себе в Яссы для свидания и изъявлял готовность поручить под его паству всех старообрядцев, живших в его обширной Молдовлахийской епархии. На это письмо Анфим отвечал 12 декабря 1756 года. Рассказав, что он посвящен епископом Лукою, переименовавшим себя в Афиногена, что в Драгомирне он благословлен митрополитом Мисаилом и что в хотинском соборе митрополит Даниил благословил его с руковозложением, объяснив все бедствия и озлобления, которые испытал он от кубанцев, римских бискупов и липован, представив славскую грамоту на сан «архиепископа всего православия»,— Анфим так заключает свое послание к Иакову: «Ваше преосвященство, прошу дать позволение моим священникам священнодействовать в митрополии вашей, в наших липованских людех, которые требуют благословения нашего смирения, баламутникам, попам и чернцам и прочим своевольникам запретить, дабы они пакости отселе поставленным от нашего смирения священником не творили, и добровольне хотящих людей приходить до наших священников не ругали. Такожде прошу ваше преосвященство и о сем: егда время будет и вещи зовущи, дать позволение входа нам, смиренным, до своих нам людей в митрополии вашей, во еже осмотрети их и поучити закону Божию и совершенству христианства, и позволение испросити нам о всем у сиятельнейшаго князя вашего, за что и за его сиятельство от нас, смиренных, Бог (sic) молить будем, такожде и за ваше преосвященство».

Между тем слухи об Анфиме дошли и до Петербурга. В ноябре 1756 года канцлер граф Бестужев-Рюмин получил от нашего резидента в Турции донесение, что «живущие на Кубани и в Волошине российские люди, раскольники, имели старание о посвящении к ним епископа: вопервых, у живущаго в Крыму митрополита, да у волоскаго архиерея, живущаго в монастыре, называемом Гущах, но ими не посвящен; напоследок живущим под Ду-

наем, в турецком владении, в монастыре, называемом Рени, греческим митрополитом Даниилом желаемый теми раскольниками епископ посвящен, коему имя Анвтиноген, и жительство имеет в близости Хотина, в монастыре Ветрянка, где тех раскольников в жительстве много имеется, а на Кубани учреждена тем раскольническим епископом архимандрия и поставлен от него архимандрит, и по слободам многое число попов, и даны им от него универсалы, и имеют они по своим обрядам церковное служение, и что для того с Дону крымскою областию на Кубань, и от Смоленска Польшею, уходя к тому епископу, приходят и поселяются на житье, по близости того монастыря, где тот епископ находится». Граф Бестужев-Рюмин, передав такое извещение резидента в коллегию иностранных дел, признал более удобным и полезным поручить разведывание о заднестровском раскольническом архиерее киевскому губернскому начальству. Киевский вице-губернатор, тайный советник Костюрин, получив указ иностранной коллегии, тотчас же отправил за границу надежных людей в Могилев на Днестре, в Хотин и в Яссы. Они узнали, что Афиногена, о котором упоминал резидент, у старообрядцев уже нет, а вместо него есть Анфим, и что этого Анфима старообрядцы за своего архиепископа больше не признают, в чем всячески уверяли старообрядцы, жившие по торговым делам в Могилеве, и могилевский комендант. В Могилеве же агент, посланный из Киева, виделся с анфимовыми служителями и с его живописцем, приехавшими по его приказанию за покупками. Они сказали, что Анфим живет в Ветрянке и в церкви этой слободы служит по-архиерейски, что при нем десять человек попов и дьяконов и что, сверх того, он посвящает попов для старообрядцев. Ясский митрополит, узнав от агента, посланного Костюриным, что на Анфима, находящегося с ним в переписке, обращено внимание русского правительства и что оно по собрании предварительных сведений намерено дипломатическим путем требовать его выдачи, тотчас изменил свои отношения к Анфиму и вместо оказательства «братосоюзной» к нему любви разослал по всей своей епархии ордеры, чтоб Анфима, «где он явится, тотчас поймать и, связав, привести в Яссы с тем намерением, чтоб ему, лжеархиепископу, бороду обрить и в ссылку, в которых местах соль ледовую бьют, сослать». С ордерами ра-

зосланы были и приметы Анфима. Выгораживая себя и митрополита браиловского Даниила из дела об Анфиме, ясский митрополит умалчивает, однако, о Мисаиле редовуцком и его отношениях к лжеархиепископу; он передает агенту два письма анфимовы и славскую грамоту на сан «архиепископа всего православия», но копий с своих писем к Анфиму не доставляет. Вообще Иаков вел себя в этом деле довольно загадочно.

Получив такие сведения об Анфиме, святейший синод поручил киевскому митрополиту Тимофею войти в непосредственные сношения с молдавским митрополитом и самым энергическим образом требовать от него, чтоб он прекратил возникшее в его епархии незаконное и ложное раскольническое архиерейство. За болезнью митрополита Тимофея, киевская консистория писала об этом в июле 1757 года к Иакову молдавскому, но был ли какой ответ от него, из дела не видно.

Положение Анфима было самое неприятное; оно было несравненно хуже, чем положение Афиногена перед обращением его в католическую веру. С одной стороны, отыскивает его русское правительство, с другой — люди ясского митрополита ищут, чтоб обрить и отправить в соляные копи, с третьей — некрасовцы, самые сильные теперь враги его, стерегут Анфима и во все места, где живут казаки, пишут, что если где появится «еретик Анфим», тотчас же его «в куль да в воду». Находясь в таком положении, он не смел никуда выглянуть из Ветрянки, где еще были у него немногие приверженцы. Но и эти отстали, когда получено было послание от ветковских отцов, в котором они уверяли своих одноверцев, что Анфим сущий обманщик и никогда в архиереи законным образом посвящен не был, что он даже и в иеромонахи-то никогда посвящен не был и сказался священником ложно. Анфим, видя, что и в Ветрянке от него отступаются, бросился в Чобурчи, но здесь ожидала его подготовленная некрасовцами беда. Войт слободы Чобурчей, Назар Алексеев, получив от некрасовцев требование утопить Анфима за то, что он, будучи у них, «много пакости учинил», давно поджидал несчастного лжеепископа. Как только он появился в Чобурчах, Назар Алексеев собрал «круг» на мосту через реку Днестр и объявил вины Анфима и требование некрасовцев. «В куль да в воду!» — закричали слобожане. Молодые схватили

Анфима, связали ему руки и ноги, к шее привязали чувал и бросили с мосту в Днестр.

Так кончил жизнь свою Анфим, сначала пользовавшийся громадным авторитетом у старообрядцев, а потом ненавидимый ими и пустившийся в доносы к православным митрополитам и патриарху на своих одноверцев, которых считал своею паствой. Не сохранилось о нем доброй памяти ни в одной раскольнической общине. Остались верными ему только — игуменья Елизавета, дьяконисcы с малолетними детьми, да два попа: Матвей и Иосиф Буркины. Эта обедневшая семья несчастного лжеепископа не могла оставаться в Ветрянке: там все смеялись над ними, и нельзя было поручиться, чтоб участь Анфима не постигла рано или поздно и его приверженцев. Собрав остатки расхищенного имения, они уехали в ветковские пределы и жили там в Боровицах. Раскаялась ли Елизавета в том, что растеряла все свое богатство на Анфима, и долго ли горевали хорошенькие дьякониссы по своем милом архиепископе,— не знаем.

VII

ИСКАНИЕ АРХИЕРЕЙСТВА В КОНЦЕ XVIII СТОЛЕТИЯ

Соблазн, произведенный между старообрядцами в пятидесятых годах прошлого столетия лжеепископами Афиногеном и Анфимом, не охладил ревнителей «древляго благочестия» в искании архиерейства. Они по-прежнему собирались на соборы, по-прежнему толковали о необходимости иметь своего епископа и по-прежнему пытались добыть его. Иван Алексеев говорит, что в 1755 году, то есть когда Анфим еще был в чести у некрасовцев и принимал сан «архиепископа всего православия», ветковские и гомельские жители, вместе с старообрядцами стародубских слобод, после долгих рассуждений о необходимости иметь епископа для поставления попов и освящения мира и антиминсов, решились подать просьбу о том, чтобы великороссийские архипастыри рукоположили им выборного от них человека. Алексеев не знает, чем кончилось это дело, что́ отвечали на челобитную старообрядцев. Мы тоже не знаем, ибо не встретили в архивных делах упоминания об этой просьбе.

Без сомнения, старообрядцам было отказано в их ходатайстве. Не такое было время.

С кончиною императрицы Елизаветы Петровны настали новые, лучшие для старообрядцев времена. Ее преемник, Петр III, тотчас по вступлении на престол издал относительно старообрядцев такое узаконение: «никакого в содержании закона, по их обыкновению, возбранения не чинить, ибо во всероссийской его императорского величества империи и иноверцы, яко магометане и идолопоклонники, состоят, а те раскольники-христиане, точию во едином застарелом суеверии и упрямстве состоят, что отвращать должно не принуждением и огорчением их, от котораго они, бегая за границу, в том же состоянии множественным числом проживают безполезно, и для того его императорское величество высочайше указать соизволил, о том сочиня сенату обстоятельное учреждение предложить к высочайшей апробации». Это было первое доброе слово, сказанное о раскольниках с самого начала раскола. Кратковременность царствования Петра III была причиной, что этот государь не успел докончить задуманного им дела. При Екатерине II последовал целый ряд узаконений, отменявших прежние крутые петровские меры против раскольников и постепенно расширявших их гражданские права. Зарубежным старообрядцам объявлено было прощение за их бегство из отечества, они вызваны были в Россию, им отведены были для поселения плодородные и обширные земли в Сибири и в нынешней Самарской губернии. При этом было предписано местным начальствам, чтобы «возвращавшимся из-за границы старообрядцам и следовавшим в места избранных ими поселений не только в пути ни малейшаго задержания не было, но до определенных к населению их мест свободно пропускаемы и квартиры им везде беспрепятственно даваемы были, равно ж и по прибытии в определенные места, в поселении ни от кого никакого препятствия чинимо не было б, и не отбирая и не требуя из их имений ничего, оказаны были им при том новом поселении все удобовозможныя вспоможения». Вслед затем раскольническая контора, ведавшая дотоле дела старообрядцев, была уничтожена, и они были подчинены общим присутственным местам. В указе Екатерины 14 декабря 1762 года зарубежные раскольники призывались в Россию вместе

с иноземцами (колонисты). Замечательно, что самые земли тем и другим были отведены в одних и тех же местах: в саратовском Заволжье, а потом в Новороссийском крае. Число выселившихся из польских владений старообрядцев было значительно, ибо, вызывая их в отечество, правительство, кроме всепрощения, кроме разрешения носить бороду и ходить не в указанном платье с желтым козырем, освобождало их на шесть лет от всяких пошлин и податей и предоставляло им избирать род жизни по их желанию: или записываться за прежними помещиками, или поступать в государственные крестьяне и в купечество (то есть городское сословие) по собственному их желанию, «а против желания, прибавлено было в указе, никто инако приневолен быть иметь». Вскоре затем последовали новые узаконения, имевшие целью уже прямо успокоение умов старообрядцев посредством возвращения им гражданских прав, которых со времен Петра I и даже ранее они были лишены. Сюда относятся: указы 1764 и 1782 об уничтожении двойного оклада, который платили они в силу постановлений Петра I, 1769 года о даровании им права судебного свидетельства и 1785 г. о дозволении им вступать в общественные должности. Самым важным последствием всех этих узаконений было водворение старообрядцев в городах, на что до тех пор права их были значительно стеснены. Старообрядцы вообще и прежде были и теперь остались плохими хлебопашцами; в их общинах всегда преимущественно развивались промышленная и торговая деятельность. Но в купечество, то есть в городское сословие, старообрядцам, принадлежавшим к сельским обществам, до указа 1764 года приписываться было почти невозможно; теперь они поселились в городах, преимущественно в больших, и в обеих столицах. Быстро развились в их руках капиталы, что́ следует отнести вообще к отличающей их домовитости и бережливости, а в особенности к внутренней связи, скрепляющей их общества, в которых взаимное вспомоществование составляет едва ли не главнейшую основу. Достоверно известно, что в конце XVIII и в начале XIX столетия значительная часть русских капиталов оказалась у старообрядцев, принадлежавших к городским сословиям.

Вследствие сказанного, центры старообрядческих обществ изменились; старые упали, возвысились дото-

ле незначительные, возникли новые. Ветка снова была опустошена. Так как тамошние жители не послушались пригласительного указа Елизаветы и притом производили разбои как в польских владениях, так и, переходя границу, в пределах империи, то в 1764 году послан был генерал-майор Маслов с войском, который разорил слободу и 20 тысяч старообрядцев вывел в Россию. Их водворили в Сибири. Зато возвысились стародубские слободы, снова возникли и усилились опустошенные сначала Питиримом, а потом переселениями старообрядцев за границу скиты керженские и чернораменские, явились большие, богатые деньгами и попами монастыри на Иргизе, сделавшиеся в конце XVIII столетия митрополией поповщины.

Явились монастыри и у казаков: на Урале, на Дону и в Гребенях. Все это принадлежало поповщине. В городах образовались обширные общины, у них явились церкви, священники и даже монастыри. Так, на Волге явился целый ряд сильных общин поповщины: во Ржеве, Твери, Романове, Городце, Казани, Малыкове (впоследствии Вольск) и Саратове. Еще сильнее их сделалась община в Москве. Построив на костях своих мучеников обширные церкви и «палаты», известные под скромным названием Рогожского кладбища, или богаделенного дома [1], московские старообрядцы поповщинского толка до того усилились, что их община сделалась главною не только во всей России, но и за границей, особенно после собора 1779 года, на котором утверждено было перемазывание миром приходящих из нашей церкви (*софонтиевщина*). До тридцатых годов нынешнего столетия Рогожское кладбище уступало только Иргизу, но и самый Иргиз был как бы колонией Москвы: и там все творилось по воле и приговору рогожскому. Многочисленность московской общины, огромные богатства ее членов, ворочавших миллионами и находившихся в коротких

---

[1] Рогожское кладбище находится близ Покровского монастыря, основанного при царе Алексее Михайловиче «на убогих домах». Когда устроили этот монастырь, убогие дома перенесли дальше. На месте убогого дома, в котором хоронили запытанных в Преображенском приказе старообрядцев (сравн. «Раскольническия дела» Г. В. Есипова, т. I, стр. 608), при Екатерине II во время чумы возникло кладбище для погребения старообрядцев поповщинского толка и тогда же построены на нем церкви и палаты для богаделен.

связях с людьми влиятельными, занимавшими даже высшие государственные должности, наконец, самое имя Москвы, где были в свое время патриархи Филарет и Иосиф, столь уважаемые старообрядцами,— все это взятое вместе было причиною того, что прочие поповщинские общины стали в полную зависимость от Рогожской. Сложились даже по этому поводу пословицы. Так, в керженских и чернораменских скитах и по заволжским селам и деревням говорили и доселе говорят: «что положат на Рогоже, на том станет Городец, а на чем Городец — на том и Керженец». В Саратовской и Симбирской губерниях и в самой Москве говорили: «на Рогожской дохнут, на Иргизе попа дадут». Все сколько-нибудь важные дела поповщины стали решаться на Рогожском кладбище. Естественно, что и самое искание архиерейства перешло в московскую общину.

В 1765 году московская поповщина после долгих переговоров согласилась с московскою поморскою общиной слиться воедино, под духовною властию одного *архиерея*. Опыты прежних лет достаточно вразумили их, что от русских епископов им не дождаться своего архиерея: ни один из них ни сам не согласится к ним перейти, не решится рукоположить им выборного из них человека. На заграничную хиротонию также мало было надежды; притом же греки были в то время поголовно заподозрены в обливательном крещении. Если, быть может, некоторые старообрядцы и знали об архиереях на Кавказе, поставленных Анфимом, то ни в каком случае не решились бы искать у них хиротонии, ибо самозванство Анфима было им достоверно известно. Созвали собор для совещания. В нем приняли участие знаменитейшие по уму, начитанности и знаниям старообрядцы. Между ними был Никодим из Стародубья, автор «Никодимовых ответов», дьяконовского согласия. Ему было в то время еще только двадцать лет от роду, но, несмотря на молодость, он пользовался уже громадным влиянием на одноверцев. Ему принадлежала первая мысль о соединении всех старообрядцев и поповского и беспоповского согласий во едино стадо под паствою одного пастыря, и после первой неудачи он семнадцать лет постоянно и с полной энергией отыскивал архиерейства. Никодим находился в близких сношениях с Потемкиным, был известен Екатерине и пользовался большим весом между своими. По-

морцы, для совета и решения этого общего для всего старообрядства дела, вызвали в Москву из Выгорецкого монастыря Андрея Борисова. Этот человек, тогда еще 31 года от роду, был, по словам Павла Любопытного, «громкий член поморской церкви и (впоследствии, 1780—1791) главный киновиарх Выгорецкой киновии», автор пятнадцати сочинений, знаменитый не только между старообрядцами, «но и у владык мира, поименован от последних *патриарх староверческой церкви.* Со многими вельможами находился он в переписке, многократно же писал послания к высокому, известнейшему князю Потемкину, его благодетелю и другу». Имя этого человека доселе дорого для старообрядцев, потому что он, как человек умный и смелый, старался извлечь пользу для раскола из своих связей с вельможами, особенно с таким всесильным, как Потемкин. По влиянию Андрея Борисова на Потемкина, были отменены двойной оклад, платимый старообрядцами (1782 года), и наименование в официальных бумагах старообрядцев «раскольниками». Был в этом соборе казенный крестьянин, тридцатишестилетний Василий Емельянов, глава московской поморской общины, основатель и первый настоятель так называемой Монинской моленной, друг Андрея Борисова. Был тут Иван Васильев, бывший впоследствии чугуевским монахом Венедиктом, ученый поморец, автор замечательного сочинения: «Разговор Тарасия с Трифиллием», или «Извещение разглагольствия», и написавший, кроме того, 30 «поэм в стихах». Ему было в то время только двадцать один год, но, по словам Павла Любопытного, «московский ученый круг благочестивых всегда поставлял его на ступени мудрецов и давал ему особенное преимущество в его витийстве и ловкости». Все, как из этого видно, были люди молодые, некоторые, как, например, Никодим и Венедикт, еще юноши, но эта молодежь составляла цвет старообрядчества, это молодое поколение раскольников отличалось энергией, обширностью сведений и в то же время фанатическим усердием к делу отцов и дедов. Московские купцы также участвовали на соборе.

«Целое,— писали они в своем соборном деянии,—целое миновало столетие, как православная церковь постепеннаго священства лишилась, и мы остаемся без спасительных таинств и без пастырей. В смутное Никоново

время, хотя и оставался Павел епископ, за древлее благочестие изгнание претерпевший, но преемников по себе никого нам не оставил. Также при жизни его и после, хотя и обретались кое-где православные древние священники, но и те все, богу тако определившу, прешли в вечные кровы. Мы же, хотя последователи и ученики их, но руковозложения и освящения к служению в божьей церкви таинств не един из нас ничего не имеет. И потому мы в крайней нужде и настоящем расточении находимся, нужда же всех средств, какия ведут к точному исполнению всего в законе, хранить и исполнять не обязана, но свободна. Следовательно мы теперь должны держать ту цель, которая единым предметом есть нашей нужды и нашего желания».

Стали искать в церковных правилах, нет ли там какого-нибудь, хотя и не очень подходящего дозволения рукоположить епископа не рукою епископа; искали прилежно и не нашли. Обратились к примерам церковной практики, но и в ней такого примера не встретили: ни в старых книгах, ни в Четьи-Минеях, ни в летописях ничего подобного не говорилось. Поморцы, менее старообрядцев поповщинского толка обращавшие внимание на правила и примеры, были и редакторами соборного деяния и главными деятелями собора. Вполне убежденные, что «нужда законных правил исполнять не обязана, но совершенно свободна», они отыскали пример в летописях отечественной церкви и предложили собору применить его к настоящему случаю. В 1147 году великий князь Изяслав велел русским епископам поставить ученого затворника Климента Смолятича в киевские митрополиты без патриарха константинопольского. Епископы отказались, говоря, что митрополита должен ставить патриарх. Изяслав настаивал. Тогда черниговский владыка Онуфрий сказал: «аз сведе достоить ны поставити (митрополита), а глава у нас есть святого Климента, якоже ставят греци рукою святаго Ивана. И тако сгадавше епископи, главою святого Климента поставиша митрополитом». Приняли этот пример к подражанию. Есть в Успенском соборе глава св. Иоанна Златоустого, говорили молодые поморцы, ею можно исполнить то дело. Другие, а особенно Никодим, воспротивились и сказали: «Произведение Климентово было не по закону, а по воле великаго князя Изяслава, и притом как сия тайна на-

зывается хиротония, то есть *руковозложение*, то лучше *рукою* св. Ионы митрополита или другого некоего святителя сие учинить, подведя к мощам ставленника и от мощей руку на главу его возложа, и, читавши принадлежащия молитвы, облачить новопоставляемаго во вся архиерейская». Это мнение было принято единогласно, причем в главное основание брали то, что в самом Цареграде патриархи не рукою архиерейскою, а рукою мощей Иоанна Златоустого хиротонисаны бывали. Заготовили старообрядцы богатое архиерейское облачение и стали искать случая — посредством денег попасть в Успенский собор в такое время, когда не бывает службы. А если бы не удалось поладить с ивановскими звонарями и соборными сторожами, то положили на соборе — ехать в Новгород, где не было в то время архиерея, почему и надеялись, что в тамошний Софийский собор попасть будет им легче, чем в оберегаемый ивановскими звонарями Успенский собор. Все были рады такому соглашению, и хотя сознавали, что предположенное ими действие не будет вполне законно, правильно, но оправдывали себя нуждою и «тесным обстоянием», имея более в виду то, что хотя корень их епископства будет и не совсем правилен, за то все секты старообрядцев соединятся во едино стадо паствою единого святителя. Этим больше всего и оправдывали они свое начинание. «Мы будем правы, ежели не по закону, то по политике, когда скитающийся и рассыпанный местами и мыслями народ соберем воедино», писали они в своем деянии. Уже намеревались приступить к избранию кандидата на кафедру старообрядческого архиерея, но вдруг возникли недоразумения, а за ними и несогласия. Кто-то из находившихся на соборе сказал: «Любезная братия! Когда будет рукопологатися наш избранник во епископы, и когда будем мы его облекать во священная, тогда рукополагаяй его святый, коего руку мы будем держать над главою рукополагаемаго, без сомнения, будет молчать устами. А сие молчание сильно привести нас может в сомнение, во-первых, потому, что мы не знаем, угодна ли будет наша выдумка святителю сему, и будет ли святый сей с нами согласен на все то, что́ мы ни делаем; второе, кто же из нас должен руковозлагательныя молитвы вместо архиерея читать, которые кроме его мы, простии, никак не должны и не можем при толь великом действии

произносить?» Всех поразило такое возражение и произвело оно большое разногласие между соборовавшими. Представители поповщины говорили, что молитвы хиротонии может читать их поп; поморцы, отвергая правильность ихнего попа, как взятого от «смущенныя никонианския церкви», решительно восстали против такого предложения и в свою очередь предлагали своего наставника; кончилось тем, что после долгих споров и переговоров обе стороны разошлись далеко не в таком дружелюбном согласии, в каком собрались. Замысел о соединении старообрядческих церквей воедино был оставлен, как неосуществимый; оставлено было и предположение о «восстановлении архиерейскаго чина». Поморцы с поповщинцами разошлись. Первые остались при том мнении, что восстановление пресекшегося архиерейства возможно лишь посредством придуманного на соборе 1765 года действия, а о так названной ими «вечной хиротонии», то есть преемственной от апостолов, и слышать не хотели, и никак не соглашались заимствовать архиерейство от православной иерархии, выставляя в числе прочих доказательств, что пресекалась же на целые столетия православная иерархия во времена арианства, иконоборства и потом возникала же вновь, когда на всей земле не было православных епископов. Иван Васильев (Венедикт) вооружился сильным словом против поповщины, признававшей «вечную хиротонию», неиссякшую в великороссийской церкви. Кроме знаменитого своего «Извещения разглагольствия» (Тарасия с Трифиллием), написал он 15 вопросов к старообрядцам поповщинского толка «о их суеверном заблуждении по предметам хиротонии и крещения российской церкви». В жизни своей он, однако же, по известию Павла Любопытного, «яко человек, впал в пропасть зломудрия о вечном бытии хиротонии», то есть признал необходимость преемственности от самих апостолов епископского сана.

Никодим, ученый юноша, бывший одним из представителей дьяконовщины на соборе 1765 года, сделался после него самым ревностным искателем архиерейства; но не иначе хотел он восстановить старообрядческую иерархию, как заимствовав ее от православия. Много труда приложил этот замечательный человек для достижения своей цели; семнадцать лет он преследовал ее, поддерживая своим учительным словом московскую и другие

поповщинские общины и сближая их в некотором отношении с православною церковью. Сначала он жил в Москве, потом в Стародубье, где на землях посада Злынки построил Троицкую пустынь, известную более под именем Никодимовой. Здесь-то ревностный искатель архиерейства, к сожалению, так рано умерший[1], сделался основателем, так сказать, единоверия. Самыми ревностными, самыми добросовестными пособниками Никодимову делу явились купцы Иван Кузнецов и Беляев, а также монах Иоаким. Они не жалели ни трудов, ни издержек для осуществления своего плана.

Вскоре после того, как, не сделав ничего, разошелся собор 1765 года, московская община старообрядцев в самой Москве приступила к новому исканию архиерейства, при посредстве того же Никодима. Жил в то время в Москве Афанасий, митрополит грузинский, который служил при Архангельском кремлевском соборе, ради поминовения покойных царей и великих князей, в нем похороненных. К нему в 1766 году обратились старообрядцы, прося, чтобы рукоположил им епископа, и предполагая после хиротонии «исправить его». Афанасий отвечал: «здесь, в Москве, и вообще в областях, подчиненных синоду, я этого для вас сделать не могу без его благословения; а вот мой совет — поезжайте вы к нам, в Грузию; она от русскаго синода не зависит, а там есть у нас свой автокефальный патриарх, блаженнейший католикос Антоний. Просите его,— может быть, видя ваше усердие и мольбу, он и согласится исполнить вашу просьбу». Послушалось московское старообрядческое общество митрополита Афанасия и нарядило посольство в Тифлис. Немалое время продолжались сборы, наконец в 1768 году поехали за Кавказ монахи Никодим и Иоаким и купец Иван Кузнецов, чтобы просить царя Ираклия II и католикоса Антония о поставлении им епископа. Едва ли не Иоакима предполагали они возвести в этот сан. Но посольство московских старообрядцев от предгорий Кавказа поворотило назад. В то время Екатерина II хотя и не начинала еще блистательной для русского оружия войны с турками, но 3-я армия, под командою генерала де Медема, заняла уже предгорья Кавказа, с целью держать в страхе подчиненных султану и крымскому ха-

[1] В 1784 году, 12 мая, 39 лет от роду.

ну старообрядцев, живших в Гребенях, в кубанских станицах, а также кабардинскую орду и горцев. Пропуска за Кавказ никому из России не было. Никодим с товарищами возвратился ни с чем.

Война с турками отрезала русских старообрядцев от заграничных православных архиереев, у которых бы можно было получить хиротонию: в Грузию не было пропуска, в Молдавии стояли русские войска, ясский митрополит и подумать не смел сделать что-либо несогласное с видами русского правительства. Путь к сербскому патриарху и автокефальному болгарскому архиепископу был отрезан.

Между тем усиливались толки и споры в поповщинских общинах «о том, коим чином приимати приходящих от великороссийския церкви попов и мирян». В одних местах принимали их вторым чином, перемазывая во второй раз миром (*ветковское согласие, прежняя софонтиевщина*), в других — третьим чином, по проклятии ересей и «исправе», то есть исповеди у старообрядческого попа (*дьяконовщина или дьяконово согласие*) [1]. Чтобы положить конец раздорам и несогласиям из-за этого предмета, собрался в 1779 году в Москве собор. На этом соборе, открытом ноября 1-го в доме московского купца Ямщикова, собрались представители поповщинских общин и ветковского и дьяконова согласий, из Москвы, Стародубья, Скопина, Керженца, Иргиза, Галича и других мест. Собрания происходили в домах Ямщикова, Павлова и Мальцева до половины февраля. Большинство решило «перемазывать», то есть ветковское согласие взяло верх. К этому пристало московское общество, представители Керженца, Иргиза и др. мест. Перемазывание означало большое удаление от господствующей церкви. По каноническим правилам, перемазывают схизматиков или раскольников, а подцерковников, то есть не отделившихся от церкви, а только уклонявшихся от нее, принимают лишь по проклятии ересей. Меньшинство (дьяконовщина), во главе которого был Никодим,

[1] Так называлось оно по имени Александра-дьякона, казненного Петром I в 1720 году. Он учил, что не следует миропомазывать приходящих от православия, четырехконечному кресту должно воздавать равную честь с восьмиконечным, кадить, как в православной церкви, а не крестообразно, как у старообрядцев; по последнему пункту его учения, дьяконовщину зовут еще *кадильниками*.

не соглашалось посредством перемазывания удалиться от господствующей церкви и признать ее таким образом расколом. Произошло разделение. Партия перемазанцев хотя и желала архиереев, но полагала, что «нужды ради» можно как-нибудь и без них обойтись. Мира без архиерея сварить нельзя — так сварил его на Рогожском кладбище поп Василий. Никодим с своей партией отвергал такое миро и желал епископа.

Никодим уехал из Москвы в свой монастырь, что́ в Стародубье, подле Злынки; но единомышленники его остались и в Москве, и в Торжке, и даже на Керженце и Иргизе, хотя и малочисленные. Между ними происходили частые и деятельные сношения по предмету искания архиерейства.

Еще до собора, бывшего в Москве, в том же 1779 году, Никодим, поп Михаил Калмык, купец Кузнецов и другие ревнители старообрядства, дьяконова согласия, жившие в Стародубье, решились, по прежним примерам, искать себе архиерейской хиротонии на Востоке. Война с турками кончилась — проехать было можно. И снарядили они посольство в Грецию и Палестину, чтобы пригласить кого-либо из греческих православных епископов перейти в старообрядство и поселиться в Стародубье. Мало сохранилось известий об этой посылке, но и по отрывочным известиям, до нас дошедшим, видно, что она была задумана точно на таких же основаниях, на каких десятка три лет тому назад московские старообрядцы снарядили посольство для отыскания архиерея и водворения его в Белой-Кринице. Монах Иоасаф, принадлежавший к ветковскому согласию, из главного стародубского монастыря Покровского, что́ в слободе Климовой, и другой стародубский инок, по имени Рафаил, отправились на Восток. Современник этой посылки монах Виталий в своем сочинении «О церкви и раскольниках» рассказывает, что Иоасаф, завидуя богатству и славе попа Михаила Калмыка, бывшего в то время как бы патриархом старообрядства, обратился к дьяконовцам с предложением ехать в многотрудное путешествие для отыскания какого-либо восточного архиерея, а сам думал о том, как бы самому надеть омофор. У Рафаила то же было в уме. Оба посланца, разъезжая по Востоку, не очень хлопотали о приглашении тамошних архиереев в Россию, в среду старообрядцев, а больше искали хиротонии соб-

ственно для себя. Не с одной тысячей стародубских червонцев отправились они в Константинополь, но тут не нашли желаемого. Из Царьграда поехали на Афон; здесь, в 1781 году, епископ Герасим посвятил Иоасафа в иеромонахи, но преподать ему архиерейскую хиротонию без патриарха не решился. Из Афона стародубские паломники отправились в Иерусалим. Видя, что ни один митрополит или епископ греческий не посвятит их в архиереи, решились они обратиться к самому патриарху. В Иерусалиме был тогда патриарх антиохийский Даниил. Не имея понятия о русском расколе и желая побольше денег «на выкуп христиан из турецкой неволи», как объяснил он свою симонию, патриарх Даниил посвятил Иоасафа в архимандриты, но в архиереи не посвятил. «Привезешь другую тысячу червонцев,— говорил он,— посвящу и в архиереи». Столько денег у Иоасафа налицо не было, и он воротился в Россию за червонцами в ноябре 1782 года, когда в Стародубье о заграничном епископстве уж и думать перестали по причине совершенно изменившихся обстоятельств [1]. Виталий, из сочинения которого мы заимствуем этот рассказ, не говорит о дальнейшей судьбе Рафаила. Теперь известно, что он, вероятно, имея не одну тысячу червонцев, получил от патриарха Даниила хиротонию, но, возвращаясь в Россию, умер где-то в Турции.

В то время, когда Иоасаф и Рафаил странствовали по Востоку и без согласия стародублян добывали для себя в Иерусалиме архимадричьи шапки и архиерейские омофоры, поп Михаил Калмык и Никодим, думавшие уже, что посланцы их где-нибудь запропали, получили из Ветки, тогда уже вошедшей в пределы империи, известие, что в Подолии, в местечке Немирове, временно проживает греческий митрополит Евсевий, который не прочь посвятить для старообрядцев епископа. Рядом с Немировым расположены по берегу Буга старообрядческие слободы: Борская, в которой некогда проживал Афиноген, Курник, Перепеличье и другие. Они находились еще под владычеством Польши. Ветковские отцы

---

[1] Иоасаф остался у стародубских старообрядцев, а по присоединении вместе с ними к единоверию признан был синодом в звании архимандрита и был настоятелем сначала Успенского Никодимова, что подле Злынки, а потом Корсунского единоверческих монастырей. Умер около 1802 года.

из монастырей Лаврентьева, Пахомиева и Макариева писали в Злынку к попу Михаилу Калмыку и Никодиму, чтоб они вошли в сношения с Евсевием и уговорили его за известную плату посвятить какого-либо старообрядца в епископы. Никодим, с свойственною ему энергией, схватился за этот нежданный, негаданный случай. Бог знает, воротятся ли Иоасаф с Рафаилом, думал он, а если и привезут они епископа, лишний не помешает. И начались в стародубских и ветковских слободах совещания, кого бы послать к Евсевию в Немиров для получения хиротонии. В совещаниях прошло немало времени. Наконец избрали находившегося в Малиновоостровском монастыре, что́ неподалеку от Злынки и близ монастыря Никодимова, беглого иеромонаха Иосифа и послали его в Немиров. Но он не застал Евсевия в этом местечке: за десять дней до его приезда, митрополит уехал в Грецию.

В 1781 году Никодим и поп Михаил Калмык были в Вешенках, имении графа Румянцева-Задунайского, тогда главного начальника Малороссии, к которой причислялось и Стародубье. Разговаривая с ними о старообрядстве, герой Кагула коснулся необходимости для церкви архиерейского сана и подал собеседникам мысль искать епископа не крадучись, *а путем законным, то есть просить императрицу и синод о назначении особого для них архиерея и таким образом воссоединиться с православною церковью.* Никодим и Михаил сомневались в успехе, но Румянцев обнадежил их, обещая и с своей стороны ходатайствовать пред государыней и синодом. Начались у стародубской дьяконовщины совещания об этом предложении Румянцева, начались частые и деятельные сношения с одноверцами, не принявшими в 1779 году московского догмата о «перемазании» и жившими в Москве, Торжке, на Керженце, в Нижнем Новгороде и других местах. В сентябре 1781 года Никодим писал уже о намерении своем к знавшему его лично и любившему входить с ним в богословские споры, всесильному князю Потемкину. Потемкин, так же, как и Румянцев, обещал старообрядцам свое ходатайство и обнадеживал, что императрица и митрополит петербургский Гавриил непременно согласятся дать им особого епископа, для служения по старому чину. В начале 1782 года Никодим был в Петербурге; Потемкин пред-

ставил его Екатерине. Она также обнадежила его, что им дадут законных священников и архиерея для служения по обрядам дониконовским, если на этом условии они согласятся воссоединиться с православием. Никодим вместе с другими старообрядцами был не раз и у митрополита Гавриила и много говорил с ним об этом предмете. Наконец решились подать просьбу об епископе.

По возвращении из Петербурга, в том же 1782 году, Никодим и другие согласные с ним искали по России законного архиерейства. Они ездили в Новгород, в Новый Иерусалим, в Задонск, в Нижний Новгород приглашать к себе живших там на покое, оставивших свои епархии, русских архиереев. Прежде всего обратились они к епископу воронежскому Тихону, жившему с 1767 года на покое в Задонском монастыре. Благочестивая, истинно христианская жизнь этого святителя, его учительное слово были известны и старообрядцам. Вообще нерасположенные к православному духовенству, особенно к высшему, не могли они не отдавать полной справедливости святой жизни Тихона, и теперь Никодиму и его единомысленникам особенно хотелось, чтобы во главе их стал такой благочестивый святитель. К нему в Задонск приезжал из Москвы один саратовский купец и, говоря, что уже императрица согласна дозволить иметь особого епископа для служения по старому обряду, просил дать свое согласие на поступление к ним. Святитель Тихон не дал прямого ответа, но сказал: «К чему же я приступлю? Пока вы сами еще пусты!»

Другие старообрядцы ездили из Москвы в Новый Иерусалим, где в то время жил на покое бывший крутицкий епископ Сильвестр, но и от него не получили прямого ответа. Нижегородские старообрядцы обращались к проживавшему с 1778 года в тамошнем Печерском монастыре, бывшему рязанскому епископу Палладию. Этот также не дал решительного ответа, но сказал: «подумаю». Наконец из Торжка ездили старообрядцы в Новгород, где в Юрьеве монастыре жил Иоанникий, бывший викарий новгородского митрополита, епископ коломенский и кексгольский. Что́ отвечал им Иоанникий — не знаем, хотя новоторы и уверяли своих одноверцев, что он уж согласился перейти к ним.

Не найдя таким образом русского епископа, который бы изъявил решительное согласие служить по дони-

коновскому обряду, старообрядцы подали просьбу, не поименовывая архиерея, но прося прислать из синода, при указе ее императорского величества, какого угодно епископа, но только родом великорусса. Все боялись обливанства малороссиян. Вот этот пункт просьбы:

«3-й пункт. Прислать, при указе ея императорскаго величества, из святейшаго правительствующаго синода поставленного из великороссийской породы хорепископа[1], то есть сельскаго или слободского, которому быть не относительну до епархиальнаго архиерея, а подлежать святейшему правительствующему синоду».

Прошение подал Никодим в апреле 1783 года всесильному тогда князю Потемкину-Таврическому в слободе Добрянке. Началось дело о присоединении старообрядцев к господствующей церкви. Мы не будем теперь распространяться о том, как оно шло. Скажем одно, что и Румянцев и Потемкин усердно хлопотали, чтобы сделано было все согласно данному ими обещанию... Но изменились обстоятельства.

Никодим в мае 1784 года умер. Дело затянулось. Затем один за другим умерли и Потемкин и Румянцев. Скончалась и Екатерина. Митрополит Гавриил был в немилости у Павла I; дело передали учителю этого императора, московскому митрополиту Платону. Оно продолжалось, но об особенном архиерее для старообрядцев, о просимом ими хорепископе не было и речи. Составлены были Платоном и в октябре 1800 года утверждены Павлом I «правила единоверия». Они не удовлетворили ожиданиям старообрядцев. О хорепископе пройдено молчанием, и, сверх того, Платон не согласился простить беглых попов, бывших у старообрядцев. «Прежних из попов, яко беглецов и предателей сана своего, к таковой (единоверческой) церкви не допускать»,— написал он на второй пункт просьбы старообрядцев, желавших оста-

---

[1] *Хорепископ* — сан, высший иерейского, но низший епископского, существовал в древней православной церкви, но с течением времени упразднился. Теперешние викарные архиереи — ничто в роде древних хорепископов. В «Кормчей книге» есть послание св. Василия Великого *хорепископам,* из которого видно, что в его время в каждом селении был свой хорепископ, которому было поручено местное духовенство. Никодим с другими просили поместить хорепископа в слободский Успенский монастырь (Никодимову пустынь), что́ между посадами Зыбкой (город Новозыбков) и Злынкой.

вить у себя бывших у них священников, к которым они привыкли, которым вручили свою совесть. Таким образом, мера, инициатива которой принадлежит Румянцеву-Задунайскому, не состоялась вполне, и потому не были удовлетворены ожидания ни той, ни другой стороны. Успехи единоверия были слабы. Поповщинцы дьяконовского согласия, отвергнувшие постановление московского перемазанского собора 1779 года, теперь отдалились от церкви более, перейдя почти все в согласие «перемазанцев», иначе называвшееся «ветковским», «иргизским», «рогожским». Дьяконовщина, бывшая столь близкою к господствующей церкви, вследствие воздвигнутого на нее гонения со стороны Рогожского кладбища за инициативу единоверия, пала. Слабые остатки ее удержались в Малиноостровском монастыре, который беднел с каждым годом, в Орле и немного в Оленевском ските, на Керженце.

Появилось много полемических сочинений, направленных против единоверческой церкви. Из них особенно замечательны были Андреяна Сергеева «Два ответа петропольским униатам на их вопросы о причине, не позволяющей с ними быть во единой вере и богослужении»; Гаврилы Скачкова «Критическое показание в стихах и прозе о бытии в России трех церквей: никоновой, униатской и старообрядческой или поповщины»; Павла Онуфриева Любопытного «Ответ петропольским униатам о несовместности соединения с ними в вере Христовой церкви». Явились даже сатиры в стихах, писанные старообрядцами. Единоверцы не отвечали.

VIII

ПОПОВЩИНА В НАЧАЛЕ XIX СТОЛЕТИЯ. РЯЗАНОВ

Необходимость иметь епископа сознавалась преимущественно в дьяконовском согласии поповщины. Этим толком преимущественно и были предпринимаемы в прошлом столетии попытки получить архиерейство. С самого Александра-дьякона, основателя этого толка, казненного в 1720 году, громко высказывается необходимая нужда в епископстве. В своих «Керженских ответах» он прямо говорит о нужде в святительском чине. Из его

последователей неизвестный нам по имени старообрядец писал в 1745 году какому-то отцу Тихону энергическое послание о печальном состоянии беспастырского старообрядства. В этом послании он требует: «елико сила ходатайствовати святительство — источник священства». Во второй половине XVIII столетия из дьяконовских общин почти беспрерывно поднимаются одни за другими голоса в пользу искания архиерейства. Для осуществления этого заветного желания дьяконовские общины не жалеют ни трудов, ни денег, смело идут навстречу серьезным опасностям, посылают своих людей в дальние странствования, пробуют все возможные для них средства к установлению правильной иерархии в старообрядстве.

Другие согласия хотя и принимали по временам более или менее участия в искании епископства, но никогда не были разборчивы в средствах и, давая слишком широкое применение словам апостола Павла: «по нужде и закона пременение бывает», прибегали к средствам антиканоническим. Напротив, дьяконовцы в деле искания святительского чина поставляли непременным условием строгое исполнение правил, установленных вселенскими соборами и уставами св. отец. Дело Епифания было чуждо им, и если впоследствии некоторые из дьяконовцев и принимали попов его поставления и сохраняли имя его в синодиках, то лишь потому, что Епифаний, хотя и обманом, но получил правильную хиротонию. Притом же в то время старообрядцы поповщинского толка были убеждены в подлинности писем, привезенных Епифанием в Яссы от киевского архиепископа, архиепископа действительно недовольного Петербургом и Москвою. Афиноген хотя и был прежде у дьяконовцев в Зыбкой, но, находясь между ними, не посмел объявить себя епископом, а когда самозванно принял за рубежом этот сан, дьяконовцы немедленно прекратили с ним всякие сношения. Анфима с самого появления его дьяконовцы считали обманщиком. В Москве, на соборе 1765 г., дьяконовцы остановили странную затею других старообрядцев рукоположить епископа рукою мощей св. Ионы.

Наконец дьяконовщина, и одна только дьяконовщина, в конце XVIII столетия искала *правильного архиерейства* как за границей, так и в России. Одна только

дьяконовщина *просила законного архиерея у законного правительства.*

Таким образом, искание архиерейства, правильного и законно поставленного, по справедливости считается одним из отличительных признаков дьяконовской ветви поповщины.

Дьяконовцы (они же лысеновщина и кадильники), теперь почти не существующие, были гораздо ближе к господствующей церкви, чем все другие отрасли старообрядства. Разномыслие свое с нею относительно некоторых обрядов они не считали делом большой важности и признавали ее «православною», говоря, что вера состоит не в обрядах, которые и прежде разнствовали по местам, а в исповедании. На этом основании дьяконовцы принимали беглых православных попов и вообще православных без миропомазания — третьим чином, то есть после исповеди. Четырехконечный крест, над которым ругались другие старообрядцы, называя его знамением антихриста, латинским крыжем и т. д., дьяконовцы почитали наравне с восьмиконечным. Они открыто пошли было к сближению с господствующей церковью, прося у правительства хорепископа. Мы знаем, к какому привело это результату. Явилось так называемое *единоверие.*

С тех пор, как представители дьяконовщины, Никодим и поп Михаил Калмык, начали законным путем искать у правительства особого архиерея, прочие толки старообрядства стали враждебно смотреть на них. «Кадильники изменяют древлему благочестию и во всем смесилися с никонианы»,— говорили перемазанцы. Много скорбей претерпел Никодим и единомысленные с ним, но бодро переносили они испытание, надеясь на благополучный исход дела, надеясь, что законный архиерей, которого даст им правительство, по малом времени соединит расточенное стадо всех старообрядцев во едину церковь. Дьяконовцев осыпали насмешками, называли их «хромыми», укоряли в отступничестве и даже прибегали относительно их к насилиям [1]. Богатые общины — московская, петербургская и др.— прекратили свои вспомоществования и в другие общины рассылали увещания и запрещения не помогать дьяконовцам ни деньгами, ни

[1] Так, например, было с Сергеем Иргизским, когда он принял намерение присоединиться к плану Никодима.

другими подаяниями и не иметь с ними ни в чем общения. Дьяконовщина обнищала. Немалая часть ее последователей еще до 1800 года присоединилась к перемазанцам. В самом Стародубье перемазанцы (по-тамошнему иорженцы) с каждым годом усиливались и преимущественно насчет дьяконовцев. После утверждения правил единоверия, дьяконовский толк почти совсем упал, но борьба с ним московского Рогожского кладбища продолжалась до двадцатых годов нынешнего столетия. Рогожское кладбище восторжествовало [1].

---

[1] Падавшая дьяконовщина не вдруг однако уступила рогожцам. В начале XIX столетия для умиротворения старообрядства поповщинского согласия, то есть для соглашения перемазанцев с дьяконовцами, был собор в Макарьевом монастыре (Могилевск. губернии, Белицкого, ныне Гомельского, уезда). Рогожцы послали туда своих уполномоченных со множеством старопечатных и старописьменных книг. Эту библиотеку везли на особых подводах. Кроме рогожцев были на соборе старики из Стародубья, из Ветки, из Орла (дьяконовцы), приехало двое старообрядцев из Молдавии — монах и безграмотный мирянин. Собор, как и московский 1779 года, не достигнул церковного мира; не было даже составлено соборного деяния. Тем не менее он имел большое влияние на ослабление дьяконовщины и усиление перемазанства, ибо московские старообрядцы решительно объявили, чтобы никто из неприемлющих перемазания не только не надеялся на какую-либо их помощь, но знал наперед, что будут принимаемы все меры к совершенному уничтожению дьяконовского толка. Самого Александра-дьякона объявили они еретиком. Дьяконовцы доказывали на Макарьевском соборе, что перемазание началось не более, как лет сорок перед тем (в шестидесятых годах XVIII столетия). Московские не могли доказать противного и замолчали. Тогда дьяконовцы обратились к ветковским отцам, чтоб они доказали древность перемазания, но те не сказали ничего положительного; одни из них говорили: «не наше дело, мы готовимся уж умирать»; а другие: «не должно о миропомазании споры умножать». Но Макарий, настоятель монастыря, и молдавские старообрядцы приняли сторону дьяконовцев. После этого собора московские старообрядцы произвели большие смуты в Стародубье. По их приказу, мещане и крестьяне посада Митьковки произвели большие беспорядки в главнейшем монастыре Стародубья, Покровском (в Климовой слободе), где были и перемазанцы и дьяконовцы. Узнав, что там принят беглый от господствующей церкви поп без миропомазания, они собрались во множестве с дубинами, окружили монастырь и угрожали вместе с немазанным попом перебить всех живущих в нем. В виду дубин попа перемазали. В другой раз подобные смуты были в монастыре Николо-Пустынском (подле Клинцов). В храмовой праздник Николая Чудотворца собрались сюда, по обыкновению, богомольцы из разных слобод. Были и дьяконовцы, которые вместе с другими молились богу. Поборники рогожской партии закрамолили. Они кричали монастырским:

Дьяконовцы, даже и во время исхода несчастной для них борьбы с рогожцами, не покидали мысли о необходимости архиерейства, хотя, за неимением денежных средств и малочисленностью своею, не могли уже предпринимать таких попыток, какими отличались их предшественники в минувшем столетии. Так, последний борец дьяконовщины, орловский мещанин Дмитрий Варфоломеевич Тужилин, в 1816 году в послании своем на Рогожское, упомянув о плачевных раздорах и распрях в старообрядчестве, говорил: «Откуда сия богом ненавидимая и злообразная страсть в сердцах православных христиан оживляет свой корень? Не оттого ли, яко чрез долговременное лишение свойственных им пастырей каждо приобыкл ходить по своих волях? От сего церковное тело разделися на многие части... Сим недугом (неимением архиереев) будучи поражены, христиане, вместо еже бы всего честнее краситися титлою звания христианскаго, имеют различныя нарицания: ов глаго-

---

«вы, отцы, худо о церковных вещах смотрите; знать, вы с московскими общения иметь не хотите!». И напомнили им про митьковские дубинки у Покровского монастыря. Много было шуму и вопля; дьяконовцев выгнали. Это было в 1815 году. Вслед затем (22 марта 1816 года), от имени московского старообрядческого общества, попечители Рогожского кладбища, Михаил Иванович Самойлов и Тимофей Андреевич Остряков, писали в Николо-Пустынский и другие стародубские монастыри и посады следующее послание: «Уведомлены мы о ваших монастырях и посады, что иноки и старообрядцы исповедания нашего имеют совокупление с жителями дьяконовой секты и невозбранно имеют вход к богослужению и к отправлению треб, и вы их в таком случае не гнушаетесь и всегда в сообщении с ними, равно и милостыни принимаете по умерших их родственниках, кои в ересях уже и померли, и тем мешаете свет со тьмою. А потом, и у нас бывши, в Москве, множество соблазнили да некоторых и развратили ходом своим в дом Мошанских, к тому же и прочие возникают соблазны. То мы в таком случае слезно, лицом всея церкви, просим оставить таковое развратное дело. Если же не оставите и не последуете отеческим преданиям единодушно с нашим обществом, как оное издревле содержат и принимают вторым чином, то таковых, яко татей и разбойников, по евангелию, отрешаем и лишаем сообщения и *милости* общества нашего, и будете яко не брегущие священная правила божественных отец наших, еже церковь утверждает и все христианское жительство украшает. Такожде угодно было обществу нашему и изволили нам приказать, чтобы непременно уведомить все монастыри. В рассуждении чего и требуем скорейшаго уведомления» (Мошанские, упоминаемые в этом послании, были зажиточные московские старообрядцы, отцы или деды которых принимали живое участие в делах собора 1779 года

лет себе быти «ветковского» исповедания, другие же нарицаются «безпоповщинскаго» разумения и других многих различных наименований от мест, от учителей — в старообрядцах много обретаются». В Москве в то время до того ненавидели дьяконовцев, что и думать не хотели об архиерействе, чтобы не уподобиться ненавистной секте, у которой стремление к архиерейству было одним из главных отличительных признаков. Но по временам и из среды врагов падающего толка поднимались голоса о необходимости епископского чина. Так, перемазанец города Вольска, купец Иван Петрович Фомин писал в 1799 году к приятелю своему, купцу Ивану Ивановичу Мухину, не последнему члену Рогожской общины: «Увы брате, да не оскорбим вас словом, уже бо кончина приближается наша; видно по всему писанию, что основание нашей веры на песце, а не на твердом камени. Не имеем мы ни епископа, ни священника, благословеннаго от власти церковной, но ожидаем, по мнению нашему, особеннаго епископа. Сохрани нас, боже, чтоб и мы не так же ожидали себе епископа, как жиды ожидают пришествия Мессии». Так, около 1820 года неизвестный нам по имени иргизский инок писал: «О новый Израилю! Уты, утолсте, ушире и забыл еси бога, создавшаго тя! Уты богатствами и мирскими почестями, ушире фабриками, капиталами и иными делами торговыми, утолсте в пространном житии сластолюбием, чревоугодием, объядением же и пьянством! Забыл еси бога и послужил прокля-

---

и грозились поколотить Никодима и попа Михаила Калмыка. Те Мошанские, о которых говорится в послании, были одни из первых старообрядцев, которые перестали гнушаться общественной жизнью, ездили на гулянья, посещали театры и пр.). Дьяконовцы города Орла сильно восстали против рогожцев за это послание. Глава тамошней дьяконовской общины, мещанин Дмитрий Варфоломеевич Тужилин, оставивший несколько сочинений в прозе и стихах, писал Самойлову и Острякову «Послание», в котором, соболезнуя о раздорах в старообрядстве и угрожая гневом самого бога виновникам несогласий, просил рогожских попечителей объяснить, почему они дьяконовцев почитают за еретиков. Прошло два года; ответа из Москвы не было. Тужилин написал язвительную для рогожцев «Повесть о том, что́ сделали Рогожскаго кладбища попечители 1816 года», в прозе и стихах. Московские старообрядцы отнеслись к этой повести с презрением и на все возражения и обличения дьяконовщины отвечали упорным молчанием. Впрочем, и отвечать им было нечего — их дело было неправо. Но, благодаря богатству и влиянию, окончательная победа осталась на стороне рогожцев.

той мамоне и златому тельцу, прилепися всею душою твоею и всем помышлением твоим. Окрадая смущенную никонианскую церковь, новшеств преисполненную, и святые догматы дерзостно поправшую, тщетно хвалишися, о, Новый Израилю, яко бы священства чин в тебе не иссякает. Всуе хвалишися! Где той неиссякаемый источник, где преемственная от рук апостольских хиротония? Имееши ли епископский чин, без него же церковь божья стояти не может? Имееши ли священное руковозложение, миросовершение, антиминсов священие, епископское благословение и разрешение, равно и суд церковный? Кто может в тебе пресвитеров и диаконов поставляти, миро совершати, дев освящати и все дела со рассуждением творити по 9 правилу святого Антиохийскаго собора и по 6 Карфагенскаго?» Со стороны беспоповцев обильно сыпались на поповщину укоры и обличения. В этих обличениях, хотя в виду иных интересов и с иной точки зрения, указывали они на неимение епископства и на неспасительность действий, совершаемых беглыми от господствующей церкви попами. «Такие попы ваши не суть пастыри, но волки и наемники, которые, оставив церковь свою и епископов своих, приходят к вам по двум причинам: или интереса ради из бедных приходов, узнавши, что вы щедро за требы их награждаете, или же от беды укрываются. Таковые попы ваши не суть священницы, ибо безглавни, не имеюще у вас никоего епископа, а прежняго своего тайно отбегоша и потом проклятию предавше». Один из представителей самых крайних мнений беспоповщины, саратовский мещанин Тимофей Васильевич Бондарев, основатель Бондаревского согласия самокрещенцев, говорил: «сколько керженские старцы ни алчны были к епископам, однако ж, чтоб оным быть до скончания века отнюдь не сказали... Иргизская сонмища, хотя и совсем безглавная: ни главы, ни очей, ни рук, ни ног не имеющая, но труп един,—но всякое действо от тоя же великороссийския церкви заимствуют, то не все ли равно, когда под единою главою, единым пастырем пасутся и управляются? Аще бо и мнятся разнствовати, но вся та прелесть суть».

Рогожское было глухо к укоризнам и своих и чужих. Столпы московского старообрядства и слышать не хотели об архиерействе. Им были бы попы.

А попов в начале XIX столетия по всему старообрядчеству было изобильно,—так изобильно, как никогда не бывало. Со вступлением на престол Екатерины II находившиеся у старообрядцев беглые попы не навлекали более на себя преследований со стороны правительства, если не совершали уголовных преступлений, и в таком только случае были лишаемы сана и даже заточаемы в монастыри, если по каким-нибудь обстоятельствам попадали в руки духовного начальства. Вызывая старообрядцев из-за литовского рубежа, Екатерина обещала им свободу богослужения в тех местах, где они будут поселены. Этим для поповщины обусловливалось в некоторой степени право иметь попов, без которых, по их правилам, они не могут совершать богослужения. Под поселение вышедших из тогдашних польских провинций старообрядцев отведено, между прочим, 70 тысяч десятин превосходной земли по р. Иргизу (в нынешней Самарской губернии); здесь старообрядцы тотчас же устроили три мужские и два женских монастыря с церквами. Кроме зарубежных выходцев, много поселилось здесь старообрядцев, пришлых из разных краев России; вскоре иргизские монастыри и возникшие кругом их слободы сделались весьма многолюдны. Так как попы на Иргизе были дозволены, то их всегда бывало здесь много. Считаясь иргизскими, они рассылаемы были по разным старообрядческим общинам и жили там временно и даже постоянно, для совершения треб. Как иргизские, т. е. как дозволенные правительством, эти попы были повсюду безопасны от преследований, жили открыто с паспортами, выдаваемыми местным начальством, и разъезжали свободно, иногда даже на почтовых по подорожным, в которых прописывалось звание проезжающего. Такая свобода иметь попов доставила Иргизу огромное значение в среде старообрядцев, какого не имели ни Керженец, ни Ветка, ни Стародубье, когда были средоточиями поповщины. После перемазанского собора 1779 года на Иргизе были большие прения по предмету, обсуждавшемуся в Москве, и было два собора: 2 августа 1782 и 5 марта 1783 гг., на которых приняты и утверждены рогожские правила перемазания. Это было весьма важно и для московских старообрядцев и для Иргиза. Московские и все многочисленные их единомышленники в союзе с Иргизом получили сильное для себя подкреп-

ление и видели в нем обеспечение своих правил в будущем, ибо в одном только Иргизе можно было тогда иметь дозволенных попов и только оттуда свободно и открыто рассылать их по России. Иргиз, в свою очередь, получил сильную поддержку в материальном отношении. Приняв перемазание, Иргиз, по просьбе старообрядческих обществ, московского, вольского и уральского, разослал написанное иноком Сергием окружное послание в утверждение этого правила. Вместе с тем разосланы были повсюду, и повсюду приняты — другие правила, постановленные на иргизском соборе 1783 года. Из них особенно важно было следующее: «чтобы нигде вновь не принимали пришедших священников, кроме святей церкви (Иргиза), но отсылать бы всех таковых ко святей церкви для лучшаго законоправильнаго во всем рассмотрения; а кто хотя где по какой необходимой нужде какого вновь пришедшаго священника и примут, то о том бы в скорости дать от того места знать ко святей церкве». Это единодушно и повсеместно принятое правило доставило Иргизу главенство во всем старообрядчестве. Братство иргизских монахов получило в некоторой степени значение епископа. В 1792 и 1805 годах на Иргизе были новые соборы, на которых утверждена форма исправы как попов, так и мирян. Она несколько отличалась от той, какая употреблялась прежде[1].

[1] Прежняя формула приведена нами при рассказе о принятии ветковцами епископа Епифания. Новая иргизская исправа состояла в следующем. Принимаемый поп надевал епитрахиль, фелонь и поручи, исповедывался у монастырского священника, потом с амвона, обратясь на запад, читал следующее: «Аз, священноиерей (имя рек), от гнусныя никонианския ереси к непорочней всею душою приступаю вере. Проклинаю вся отреченная святыми отцы: аще кто не крестит в три погружения с приглашением «во имя отца и сына и святаго духа», но обливает, да будет проклят. Аще кто служит божественную литургию на пяти просфорах, а не на семи, да будет проклят. Аще кто приглашает божественную песнь «аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа, слава Тебе, боже», да будет проклят. Молящиеся в три перста, а не двема, да будут прокляты. Аще кто благословляет пятию персты странно некако, не по преданию святых отец,— да будет проклят. Знамения на просфорах четвероконечные кресты, а не восьмиконечные и на их служат — да будут прокляты. Аще кто чтет молитву господню «Господи Иисусе Христе, боже наш, помилуй нас» с приложением литеры I, а не по-древнему: «Господи Иисусе Христе, сыне божий, помилуй нас» — да будет проклят. В заключение наконец и всех нововведенных преданиях, от Никона патриарха содержимых ныне Грекороссийскою церковию, отрицаюсь и проклинаю, и ана-

Другое обстоятельство еще более возвысило значение Иргиза. Мы видели, каким образом в последних годах XVII века приход Феодосия на Ветку возвысил эту слободу на степень старообрядческой митрополии. Такое значение дала Ветке церковь с антиминсом, освященная Феодосием. То же самое случилось и на Иргизе. В 1776 году в Верхнепреображенский монастырь пришел из Ветки инок Сергий Юршев с полотняною церковью и антиминсом. В то время нигде у перемазанцев не было освященной церкви, стало быть, не было и запасных даров. Вдруг разносится радостная для старообрядцев весть, что на Иргизе в ветковской церкви служат литургию. Толпы двинулись в Верхнепреображенский монастырь к обедне — из Москвы, Петербурга, Сибири и со всего Поволжья. За один раз приходило по пяти и по шести тысяч богомольцев, особенно летом и во время судоходства. Благолепие церкви, благочиние при отправлении службы, искусные певчие, строгий монастырский порядок приводили в восхищение приходящих и умножали иргизские богатства. Но иргизские монахи не поступали так, как некогда ветковские и стародубские: они не раздавали своих запасных даров всякому желающему, но давали их только рассылаемым попам и в редких случаях монахам и даже монахиням из других старообрядческих местностей. Такие действия объясняемы были уважением к дарам, которых не должны иметь у себя непосвященные, но скорей могут быть объяснены заботою об охранении иргизской монополии на обедню, которая доставляла тамошним монастырям огромные выгоды. Для особенно богатых или особенно влиятельных мирян делались исключения. Стремлением сохранить монополию обедни объясняется и то, что во все время господства Иргиза (1780 — 1836) не только нигде не являлось новых церквей с антиминсами, но и стародубские церкви, по переходе их в перемазанное согласие, мало-помалу упразднялись. Однако только Рогожское с 1813 года име-

---

феме предаю, и иже изволит им и последует — анафема и да будет проклят». Потом, за неимением мира, поп мазал его священным маслом с приглашением слов: «печать дара духа святаго». По окончании этой церемонии настоятель монастыря и вся братия подходили к новопринятому под благословение, и он допускаем был к священнодействию и совершению треб. Тем же чином принимали и мирян.



М. В. НЕСТЕРОВ. Великий постриг. *1897*.



М. В. НЕСТЕРОВ. Девушка-нижегородка. *1887*.

ло церковь и обедню. Иргиз протестовал по этому случаю, но влияние московского общества было так сильно, что он замолк.

Попов на Иргизе было всегда много, но еще более бывало их в разъездах или на постоянном жительстве по разным старообрядческим общинам. В начале нынешнего столетия их проживало по разным местам более двухсот человек [1]. Они доставляли значительные выгоды Иргизу, ибо за каждого попа общество платило от 200 до 500 руб., если он посылаем был на время, и от 500 до 2 000 руб., если отправлялся на постоянное жительство. Кроме того, общины платили за запасные дары и мнимое миро, которым от времени до времени снабжали разосланных попов. Рассылка иргизских попов по разным местам в конце XVIII столетия была совершенно свободна, а с 1803 г. даже узаконена. В этом году, по просьбе села Городца, высочайше разрешено иметь при часовне попов из иргизских монастырей, и в том же году на вопрос малороссийского генерал-губернатора князя

[1] Для примера, в каком количестве брали в иные места попов с Иргиза, представляю следующее. Около 1780 года скит Старый Улангер, находившийся в Макарьевском округе Костромского наместничества, сгорел от молнии в пору необычную: в крещенский сочельник (5 января). Старицы и белицы в ужасе разбежались. Узнали про то галицкая помещица Акулина Степановна Свечина, старообрядка, и племянница ее, помещица же, Федосья Федоровна Сухонина, собрали разбежавшихся матерей и на свой счет построили Новый Улангер, на реке Козленце (в Семеновском уезде, Нижегородской губернии), где он и до сих пор находится. На старом месте строить не решились, считая молнию зимой за особенное знамение гнева божья. Свечина и Сухонина всех своих крепостных девушек обратили в старообрядческих монахинь и белиц; к ним присоединились еще несколько бедных чухломских и галицких помещиц с своими крепостными девушками. Свечина все свое имение, впрочем, незначительное, употребила на построенный ею монастырь. Она очень любила торжественную службу, и при жизни ее в Улангере бывало зараз попов по двенадцати, присылаемых из Иргиза по ее требованиям. Так продолжалось, кажется, до 1815 года, когда скит Свечиной сгорел; тогда она переехала в Комаровский скит, где вскоре и скончалась. Последний из улангерских попов, черный поп Ефрем, жил в Улангере до 1827 года. В Комаровском скиту бывало лет сорок — пятьдесят тому назад до пяти иргизских черных попов. Последний из них, Евфимий, взят и заключен в Саровской пустыни в 1831 году. В Екатеринбурге было по пяти и более иргизских попов в одно время. Еще более бывало их у казаков на Дону, на Урале, а особенно на Кавказской линии.

А. Б. Куракина, как поступать с раскольническими попами, находящимися во вверенных управлению его губерниях, было объявлено повеление императора Александра I такого содержания: «как изгнание таковых священников из волостей могло бы более ожесточить раскольников в их суеверии и лишить их способов крещения и погребения мертвых, то и должно терпеть оных, смотря на них, так сказать, сквозь пальцы, и не подавать им однако же явнаго вида покровительства». Около 1814 г. в городе Кузнецке, Саратовской губернии, тамошний мещанин Серебряков построил часовню и обратился в Иргиз за попом. Иргиз послал ему попа Ивана Петрова. О новой часовне и о попе при ней дошло до Петербурга, и при этом воспрещено было попу Петрову лишь явное богослужение (вне часовни) и колокольный звон. Обращаясь с просьбами к правительству о дозволении иметь иргизских попов, старообрядцы присоединяли иногда просьбы и другого рода. Так, старообрядческая община в городе Ростове-на-Дону, в июне 1815 года, посылала в Петербург своего поверенного Акимова хлопотать, чтобы сделано было распоряжение, по которому бы выдавали иргизским попам паспорты, а то они перестали ездить в Ростов.

До 1822 года не было, однако, общего дозволения иметь старообрядцам при своих часовнях беглых попов. Даваемы были разрешения только по отдельным случаям, безусловное же разрешение держать иргизских попов имела одна лишь Городецкая часовня. Оттого в архивных делах первых двадцати лет нынешнего столетия встречается непрерывный ряд ходатайств разных старообрядческих обществ о дозволении иметь попов с Иргиза, строить вновь или поправлять пришедшие в ветхость часовни и т. п. Ходатайства просителей были уважаемы, но не всегда; бывали случаи, что дозволялось иметь попа, для служения по иосифовскому обряду и старопечатным книгам, но с тем, чтоб он зависел от епархиального архиерея; другими словами, предлагалось единоверие, на что старообрядцы не изъявляли согласия и держали иргизских попов тайно. Обыкновенно же подобного рода домогательства старообрядцев отлагались правительством *впредь до общего распоряжения по сему предмету*. Дело оставлялось status quo.

Об общем распоряжении относительно старообряд-

цев весьма заботились в начале царствования Александра I, когда были предприняты разнообразные реформы по всем отраслям государственного управления. Но разные обстоятельства, особенно же отечественная война, замедлили ход дела, и только в 1815 году вопрос этот вновь обратил на себя внимание. Задача состояла в том, чтоб успокоить миллионы раскольников дарованием им свободы богослужения (полными гражданскими правами они в то время пользовались), но с тем чтоб и господствующая православная церковь была вполне обеспечена от всякого ущерба со стороны раскола. Более или менее одиночные случаи проявления фанатизма в разных сектах (не старообрядческих) много вредили этому делу. Изуверные самоубийства в Копенах, Пермской губернии, учение Гнусина на Преображенском кладбище, убийства у духоборцев на Молочных-Водах, торжественный вход в Тамбов молокана Уклеина с 70 учениками для проповедования «новой веры» и истреблений «идолопоклонства» (то есть почитания икон), сборища скопцов в Петербурге у Кондратия Селиванова, признаваемого сыном божьим и русским царем, и другие подобные явления вызывали опасения. Эти проявления фанатизма были обобщаемы, нередко случай, бывший где-нибудь в одной секте, возбуждал недоверие и к другим, не имевшим ничего общего с той сектой и даже враждебным ей. Раскола не знали, и все вообще уклонения русских людей от православия, все вообще виды религиозного разномыслия считали чем-то общим. Старообрядство поповщинского согласия было в этом отношении счастливее, чем другие религиозные разномыслия. Оно было ближе к православию, и его знали лучше, а потому к концу царствования Александра I последователи его получили некоторые льготы относительно богослужения.

Неуспех единоверия был сознаваем всеми, и больше чем кому другому был он известен старообрядцам. Не без основания говорили в 1819 г. екатеринбургские купцы министру духовных дел князю А. Н. Голицыну: «Вашему сиятельству небезызвестно, когда правительство, успокоивая старообрядцев, по разным до сего жалобам, позволило иметь церкви на пунктах митрополита Платона. Что́ же из сего вышло? Из церквей сих некоторыя запустели, другия остались при нескольких семействах,— следовательно, только расселили старообрядцев, а если б

оно тогда же позволило приблизиться более к коренному нашему положению, не было бы ни единаго разделения, и ныне, чем ближе и неизменнее то у нас останется, что было до лет Никона патриарха, тогда не только все старообрядцы соединятся с перворoдною древнею, но и самые перекрещенцы, беспоповщина и прочие надежно убедятся (их произвело одно и то же гонительное время патриарха Никона), и духовное правительство узрит одних прямо старообрядцев не по своим каким-либо умствованиям, но по тем же святым преданиям, догматам и уставам, от крещения князя Владимира до лет Никона свято и всеми чтимых». Главная причина неуспеха единоверия заключалась в том, что старообрядцы не получили просимого Никодимом архиерея и оставлены были под властью православного епархиального начальства. Зависимость по духовным делам от пастыря, признающего дониконовские обряды неправильными,— те самые обряды, в которых ревнители «древляго благочестия» в заблуждении своем видят самую сущность веры,—была противна их совести, и потому они присоединение к православной церкви на условиях единоверия считали отступничеством от тех убеждений, за которые отцы и деды их гибли на кострах и плахах, терпели пытки, ссылки и всякого рода преследования. Притом же опыт показал, что не все епархиальные начальники смотрели снисходительно на единоверие, в котором, по ревности своей к исправленным при Никоне обрядам, нередко видели тот же раскол. Немало воспрепятствовал успехам единоверия двукратный и решительный отказ настоятелю старообрядческого Высоковского скита Герасиму и братии в присоединении их к господствующей церкви на условиях единоверия [1]. Это случилось через полтора года по ут-

[1] Высоковский скит поповщинского согласия в Макарьевском уезде, Костромской губернии, близ верховьев р. Керженца, существовал с первых годов XVIII столетия. В 1802 году настоятель его Герасим с братией просил отдать им почти опустевший Кривоезерский монастырь на Волге, против города Юрьевца, и устроить там единоверческую обитель, но получил отказ. Затем Герасим просил по крайней мере их Высоковский скит обратить в единоверческую обитель и из часовни сделать церковь, но в июле 1804 года и на это получил отказ. Синод нашел, что единоверие учреждено лишь для приходских церквей, а не для монастырей («Собрание постановлений по части раскола по ведомству святейшаго синода». С.-Петербург, 1860, т. II, стр. 11—16, 6, 337), хотя в тридцати верстах от Херсона с 1787 года существовал Корсун-

верждении императором Павлом единоверия и притом одновременно с разрешением близкой к скиту Городецкой часовни иметь иргизских попов. Излишне говорить, какое впечатление на умы старообрядцев, желавших примирения с церковью, произвело это несчастное стечение обстоятельств. Старообрядцы-фанатики были рады этому; в тогдашней переписке Керженских скитов с Москвой и Иргизом на неудачи Герасима указывалось как на победу, как на милость божью.

Само правительство, как видно из некоторых записок того времени и из писем тогдашнего министра народного просвещения и духовных дел, князя А. Н. Голицына, человека известного старообрядцам и пользовавшегося особенною доверенностью императора Александра I, пришло к убеждению, что правила 27-го октября 1800 года не достигают ожидаемого успеха и что для примирения старообрядцев с церковью необходимо сделать в этих правилах дополнения и исправления. Это было известно старообрядцам, и они не упустили случая воспользоваться таким расположением правительства.

Дело началось в Екатеринбурге. Там было сильное старообрядческое общество, и к нему принадлежало много богатых людей. Старообрядство в Зауралье началось еще в XVII веке и особенно усилилось в царствование Петра I, когда утесняемые Питиримом керженские жители во множестве удалились на заводы Демидова. Центром их был Шарташский скит, подле которого образовалось большое селение [1]. По учреждении Екатеринбурга, многие из жителей Шарташа поселились в новом городе и составили ядро старообрядческого общества, со временем получившего огромное значение. Здесь, а также на заводах Верх-Исетском [2] и Уктусском [3], Невьянском,

---

ский единоверческий монастырь. Герасим и высоковская братия столь ревностно желали примирения со святою церковью, что, несмотря на эти отказы, несмотря на насмешки, оскорбления и даже притеснения старообрядцев, почти двадцать лет хлопотали о том, чтоб им дозволено было присоединиться к православию на условиях единоверия, и лишь в 1820 г. имели утешение достигнуть желаемого.

[1] Селение в 5-ти верстах от Екатеринбурга с 1768 душами обоего пола.

[2] В одной версте от Екатеринбурга с 8 973 душами обоего пола.

[3] В пяти верстах от Екатеринбурга с 2 150 душами обоего пола.

Нижне-Тагильском, Бынговском, Сысертском, Шайтанском, Утклиском, Висимских, и др. число старообрядцев и заведенных ими по лесам около заводов скитов и келий так умножилось, что правительство Анны Ивановны в 1735 году признало необходимым посылать туда через каждые три года опытных миссионеров из православного духовенства для увещания, но это не имело успеха. Особенно много развелось скитов в лесах Висимских по западному склону Уральского хребта. Во второй половине прошлого столетия екатеринбургское старообрядческое общество распространило свое влияние не только на окрестных одноверцев, но и на сибирских. Получая попов с Иргиза, оно рассылало их по заводским старообрядцам и таким образом достигло некоторого рода власти над ними. Все они находились в повиновении старшин екатеринбургской часовни. Эти старшины, избираемые старообрядческим обществом из почетнейших своих членов, преимущественно в качестве посредников и ходатаев пред правительством по делам духовным, а также для управления хозяйственною частью часовни, приобрели власть не только над простолюдинами, но и над самими попами, которые находились у них в безмолвном повиновении и не смели совершить никакой требы без их *письменного* разрешения. Старшин бывало по нескольку человек, и обыкновенно случалось так, что один из них, отличавшийся умом, богатством сведений, житейскою ловкостью, связью с лицами, власть имеющими, богатством, почетом, становился во главе их и делался таким образом самовластным начальником общины. Таким главою екатеринбургского и заводских старообрядческих обществ, считавших в себе более 150 тысяч человек мужского пола, был в начале нынешнего столетия богатый купец Яким Меркурьевич Рязанов.

Это был один из замечательнейших деятелей старообрядства. Одаренный обширным умом и необыкновенною энергией, он своею честною деятельностью и благотворениями приобрел всеобщее уважение не только между своими одноверцами, но и между православными. Он имел огромный капитал, золотые прииски, богатые рыбные ловли и принимал значительное участие в делах российско-американской компании. Он находился в близких связях с главными торговыми деятелями Москвы, Петербурга, Сибири и был близок к разным

лицам, занимавшим высшие государственные должности. Рязанов находился в коротких отношениях и с православными архиереями. Пермский епископ, когда бывал в Екатеринбурге, всегда останавливался у него в доме, и ему Рязанов представил однажды тысячу рублей от имени старообрядцев в пользу духовной семинарии. Для поповщины Рязанов был тем же, чем Ковылин был для федосеевцев; пермские и сибирские старообрядцы считали его главою своих общин, и всякое слово Рязанова было для них законом. Будучи избран в старшины екатеринбургского старообрядческого общества в первых годах нынешнего столетия, он более двадцати лет находился в этом звании и возвысил свою общину на такую степень значения, что она малым чем уступала московской. Сотрудником его был другой старшина, вместе с ним избранный, Фома Казанцев, который, действуя всегда согласно с Рязановым, был деятельным его помощником. Самыми близкими людьми к Рязанову и во всех делах главными его советниками были известные богачи того края управляющие Яковлевскими заводами, Китаев и Полузадов, и Расторгуевскими заводами, Зотов и зять его Харитонов. Это были всесильные люди.

Рязанов был человек строгой жизни и строгих правил; вместе с тем он был довольно начитан и не лишен светского образования. Будучи ревнителем старого обряда, он в то же время хорошо понимал, что устройство старообрядческой церкви неправильно и несогласно ни с каноническими постановлениями, ни с условиями общественного благоустройства. Без высшей степени духовной иерархии, без архипастыря, церковь не полна и не устроена, но искать архиерея тем путем, каким намеревались приобресть его старообрядцы XVIII столетия, Рязанов не хотел, ибо знал, что такая иерархия была бы противна государственной власти, не могла бы быть прочною и навлекла бы на все старообрядческие общины новый ряд преследований. Идти по следам Никодима, просить у правительства законного епископа и помышлять было невозможно. Если при ходатайстве всесильного Потемкина и графа Румянцева, при обещании самой Екатерины дело Никодимово имело исходом неудовлетворявшие ни ту ни другую сторону правила 27-го октября 1800 года, то чего мог надеяться Рязанов? А между тем он, хотя и был привержен к иосифовскому обряду,

оставался вполне преданным церкви и всею силой души желал воссоединения старообрядцев с господствующим исповеданием.

В 1802 году открыта была пермская епархия, и архиереем назначен Иустин, епископ свияжский, человек прекрасно образованный, бывший перед тем долгое время при русском посольстве в Венецианской республике. Он познакомился с Рязановым, сблизился с ним и, когда бывал в Екатеринбурге, останавливался в его доме. Рязанов, от лица старообрядческого екатеринбургского общества, давал ему значительные пожертвования на устройство в Перми духовной семинарии и открыл ему свое намерение «мало-помалу преклонить старообрядцев к православной вере». Это намерение Рязанов открыл епископу в 1816 году; что оно было искренно, и что обещания его не были происками хитреца, как обещания Кобылина, Рязанов доказал через 22 года. Истощив все средства к достижению независимого от святейшего синода старообрядческого духовенства, претерпев постыдное, при его положении в свете, месячное содержание под арестом при полиции, получив по высочайшему повелению запрещение ходатайствовать по делам старообрядцев, Рязанов увидел, что тридцатилетние энергические и настойчивые действия его не имели успеха, но не сделался закоренелым врагом церкви, каким его считали, а совершенно бескорыстно, и единственно вследствие глубокого убеждения, обратился на условиях единоверия к православию, которому был постоянно предан, несмотря на видимую борьбу с ним. Обращение Рязанова было столь искренно и усердие к святой церкви столь велико, что не более, как через год после того, святейший синод ходатайствовал пред государем не только о прощении прежних его поступков, сделанных в расколе, но и об оказании ему особой монаршей милости за усердие к православной церкви.

Полную программу своих действий Рязанов никому не открывал. Иначе и поступать он не мог. Говорить о своих обширных замыслах, а тем более поверять их бумаге, значило бы разрушить их в самом начале, подорвав доверие к своим действиям екатеринбургских и сибирских старообрядцев, подчинявшихся его неотразимому влиянию. Он был поставлен в такое положение, что, ведя дело сближения двух враждебных сторон, не мог

открыть системы своих действий и конечной их цели ни той ни другой. Будучи уже ревностным сыном церкви, он, по поводу воссоединения униатов (в 1839 году), высказывал доверенным лицам неудавшуюся свою программу. Униаты, говорил он, были уведены из православия архиереями и священниками и через два с половиной века архиереями же и священниками были приведены обратно в недра церкви; подобным образом, во времена Никона, значительная часть народа уведена была из церкви тоже архиереями и священниками, и только одно, пока независимое от синода и епархиальных архиереев, старообрядческое духовенство может со временем, при помощи божьей, привести отделившихся в общение и восстановить мир церковный. Униаты имели независимое духовенство, управляемое особою духовною коллегией, которая сначала зависела от католиков, потом была самостоятельною, потом находилась при святейшем синоде; наконец последовало и соединение. К воссоединению старообрядцев также нет иного пути и иных способов: кто увел, тот и приведет. «Путь указан,— прибавлял Рязанов, разумея воссоединение униатов,— имеяй уши слышати да слышит!»

Открывшись епископу Иустину, Рязанов, в исходе 1817 года, решился начать ходатайство о даровании старообрядцам независимого священства и об учреждении в Екатеринбурге «старообрядческой духовной конторы». С письмом Иустина к князю А. Н. Голицыну он отправился в Москву, где тогда находилась императорская фамилия и главные государственные люди. Князь Голицын принял Рязанова благосклонно. Вслед затем Рязанов был представлен государю и подал всеподданнейшую просьбу о даровании екатеринбургскому обществу священников для служения по старопечатным книгам в устраиваемой каменной часовне. Государь передал просьбу князю Голицыну и приказал рассмотрение ее отложить до возвращения в Петербург.

Рязанов был несколько раз у министра духовных дел, один и вместе с Казанцовым. Поставив князя в известность о своем значении и влиянии в среде екатеринбургских и сибирских старообрядцев, он открыл ему намерение склонить мало-помалу своих одноверцев к соединению с православной церковью, но просил для этого предварительно оградить старообрядцев от притеснений

приходских священников и исходатайствовать у государя признание полной независимости старообрядства от духовенства господствующей церкви. Незадолго перед тем, в октябре 1817 года, были утверждены права и привилегии евангелического общества Аугсбургского исповедания (лютеран). Рязанов просил тех же привилегий. Он ходатайствовал о признании правительством старообрядства за особое исповедание и о подчинении его департаменту духовных дел иностранных исповеданий; одним словом, искал полной самостоятельности для старообрядцев.

Любопытный разговор Рязанова с князем сохранился в их переписке. На ходатайство о самостоятельности старообрядства кн. Голицын сказал:

— Откровенно вам говорю, Яким Меркурьевич, что в том виде, как вы желаете, устроить ваше общество государю нельзя будет согласиться. Я наперед это вижу, потому что его величество, принадлежа сам к грекороссийской церкви, не может своим лицом признать за истинную церковь тех, которые отделяются от нее.

— Но ведь обряды и богослужение у старообрядцев те же самые, как и в грекороссийской церкви,— заметил Рязанов,— разница только в старопечатных книгах.

— Так. Но по истинному духу Евангелия в обрядах ли состоит единство веры? Конечно, нет, ибо везде сказано в священном писании, что едина вера во Иисуса Христа богочеловека, распята и воскресшего для нашего спасения, составляет единство церкви, и что ежели благодатию господа чудеса будем творить, так что горы переставлять с места, но не будем иметь любви: ничто же есть.

Рязанов говорил на это, что совесть старообрядцев смущается подчинением их священников духовной власти архиереев, отвергающих старый обряд, и потому просил сделать снисхождение, дозволить им иметь священников, зависимых, подобно пасторам Аугсбургского исповедания, от министра духовных дел, а на местах от гражданского начальства.

— Вы во всем ссылаетесь на старопечатные книги,— возразил князь.— Я вам сделаю вопрос: найдите мне в этих старопечатных книгах, где было бы позволено иереям и прихожанам церкви чуждаться своего епископа и зависеть от начальства мирского. А ведь теперь полиция

управляет вашими церковными делами. Сообразно ли это с правилами?

Рязанов просил снисхождения, припоминал слова апостола Павла, который с немощными был, аки немощен. Рязанов поставлял на вид, что сделанное старообрядцам снисхождение будет началом сближения их общин с церковью.

— Чем ближе правительство оставит нас к коренному до лет Никона положению,— говорил он,— тем единственнее и единообразнее будем, а теперь делимся на секты. Все эти секты, в прежнее время гонительством старообрядства порожденные, скорее уничтожатся. Приобщение нас и потомков наших к церкви предоставьте времени и исправлению божью. Если приобщению быть, то в премудрых судьбах, господа бога что́ начертано, то да сбудется без всякого принуждения. Если богу будет угодно, то мы, если и не по разуму, то по чистой совести познаем...

— Намерения у вас хороши,— отвечал князь,— но надо действовать в духе христовом; тогда тотчас последует легкость и всякое удобство.

Рязанов просил князя быть посредником между ними и святейшим синодом и просить снисхождения.

— Хорошо. Я согласен. Но если я должен просить святейший синод о снисхождении, надобно, чтоб и вы, как дети, отлучившиеся от своей матери, непременно согласились отступить от некоторых закоренелых упрямств. Те, которые, как я теперь буду, делают мир между двух сторон, должны иметь доверенность от обеих, и надо, чтобы каждая уступила несколько своих прав или претензий; без того трудно сделать приступ.

Рязанов согласился с этим, но сказал, что не может один за все общество согласиться ни на какие уступки.

— Совершенно справедливо,— заметил князь,— и потому я вам предлагаю согласить свою собратию, чтобы письменно мне прислали свою доверенность.

Рязанов обещал исполнить это, но не тотчас. По торговым делам он должен был немедленно ехать в Ирбит и не ранее окончания тамошней ярмарки мог собрать депутатов от разных заводов и селений Сибирского края для обсуждения затеянного дела. В дальнейшем разговоре с Рязановым князь Голицын упомянул, что в доверенности, которую он будет ожидать, должно быть озна-

чено число народа и духовенства в старообрядческом сибирском обществе, и подал мысль об особом в Екатеринбурге учреждении, которое бы имело в заведовании церковные дела старообрядцев, для того, чтобы устранить несвойственное заведование ими полицией. Это учреждение, которому старообрядцы предполагали дать имя «старообрядческой конторы», князь Голицын предложил лучше назвать «старообрядческим духовным правлением».

— Здесь,— говорил князь,— по избранию вашему, могли бы заседать почтеннейшие из вашего духовенства и из старшин ваших светских, также почетнейших, по их правилам. И это учреждение заведовало бы всеми старообрядческими приходами, по разным епархиям рассеянными.

Рязанов согласился, но просил, чтоб это учреждение было независимо от епархиальных архиереев, а подчинено гражданской власти, и «чтоб ему, министру духовных дел, быть главным начальником, как он есть начальник инославных христианских исповеданий».

— Ведь прочие исповедания, в России терпимые, находящиеся под начальством вашего сиятельства, остаются покойны, и нам только этого и желательно,— сказал Рязанов.

— Но я не начальник ни над одним вероисповеданием,— возразил князь,— каждая вера имеет свое начальство духовное, в России устроенное, которое поступает по своим правилам, и в случае отдаления я останавливаю такие действия и предписываю держаться законов.

Рязанов повторил князю, что старообрядцы не согласятся быть подчиненными епархиальным архиереям, что единоверие от сего и успеха не имеет и не будет иметь.

— Вот какая мысль пришла мне,— сказал министр. — Пусть ваше духовное правление будет независимо от епархиальных архиереев и находится под непосредственным ведением святейшего синода, так, как теперь ставропигиальные монастыри и московский Успенский собор, которые прежде заведываемы были одними патриархами, а теперь синодом, занимающим место патриарха, как и все вселенские патриархи ему грамотами такое право приписали. Тогда мне бы вся удоб-

ность была покровительствовать вам явным образом. Эта мысль мне одному принадлежит, и я не прежде могу открыть ее синоду, как получу от вашего общества ответ. Тогда, бывшие у вас браки и крещения признав и благословив единожды, не будут делать никаких рассуждений и судов. Нынешнее ваше духовенство будет оставлено на своих местах, и священники ваши, если они беглые или где под судом находятся, будут разрешены. Имея такое ваше полномочие, я старался бы, испросив дозволение государя, ходатайствовать у святейшего синода, чтоб он сделал такое снисхождение, и если бы случилось какое-нибудь возражение, я бы к вам отнесся, или бы вы приехали в Петербург с полномочием от общества.

Рязанов сказал, что он передаст все это обществу и пришлет ответ.

— Ежели бы,— сказал в заключение князь,— господь благословил таковое дело, что́ несомнительно, ибо он ничего не желает, как чтобы распри уничтожились, и все, яко братия, друг друга любили, служа господу в духе и истине, то какие бы были выгоды для вашего общества! Все внутреннее управление осталось бы у вас по-прежнему, но явным образом. Духовные ваши были бы разрешены в совести и не были бы связаны отлучением от церкви, богослужение было бы у вас публичное, и ненависть, столь богопротивная, к вашим соотечественникам прекратилась бы. Какая радость была бы на небесах о сем примирении!

Рязанов уехал. Собрать выборных от разных заводов и селений Пермской, Тобольской и Оренбургской губерний можно было не ранее весны. Не дожидаясь этого собрания, Рязанов составил записку об устройстве старообрядческих дел, и, вместе со всеподданнейшею просьбой, послал ее 20 февраля к князю Голицыну. Он писал ее от своего лица, говоря, что мысли общества ему известны. В письме от 6 апреля 1818 года Рязанов писал князю:

«Лоцманов, коему мы с Казанцовым поручили доставить вашему сиятельству записку от 20 февраля, уведомляет нас, что по делу здешняго старообрядческаго общества, хотя ваше сиятельство его императорскому величеству докладывать и изволили, но его величество оставить оное соизволил до возвращения своего в Пе-

тербург. Уверен будучи на милостивейшее и высокое расположение вашего сиятельства к нам, снисхождение в Москве оказанное, осмеливаюсь довести вашему сиятельству до сведения следующее. Во-первых, желая исполнить поручение вашего сиятельства в изложении «дополнительных правил» сколь можно поспешнее, сочли мы нужным, по окончании дел своих в ирбитской ярмарке, послать обвещания свои во все жительства старообрядцев, здешнее общество составляющих, с нарочными, с тем, чтобы, для совокупнаго по сей части совещания, каждое селение, избрав из среды своей достойных и доверие заслуживающих по одному или по два человека, прислали в Екатеринбург непременно к 25 числу апреля, что́, надеюсь, будет ими исполнено; между же тем, так как мысль здешних старообрядцев мне известна, то изложа оную особым дополнением, честь имею к вашему сиятельству препроводить. Надеюсь, что ваше сиятельство, рассмотрев оную, по милостивейшему снисхождению своему, осчастливите меня— решением по оной не оставите. Во-вторых, духовныя консистории, особенно пермская, не токмо не престают наносить обществу старообрядцев всякаго рода утеснения, но паче и паче оныя приумножают. Разославши ныне пермская консистория указ правительствующаго сената о раскольничьих часовнях по всем приходам с таковым предписанием, чтобы приходские священники всюду, где бы ни встретили старообрядческих наших священников, искали и поступали с ними по всей строгости, чем самым мысль приходских священников и всех церковнослужителей воспламенилась до того, что все они, оставя не только долг звания своего, но и самое учение Христа Спасителя, его императорским величеством в рескрипте г. херсонскому военному губернатору в 9 день декабря 1816 года всемилостивейше изложенном, превратясь в сыщиков, 17 марта схватили едущаго с требою нашего священника и поступили с ним, как с самым злостнейшим преступником... по каковому случаю общество здешних старообрядцев вынужденным нашлось препроводить всех пребывающих у себя старообрядческих священников в самые уже необитаемые пустыни и леса, потому более, что не перенести сих стеснений ни поставить оныя на вид вашему сиятельству в таком виде, в каком оныя здесь существуют, невозможно».

(Затем следуют дальнейшие жалобы на приходское духовенство и просьба довести обо всем до сведения государя императора).

Из другого письма Рязанова к князю Голицыну, от 20-го мая, видно, что 30 апреля состоялось в Екатеринбурге собрание старообрядцев. На нем было 1370 выборных из разных мест Пермской, Оренбургской и Тобольской губерний. Они, «учиня общий совет, сделали изложение правил, присовокупляя к тому и выписку из законов, на коих после бывшаго гонения начался наш быт и постепенно даровалась свобода неутеснительнаго богослужения во всем по уставу до того изменения (Никона) бывшаго».— Это «изложение правил» было послано князю Голицыну, и при нем приложена записка о новых стеснениях, делаемых приходским духовенством, и одиннадцать доверенностей за 1370 подписями Рязанову на ходатайство по делам екатеринбургского и сибирского старообрядческого обществ.

Рязанский проект, или так называемые «Дополнительныя правила», составляет один из любопытнейших актов старообрядческой истории [1]. Из него видно, что

[1] Вот эти *Дополнительные правила:*

«1818 года, апреля 30-го числа екатеринбургское старообрядческое общество с прилегающими селениями Сибири, будучи в общем собрании, по выслушании всеподданнейшего прошения, екатеринбургскими купцами Якимом Рязановым и Фомой Казанцовым его императорскому величеству поданного, в дополнение присогласовали:

Верителей наших и нас самих предки суть из числа коренного народа, нося ныне купеческое, мещанское и крестьянское звание и наряду с другими платя установленныя подати, исполняют по званию каждаго все обязанности, по отправлению же службы всемогущему Богу носят имя *старообрядцев*, составляя до лет патриарха Никона единое совокупное христианское стадо и единую христианскую церковь со всеми августейшими ныне царствующаго монарха предками.

Но со времен патриарха Никона, когда книги, уставы и обряды древле-грекороссийской церкви, пение и самое рукосложение перстов получило изменение, то предки наши, с одной стороны, желая соблюсти те древние уставы свято, а с другой, не могши снести по тогдашнему времени лютой принужденности, оставя дворянския и посадския права, домы и имения, удалились одни на границы польския, а другия — в сибирския малообитаемыя тогда пустыни и степи, заселясь обще с удалившимся священством, стенали под бременем неудобоизъяснимых притеснений, поработя себя некоторые казенным и частным промыслам и заводам, отправляя службу Божью в тайне, и потому преследования и наказания превосходили меру всякаго другаго преступления.

старообрядцы, совершенно обходя поданную князем Голицыным мысль о подчинении духовного их правления (или конторы) святейшему синоду, просили, чтоб оно было в зависимости единственно от светского начальства, и приводили в пример устройство лютеранского исповедания в России. Затем они ходатайствовали: о дозволении старообрядческим священникам приводить старообрядцев к присяге; о разрешении поправлять вет-

---

Вечной славы достойная императрица Екатерина Великая, удостоверясь о таковом утеснительном их положении и охотном снесении всякаго рода стеснений, разорений, ссылки, заточений и наказаний, из монаршаго соболезнования даруя всемилостивейше всем находящимся в пределах отечества прощение и дозволение иметь им богослужение по древнему чиноположению, обещая всякое им покровительство, а из-за границы высочайше дозволяя возвратиться в отечество, не опасаясь ни суда ни следствия, по каковому монаршему, всегда священному слову, возвратившиеся из Польши, заселясь одни в слободах Стародубских, а другие в Саратовской губернии на реке Иргизе, построили и имеют церкви. Предки же наши, пребывающие в отечестве своем в краях Сибири, вошед в разныя обязанности и повинности заводския и даже самое рабство, не могши возвратиться на места прежняго своего жительства, возвели для славословия Вседержителю молитвенные храмы, снаружи в самом унизительном виде, не имеющие ни креста ни звона, внутрь же вся по чину церковному, исправляя богослужение и все христианския требы чрез священников, приявших равное с ними уединение, а потом получали и получаем из иргизских монастырей рукоположенных российскими епархиальными архиереями, уединившихся от них беспорочно, сначала без ведома правительства, а потом с ведома и с получением от саратовскаго гражданскаго губернатора открытых видов, ныне же паки, по неизвестным нам причинам, должны иметь без видов, снося и претерпевая самыя оскорбительныя притеснения единственно потому, что не имеем точной определенности ни в перестройке старых молитвенных храмов, от долговременности в ветхость пришедших и подавлением народа угрожающих, ни в возведении, по умножению народонаселения, новых, ни в содержании священников без крайних и уже несносных и малоопределенных затруднений, влекущих за собою время от времени беспрерывную цепь угнетений. Почему, руководствуясь духом истиннаго христианства и *высочайше дарованными евангелическому обществу аугсбургскаго исповедания* в 27 день октября 1817 года привилегиями, осмеливаемся всеподданнейше испрашивать:

1. Дабы исповедание веры обществу старообрядцев Сибирскаго края всемилостивейше дозволено было иметь по точному учению и обрядам древле-грекороссийской церкви, до лет патриарха Никона существовавшим, дозволяя притом во всех случаях принимать присягу по тем же обыкновениям при посредстве старообрядческих священников.



М. В. НЕСТЕРОВ. Пустынник. *1888—1889.*



В. И. СУРИКОВ. А. М. Васнецов. Этюд к картине «Юность преподобного Сергия». *1890*.

хие и строить новые церкви и часовни; об учреждении старообрядческой конторы (или духовного правления) в Екатеринбурге из выборных попечителей (а о членах из духовенства умолчено), которая, между прочим, давала письменные виды священникам для их разъездов и зависела бы непосредственно от министра духовных дел; о предоставлении права детям старообрядческих священников избирать род жизни на основании указа 9-го июня 1803 года; о подаче всем старообрядцам посемейных о себе списков городничим и исправникам, с тем, чтоб эти чиновники, сочиняя из них надлежащие ведомо-

---

2. Высочайше дозволить обществу старообрядцев Сибирскаго края устраивать и учреждать, под руководством и управлением попечителей, на древних антиминсах, в главных селениях церкви, а в малых — молитвенные домы, каменные и деревянные, с надлежащим приличием, без всякаго в том препятствия и влияния епархиальнаго и высшаго духовнаго начальства, и в них сходиться по-прежнему свободно единственно тем, кои уставам сим следовать себя предуготовили.

3. Высочайше дозволить священникам и дьяконам, рукоположенным российскими архиереями, беспорочно *уединившимся* к нам прямо или чрез иргизские монастыри, отправлять богослужение, моление и все христианския требы по установлениям и чиноположениям древле-грекороссийской церкви, не поставляя им того ни в побег, ни в преступление.

4. Высочайше дозволить обществу старообрядцев Сибирскаго края иметь по делам сим собственное свое между собою начальство из попечителей, под именем *конторы:* попечителям сим дозволить иметь особую конторскую печать, и состоящим в обществе том священникам и дьяконам выдавать для проезда во все селения старообрядцев открытые виды.

5. Священникам сим и дьяконам всемилостивейше предоставить быть ведомым единственно токмо старообрядческой конторе, которая о поступлении их имеет доносить с приложением подлинных ставленных грамот, и быть подчиненною министру духовных дел.

6. Священников и дьяконов дети, до поступления и после поступления рожденныя, не обучавшияся еще в семинарии, если пожелают на основании указа 1803 года, июня 9 дня, избрать себе род жизни гражданский, таковых всемилостивейше повелеть записывать, когда бы сие ни случилось.

7. Поелику старообрядцы Сибирскаго края в духовных росписях приходскими священниками поставляются в числе своих прихожан без точной определенности и различия, и даже так, что не бывших у исповеди и причастия пишут бывшими, отчего и происходят безпрерывныя следствия, в пресечение таковых неудобств и дабы усовершенствовать в сем случае прямое единообразие, всемилостивейше дозволить всем обитающим в краю Сибири старообрядцам, кои означенным уставам следовать себя предуготовили, подать о семействах своих, с происходящим от

сти, сообщили их как епархиальному начальству, так и старообрядческой конторе, а контора бы после того вела метрики и представляла их в казенные палаты; и наконец об утверждении всех доселе совершенных браков и крещений и о непривлечении к суду находящихся у старообрядцев священников. В заключение помещено было ходатайство об утверждении всех просимых старообрядцами прав особою высочайшею грамотой.

Князь Голицын отвечал Рязанову собственноручным письмом более чем через полгода (12-го декабря 1818 года). Напомнив ему весь разговор, бывший у себя в Москве, князь Голицын так кончил письмо свое: «Вам следовало бы в прямом духе Христовом соединиться на основании правил Платоновых (единоверие), но я вам предлагаю более снисхождения; ибо, будучи только под синодом, натурально, влияние его не может быть на внутренния ваши дела, а только в том, где может быть вам нужда духовная. Подумайте хорошенько, и ежели

них потомством, особыя ведомости, прямо от себя: живущим в городах — городничим, а живущим в уездах — земским исправникам, с тем, дабы городничие и земские исправники, по поданным от старообрядцев спискам сочиняя надлежащия ведомости, дали знать как местному духовному начальству, так и *старообрядческой конторе*.

8. С того времени все старообрядцы Сибирскаго края по части духовных дел состоять должны единственно в зависимости *старообрядческой конторы*, и потому метрическия книги о вновь родившихся, умерших и браком сочетавшихся должны быть доставляемы со стороны попечителей в *старообрядческую контору*, а со стороны конторы —в казенныя палаты.

9. Учиненныя поныне старообрядческими священниками крещения, браковенчания и прочия христианския требы высочайше повелеть оставить не прикосновенными никакому следствию, розыску или разрушению, и потому все те следствия и по судебным местам приговоры, разрывающие браки, учинить ничтожными.

10. В заключение всего вышеозначеннаго, всеподданнейше просим принять общество старообрядцев Сибирскаго края в особенное его императорскаго величества покровительство и всемилостивейше удостоить на право онаго высочайшею грамотою, повеля всем начальствам и присутственным местам, в потребном случае, попечителей, старообрядческую контору составляющих, и всех старообрядцев от всякаго стеснения охранять и по отношениям попечителей оказывать всякую помощь, защиту и покровительство».

Подлинный подписан екатеринбургским старообрядческим обществом и 1.370 депутатами из 13 железоделательных заводов, 39 волостей, состоящих в 13 уездах Пермской, Тобольской и Оренбургской губерний.

меня уполномочите, я рад буду стараться доставить спокойствие вам прочное и правильное. Совесть ваша успокоится, и потомство ваше будет благословлять вас, и Господь Иисус Христос, ищущий всех нас спасти, поможет нам силою своею в сем деле, истинно христианском». Рязанов не отвечал на это письмо. Он, по-видимому, совершенно устранил себя от переписки; после январского разговора ему неловко было отвечать отказом, а старообрядцы никак не соглашались подчиниться синоду. В марте 1819 года отвечали Голицыну 15 екатеринбургских купцов, говоря, что они получили письмо от 12-го декабря во время отлучки Рязанова из Екатеринбурга и спешат ответом. Повторяя в более обширном виде вступление к записке 30-го апреля и жалуясь на притеснения, делаемые приходским духовенством, они, повторяя слова Рязанова, сказанные князю Голицыну в январе, писали:

«Принимая в уважение причины, чтобы вместо светской власти по приличию быть ведомым чрез посредство вашего сиятельства святейшему синоду, имея *старообрядческое духовное правление* в Екатеринбурге, синод, снабдевая, по выбору нашему, увольняемых священством, токмо ведал, но освободил бы и священство и нас от всякаго влияния на внутреннее богослужение, по древнему чиноположению исправляемое. Уверены будучи, что ваше сиятельство, сообразя всю готовность и *невозможность* нашу, сами согласиться изволите по вышеизъясненным причинам, чем ближе правительство нас оставит к коренному до лет Никонова патриаршества положению, тем единственнее и единообразнее будем, и все другия секты, гонительством порожденныя, скорее уничтожатся. Приобщение же нас и потомков наших предоставить времени и исправлению Божью. Если ему быть, то в премудрых судьбах Его что начертано, то да сбудется без всякаго принуждения. Мы же, если что́ и не по разуму, то по чистой нашей совести познаем».

Получив это письмо, князь Голицын был немало удивлен. В письме говорилось уже о *невозможности* и о том, чтобы с синодом имел сношения министр духовных дел, а сами бы они или их духовное правление не имели никаких прямых с ним сношений. Да и синоду екатеринбургские старообрядцы желали предоставить

только снабжение их попами, и то по их выбору. Князь хотел видеть в этом письме недоразумение и написал еще письмо — последнее письмо к Рязанову. Вот оно:

«Письмо, за подписью 15 особ из вашего общества, служащее ответом на посланное мною к вам от 12-го декабря прошлаго года, я получил сего марта 17-го дня. С удовольствием усматривая из онаго готовность общества вашего к пребыванию в мире с членами господствующей грекороссийской церкви, должен я однако заметить, что в письме сем не содержится решительнаго ответа на предложение мое, в прежнем письме вам сделанное,— согласны ли вы состоять под ведомством святейшаго правительствующаго синода, сохраняя, впрочем, обряды свои и духовное свое правление, на том основании, как в прежнем письме моем вам изъяснено? Пока не имею от вас яснаго отзыва по сему пункту, не могу я приступить к посредничеству между синодом и вами. Хотя собратия ваша в заключение письма своего и говорит, что приемлют в полное уважение причины, чтобы вместо светской власти по приличию быть ведомым, чрез посредство мое, святейшим синодом и иметь старообрядческое духовное правление в Екатеринбурге и пр., но далее упоминают о *невозможности* своей, не изъяснив, о какой именно. Они присовокупляют, что чем ближе правительство оставит их к коренному до лет Никонова патриаршества положению, тем единственнее и единообразнее они будут, и пр. Но я спрошу вас: что может быть ближе к тому состоянию, коего вы желаете, как не самое то, которое я вам предлагаю? Советую вам еще раз внимательно прочесть прежнее письмо мое и отвечать мне на оное решительно; но до ответа вашего подумать о последствиях того решения, которое вы мне дадите, ибо от онаго зависеть будет благосостояние многих тысяч народа и их потомства. В ожидании ответа вашего, пребуду с искренним желанием вам любви и соединения во Христе. Князь Александр Голицын».

Июня 30-го екатеринбургские старообрядцы дали требуемый князем Голицыным ответ в письме, подписанном 97 лицами. Подписи Рязанова тут не было. Настойчиво прося об исполнении всего, что́ изложено ими в условиях 30-го апреля 1818 года, старообрядцы положительно не согласились зависеть от синода на том основании, на

каком зависят от него ставропигиальные монастыри, и по-прежнему просили об учреждении старообрядческого духовного правления, которое бы состояло из одних мирян, без участия духовенства, и зависело бы непосредственно от министра духовных дел. Вот это письмо:

«Вникая в отеческую мысль вашего сиятельства, чтобы внимательно прочесть прежнее письмо вашего сиятельства, от 12 числа декабря прошлаго 1818 года последовавшее, мы понимаем из сего то, чтобы согласиться быть зависимыми, на основании ставропигиальных монастырей, святейшему правительствующему синоду, вследствие чего приемлем смелость вашему сиятельству донести, что постоянное и непреложное желание нашего общества есть то, чтоб существование нашего богослужения основано было по точным законам коренной святой грекороссийской церкви, премудростию Божьею и многими святителями озаривщую, и потому не могли и не можем сделать от оных преданий, существуемых более шестисот пятидесяти лет, до самых времен патриарха Никона, никаких отступлений, как чтимых тогда единственными и господствующими во всей империи, от коих самомалейшее отступление и изменение есть совести нашей противно, и оное повергнуть может общество наше, в Сибири боле ста пятидесяти тысяч душ обитающее, в совершенное раздробление и разномыслие. Следственно правительство, пекущееся о устроении всех составов государства, не узрит из того никакой пользы, кроме умножения различий, которыя в самом начале породили утеснения и затруднения, во избежание коих всякий из нас скорее может согласиться, оставя ветви промышленности и хлебопашества, только для государства полезнейшия, удалиться в прочие места Российской империи, где, как известно, древнее богослужение и поныне еще терпимо.

Предаваясь на дальновиднейшее и благо вашего сиятельства рассмотрение, как особы, истину и просвещение во все сословия водружающей, осмеливаемся утруждать от лица всего общества старообрядцев Сибирского края всеубедительнейшею просьбой об исходатайствовании нам у престола всемилостивейшаго монарха нашего на отправление богослужения и устроение того порядка, каковый изложен нами 30-го апреля 1818 года, и дозволение иметь нам в Екатеринбурге по духовной части старообрядческое правление или конто-

ру, состоящую из степенных и почетнейших старшин, кои, находясь под покровительством и повелением особы вашей, по званию министра духовных дел, во священнейшую обязанность вменять будут исполнять все то, что в пунктах наших, от 20 мая 1818 года к вашему сиятельству представленных, изъяснено.

Сиятельнейший князь, не усекните древа во время смирения его и не умножьте страданий людям в правилах непорочности предками посеяннаго, но умножьте плоды мирных граждан и поселян, ищущих покрова в скорби, многое время сердца их подавляющей; воздвигните неразрушаемый в сердцах наших памятник великодушия возведением в обществе нашем свободнаго по древним уставам в святых храмах жертвоприношения Творцу и Создателю всех. Сим единым средством благоустроенное верховное правительство достигнет своего спокойствия от жалоб и следствий, в чем среди вожделеннейшаго мира, неизреченными судьбами и теплыми всеобщими к Господу Богу молитвами дарованнаго, не токмо не можем мы отчаиваться, но ласкаем себя сильнейшею надеждой быть водворенными в то же терпение и положение, коим ограждены все прочия исповедания и даже самые духоборцы, совершенно от святой церкви и ея таинств удалившиеся.

Посему на принятое вашим сиятельством в замечание употребленное нами слово «сообразя всю готовность и невозможность» разумели и разумеем в том смысле, как ваше сиятельство усмотреть изволили, что мы не могли принять новаго, желаем остаться при древнем положении, просим всенижайше единой токмо свободы на храмы наши, священство и богослужение, сообразной со всеми прочими вероисповеданиями, не ищем ни безначалия, ни решительнаго отдаления себя от взора правительства; но умоляем высокую особу вашего сиятельства принять общество сие под единственное ведение и покровительство, на том точно основании, на каком общество екатеринбургских старообрядцев с поверенными многих других таковых же обществ изложило и к вашему сиятельству, от 20 мая 1818 года, препроводило особые пункты, с тем, чтобы духовное наше правление или контора во всех случаях представления свои по делам духовным производила к особе вашего сиятельства и получала на оныя разрешения и предписания единственно

от министерства духовных дел; потребныя же в таковых случаях сношения с святейшим синодом просим всенижайше ограничить токмо между оным правительствующим синодом и министерством духовных дел.

Засим, не обременяя более особу вашего сиятельства, дорожа бесценно всякой минутой, но изложив мнения и намерения общества старообрядцев всего Сибирскаго края, повергаем судьбу свою единому покровительству и высоким добродетелям вашего сиятельства, слезно умоляем не отрещись от принятия на себя хотя новаго и труднаго, но для нескольких сот тысяч душ спасительнаго бремени, и всенижайше просим предстать ко вселюбезнейшему и милостивейшему монарху нашему с ходатайством и прошением милосердаго о нас соболезнования, за которое с благоговением и умилением приносить будем всех Царю усердныя и теплейшия наши молитвы, чувствуя в полной мере, колико много зависит участь наша и нашего потомства от милостиваго содействия особы вашего сиятельства в деле, в котором есть вера, спасение и живот».

Тем и кончилось дело, начатое Рязановым. Просьбы екатеринбургского общества остались без последствий. Старообрядцы думали, что отказом от предложений князя Голицына они нажили себе в нем сильного врага. Не можем сказать, насколько были они в этом правы, но нелишним считаем заметить, что увольнение его от должности министра духовных дел все старообрядцы считали особенным для себя божеским благодеянием.

Сколько известно, ни московское, ни другие общества старообрядцев не принимали участия в екатеринбургском деле. Были и такие суеверные ревнители старины, которые весьма недоброжелательно смотрели на предприятия Рязанова, желавшего узаконения прав и свободы старообрядческого богослужения. По их мнению, искать у никониан чего-либо для старой веры значило мешать свет со тьмою. «Кое общение Христу с Велиаром?» — говорили они и никак не соглашались выступить из своего замкнутого круга. Тем не менее их очень интересовал исход рязановского дела — дадут ли попов, позволят ли строить кельи и поправлять старые часовни. О дозволении иметь попов ходатайствовали в то же время общества московское, саратовское, тверское и другие.

IX

БЕГЛЫЕ ПОПЫ В ДВАДЦАТЫХ И ТРИДЦАТЫХ ГОДАХ

В марте 1822 года последовали наконец столь долго и с таким нетерпением ожидаемые старообрядцами правила «о попах и молитвенных домах». В правилах этих, высочайше утвержденных 26 марта, было сказано:

I. *Касательно беглых священников, у раскольников находящихся:* 1) Буде они не сделали никакого уголовного преступления, о чем губернаторы должны сами разыскивать и спрашивать у епархиальных архиереев, то оставлять их на месте, как таких людей, коими не дорожат. 2) На требования же епархиальных архиереев о высылке таковых священников отвечать, что они находятся при своих местах. 3) Если ж беглый священник появится у раскольников, и об нем откроется, что он учинил побег от своего места по причине соделанного им преступления, то по требованию епархиальных архиереев их высылать. 4) Где у раскольников нет молитвенных домов ни церквей, там не держать ни под каким видом беглых священников. 5) Священникам, оставленным у раскольников, приказать для порядка вести метрики и представлять о том ведомости ежегодно гражданскому начальству.

II. *Касательно церквей раскольничьих:* 1) О тех, кои давно построены, не входить ни в какое дальнейшее рассмотрение и оставлять их без разыскания. 2) Вновь же строить не дозволять ни по какому случаю.

Правила эти, официально считавшиеся «секретными», были разосланы только губернаторам, и то через полгода после их утверждения. В первый раз они были напечатаны только в 1858 г., то есть через тридцать лет после их отмены, и когда явились в печать, то имели уже значение единственно как исторический документ. Но еще осенью 1822 г. на Рогожском кладбище происходили совещания по поводу новых правил, которые, несмотря на их официальную секретность, тотчас по утверждении находились в тысячах копий у всех старообрядцев. В этих совещаниях, кроме московского общества, принимали участие старообрядцы городов Коломны, Егорьевска, Подольска и Вереи, селения Вох-

ны (Павловский посад), Гуслицкой волости, и разных селений Коломенского, Бронницкого, Дмитровского, Серпуховского, Егорьевского, Зарайского и Покровского уездов. Тогда же подобные совещания происходили в Ржеве, Торжке, Твери, Калуге, Туле, Боровске. Что касается до Екатеринбурга, то, по совещанию тамошнего общества, Рязанов и Казанцов разослали правила 26 марта старшинам всех старообрядческих обществ Пермской и Тобольской губерний с тем, чтобы они составили по каждому селению именные списки старообрядцев, долженствующие быть основою для ведения метрик. Получив затребованные списки, Рязанов и Казанцов, 25 июня 1823 года, представили их формально в пермское губернское правление, ссылаясь на правила 1822 года и нисколько не подозревая официального секрета. Письма, подобные екатеринбургским, были рассылаемы и из других обществ. Словом, к концу 1822 года вся поповщина от Бессарабии до Байкала знала о высочайше утвержденных правилах, а между тем правила эти считались «секретными». Гласное принятие священника к моленной зависело не от этих правил, а единственно от личного взгляда на дело начальника губернии. Таким образом, в Московской, Тверской, Калужской, Тульской, Саратовской, Могилевской, Черниговской и некоторых других губерниях тотчас же явилось по нескольку «дозволенных» попов, а в других, как, например, в Пермской, и прежде бывших иргизских попов брали под стражу и отсылали в те епархии, из которых они бежали.

Правила 1822 года в некоторых местностях встречены были недоброжелательно. В Лужках[1], например,

---

[1] Посад Стародубского уезда Черниговской губернии, в 30 верстах от уездного города. Лужковская секта открылась по случаю отказа одного казака Войска Донского от присяги на верность службы и от подписания отобранного от него допроса. Наставником этой секты оказался беглый поп в Лужках. Последователи жили в четырех посадах Черниговской губернии: Лужках, Воронке, Еленке и Гуровичах, и распространились в небольшом числе в Земле Войска Донского и в Боровском уезде Калужской губернии. Они, как сказано, не принимали беглых попов, известных правительству, и потому скрывали своих от местных властей; признавали как православных, так и раскольников не своей секты за еретиков; избегали всякого с ними сообщения; отлучившихся из своих селений считали осквернившимися и, по возвращении, очищали их молитвою, которую читали над ними тай-

старообрядцы-перемазанцы решительно отказались иметь у себя гласных попов, считая самую подачу метрик противною совести зависимостью от никониан. Они образовали особую секту, известную под именем *Лужковского согласия*, или тайной церкви. У них были попы, но держались в большой тайне. Они отвергали присягу, военную службу и паспорты, видя в них печать антихриста, избегали всяких сношений с правительственными местами и лицами и вели пропаганду, особенно на Дону. Секта эта была признана особенно вредною, и в 1845 году, по докладу наказного атамана, донским казакам даже было запрещено ездить в Лужки. Сначала лужковская секта была у старообрядцев в пренебрежении, но когда дозволенных попов не стало, многие обратились в Лужки, и секта «тайной церкви» появилась не только на Дону, но и на Волге, и на Урале, и на Каме, и на Днестре, и на Буге.

Городецкие старообрядцы не приняли попов на основании правил 1822 года, удерживая за собою полученное ими одними, в 1803 году, право брать попов с Иргиза без всяких обязательств относительно метрик и т. п. На Керженце новыми правилами не воспользовались.

Но, вообще говоря, в тех губерниях, где губернаторы

ные попы. Считали за грех носить мундиры, принимать присягу, брать паспорты для отлучек и подписывать правительственные бумаги, относившиеся к их расколу. В моленных своих надевали одежду, какую носили их предки, отпавшие от церкви во время Никона, и приходивших в другой одежде в моленную не пускали. Секта эта была первоначально в общем пренебрежении у раскольников, но когда в посадах Черниговской губернии не стало дозволенных беглых попов и приняты строгие меры к преследованию их переездов, то многие раскольники других посадов начали ездить в Лужки и исправлять там духовные требы у тайного беглого попа. Жители этого посада, особенно отличаясь упорством в своих заблуждениях, прямо и открыто объявили, что они не имеют ни малейшего желания присоединиться к единоверию. Посад Лужки получил между раскольниками название Нового Иерусалима. В 1845 году, по распоряжению министерства внутренних дел, беглый поп в Лужках был пойман и отослан к духовному начальству, молитвенное здание их запечатано, вместо него построена деревянная единоверческая церковь и определен туда единоверческий священник. Теперь в Лужках старообрядцев 5 316 обоего пола, а единоверцев 37. Священника единоверческого более нет. По случаю распространения в Лужках, Еленке, Воронке и Чуровичах лужковской секты, в 1847 учреждены в них особые полицеймейстеры, а в других посадах только помощники становых.

дозволили старообрядцам воспользоваться снисхождением правительства, они были довольны своим положением, обзаведясь достаточным количеством попов и даже дьяконов. Так, в Москве, на Рогожском кладбище, попов было девять, дьяконов трое. Иргиз удержал право исправлять попов, но, несмотря на то, рассылка их по старообрядческим общинам значительно уменьшилась. Уменьшились через то и доходы иргизские.

Недолго однако пользовались старообрядцы данными льготами. С 1827 года начинается ряд постановлений, сначала ограничивавший, а потом и вовсе отменивший права и льготы, полученные старообрядцами при Екатерине II и Александре I. Представляем краткий перечень этих отмен в хронологическом порядке.

Мы видели, что, согласно правилам 26-го марта 1822 года, губернаторы должны были отправлять к епархиальным архиереям, по их требованиям, тех только из находящихся у старообрядцев беглых попов, о которых откроется, что они бежали от церкви *по причине содеянного ими преступления*. Так как здесь не объяснено, какие именно преступления в отношении к беглым попам должно считать уголовными, то многие губернаторы затруднялись исполнением требований преосвященных и спрашивали разъяснения министра внутренних дел. Управляющий министерством В. С. Ланской, незадолго перед тем энергически заявивший свою деятельность по делам раскола, уклонился от решения возбужденного вопроса и передал его на обсуждение святейшего синода, который, после перечисления разных уголовных преступлений, во мнении своем прибавил следующее: «Святейший синод, как место, которому вверено охранение ненарушимости священных правил и церковного благочиния, не может не признать *самого побега священника* от своего места и должности к раскольникам за *преступление тяжкое*». По такому разъяснению святейшего синода, каждый беглый священник, у старообрядцев находящийся, был преступник, которого, на основании правил 1822 года, должно было губернатору выслать к требующему его епархиальному архиерею. На этом основании должно было бы немедленно взять всех попов, находившихся у старообрядцев. Но в то же время состоялось относительно этого предмета особое высочайшее повеление, вошедшее впоследствии и в свод законов. Московский генерал-

губернатор, князь Д. В. Голицын, сообщил министру внутренних дел ведомость о дозволенных попах Рогожского кладбища, а Ланской представил ее государю. Покойный император, рассмотрев эту ведомость, повелел уведомить князя Голицына, чтоб он «ныне находящихся (попов) оставил в покое, но новых не дозволял отнюдь принимать». Наконец, в январе 1832 года, представлена была графом Д. Н. Блудовым, бывшим тогда министром внутренних дел, записка, в которой было сказано, что «дальнейшее оставление беглых попов у раскольников не соответствует ни достоинству господствующей православной церкви, ни гражданскому устройству, но как таковое снисхождение, по необходимости правительством допущенное, уже обратилось по секретным правилам 1822 года, в постановление и руководство для гражданских начальств, то и не можно приступить к общим распоряжениям по сему предмету, а в частных случаях полезно делать распоряжения, чтоб вновь не появились у раскольников беглые попы». По обсуждении записки, постановлено: «для постепеннаго установления порядка, свойственнаго благоустроенному государству, принять к руководству по гражданской части правилом: когда дойдет до сведения правительства о вновь бежавшем к раскольникам попе, то такового возвращать в епархию, в распоряжение епархиального архиерея, как то уже и делалось, а со временем распространить и на все губернии последовавшее высочайшее повеление для С.-Петербурга, Москвы и Пермской губернии, чтоб вновь не дозволять появляться беглым попам у раскольников, но прежних оставить в покое, как давно живущих на местах».

Вследствие этого распоряжения находившиеся у старообрядцев попы были один за другим вызываемы гражданским начальством к епархиальным архиереям, и в пять лет (до 1837 г.) было взято у старообрядцев и отправлено к преосвященным более пятидесяти беглых попов. Бо́льшая часть дел о них, подавших повод к требованию их высылки, возникла по случаю крещений и браков, совершенных ими над такими лицами, которые хотя и состояли в старообрядстве, но в приходских книгах были записаны православными. В некоторых губерниях высылка старообрядческих попов была производима уже с таким усердием, что граф Блудов счел нужным

поставить некоторые границы распоряжениям губернских начальств относительно этого предмета. Так, в 1834 году, по поводу распоряжений пермского губернатора Тюфяева, который в деле истребления раскола постоянно отличался чрезвычайною ревностью, граф Блудов вынужден был разослать ко всем губернаторам особые предписания о том, как должны они поступать, получив от епархиальных архиереев отношение о вновь бежавшем к раскольникам попе. Губернаторам предписывалось, отыскать попа и, учредив за ним в том месте, где он находится, секретный полицейский надзор, предварительно доносить министерству внутренних дел, не делая никаких распоряжений и, до разрешения, не давая никакого отзыва архиерею. На основании этого распоряжения из Черниговской губернии в 1837 году было получено донесение о *тридцати попах*, находящихся в Стародубье, высылки которых настоятельно требовали преосвященные разных епархий. Из них графом Блудовым признаны были подлежащие высылке только три попа и один дьякон, что́ и было утверждено покойным императором.

Попов, взятых у старообрядцев,— конечно, не всех, но довольно многих,— по суду лишали сана и исключали из духовного звания. Естественно, что такое наказание, справедливое с точки зрения господствующей церкви, не считалось правильным и действительным старообрядцами. Попов, лишенных таким образом сана, они считали мучениками, пострадавшими за истину и за ревность к «древлему благочестию», и если такому расстриженному попу удавалось снова найти себе приют у старообрядцев, он совершал все требы по-прежнему и пользовался еще бо́льшим, чем прежде, почетом и уважением. Такой случай открылся в Екатеринбурге в 1835 году. Находившийся в Шарташском селении беглый поп Иван Грузинский был лишен сана и записан в тульские мещане. Приехав в Екатеринбург, под предлогом продажи принадлежавшего ему в Шарташе дома и другого имущества, он продолжал совершать требы. Это дошло до сведения правительства, и тогда было принято за правило, чтобы с каждым беглым попом, лишенным сана, поступаемо было так, как определено в «Своде законов» о состояниях относительно лишенных монашества; на этом основании такому расстриженному священнику не дозволялось проживать, а тем менее приписываться к

городским или сельским обществам той губернии, где он был священником, и той, в которой он находился у раскольников, равно как и в обеих столицах. С таких расстриг велено было брать подписки в выполнении ими сего правила, под опасением за нарушение его быть отосланным в Закавказские провинции на всегдашнее пребывание. Но это мало действовало и на раскольников и на беглых попов. По причине крайнего недостатка в священстве, старообрядцы не переставали тайно содержать расстриг и даже стали брать к себе для совершения духовных треб попов, расстриженных не за уклонение в раскол, а за разные проступки.

Оттого впоследствии велено было всех лишенных сана священников заключать в монастырь.

Самым важным, по своим последствиям, распоряжением правительства тридцатых годов было уничтожение иргизских монастырей и обращение их в единоверческие. Доселе Иргиз еще сохранял то значение, которое приобрел он на старообрядческом соборе 1783 года. Он по-прежнему пользовался у старообрядцев внутренней и восточной России исключительным правом принимать под исправу попов, приходящих от господствующей церкви в какое бы то ни было старообрядческое общество. В 1834 году, когда еще не все иргизские монастыри были закрыты, саратовский губернатор донес, что на Иргизе, несмотря на воспрещение 1832 года, приняли трех попов и одного из них уже отправили к старообрядцам села Поима, Чембарского уезда, Пензенской губернии, и что исправа попов и рассылка их по-прежнему делается исключительно на одном Иргизе. Поэтому в 1836 году признано было необходимым: «принять меры к прекращению такой исправы беглых попов, сколь постыдной для них, столь же прискорбной для православной церкви, и предписать саратовскому губернатору обязать настоятелей иргизских монастырей подписками впредь не принимать в сии монастыри на исправу беглых попов, так как сие противно и церковным и гражданским законам, с тем, что ежели кто осмелится сделать такую исправу, то допустившие сие настоятели, а равно совершившие и принявшие оную попы будут преданы суду, как распространители ереси». Это распоряжение сильно поколебало Иргиз: оно лишило его громадного дотоле влияния на все старообрядство. Вскоре последо-

вало и совершенное падение Иргиза, монастыри его были обращены в единоверческие.

В то время, когда гражданским правительством принимаемы были исчисленные меры против беглых попов, духовное начальство в пределах своего ведомства предпринимало иные меры для предупреждения самых побегов священников к старообрядцам. Главнейшею причиной уклонения сельских священников в раскол была бедность их и неразвитость. Вполне и безвыходно зависимые в материальных средствах от прихожан, православные сельские священники всю жизнь свою боролись с нуждою и всякими лишениями и, за весьма малыми исключениями, оставались почти нищими. Безотрадно смотрели они на детей своих, зная, что и им и внукам их предстоит та же участь, наследованная от отцов и дедов. По жалкой обстановке своей жизни редкие из священников могли внушить к себе уважение прихожан. Но эта грустная истина слишком известна, чтоб о ней распространяться.

Переход в раскол всегда сулил круглому бедняку если не богатство, то уж непременно вполне обеспеченное в материальном отношении содержание и надежду, что дети его не останутся без куска хлеба и не будут всю жизнь свою нищенствовать. Тульский епископ в 1836 году, не обинуясь, доносил святейшему синоду, что священники уклоняются в раскол по причине своей необразованности и скудного содержания при бедных приходах; а калужский, из епархии которого в десять лет бежало двадцать священников, так объяснял причину этого прискорбного явления: «Старообрядцы,— говорил он,— знакомые с священниками, разными способами стараются войти к ним в доверенность и затем прельщают их, описывая их сельскую жизнь, скучную и бедную, и советуя им перейти к ним, обещая спокойное и безотчетное пребывание и во всем избыток. Священники, особенно те, которые знают за собой пороки, или опасаются доносов и преследований со стороны местного и высшего начальств, иные же по вдовству и неимению детей, а другие наконец от обременения семейством, за лучшее для себя почитают удалиться к раскольникам и действительно уезжают к ним. Между тем семейства их остаются в епархии, и дети, обучаясь в семинариях, при пособиях, присылаемых им отцами из раскольнических сло-

бод, оканчивают семинарский курс наук и занимают священническия места, и нередко случалось, что бежавшие к раскольникам священники с богатым приданым и значительною суммою денег выдавали дочерей своих за лучших учеников высшего отделения семинарии и за учителей, поступивших в священники. Есть примеры, что некоторые из священников, находящихся в расколе, вызывали туда же, к раскольникам, отец сына, тесть зятя, и самые таковые в раскол бежавшие священники записываются, как известно, в мещанския общества». Прямым и вернейшим средством к отвращению подобных случаев уклонения священников в раскол, конечно, было бы улучшение положения их хоть до такой степени, чтобы предложения старообрядцев не могли быть для них соблазнительными. Приняты были, однако, иные меры. Святейший синод, по обсуждении донесения калужского преосвященного, постановил: 1) объявить всем ученикам семинарий и прочим лицам, намеревающимся поступить на священнослужительские должности, чтоб они не вступали в брак с дочерьми бежавших к раскольникам священнослужителей, под опасением оставления в звании причетника, пока не загладят своего поступка и не докажут благонадежности к священству, 2) предписать благочинным, под страхом ответственности пред начальством, наблюдать за подведомственными священнослужителями в отношении к образу мыслей их о православной церкви и доносить епископу о подозрительных, а епископу вызывать таких в архиерейский дом, отбирать грамоту на сан и возвращать по удостоверении в благонадежности, 3) преосвященным вменить в обязанность, при выдаче священнослужителям паспортов на отлучки в другую епархию, и от состоящих под судом и сомнительных в образе мыслей и поведении, отбирать грамоты до возвращения из отпуска. Нельзя сказать, чтоб эти распоряжения достигли цели и уменьшили число беглых священников, уходящих к старообрядцам; по крайней мере мы не замечаем, чтобы значительно уменьшилась цифра ежегодных случаев этого рода после издания приведенных правил. Что же касается до прекращения возможности ученикам семинарий жениться на дочерях беглых попов, то богатые невесты находили женихов получше их. Так, дочь одного рогожского попа (Петра Ермиловича Русанова) вышла замуж за штабс-

капитана, а дочь другого (Ивана Матвеевича Ястребова), с стотысячным приданым, за человека, весьма значительного в своем кругу. Сыновья беглых попов перестали учиться в семинариях, зато делались зажиточными членами городских обществ; так, сын дозволенного ржевского попа Василия Смирнова (умерший в 1857) был одним из значительных купцов города Твери и жил совершенно по-светски, а два сына дозволенного же тульского попа Павла, оставаясь в православии, получили от него большой дом, множество разных вещей и весьма значительный капитал. Старообрядцы зазирали попа Павла, говорили, что по 31 и 92 правилам Карфагенского поместного собора он, за представление наследства и приобретенного от священнослужения имения сыновьям своим никонианам, подлежит проклятию. Но чувство отца пересилило в Павле обязанности раскольничьего попа; он пренебрег укорами и даже произнесенным над ним лет пять тому назад старообрядческим архиепископом Антонием с собором отлучением, анафемой и проклятием. Он служит и до сих пор в Туле, имеет много прихожан и, признав было в 1847 году законность белокриницкой иерархии, теперь провозглашает ее незаконность. Это единственный теперь дозволенный поп во всей России, последний из попов 1822 года.

В 1835 году по духовному ведомству принята была еще новая мера для уменьшения числа старообрядческих попов — мера, совершенно другого характера, чем последовавшая по донесению калужского епископа. По случаю добровольного обращения в православие одного иргизского попа, Виноградова, велено было простить его, и об этом предписано было губернаторам объявить чрез доверенных лиц всем старообрядческим попам, не изъявят ли и они готовности предстать пред своим начальством с раскаянием, подобно Виноградову. В Москве сам митрополит принял на себя сделать такое внушение попам Рогожского кладбища. Действительно, последовали обращения к православию, но они не были многочисленны: только один поп и один дьякон, жившие у старообрядцев Саратовской губернии, явились к местному архиерею. Они были прощены.

Строгие меры относительно беглых попов произвели так называемое *«оскудение священства»*. Попов, дозволенных правилами 1822 года и оставленных до смерти

при своих местах, оказалось крайне недостаточно для пяти миллионов поповщины, рассеянной от Хотина до Байкала и от Петербурга до Ленкорани, тем более, что им строго запрещено было, как мы уже видели, переезжать не только из губернии в губернию, но даже из одного уезда в другой. Правда, много было и теперь у старообрядцев беглых попов, содержимых втайне и переезжавших из места на место для совершения треб, попов, которые стали известны под именем *проезжающих священников*. Но положение таких бродячих попов было крайне для них тягостно. Находясь под денно-нощным страхом ареста и суда, они постоянно были в тревожном состоянии духа, которое старались хоть сколько-нибудь заглушить водкой. Пьяных с утра до ночи перевозили их в коробах, под рогожками, укрывали в подпольях; но, несмотря на такие предосторожности, попы все-таки нередко попадали в руки полиции. Отсюда произошла небрежность при совершении треб, постоянно соблазнявшая истых ревнителей «древляго благочестия». По отзыву самих старообрядцев, невозможно было иметь трезвого и благоговейного священника. Такие попы, действительно недостойные своего высокого призвания, находились в полной зависимости от мирян: от старшин старообрядческих обществ, от попечителей часовен. Без их позволения они не смели исправить ни одной требы, не могли отслужить ни одной службы. Вместе с тем они принуждены были исполнять всевозможные приказания своих «хозяев», в таком даже случае, если и сами видели, что от них требуется незаконное. Таким образом венчаемы были браки в недозволенных степенях родства, в малолетстве и т. п. Особенно много было совершено беглыми попами браков в малолетстве. Известно, что до царствования императора Николая у нас действовал византийский закон, внесенный в Кормчую, по которому вступать в брак можно было мужчинам 14, а женщинам 12 лет. Император Николай для отвращения многих бедственных случаев, бывавших вследствие таких ранних браков, заключаемых между детьми, повелел не венчать мужчин ранее восемнадцатилетнего, а женщин ранее шестнадцатилетнего возраста. Этот *новый* закон старообрядцы не считали для себя обязательным, считали его даже нарушением священных правил. Беглые попы венчали по-византийски, и оттого

возникали русские следственные дела. Мало того, нередко бывали случаи, что, по приказу старшин, браки между старообрядцами расторгались, и поп венчал бывших супругов с другими. Это особенно случалось, когда та или другая сторона обращалась в православие[1]. Влияние старшин или попечителей на попов, дозволенных правилами 1822 года, было еще не так велико; зато беглые попы, тайно у них жившие, были совершенными их рабами. Старшины, как невольников, покупали попов на Иргизе, покупали их навсегда или на время, смотря по условию, и торговали их профессией, собирая деньги с исправлявших духовные требы. Явился особый род промышленников, которые торговали «проезжающими» попами. Сманив попа и исправив его на Иргизе, или в Стародубских слободах, или даже у другого «проезжающего», они возили *своего* попа из одной старообрядческой местности в другую и наживали хорошие деньги.

---

[1] Из «дела о иноке Варлааме» (Василье Перепелкине), производившемся в 1847—1849 годах, видно, что православный мещанин Петр Сунгуровский, женатый на старообрядке, дочери варнавинского купца Осокина, и венчанный в православной церкви, был разведен Варлаамом, а жена его потом в посаде Дубовке (Саратовской губернии) была обвенчана с другим (дело в архиве Семеновского уездного суда). Таких примеров много. У попа Рогожского кладбища, Петра Ермилова Русанова, была дочь Манефа. Овдовев не больше как через неделю по водворении в Рогожском, поп Русанов воспитал дочь при себе и, когда она выросла, сосватал ее за одного штабс-капитана, бывшего впоследствии в одном из городов Вологодской губернии непременным заседателем земского суда. Кладбищенские старшины и вообще все влиятельные люди Рогожского общества подняли сильный ропот, как может старообрядческий священник выдавать дочь за никонианина, да еще за благородного, значит, за бритого, и, призвав попа на совет, уговаривали его отказать жениху Петр Ермилович, подходя к каждому тут бывшему, говорил: «хорошо, будет по-твоему: откажу жениху; только и ты сделай по-моему: женись на Манефе». Из бывших на совещании кладбищенских тузов, миллионеров, людей, конечно, большею частью пожилых и женатых, не нашлось женихов для Манефы Петровны. Петр Ермилович, обругав почтенное собрание дураками и скотами необузданными (любимое выражение покойника), не простясь ушел из собрания и дочь выдал за штабс-капитана. Этот брак очень соблазнял всех кладбищенских, и особенно духовных детей Петра Ермиловича. Стали они уговаривать его и давать много денег (а он был очень корыстолюбив), чтоб он как-нибудь *поправил* дело. Петр Ермилович поправил, расстроив супружество дочери. Манефа Петровна в 1835 году уехала от мужа к отцу, забрав все приданое, и на Рогожском обратилась к старообрядству. Сам отец расторг ее брак, прочитав над ней какую-то

Из таких промышленников особенно замечателен был в тридцатых и сороковых годах московский мещанин, уроженец Боровского уезда, содержавший в Рогожской части, в Вороньем переулке, постоялый двор, Степан Трифонович Жиров. Про него даже ходили между старообрядцами слухи, будто он одного возимого им попа Егора, польстившись на накопленные им деньги, утопил в какой-то реке. Этот слух не помешал, однако, ему сделаться *первым* русским старообрядческим архиереем. Это Софроний, епископ симбирский, лишенный впоследствии епархии, теперь находящийся под запрещением и оставшийся в 1863 году на стороне Кирилла белокриницкого, отвергнутого московским обществом старообрядцев.

«Оскудение священства» до того довело старообрядцев, что у них зачастую стали появляться так называемые «*сумленные*» попы. Бывали случаи, и бывали нередко, что какой-нибудь беглый солдат или другой обманщик, добыв настоящую или фальшивую ставленную грамоту, сказывался попом и исполнял духовные

молитву в часовне. Манефа Петровна жила то у него на Рогожском, где пользовалась большим почетом, то в Москве на квартире. Напрасно муж требовал у попа жены своей... Свадьбы несовершеннолетних, не достигших законного возраста для вступления в брак, венчаемы были проезжающими попами во множестве; подобные свадьбы бывали и там, где были дозволенные попы и велись метрики. Об этом возникало много дел. Были и такие примеры, что, и не быв венчаны, многие сказывались обвенчанными. Из многих случаев приведу один, бывший в Москве. В 1842 году сорокапятилетний крестьянин деревни Городка (Богородского уезда), Савелий Андреев, вздумал жениться на 14-летней девочке, Афимье Денисовой, православной, которую однако мать ее водила на исповедь на Рогожское. Июня 8, в самый Духов день, жених с невестой поехали в Москву, но рогожский поп почему-то их не обвенчал, хотя жених и имел у себя свидетельство из волостного правления. На возвратном пути жених уговорил невесту сказать в деревне, что они венчаны. Так и сделали. Афимья родила сына, которого крестили и через пять месяцев схоронили на Рогожском. Вскоре после этого Андреев собрался на житье в Москву, но моложенькая сожительница его, наскучив старым мужем, объявила, что она ему не жена, и притом, что она православная. Андреева выдержали в тюрьме три месяца, а Афимью, как малолетнюю, отдали на решение совестного суда; мать же ее, за совращение дочери в раскол, лишили всех прав состояния и сослали в Закавказский край. Мы могли бы наполнить сотни страниц рассказами о подобных случаях, заимствуя их из дел, выписки из которых находятся у нас под руками, но считаем это совершенно излишним.

требы у легковерных старообрядцев, живших в какой-нибудь глуши. Беглые дьяконы зачастую надевали священнические ризы и совершали священнодействия, которых не вправе были совершать; монахи, не имевшие рукоположения, крестили, исповедовали, приобщали и даже венчали браки. Все оправдывалось словами: «по нужде и закону пременение бывает». Но множество старообрядцев чувствовало и открыто говорило, что бесчинство их священнослужителей смущает их совесть.

Большинство беглых попов не отличалось хорошей жизнью. В вине хотели они утопить и испытываемые ими тревоги и ежеминутное опасение быть пойманным, а может быть, и просыпавшуюся по временам совесть, напоминавшую им отступничество от церкви и торговлю святыней. Почти все попы у старообрядцев были вдовые, и редкие из них подавали духовным детям своим пример целомудрия [1]. Удержать попов от неприличной

---

[1] В делах сохранилось множество примеров зазорной жизни старообрядческих беглых попов. Сергей Иргизский рассказывает о попе, бывшем в Москве и находившемся шесть лет в связи с девушкой, которую выдавал за родную сестру; когда же прихожане стали укорять его за это, он донес начальству, что на Рогожском варили миро, ушел на Ветку, потом на Иргиз и там священнодействовал. «На Иргизе,— пишет уставщик и ризничий тамошнего Нижневоскресенского монастыря, Платон,— к беглым попам имел невозбранный вход женский пол; такое же гостеприимство было и у монашествующих: они не зазорно принимали каждый свою гостью; женщины даже допускались ночевать в их кельях, и для того все из своей кельи имели сквозь монастырскую ограду калитку и оными выходили без ведома начальствующих». Пользовавшийся большою известностью в Москве и на Керженце в тридцатых и сороковых годах беглый иеромонах Иларий (умерший в 1848 г. холерой) в комаровском скиту, в обители Игнатьевой, открыто имел любовницу Авдотью Константинову, сестру игуменьи обители Игнатьевых Александры; он постриг ее в монашество под именем Елизаветы и имел от нее двух дочерей: Клавдию и Александру. В другой женской обители Комаровского скита, Манефиной, жил в двадцатых и тридцатых годах черный поп отец Евфимий. Ходить за ним, т. е. убирать его комнату, платье и проч., назначалась обыкновенно молоденькая послушница, и он нередко менял одну за другою. Было из кого выбрать. Кроме того, у него вне обители жила еще любовница, романовская мещанка Наталья Варфоломеева, которая после взятия отца Евфимия, сосланного в Саратовскую пустынь, сохранила оставленный ей сим иеромонахом сувенир: кадило и епитрахиль. В 1839 году. в Москве. производилось дело по жалобе мещанки, вдовы Афимьи Поликарповой Шишеевой, на рогожских попечителей, отнявших у нее, при помощи и личном участии чиновников полиции, разное имущество и 5000 р. денег

жизни, обличить их, наказать и, в случае неисправимости, судить — было некому. Это дело епископа и притом, на точном основании канонического права, суд над священником принадлежит не одному, а семи епископам, ибо по 12 и 29 правилам Карфагенского поместного собора: «пресвитера судят шесть епископов и свой». Одно могли сделать старшины и попечители с безнравственным попом — прогнать его. Но это было небезопасно. Бывали примеры подобных изгнаний, о них свидетельствуют архивные дела. Но эти изгнания всегда почти до-

---

из дома, принадлежащего ей и находившегося в ограде Рогожского кладбища. Шишеева указывала на разные злоупотребления и объясняла расхищение ее имущества тем, что попу, Ивану Матвеевичу Ястребову, хотелось выручить находившуюся у Шишеевой переписку его с оставленной уже им любовницей его, Елизаветой Авксентьевой, замененной другой, Анною Федоровой. В деле есть копия с письма покинутой Елизаветы к попу. Вот оно: «Здравствуй! Любезному моему Ивану Матвеевичу. Забыли, как меня любили, а ныне забыл. Я была молода, согласилась с тобою — ты хотел вечно любить. Вам какая я пришла? Честь свою нарушила, от тебя затяжелела и, страха ради, ушла замуж. Грех вам будет меня забыть! Как вы меня облещали разными ласками: «Лизавета Авксентьевна, когда ты придешь ко мне — только и радости!» Вы меня загубили перед Богом и перед мужем, вы любите Анну Федоровну и покоите ее, а она с стрикулистами таскается и тобою похваляется, твой капот на левантине продала знакомым моим и говорит: «я не хочу носить». А хорошие люди за вами зазирают. Бывало, вы как в письмах писали ко мне и заочно меня целовали полдюжины, аки лично, а нынче забыли. Вспомни обо мне, мой любезный. Извините меня, что я так нехорошо написала: я с тех пор не писывала, как к тебе. Заочно кланяюсь вам. Елизавета Авксентьева». Эта записка, написанная лет 16 перед тем, то есть в 1823 или 1824 году, наделала больших хлопот целому Рогожскому кладбищу, а не меньше того и полиции. При производстве следствия, задаренная с одной стороны Авксентьева отреклась и от письма и от бывшей связи с попом; муж ее и разные лица под присягой показали, что она и грамоте не знает. Анну Федорову даже не спросили; от попа письменно потребовали объяснения; он отрекся. Очной же ставки с Шишеевой полиция ему не дала, оправдываясь впоследствии тем, что поп *пользуется уважением старообрядцев*. Для сличения почерка Авксентьевой потребованы были из конторы кладбища обыскные брачные книги за 1823 и 1824 годы, где, при записке брака Авксентьевой, должна была находиться ее подпись. Попечители отозвались, что книги сгорели в 1831 году. Но из других дел видно, что в 1833 и 1834 годах из этих дел были сделаны выправки. Дело, разумеется, кончилось ничем, а Шишеева ни имущества, ни денег, ни дома не получила. Поступок чиновников полиции был передан на обсуждение губернского правления, но что́ было там постановлено,— мне неизвестно. Вторая любовница попа Ивана Матвеевича, Анна Федоровна, име-

рого обходились не только изгонявшим беспутного попа попечителям, но и целым общинам. Озлобленный поп, из мщения, доносил в таком случае гражданскому или духовному начальству, прибавляя к действительному, конечно, и свои вымыслы. Начинались следствия; попечителей или других влиятельных членов общества предавали суду. Иногда терпела и целая община: например, в случае запечатания часовни, если по доносу попа, что она противозаконно была поправлена, оказывалось при производстве формального следствия, что действитель-

---

ла от него сына, и, когда он вырос, из него вышел такой кутила, каких мало на свете бывает: отцовых денег он тысяч сто промотал. Все старообрядцы знали слабость Ивана Матвеевича к прекрасному полу, все и в Москве и по иным городам знали, как он ездит по вечерам к Анне Федоровне, как он ей дом купил у Троицы в Садовниках, несмотря на то, что, по словам его прежней любезной, эта Анна Федоровна с молодыми «стрикулистами» ставила рога отцу Иоанну. Но все прощали ему, ничем не соблазнялись, ибо дорожили дозволенными в 1822 году попами, а Иван Матвеевич был из числа их. Другой поп Рогожского кладбища, Петр Ермилович Русанов, тоже имел любовницу и не одну; от главной и гласной были у него и дети. Эта женщина однажды пожаловалась попечителям Рогожского кладбища, что Ермилыч, много лет имея с нею связь, теперь оставляет ее, не обеспечив ни ее, ни их ребенка. «Обращаюсь,— писала она,— к вам, господа, с покорнейшею просьбой удовлетворить мои законные требования; в противном случае я подам просьбу высшему начальству». За мировую требовала она сто тысяч ассигнациями. Собрались попечители и влиятельнейшие люди Рогожской общины, пришли к попу, и уж не они ему, а он им стал каяться. «Вспомните вы,— говорил он им,— что для вас оставил церковь; вспомните, как вы меня сманивали и обещались всегда выручать. Вот и выручайте теперь, а я действительно грешен, потому, сами вы знаете, что жена моя умерла, недели не прожив на кладбище: беременная, она зимой из бани без сорочки прибежала, потому настращал их кто-то в бане и все платье украл. Бог за отступничество мое наказал меня, и я, по тогдашней моей молодости, связался с этою женщиной; но она это врет, что я оставляю ее без всякого внимания, конца края нет разным подаркам, которые я передарил ей во время нашей связи. Теперь же, находясь при старости лет, я оставляю ее и чистосердечно вам каюсь в моем грехе. Простите меня Христа ради и помогите. Если я вам нужен — помогите мне, а если нет, я за грехи мои готов нести должное наказание: пусть правосудие поразит меня». Жаль было расстаться с попом Ермилычем; он грозил, по своему обыкновению, что уйдет с кладбища и пойдет к митрополиту просить у него суда и наказания за отступничество от церкви. Но жаль было и ста тысяч. Молча думали в конторе тузы Рогожского кладбища, как делу помочь. Тогда богатый фабрикант, почетный гражданин Василий Ефремович Соколов, слепой уже старик, первый заговорил: «не хочу предавать на посмеяние отца мое-

но в ней были недавние починки. С другой стороны, «оскудение священства» было так велико и так ощутительно, что старообрядцы волей-неволей принуждены были терпеть попов, каковы бы они ни были; мало того, они вынуждены были дорожить ими. И чем меньше становилось у старообрядцев попов, тем попы эти делались безнравственнее; алчность же их и бесстыдная, наглая симония выходили из всяких границ. Вот, например, что писал один член Рогожского общества, уже по появлении в Белой Кринице Амвросия: «К Рогожскому кладбищу принадлежит несколько тысяч душ, и для такого количества имеют только двоих священников (Петра Ермиловича Русанова и Ивана Матвеевича Ястребова), которые не успевают исполнять для нуждающихся духовных треб. Оные священники, как уже не имеют над собой никакой власти, то и делают только то, что́ им рассудится. Для них ничего не значит, если умрет некрещенный младенец (а это бывает очень часто), или больной без исповеди и причащения умирает. Таковые нужды в скорости исполняются только для тех, у кого много денег, а бедные даже не имеют к тому никакой возможности. Понудить или выговорить таким попам никто не может: ни хозяева ни попечители оному кладбищу, потому что боятся рассердить, ибо они им грозят тем, что служить у вас не будем. Оные же попы, желая поддержать общество старообрядцев, зная ихнее малодушие и твердую их к себе приверженность, и зная, что оные маловеры зазрить их ни в чем не могут, потому что за слабость жизни и за выдумки в деле духовных действий судить их не смеют по правилам Номоканона, то хотя и действуют против постановления церкви и уложения святых отец, но на оное ссылаются и оправдываются тем, что будто бы «нужды ради». Вот дерзкий их поступок: что они разрешили и благословили (как бы власти) простым инокам и избранным мирянам исполнять требы все, ис-

---

го духовнаго: жертвую для утушения этого дела десять тысяч рублей». За ним последовал коммерции советник Антип Дмитриевич Шелапутин. Деньги собрали, не выходя из конторы, но послали прежде попечителей к поповой любовнице поторговаться. Сладились за 35 тысяч. Петр Ермилыч и после этой истории не переставал ездить к своей возлюбленной, а Шелапутин сказывал, что он сам и смастерил всю эту шутку, чтоб узнать, как его ценят на кладбище, да и деньги, должно быть, ему тогда были нужны.

ключая только маслособорования и браковенчания. И обложили оклад и цену за всякую требу, именно с бедных: за свадьбы 6 руб. 50 коп., за помазание миром младенца 3 руб., за погребение 3 руб. серебром. *За помазание* называется потому, что оные попы сами не погружают, а только помазуют. Венчают свадьбы вдруг по десяти браков, *погребение* поют тоже по пятидесяти вдруг[1]. С богатых сто рублей серебром за каждую почти требу, а если взять священника на дом, то непременно, чтобы карета была. И это видя, прихожане из крестьян села Коломенского, которых старообрядцы почитают самыми твердыми в вере, сие незаконное действие и дозволение священников, чрез то возмутились».

Отступления от устава, по которому положено совершать разные священнодействия, были не в одной Москве: они были повсеместны. Старообрядцы, предки которых отпали от церкви вследствие некоторых, немногих изменений в обряде, сделанных Никоном, ежедневно видели теперь совершенное отступление от древлеустановленных обрядов, но, извиняя и себя и попов своих известным изречением: «по нужде и закону пременение бы-

---

[1] Такие свадьбы называют у старообрядцев *венчать гуськом*. У аналоя стоит поп, а за ним одна пара за другою. При обходе аналоя поп берет епитрахилью за руки только переднюю пару (за то она и платит дороже), а прочие пары за ними ходят. А иногда и так бывало, что поп водил одну пару после другой вокруг аналоя. Свадеб особенно много венчалось перед масленицей, и в это-то время особенно были в ходу «свадьбы гуськом». *Погребения* (то есть отпевание покойника) пели над телами только богатых и жителей самого кладбища, а прочих нередко без попа зарывали в могилы, и после того поп в церкви или над закрытыми уже могилами пел общее «погребение» нескольким покойникам зараз. Вне Москвы обыкновенно хоронили мертвых, прочитав «канон за единоумершаго» и положив покойнику в руки заранее приготовленную им самим разрешительную молитву за подписью попа. После того посылали на Рогожское петь «погребение» заочно, ибо отпевание никто не имел права совершать, кроме попа. Когда настало повсеместное «оскудение священства», на Рогожском петь «погребения» заказывали тамошним попам из Петербурга, с Волги, из Стародубья, с Дону и даже из Сибири. Говорят, что оба попа в последнее время их пребывания на Рогожском кладбище ежегодно пели заочные «погребения» над двадцатью тысячами покойников и более. Стало быть, от одних «погребений» каждый получал тысяч по пятнадцати, ибо половина поступала в пользу кладбища. Это был самый главный доход рогожских попов.

вает», несомненно считали себя ревнителями и самыми строгими исполнителями старого обряда.

Едва ли не больше всего отступлений от устава допускаемо было старообрядческими попами при совершении таинств покаяния и евхаристии. Попы, не успевая исповедовать всех, передавали это право монахам, мирянам, даже женщинам. На Рогожском кладбище, где все-таки чин священнодействий сохранялся более чем в других местах, в трех часовнях собиралось по пятидесяти и более исповедников в одно время; причетник, называемый дьячком, громогласно читал им молитвы, положенные перед исповедью, потом по «Требнику» читал вопросы о всех грехах по порядку. Кающиеся, без различия пола и возраста, громогласно отвечали на каждый вопрос: «грешен, батюшка». Тут выходили смущения и соблазны, как рассказывали потом сами исповедники, и бывало немало смеха, когда женщины каялись в таких грехах, которые оне по своему полу делать не могут, и наоборот. Мужчины, например, каялись в том, что истребили во чреве своем младенцев, женщины в растлении девиц, дети в нарушении супружеской верности и т. п. На другой день все допускались к причастию. От такой гласной исповеди избавлялись только одни богатые прихожане: они исповедовали свои согрешения у себя в домах нарочно привозимым в каретах священникам. Если это бывало на Рогожском, что̀ же было в других местах, особенно там, где являлся «проезжающий священник» с вожаком вроде Степана Трифоновича Жирова? Причастие постоянно находилось только на Рогожском, на Иргизе и в Стародубском Покровском монастыре; оттуда оно развивалось по разным местам и хранилось не только у попов и монахов, но и у многих мирян в особых крестах и иконах, в которых делались так называемые *тайники* для вложения частиц. Иногда развозили запасные дары в ореховых свищах. Но не везде и не всегда бывали действительно освященные на литургии запасные дары; большею частью они заменялись всенощным хлебом, т. е. просвирами, благословляемыми на литии во время всенощных под большие и малые праздники. Такие хлебы могим благословлять в часовнях, и даже в домах, каждый поп. Ими и заменялся агнец, а вместо крови употребляли богоявленскую воду, которую иные ревнители «древ-

ляго благочестия» уважали едва ли не более, чем самое таинство, и повелевали соблюдать «честнее самих пречистых святых тайн». Оттого лет пятнадцать тому назад старообрядцы за богоявленской водой приезжали к 5-го января в Городец из-за 400 и 500 верст; то же, вероятно, было и на Рогожском. Бывали случаи, что старообрядцы покупали для своих попов у сельских православных священников запасные дары и употребляли их, как святыню, сознавая таким образом присутствие благодати при совершении таинства в православных церквах. Иные старообрядческие попы доходили до такого кощунства, что приобщали и больных и здоровых сухарями из простого калача. Это в особенности относится к попам *сумленным* или самозванцам, которым ни Иргиз, ни Рогожское, ни Покровский монастырь, конечно, не уделили бы никогда настоящих частиц запасного агнца. Чаще и чаще, то в одном, то в другом месте, старообрядцы узнавали о таких бесчинствах и, боясь прогонять попов, утешались текстом, бывшим у них в сильном ходу: «по нужде и закону пременение бывает». Но нередко бывали и смущения. Вооружались против попечителей крамолами в часовнях, и попы иногда должны были с бо̀льшими предосторожностями, чем от полиции, спасаться бегством от духовных чад своих. Немногие ревнители старообрядства стали переходить в православие; не дремала в это время и беспоповщинская пропаганда: федосеевские и поморские учители многих старообрядцев увлекли в свои толки. Особенно сильна была такая пропаганда в Сибири. Впрочем, и в самой Москве перемазанцы нередко перекрещивались в Хапиловском пруду — этом Иордане федосеевцев Преображенского кладбища, или переходили в Покровскую моленную «Монина согласия». Гораздо более, чем в Москве и ее окрестностях, отступали от старообрядства, приемлющего священство, в другие секты — на Волге. В губерниях Саратовской, Самарской, Симбирской, Нижегородской толк «Спасова согласия» с каждым годом усиливался, приобретая значительное число новых последователей из поповщины, и, не имея руководителей, распадался на мелкие разномыслия. Там, по причине «оскудения священства», одни старообрядцы стали исповедоваться у бродивших по разным местам монахов, у скитниц и даже у канонниц, что̀ высылаемы

были Керженскими скитами к богатым старообрядцам для чтения псалтыря по умершим и для так называемого «стояния неугасимой свечи»; другие стали исповедоваться пред образом Спасителя по *скитскому покаянию*, оправдываясь словами «Маргарита»: «сам Спас исповедник и причастник»; третьи — у начетчиков из своих мирян, которые сделались, таким образом, чем-то вроде беспоповщинских «отцов с потребником»; наконец многие из старообрядцев стали совершать крещения и браки в церквах православных, в которые после того не заглядывали во всю свою жизнь. Последнее обстоятельство имело последствием замечательное распоряжение святейшего синода по епархиям Пермской, Оренбургской, Вятской и Донской (1840—1842). Было позволено в этих епархиях венчать старообрядцев в единоверческих и даже в православных церквах, не требуя от них перехода в единоверие или православие, не оглашая их браков и внося их в особые тетради. В то же время многие старообрядцы, особенно в Пермской, Вятской и Тобольской губерниях, не имея попов, не желая венчаться в православных церквах, согласно упомянутому сейчас распоряжению, стали крестить младенцев сами и заключать так называемые *сводные браки* или же сходиться на брачное сожитие по *благословению родителей*. Это тоже было своего рода уклонением в беспоповщину. Мертвых хоронили они без попов. Так образовался толк «самосправщиков», у которых нет ни наставников, ни учителей и ничего общего. Каждый околоток знает только своих, а с людьми других околотников редко имеет сношения, хотя бы они и держались одного вероучения и одних обрядов. Чтобы судить о том, до какой степени значительно было отпадение от поповщинского старообрядства, по причине оскудения «священства» и во избежание соблазнов от «сумленных» попов, достаточно упомянуть, что в одних нагорных уездах Нижегородской губернии, в тридцатых и сороковых годах, более двадцати тысяч человек сделались «самосправщиками». Из самосправщиков весьма многие переходили в *Спасово согласие*, в *Нетовщину*, в *Петрово крещение* и даже в *Глухую нетовщину*, *Дрожданики* и *Самокрещенцы Бондаревского согласия*. Из беспоповщинских толков, особенно в Саратовской и частью в Самарской губерниях раскольники в значительном количе-

стве переходили в молоканство, а отсюда в *унитары* (иудействующие или субботники). В то же время в разных местностях Нижнего Поволжья, а также в Вятской, Пермской и Оренбургской губерниях, стали появляться *тайные православные*. Это были те, которые, беспристрастно рассуждая о розни между старообрядством и господствующею церковью и видя в своих общинах нескончаёмые беспорядки и отступления от существеннейших правил и уставов древлего благочестия, приходили к заключению, что церковь, управляемая мирскими людьми (старшинами и попечителями), с ее беглыми попами и монахами, но без духовного святительского суда и без самих святителей, ни в каком случае не может почитаться спасительною, как отступившая от самых главных правил вселенских и поместных соборов. Они видели источник спасения в церкви православной, но по житейским расчетам, по зависимости в торговых и других делах от закоренелых старообрядцев, не решались открыто, гласно присоединиться к господствующему исповеданию. И стали они, для примирения с совестью, тайно прибегать к православным или единоверческим священникам для исправления духовных треб, прося их хранить в тайне принадлежность их к церкви. Церковь делала им такое снисхождение, памятуя апостола Павла, который с немощными был аки немощен. В числе тайных православных бывали даже настоятели и настоятельницы старообрядческих монастырей. Таков был, например, Павел, последний настоятель Иониной обители Комаровского скита, что́ в Черной-Рамени. То же есть и теперь, но понятно, что называть их по именам, оглашать их тайну, пока они живы, не должно.

Таковы были последствия «оскудения священства» и поступков большей части беглых попов. Эти последствия весьма заботили главные общины перемазанцев, а особенно Иргиз, Рогожское и Покровский монастырь в Стародубье. Общины эти пытались восстановлением забытого правила Аввакума протопопа о заочной исповеди отвратить до некоторой степени соблазн, происходивший вследствие появления попов-самозванцев и дерзости некоторых монахов, исправлявших требы без разрешения и благословения попов действительных. Постановили: «ради тесноты обстояния и великаго

оскудения древлеблагочестиваго священства, заочно, на хартии, исповедовать в дальних местах обретающихся христиан, соблюдающих истинную веру и древния святоотеческия предания». И на основании такого постановления стали исповедовать *по почте* и *с оказией*. Для совершения такой исповеди, находящийся в дали от попа старообрядец писал исповедание грехов своих на особом листке и посылал его к духовнику. Поп, прочитав по «Требнику» последование исповеди и письменное покаяние заочного духовного сына, разрешал его и, написав на присланном от него листке: «*чадо, прощает тя Христос невидимо и аз, грешный иерей NN*», отсылал его тем же путем, каким и получил. Такое восстановление правила Аввакума Петровича не принесло однако существенной пользы, как ожидали того иргизские, рогожские и стародубские ревнители. Во-первых, такая исповедь доступна была только грамотным; во-вторых, не всякий же старообрядец мог послать свои грехи по почте к незнакомому попу.

Более и более чувствовалась настоятельная потребность выйти из того неустройства, в каком находилось старообрядство. Подавались просьбы за просьбами то от одной, то от другой старообрядческой общины о даровании им права брать от православной церкви хороших священников, которые бы, находясь при часовнях и моленных, были в полной независимости от епархиального начальства. При этом просители обязывались попов, которые по поступкам своим окажутся неблагонадежными, немедленно возвращать в ведение местного архиерея для святительского суда над обвиненными. В этих просьбах всех настойчивее было общество московское.

Все просьбы старообрядцев оставляемы были без всяких последствий.

Вот доводы, на основании которых отказываемо было старообрядцам в их просьбах: «1) Раскольники при новом своем предложении не приемлют наименования «единоверцев». Из сего ясно видно их намерение держаться по-прежнему в виде общества, отдельнаго от церкви, следственно по-прежнему враждовать против церкви и по возможности отторгать от нея православных. Если в сем успевали они силою богатства и общественных связей доныне, когда непризнание их священ-

ников правительством более или менее затрудняет их и унижает, то, без сомнения, должно опасаться умножения совращений, когда их священство получит вид законности перед гражданскою властью. 2) Шесть екатеринбургских расколоводителей[1] по какому-то случаю просят себе права выбирать священников из всех российских епархий: право весьма обширное и беспримерное! Удивительна отважность, с которою назначают себе права шесть расколоводителей. 3) Когда раскольники выберут для себя священника и дьякона, то по их требованию гражданский начальник должен отнестись к епархиальному архиерею о том только, чтоб он доставил сведение о нахождении выбраннаго под судом и чтоб исключил его из своего ведомства. Если таким образом раскольники будут брать у архиереев кого хотят, не заботясь о том, согласен ли он уволить его, это опять будет право беспримерное и с благоустройством управления несовместное. Для расстройства дисциплины в каком бы то ни было управлении трудно выдумать средство столь действительное, как то, чтоб открыть дорогу подчиненным уходить из-под власти своего начальника, даже не просясь у него, и переходить туда, куда выгоднее, где больше воли, а меньше надзора и отчета. Сие средство употребляют уже раскольники против дисциплины церковной, принимая беглых попов, а теперь домогаются даже узаконить сие средство. 4) Если предположить, что предлагаемыя раскольниками правила будут в действии, и что раскольники, на основании оных, возьмут у епископа священника, чрез известное начальство в известное место, то, по правилам церковным, епископ не должен остаться бездействительным зрителем сего случая. По 15 правилу апостольскому и по 3 Антихийскаго собора, удалившагося из-под власти своего епископа священника епископ должен требовать обратно, а в случае невозвращения объявить лишенным всякаго священническаго служения и самаго сана. Если епископ сего не исполнит, то поступит противно правилам церковным, а если исполнит, то гражданское начальство будет в противоречии с духовным, признавая действи-

[1] Известные уже нам Яким Рязанов, Владимир Казанцов, Иван Харитонов, Иван Полузадов, Тит Зотов и Егор Китаев. После подписалось еще 12 человек.

тельным священником и покровительствуя у раскольников тому, котораго духовное начальство почитает лишенным сана. 5) Зависимость священников у раскольников от самих раскольников и от светскаго начальства и независимость от духовнаго — есть несообразность, за которою по необходимости должны следовать другия несообразности. Кто, например, будет смотреть, чтобы священники сии не венчали браков в малолетстве, в родстве, от живых жен или мужей, чтобы не хоронили убитых без доведения до сведения полиции? Светский начальник (начальник губернии, горный начальник) лично сего сделать не может: итак, определит ли светский начальник благочинных над раскольническими священниками? Или учредит раскольническия духовныя правления? Так или иначе, но дело пойдет к тому, что у раскольников образоваться будет свое, особаго рода, смешанное с светским, духовное управление, и раскольники, которые теперь суть только толпа, мало-помалу организоваться будут в отдельное, с особыми формами, общество, чего они и домогаются и что̀ не только навсегда отделит их от церкви, но будет неблагоприятно и другого рода единству, потому что они стремятся к формам демократическим. 6) Требование раскольниками права отсылать от себя священника или дьякона, если он по каким-нибудь действиям окажется им ненужным, есть не что̀ иное, как требование полномочия на самоуправство. Священник, подчиненный духовному начальству, за неправильныя действия судится, и если недоволен местным судом, может перенести дело к высшему начальству; раскольники же хотят иметь право отрешить священника без суда, или сами судить его, и притом без апелляции. Первое преступление, за которое сим образом пострадает священник, без сомнения, будет то, когда он покажет расположение к сближению с православием или откажется от так называемой у раскольников *исправы*, т. е. от обряда принятия в общество раскольников, соединеннаго с проклятиями на православную церковь. 7) Исправа сия должна быть принята здесь в соображение. Если переходящий к раскольникам священник откажется от нея, то не будет принят ими, а если допустит сделать оную над собою, то сделается отступником от церкви. Благочестивое правительство, без сомнения, не расположено узаконить распоряжение,

которое прямо вело бы священника к отступничеству от церкви. Может быть, думают, что раскольники, вероятно, согласятся не делать исправы. Но если б они расположены были согласиться не делать исправы, или, что̀ то же, не осуждать православную церковь под именем еретиков-никониан, то не было бы им причины не принять наименования единоверцев, а они сего не хотят. Доколе не соглашаются они называться единоверцами, дотоле даже обещание не делать исправы, если б они сделали оное на словах, будет значить только намерение сделать оную тайно, за чем усмотреть начальству не можно. Следственно просимое раскольниками распоряжение прямо вело бы священников к искушению поступить против священнической совести. Может ли на таком начале основаться какое-либо благо или польза? 8) Если дозволено будет раскольникам взятаго ими священника, почему-либо им неугоднаго, отсылать от себя, то что̀ должно будет делать с ним после сего? Лишить его сана без духовнаго суда было бы противно общему законному порядку. Производить о нем исследование и суд духовному начальству было бы неудобно, потому что поступки, подлежащие суду, сделаны им у раскольников, а раскольники не хотят допускать до себя никакого слова и действия духовнаго начальства. Что̀ же делать? Если просто возвратить его в православную епархию,— сие было бы для епархии и затруднительно, и вредно, и неблаговидно; ибо сие значило бы дать волю раскольникам брать из епархии, что̀ им нравится, а негодное для них бросать обратно в епархию, как в место беззащитное и неуважаемое. 9) Если предлагаемыя ныне раскольниками правила о священниках сравнить с известными правилами 1822 года, то окажется, что они требуют не только того же, но и гораздо бо̀льшаго; ибо прежде отступающих от церкви в раскол брали они украдкою, а правительство как бы не замечало сего, а теперь они хотят тех же священников брать открыто и формально и сему беззаконию священников дать вид законности. Прежде, по видам нужды, терпимы были у них только священники, теперь они просят и дьяконов. 10) Прискорбно видеть, как дерзновенно рассчитывают раскольники на непроницательность начальства. Они знают, что цель правительства есть сближать их с православною иерархией. Они сего не хотят, но надеб-

но же сделать вид, будто они не совсем против сего. Для сего вставили они в свои правила неискреннюю статью, что светский начальник может дать духовному начальству сведение о раскольнических метриках и о священниках, к ним поступающих и от них выбывающих, и думают, что обманут сим признаком сближения, тогда как они не уступают духовному начальству ни суда, ни надзора над их священниками, ни даже права призвать и спросить их священника, о чем может быть нужно по делам».

Таким образом старообрядцы поповщинского согласия потеряли всякую надежду иметь когда-либо дозволенных, но независимых от православных архиереев священников. Ни восстановления указа 1803 г. о том, чтобы на беглых попов смотреть как бы сквозь пальцы, ни возобновления правил 26 марта 1822 года правительство не допускало и не могло допустить. Были толки о возвышении единоверия, о постановлении единоверческого обряда совершенно наравне с употребляемым ныне в русских православных церквах, что это возможно лишь при даровании единоверцам особых архиереев и при свободном переходе как от единоверия в православие, так и наоборот, но эти толки не имели никакого практического применения.

При этом нельзя пройти молчанием того, что с 1827 года раскол не только не ослабел, но значительно усилился, и число раскольников чрезвычайно умножилось. По официальным сведениям, в 1827 году их считалось 825 391, а в 1837 году 1 003 816[1]. Правда, эта цифра к 1850 году казалась значительно уменьшившеюся (749 981)[2]; но когда вслед за тем, для приведения в возможно точную известность статистических данных о расколе, произведены были (1852—1854) особые специальные исследования, то по семи губерниям[3] приведено в известность 1 059 742 раскольника. Во

---

[1] Н. В. Варадинова «История министерства внутренних дел». Том VIII, стр. 179 и 375.

[2] Там же, стр. 576.

[3] Ярославской 278 417, Московской 186 000, Нижегородской 172 000, Оренбургской 145 000, Саратовской 125 000, Самарской 85 194 и Новгородской 68 131. См. «Статистическия таблицы Российской империи, изданныя по распоряжению министра внутренних дел Центральным Статистическим Комитетом». Спб., 1863 года, стр. 235.

всей же России оказалось их приблизительно свыше 10 миллионов [1].

Положение старообрядцев, делавшихся невольно беспоповцами, было весьма затруднительно, можно сказать, безвыходно. Затолковали прежде всего на Иргизе, в кельях Верхнепреображенского игумена Силуяна, о необходимости архиерейства. Этот Силуян с казначеем своим Афанасием, с симбирским купцом Платоном Васильевичем Вандышевым и горбатовским уроженцем Афанасием Кузьмичем Кочуевым, первые придумали то, о чем уже давно перестали думать старообрядцы. Им принадлежит инициатива белокриницкой иерархии. На Рогожском, в Петербургской поповщинской общине, в Стародубье, в слободах Ветковских, в общинах и монастырях Юго-Западного края иргизская мысль принята была с полным сочувствием.

X

РОГОЖСКОЕ КЛАДБИЩЕ

Учреждение заграничной старообрядческой иерархии было по преимуществу московским делом. Так называемое Рогожское старообрядческое общество, то есть московская поповщина, и начала и довершила это дело. Поэтому прежде рассказа о том, как зачиналась белокриницкая митрополия, необходимо представить краткий

---

[1] А. Б. фон-Бушен в «Статистических таблицах», о которых сейчас было говорено, полагает, что всех старообрядцев, раскольников и еретиков в России до 8 миллионов, а вернее, одна шестая всего православного населения, что составит 8 579 033. Он предполагает: хлыстов и скопцов 110 000 (?), молокан и духоборцев 110 000(?), поповщины 5 000 000, поморцев 2 000 000, федосеевцев, филипповцев, беглецов и т. п. 1 000 000. Итого 8 220 000. Но в исчислении этом опущена целая отрасль сект, составляющих середину между поповщиной и беспоповщиной. Это — *Спасово согласие*, которое особенно распространено в Нижегородской, Тамбовской, Пензенской, Саратовской, Самарской, Оренбургской, Симбирской и Казанской губерниях. С поморцами они мало имеют общего, и потому, конечно, г. фон-Бушен не считал их во 2-м отделе раскола по его делению. Бо̀льшая часть их в православных церквах крестят детей и венчают браки. Таких более двух миллионов, что̀ вместе с цифрою г. фон-Бушена и составит слишком 10 миллионов.

очерк этого общества и Рогожского кладбища, составляющего его средоточие.

Рогожское кладбище имеет свою историю, богатую любопытными подробностями. Для составления этой истории в петербургских и московских архивах материалов достаточно. Они давно ожидают исследователя, который когда-нибудь в подробной истории рогожцев выведет на свет божий множество таких фактов, которые изумят незнакомых с ними доселе читателей. Поставив главною задачей настоящих очерков изложение действий старообрядцев по исканию архиерейства и по учреждению своей особой иерархии, мы не можем вдаваться в эти подробности и ограничиваемся кратким очерком Рогожского кладбища, основываясь на архивных документах и других достоверных источниках. В этой главе, вслед за очерком Рогожского общества, скажем о часовнях, богадельнях, женских обителях и других учреждениях, существовавших и отчасти до сих пор существующих в ограде Рогожского кладбища, скажем о замечательнейших лицах рогожского духовенства за последнее время и наконец о моленных в Москве и Московской губернии, находившихся в зависимости от Рогожского кладбища.

Московское старообрядческое общество многочисленно. В 1845 году всех вообще раскольников в Москве и Московской губернии официально показывалось 73.484 обоего пола, но по частным исследованиям, произведенным вскоре после того министерством внутренних дел с специальною целью определить действительную силу раскола, их оказалось 186.000. Из этого около двух третей, то есть 120 т., поповщины. Одна половина последней цифры относится к городу Москве, другая — к губернии. Для показания — как увеличивалась эта цифра, укажем на следующий факт. В первых годах нынешнего столетия в Москве раскольников поповщинского согласия считалось 20.000. По удостоверению покойного протоиерея Арсеньева, жившего двадцать семь лет на Рогожском кладбище и бывшего потом благочинным всех единоверческих церквей в Черниговской епархии, в Москве в 1822 году прихожан Рогожского кладбища было не более 35.000, но в следовавшие затем три года раскол до того усилился в древней столице, что в 1825 году Рогожское кладбище насчитывало в ней уже до 68.000 своих

прихожан. Быстрое распространение раскола под самыми стенами Кремля, оказавшееся в последние годы царствования Александра I, вызвало главнейшим образом те строгие правительственные меры против раскола в Москве и во всей России, которые продолжались через все тридцать лет следующего царствования. Ответом поповщины на эти меры была созданная Москвой Белая-Криница.

О многочисленности и силе московской поповщины можно заключить также из числа моленных, до сего времени существующих в старой столице и в ее губернии. Теперь (1867) их в Москве 15, а в уездах 35. Но это лишь те, которые считаются дозволенными и значатся в полицейских списках. Лет 40 тому назад их было вдвое больше. И в настоящее время число молитвенных домов поповщинского толка в Московской губернии составляет около десятой доли моленных этого согласия во всей России, хотя число поповцев Московской губернии и составляет лишь одну сороковую долю всех последователей этого толка, живущих в русских пределах.

Не менее значительна московская поповщина и по богатству своих членов. Издавна к ней принадлежали многие богатые купцы. Древняя слава первопрестольной русской столицы, в стенах которой подвизались уважаемые старообрядцами святители, от Петра митрополита до патриарха Иосифа, слава царствующего града, в котором больше чем где-нибудь сохранилось заветных памятников русской старины, постоянно тянула к Москве старообрядцев. Ни застенки Преображенского приказа, ни существовавшая до 1763 года в Москве «Раскольническая канцелярия», ни окуп на заставах бороды деньгами, ни указное платье с желтым козырем — не в состоянии были удержать старообрядческого люда от стремления к «московскому житию». Как русских людей, неизменно верных историческим преданиям родины, их влекло в Белокаменную, а особенно тех, которые занимались торговлей и промышленностью. Уступив первенство Петровой столице, старая Москва удержала за собой значение средоточия торговопромышленной деятельности русского народа. Торговые старообрядцы стремились к этому средоточию, и здесь, по переносе центральной администрации на берега Невы, житье им

стало свободнее и льготнее, чем было в XVII столетии. В покинутой центральною администрацией столице не было ни Иоакимов и Павлов сарских, ни дьяков в роде Лариона Иванова; зоркое око генерала Ушакова не могло ясно видеть всего, что́ делалось за восемьсот верст на Таганке и у Тверских ворот, а благодушные Салтыковы, получая грозные бумаги из Петербурга, по возможности смягчали те из них, которые относились до московского старообрядчества.

В прошлом веке, в среде московского торговопромышленного сословия постоянно бывали старообрядцы, владевшие значительными капиталами, фабриками, заводами и т. п. Но тогда их было несравненно меньше, чем теперь. Старообрядцы прошлого и первой половины нынешнего столетия были люди старого закала; патриархальные домовладыки, они жили подобно своим допетровским предкам и согласно образцу, преподанному некогда попом Сильвестром в знаменитом его «Домострое». Старообрядцы были бережливы, расчетливы, осторожны в торговых предприятиях и не только не подчинялись, но даже враждебно относились к модной роскоши. Потомки бояр, окольничих и иных думных и служилых людей старой Москвы проживали дедовские наследства и, легкомысленно относясь к родовым памятникам семейной жизни предков, кидали их за бесценок, чтобы на вырученные деньги завести щегольские цуги, золотошвейные кафтаны и робы, французские парики, алансонские кружева, редкостные табакерки и т. п. Раскольники с охотой покупали у них старинную домашнюю утварь, прадедовские рукописи, которые для русских петиметров не имели никакой цены, ибо не при них были писаны. Особенно старались старообрядцы скупать древние родовые иконы, когда-то стоявшие в «крестовых» горницах у наперсников первых четырех царей Романовых, а теперь, как старый хлам, убранные в кладовые московских и петербургских петиметров, легкомысленно презиравших родную старину. Эту древнюю боярскую святыню старообрядцы сохранили как зеницу ока, как бесценное наследие той эпохи, пред которою они безусловно благоговели. Сохранением древних рукописей и памятников старорусского искусства раскол, а в особенности московские раскольники оказали неоценимую заслугу русской истории и археологии. Без них все бы бесследно

погибло. За имениями движимыми стали переходить в руки богатевших с каждым днем старообрядцев и недвижимые имения боярских внуков и правнуков. Боярские палаты обращались в жилища купцов-раскольников или превращались в их промышленные и торговые заведения. Так шло доныне, когда наконец и самые подмосковные села старорусских бояр и вельмож XVIII столетия, вроде Кунцова, стали переходить в руки старообрядцев. Расчетливые, бережливые и осторожные в делах своих, старообрядцы постепенно накапливали миллионы и, что́ гораздо важнее, умели сохранять их нерастраченными в своих родах. Они не банкрутились вследствие рискованных торговых предприятий; они не пускали сыновей своих в государственную службу, и оттого дети и внуки их не превращались из купцов, ворочавших миллионами, в промотавшихся дворян со вчерашним гербом и с дворянским дипломом, приобретенным посредством прапорщичьего чина. Миллионными придаными не покупали они дочерям своим титулы сиятельства и превосходительства. Постоянно с чувством презрения относясь к откупам, московские старообрядцы никогда в них не участвовали. Ведя таким образом свои дела, они не расточали, а постоянно собирали богатства, и ко времени французского разгрома в Москве было уже немало старообрядцев, владевших миллионами. Оставаясь в своем замкнутом кругу, они помогали во всем другу другу, дела торговопромышленные вели сообща и всячески поддерживали членов своей корпорации, для которой сектаторство было и знаменем и личиной. В свой круг, не доступный для постороннего богача, настежь отворяли они двери всякому бедняку, лишь бы он оставался неуклонно верным Рогожскому или Преображенскому знамени. Старообрядцы в конце прошлого, а особенно в первые тридцать лет нынешнего столетия, завели множество фабрик в самой Москве и в ее губернии, особенно в первом стане Богородского уезда, обыкновенно называемом Гуслицами. Одни крестьяне окрестных деревень делались рабочими на фабриках, приказчиками, конторщиками и т. п., другие стали работать в своих домах по заказам фабрикантов. Караси и ткацкие станки появились чуть не в каждом доме, и прежние бедняки-хлебопашцы и лесники вскоре обратились в зажиточных промышленников. Богачи их поддерживали, давая средства нажи-

ваться, богатеть и самим делаться фабрикантами и миллионерами. Таким образом росли и умножались богатства рогожцев, и в то же время быстрым ходом шла вперед околомосковная промышленность. Но фабриканты-старообрядцы лишь тем из крестьян давали заработки, лишь тем помогали и доставляли возможность самим делаться богачами, которые стояли с ними под одним знаменем. Отсюда быстрое распространение раскола. В те годы, в которые фабричная околомосковная промышленность делала особенно большие успехи, сильно распространялся и раскол. Таким образом особенно быстро пошла фабричная промышленность после тарифа в начале двадцатых годов. В 1823, 1824 и 1825 годах открылось множество фабрик в Москве и около Москвы, особенно хлопчатобумажных изделий. В эти же самые годы было и самое сильное развитие московского раскола. Пропаганда его происходила не в часовнях и кельях Рогожского и Преображенского кладбищ, а на фабриках, заводах, в лавках и магазинах. Проповедь держали не за аналоем рогожского попа или преображенского наставника, но за карасем, за машиной. Проповедь раскола действовала не на сердце, не на ум адептов, а на их карман. Не упование на блаженство в загробной жизни, а верный расчет на житейские блага мира сего давал Рогожскому кладбищу новых прихожан. В этой сильной проповеди ни единого слова не произносилось о предметах религиозных; речь шла о жалованье, о заработной плате, о ссудах, о прощении долгов, о выкупе из крепостной зависимости, о покупке рекрутских квитанций. Такая проповедь была ничем не отразима. Напрасно церковные пастыри, исполняя долг свой, говорили колебавшимся о высшей награде тем, которые останутся верными истинному православному учению: земные награды брали верх над чаянием наград будущей жизни. Из одного следственного дела по Московской губернии, производившегося в начале нынешнего столетия, видно, что один небогатый крестьянин, до седых волос бывший самым усердным и благочестивым прихожанином православной церкви, совратился в раскол при поступлении в услужение к одному сильному богатством и влиянием московскому раскольнику. Священник, с которым этот крестьянин в продолжение нескольких десятков лет находился в самых близких отношениях, увещевал его ос-

таться верным церкви, обещая воздаяние в небесной жизни будущего века.

— Батюшка,— отвечал ему крестьянин,— не сули журавля в небе, дай синицу в руки.

Его осудили за совращение в раскол и богохульство, но осужденный с семьей остались раскольниками, и сыновья осужденного из крестьян сделались богатыми московскими купцами.

Развитие околомосковной фабричной промышленности приносило громадную пользу России в экономическом отношении, но по стечению обстоятельств принесло в то же время большой ущерб православной церкви. Сто лет тому назад в Гуслицах хотя и были раскольники, но не составляли и десятой доли общего населения; теперь там почти сплошь раскольники. Какой же исход из столь печального положения? Единственный — народное образование. Пропаганда за станками отвлекла от православной церкви многочисленных ее членов; пропаганда за школьными столами рано или поздно возвратит потомство отступивших в недра истинной церкви. Раскол старообрядчества, что̀ бы ни говорили писатели, знающие его понаслышке, а больше по собственному измышлению, есть порождение невежества, и больше ничего. Пред светом просвещения ему не устоять. Но школы надо устраивать толково и вести дело толково, иначе и школы не помогут.

Представив краткий очерк возникновения и умножения богатств московских раскольников путем бережливости, расчетливости и взаимной помощи, путем весьма похвальным, нельзя обойти молчанием и другой стороны этого предмета. Поставив себе задачей беспристрастно излагать и светлые и темные стороны действий как раскольников, так и боровшихся с ними последователей господствующей церкви, мы обязаны указать еще на один источник некоторых громадных рогожских богатств, основываясь на источниках, не подлежащих никакому сомнению.

Несколько громадных капиталов в среде людей, стоящих теперь под рогожским знаменем, возникло тотчас после разгрома Москвы в 1812 году. Некоторые крестьяне села Вохны [1] и Гуслицкой волости, бывшие до 1812

[1] Ныне Павловский посад, в Богородском уезде, на линии Нижегородской железной дороги.

года бедными крестьянами, через четыре-пять лет ворочали миллионами, а впоследствии сделались первостатейными купцами и стали во главе Рогожского общества. Не упомянем имен, хотя бы все эти скороспелые богачи теперь уже и сошли в могилу. Не важны в нашем рассказе имена, а важен факт. А он вот в чем состоял:

Наполеон I, как известно, принес с собой в Москву фальшивые русские ассигнации, часть которых и осталась у нас в обращении после его бегства из России. Гуслицы и Вохна исстари носят заслуженную ими репутацию по части делания фальшивой монеты. Еще в царствование Алексея Михайловича вохонским мужикам заливали горло оловом за делание «воровских денег»; в XVIII столетии немало гусляков досталось в руки палачей за такую же фабрикацию. Из опубликованных в последние годы сведений известно, что правительством и в настоящее время найдены в этой местности люди, занимавшиеся дедовским ремеслом. Распущенное французами небольшое, впрочем, количество русских фальшивых ассигнаций подало повод некоторым гуслякам и вохонцам с успехом заняться наследственной работой. Благо было на кого свалить. Ассигнации же наши до 1818 года по форме своей были таковы, что подделка их не представляла каких-либо особенных трудностей. Вот источник богатства некоторых рогожских богачей. Кроме того, быстро разбогатели и сделались владельцами миллионов некоторые старообрядцы, бывшие до 1812 года бедными московскими мещанами. По изгнании неприятеля из Москвы, когда не было ни таможен, ни тарифа, контрабандисты ввозили в Россию столько запрещенного товара, сколько могли; ввозили его свободно, без малейшего опасения. Некоторые московские мещане-старообрядцы, познакомившись с контрабандистами, получали от них в 1813 году товары и развозили их по домам собиравшихся в Москву на свои пепелища помещиков и купцов. Быстрая распродажа прекрасно отделанных и сравнительно дешевых товаров приобрела этим мещанам доверие заграничных контрабандистов до такой степени, что одному из них они вверили целый обоз товаров. Благочестивый прихожанин Рогожского кладбища рассудил, что совершенно излишне давать богоубийцам-жидам и всякой немецкой нехристи средства наживать деньги, и воспользовался всем басурманским обозом.

Хозяева стали у него требовать расчета, но ловкий мещанин отвечал: «Буде имеете законныя доказательства на принадлежность вам товара, ищите законным порядком». Иска, разумеется, не было, и старообрядец приобрел разом около миллиона. Вскоре он, до 1812 года от бедности бившийся как рыба об лед, имел десять миллионов ассигнациями, посессионную суконную фабрику, большой дом в Москве, в котором, как говорится, была «полная чаша».

В начале сороковых годов другое обстоятельство послужило источником богатства для некоторых членов Рогожского общества. Разумеем голодные годы. Закупив вовремя муку по 80 к. асс., они в дорогую пору продали ее по 3 р. 80 к. и нажили громадные деньги. Конечно, своим единоверцам продавали они по цене уменьшенной и тем приобрели в их среде большое значение. Часть закупленного хлеба, но часть весьма небольшую, пустили они и на вольную продажу по уменьшенным ценам, за что и удостоились почетных отличий.

Несколько странным, быть может, покажется читателю, что, говоря о сильных и влиятельных по богатству своему миллионерах Рогожского общества, мы вдруг перейдем к содержателям постоялых дворов и ямщикам. Но эти люди в свое время играли весьма важную роль в учреждении белокриницкой иерархии, и обойти их молчанием нельзя. На ямщиках и содержателях постоялых дворов были основаны важнейшие спекуляции обоего рода приобретателей богатств после 1812 года. У одних они были перевозчиками фальшивых ассигнаций, для других привозили и скрывали контрабанду. И то и другое послужило основанием богатства рогожских ямщиков и содержателей постоялых дворов — не нынешних постоялых дворов без постоя, но с распивочною водкой, а настоящих, находившихся в Рогожской, а также в Тверской и Пресненской частях города Москвы. Ямщики и содержатели постоялых дворов в сектаторском отношении потому еще имели значение, что посредством их развозились по местам и у них укрывались беглые попы и другие лица, состоявшие под преследованием правительства, посредством их производились сношения московского старообрядческого общества с иногородными, рассылка рогожских агентов, большей частью монахов, по разным местам России для сохранения непрерывных

связей и сношений между главными пунктами старообрядчества, для наблюдения за духом народа и для передачи, обсуждения и истолкования в рогожском смысле каждого нового правительственного распоряжения. В подтверждение важности в Рогожском обществе ямщиков и содержателей постоялых дворов, можно привести сверх сказанного и то, что первый старообрядческий архиерей, водворившийся в пределах России, вышел из их среды. Эта среда была несравненно деятельнее в достижении сектаторских целей, а в том числе и в учреждении белокриницкой митрополии, чем самая среда московских и петербургских богачей. Богачи только развязывали туго набитые кошели, но деятельное участие принимали в этом деле гораздо меньше, чем обыкновенно предполагают. Их общественное положение, их довольство в жизни и стремление к почестям и отличиям, до которых они всегда были падки,— словом, опасение скомпрометировать свое имя перед правительством удерживало миллионеров от прямого и непосредственного участия в сектаторских делах; ямщики же, содержатели постоялых дворов и тому подобные люди, не мечтавшие о медалях и почетном гражданстве, а потому не очень боявшиеся скомпрометировать свое неважное имя, работали насколько хватало сил и уменья, не оглядываясь ни назад, ни по сторонам. Располагая денежными средствами, щедро отпускаемыми из сундуков рогожских миллионеров, они были настоящими деятелями по учреждению заграничной митрополии.

Связи рогожских капиталистов, больших и малых, основаны были на узах секты, которую они поддерживали для большого обогащения. Так, например, московским хлебным торговцам нужны были верные агенты для выгодной закупки хлеба в плодородных губерниях, и они таких имели в Тульской, Орловской, Воронежской, Тамбовской, Пензенской, Симбирской и Саратовской губерниях, в среде тамошних старообрядческих общин. Посредством их они постоянно получали точные сведения не только о ценах на хлеб, но и о том, как растет хлеб, каковы надежды поселян на урожай, каковы запасы помещиков и проч. Рыбные торговцы имели верных людей из своих единоверцев — на Дону, на Урале и на низовьях Волги. Они доставляли в Москву скорые и верные сведения об улове рыбы, о цене на нее, о количе-

стве забранной из казенных запасов соли, о добыче икры, вязиги, клею и других рыбных товаров, о фрахтах перевозки, о количестве порожних судов и т. п. Торговцы скотом, посредством своих единоверцев с Дона, из екатеринославских степей, из губерний Самарской и Оренбургской, получали верные сведения обо всех обстоятельствах, касающихся до их торговли. Губернии Ярославская, Владимирская, Тверская, Костромская, Вологодская, доставляющие в Москву съестные припасы, отчасти находились в руках рогожских, и притом не только капиталистов, но и содержателей постоялых дворов. На все рогожский старообрядческо-торговый союз устанавливал цены не только в Москве, но и в других местах, по мере зависимости их от Москвы в торговом отношении. Ходебщики, или офени, Владимирской губернии зависели также от московского старообрядческого общества: на ярмарках Нижегородской, Коренной и других великороссийских и при развозе товаров по всем закоулкам России, на всем ее пространстве до отдаленных мест Сибири, даже в Бухаре и Хиве, они повышали или понижали цены на русские изделия сообразно расчетам рогожских тузов, по их воле, которая для них была непререкаема. Так действовал никогда не регламентированный, но сам собою сложившийся и доселе под знаменем Рогожского кладбища процветающий торговопромышленный союз. Другой такой же союз, но менее сильный, хотя, быть может, не менее богатый, образовался под знаменем преображенским.

Еще в первой половине XVIII столетия московская поповщина имела общественные моленные, устроенные в домах богатых людей, и, кроме того, два особые кладбища: одно близ Донского монастыря, другое за Тверскими воротами. При каждом из них были устроены часовни и отдельные дома, в которых жили беглые от православной церкви попы и вышедшие из старообрядческого общества уставщики и дьячки. Во время чумы 1771 года московской поповщине было отведено место за Покровской заставой, на земле, принадлежавшей деревне Новоандроновке, населенной старообрядцами же. Здесь московские старообрядцы устроили знаменитое *Рогожское кладбище*.

Рогожское кладбище находится в Москве, за Камер-Коллежским валом, подле Рязанского шоссе, неподале-

ку от временной московской станции Нижегородской железной дороги. Оно занимает площадь пространством больше чем в 22 десятины и обнесено высокою, бревенчатою, уже почерневшею от времени стеной, с одними воротами, обращенными к городу, кроме существовавших, а может быть, и доныне существующих тайников, для прохода к Рязанскому шоссе и к деревне Новоандроновке. В этой ограде построен целый городок, население которого в былое время превышало население некоторых из уездных городов. Оно постепенно возрастало; в 1823 году составляя лишь 990 человек, в 1845 году достигло до 1588. Но здесь сосчитаны еще не все рогожские жители, а только одни так называемые «лицевые», то есть показываемые в ежегодных ведомостях, подаваемых кладбищенскою конторой московской полиции. Кроме «лицевых» немало бывало «не лицевых», «подпольных», то есть таких, о которых неудобно было доносить полиции: беспаспортных, беглых, пришлых из разных мест монахов и монахинь и т. п. Сверх того, на кладбище всегда проживало много народа постороннего. Это были временные жители: приезжавшие для совершения треб, друзья и родственники постоянных кладбищенских жителей, гостившие у них по целым годам, и проч. и т. п.

При учреждении Рогожского кладбища в 1771 году, была построена небольшая деревянная часовня. Через пять лет она была заменена обширною каменною во имя Николая Чудотворца. В 1790 году рядом с нею была построена огромная холодная часовня Покрова Пресвятой Богородицы, едва ли не самая обширная из всех московских церквей, за исключением разве соборов. В 1804 году кладбищенский попечитель Шевяков исходатайствовал у тогдашнего начальника московской столицы, Беклешова, дозволение построить третью часовню. Эта обширная зимняя каменная часовня, во имя Рождества Христова, находится на юг от главной, Покровской; построена она по плану архитектора Жукова. На одной из внутренних стен Рождественской часовни находится надпись, гласящая, что в 1812 году, во время опустошения Москвы неприятелем, рогожские часовни, по особенному божью к месту сему покровительству, не пострадали и не потеряли ничего из находящегося в них. В этой часовне собирались большие рогожские соборы, то есть те, в ко-

торых принимали участие и рогожское духовенство и депутаты иногородных старообрядческих обществ, и рассуждали о делах, касающихся не одной Москвы, но вообще всего русского старообрядчества. Часовни были украшены великолепно. Иконы превосходного древнего письма — рублевские, строгоновские и др., в богатых сребропозлащенных ризах с драгоценными камнями и жемчугом, серебряные паникадила и подсвечники с пудовыми свечами, богатые плащаницы, золоченые иконостасы, великолепная утварь — все свидетельствовало как об усердии, так и о богатстве рогожских прихожан.

Хотя часовни были устроены с алтарями и престолами, но ни одна из них никогда не была освящена. Потому и литургий в них не совершалось. Богослужение ограничивалось вечернями, всенощными, часами Кроме того в часовнях совершались венчания свадеб, исповедь, причащение, крещение младенцев, а иногда и взрослых, отпевание умерших; в них же попы служили молебны, панихиды и проч.

Свадеб венчалось много, особенно в мясоед перед масленицей. Венчаться приезжали на Рогожское кладбище не только жившие в Москве старообрядцы, но и жители уездов Московской губернии. Во множестве приезжали и из других губерний, иногда самых отдаленных. Когда попов было на кладбище много, в иные дни в каждой часовне венчали по нескольку свадеб, одну за другою, а при «оскудении священства» стали даже венчать по десяти свадеб зараз, «гуськом», как говорилось. В двух часовнях два попа последнего времени в один раз венчали по двадцати свадеб. Для этого и устроено было двадцать пар совершенно одинаковых бронзовых венцов, хранившихся в Рождественской часовне.

Исповедовали попы каждый своих прихожан в часовнях, а иногда и у себя на дому. Для записывания исповедников велись на кладбище в конторе особые метрические книги, но в них, судя по бывшей у нас под руками книге, за 1841 год, вносились далеко не все исповедники. Едва ли и десятая доля исповедников записывалась, тем более, что иные закоренелые раскольники из простого народа и фанатические жители кладбища смотрели на записку как на дело греховное, установленное не церковью, а светским правительством.

Причащали запасными дарами после часов, в часовне. Для этого четверо священников с потирами в руках выходили из алтаря в ризах и становились по двое у правого и левого клиросов, двое на самих клиросах и двое позади их — в северных и южных дверях алтаря. Каждый приобщал своих духовных детей.

Младенцев крестили непременно в часовнях. Чтобы судить о числе привозимых для крещения детей из Московской и соседних с нею губерний, достаточно сказать, что в Рождественской часовне находилось 46 купелей. Совершались иногда крещения и взрослых: если, например, в рогожское согласие кто-либо переходил из беспоповщинской секты, в младенчестве не крещенный к православной церкви. Православных принимали вторым чином, то есть посредством миропомазания и проклятия ересей, что̀ совершалось, разумеется, всегда в тайне.

Умерших отпевали преимущественно в Никольской часовне. Там же пелись и заочные погребения. За неимением священников, старообрядцы в разных городах и селениях хоронили своих мертвых, отпев над гробом лишь «канон за единоумершего», и потом посылали деньги в Москву по почте или с «оказией» и заказывали на Рогожском кладбище кому-либо из тамошних попов отслужить «погребение» заочно. Случалось, и нередко, что таким образом отпевали покойника через полгода и более после предания его земле.

Молебны служились больше в Рождественской часовне, а в летнее время в большой, Покровской. В большие праздники, в царские дни и «викторные» служились «молебны соборные», то есть всеми попами, находившимися на кладбище [1].

---

[1] Молебны в царские дни и в «викторные» (то есть в дни воспоминания побед), благодарные молебны служились неупустительно. По 4-й статье «Постановления Рогожского собора» от 1823 г. (подлинник его висел на стене в часовне, теперь находится в архиве министерства внутренних дел в «Деле департамента общих дел» 7-го мая 1853 г. № 519) сказано: «священники и дьяконы в соборных служениях, как-то: господские праздники, крестные ходы, *царские дни*.., имеют обязанность быть все за общим молитвословием непременно». В первой статье «Рогожскаго постановления о церковном благочинии» (подлинник там же): «А в викторные, в них же токмо поются благодарные молебны, то в оные как погребения, так и панихид не петь только до молебна, а после онаго совершать ибо по апостолу(?): *воздавая Божия Богови, а кесарева кесареви*».

Крестные ходы — 6-го января, в день Преполовения и 1-го августа для освящения воды, а также в заутрени Великой Субботы и Пасхи и в некоторые другие праздники, вокруг часовен, в то время, как было еще много на кладбище попов, совершались с большою торжественностью. Весь путь устилаем был зеленым сукном и коврами. «Впереди шли с хоругвями избранные носильщики, все в кафтанах стараго покроя,— говорит в своих «Записках» покойный В. А. Сапелкин, водворитель единоверия на Рогожском кладбище, —за ними следовали такие же избранные прихожане с иконами, потом священники в дорогих ризах, и все это чинно, в строгом порядке. Зрелище, до глубины сердца умилявшее истаго старообрядца!» Для освящения воды, на восток от часовен, саженях в сорока от них, нарочно выкопан пруд (60 сажен длины, 15 ширины) с обделанным протоком воды, выведенным на юг к Рязанскому шоссе. На пруду устроена деревянная иордань, в которой попы святили воду три раза в год, как установлено церковным чиноположением.

Для совершения служб и треб, рогожские старообрядцы постоянно имели на кладбище достаточное количество попов, беглых от православной церкви. В 1822 году, когда последовали известные правила о беглых попах, рогожцы заявили правительству о двенадцати священниках и четырех дьяконах, у них находящихся. Все они большею частью были старики, из них до 1827 года два попа обратились в православие, а пять попов и два дьякона умерли. Когда последовал воспретительный указ вновь принимать попов и вовсе не принимать дьяконов (1827 г.), первых на Рогожском кладбище оставалось пятеро, последних двое. Хотя с 1823 по 1825 год число прихожан Рогожского кладбища, по свидетельству протоиерея Арсеньева, удвоилось, однако рогожские старшины не позаботились о привлечении на свое кладбище новых беглых попов, хотя в то время ходатайство их не было бы отринуто. Увеличению штата рогожского духовенства всего больше противились сами попы. Алчность рогожских священнослужителей к стяжаниям была неимоверна. Когда их было много, были они помоложе и еще не так богаты, как впоследствии, то столь усердны были они к доходной для кармана их службе, что даже *перехватывали* друг у друга требы.

Для этого становились они на паперти или в самой часовне и отбивали друг у друга желающих отслужить молебен, панихиду и т. п. Даже отправляя службу, в то время, когда происходило пение или чтение, рогожские пастыри оставляли места свои и в ризах перебегали из одной часовни в другую, подобно гостинодворским мальчишкам, зазывая к себе исполнить какую-либо требу. Мало того, они совершали по две требы зараз, чтобы таким образом побольше добыть денег. Молебны служили, как говорилось, «на курьерских». Правда, по заказам богатых и именитых прихожан, попы служили чинно и благоговейно, зато беднякам с возмутительным цинизмом говорили: «За твой гривенник я тебе и «Господи помилуй» не скажу; хочешь молиться, так сложись с другими, чтобы было из чего мне служить». Что касается до дьяконов, то они, во время служения молебнов, панихид и погребений разными попами в разных часовнях, перебегали от одного к другому; в одной часовне прочтет ектению и побежит, подобрав полы стихаря, в другую, провозгласит: «вонмем!» — чтоб и там и тут получить дьяконскую свою долю.

Такая торговля святыней вызвала сильный ропот прихожан, и в 1823 году по этому случаю был на Рогожском кладбище собор, на котором попы, дьяконы и попечители составили «Постановление о благочинии церковном», подписали его и повесили на Рождественской часовне. «Постановление» это начинается словами: «Работайте Господеви со страхом и радуйтеся Ему с трепетом!». Подлинник этого «Постановления» теперь, как уже было упомянуто, хранится в архиве министерства внутренних дел. Вот некоторые статьи этого «Постановления», доказывающие действительность рассказанных сейчас безобразий, творимых «мздою ослепленными», по выражению раскольника Нила Тимофеевича, рогожскими попами во время отправления ими треб:

Статья 2. Священники и служащие при них ни под каким видом не дерзали бы на паперти и в молитвенном храме *требы перехватывать* и тем нарушать благочиние церковное. Имеющий нужду сам может о том просить, когда должно.

Статья 3. Из соборных панихид, погребений, молебнов и треб, не окончивши одно, за другие не перехо-

дить, кроме смертнаго случая, так дьяконам к священникам без нужнаго случая во время служения не подходить и от одного к другому, не окончивши требу, не переходить.

Статья 5. Священники, без нужнаго случая, а паче в священных ризах, от службы божьей и требы, какой ни есть, не выходили бы вне молитвеннаго храма.

Статья 6. Священникам молебны более шести канонов не начинать, ибо сие невместимо, а более по усердию просителей оставлять на другой раз, дабы молитва могла быть со вниманием, а не дерзостью.

Статья 7. Две требы вдруг не править.

Статья 9. Священникам особенно иметь во внимании, дабы требующие их по бедности и по неимению дерзновения к ним не презримы были, но наипаче сильных и богатых покровительствуемы, по словеси Спасителя миру: «Не презрите единаго от малых сил, ибо ангели их выну видят лице Отца Моего, иже есть на небесех».

Если же кто, забыв страх Божий и свое священноначальническое звание, вышеописанное оставит в неисполнении или небрежении, такового 10 статьею наказывать судом духовным.

Собственное свидетельство паче всякаго иного свидетельства» Под этим «Постановлением» подписались все попы и дьяконы рогожские.

О том, что́ делалось на Рогожском кладбище до водворения в нем австрийского священства, любопытные указания находятся также в «Келейных советах, письменнс предложенных господину епископу Онуфрию от Семена Семенова и Ивана Захарова». Вот что́ говорят эти влиятельные и пользующиеся большою славою старообрядцы:

Совет 5-й. Богопротивное исповедание епископа Афанасия, значущееся в его прошении, никак не принимать. Он написал, что́ было на кладбище до архиепископа Антония, все то свято, что́ и подтвердил словами: «како верую и исповедую». Но на кладбище до архиепископа Антония было вот что́: а) Все кладбищенские попы правительству были обязаны подпискою от ереси приходящих (то есть православных) не принимать. б) Нашим православным христианам, не принадлежащим по жительству к Московской губернии, никаких треб не ис-

правлять. в) За крещение младенцев установлена была такса, 1 руб. 25 коп. сер. за крещение, для чего в конторе содержали нарочнаго писаря, который и собирал за крестины деньги. г) Также и епископ Софроний, в бытность его на кладбище с епископом Афанасием, бывшим того архимандритом и экономом, уставили таксу: с московских попов половину, а с деревенских третью часть дохода брать епископу, а который поп хотя мало что́ утаил, такового подвергали части Анании и Сапфиры. Именно в таком роде была написана бумага, и все попы были вынуждены к ней подписаться. Это есть сущая симония. д) В крещении младенцев постригали в 12 лиц, еже есть в четыре троицы, что́ прямо противно не только изложенному о сем предмете преданию в «Потребниках», но против и 49 правила святых апостол, о чем зри в «Стоглаве» глава 17. А в древлеписьменных «Кормчих» и в «Послании Фотия митрополита в Псков» такое приглашение названо многобожием. е) В причастие святых тайн теплоты никогда не вливали, но всегда причащали с холодною водою, такожде и сие противно святых отец преданию. ж) Во всех древних «Уставах», в «Служебных Минеях» и «Октоях», в «Служебниках» на возгласе: «слава святей» положено кадить, а на кладбище вместо каждения благословляли рукой. То же делали и на «Свете тихий», что́ прямо противно всем древлепечатным книгам и уставам. з) Браки венчали вдруг по пятнадцати. Одну свадьбу, которая позначительнее, около аналоя ведет поп, а прочия все за ним сами идут. Такожде и сие не только не согласно, но противно церковному преданию. и) Кладбищенские попы в последнее время еще ввели было лютеранскую исповедь, а именно по 200, а иногда и по 300 человек исповедовали вместе и, прочитав только одне молитвы и поновление без исповеди, причащали всех без разбору. Итак, спрашивается, можно ли все это почитать святым и богоугодным и, как написал в прошении своем епископ Афанасий, тако веровать и исповедовать? Да не будет нам сего никогда же на ум прияти.

Совет 6-й. Почему нововыдуманные обычаи, несогласные древлепечатным патриаршим книгам, непременно нужно уничтожить, а прошедшее оставить в судьбе Божьей: иначе мы не можем называться «старообряд-

цами», но «староглядцами» или, просто сказать, по Никоне возникшими «новообрядцами», чрез что могут возникнуть смуты и непримиримые раздоры, от чего сохрани нас, Боже, и помилуй Своею благодатью. Если же все церковные действия и обычаи учредятся и будут действовать по старопечатным книгам, без сомнения, водворится повсеместно мир и тишина, и светло воссияет никогда и никем не оспоримая древлецерковная истина. Хотя вначале нецые неразумные, коих очень мало (?), и покрамолят, но после и они, опомнившись, возблагодарят истиннаго Бога и похвалят законную ревность древлеправославных пастырей.

Воспретительный указ 1827 года застал Рогожское общество врасплох. С ужасом увидели ревнители старообрядчества, что близко и неизбежно время, когда за неимением попов надо будет или впасть в беспоповщину, или присоединиться к православной церкви на условиях единоверия. К счастью их, из оставшихся дозволенных попов последние дожили на кладбище даже до 1854 года, но им уж невозможно было исправить всех треб. Поэтому на Рогожском кладбище раскольники стали держать секретно беглых попов вдобавок дозволенным. Они большею частью жили у богатых купцов, преимущественно же у содержателей постоялых дворов; на кладбище бывали временно и укрывались там в женских обителях матерей Пульхерии и Александры, а также в особом тайнике, нарочно устроенном в общественном саду на кладбище.

Из этих попов в сороковых годах особенно уважаемы были старообрядцами беглый из Казани иеромонах Илариет и поп из села Никола-Стан, Калужской губернии, Федор Соловьев. В 1825 или 1826 году рогожцы обзавелись было даже греческим архимандритом, но пьянство его было до такой степени безобразно, что и привыкшие к безобразиям попов своих старообрядцы не могли долго терпеть его и вскоре постарались выпроводить из Москвы. Ниже скажем по нескольку слов об этих пастырях Рогожского кладбища. Кроме беглых недозволенных попов, дозволенным рогожским попам, при «оскудении священства», помогали в исправлении треб раскольничьи чернецы, не имевшие рукоположения. Они съезжались в Москву, особенно к Великому посту, из Стародубья (преимущественно из Злынки), с Ветки

из монастырей Макарьева, Лаврентьева и Пахомьева, с Иргиза, пока он существовал, и с Керженца. Чернецы эти проживали больше при часовнях, устроенных в домах богатых старообрядцев. Пробыв в Москве Великий пост и отпраздновав Пасху, они разъезжались по своим местам, или же пускались в странствования по России в качестве рогожских агентов для сохранения непрерывных сношений между главными пунктами поповщины.

Выше было сказано, что рогожские часовни не были освящены, но литургии служились на Рогожском кладбище в походных полотняных церквах. Еще в 1789 году московские старообрядцы добыли на Иргизе одну такую церковь, будто бы старинного освящения, и в ней попы служили литургию тайно, с большими предосторожностями, один раз в год, для освящения запасных даров. Но с 1813 года литургии на Рогожском кладбище совершались, хотя и редко, в большие только праздники, но без особенных предосторожностей и притом в самих часовнях, в алтаре которых раскидывали освященную палатку. Это завелось вот по какому случаю. По изгнании Наполеона из Москвы столицу заняли донские казаки, в числе которых много было старообрядцев. Рогожские попы исправляли им требы, а войсковой атаман, граф Платов, сам тоже старообрядец, оставил, как уверяли впоследствии рогожцы, на кладбище походную церковь, освященную во имя Пресвятые Троицы. Тогдашний начальник московской столицы дал им словесное разрешение служить в этой церкви обедни. Кроме платовской и иргизской полотняных церквей, на Рогожском кладбище были и другие, находившиеся в женских обителях у матерей Пульхерии и Александры, а в тридцатых и сороковых годах, сверх того, у беглого иеромонаха Илария была своя полотняная церковь, освященная во имя Симеона Столпника. Протоиерей Арсеньев в своей «Записке о Рогожском кладбище» говорит, что в 1817 году он сам был принят в раскол в одной из таких палаток.

С 1822 года, по случаю усилившегося уклонения православных жителей в Москве в поповщину и по случаю совершения браков православных с старообрядками в рогожских часовнях, обращено было строгое внимание на рогожских попов и попечителей. В 1823 году, 13 и

14 января, в Рождественской часовне поставлена была новая полотняная церковь, и несколько попов соборне служили литургии при огромном стечении народа и в том числе православных. Православный купец Яков Игнатьев довел об этих соблазнительных для православия богослужениях до сведения местного начальства. Был сделан осмотр всех заведений кладбища, и в алтаре Рождественской часовни нашли полотняную церковь. Она была отобрана, и все часовни запечатаны. Старообрядцы пришли в ужас, но, по свидетельству жившего в то время на Рогожском кладбище протоиерея Арсеньева, благодаря просьбам и ходатайству тогдашних попечителей, Антипы Дмитриевича Шелапутина и Василья Ефремовича Соколова, через несколько дней часовни были открыты. Это подтверждается и архивными делами. Святейший синод, при суждении дела о полотняной церкви и рогожских часовнях, постановил: «по неимению доказательства, что полотняная церковь действительно существовала на Рогожском кладбище до нынешняго ея открытия в 1823 году, на основании указа 1818 года, быть ей не дозволять, а церковь возвратить в тот монастырь, из коего взята». Император Александр Павлович при докладе святейшего синода изволил сказать: «если хочет Рогожское кладбище сохранить эту церковь, пусть присоединится к единоверию, а если не согласится — отправить церковь». Попечители были обязаны подпиской впредь не дозволять на их Рогожском кладбище служения литургий, но литургии, хотя редко и тайно, но совершались в часовнях по ночам, куда допускались весьма немногие и самые надежные люди. В этом удостоверяет сам рогожский священнослужитель, протоиерей Арсеньев, служивший такие обедни. Он же говорит, что вслед за тем дозволенные попы стали опасаться служить в полотняных церквах, и недостаток в запасных дарах случался у них ежегодно, даже по нескольку раз в год. В таком случае попы обращались к попечителям с просьбой сделать распоряжение о запасных дарах. И они выписывали их с Иргиза или из Стародубья от тамошних настоятелей (от Силуяна в Верхнепреображенском на Иргизе, от Рафаила в Покровском, Новозыбковского уезда, и от Сергия в Никольском, Суражского уезда Черниговской губернии). Получив дары, попечители приглашали попов в контору кладби-

ща и делили между ними присланное. По закрытии иргизских и стародубских монастырей не стало откуда брать причастие, а запасные дары по правилам церковным должно пополнять ежегодно. Тогда стали служить обедни недозволенные беглые попы в кельях рогожских матерей Пульхерии и Александры, у которых были свои полотняные церкви, а также в тайнике рогожского общественного сада. Первая архиерейская обедня в полотняной церкви на Рогожском кладбище совершена была в одном из богадельных зданий, известном под названием «холерной палаты».

При каждом дозволенном попе были свой дьячок, или уставщик, и свои певчие. В часовнях попы служили поочередно. Вот записка о поповских очередях 1845 года, когда попов оставалось только трое:

«Поп первой очереди — Иван Матвеевич Ястребов, при нем дьячок Василий Иванов. При них 14 певчих, из которых Антон Полиевктов, Назар Семенов и Исаак Антонов уважаются кладбищем, как искуснейшие знатоки священнаго писания.

Поп второй очереди — Петр Ермилович Русанов, дьячок его — Тит Сафронов. При них 15 певчих, из коих Иван Григорьев Донской, Федор Васильев Жигарев и Тимофей Прокофьев считаются знатоками церковного порядка, особенно Иван Донской.

Поп третьей очереди — Иван Максимов, при нем дьячок Евсей Мартынов и 19 певчих.

При недостатке попов, дьячкам предоставлено было отправлять вместе с певчими вечерни, заутрени и молебны. Дьячки и некоторые певчие известны и уважаемы были старообрядцами не меньше самих попов. Они имели значительные доходы.

Попы были вполне независимы друг от друга, и даже в то время, когда их было по двенадцати, не было между ними благочинного. В «Постановлении о благочинии церковном» статья 10 хотя и говорила о «всеобщем соборном суде», которому подлежали небрежно отправлявшие службу, но нам неизвестны случаи применения этого правила на практике. Попы имели большие доходы; половина их должна была отчисляться в кладбищенский капитал и на содержание рогожских богоугодных заведений, но едва ли это всегда исполнялось. Все попы имели в ограде кладбища свои дома, выстроенные им от

общества, а Петр Ермилович имел даже два дома. Попы жили в большом довольстве. Несмотря на то, что незаконнорожденный сын Ивана Матвеевича Ястребова промотал сто тысяч отцовских денег, по смерти этого попа осталась, как говорят, не одна сотня тысяч. Дочь Петра Ермиловича сама говорила, что у ее отца был в процентных бумагах стотысячный капитал.

Переходим к очерку разных заведений на Рогожском кладбище.

Близ часовен, находящихся в самой середине рогожской ограды, стоит каменный двухэтажный дом. Это кладбищенская контора. В верхнем этаже ее четыре комнаты. Чтобы судить об их поместительности, достаточно сказать, что в одной из комнат верхнего этажа, кроме дивана и двух столов, расставлено было 42 стула, по числу старшин, попечителей и почетных прихожан, собиравшихся на совещания. Комнаты были убраны без особой роскоши, но чисто и опрятно; вся мебель была сделана из красного дерева, и в числе ее, как некая святыня, с 1853 года сохранялось мягкое кресло на колесиках, обитое зеленым сафьяном и бывшее в употреблении у старшего рогожского попа Ивана Матвеевича Ястребова. Целые полвека прожил этот поп в Рогожском, и когда одряхлел,— совершал требы, даже свадьбы венчал в этих креслах. Для того и колесики были к ним прилажены: брачующиеся, в венцах, ходя посолонь вокруг аналоя, возили попа в креслах. В главной комнате, в которой собирались советы старшин и попечителей, висели три подлинные грамоты: московского митрополита Антония 1576 года и патриархов Филарета Никитича 1632 и Иоасафа I 1639 года, портреты царствующего государя и императрицы, план Рогожского кладбища, карта Европы и портреты попа Ивана Матвеевича и попадьи его Афимьи, той самой, которая некогда в порыве ревности подожгла дом мужниных наложниц и едва не спалила все Рогожское кладбище. В верхних комнатах конторского дома велись кладбищенские дела, происходили совещания старшин и попечителей, бывали *малые* старообрядческие соборы (без духовенства и иногородных депутатов) по делам, касавшимся одной московской общины. Здесь же самые первые богачи останавливались на ночлег во время говенья и перед заутренями на великие праздники. Тут же они справляли для рогожского прич-

та поминки по своим усопшим, для чего в нижнем этаже конторского дома устроена была небольшая, но весьма хорошая кухня; в кладовой находилась кухонная посуда, полный столовый прибор на 42 персоны, а в погребе и подвалах не переводились большие запасы хлеба, рыбы, вин, масла и других припасов, независимо от огромных запасов, находившихся в других погребах и сараях и назначенных для содержания призреваемых в богадельнях. В нижнем этаже конторского дома находился запас погребальных принадлежностей. В 1854 году, при приеме кладбища в правительственное ведомство, здесь найдено 119 больших и 150 младенческих гробов, 48 погребальных покровов. Для взрослых и 12 для детей. Тут же найдено 300 монашеских власяниц, доказавших, что на Рогожском кладбище, несмотря на воспрещения правительства, в значительном числе совершались пострижения в чин иноческий. Особенно много постригалось здесь в сороковых годах (1842—1848), когда пребывал на Рогожском беглый и лишенный сана иеромонах Иларий. По правилам, в монашество может постригать только священноинок, то есть иеромонах, а таких, кроме Илария да пьяного греческого архимандрита Геронтия, на Рогожском кладбище не бывало. В пять лет этот Иларий, о котором речь впереди, постриг, говорят, на Рогожском более тысячи иноков и инокинь. В нижнем этаже конторы находились огромные запасы воску и восковых свечей, меду для канунов, деревянного масла, ладану и сверх того 256 аршин ковров и 114 аршин светло-зеленого сукна для устилания пути во время торжественных крестных ходов и на случай посещения кладбища важными особами. В конторском же доме помещалась канцелярия Рогожского кладбища, которою заведовал особый конторщик. Эту должность, очень видную и весьма влиятельную, тридцать лет сряду (1814 по 1844 год) занимал Кондратий Никифорович Синицын; вместо его заступил купец Дмитрий Корнеев. Оба они играли важную роль при учреждении заграничной иерархии. У Синицына в качестве помощников находились: купец Авфоний Кузьмич Кочуев, уроженец города Горбатова, которому принадлежит самая инициатива белокриницкой иерархии, Петр Осипович Смыслов и другие «ученые» рогожцы, редакторы важнейших сектаторских бумаг. В конторе находился и архив Рогожского кладбища, но

самые важные бумаги обыкновенно прятались под деревянною колокольнею, устроенною подле часовен. Там была устроена подземная кладовая, где хранились замечательнейшие акты, полотняные церкви, антиминсы и т. п. Вход в этот тайник дозволен был только конторщику, старшинам, попечителям, а из попов — одному только Ястребову; другие попы входа туда не имели. Самые важные бумаги находились в домах конторщиков. Куда девались бумаги, бывшие у конторщиков и в тайной кладовой под колокольней,— неизвестно. Одни говорят, что сгорели во время какого-то пожара на Рогожском кладбище; другие уверяют, что они переданы в руки именитейших членов Рогожской общины, и называют их даже по именам; третьи наконец сказывают, что драгоценные бумаги находятся у наследников Синицына и Корнеева. Как бы то ни было, они бесследно пропали для исследователей русского раскола. А для истории его они составляют чрезвычайно важный материал.

Частью в конторе, частью на хорах и в кладовых при часовнях — хранились ризницы и знаменитая рогожская библиотека.

При приеме Рогожского кладбища в правительственное ведомство в 1854 году найдены лишь остатки ризницы и библиотеки. Все более ценное и более замечательное в каком-либо отношении было заблаговременно перевезено в дома богатых членов Рогожского общества. Несмотря на то, найдено:

Риз священнических 1 150. В том числе бархатных, золотых и серебряных парчей в холодной Покровской часовне 18, в Рождественской 16, на хорах в холодной часовне 33, в кладовых при Рождественской часовне 462 и в других кладовых 837.

Епитрахилей 66.

Поручей 228 пар.

Орарей 50.

Стихарей 59.

Кроме многочисленных икон, поставленных в часовнях, в разных кладовых их найдено еще 494.

Рогожская библиотека была замечательна не столько по своей обширности, сколько по редкости находившихся в ней книг. Она была с особенною тщательностью собираема в тридцатых и сороковых годах. На приобретение редких рукописей и старопечатных книг в это время бо-

гачи денег не жалели. Заведовали ею конторщики, а собиранием книг в тридцатых годах занимался ученый рогожский старообрядец Кочуев. К сожалению, рогожская библиотека, не описанная ученым образом, была впоследствии частью расхищена, частью разнесена по разным местам. Но и в 1854 году при приеме кладбища в правительственное ведомство найдено в ней было 517 книг и в том числе несколько чрезвычайно замечательных. Из рукописей — древнейшая относится к XIV столетию, это «Никона Черныя Горы», писанная в 1366 году; затем следуют: «Толковое Евангелие» 1407 года, «Служебное Евангелие» 1551 года, полная «Минея месячная» 1557 года, «Ирмосы певчие», писанные в Ростове 1622 года, и до тридцати других древлеписьменных певчих книг. Мы не можем приблизительно даже определить, к какому времени относятся остальные уцелевшие рогожские рукописи, так как опись, которою пользуемся, составлена с совершенным отсутствием библиографических правил. Из книг старопечатных заметим: «Библию» (Острог, 1581 года), «Евангелие напрестольное» (Радышевского, Москва, 1606 г.), «Апостол» (Москва, 1635 г.), «Устав» (Москва, 1640 г.), «Устав» или «Око церковное» (Москва, 1641 г.), «Евангелие» (Москва, 1648, другое 1651 г.) и «Кормчую» (Москва, 1850 г.).

Кроме часовен и конторы, в ограде Рогожского кладбища находятся дома каменные и деревянные с разными хозяйственными принадлежностями, частью расположенные улицами, хотя и неправильными. В том числе шесть палат, в которых помещаются богадельни, сиротский дом, дом умалишенных и приют. Эти дома считались общественною собственностью, остальные же назывались частными, хотя в действительности тоже принадлежали обществу.

Богадельни помещались в шести палатках, устроенных в разное время, частью на общественный счет, частью богатыми прихожанами, по имени которых и доселе называются.

Первая палата, каменная, двухэтажная, называется «Новою». В ней с 1854 г. было призреваемо 215 женщин.

Другая палата «Козина» — также каменная, двухэтажная. В ней было 116 женщин. При ней устроена

огромная келарня (кухня со столовой) и квасня. Здесь готовили кушанье, пекли хлеб и варили квас для призреваемых, для большей части остальных жителей кладбища, а частью для приезжих.

Третья каменная двухэтажная палата называется «Певчею». До 1835 года в ней помещалось рогожское училище, потом жили здесь певчие. В 1854 г. в Певчей палате жили 64 мужчины.

Четвертая палата — «Константиновская»; нижний ее этаж каменный, а верхний деревянный. Наверху в 1854 г. жило 39 женщин, а внизу 4 мужчины, назначенные для прислуги и надзора за помещением для приезжих, находившимся в той же палате. Это была огромная комната с нарами, в которой останавливались приезжавшие крестить младенцев, венчаться и пр. Она назначена была для простонародья; для людей побогаче устроен был особый приют; первостатейные же богачи останавливались в самой конторе. В комнате Константиновской палаты приезжих бывало иногда в раз человек по сту и более.

Пятая каменная одноэтажная палата называется «Холерною». В 1854 году в ней было 44 женщины. В ней от времени до времени служились тайно литургии, а 19-го июня 1850 года Софроний отслужил первую архиерейскую обедню.

Шестая палата «Антоновская» деревянная. В ней в 1854 году было 36 женщин.

В каждой палате поставлены были деревянные кровати с тюфяками и стегаными одеялами. Железных кроватей в богадельню не вносили, как «новшество»; фланелевые одеяла были, но хранились в кладовых, а кровати призреваемых были ими накрываемы лишь во время приезда важных лиц на кладбище. Белье и платье призреваемых в богадельнях приготовлялись на общественный счет, но каждому сверх того дозволялось иметь свое. Во всякой палате устроен был иконостас, перед ним стояли подсвечники и аналогий, за которыми постоянно читались, ради назидания призреваемых, Псалтырь, Пролог и другие книги. Читали особо назначенные для того женщины, известные под названием «читалок», или «канонниц». Они же в палатах отправляли часы, вечерни, заутрени.

Кроме призреваемых в палатах, призревалось 25 мужчин, живших в семи караульных избах, построенных в разных местах кладбища. Они несли посильные работы: чистили двор, кололи дрова, носили воду и таким образом заменяли работников.

В начале тридцатых годов в палатах Рогожского кладбища жило слишком тысяча человек. Уменьшение последовало с 1835 года, когда кладбище было переименовано «Рогожским богадельным домом» и в нем разрешено было жить только престарелым и страждущим да небольшому числу прислуги, полагая по одному человеку на десять призреваемых.

Особый дом назначен был для призрения детей, он назывался «Сиротским домом». Здесь воспитывались так называемые «рогожские подкидыши». Их приносили на кладбище из разных мест, но обыкновенно это не были осиротевшие младенцы, оставшиеся после неимущих родителей: воспитанники Рогожского кладбища были преимущественно дети, несчастно рожденные девушками, дочерьми зажиточных старообрядцев, рогожскими читалками и канонницами, и наконец приносимые из деревень бедными родителями, особенно солдатками, ради избавления их от участи военных кантонистов. Бывали случаи, что отдавали на Рогожское кладбище своих новорожденных детей помещичьи крестьяне, для избавления их от крепостной зависимости. Кормилиц на Рогожском не было; младенцев воспитывали на рожке и, разумеется, никогда не лечили. Смертность детей была столь огромна, что едва ли из сорока один достигал отроческого возраста. Такой смертностью объясняется и запас полутораста детских гробов, найденный на Рогожском кладбище в 1854 г. Когда число младенцев увеличивалось до того, что их невозможно было всех поместить в сиротском доме, некоторых помещали в доме умалишенных. Столь странное совмещение детей с сумасшедшими было прекращено министром внутренних дел Д. Г. Бибиковым в 1853 году, что́ возбудило ропот со стороны некоторых изуверов, по понятиям которых что́ сумасшедший или юродивый, что́ младенец — все одна ангельская душа.

Для подкидышей и детей, отдаваемых на Рогожское кладбище в отроческом возрасте для обучения, существовало до 1835 г. училище. В нем дети обучались чте-

нию, письму, арифметике и церковному пению. Училище было основано на тех же основаниях, как и Гребенщиковское в Риге, закрытое в 1843 году и восстановленное с высочайшего соизволения 4-го февраля 1866 г. Из Рогожского училища выходили те певцы, которыми в свое время славилось Рогожское кладбище, выходили из него даже уставщики. Подкинутые девочки учились грамоте у читалок и канонниц, приготовляясь со временем в свою очередь сделаться такими же читалками и канонницами и произвести на свет новое их поколение. По влиянию живших на кладбище монахинь и богаделенных старух, пропитанных духом крайнего аскетизма, почти никогда рогожские воспитанницы не выходили замуж.

Рогожский сиротский дом значительно уменьшился в 1834 году, когда воспрещено было держать в нем детей свыше трехлетнего возраста, по достижении которого велено было отдавать их в императорский Воспитательный дом. В следующем 1835 году закрыто было и училище, как не находившееся в ведомстве министерства народного просвещения и не подходившее по своему устройству под устав учебных заведений 1828 года. При этом учеников было велено раздать родителям, а безродных взять в кантонисты. Тогда Рогожское училище было тайно перенесено за девять верст от Москвы в удельную деревню Новинка, что́ близ села Коломенского, где оно и существовало до 1839 года при тамошней часовне. В этом году оно закрыто по распоряжению управляющего московской удельной конторой. Но в 1840 г. открылось, что училище не уничтожено, но перенесено в село Коломенское, к тамошней часовне, и находится под покровительством местного удельного головы.

В особом доме помещены были умалишенные. В 1854 году их было 7 мужчин и 14 женщин. Никакого лечения не было. В комнатах устроены были нары. Кожаных рубах для беспокойных больных не употребляли, так как это «новшество»; их заменяли старинными цепями. Две такие цепи утверждены во внутренних стенах здания. На ту же цепь сажали провинившуюся прислугу; сиживали также на ней, за пьянство и безобразие, и бродячие раскольничьи монахи. Говорят, будто в 1829 году сидел некоторое время в этом доме на цепи и греческий архимандрит Геронтий. Не имея на то доку-

ментальных доказательств, не утверждаем и не отвергаем этого, но передаем как слух, впрочем, весьма вероятный.

Дом, известный под названием «Приюта», назначен был для приезда свадеб, а также для отдохновения, между часовенными службами во время говенья и перед заутренями на большие праздники, прихожан, живших в отдаленных от Рогожского кладбища местностях столицы. Для сего самые почтеннейшие помещались в конторе, средние в приюте, а простонародье в нижнем этаже Константиновской палаты.

На Рогожском кладбище находились женские обители или монастыри. В 1845 году их было пять: а) *Пульхерьина* обитель с 6 монахинями и 40 послушницами, б) *Александры* с 28 монахинями и послушницами, в) *Девворы* с 38 послушницами, г) *Маргариты* с 4 монахинями и 38 послушницами и д) *Мелании* с 10 послушницами. Всего с настоятельницами в 1854 г. осталась одна только обитель матери Пульхерии и ничтожные остатки обители Александриной.

Направо от въезда на кладбище, в узеньких закоулках, стоит невысокий деревянный, но обширный и поместительный дом с целым лабиринтом внутренних переходов, боковушек, светелок, чуланов, подклетов и подпольев с несколькими выходами наружу и даже, как носились правдоподобные слухи, с подземными переходами в соседние дома. Этот дом, уже довольно старый, состоял из двух отделений: одно называлось «Марьин дом», другое «Маргаритин дом», по имени бывших настоятельниц двух женских обителей, построенных под одну крышу. Постройка этих домов совершенно такая же, как и постройка в керженских женских обителях. Это обитель матери Пульхерии.

В прошлом столетии, в первые годы существования Рогожского кладбища, поступила сюда несмысленным еще ребенком мещанская девочка Пелагея Анисимова Шелюкова, принявшая в ранней молодости иночество с именем Пульхерии, а в 1848 году — и схиму. Без малого девяносто лет живет она на Рогожском и в столь преклонных летах сохранила память и бодрость, обладая притом редким даром слова и большою начитанностью. Пульхерия— живая летопись Рогожского кладбища, но, к сожалению, эта летопись, по весьма понятным причи-

нам, далеко не всем доступна. Строгая аскетическая и притом вполне безупречная жизнь ее, безграничная ревность к расколу, строгое благочестие, тяжелые железные вериги, которые она носит, огромная начитанность, правдивость со своими и ловкая хитрость с нераскольниками, особенно с чиновниками,— давно поставили ее высоко во мнении старообрядцев. Московские купчихи-раскольницы постоянно ездили и ездят к ней на поклон и для испрошения молитв ее и советов по семейным делам. Слушая медоточивую речь красноглаголевой матушки Пульхерии, купчихи «таяли умом и сердцем», по выражению одной из них. И не только московские старообрядцы, но и все знавшие ее иногородные питают к Пульхерии глубокое уважение. Громко имя ее в самых отдаленных пунктах старообрядческого населения. Так, в некоторых обителях скитов керженских и чернораменских без предварительного совета и благословения матушки Пульхерии не предпринималось ничего важного. Она считается святой женщиной и почитатели ее приписывают ей даже дар прозорливости и пророчества. При такой обстановке мать Пульхерия приобрела огромное влияние на дела московской старообрядческой общины и сумела сохранять его во всю жизнь свою, никогда не возвышая голоса, никогда не переступая за ограду Рогожского кладбища. Во время оскудения священства она вместе с конторщиками много заботилась и много приложила труда и обольщений для привлечения к побегам на Рогожское кладбище православных священников, а по совращении их в раскол укрывала беглецов в своей обители и потом отправляла в какую-либо нуждающуюся в попе старообрядческую общину. У матери Пульхерии была полотняная церковь, и в ней изредка, тайно, по ночам служили укрываемые в женской обители попы литургию. У Пульхерии постоянно были запасные дары, которые рассылала она по разным местам, особенно же по селениям Гуслицкой волости. По удостоверению протоиерея Арсеньева, мать Пульхерия в то время, как он жил на кладбище (1817—1844), принимала самое деятельное участие в совращении православных мирян в свою секту. В цветущее время Рогожского кладбища под ее игуменством живало по пятидести и более монахинь и белиц. В 1854 году, когда с кладбища были уже высланы все иногородные и имеющие менее 50-летнего воз-

раста, у матери Пульхерии осталось еще десять монахинь и шесть послушниц. Кроме того в так называемом «Маргаритином доме» оставались семь женщин, не имевших иночества. Это остаток бывшей обители Маргаритиной.

Через несколько домиков от Пульхерьиной обители находилась другая женская обитель, в которой игуменствовала мать Александра. Обитель эта помещалась в доме, нарочно для того построенном бывшим попечителем Рогожского кладбища Степаном Тихоновичем Миловым, который в свое время был одним из главных деятелей по устройству заграничной старообрядческой иерархии. Через него производилась значительная часть заграничной переписки. В этом доме, так же, как и в Пульхерьиной обители, устроены были внутренние переходы, тайники и подземелья для отправления тайных треб, ночных обеден в полотняной церкви, миропомазания православных, переходивших в раскол, пострижения в иночество и пр. т. п. По учреждении митрополии в Белой-Кринице мать Александра туда перенесла свою обитель, а в июле 1852 года сделалась игуменьей Успенского Белокриницкого женского монастыря. С Александрой переселились в Белую-Криницу бывшие при ней на Рогожском монахини: Варсонофия, Порфирия и Алевтина — вдова ямщика города Валдая, Василья Великодворского, мать знаменитого в истории русского раскола Павла, который вместе с Алипием Зверевым-Милорадовым, уроженцем посада Крылова, отыскал для раскольников архиерея. Александру уважали московские старообрядцы не менее чем Пульхерию, и обитель ее была едва ли не богаче всех других. В 1854 году в ней оставались только две престарелые инокини: слепая Варсонофия да больная Измарагда.

От обителей Девворы и Мелании в 1854 году и следов не оставалось.

В женских обителях Рогожского кладбища устроено было общежитие. Каждая из них имела значительные средства. Хлеб, квас, капусту, огурцы, рыбу, масло и другие запасы жительницы обителей получали от кладбища и независимо от того пользовались щедрыми подаяниями московских и иногородных богачей-раскольников. Подаяния эти раздавались к большим праздникам, а также по случаю смерти какого-нибудь раскольника.

Родственники умершего обыкновенно заказывали в обителях читать псалтырь и платили за то широкою рукой. Кроме того богатые старообрядцы брали из обителей в дома свои послушниц, а иногда и самих монахинь, читать псалтырь, что́ называлось «стоять свечу», за что и послушницы и обитель получали денежное вознаграждение. За сборами обитательницы рогожских монастырей по городам не ездили; это водилось во всех скитах и монастырях, но никогда в обителях рогожских. Московские старообрядцы были так многочисленны и богаты и на подаяния столь щедры, что рогожским матерям не было никакой надобности разъезжать по России и подвергать себя разным дорожным затруднениям и лишениям для какой-нибудь тысячи рублей. Кроме «уставной службы», то есть чтения и пения часов, вечерен и заутрен, монахини и послушницы занимались рукодельями. Рукоделья разделялись на «белоручные» и «черные». К первым относились вышиванье по канве шелками, синелью и шерстью, вязанье кошельков, поясов, лестовок, золотошвейные и бисерные работы. На продажу эти работы не поступали, но назначались обыкновенно для подарков богатым раскольникам, которые в долгу, разумеется, не оставались. К черным работам относились: пряденье льна, приготовление холста, полотна для употребления в обители. Теми же работами занимались и призреваемые на Рогожском кладбище женщины, пока в силах были работать.

Кроме исчисленных заведений, на Рогожском кладбище было 36 домов, называющихся частною собственностью, все деревянные и только один каменный (купца Тарбеева). Из них в 1854 году двенадцать лучших и более поместительных домов обращены были на помещение единоверческого духовенства и должностных лиц, в том числе и домà, считавшиеся принадлежавшими попам Ястребову, Арсеньеву, и каменный дом Тарбеева. Многие богатые купцы строили на Рогожском кладбище дома для помещения в них раскольников, иногда целыми семействами, и содержали на свой счет. Другие раскольники, не столь богатые, но имевшие связи с влиятельными людьми Рогожского кладбища, строили для себя дома и жили в них до смерти. По смерти же таких хозяев строения поступали в общественное владение. После умерших попов семейства их проживали в

домах, которые были построены для них обществом, получая содержание от какого-либо богатого раскольника. Обитатели кладбищенских домов или жили на полном содержании общества наравне с призреваемыми в палатах, или, пользуясь одним помещением, имели свое хозяйство. Другие платили даже за квартиру, а иные, внесши единовременно известную сумму денег, пользовались помещением пожизненно.

В 1854 году, при поступлении Рогожского богадельного дома под правительственный надзор, были потребованы от частных лиц, владевших внутри кладбищенской ограды домами, документы на их строения. Ни у кого документов и планов не оказалось, и 2-го января 1857 года дело кончилось тем, что все строения Рогожского кладбища признаны были принадлежностью богадельного дома.

Собственно кладбище находится в северной части ограды, подле Никольской часовни, ныне обращенной в единоверческую церковь, и в южной находится небольшой общественный сад.

Для безопасности от пожара были на Рогожском кладбище две пожарные трубы и три бочки.

Рогожское кладбище имело свой значительный капитал, составленный из пожертвований, деланных в разное время, из сумм, назначавшихся по духовным завещаниям, от кошелькового сбора, от продажи в часовнях свеч и т. п. Уверяют, что рогожский капитал в цветущее время кладбища простирался до $2^1/_2$ милл. руб. сер., и что при каждом значительном расходе, произведенном из этого капитала, он немедленно пополнялся или подпиской, или даже по расколе между богачами. Значительнейшая доля этого капитала обыкновенно находилась на руках у кого-либо из богачей, как, например, в прежнее время у Антипа Дмитриевича Шелапутина, и по смерти его у Федора Андреевича Рахманова. Они распоряжались общественными деньгами безотчетно, выдавая однако исправно известные проценты на содержание часовен и богоугодных заведений кладбища. Незначительная часть рогожского капитала хранилась в конторе в государственных процентных бумагах, положенных завещателями. В 1854 году, при приеме Рогожского богадельного дома в правительственное ведение, найдено таких капиталов в именных билетах московского опекунского совета толь-

ко на 17.464 р. 82 к. и незначительное количество наличных денег на текущие расходы. Безымённых билетов, которых было много, не нашлось ни одного. Все было заблаговременно к рукам припрятано. Наконец в 1865 году и незначительный остаток громадного некогда рогожского капитала был украден посредством ловкого мошенничества людей, переодевшихся жандармским полковником, квартальным надзирателем и добросовестными.

Переходим засим к замечательнейшим лицам из рогожского духовенства.

В последних годах прошлого столетия Владимирской губернии, Юрьевского уезда, в селе Пенье был священник Иван Матвеевич Ястребов. Была у него жена, попадья ревнивая, Афимьей звали, а поп падок был на греховную женскую лепоту. Грехом случилось так, что молоденькая попова работница от батюшки учинилась непраздна. Пока ревнивая попадья Афимья о таком деле не сведала, Иван Матвеевич заблагорассудил вытравить ребенка в утробе своей Агари. Пеньевская Сарра не знала о проделке своего Авраама и равнодушно смотрела, как работница, лечась от лихоманки, пила взварец, приготовленный руками своего батюшки. Но, должно быть, Иван Матвеевич очень уже поусердствовал, приготовляя целебный напиток: прекрасная рабыня умерла. Началось уголовное дело о вытравлении младенца и об отравлении его матери. Ястребову приходилось плохо. Проведавшие о том рогожцы явились к Ивану Матвеевичу, предлагая ему тихое и безмятежное житие на их кладбище. Он был не прочь. Но двоюродный брат Ястребова, Лука Иванович Сокольский, помощник секретаря владимирской консистории, приказными своими проделками повернул дело на то, чтобы родственнику его остаться правым, а смерть работницы отнести к воле божьей. «От Сокольскаго, вероятно, для такого же прикрытия,— сказано в журнале,— передано секретарю Протопопову, отчего и неизвестно о нем было епархиальному начальству». При таком обороте дела Иван Матвеевич и раздумал было идти к раскольникам, но на беду очень он любил лошадок. Московские раскольники подвели ему великолепного рысака в 800 рублей — деньги по тому времени очень большие, и поп не в силах был удержаться перед видом породистого жеребца. Он перешел на Рогожское.

Это было в 1802 году. Полвека прожил Ястребов, этот хитрый, лукавый, но умный и начитанный поп, на Рогожском кладбище, пользуясь громадным уважением раскольников за свой фанатизм в деле раскола. Но еще в селе Пенье, к крайней обиде попадьи Афимьи, соблазняясь на женскую красоту,— не покинул Иван Матвеевич своей греховной страсти и на новом месте. И не покидала его страсть сия даже до смерти. Соблазнов же для сладострастного пастыря на Рогожском было много: молодые читалки жили как раз рядом с домом, выстроенным для Ивана Матвеевича. Ревнивая попадья Афимья много скорбела, глядя на новые любовные похождения сожителя, и не выдержала — подожгла кельи читалок. Но Иван Матвеевич не исправился и после этого.

Но все прощалось рогожцами попу Ивану Матвеевичу, прощалось за его беспредельную ревность к расколу, за его «словеса учительныя и пользительныя старообрядству», за важные услуги, оказанные им Рогожскому кладбищу. Еще он был «попом-новиком» на Рогожском, всего еще десять лет священствовал у раскольников, как над Москвой разразилась французская гроза 1812 года. Старообрядцы в страхе разбежались. Большею частью укрылись они в Гавриловом посаде, Владимирской губернии, в Романове и в Керженских скитах. Иван Матвеевич остался на кладбище. Известно, что вступление неприятеля в столицу было совершенно неожиданно для ее жителей, которых граф Ростопчин до последнего часа обнадеживал в безопасности Москвы. Известно также, что из самых даже кремлевских соборов не успели вывезти заблаговременно драгоценности, которые и сделались добычей наполеоновской армии. Драгоценности Рогожского кладбища тоже, разумеется, остались на своих местах. Поп Иван Матвеевич не бежал, подобно другим, в виду неприятеля, хотя и имел к тому все средства,— он остался хозяйничать на Рогожском. С помощью нескольких работников, иконы, книги и все церковное имущество он успел скрыть в нарочно вырытых, а потом засыпанных на кладбище могилах. Ограбив Москву, французы пожаловали и на Рогожское кладбище, но, не найдя, чем поживиться, оставили его нетронутым. Как скоро они очистили город, Иван Матвеевич, еще до возвращения разбежавшихся старообрядцев, все по-

ставил на своих местах. Спасение рогожских драгоценностей приписано было особенному покровительству божью, оказанному последователям «истинной веры» [1], и в память того сделана надпись в Рождественской часовне. «И действительно,—говорили рогожцы,— православные церкви разграблены, у беспоповцев на Преображенском кладбище все цело, но потому, что преображенцы в день вступления французов в Москву посылали к французскому коменданту ходатая на поклон с тарелкой золота, получили охранную стражу из жандармов, водворили на Преображенском французскую фабрикацию русских фальшивых ассигнаций и даже удостоились посещения самого императора французов с королем Неаполитанским. А рогожцы никого не просили, а все осталось цело. Это чудо: бог ослепил врагов, ничего они не нашли»,— стали говорить рогожцы, и такие рассказы имели огромное влияние на увеличение совращений в поповщинскую секту православных и некоторых беспоповцев. Другую услугу Рогожскому кладбищу оказал поп Иван Матвеевич немедленно по очищении Москвы неприятелем. Ему, говорят, обязано было Рогожское кладбище тем, что граф Платов оставил в нем полотняную церковь, а начальник Москвы словесно разрешил служить в ней обедни.

Возвысившись таким образом во мнении старообрядцев в годину московского разорения, Иван Матвеевич окончательно стяжал славу «крепкого адаманта и твердого хранителя святоотеческих законов и древлецерковнаго благочестия» вскоре после воспретительного указа 1827 года. При последовавшем, вследствие того указа, «оскудении священства», рогожские старообрядцы увидели себя в безвыходном положении. Значительная их часть громко заговорила о принятии правильного священства, то есть единоверия, особенно простонародье. Старики и фанатические ревнители раскола ужаснулись при виде столь несообразного с их видами и расчетами направления умов народа. Во что бы то ни стало они вознамерились поддержать прежний порядок вещей и ни под каким видом не допускать на кладбище единоверческого богослужения. Помог и в этом случае горю их поп Иван Матвеевич.

[1] Протоиерей Арсеньев. «Записки о Рогожском кладбище».

Много было по этому случаю собраний на Рогожском. Много было толков, споров и ссор. У простых людей и до драки дело доходило. Наконец, чтобы «умирить все народное множество», по совету Ивана Матвеевича, назначен был день для великого собора. Накануне отпели всенощную, поутру отправили часы и совершили крестный ход кругом часовни. Все это сделано было с особенною торжественностью, стройно и чинно, и сильно подействовало на народную массу. Затем среди Рождественской часовни поставили аналогий, Иван Матвеевич положил на нем крест и Евангелие и стал возле, Как скоро часовня наполнилась собравшимися на совещание, он, не допуская начала рассуждений, поднял руку с двуперстным сложением и громко произнес: «Стойте в истинной вере и за правый крест до последней капли крови! Кто последует истинной Христовой вере, подходи и целуй крест и евангелие, а кто не желает оставаться в прежнем положении — выходи вон». Эффект вышел чрезвычайный: все до единого приложились ко кресту, и о принятии на кладбище правильного священства и речи больше не стало. Весть об этом распространилась по всему старообрядству, и слава Ивана Матвеевича прогремела далеко.

По смерти попа Ивана Ефимова, около 1825 года, Иван Матвеевич сделался старшим попом Рогожского кладбища. У него духовными детьми, за весьма немногими исключениями, была вся московская старообрядческая аристократия, все богачи и влиятельные люди. Он был умнее и начитаннее других рогожских попов, и странное, по-видимому, дело: между тем как товарищи его всячески старались как можно осторожнее выражаться о православии, Иван Матвеевич постоянно относился к нему враждебно, с желчью и нередко даже с богохульством. Другие попы заметно тяготились совестью при воспоминании об отступничестве и старались хоть вином залить ее: Ивана Матвеевича никогда не мучило раскаяние. Зато и пил он воздержно, предпочитая вину фрукты из оранжерей духовных чад своих и красивых девиц из собственного своего духовного вертограда. Другие рогожские попы рано или поздно возвращались в недра покинутой церкви: Иван Матвеевич не допускал и мысли о примирении с нею. Ни один из дозволенных попов не соглашался на учреждение заграничной

старообрядческой иерархии: Иван Матвеевич был в числе ее учредителей и впоследствии признал над собой главенство и белокриницкого митрополита, и Софрония, который некогда под именем Степки Жирова был у него в певчих. В то же время и с рогожской святыней Иван Матвеевич обращался самым бесцеремонным образом и на свое служение постоянно смотрел как на доходное ремесло.

Другой рогожский поп, очень уважаемый раскольниками и уважаемый по справедливости, Александр Иванович Арсеньев, был прежде православным священником в Костромской епархии. Приход у него был бедный, и Арсеньев нуждался в самых необходимых жизненных средствах. Прельщенный раскольниками, посулившими ему жизнь спокойную и не только безбедную, но даже роскошную, он бежал в Рогожское в 1817 году, и старшим попом Иваном Ефимовым перемазан в полотняной церкви. Двадцать семь лет служил он на кладбище, и странная судьба семейства Арсеньевых: служил он раскольникам в то самое время, когда родной брат его, Константин Иванович, наш известный ученый, преподавал историю и статистику России наследнику цесаревичу. Александр Иванович Арсеньев был человек с отличными природными способностями, большой начетчик и отличался безупречной жизнью, безукоризненной нравственностью. За то и пользовался он уважением и любовью старообрядцев. Многие из них, даже в некоторый ущерб Ивану Матвеевичу, считали его «что ни на есть лучшим попом». Духовных детей было у него больше, чем у других попов, особенно много бывало у него на духу женщин. Арсеньев был человек энергичный, решительный, но в то же время крайне самонадеянный. Вследствие того он нередко нарушал условия, с соблюдением которых правительство дозволяло попам, дозволенным правилами 1822 года, доживать век свой на Рогожском кладбище. В 1833 году он переправил в раскол солдатку, венчал свадьбы ранее определенного законом возраста, венчал по-раскольнически православных и даже выдавал в том письменные свидетельства. Возникли дела, и московский совещательный о раскольниках комитет в 1837 году постановил: отослать Арсеньева на законное суждение к костромскому преосвященному, из епархии которого он двадцать лет перед

тем бежал. Для исполнения этого постановления потребовали Александра Ивановича в канцелярию московского генерал-губернатора, но рогожцы отвечали полиции, что Арсеньев находится в отсутствии, хотя отлучки рогожским попам и были воспрещены законом. Действительно же Арсеньев не думал выезжать из Рогожского кладбища и жил спокойно в своем доме, даже разъезжал по Москве в карете, но с опущенными шторами на окнах. Таким образом, скрытно, но, конечно, небезызвестно для московской полиции, проживал Александр Иванович целые семь лет, до самых тех пор, как наконец по высочайшему повелению, 25-го апреля 1844 года, был взят и отправлен в Кострому. Кладбищенский конторщик Синицын и певчий, а потом уставщик, Жигарев нередко ездили в Кострому и поддерживали связи Арсеньева с московским старообрядчеством. Через несколько времени он однако обратился к единоверию и сделан был протоиереем и благочинным всех единоверческих церквей Черниговской епархии. Связи свои с Рогожским кладбищем он однако сохранял до самой смерти и, бывая в Москве, всегда посещал бывших своих сослужебников, попов Ястребова и Русанова. Две большие записки его, одна — «о Рогожском кладбище», другая — «о действиях Кочуева», писанные в 1854 году, служили важным пособием при составлении этих очерков.

Поп Петр Ермилович Русанов — лицо также весьма заметное в старообрядчестве. Он был православным сельским священником во Владимирской епархии и бежал на Рогожское в начале 1822 года. Был слух, что раскольники, уговаривая его перейти к ним, соблазнили его, подарив бочку самого лучшего, самого чистого дегтя. Об этой молве упоминается в архивных делах. Веселый был человек Петр Ермилович и под пьяную руку сам иногда подтверждал этот слух. «Ермилыч» — так обыкновенно звали этого забубенного попа — был человек пьяный, алчный до денег и распутный. В пьянстве всегда доходил до безобразия. Его терпели единственно «ради оскудения священства». Бывало, как только попадет ему в голову, сейчас ругаться. Кто ни попадись на глаза, хоть сама мать Пульхерия, сейчас обзовет ее дурой и раскольницей и начнет обличать раскол и рассказывать все известные ему рогожские тайны. Он прези-

рал раскольников и не упускал ни одного случая посмеяться над ними. На свадьбах, на обедах у богачей, если тут случался Ермилыч, и хозяева и гости, бывало, бога молят, чтобы пронес благополучно. Но этого никогда почти не вымаливали. Как напьется Ермилыч, так и пойдет всех еретиками обзывать и ругаться над расколом. Молодые женщины и девушки к нему и на дух не ходили. С Иваном Матвеевичем он никогда не ладил. Не только при частных встречах, но и в соборных служениях, на которых Ястребов занимал первое место, не упустит, бывало, Ермилыч кольнуть сослужебника.

— Эх, ты, архипастырь! На сивого жеребца святую церковь променял! — скажет ему, бывало, вполголоса.

— А ты, пьяница, на бочку дегтю,— злобным шепотом ответит Иван Матвеевич и набожно возведет горé преподобные очи свои.

Впоследствии, когда, за недостатком попов, прекратились в рогожских часовнях соборные служения и осталось только двое священнослужителей — Ермилыч с Ястребовым, они уж и не встречались. Бывало, Ермилыч в часовню, Иван Матвеевич хоть и служит — ризы долой и вон. Привелось же однако Ермилычу отпевать своего друга. И в чине погребения у него ругательства мешались с молитвами. Не забыл он, сказывают, над гробом преставившегося и сивого жеребца помянуть. Уж на что мать Пульхерия, всегда снисходительная к попам и обвинявшая одного дьявола во всех их безобразиях, и та после говорила, что нехорошо было на похоронах Ивана Матвеевича и грешно.

Особенно тем пугал старообрядцев Петр Ермилыч, что при каждой с ними брани грозил, что сейчас же поедет к митрополиту Филарету, падет ему в ноги, будет просить прощения и дозволения возвратиться в православие — и расскажет все, чтó знает о раскольничьих тайных делах. Много ему денег за то перепало, чтобы он как-нибудь и в самом деле не исполнил такого обещания. Но под конец он возвратился же в православие. В 1854 году, 24-го июня, давая ответы следственной комиссии по делу о действиях Кочуева и других раскольников, Русанов собственноручно написал: «всегда было и теперь желание мое есть присоединиться к православию, но предоставляю это времени». Ровно через четыре

месяца после этого (23-го ноября) он действительно присоединился к церкви на условиях единоверия и остался жить на Рогожском до самой смерти (в январе 1857 года). Обратившись к единоверию, Ермилыч покинул пьянство и прежние безобразия, но алчность к деньгам не оставила его: он продавал редкие книги и прикидывался нищим, выпрашивал подаяния у единоверцев, хотя у него и лежало на сто тысяч рублей процентных бумаг, как говорила дочь его.

Из недозволенных священнослужителей, которых немало перебывало на Рогожском кладбище, упомянем о трех более замечательных: архимандрите Геронтии, иеромонахе Иларии и попе Федоре Васильевиче Соловьеве.

Геронтий был архимандрит греческий, с Афонской, кажется, горы, жил в Оптиной Козельской пустыни и даже некоторое время был в ней настоятелем. Но, вдавшись в пьянство, вдался он и в раскол, конечно, как грек, не понимая вполне его сущности и перейдя к раскольникам единственно из-за денег и из-за обещанной хорошей жизни. В 1825 году Геронтий явился в Макарьев монастырь, где был принят настоятелем Евлогием и всем «Ветковским собором». Но под чин приятия, то есть под миропомазание, Геронтий здесь не ходил, едва ли не потому, что в ветковских монастырях на ту пору не случилось ни беглого попа ни мира. Вскоре грек-раскольник явился на Рогожском, где и был принят попом Алексеевым, посредством миропомазания. Рогожцы очень было возрадовались тому, что совершенно неожиданно попал к ним не поп, а целый архимандрит; но безобразие Геронтия, постоянно бывшего в беспросыпном пьянстве, было так велико, что и они, вообще снисходительные к подобным поступкам пастырей, выслали Геронтия не только с кладбища, но и из самой Москвы (около 1830 г.). Вскоре Геронтий был сослан в Сибирь на поселение за бродяжничество и уклонение в раскол. По увольнении его там на собственное продовольствие, он покинул было раскол и по слезной просьбе был принят в число братства Селенгинского Троицкого монастыря. В 1833 году, отлучась на время из монастыря под благовидным предлогом, Геронтий был найден в Урлукском селении пьянствующим у тамошнего рас-

кольничьего уставщика. При нем найдены запасные дары, старинный антиминс патриарха Иоасафа I и акт, данный Геронтию от ветковского собора Макарьева монастыря и от Рогожского кладбища, свидетельствующий о приеме его в раскол и повелевающий всем старообрядцам оказывать ему уважение и принимать от него, *яко от страдальца*, благословение. Оказалось, что Геронтий правил требы у сибирских раскольников. Дальнейшая судьба его нам неизвестна.

Иларий происходил из купеческого звания и был иеромонахом и казначеем в Спасопреображенском монастыре, что́ в кремле города Казани. Бежал к раскольникам в 1830 году. Он жил то на Иргизе, то в Москве, то в Казани, то в женской обители Игнатьевой Комаровского скита, в Семеновском уезде Нижегородской губернии. Приобретение Илария для раскольников было очень важно: хотя в то время у них было довольно беглых попов, но мало было черных (иеромонахов), необходимых для полного пострижения в иноческий чин. В этом отношении Иларий вполне оправдал возлагавшиеся на него надежды раскольников: в семнадцать или восемнадцать лет пребывания между ними, говорят, он постриг в разных местах до двух тысяч монахов и монахинь. Из этого числа целая половина приходится на долю Москвы. В 1837 году, по обращении Средненикольского монастыря на Иргизе в единоверческий, тамошние отцы успели передать Иларию полотняную церковь во имя Симеона Столпника. С этой церковью Иларий разъезжал по России, служа обедни; бывал он на Дону, на Урале, в Пермской и Вятской губерниях, но преимущественно проживал в Москве, в Казани, при тамошней Коровинской часовне, и в Игнатьевской обители Комаровского скита. В этом скиту священноинок сблизился с сестрою тамошней игуменьи, сделал ее инокиней и своею любовницей. Когда, по высочайшему повелению, возникли розыски Илария, он удалился с своею подругой в Яранский уезд Вятской губернии, где и жил в деревне Починке, под именем нижегородского мещанина Федора Григорьева. Из Починка ездил изредка на Рогожское, а чаще в Казань. В этом городе был взят и предан законному суждению. Его лишили сана и послали в Соловецкий монастырь в заточение.

Во время пересылки Илария в Соловки, раскольники совершили одну из самых ловких своих проделок. И побуждены они были к этой проделке не столько, быть может, ради достижения сектаторских целей, сколько ради удовлетворения горячего чувства черноглазой, краснощекой старицы Елизаветы. Она действительно была очень хороша собой и в пожилых уже летах, а дочери ее и Илария были редкие красавицы. Украли Илария комаровские матери следующим образом. Из Казани он препровождался по этапу, и в одной с ним партии шел до Нижнего Новгорода некто Волков, дворовый человек казанского помещика Палицына, за пьянство и воровство отданный в солдаты и назначенный в нижегородский гарнизонный батальон внутренней стражи. Действуя по плану, наперед обдуманному в Игнатьевой обители, отец Иларий, при выходе из Казани, уговорился с Волковым перемениться именами, обещав ему за то тысячу рублей и обнадежив, что во время пути по Вологодской губернии раскольники отобьют его у конвоя и препроводят в один из скитов, где он спокойно и в полном довольстве проведет остальную свою жизнь. Посулил пропойце Волкову священноинок Иларий вина сколько хочет, сытные обеды, большие деньги, теплые кельи и любую из послушниц или монахинь для сожительства. Волков соблазнился на предложение знаменитого постригателя раскольнических иноков и инокинь. В городе Чебоксарах Иларий обрился, а на следующем этапе, при перекличке пересыльных арестантов, переменились именами: Иларий назвался Волковым, Волков Иларием. В городе Василе Иларий сказался больным и под именем рядового Волкова был оставлен до выздоровления в тюремной больнице. Лжеиларий пошел далее и, не встретив никаких раскольников в Вологодской губернии, переплыл Белое море и попал в Соловках в тюремное отделение, где и отдан был под надзор искусного старца для убеждения его в истине православия и неправоте раскола, о котором Волков и понятия не имел. Но, опасаясь за обман и побег наказания сквозь строй, он решился молчать, тщательно хранить выросшую во время пути бороду и креститься двуперстным сложением. Искусный старец обращался к нему с наставлениями, начинал с ним богословские споры, но Волков молчал, не зная, что говорить. Монастырское начальство отметило его в арестантских списках

самым упорным и закоснелым раскольником, а архимандрит Досифей донес святейшему синоду, что новый заключенник не подает никакой надежды к уразумению святых истин православной церкви. Так прошло немало времени. Не выдержал наконец мнимый Иларий — соблазнился солдатской махоркой. Видит раз искусный старец своего закоснелого старовера среди солдат соловецкой инвалидной команды с трубкой в зубах. Тут все объяснилось. Волков признался во всем и, конечно, не миновал наказания.

А Иларий между тем благополучно дошел до Нижнего и поступил в тамошний гарнизонный батальон. Дело было в конце сентября, и батальонный командир, хорошо знакомый с матерью Александрой, игуменьей Игнатьевой обители, послал обритого священноинока в шинели, вместе с другими солдатами и новобранцами, убирать на гарнизонных огородах капусту. Огороды находились на острове реки Волги. Иларий в тот же день бежал в Заволжье, и счастливая старица Елизавета в крытой кибитке благополучно довезла своего любезного до Комаровского скита. Но здесь Иларию жить было опасно; и страстно любящаяся иночествующая чета, с двумя плодами любви — в образе миленьких девочек, перебралась в Москву, где Иларий и жил до 1848 года, когда умер от холеры, оплаканный верною подругой, малолетними детьми и многочисленными московскими почитателями.

Беглый поп Федор Васильевич Соловьев, хотя и не очень долго жил на Рогожском кладбище, но в короткое время успел приобресть немалое влияние на московское старообрядческое общество. С 1802 г. был он священником в селе Никола-Стан, недалеко от города Мосальска, Калужской губернии, и духовным начальством неоднократно замечаем был в дурном поведении и несообразных с священническим саном поступках. Ожидая по делам своим воздаяния, Соловьев в 1832 году бросил приход и бежал в Тверскую губернию к раскольникам города Ржева. Здесь, вместе с дозволенным правилами 1822 года попом Василием Смирновым, служил он при часовне, находившейся на Князь-Дмитриевской стороне, и по временам приезжал в Москву помогать рогожским попам исправлять требы. В 1836 году его взя-

ли в Ржеве. При производстве следствия Соловьев обратился было к православию, но тотчас же по-прежнему стал раскольничать. Святейший синод, определением 23-го декабря 1836 года, лишил Соловьева сана с отданием его в распоряжение калужского губернского правления, но покойный государь на синодском докладе написал собственноручно: «лучше, лишив священнического сана, заключить в монастырь под строгий надзор». Его поместили в Козельскую Оптину пустынь, где Соловьев в 1839 г. лицемерно раскаялся и просил о возвращении ему иерейского сана. В возвращении сана ему было отказано, но по чиноположению его присоединили к св. церкви. После того он в третий раз впал в раскол; его переводили из монастыря в монастырь, наконец из Архангельского монастыря, что́ в городе Юрьеве, Владимирской губернии, Соловьев бежал (30-го июня 1845 г.) на Рогожское кладбище, где и был принят, как некий великий исповедник, с большими почестями. Но на самом кладбище раскольники боялись держать попа Федора и поместили его в Рогожской части, в квартире вольного хлебопашца Липатова, где он крестил, венчал, исповедовал и причащал присылаемых с кладбища крестьян. В начале 1846 г. он был снова взят и заключен в Суздальский Спасо-Евфимьев монастырь.

Кроме рогожских моленных, в Москве было немало моленных в домах богатых купцов, а в Московской губернии были, кроме того, и общественные моленные. Мы уже упомянули, что в настоящее время (1867) в Москве считается 19 дозволенных, открытых моленных, а в Московской губернии 35. Прежде было более: в 1838 г. их считалось в Москве 28, а в уездах 77, не считая множества тайных.

Три моленные в Москве были устроены с алтарями и престолами: а) в доме бывшего попечителя Рогожского кладбища Николая Дмитриевича Царского, близ Тверской заставы, в Сущевской части, едва ли не на месте существовавшего до 1771 года старообрядческого кладбища; б) в доме бывшего попечителя Павла Филипповича Дунякова, у Москворецкого моста, в Пятницкой части; и в) в доме купца Григорья Степановича Рылова, за Большим Каменным мостом, в Якиманской части.

Из моленных без алтарей особенно замечательны были: в Рогожской части в домах Саввы Борисова, Павла Афанасьевича Баулина (в Таганке), у купцов: Сергея Дмитриевича Худякова и Тимофея Красикова (их обоих общий дом). В других местах столицы: в доме Николая Осипова за Москвой-рекой на Красном холму, Медведева — в Кожевниках, Арженикова — в Покровском, Ивана Афанасьевича Быкова — у Никиты Мученика, Рахмановых, Соколова, Солдатенкова, Окорокова, Карташова и устроенная в 1845 году новая моленная в доме Андрея Александровича Досужева.

Из часовен, находящихся в Московской губернии, особенно были замечательны:

В городе Верее каменная, устроенная по подобию церкви и принадлежавшая всему местному старообрядческому обществу. При ней бывали беглые попы. В тридцатых годах был там поп Иван Петров Сергиевский, беглый из Александровского уезда Владимирской губернии, о помещении которого на Рогожском кладбище в 1829—1832 годах напрасно хлопотали у правительственных лиц московские раскольники.

В городе Коломне деревянная, при доме купца Григория Титова.

Бронницкого уезда в деревне Чулковой, устроенная на подобие церкви, деревянная, на каменном фундаменте, с колокольней.

Серпуховского уезда — в деревне Глазовой.

Московского уезда — в селе Коломенском, составлявшая как бы отделение Рогожского кладбища, и при ней богадельня, а с 1850 года училище.

Больше всего часовен в Богородском уезде (1-го стана) в так называемой Гуслице. Там их было 53, а теперь (1867) 27 одних дозволенных. Из них особенно замечательны: в деревнях Беливе, Заваленьи (в каждой по две часовни), Шувое, Слободищах и Заполицах.

Все эти часовни и моленные находились в прямой зависимости от Рогожского кладбища. В них ничего важного не предпринималось и не делалось без воли и благословения рогожских властей. Конторщики и матери Пульхерия и Александра также в свое время над ними владычествовали.

ЧАСТЬ II

I

КОЧУЕВ.— РОГОЖСКИЙ СОБОР 1832 ГОДА

На правом, высоком и крутом берегу Оки, верстах в семидесяти от ее устья, стоит небольшой городок Горбатов, смежный с большим селом Избыльцом, длинно протянувшимся на полугоре, вниз по течению Оки. Из четырех с половиной тысяч населения обеих местностей едва ли не четыре пятых принадлежит к расколу, хотя большинство по церковным росписям и значится православным. Раскол появился здесь с самого его начала, но до нынешнего столетия содержался лишь немногими торговцами. С этого времени и в Горбатове и в Избыльце развилась прядильная промышленность. Стали приготовлять в значительном количестве бечеву, употребляемую для закрепы краев рыболовных сетей, и отправлять ее на Низ для волжских и каспийских рыбных промыслов. Этим горбатовцы вошли в тесную связь с поволжскими жителями Саратовской и Астраханской губерний, откуда и заимствовали раскол. С другой стороны раскол проникал в Горбатов из села Сасова, Тамбовской губернии, откуда преимущественно привозили на прядильни пеньку. Горбатовцы, отправляя вниз по Волге бечеву, покупали на Низу рыбу и развозили ее для продажи по Верховью. У разбогатевших такою промышленностью купцов и мещан появились при домах моленные, в которых правили службу канонницы с Иргиза, преимущественно же из скитов Семеновского уезда. Таких моленных в двадцатых годах в Горбатове было три и сверх того четыре в Избыльце. Все небольшие и потаенные. Православные церкви опустели, хотя записных раскольников в городе и селе считалось лишь несколько десятков.

В этом городе жил небогатый купец Кузьма Васильевич Кочуев; у него было три сына и несколько дочерей. Двое старших сыновей приучены были к комиссионной торговле и нанимались в приказчики у разных купцов, имевших дела в Астрахани. Меньшой, по имени Авфоний, назначался отцом к тому же занятию. Гра-

моте он учился дома, в Горбатове, а потом жил при старшем брате Корниле, в Астрахани, в тамошнем уездном училище. Будучи лет четырнадцати, он в 1818 году уже закупал рыбу в Черном-Яру для отправки в верховые губернии, а в 1819 году удачно торговал в Казани, затем принялся было за тюлений промысел, но ненадолго. Достигнув шестнадцати лет от рождения, Авфоний Кочуев избрал иное поприще для своей деятельности. Видя, что брат Корнил, уже пятидесятилетний, при всей честности и умении вести торговые дела, по временам оставался с семьей без куска хлеба, энергический и впечатлительный юноша бросил торговлю, как занятие неверное и не обеспечивающее, решась составить себе известность и нажить богатство иным путем — путем сектаторства.

Еще живя на Низу, Авфоний Кочуев сблизился с раскольниками поповщинской секты и, под руководством их, с ранней юности изучал старинные книги. Одаренный редкими способностями, на лету схватывал он познания и в шестнадцать лет был таким начетчиком, что старообрядцы только дивились. Между тем родители его, православные только по имени, с устройством в селе Павлове [1] единоверческой церкви, перешли в единоверие. Авфоний, поступив в поповщину, уговаривал и родителей последовать его примеру, но они пока не соглашались. Затем, начитавшись книг аскетического содержания, он объявил отцу с матерью о намерении оставить мир и посвятить себя отшельнической жизни. Они не соглашались, видя в младшем сыне единственную опору своей старости. Произошла семейная ссора, и Авфоний, оправдывая свой поступок житиями разных святых, без паспорта бежал из Горбатова. Это было в начале 1822 года.

---

[1] Село Павлово на Оке, известное фабрикацией стальных изделий, в старину — Павлов-Перевоз. Под этим именем оно упоминается и в «Розыске» св. Дмитрия Ростовского. Единоверческая церковь построена здесь лет пятьдесят тому назад. Она очень богата; в ней замечательно дорогое напрестольное облачение, сделанное из лионской серебряной с золотом парчи, заказанной в 1797 году для короновальной робы императрицы Марии Феодоровны, но оставшейся без употребления, потому что Павел I ускорил своею коронацией, желая ее совершить в день Светлого Воскресенья 5-го апреля. Парча была привезена позднее, и ее купили впоследствии павловцы.

В Хвалынске жило тогда богатое купеческое семейство Михайловых, они же и Кузьмичевы, состоявшее из нескольких братьев и сестер. Они были раскольники поповщинской секты. Кочуева Кузьмичевы знали. Будучи на Низу, он исполнял некоторые их поручения по торговым делам. К ним-то в 1822 году явился под видом круглого сироты Авфоний, прося покровительства и приюта. Кузьмичевы, заметив в юноше фанатическую ревность к расколу, с радостью приняли его и сделали своим приказчиком. Восемнадцатилетний Кочуев до того вкрался в доверенность хозяев, что сделался главой их дома. Хитрый, изворотливый, он направлял все действия богатых своих покровителей к развитию поповщинской секты в Саратовской губернии, заставлял их делать большие денежные пособия бедным поселянам, выкупать на волю из крепостной зависимости склонявшихся в раскол, раздавать по деревням безмездно значительные запасы хлеба и т. п. Этим он хотел приобрести доверенность и уважение толпы простолюдинов и вполне достиг своей цели, ибо все, облагодетельствованные Кузьмичевыми, знали, кому они обязаны своим счастьем. Свободное время Кочуев посвящал изучению русской истории, греческого и латинского языков, а в особенности чтению старопечатных и старописьменных русских книг. Кузьмичевы находились в близких сношениях с Иргизом, особенно с Верхнепреображенским монастырем. И Кочуев, посредством их, сблизился с тамошней братией, а особенно с отцом Силуяном, человеком умным, хитрым и энергически деятельным. Получил молодой Авфоний почетную известность на Иргизе, снискал он уважение старообрядцев города Хвалынска, но дом Кузьмичевых и влияние на хвалынских раскольников не удовлетворяли его. Тесны и недостаточны для широкой натуры Кочуева были достигнутые им общественные отношения: он жаждал известности, громкой славы, обширнейшего круга деятельности, почестей и богатства, мечтал о влиянии на всех русских старообрядцев, мечтал быть главой их, руководителем, первым человеком во всем старообрядстве. Мечты не давали покоя честолюбивой душе его, и Авфоний долго придумывал средства к их осуществлению. Он составил наконец план действий, изумивших впоследствии его почитателей и высоко подняв-

ших горбатовского беглеца во мнении всего старообрядческого люда.

Сделался Авфоний задумчив, избегал людей, мало стал говорить с самими Кузьмичевыми. Все, бывало, сидит над книгами. Наложил на себя строгий пост и редко выходил из своей комнаты. Затем стал отлучаться, куда — никто не знал. Таинственные отлучки делались все чаще и чаще, и наконец в исходе 1822 года Кочуев исчез из дома Кузьмичевых. Все разведывания их о возлюбленном приказчике были напрасны. Как в воду канул молодой горбатовец.

Через полгода, то есть летом 1823 г., в приволжском крае разнеслась между раскольниками весть о проживающем в лесах Саратовской губернии пустынножителе, молодом, умном, начитанном, проводящем дни и ночи в посте и молитве. Открыли его келью, им самим построенную, и потекли к ней толпами старообрядцы. Отшельник объяснял им догматы раскола, его начала и основания, проповедуя, что спасение можно получить только через обращение в старую веру и неуклонное хранение древних русских обрядов и обычаев. И старообрядцы и православные с благоговением слушали проповеди пустынника, не открывавшего своего имени. Немало было совращений в раскол. Богатые люди всеми силами старались привлечь «святого мужа» в дом свой, но напрасно. Наконец узнали, что этот сладкоглаголевый отшельник — Авфоний.

Когда узнали его имя, он покинул пустынную келью и ушел в Жигулевские горы на безмолвие. В Жигулях много пещер, где в старые годы живали сподвижники Стеньки Разина и волжские разбойники, а с половины XVIII столетия калугеры, странники, пустынники и бегуны. В одной из таких пещер поселился Авфоний и обрек себя на тяжкий подвиг молчальника. Рыбные ловцы приносили ему хлеб из соседних селений, стали стекаться к нему старообрядцы, особенно женщины, чтобы поплакать о грехах и принять благословение «преподобнаго». Подле Авфониевой пещеры оказался родник прекрасной воды, она была оглашена целебною, даже чудотворною. Поставили над ключом икону, за ней другую, третью, и вот образовалась небольшая часовня, в которой день и ночь молился наш молчальник, истово творя крестное знамение двуперстным сложением и пе-

ребирая кожаную лестовку. Более и более народу стекалось в Жигули к Авфониевой пещере, наконец и здесь узнали имя молчальника. Тогда Кочуев удалился в Симбирск.

Верстах в двух от этого города, в саду раскольника Мингалева, между оврагом и вишневыми деревьями была пещера, в которой и поселился Кочуев. Сюда пришел он в одной рубашке, в веригах, и на шее носил большой медный крест. Тут он принял на себя третий подвиг — подвиг юродства. Однажды Мингалев, обозревая сад, увидел в пещере молящегося по-старинному юрода и пришел в восторг от такой благодати. Он предложил ему дом свой. Юродивый ничего внятно не говорил, но только знаками просил Мингалева дозволить ему остаться в пещере. Мингалев согласился. Он спрашивал, как зовут его? «Авфоний»,— промычал юрод, а Мингалеву послышалось: «Афоний». И прозвали Кочуева «Афоня блаженный».

Он бродил по саду, и к нему стали стекаться симбирские и окрестные раскольники. Приходили и хлысты, которых довольно много в Симбирской губернии. Старая девка, хлыстовка, старалась склонить Кочуева в свою веру, где юродство в столь большом уважении, но «Афоня блаженный» не прельстился на ее слова и в старой девке нашел злого врага. Едва ли не через нее проведала о блаженном городская полиция и, как бесписьменного, арестовала. Стали Афоню расспрашивать, кто он такой,— он молчал. Высекли Афоню розгами, лили ему на голову холодную воду, делали иные истязания,— слова не промолвил. Наконец отпустили его на поруки симбирскому купцу, ревностному поборнику раскола, Ивану Ивановичу Константинову.

Заточение, истязания и твердость, с которою Кочуев перенес их, мгновенно распространились между симбирскими раскольниками, и они провозгласили неизвестного юрода святым человеком, страдальцем за веру. Стали приезжать в Симбирск старообрядцы и из других городов на поклонение ему; приехали Кузьмичевы и узнали в нем давно отыскиваемого ими возлюбленного своего приказчика. Кочуев сбросил личину юродства и заговорил. Он поспешил объяснить Кузьмичевым, что и в лесу, и в Жигулях, и в Симбирске действовал он с единственною целью упрочения и прославления старой веры.

Кузьмичевы, привыкшие видеть в Кочуеве человека необыкновенного, возымели к нему еще большее уважение, еще большее доверие. Но возвратиться к ним в Хвалынск Кочуев не согласился, сказав: «Будет еще время».

Достигнув таким образом славы между поволжскими раскольниками, он, прекратив юродство, сменил имя Афони на имя «Афонасия», около трех лет прожил в Симбирске, наверху дома Константинова, и был уставщиком в часовне Мингалева. Зная, что богатство есть первое средство к достижению значения и силы, Кочуев, хотя и смиренно, но не без удовольствия принимал щедрые пожертвования, посылавшиеся к нему со всех сторон. Не переставал он покупать древние книги и изучать их. В Симбирске сблизился он с купеческим семейством Вандышевых и на восемнадцатилетнего юношу из этого семейства, Петра Васильевича, приобрел решительное влияние.

Между тем сведения о приключениях Авфония достигли Горбатова. Они огорчили приближавшегося к гробу престарелого отца его. Огорчило его посрамление любимого сына. Купеческий сын, сеченный в полиции! Огорчили его и слухи о его нечистой жизни, о которых старик Кочуев узнал из безымянного письма мстительной девки-хлыстовки. Он звал сына в Горбатов, вызываясь прислать ему паспорт. Сохранилось ответное письмо Авфония, письмо длинное, широковещательное, из которого представляем выдержки, характеризующие писавшего в эту эпоху его жизни.

«Паки запят есмь злокозненным врагом, паки князь тьмы и страстных сладостей родитель — плененна мя сотвори... Почто так изволите себя беспокоить и сетовать мене ради всестрастнаго, ибо не стòю ни малейшаго внимания, не желаю вашего сожаления, котораго не стòю ниже помыслить—недостойный аз, ниже могу нарещись сын ваш... Аз, непотребный, пребываю в пространстве и не вижу дражайшаго ми креста, еже есть скорби, беды и напасти. Аще и есть некоторыя, по зависти дьяволи, но сии весьма малы моему окаянству, и оныя не меня, но паче вас оскорбили тщетно, благоутробные мои родители... В письме вашем (от 21-го февраля) узрел великую вашу печаль и сетование, которое имеете тщетно, нанесенное вам от противника. Но жаль, что так медленно оное у вас продолжается, и не

мог скорее вас освободить от него... Также имею побуждающих мою совесть к вашему сожалению доброжелательных страннолюбцев, из коих первая есть Елена Васильевна, мать Ивана Ивановича (Константинова), иметь меня вместо сына, чего не смею и помыслить. Истинно от врага сие ваше ко мне великое сожаление и мое к вам усердное благорасположение, чего нетерпеливо желает и разные свои многокозненны умыслы, сети и козни поставляет и сам тщится прекратить мой путь, от них же да и избавит мя всевышний творец... Но зрите еще его (дьявола) льстивии козни, ибо нецыи зде в неведениях и ересех находящиеся, подвижением сатаниным движими, сплетают лесть и оскорбляют своими злохитрыми словесы вас, невинные и дражайшие мои. А именно сие произошло от некоей нечестивой старой девицы, которая оказала мне все свое усердие с тем мнением, дабы прельстить меня в свою проклятую веру, еже есть хлыстовщина именуется, а по писанию евхитска ересь. Не терпяще обличения и укорения своей безбожной веры, паче же законопреступной ереси проклятой святыми богоносными отцы, обаче не яве и пространне сие сотвори, но отай, завистию сатаниною и ины некия плотскии вины прилагающе, яко да о неведении вашего и от ищущих вины погибели лукавых глаголю, бесов, дабы вы сим прельстились, соблазнились и поверовали. Корень такого лукаваго дьявольскаго суда и подобных им, ради вашего утешения, спасения и спокойствия, христоспоспешествующу, искорените да подвигнитеся. Аз же зде господу богу и Спасу нашему и пречистой его матери и всем святым его споспешествовавшим, еже по силе моей не обленихся понудити себе к защищению святыя, соборныя и апостольския церкви, ибо испытано бысть о всем опасно и яве очищена быша вся ея догматы, вещи и тайны благодатию Христовою. Поистине, несть, непотребный и грешный! ни единаго слова к душеполезному наставлению и извещению истины. Сего ради не отверзаю уст своих и бых яко человек не слышах и не имый во устех своих обличения божия. Приходящие же к моему окаянству христолюбивые поборники благочестия приемлют пользу от божественных книг, которых у меня ныне довольно, по милости божией. Точию мои недостойные очи и персты служат к их пользе, которыми могу сыскать яже им на пользу, но сами читают, ибо и

сему недостоин есмь, но богу тако изволившу, ради прочих спасения, попусти мне дерзнути на сие, яко же и древле скверными Валаамом учаше, тако и ныне моим окаянством... Не сия ли есть вина сему (что не соглашаются ему дозволить удалиться от мира, вероятно, в раскольничий монастырь), дражайшие мои, яко не в правоверии находимся? Сего ради богом вас прошу, потщитесь испытать сие опасно, ибо тако есть писано: «аще и вся добродетели исправит человек, а неправо верит, ничто же себе пользы получит, но со еретики осудится». И ныне *избавихся от заблуждения*, чего и вам желаю всем сердцем. Нет времени ясно вам писать — не поспею на почту. Сего ради богом вас прошу помолиться о мне всемогущему богу. На что, драгие мои, просите, чтоб меня показать нашим купцом? Чего не желаю. Или что так нетерпеливо желаешь видеть мое недостоинство, дражайшая сестрица, ибо груб есмь и невежда и не можете ни малейшия пользы от меня получить... Паспорта от вас не желаю и вас не требую, а что̀ случится, то извещу. Если придет обо мне сообщение в магистрат, то попросите, господа ради, общество, дабы уволило навсегда мое окаянство, ибо уже оказался никуда непотребен».

Не знаем, продолжалась ли после этого переписка у Авфония с отцом; знаем однако из последующих обстоятельств, что все, о чем ни просил сын в приведенном письме, отцом было исполнено. Горбатовское городское общество дало ему увольнительный вид, в котором, называя Авфония глухим и немым, дозволяло ему вступить в монастырь. Родители и вся семья Кочуевых обратились в раскол: в 1830 году умер старик Кочуев и похоронен в Оленевском ските. В этот скит поступила его вдова Дарья Осиповна и старшая дочь Авдотья Кузьминична. Обе постриглись: одна в 1833 году под именем Досифеи, другая под именем Елизаветы. Другие сестры Авфония были замужем за раскольниками.

Получив увольнение от горбатовского общества, Авфоний Кузьмич недолго оставался в Симбирске. О сильном влиянии его на раскольников и совращении им многих православных дошло до сведения правительства. Избегая беды, он скрылся у Кузьмичевых, а отсюда перебрался в Верхнепреображенский Иргизский монастырь. Это было в 1828 году.

Настоятелем Верхнепреображенского монастыря в то время был престарелый инок Гавриил, но делами управлял Силуян, человек умный, хитрый, довольно начитанный и еще не старый. Ему не было и сорока.

Уроженец Александровской слободы, Гальяны тож, что подле города Александрова, Владимирской губернии, сын крестьянина конюшенного ведомства, Семен Никифоров, будучи лет шестнадцати от роду, поступил половым в один из московских трактиров, отлично выучился играть на бильярде и перед нашествием Наполеона сделался лучшим по Москве маркером. Глядя на красивого парня в белой коленкоровой рубахе, с кием в руке, похаживавшего вокруг бильярда и возглашавшего число очков, кто бы мог подумать, что он вместе с Кочуевым возгласит первое слово об учреждении заграничной старообрядческой иерархии?

Вскоре по изгнании неприятеля, когда один рекрутский набор следовал за другим, искусный маркер сдан был обществом в рекруты. Служить ему не хотелось, и, не дойдя до полка, Никифоров бежал. Нигде лучше нельзя было укрыться дезертиру, как у раскольников. Сменив кий на лестовку, маркер в качестве странника явился в 1816 году в Верхнепреображенский Иргизский монастырь, поступил в число братства, постригся, приняв имя Силуяна, и при помощи сильных старообрядцев, по чужому паспорту, приписался к хвалынскому городскому обществу.

Престарелый и почти совсем уже ослепший игумен Нижневоскресенского монастыря, знаменитый в истории старообрядства схимник Прохор, оказавший много услуг Иргизу и, между прочим, лично у императора Павла в Гатчине исходатайствовавший избавление от рекрутской повинности жителей Иргиза, а потом получивший от его щедрот шесть тысяч рублей на возобновление сгоревшей в Преображенском монастыре церкви [1], Прохор, сорок лет правивший всеми иргизскими монастырями и по всему старообрядству считавшийся за ревностнейшего поборника «древляго благочестия», в 1828 году, согласясь на убеждения саратовского губернатора князя Голицына, дал подписку о присоединении к единоверию. Ужас объял Иргиз и все старообрядские общины.

[1] Привезены тайным советником Руничем.

Силуян, дотоле еще мало известный, завел по этому случаю деятельную переписку с Рогожским обществом в Москве, с Королёвским в Петербурге, с Рязановым в Екатеринбурге, с Казанью, Пермью, Керженцом, Доном, Уралом и линейными казаками на Кавказе. Деятельным помощником Силуяна и редактором этой переписки был вновь прибывший в монастырь послушник Авфоний Кузьмич, сделавшийся монастырским секретарем.

Отовсюду посыпались грозные упреки на Прохора. С помощью Кочуева, Силуян (сам не мастер он был писать) составил увещание старику и частью уговорами, частью угрозами добился того, что Прохор отказался от данной подписки. Это возвысило Силуяна в глазах старообрядчества, и в 1830 году, по смерти Гавриила, он был единогласно выбран в игумены Верхнепреображенского монастыря, в котором, за обращением Воскресенского в единоверческий, образовался новый центр Иргиза. Сам маститый схимник Прохор, по распоряжению правительства доживавший дни свои в этом монастыре, сделался подначальным Силуяну. И до 1841 года, то есть до тех пор, когда последний из иргизских монастырей, Верхнепреображенский, был обращен в единоверческий, Силуян стоял во главе иргизского братства. Об участии Кочуева в противодействии распространению единоверия на Иргизе также разнеслась весть по старообрядству. И вот имя его, пустынного учителя, молчальника, блаженного юрода, страдальца за веру, ревнителя по древлему благочестию, знатока святоотеческих книг, исповедника, проповедника, со славою промчалось повсюду. Достигал своей цели Авфоний Кузьмич.

Незадолго перед тем поступил в Верхнепреображенский монастырь воспитанник и наперсник Кочуева, Петр Васильевич Вандышев, принявший в пострижении имя Платона. Вандышевы были люди достаточные и находились в родственных связях с богатыми купеческими старообрядческими домами Казани, Саратова и других приволжских городов. Чтение, под руководством Кочуева, прологов и патериков о жизни и подвигах пустынников, распеваемые Авфонием псалмы об Алексее человеке божием, покинувшем богатый дом родителей и молодую, прекрасную невесту, об индейском царевиче Иоасафе, что̀ по внушениям учителя своего Варлаама про-

менял сладкие яства на гнилую колоду, царские вина на болотную воду, казну золотую на власяницу, Индейское царство на дикую пустыню,— воспламенили впечатлительную натуру юного купчика. Воспитанный отчасти по-светски, любивший и тонкие вина, и карты, и даже танцы, немножко знавший по-французски, большой охотник до светской литературы, особенно до исторической,— Вандышев, оставив дом родительский и, как говорят, приготовленную ему невесту, бежал на Иргиз по указанию Авфония. Мать и невеста бросились в погоню. Но, достигнув Преображенского монастыря, они встречены были молодым человеком в иноческом одеянии. Не было больше Петра Васильевича Вандышева: перед ними, опустив глаза, смиренно стоял старец Платон. Иргизские монахи без искуса, без испытания, постригли его в тот же день, как он прибежал к ним, не забыв взять из дома значительную сумму денег. Платон вскоре сделался казначеем Преображенской обители.

Живя в монастыре, отец Платон по молодости увлекался иногда мирскими соблазнами и впадал в греховную суету. Но не беспросыпное пьянство, укоренившееся издавна на Иргизе, составляло утешение отца Платона. Вкусивший несколько от плодов симбирской цивилизации, он был непрочь попировать иной раз с приятелями, но в таком случае не полуштофы кабацкой сивухи, а тонкие вина, в бутылках с золочеными этикетами, являлись на столе иночествующего сибарита, и монашеская келья оглашалась звуками гитары, пением страстных романсов, стихами Пушкина, звуками пламенных поцелуев с сестрами Покровского монастыря и частым хлопаньем пробок если не шампанского, то, по крайней мере, знаменитого в ту пору цимлянского. Нередко, окруженный бутылками, отец казначей закладывал приезжим приятелям банк или целую ночь напролет проигрывал с ними в ландскнехт и трынку. Но все прощалось Платону ради его рода, ради его ума, денег и огромных связей по всему Поволжью.

И секретарь монастырский Кочуев и казначей Платон были искренними друзьями отца Силуяна и постоянными его собеседниками. Четвертым в их монастырском обществе был эконом монастыря, инок Афанасий, человек совсем иного склада. Вышел он из простых мужиков, но, благодаря природному уму и редким способностям,

стал он неизмеримо выше других иргизских монахов и сделался наперсником Силуяна. Он был еще молод, только годом старше Кочуева: в 1830 году ему исполнилось 27 лет.

Абрам Абрамович Кулябин был сын казенного крестьянина Вятской губернии. От рождения старообрядец, лет двадцати от роду покинул он родину, поселился на Иргизе и постригся в иноки, приняв имя Афанасия. Он так же, как и названные выше лица, много читал и начитанностью приобрел уважение в среде старообрядцев и большое на них влияние. Находясь в дружеских отношениях с главой глазовского раскола, Ионою Телицыным, с глазовским купцом Лысяковым, с самарскими купцами Абачиными, хвалынскими — Кузьмичевыми или Михайловыми и села Мечетного Мальцовыми, этими столпами местного старообрядства, Афанасий, посредством этих благоговевших перед ним людей, имел громадное нравственное влияние на приволжских и прикамских старообрядцев. Слава о нем в тридцатых и сороковых годах гремела во всех старообрядческих общинах восточной части Европейской России. Казаки уральские и линейные благоговели пред Афанасием. Впоследствии он сделался старообрядческим епископом.

Весело и привольно жил на Иргизе этот избранный кружок молодых иноков. Они властвовали над монастырем. Кормя братию и дозволяя ей пьянство и разгул, они во всем остальном держали ее в ежовых рукавицах. Остальные монахи и даже попы были рабами избранного кружка. В неменьшей зависимости от них находился и соседний Верхнепокровский женский монастырь. Прямо тропинкой от мужского и женского монастыря не более версты. Хотя и в том и в другом ворота запирались, но были калиточки, и иноки с инокинями проводили не только дни, но и ночи друг у друга. Избранный кружок не ходил в гости к покровским инокиням. Монахини, послушницы и даже гостьи являлись в кельи Силуяна, Платона, Афанасия и Кочуева, по назначению. Это не считалось грехом: «это не грех, а только падение», говорили иргизские подвижники и подвижницы. Сама покровская мать-игуменья Надежда благодушно взирала на грешки своих евангельских дщерей и сквозь пальцы смотрела, как они под вечерок шмыгали в калиточку и пробирались заветною тропинкой к ожидавшим

их в Преображенской обители иночествующим любовникам.

Был у отца Силуяна еще друг-приятель, богатый купец города Вольска, Гурий Иванович Суетин, один из умнейших и влиятельнейших старообрядцев поволжского края. Снимая в Заволжье, близ Иргиза, обширные участки казенной земли под хлебопашество, имел он там немало хуторов, а подле Вольска, в котором жил, обширные сады. Имея торговые дела на Кавказской линии, он часто бывал и подолгу живал в тамошних старообрядческих станицах и приобрел там огромное нравственное влияние на своих единоверцев. Занимаясь исполнением торговых поручений от разных купцов-раскольников, Гурий Иванович находился в коротких, дружеских связях с главными членами Рогожского общества в Москве, с богатыми старообрядцами Петербурга и нижнего Поволжья. Влиятельные старообрядцы Саратова, Сарапула и Екатеринбурга находились в близком родстве с Суетиным. Одаренный обширным умом, предприимчивостью и редкою энергией, Суетин был человек старого закала, патриархальный домовладыка. Не только будучи во временных отлучках, но даже находясь впоследствии в ссылке в Кутаисе, посредством переписки он распоряжался и домом, и хозяйством, и семьей до малейших подробностей. Из его переписки, находившейся у нас под руками, видно, что сыновья, имевшие уже своих детей лет по пятнадцати, ворочая сотнями тысяч, сюртука не смели сшить без отцовского приказания из пожизненной ссылки. Старший сын его Иван Гурьевич был деятельным помощником отца и по делам торговли и по делам секты. Он воспитывался в московской коммерческой академии и был хорошо образован. Старик Суетин не считал образования помехой расколу и впоследствии внучат помещал в коммерческую академию и другие учебные заведения. Чуждаясь православия, он не чуждался православного духовенства, и когда в Вольске была учреждена кафедра викарного архиерея — Суетин был в восторге от такой чести родному и горячо любимому им городу и деятельно хлопотал об устройстве епископского дома, скупал для него сады и пр.

Раз, обозревая свои хутора, Гурий Иванович заехал в Верхнепреображенский монастырь к другу своему, Силуяну. Отслушав, по обычаю, в часовне длинную

уставную службу, потрапезовав с братией в келарне, почетный гость отправился в игуменские кельи. Там, кроме Силуяна, находился эконом Афанасий, казначей Платон и секретарь Кочуев. Сели собеседники за стол, уставленный, по скитскому обычаю, икрой, балыками, разными соленьями, орехами, пряниками, пастилой, финиками и ягодами. Греховных утешений, разумеется, тут не было. С Гурием шутить было нельзя: он постоянно носил толстую, суковатую палку, знакомую спинам иргизских монахов и даже монахинь. За чаем, пуншем, мадерой и цимлянским повели беседу о тесных обстоятельствах старообрядства.

Главнейший и богатейший иргизский монастырь Воскресенский обращен в единоверческий. Ходят верные слухи, что и с другими будет то же. Иргизу, этому Иерусалиму русского старообрядчества, грозит падение. Строго воспрещено иргизским попам отлучаться из монастырей. Строго запрещено вновь принимать беглых священников. Строго запрещено разъезжать по России иргизским монахам и вновь принимать их. Строго запрещено принимать поклонников, стекавшихся на Иргиз из разных мест России и даже из-за границы. Заграничным раскольникам вовсе запрещено переходить, хотя бы и на время, в русские пределы. Моленные и часовни по всей России описаны, и вновь не дозволено ни новых строить ни старых починять. Запрещено инокам называться иноками и носить иноческую одежду. Стали ссылать старообрядцев в Закавказье. Назначали в Пермской губернии миссионеров из духовенства, которые на первых же порах нанесли сильный ущерб старообрядству. Но всех бед горшая беда — «оскудение священства». Вот что̀ было предметом беседы в келье отца Силуяна. Что̀ же будет? Что́ делать? Оскудение священства уже и теперь, тотчас же после состоявшихся воспретительных постановлений, сделалось тягостно, а впереди неизбежно что-нибудь одно: или идти в беспоповщину, или принять единоверие. Ни того ни другого не хотелось. Что́ же надо делать?

Объединить все старообрядство правильным иерархическим началом и господствующей церкви противопоставить свою собственную, независимую и канонически устроенную церковь. Вот что́, по мнению собеседников, надо было сделать.

Но как этого достигнуть? Толковали много и наконец договорились, что искание архиерейства и учреждение не зависимой ничем от господствующей церкви старообрядческой иерархии составляет единственный выход из тяжкого их положения. Но где взять архиерея, где устроить ему кафедру, безопасную от преследований правительства, которые, разумеется, тотчас же последуют?

Недоумевали собеседники. И поднял свой голос Авфоний: «Непременно и неотложно надобно учредить архиерейство,— сказал он. — Поискать надо, нет ли где на Востоке епископов, сохранивших «древлее благочестие», а если таких не сыщется, пригласить русских, если же не пойдут, то греческих, и принять согласно правилам святых отец. Жительство же устроить непременно за границей, и всего лучше в Буковине, так как тамошние старообрядцы имеют привилегии от австрийских императоров, а турецкий султан теперь, после войны, всякую волю русского правительства исполнит и, по требованию его, старообрядческое архиерейство разорит».

В восторг пришли слушавшие слова Кочуева. А он стал развивать план действий.

— Но это будет стоить больших денег,— заметил он.

— За деньгами не постоим,— закричал Суетин,— что имею — все отдаю, и Москва мошной тряхнет, целый синод архиереев добудем.

Авфоний принялся писать проект об устройстве заграничной иерархии. Суетин известил об иргизской мысли своего приятеля, одного из влиятельных людей Рогожского общества и кладбищенского попечителя, Ивана Васильевича Окорокова; этот сказал Шелапутину, Федору Рахманову, Ивану Александрову и Федору Карташеву. Всеми мысль иргизская была принята с восторгом. То льстило особенно этим рогожским тузам, что вот добудут они архиереев и станут помыкать ими, командовать над ними. Не попа какого-нибудь беглого, что́ на сивого жеребца церковь сменял, не какого-нибудь скитского игумена, бродящего за сбором, а самого преосвященного владыку изругать иной раз можно будет и всяким иным образом его «поначалить». Вот что́

льстило. Таковы расчеты имели знаменитые рогожские толстосумы.

Сказали названные выше рогожцы об иргизской затее попу Ястребову. Обрадовался поп и благословил начинание. До поры до времени дело сохраняли в тайне. В то время Рогожское общество находилось в сильном волнении. Оскудение священства до такой степени взволновало московских старообрядцев, что, несмотря на рассказанную уже выходку попа Ястребова, многие из них вновь стали громко поговаривать о принятии на кладбище единоверческих священников. Только небольшое число закоренелых фанатиков оставались упорными защитниками прежних порядков. Им-то для сохранения своего влияния и было необходимо придумать какое-нибудь средство против грозившей опасности остаться без попов и видеть падение своей секты. Для обсуждения столь важного вопроса, старшины Рогожского кладбища решились в начале 1832 года собрать на собор людей начитанных и уважаемых из всех главных пунктов русского старообрядства.

Зимой 1831—1832 года двинулись на Москву послы из Ветки, из Стародубья, Керженца и Иргиза, из Саратова, Перми и Екатеринбурга, из Казани, Ржева, Торжка и Твери, из Тулы, Боровска и других городов. Приехали казаки донские, уральские и линейные — всех казаков до сорока человек.

Представителем Ветки был престарелый игумен Лаврентьева монастыря, Симеон, еще в 1798 году поступивший в настоятели по смерти игумена Феофилакта, о смерти которого так много сожалел граф Николай Петрович Румянцев, вотчинник трех мужских и одного девичьего ветковских монастырей. Симеон наследовал милости и почет покровительствовавшего ветковским обителям канцлера, заведовал другими мужскими монастырями и даже девичьим, по особому предписанию управляющего гомельским именем фон-Фока. Из Стародубья прибыли: настоятель Покровского монастыря Рафаил, старец чрезвычайно уважаемый старообрядцами, и настоятель Никольского монастыря Сергий с старцем Ипполитом. С Керженца — престарелый Илия, игумен Улангерской обители, и настоятель керженского Благовещенского монастыря Пафнутий, гусляк родом, у которого в монастыре жил инок Дионисий, родной брат пер-

вейшего столпа Рогожского общества, знаменитого толстосума Федора Рахманова. С Иргиза явился Силуян, а с ним и затейник дела — Кочуев. В числе мирян представителем старообрядцев Саратовской губернии был Гурий Иванович Суетин.

Собрание депутатов назначено было не в Рождественской часовне, как водилось дотоле, а в комнатах конторы. Из рогожского духовенства тут находились: Иван Матвеевич Ястребов, Ермилыч и другие. Из московских старообрядцев заседали только старшины и попечители, именно: Антип Дмитриевич Шелапутин, Федор Андреевич и Василий Григорьевич Рахмановы, Николай Дмитриевич Царский, Василий Ефремович Соколов, Федор Боков, Максим Горелов, Иван Александров, Федор Карташев; сын умершего попа, занимавшийся делами Шелапутина по Рогожскому кладбищу, Василий Акимов; Иван Васильевич Окороков, Егор Воробьев, Неокладной, Свешников, Мотылев и другие. Совещание началось рассуждениями на вопрос — принимать или не принимать единоверие. Говорили и за и против. Просил слова и секретарь иргизский. Силою красноречия и блестящими софизмами успел он убедить собрание, что только старая вера непреложна и истинна, что только она одна дает жизнь и вечное спасение. Могучим помощником Авфонию явился поп Иван Матвеевич, слово которого было законом для многих раскольников, особенно для его духовных детей, которых много было на соборе. Тут же связал он московских старшин, а затем постепенно и всех остальных страшною клятвою никогда и ни в каком случае не покидать старообрядства и под страхом вечного осуждения не открывать имеющей возвеститься великой тайны. Затем объявил, что в собрании находится великий подвижник, страдалец за веру отеческую, от господа одаренный разумом и книжным учением.

— Он возвестит вам тайну сию,— сказал поп Ястребов,— он укажет средство отклонить навсегда затруднения в недостатке священников; он даст нашему богоспасаемому обществу новую силу, крепость и жизнь. Вот он,— сказал поп, выводя Кочуева на середину.— Отверзите уши ваши и того послушайте.

Смиренною, притворно-робкою поступью вышел на середину, ведомый старшим рогожским попом, невзрачный, приземистый, худощавый, двадцативосьмилетний

Авфоний. Осуществлялись пылкие его мечтания: что думал он в Хвалынске, в саратовском лесу, в Жигулях, в Симбирске, то сбывалось. Ему внимают именитейшие старообрядцы царствующего града Москвы, на него с уважением смотрят представители старообрядства всей России. Тихим, ровным, вкрадчивым голосом изложил он проект свой.

Для осуществления предположения Кочуев предложил сначала съездить в Петербург и попробовать достигнуть предназначенной цели путем законным; в случае же неудачи послать доверенных лиц в Турцию и Грецию, чтобы склонить к себе одного из находящихся не у дел митрополита. О месте пребывания будущего раскольничьего иерарха не сказал ни слова. Да об этом на сей раз никому и в голову не пришло.

Тем не менее предложение иргизского секретаря принято было с восторгом, хотя и не всеми. Кроме Ястребова, все рогожское духовенство, как не имевшее доселе ни от кого законной зависимости, никак не хотело согласиться на осуществление проекта Кочуева и предлагало остаться по-прежнему. Царский с своею партиею настаивал, чтобы, не вдаваясь в такое новое, еще неверное и во всяком случае опасное дело, ходатайствовать у правительства о восстановлении силы правил 1822 года относительно приема вновь беглых попов. Но Шелапутин, Федор Рахманов, Боков и Горелов крепко ухватились за мысль Кочуева и предлагали тотчас же просить у правительства дозволения иметь своего епископа, обещанного в прошлом столетии, а в случае решительного отказа — устроить тайно старообрядческую иерархию. Василий Григорьевич Рахманов и Федор Ананьевич Карташев, сначала молчавшие, теперь сильно поддерживали эту мысль. Кочуев торжествовал. Для примирения разделившихся партий он предложил вести два дела разом: ходатайствовать о восстановлении правил 1822 года, представив правительству записку о невозможности старообрядцам присоединиться к единоверию, и в то же время вести дело об учреждении иерархии. И то и другое он принимал на себя. Все согласились, кроме попов. Они с негодованием оставили собрание, разумеется, за исключением Ивана Матвеевича.

Рогожский собор имел не одно заседание. В виду «оскудения священства» постановили некоторые правила

в явную противность установленным древнею церковью правилам, оправдывая себя любимым выражением старообрядцев: «по нужде и закону пременение бывает». Таким образом на этом соборе установлена была заочная исповедь, предоставлено право не имеющим иерейского сана чернецам не только исповедовать и приобщать, но даже постригать в монашество. Пользуясь таким расширением власти, некоторые монахи, по захолустьям, венчали даже свадьбы.

Стали толковать о людях, способных на подвиг хождения по разным иноземным государствам для отыскания архиерейства. Лаврентьевский игумен Симеон заявил, что у него в монастыре есть монахи, не по одному разу бывавшие за границей, люди смелые, ловкие, предприимчивые, имеющие связи и знакомства с монахами раскольничьих монастырей в Турции, Молдавии и Буковине. На отправление сих паломников нужны были деньги. Открыли подписку и в самое короткое время собрали два миллиона рублей ассигнациями. Главными жертвователями были: Шелапутин, Федор и Василий Рахмановы, Федор Карташев, Иван Окороков, Егор Воробьев, Николай Царский, Неокладной и Свешников. Собранные деньги положили на Рогожском, а распорядителем их сделался Кочуев, переехавший на кладбище, где ему дали один из двух домов конторщика Синицына. Решено было привлечь и Королёвское общество в Петербурге к участию в этом деле и к пожертвованиям. В Петербург для этой цели вызвался ехать Федор Рахманов.

II

КОРОЛЁВСКИЕ

Спустя полвека после того, как в русском народе возник церковный раскол старообрядства, в то самое время, когда он начал распадаться на секты поповскую и беспоповскую, волею Петра I на берегах Невы возникла новая столица. Основатель ее не жаловал раскольников. В фанатических защитниках старины он видел закоренелых врагов своих нововведений и торжественно объявил их «лютыми неприятелями, государю и государству не-

престанно зло мыслящими». При всей широте своего воззрения на свободу совести, для них одних признавал он необходимыми меры неумолимой строгости. Всякого звания и всякого вероисповедания людей желал он видеть в новой столице, не желал одних раскольников. Раскольники не любили Петра и в свою очередь не желали из старых, русских «богоспасаемых градов и весей» переселяться в новый «немецкий бург», где, по их понятиям, каждая пять земли осквернена была греховным нечестием. При жизни Петра раскольники не имели оседлости в Петербурге.

Но «немецкий бург» сделался «царствующим градом всея России», и Русь потянула к нему, как до того тянула к старинной Москве. Потянуло наконец на невские устья и старообрядцев. Сначала явились они на Охте в среде тамошних плотников и судостроителей, а потом и в самом Петербурге, в среде людей торговых и промышленных.

Московские раскольники преимущественно принадлежали и принадлежат к поповщинской секте; до половины XVIII столетия в ней почти вовсе не было беспоповцев; в Петербурге же, напротив, главная масса раскольников следовала и следует учению разных отраслей беспоповщины. Первые поселившиеся в Петровой столице раскольники были из нынешних Олонецкой и Новгородской губерний, где особенно развит раскол беспоповский. Поповцы в заметном количестве явились в Петербурге не раньше сороковых годов прошлого столетия.

То были по преимуществу переселенцы из Московской, Тверской и Ярославской губерний, привлеченные торговыми выгодами. Число их постепенно увеличивалось, и в 1756 году они имели уже свою моленную в доме богатейшего из тогдашних петербургских поповцев, купца Гутуева. Обыкновенно эта моленная называлась «Гутуевскою», этим именем называлась и самая община поповцев в Петербурге. До 1762 года Гутуевская моленная оставалась негласною. Дочь Петра, безусловно верившая в непогрешимость всех действий своего родителя и находившаяся под влиянием духовенства, не отличавшегося в то время духом терпимости, ни под каким видом не дозволяла раскольникам отправлять в своей резиденции богослужебные их обряды. Оттого Гутуев-

ская моленная и содержалась в глубокой тайне. Едва скончалась Елизавета, петербургские старообрядцы открыто стали совершать службу в своей моленной. Сохранилось предание, что сам Петр III разрешил им это. Указы его о сочинении особого положения о раскольниках и о назначении на Керженец особых опекунов для защиты тамошних келейных жителей от притеснений дают повод думать, что предание это не лишено основания. Облегчение раскольников, начавшееся в кратковременное царствование Петра III, ободрило «гутуевцев», прежде всех иногородних собратий своих воспользовавшихся дарованною свободой. Вслед за тем Екатерина II целым рядом узаконений облегчила тяжкое дотоле положение старообрядцев, и они с каждым годом стали более и более переселяться из внутренних губерний, из Сибири и даже из-за литовского рубежа в северную столицу. Вскоре Гутуевская моленная уже не могла вмещать быстро умножавшихся прихожан. В 1771 году, в то самое время, когда в Москве заводились Рогожское и Преображенское кладбища, в Петербурге последователи поповщины получили правительственное дозволение на устройство двух моленных, вместо упраздненной по причине тесноты Гутуевской. Возвести для этих моленных отдельные здания петербургским старообрядцам однако не было дозволено. Они должны были довольствоваться моленными, устроенными в виде домовых церквей. Одна такая находилась в доме купца Родиона Захарова, в Апраксином переулке, у Семеновского моста, другая на отведенном правительством для раскольников кладбище, на Волковом поле. На этом кладбище, по примеру Рогожского, устроен был и богадельный дом, но в гораздо меньших размерах.

Гутуевская община находилась в духовной зависимости от Стародубья. Из тамошнего Покровского монастыря гутуевцы получали «исправленных» попов, запасные дары и мнимодревнее миро. Клинцы снабжали их книгами, выходившими из-под станков тамошней старообрядческой типографии, с цензурного дозволения суражского нижнего земского суда, а также венчиками и разрешительными молитвами, возлагаемыми на усопших. Из старообрядческих монахов являлись в Петербурге преимущественно стародубские, а чаще всего из соседнего с Стародубьем, одного из ветковских монастырей,

Лаврентьева. Свято сохраняя старые правила и обряды Стародубья, гутуевцы приходящих от великороссийской церкви принимали третьим чином, без перемазания. Впрочем, случаи таких приемов в Петербурге были чрезвычайно редки и потому не могли возбуждать разногласия в тамошнем старообрядческом обществе. Вообще в Петербурге раскольники всех сект никогда не отличались духом прозелитизма, и случаев совращения из православия там было весьма немного, сравнительно с другими местами. Умножились петербургские раскольничьи общины исключительно посредством переселений старообрядцев из других городов и селений.

Более тридцати лет в Петербургской общине не было и споров, ни раздоров. Наконец московские рогожцы, враждовавшие со стародублянами из-за перемазания, произвели разделение и в Петербурге. Известно, что и на перемазанском соборе, бывшем в Москве в декабре 1779 года, крамольная партия нововводителей, во главе которой стоял Никита Павлов, одержала верх над отвергавшими нововводное перемазание. Глава последних, московский купец Григорий Федорович Ямщиков, в доме которого начался собор, не хотел, по окончании его, оставаться в Москве, где продолжались и умножались нескончаемые ссоры, доходившие до открытого насилия, ибо раздорники не один раз пытались доказать необходимость перемазания кулаками и дубинами. Он переселился в Петербург, где старообрядцы и слышать не хотели о перемазании. В среде петербургских старообрядцев он тотчас же приобрел большое значение и стал во главе их. Пользуясь таким положением, Ямщиков ревностно поддерживал общение петербургских старообрядцев с отвергнувшим перемазание Стародубьем и всячески отстранял влияние усиливавшихся с каждым днем рогожских кривотолков. Но недолго мог он поддерживать внутренний мир и братское согласие между петербургскими старообрядцами.

Влиятельнейшие (до переселения Ямщикова в Петербург) старообрядцы не совсем дружелюбно смотрели на него. Им было крайне досадно, что новый человек сразу занял положение, совершенно уничтожавшее их значение. Особенно негодовал на это богатый купец Иван Никитич Ильин, до тех пор глава петербургской старообрядческой общины. С самого приезда Ямщикова стал

он к нему во враждебное отношение, хотя и не открытое. Этим воспользовались московские кривотолки и с Рогожского кладбища кинули на берега Фонтанки камень раздора. Небывалые дотоле в среде петербургских старообрядцев разномыслия, внутренние несогласия и самое раздвоение возникли между ними благодаря вмешательству рогожских богословов, ссорами и побоями утверждавших свое учение о перемазании.

Еще во время перемазанского собора в Москве, глава противной Ямщикову партии, Никита Павлов, с рогожским попом Александром, 24-го декабря 1779 года писали в Петербург послание, в котором, доказывая необходимость приема никониан вторым чином, посредством перемазания, предостерегали петербургскую общину от противника этого учения, Никодима, и его «хитросплетенных кривосказаний». Никодим, душа партии Ямщикова, впоследствии основатель единоверия, как стародубский инок, был хорошо известен в Петербурге и пользовался там общим уважением. Поэтому на рогожское послание в Петербурге сначала не было обращено особенного внимания... Рогожцам даже не отвечали. Но когда в Петербург переселился Ямщиков и прежние столпы тамошней поповщины потеряли прежнее значение, рогожское послание было вынуто из-под спуда, и в Петербурге возбужден был вопрос о перемазании. Ямщиков, верный убеждениям, из-за которых покинул родину, ревностно восстал против перемазания и всеми силами старался удалить из среды петербургских старообрядцев самые толки об этом предмете, повсюду внесшем в старообрядство вражду и раздоры. Но Ильин, руководившийся более личным недоброжелательством к своему недругу, чем желанием утвердить нововводное перемазание в Петербурге, составил сильную партию из богатейших петербургских старообрядцев, стал с нею в открыто враждебное отношение к Ямщикову и вошел в письменные сношения с Рогожским кладбищем. Партию Ильина составляли: Иван Яковлевич Маришин, Семен Васильевич Савинов, Иван Иванович Милов, Федор Иванович Автамонов, Викуль Михайлович Кочерыжников, Федор Лукин, Петр Макаров, Иван Смирнов и другие. Через два года по получении в Петербурге послания с перемазанского собора, 29-го ноября 1781 года, они послали на Рогожское, к попу Александру и попечителям

Ивану Семеновичу и Александру Степановичу (фамилии их нам неизвестны), вопросы, в которых просили разрешения некоторых недоразумений относительно перемазания. Рогожские старшины не медлили и в 1782 году прислали ответы, которые однако не всех удовлетворили. Из пославших вопросы, Милов, богатый несравненно более Ильина, отстал от его партии и многих увлек за собой. Разделение общины совершилось. Партия Ильина приняла перемазание, вошла в общение с Рогожским кладбищем и разорвала связи с Стародубьем надолго, до тех пор почти, когда, около 1816 года, и там окончательно утвердилось перемазание. Партия Ямщикова осталась верною доселе существовавшим в Петербурге стародубским правилам; она была гораздо многочисленнее, зато члены ее были беднее единомышленников Ильина, а потому менее сильны. Милов пристал к Ямщикову.

Произошли ожесточенные споры, вражда закипела между партиями, и хотя дело не дошло ни до рогожских кулаков ни до стародубских дубинок, но злобы и ненависти и в Петербурге оказалось не меньше, чем в Москве и слободах Стародубских. За ненавистью последовали взаимные проклятия, произнесено было слово «анафема», и внутренний мир дотоле единодушной общины окончательно был разрушен. Приверженцы Ильина с приверженцами Ямщикова прервали общение и в пище и в молитве. А молитвенный дом в городе был один. Перемазанцы овладели моленной в доме Захарова и не пускали в нее последователей Ямщикова и Милова. Кладбищем на Волковом поле с моленной и богадельной они же овладели. Ямщиков помог горю своих собратий. У него еще в Москве была богато устроенная моленная, со множеством старинных икон, книг и разной церковной утвари, которую он сначала поставил было в моленной Захарова и на Волковом поле. Теперь, после долгих пререканий, едва не дошедших до судебного разбирательства, он взял из обеих моленных свои вещи и перенес в свой большой каменный дом, стоявший рядом с Захаровскою моленной. Таким образом в Апраксином переулке явились две поповщинские моленные: в Ямщиковской служил поп стародубский, принятый третьим чином, в Захаровской — беглый из владимирской епархии и перемазанный на Иргизе поп Василий Андреев. Де-

сять лет стояли рядом эти моленные. Такое соседство послужило к большему усилению вражды и нередко подавало повод к соблазнительным сценам. Чтобы положить этому конец, Ильин перенес перемазанскую моленную из дома Захарова в свой, находившийся на правой стороне Фонтанки, между Чернышевым и Аничковым мостами. Это было в 1792 году.

Партия неприемлющих перемазания, во главе которой стояли Ямщиков и Милов, как уже сказано, была многочисленнее рогожской партии Ильина, и хотя в ней находилось менее людей богатых, зато немало было людей влиятельных по своим знакомствам с тогдашними правительственными лицами. Довольно сказать, что им покровительствовал всемогущий тогда князь Потемкин. Никодим и другие стародубляне, бывая в Петербурге, поддерживали и скрепляли связи этой партии с теми стародубскими общинами, которые, отвергая перемазание, стремились к большему сближению с православной церковью. Еще за два года до высочайшего утверждения известных платоновских правил единоверия, в 1798 году значительнейшая часть прихожан ямщиковской моленной изъявила желание принять православного священника от местного митрополита на тех основаниях, на которых в 1785 году дозволено было старообрядцам, новопоселенным в Таврической области и давно жившим в наместничествах Черниговском и Новгородсеверском, принимать священников. Во главе согласившихся на такое примирение с православною церковью был Милов. Ямщиков не был в числе согласных и не пустил в свою моленную православного священника. Поэтому Милов, для новообратившихся к единоверию, устроил в своем доме, на Захарьевской улице, временную церковь. Это была первая единоверческая церковь в Петербурге. Вскоре Милов, на свое иждивение, построил близ своего дома особую каменную церковь во имя св. Николая Чудотворца. Она существует до сих пор и известна под именем «Миловской». В 1800 году прихожанам ее отдана старообрядческая часовня на Волковом поле, тогда же обращенная в единоверческую церковь.

До обращения Милова в единоверие, ямщиковская партия была, как сказано выше, многочисленнее и сильнее перемазанцев. Теперь вышло наоборот. Оставшихся с Ямщиковым в расколе было несравненно меньше, чем

прихожан моленной Ильина. Вскоре умер стародубский поп, служивший в Апраксином переулке, и духовные его дети, за неимением другого, стали ходить к иргизскому попу Василию Андрееву. Наконец пожар 1804 года положил конец ямщиковской партии и разделению петербургской старообрядческой общины. Сгорели обе моленные, Ямщикова и Ильина. Ямщиков не возобновил своей, да и возобновлять ее было почти не для кого. Его единомысленники частью перешли в миловскую единоверческую церковь, частью присоединились к усилившимся перемазанцам, число которых постепенно увеличивалось посредством переселений в Петербург раскольников из разных городов внутренней России. Через неделю после пожара они устроили временную моленную, а через несколько месяцев в Толмазовом переулке, в доме мещанина Петрова, у них явилась новая моленная, устроенная так же просторно и богато, как и существовавшая в доме Ильина. Через шесть лет (в 1810 году) и она была истреблена пожаром, а в 1811 году явилась снова в несравненно более обширном виде на Ивановской улице, в доме купца 1-й гильдии, старообрядца Владимира Королева.

Эта моленная, открыто существовавшая в продолжение тридцати трех лет (1811—1844), была известна под названием «Королёвской». Самая община петербургских старообрядцев по ее имени стала называться «Королёвской», как некогда по гутуевской моленной называлась Гутуевскою. Теперь уже более двадцати лет прошло со времени уничтожения Королёвской моленной, а последователи поповщины в Петербурге и доселе (1867) еще называются «Королёвскими».

Весь верхний этаж обширного каменного дома обращен был в домовую церковь с иконостасом, уставленным древними иконами в драгоценных украшениях. В ней устроен был алтарь с престолом, впрочем, неосвященным; поэтому и литургий здесь не совершалось. В нижнем этаже здания помещались больница и келарня (кухня со столовой). В особом деревянном флигеле помещалась богадельня на полтораста кроватей; внутреннее ее устройство было такое же, как и в Москве на Рогожском кладбище, но в меньших размерах. Рядом с домом Королева находился дом старообрядца же Груздева, в котором жил поп Василий Андреев с сыном Ива-

ном, уставщиком Королёвской моленной. Тут же жили и певцы.

Оба дома, королёвский и груздевский, хотя официально и считались частной собственностью, но в действительности еще с 1811 года составляли принадлежность всего петербургского старообрядского общества, а в 1824 году у крепостных дел с.-петербургской гражданской палаты явлена была купчая крепость на продажу купцом Королевым каменного дома *с.-петербургскому старообрядческому обществу* за 40 000 рублей.

Едва была устроена Королёвская моленная, как охтенский протоиерей Андрей Иванович Журавлев, известный автор «Историческаго известия о раскольниках», 18-го апреля 1811 года донес петербургскому митрополиту Амвросию, что раскольники устроили на Ивановской улице, в доме Груздева, моленную и имеют при ней беглого попа. Началось дело. Полицеймейстеру графу Васильеву поручено было произвесть формальное следствие. Он нашел моленную со всеми церковными принадлежностями, кроме сосудов, но не в доме Груздева, как писал протоиерей Журавлев, а в доме Королева. В первом, как оказалось, жил престарелый поп Василий Андреев. Бумаги этого попа были в порядке, у него был паспорт, выданный ему в Саратове и подписанный тамошним губернатором Панчулидзевым. В этом паспорте поп Василий назван был «отпущенным в Петербург священником Нижневоскресенскаго (что̀ на Иргизе) монастыря». Панчулидзев не имел права выдавать таких паспортов, но поп не виноват же был в том, что губернатор дал ему вид, какого не должен был выдавать. Другое дело — моленная, при которой служил Василий Андреев: ей грозила серьезная опасность. Старообрядцы, после пожара в доме Ильина, построили ее без разрешения местной власти, и потому она подлежала уничтожению. Но дело, произведенное графом Васильевым, кончилось благоприятно для старообрядцев. Состоялась следующая резолюция императора Александра Павловича, собственноручно им написанная 20-го августа 1811 года: «не делать каких-либо новых о ней (моленной) распоряжений, поелику оная часовня не есть вновь заведенная, а оставить ее по-прежнему до общаго рассмотрения подобных сему обстоятельств». После того Королёвская моленная существовала уже гласно, служение в

ней производилось открыто, поп Василий оставлен в покое, и граф Васильев возвратил ему отобранные у него при обыске поручи. Продолжал священнодействовать у Королёвских этот поп, дожил до ста лет и умер около 1840 года.

С тех пор, как последовало высочайшее повеление об оставлении Королёвской моленной неприкосновенною, прихожане ее, наперерыв друг перед другом, стали украшать и обогащать ее. Старопечатные евангелия, обложенные драгоценными окладами, золотые кресты, сребропозлащенные, унизанные жемчугами и осыпанные брильянтами и другими дорогими камнями иконы, великолепные плащаницы, хоругви и разные другие церковные принадлежности снесены были в Королёвскую моленную богатыми ревнителями древнего благочестия и благолепия храма. Вскоре петербургская моленная сделалась одною из богатейших старообрядческих церквей, хотя снаружи и ничем не отличалась от обыкновенных домов столицы: тот же ровный, гладкий фасад без всяких украшений, с двумя рядами окон: ни купола, ни креста, ни колоколов, ни даже наддверной иконы у входа не было видно; зато внутреннее устройство отличалось богатством, блеском и даже некоторого рода вкусом.

Не было у Королёвцев ни соборного служения с девятью или двенадцатью попами, ни торжественных крестных ходов вокруг часовен или на иордань, как это водилось на Рогожском; не звонили на Ивановской улице в колокола, как на Иргизе; не ходили с иконами и крестами для молебнов на поля, как на Керженце. Зато иного рода торжество раскола бывало здесь от времени до времени. В праздничные дни в Королёвской моленной, рядом с купцами и мещанами, одетыми в кафтаны старинного покроя, стояли в мундирах, нередко с орденами, офицеры и даже генералы древлего благочестия, «благочестивая рать небреемая, Христовы стрельцы, сиречь казаки», это — линейцы, уральцы и донцы, вызываемые в Петербург, в собственный его величества конвой, и в ту пору бывшие все поголовно в расколе. Кроме казаков, молившихся в Королёвской часовне по старинной лестовке, исповедовавшихся и причащавшихся у попа Василия, на свадьбах и на похоронах богатых старообрядцев не в диковинку было встретить хороших зна-

комых их и приятелей, иногда даже родственников, в парадных мундирах, в лентах и звездах. В дни совершения таких обрядов над кем-либо из членов значительнейших старообрядческих семейств, Ивановская улица во всю почти длину ее, а отчасти и Кабинетская, были заставлены каретами, и для наблюдения за порядком при разъезде наряжались к моленной полицейские чины. Похоронные процессии, сопровождаемые длинною вереницей экипажей, с полицейскими чинами и жандармами по сторонам, тянулись иногда по улицам от Королёвской моленной до Волкова поля и даже до Охты. Такой блеск придавал особое значение Королёвским в среде их одноверцев. Монахи и монахини иргизских, керженских и стародубских скитов и монастырей, находившиеся в Петербурге со сборными книжками или для «стояния неугасимой свечи», в качестве канонниц и читалок, возвратившись в свои темные захолустья, рассказывали об этом блеске петербургского старообрядства с обычными прикрасами и преувеличениями. По рассказам их, Королёвская община пользовалась будто бы в Петербурге покровительством высокопоставленных лиц; в своих рассказах и письмах они называли этих лиц по именам, уверяя, что втайне эти знатные люди сами принадлежат к старой вере, и если бреют бороды и ходят в православные церкви, так единственно для приличия. Такого рода слухи в свое время имели печальные последствия. Видя совершенное противоречие в действиях местной власти с мнимым покровительством расколу сильных людей в Петербурге, жившие в отдаленных от столицы местах раскольники пришли к естественному заключению, что местные власти не имеют никаких повелений об ограничении их самовольства. Появились в разных местах подложные указы о свободе раскольнического богослужения, появились подстрекатели, и дело дошло до того, что например, в 1837 году, при обращении Средне-Никольского монастыря на Иргизе в единоверческий, раскольники оказали открытое сопротивление самому губернатору, так что пришлось для усмирения их прибегнуть к вооруженной силе. Со временем открылось, что все это было прямым последствием подстрекательства людей, которые, желая в мутной воде рыбу ловить, уверяли раскольников, что в Петербурге никто и не думает о водворении единоверия, что это выдума-

но губернским начальством, для того и составившим будто бы подложное высочайшее повеление. Подстрекателем, как увидим впоследствии, оказался известный уже читателям Авфоний Кузьмич Кочуев.

В тридцатых годах во главе Королёвского общества стояли братья Громовы: Сергей и Федул Григорьевичи. Родом были они гусляки, земляки Рахмановым, Солдатенковым, Досужеву и другим влиятельным рогожцам того времени. Поселясь в Петербурге, Громовы удачно занялись лесною торговлей, стали скупать лесные дачи в Новгородской и Олонецкой губерниях, сплавлять в столицу бревна, брусья и дрова и, выгодно продавая их, быстро умножили свое богатство. Удачная покупка у графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской лесных дач и пристани на Неве, известной под именем «Графской биржи», довела состояние их до огромных размеров.

Как ни значителен был врученный Громовыми набожной наследнице чесменского героя капитал, но действительная ценность приобретенного ими имения была далеко выше его. Благодаря этой покупке предприимчивые и деятельные гусляки значительно расширили свои обороты и, сделавшись одними из первых богачей Петербурга, заняли первенствующее место в Королёвском обществе.

Попечителями Королёвской моленной они были еще в конце двадцатых годов и с тех пор, вместе с купцом Григорьем Дмитриевичем Дмитриевым, управляли всеми делами петербургской старообрядческой общины. Значение Громовых в кругу петербургских старообрядцев было так велико, что в тридцатых годах Королёвскую моленную безразлично звали и «Громовскою», а некоторые петербургские жители, незнакомые с расколом, даже и все поповское согласие называли обыкновенно «Громовской верой». Изредка такое название встречается даже в бумагах официальных. Из Громовых особенно ревностен был к расколу старший брат, Сергей Григорьевич. До самой смерти он, в качестве попечителя, управлял Королёвскою моленной, и она своим благолепием и блеском служения немало обязана его усердию. Жена его, Елена Ивановна, беззаветно преданная расколу, усердствовала еще более, чем муж ее. Первая по богатству из петербургских старообрядок, она до-

рожила своим первенством, ревниво оберегала его и имела значительное влияние не только на Королёвскую, но и на многие иногородние общины старообрядства. Она не забывала щедрыми подаяниями ни скитов, ни монастырей, ни иноков и попов, снабжая их не только деньгами, иконами и разною церковною утварью, но даже и дониконовскими антиминсами, которые добывала за деньги известным ей путем из кафедральных ризниц и пересылала куда следовало в переплетных досках какой-нибудь книги самого невинного содержания. В разных монастырях и скитах проживали старицы на счет Елены Ивановны. В Петербурге не было старообрядческой обители, зато в доме Громовой и при Королёвской моленной, на ее иждивении, постоянно живало по нескольку монахинь и послушниц; они читали каноны по умершим и вели назидательные беседы с благочестивою хозяйкой. Быть «читалкой у Громихи» составляло величайшую честь для раскольнических монахинь и белиц. Как великого счастья, добивались они этой чести. Повсюду Елена Ивановна пользовалась уважением ее единоверцев, и монастырские власти самой Белой-Криницы называли эту ревнительницу древлего благочестия не иначе, как «госпожой дому Израилева, истинною рабою Христовой» [1].

Федул Григорьевич Громов был не менее брата ревностен и усерден к расколу, но более его осторожен. Будучи знаком со знатными людьми, с некоторыми из них водя хлеб-соль и находясь в коротких сношениях с сановниками, очень высоко поставленными, он боялся скомпрометировать себя слишком явным участием в раскольнических предприятиях. Положив устройству заграничной иерархии прочное начало и втайне заправляя этим делом, Федул Громов, по-видимому, устранялся от него и даже приказал своим домочадцам написать к властям Белой-Криницы, чтобы они не адресовали своих писем на его имя и даже кому бы то ни было в его дом.

Королёвские, а особенно Громовы — отличались от рогожских своих единоверцев, а еще более от старообрядцев провинциальных некоторою долей образования и внешними формами светскости. Около 1830 года у Ко-

---

[1] «Письмо из Белокриницкаго монастыря от Геронтия и Павла к Алексею Васильевичу Великодворскому», 20-го июля 1840 г.

ролёвских уже не замечалось той замкнутости, какая и доныне еще существует в некоторых домах Таганки, Покровского, Немецкого рынка и Замоскворечья. В ту пору рогожцы жили еще по образцу «Домостроя», мать Пульхерия еще проповедовала о «несообщении со еретики», а попы налагали тяжелые епитимии за светские удовольствия[1]. Лишь немногие московские старообряд-

[1] Мы имеем под руками список епитимий, наложенных беспоповскими наставниками Преображенского кладбища в начале сороковых годов на более значительных членов-прихожан Федосеевского Преображенского кладбища и Покровской моленной поженившихся. Сотнями и тысячами поклонов они должны были заглаживать посещение клубов, собраний, театра и маскарадов, ношение модного платья, курение сигар; а одна молодая женщина, принадлежавшая к богатому дому, за верховую езду должна была долгое время очищать себя земными поклонами. Вот извлечение из «Обличения грехов», составленного отцами Преображенского кладбища в 1846 г.: «Евстафий Петрович Б-н и жена его Александра Сидоровна принадлежат к Покровской моленной поженившихся. Уличения согрешений: езда верхом на седлах немецких, сидение Александры Сидоровны на лошади боком с сигарой, в мужской шляпе, в платье с сатанинским хвостом (амазонка). Езда обоих супругов на конныя ристалища в сопровождении наемнаго наставника конной езды, гаерски одетаго (берейтор). Иродиадина пляска обоих на сборищах (на балах и вечерах), соблазнительный покрой одежды мужа и жены, употребление мясной пищи по постам, питие кофею даже с молоком, ядение травы салата. Иван Федорович Г-в и жена его Марья Павловна, по Покровской моленной, оба уличаются в том же, в чем и предыдущие, только хотя Марья Павловна не ездит верхом, зато излишне предается театральным зрелищам и Иродиадиной пляске, порочит взор свой конскими ристалищами. Е. Ф. Г., по Покровской моленной, обличается в сожитии с иноплеменной иноверкой из Польши. Прокопий Филиппович К-в и жена его Анна Павловна, по Покровской моленной, обличаются, как и Б-ны. Павел Назарович Р-н, по Федосеевскому согласию, ради антихристовых наград вдался в разныя непотребства, участвует в сонмищах антихристовых, клубами называемых, играет в карты, нумерныя зерна (лото), посещает беги,— курит сигары. Иван Васильевич С-в, по Федосеевскому согласию,— курит сигары. Брат его, Иван же Васильевич С-в, по Федосеевскому согласию, предался изучению черной магии, разгневал демонов до того, что они на нем разорвали рубашку: молитвами наставников Василия Тимофеевича и Андрея Ефимовича хотя и отчитан, но еще бес, в нем пребывающий, водит часто его в театр. Семен (жена его Анна Кондратьевна) и Емельян И-вы, по Федосеевскому согласию, обличаются в езде верхом на иноземных седлах, в одеяниях соблазнительных; Анна Кондратьевна в стягивании тела своего ради потехи демонской (корсет, надеваемый на балы), в ношении даже в самой молельне иноземных перчаток из собачьей шкуры, осквернении через это самаго молитвеннаго храма. Ерофей

цы осмеливались, не слушаясь рогожских проповедей и не боясь епитимий, выезжать в щегольских колясках под Новинское и в Сокольники, и там, в строгом молчании, созерцать шумную суету мира сего. В Петербурге было не то. Еще до 1812 года там поселился владелец несметных богатств, старообрядец, живший открыто и роскошно, Злобин. Он первый подал столичным раскольникам пример соглашения религиозных уставов древлего благочестия с условиями быта образованного общества. Украшая свою родину (город Вольск) красивыми постройками, строя там богатую часовню, Злобин задавал в Петербурге такие пиры для знатнейших людей того

Афанасьевич К-в, по Покровской моленной, обличается в ристании на бегу и в человекоугодии в этом мастерстве. Иван и Павел Васильевичи О-вы, по Федосеевскому согласию, в курении сигар. Афиноген Н-в, Николай Н-в и Ефим Федорович Г-в, все трое по Покровской моленной, обличены в курении сигар, питье кофе, ядении мяса по постам. Книжные Преображенского кладбища. Кузьма В-в и Петр В-в сами сознались, что при питии водки демон понуждает их курить сигары в сарае, где покойников ставят» (рукопись, мне принадлежащая). Те же грехи наказывались строгими епитимиями и на Рогожском кладбище. Относительно костюма на Рогожском было гораздо строже, чем на Преображенском. На последнем давно уже можно было видеть среди молящихся одетых в модные сюртуки, а женщин в шляпках. На Рогожском этого до сего времени не допускается. Мужчины должны ходить в часовню не иначе, как в кафтане старого покроя, а женщины в сарафанах, с головами, покрытыми платками в роспуск. После 1812 года Мошанские первые, а за ними и немногие другие — стали ездить на гулянья под Новинское и в Сокольники и за то считались людьми погибшими, особенно во мнении провинциальных старообрядцев. В «Повести о том, что̀ сделали Рогожскаго кладбища попечители в 1816 г.», находятся следующие обличения москвичей дьяконовца города Орла, Тужилина:

Если тех почтенных особ поколебались сердца,
То немаловажная есть потеря любимаго ими образца;
Во многие праздники, торжества —
Представляет гульбища и комедии Москва,
Ваши богачи почитают за должность
Хранить узаконенную вами осторожность,
В означенную вами церковь (*не перемазанскую*) ходить почитают за великую причину.
А если пропустят позорище, оскорбляются, не видевши того чину.

В Петербурге было не то: там, еще с первых годов царствования императора Александра I, богатые раскольники, усвоив светскую жизнь, пользовались общественными увеселениями и т. д.

времени, что после о них недели по две говорило все высшее петербургское общество. В то время как супруга его снабжала свою Вольскую часовню древними драгоценными утварями и приобретала плащаницу, будто бы вышитую еще до первого вселенского собора, Злобин устраивал в окрестностях Петербурга праздники с музыкой, фейерверками и роскошными ужинами, на которые собиралась вся столичная знать. В то время, как Пелагея Михайловна командовала Иргизом, собственноручно сдирала с недостойных, по ее мнению, попов ризы и за разные провинности собственноручно таскала их за волосы, сожитель ее играл в карты с министрами, бывал на раутах и балах великосветского общества, водился с иностранцами, покупал дорогие картины и статуи, о чем без ужаса не могли вспомнить иргизские фанатики. К довершению их ужаса, единственный сын Злобина женился на англичанке... Разорение Злобина и быстрый переход его от несметного богатства к нищенству жившие по захолустьям фанатики объясняли карой господней за отступление от старых обычаев, но это не остановило членов Королёвской общины в посильном подражании житью-бытью знаменитого вольского старообрядца... В тридцатых годах поселились в Петербурге екатеринбургские миллионеры-старообрядцы, Зотов и зять его Харитонов.

Они не водили, правда, подобно Злобину, хлеба-соли с лицами, стоявшими во главе центральной администрации, но все-таки жили открыто, находились в близком знакомстве с влиятельными людьми коммерческого мира и второстепенными лицами петербургской бюрократии. Земляки Злобина — вольские купцы Сапожниковы, имевшие в руках своих обширные рыбные ловли на низовьях Волги, земляки Зотова — Расторгуевы, владельцы горных заводов в Пермской губернии, проживая в Петербурге, вели такую же открытую, светскую жизнь. Громовы, достигнув богатства, вошли в ту же колею. Они не чуждались общественной жизни и ее удовольствий, роскошно отделанный дом свой наполнили редкими картинами и другими произведениями искусства, устроили едва ли не первую теперь в Петербурге оранжерею, давали блестящие пиры, выезжали на балы, в театры, концерты, воспитывали детей по-европейски, жертвовали деньги на разные благотворительные учрежде-

ния, завели образцовый детский приют в Петербурге. Но это не мешало им оставаться ревностными старообрядцами и даже стать во главе задуманного на Иргизе и одобренного на Рогожском кладбище смелого предприятия.

После Громовых самыми влиятельными людьми в Королёвском обществе были купцы Дрябины и упомянутый уже Григорий Дмитриевич Дмитриев, он же и Боровков.

Никита Васильевич Дрябин находился в родстве с Громовыми. Его жена, по имени Анна, приятельница Елены Ивановны Громовой, не уступала этой «госпоже дому Израилева» ни в преданности расколу, ни в усердии к монастырям и скитам, ни в страннолриимстве келейных матерей, приезжающих в Петербург за сборами с Иргиза, Керженца и слобод Стародубья. Григорий Дмитриевич Дмитриев, он же и Боровков, известный в сектаторской переписке под именем Каретника, друг Федула Громова, бывший вместе с ним долгое время попечителем Королёвской моленной, вел деятельную переписку с иногородними старообрядцами по делам веры и пользовался повсюду огромным почетом. Его дом был одним из главнейших приютов для приезжавших в Петербург по своим делам старообрядцев; через Григорья Дмитриевича велись сверх того дела торговые, комиссионные и транспортные петербургских старообрядцев с приволжскими и околомосковскими их единоверцами.

Кроме названных членов Королёвской общины, особенной ревностью к старообрядству отличались в Петербурге купцы Скрябины, Фалины и Зиновьевские. Но гораздо важнее их были люди молодые, не видные по своему положению, не обладавшие богатствами, не известные знатным людям и не выходившие из своего замкнутого круга в суету жизни общественной. Отличаясь редкими природными дарованиями, огромной начитанностью и деятельной энергией, не знавшею никаких препон и противодействий, эти молодые люди возвышались над единоверными богачами и незаметно для них самих обратили их в послушные свои орудия. То были крестьяне, мещане и ямщики, жившие на «Графской бирже» в качестве громовских приказчиков и при Королёвской моленной в качестве дьячков и уставщиков. Из этой среды вышли люди, удивившие всех необычайными сво-

ими похождениями. С редким самоотвержением проникли они в отдаленные страны Востока, отыскивая небывалых старообрядских архиереев; ни болезни, ни морские бури, ни разбои полудиких жителей азиатской Турции не могли остановить их; они в Константинополе вступили в непосредственные связи с агентами Чарторыйского; они, при пособии иезуитов, проникли в блистательные салоны Вены, в приемную эрцгерцога Людвига и на аудиенцию самого императора Фердинанда; они ораторствовали на революционном сейме в Праге чешской; они написали старообрядческое богословие для представления императору Фердинанду; они устроили в пределах Буковины раскольническую иерархию с босносараевским митрополитом во главе; они на некоторое время сделались руководителями миллионов старообрядцев, обитающих в России, Австрии, Турции, Малой Азии, Египте и других отдаленных странах.

Из молодых людей, живших в тридцатых годах у Громовых, особенно замечательны были братья Великодворские. Вот что мы знаем об этом семействе.

По старой новгородской дороге, по которой лет сорок тому назад устроено петербургское шоссе, рядом с городом Валдаем, длинною улицей протянулся древний ям Зимогорье, известный еще во времена борьбы Москвы с Новгородом. Все зимогорские жители приписаны были к яму и по всей России известны под именем «валдайских ямщиков», хотя и не все занимались прадедовским промыслом ямской гоньбы. Таков был и ямщик Василий Великодворский, записной старообрядец. Он не гонял почты, а содержал постоялый двор, в котором обыкновенно останавливались его единоверцы, ездившие в Петербург из разных губерний по торговым и другим делам. Постоялый двор не принес богатства Великодворскому, обремененному многочисленным семейством, зато доставил ему и детям его знакомство и даже дружеские связи с сильными людьми в старообрядстве. У него было шесть сыновей: знаменитый впоследствии Петр (Павел Белокриницкий), Алексей, два Василия, два Федора и дочь Наталья. Дети Великодворского одарены были редкими способностями, особенно двое старших. Научившись читать еще в малолетстве, с юных лет они пристрастились к чтению старопечатных и старописьменных

книг, которыми снабжал их Корытов, зажиточный купец города Валдая и попечитель тамошней старообрядской моленной.

С ранних лет старшие сыновья Великодворского резко разнились между собой. Старший, Петр, мягкого, кроткого нрава, имел стремление к жизни созерцательной и, начитавшись Прологов и других сказаний о житии святых, почувствовал наклонность к жизни аскетической и остался верен своему призванию. Еще ребенком, бегая по низменным берегам Валдайского озера и с свойственным раскольнику враждебным чувством взирая на здания Иверского монастыря, воздвигнутого патриархом Никоном, Петр Великодворский развивал в себе ревность не по разуму к так называемому древлему благочестию и проникался враждой к господствующей церкви, враждой, не допускавшей ни снисхождения, ни беспристрастного рассуждения. Таким он остался и на всю жизнь. Судя по фотографическому портрету, снятому с него в городе Черновицах незадолго до смерти, это был человек воли непреклонной и энергии необычайной. Длинное, худощавое лицо с прямым, красиво очерченным носом, крутой лоб, умные, проницательные глаза под густыми бровями, легкая улыбка на губах и небольшая борода — вот какова была наружность этого человека, сделавшегося едва ли не самым замечательнейшим деятелем в русском расколе. По отзыву всех знавших его, это был человек обширного ума, живого характера, обладавший редким даром слова и умевший привлекать к себе сердца окружавших. Жизни был он самой строгой и правил самых честных. В его положении он мог бы нажить огромное состояние, но, прожив век свой нестяжательным иноком, не только ничего не оставил по смерти, но все, что̀ имел, пожертвовал на созданную им белокриницкую митрополию. Ему стоило лишь захотеть — и омофор тотчас же был бы у него на плечах; ему стоило только слово сказать — и его сделали бы не только епископом, но даже самим «митрополитом всех древлеправославных христиан»; но, уклоняясь от всяких почестей, Великодворский умер простым монахом. Уважение, которым он пользовался у старообрядцев, доходило до благоговения: каждое слово его считалось святым. Он был душой старообрядческой иерархии: митрополиты только служили обедни, а действовал он. И пока

был жив Великодворский, все держалось в Белой-Кринице, держалось единственно его умом. Как скоро он умер — все пошло на иной лад. Не оставил по себе преемника Великодворский, и старообрядческая иерархия тотчас же по смерти его стала распадаться.

Едва старшие Великодворские достигли совершеннолетия, отец их умер, и хозяином нераздельного дома остался Петр Васильевич. Он оказался совершенно неспособным продолжать родительское дело. Каждый вечер зазывать проезжающих извозчиков, предлагая им дешевый овес и варево, и, перебраниваясь с соседями, каждое утро считаться с постояльцами, торгуясь и бранясь за каждую копейку, заготовлять сено, овес и другие припасы, приготовлять обеды и ужины,— все это было не под силу Петру Великодворскому, у которого с юных лет голова занята была совсем другими думами. К тому же хозяйки в доме не было, а без хозяйки держать постоялый двор невозможно. Вдова Великодворская вскоре после смерти мужа постриглась в иночество, приняв имя Алевтины, сыновья были не женаты, а Наталья Васильевна в хозяйки не годилась. Между тем рекрутские наборы следовали один за другим, а семья Великодворских по ревизской сказке состояла из семи душ, стало быть, сдача рекрута была для нее неизбежна. Залежных денег на покупку квитанций не было, а Петр, Алексей и братья их не к тому были готовлены, не так росли и воспитывались, чтобы сделаться на всю жизнь солдатами. Завязанные еще отцом их знакомства с богатыми старообрядцами выручили на этот раз Великодворских и в то же время сблизили их с главами петербургского старообрядства. Раз Сергей Григорьевич Громов проезжал через Валдай и остановился у знакомых ему Великодворских. Побеседовав с гостем от писания, Петр Васильевич рассказал ему про свое горе, и Громов тотчас же дал ему денег на квитанцию. Чтобы заработать эти деньги, Алексей Великодворский поступил в услужение к Громовым и поселился в Петербурге на их «Графской бирже». Вслед за тем Петр Великодворский передал отцовский дом меньшим братьям, а сам поступил земским в местное волостное правление.

Алексей был начитан не менее брата и не менее его предан расколу, но, не будучи проникнут, как тот, ду-

хом аскетизма и не будучи склонен к мистицизму, имел более практический взгляд на жизнь и пошел по другой дороге. В скором времени его коротко узнали хозяева. Он понравился им своим умом, своею начитанностью, знанием богослужебного устава и беспредельной ревностью к древлему благочестию. Громовы стали отличать Алексея от других служителей, и вскоре кабальный работник с Графской биржи переселился в дом Сергея Григорьевича, сделался его другом, ежедневным собеседником «госпожи дому Израилева» и главным уставщиком Королёвской моленной. В его руках сосредоточилась сектаторская переписка петербургской поповщины с иногородними старообрядскими общинами. Он обзавелся семейством, и Громовы отвели ему поместительную квартиру на своем дворе. Тогда Алексей Васильевич меньших братьев одного за другим поместил на службу к Громовым. Они частью жили в Петербурге, частью разъезжали по Новгородской и Олонецкой губерниям, исполняя поручения хозяев. Только Федор старший остался в родительском доме, но и он нередко гостил у Громовых в Петербурге.

Петр Великодворский недолго служил земским писарем. Не знаем причин, заставивших его оставить волостное правление; почитатели памяти его говорят, что деятельность земского не удовлетворяла Петра Васильевича, что ему хотелось более обширного поприща деятельности. Мистицизм и аскетизм, которыми он был проникнут с юности, не могли примирить его с обязанностями писаря. Оставив эту должность, он часто и подолгу гостил у брата в Петербурге, короче познакомился с Громовыми и в их доме завел обширные связи с старообрядцами разных местностей, особенно с стародубскими и ветковскими.

В русском народе ходит много сказаний о кладах, зарытых в старые годы разбойниками или спрятанных во время неприятельских нашествий. Места закопанных сокровищ народная фантазия окружила различными сверхъестественными существами, оберегающими древние драгоценности. В редкой местности не ходил слух о таких кладах. Есть даже рукописные тетрадки, в которых описываются местности каждого клада, условия, при которых можно им воспользоваться, и даже те страхи и наваждения нечистой силы, которые, однако, можно

победить известными словами и обрядами. Петру Великодворскому сделалось известно одно из таких местонахождений дорогого клада. От кого-то он узнал, будто в погребу усадьбы одного помещика хранится в старину закопанный клад: золото, серебро, жемчуг и камни самоцветные, иконы старинные, чудотворные, разная утварь церковная древних лет. Разгорелось воображение Петра Великодворского при известии о таких сокровищах, дорогих не столько по ценности металла и камней, сколько по древности, ибо досужая молва говорила, будто бы святыне, зарытой в погребу, будет не менее тысячи лет... Но как достать такой клад? Как прийти в помещичью усадьбу с заступами и начать копать погреб?

Вполне уверенный в действительности клада, Великодворский подыскал товарищей и с ними отправился в Петербург, чтобы просить самого государя о дозволении вырыть клад из помещичьего погреба.

Онуфрий, епископ браиловский и наместник белокриницкого митрополита (ныне единоверческий инок), коротко знавший Великодворского, проживший с ним в любви и совете более пятнадцати лет, пользовавшийся полною его доверенностью, так рассказывает со слов его об этом деле: «Петр Васильевич валдайский с товарищами подавал прошение императору, чтобы было дозволено им клад у одного помещика на поместье в погребу вынуть: злато и серебро, иконы старинныя и чудотворныя сохраняются. Полиция (петербургская), следившая за подавателями прошения, их похватала. Они от просьбы отреклись на допросах». Тогда, как Великодворский был в Петербурге по этому делу, ему привиделся странный сон. Видел он, что стоит перед ним Николай Чудотворец в голубой фелони с Евангелием в левой руке. Отставив в сторону правую руку, святитель благословил спящего и сказал: «все есть, как меня видишь». Сон этот произвел сильное впечатление на Петра Васильевича. Он рассказал его близким, и те решили, что сновидение предвещает счастливый исход дела о кладе. Когда же клад не достался, Великодворский стал объяснять свой сон предвестием какого-то важного дела, которое ему суждено совершить. Впоследствии, когда он всецело предался устроению заграничной митрополии, он всегда держал в памяти странное сновидение и непонятную

фразу, им слышанную, без малейшего сомнения веря в успех начатого предприятия, для большинства казавшегося несбыточным. Когда же достиг он цели, написал «Сказание о явлении святителя Николая» и, сообразно с сновидением, заказал в России местную икону Николая Чудотворца, в рост человеческий, в голубой ризе, с евангелием и с отставленною в сторону благословляющею рукой. Эта икона поставлена им в Белой-Кринице, в большой монастырской церкви, у северных дверей на левой стороне. Липоване очень уважают эту икону.

Сон имел решительное влияние на дальнейшую судьбу Петра Великодворского. С детства склонный к мистицизму, самую мысль о случайности сновидения почитал он за греховную и всеми силами души верил, что оно предвещает ему нечто особенное, предрекает совершение великих дел, к исполнению которых он предназначен судьбою. Утвердившись в этой мысли, он решился оставить мир и принять иночество, к которому давно имел стремление. Оставив гостеприимный дом Громова, Петр Васильевич уехал из Петербурга, недолго пробыл на родине и отправился в Стародубье. Здесь, переходя из монастыря в монастырь и присматриваясь к жизни иноков, не нашел обители, которая хотя бы сколько-нибудь соответствовала составленному им понятию о монашестве. Распущенность нравов в Стародубье поразила молодого аскета, и он бежал в пределы ветковские. Здесь, в пустынном монастыре Лаврентьеве, Петр Великодворский поступил послушником к иноку Аркадию (Шапошникову), впоследствии лаврентьевскому игумену, а затем епископу славскому. Петр Васильевич жил при нем немало времени, занимаясь изучением старых книг и пребывая в жизни созерцательной.

Кроме братьев Великодворских, еще несколько человек живало у Громовых в качестве приказчиков, не занимаясь коммерческими делами, но служа в Королёвской моленной. Из петербургской городской думы получали они приказчичьи свидетельства с той лишь целью, чтобы не быть в числе людей, проживающих в столице без определенных занятий, и тем не обратить на себя внимания полиции. Не только дьячки, уставщики, певцы и другие причетники Королёвской моленной, но и значительная часть богаделенных стариков, проживавших при

ней, также значились официально громовскими приказчиками и служителями. В числе их особенно замечателен был земляк Великодворских, валдаец родом, Игнатий Еремеевич Чистяков, человек ловкий и большой мастер сманивать в раскол православных священников и иеромонахов. Некоторое время жил у Громовых мещанин посада Крылова[1], Зверев, человек ловкий, бойкий и чрезвычайно энергический. Он не был большим начетчиком, не был знатоком уставов старообрядства, но за древлее благочестие готов был в огонь и в воду. Этот пылкий молодой человек энергией едва ли не превосходил самого Петра Великодворского, уступая ему во всех других отношениях. За старую веру он готов был сложить голову, и немало бывало с ним хлопот у Громовых. Нередко, особенно, как, бывало, попадет ему в голову, Зверев начинал при посторонних ругаться над православною церковью и собираться идти в синод для обличения его членов в мнимой неправоте господствующей церкви. Громовы сочли опасным держать при себе такого беспокойного человека и постарались под благовидным предлогом выпроводить Зверева из Петербурга. Впоследствии, приняв монашество, с именем Алимпия, и переменив за границей фамилию Зверева на Милорадова, он приобрел громадную известность в старообрядстве.

Монахи и монахини, приезжавшие в Петербург из разных скитов и монастырей за сборами, обыкновенно привитали в страннoприимных покоях при Королёвской моленной, кроме взысканных особыми милостями и расположением Громовых, Дрябиных или Каретника. Такие счастливцы останавливались в их домах. Все они, по возможности, исправляли при моленной чередовую службу. Из скитов керженских, пермских, уральских и иргизских мало приезжало в Петербург, эти держались больше Москвы. С петербургской поповщинскою общиной в постоянных и близких сношениях находились преимущественно черниговские, ветковские, киевские и бессарабские монастыри. Таким образом старообрядские общины обеих столиц как бы разделили между собой Россию. К Рогожским тянула восточная часть, к Ко-

---

[1] Полтавской губернии, на правом берегу Днепра, против города Кременчуга.

ролёвским западная. Казаки линейные и донские тянули, однако, больше к Королёвским, что зависело от постоянного пребывания в Петербурге чередовавшихся команд, входивших в состав собственного его величества конвоя и состоявших в то время поголовно из раскольников.

Когда на Рогожском происходили совещания по случаю оскудения священства и Авфоний Кузьмич призывал русское старообрядство к основанию независимой иерархии, из Бессарабии ехал в Петербург молодой инок Геронтий, только что избранный настоятель Серковского старообрядского монастыря. Этот человек замечателен в истории русского старообрядства не менее Петра Великодворского. Помещичий крестьянин Серпуховского уезда, сельца Ермолова, Герасим Исаевич Колпаков с рождения (1803 г.) находился в расколе поповщинского согласия и, по собственному его сознанию, с детства получил стремление к иноческой жизни. Выучившись читать, он предался чтению и изучению уважаемых старообрядцами книг. Одаренный от природы редкими способностями ума, еще в отроческих летах он обратил на себя внимание окрестных ревнителей раскола, не без основания ожидавших, что из Герасима выйдет замечательный деятель по делам их веры. Жизнь барщинного крестьянина немного лестного сулила ему в будущем; притом семья, к которой принадлежал он, состояла из четырех душ; он был младший брат и притом холостой, стало быть, ему грозила участь, вместо иноческой камилавки, носить солдатскую шапку. Девятнадцати лет Герасим женился на однодеревенской девушке Степаниде, но через несколько месяцев после брака ушел из Ермолова с годовым паспортом и более туда не возвращался. Этот побег был в 1822 году. Замечательно, что в один год (1803) родившиеся, в один год (1822) и бежали ради аскетических подвигов: Кочуев из Горбатова от родителей, а Колпаков из Ермолова от беременной жены. Это были люди, которым впоследствии суждено было сделаться главными деятелями при устройстве белокриницкой митрополии.

Тогда все беглые великоруссы, особенно помещичьи крестьяне, стремились в Новороссию. Те из них, которые держались старообрядства, уходили преимущественно на берега Днестра, где и заселили слободы, бывшие

дотоле весьма незначительными, как, например, нынешний город Маяки, Плоское, Куничное (Куница), Грубно, Кулишовку и другие. Герасим Колпаков пошел проторенным путем в эту сторону и в 1823 году, поселясь в Серковском монастыре, приписался к нему, вероятно, по фальшивому паспорту, и платил податной оклад. Здесь он принял малое пострижение и получил имя Нектария. Жившие в Бессарабии старообрядцы имели постоянно сношения с своими единоплеменными единоверцами — липованами, поселенными в сопредельных Буковине, Молдавии и Турции. Братия Серковского монастыря нередко посещала молдавские монастыри и липован, населявших четыре слободы в Буковине. Ходить за границу Колпаков начал, вероятно, с 1826 года.

В 1830 году, в последних числах августа, старообрядческие иноки Нектарий и Ефрем с австрийскими паспортами перешли через границу в Волынскую губернию. Император Николай Павлович, рассматривая ведомость волынского губеранатора об иностранцах, прибывших из-за границы, заметил имена Никитария (?) и Ефрема и повелел на будущее время не впускать подобных иностранцев в пределы русского государства. Едва ли этот Никитарий не был Колпаковым. В начале 1831 года он находился в Серкове и в Куреневском старообрядском монастыре, где с 1827 или 1828 года жила его мать, принявшая также пострижение. Около того же времени Нектарий принял пострижение в великий образ, причем получил имя Геронтия.

Двадцативосьмилетний Геронтий, со сборною книжкой Серковского монастыря, отправился в 1831 году в Петербург к королёвским благодетелям. Вероятно, завернул он по дороге в родное Ермолово, увидел покинутую жену и еще не знавшую отцовских ласк девятилетнюю дочь... Когда Геронтий направлял путь из Москвы к Петербургу, его жена Степанида с девятилетней дочерью бежали из Ермолова... Впоследствии обе они жили в Черкасском монастыре, где Пелагея Герасимова воспитывалась под надзором и попечением матушки игуменьи Манефы.

Геронтий, по словам покойного Надеждина, лично его знавшего, был человек без образования, но удивительно ловкий, распорядительный и большой краснобай. По отзывам близко знавших его старообрядцев, он был

хорошим начетчиком, но мало разумел силу писания. Зато был отличным хозяином и домостроителем и в качестве монастырского настоятеля был человек незаменимый. Предприимчивость Геронтия не знала никаких препятствий: действуя с неустанною энергией, он всегда с успехом выходил из самых затруднительных обстоятельств. Жизни был строгой и вел себя прилично, с достоинством. В Петербурге Геронтий был замечен Сергеем Громовым, и тот приблизил к себе серковского сборщика. Весной 1832 года, когда московские послы приехали в Петербург, Геронтий жил у Громова, проводя дни и ночи в задушевных беседах с Алексеем Васильевичем Великодворским.

III

РОГОЖСКИЕ ПОСЛЫ В ПЕТЕРБУРГЕ

Рогожский собор кончился в январе 1832 года, но назначенные им для переговоров с Королёвскими послы отправились в Петербург не ранее конца мая. Промедление произошло вследствие несогласий, снова возникших между партиями Рахмановской и Царского. Мы видели, что это несогласие проявилось еще на самом соборе, но было тотчас же прекращено благодаря ловкости Кочуева. Но как скоро разъехались из Москвы иногородние депутаты, несогласия возникли вновь и с большею силой. Рогожские попы, за исключением Ястребова, сильно противились исканию архиерейства, не желая расстаться с независимостью и своевольством. Пришел Великий пост, и они внушали на духу, чтобы духовные дети их всячески береглись затей Рахманова, говоря, что эти затеи могут быть пагубны не только для Рогожского кладбища, но и для всего старообрядства; Ястребов своим исповедникам внушал противное. К Пасхе несогласия рогожцев дошли до открытого раздора. Царский, хотя и пожертвовал довольно значительную сумму на задуманное предприятие, но вскоре с своею партией стал настаивать, чтобы Рахмановы и их единомышленники отказались от своей затеи. Найти правильного архиерея, который бы достоин был «возродить корень древлеправославной иерархии», едва ли дело сбыточное, говорили

они, и во всяком случае, найдем ли мы епископа, не найдем ли его, неизбежно возбудим против себя строгие преследования правительства, и тогда последует не только конечное «оскудение священства», но и совершенное истребление старой веры. Вместо того, чтобы пускаться в столь опасные предприятия, Царский, его партия и рогожские попы, кроме Ястребова, по-прежнему стали требовать, чтобы старообрядские общества продолжали ходатайствовать о восстановлении правил 1822 года, то есть о дозволении вновь принимать на убылые места беглых от православной церкви священников, и чтобы ничего другого не предпринимали. Партия Царского особенно усилилась, когда к ней пристали Леонтий Дмитриевич Мотылев и Иван Кирсанович Белов, попечители Рогожского кладбища.

Личное мнение кладбищенских попечителей всегда имело большое влияние на внутренние дела Рогожского общества. Избранные этим обществом (хотя не без интриг), известные высшему столичному начальству, иногда даже утверждавшиеся им в своем звании, попечители имели как бы официальное значение каких-то посредников между старообрядским обществом и правительственною властью. В случае надобности они хорошо умели пользоваться таким положением своим для достижения личных целей или целей той партии, к которой принадлежали. Усиленная соучастием попечителей, партия Царского взяла теперь решительный верх. Ни богатство Рахмановых, ни хитрая проповедь попа Ивана Матвеевича не могли более одолеть ее. К тому же получены были крайне неутешительные для Кочуева и Рахмановых письма от некоторых иногородних депутатов, бывших на соборе. Осторожно переданная ими надежнейшим старообрядцам мысль об архиерее встречена была в некоторых обществах не только с холодностью, но даже с враждебным чувством. Ревнители «новой старины» боялись, не будет ли это отступлением от правил древлего благочестия, доселе со времен Никона не имевшего своих епископов. Самозванцы Афиноген и Анфим были памятны раскольникам, и теперь они страшились повторения соблазнов, внесенных этими пройдохами в старообрядство.

С редким успехом начатое Кочуевым дело, казалось, погибало. Мечты иргизского секретаря разрушались; не

сбывались ожидания Рахмановых и других богачей, которым, не столько для устранения собственного священства, сколько ради удовлетворения личного честолюбия — так усердно желалось иметь собственных архиереев. Ловкий, изворотливый Авфоний и на этот раз их выручил. Он убедил попечителей и партию Царского не мешать по крайней мере затеянному предприятию. «Будьте в стороне,— говорил он им — и положитесь во всем на Королёвских. Пусть они руководят делом. Захотят они искать архиерея — будем искать, не захотят — забудем о нашем предположении и вменим его яко не бывшее. А вы между тем порадейте о святой церкви, устраните великую нужду, утолите духовную жажду древлеправославных христиан, походатайствуйте у правительства о дозволении по-прежнему принимать от великороссийской церкви священников». Попечители и Царский согласились. Кочуев сам вызвался написать Мотылеву и Белову записку для подачи московскому генерал-губернатору и исполнил обещание. Вместе с тем он принимал на себя ходатайство в Петербурге о восстановлении правил 1822 г. Таким образом Рогожское общество уступило в этом деле первое место петербургскому. Мы увидим, как впоследствии, без споров и борьбы, оно возвратило потерянное было старейшинство.

Пока собиралось в Петербург рогожское посольство, Кочуев писал записку для попечителей. Федору Рахманову наскучило дожидаться. С Окороковым и Суетиным он уехал в Петербург, приказав Кочуеву ехать вслед за ним, как только отделается. Ехать Кочуеву велено было вместе с другим рогожским грамотеем, Прокопом Васильевичем Кузнецовым, брильянтщиком.

Вскоре записка была готова, и Мотылев с Беловым подали ее князю Д. В. Голицыну 31-го мая. Вот это произведение пера Авфониева, любопытное во многих отношениях:

«Мы, граждане древней столицы, московские 1, 2 и 3-й гильдии купцы и мещане, из числа кореннаго российскаго народа, нося на себе таковое звание на ряду с другими исповеданиями, свято повинуемся государственным законам, исправляем по выборам общества гражданския службы и с глубочайшим благоговением, по званию каждаго, исполняем обязанности повинове-

ния к начальству, и во всех случаях доказали верность к престолу и отечеству. По отправлению же службы Всемогущему Богу по древлепечатным книгам, после уничтоженнаго Великою Екатериною II названия «раскольника», носим имя «старообрядцев», до лет же московскаго патриарха Никона составляли единое, совокупное христианское стадо, единаго пастыря и единую церковь имели.

Со вступлением на патриаршество Никона, при последовавшем в то время вновь напечатании церковных книг, оказались противу древлепечатных немалыя разности и в чиноположениях и обрядах святыя церкви. Что̀ усмотрев тогда, предки наши, по чувству их совести и душевнаго страха, усомнились и не пожелали принять в обряде никаких изменений, тем паче, что содержавшие те самые обряды и отправлявшие богослужение и все тайны по древлепечатным священным книгам: благочестивии российские цари, боголюбивии великие князья и святители, яко то: святии Петр, Алексий, Иона и Филипп московские и преподобный Сергий и прочие многие российские чудотворцы, святостию жития просиявшие и нетлением и чудесы прославление от Бога. А потому, желая неизменно во всем быть последователями таковых, святостию прославленных от Бога мужей, по апостольскому гласу, завещевающему «поминать наставники, взирать на скончание жительства и подражать вере их», остались при старых чиноположениях и обрядах святыя церкви. Но чрез таковое неприятие новопечатных книг последовало тогда от духовных властей стеснение. То дабы не сделать насилия совести, изменением древних преданий, и соблюсти оную непорочно пред Богом, многие из предков наших решились некогда, оставя любезное отечество и с ним все общественныя выгоды, удалиться — одни за границы польския, другие в сибирския, необитаемыя тогда пустыни и степи, и заселясь там, имели с собою священников, с ними удалившихся, и, до лет облегчения участи их, отправляли службу Божию и христианския таинства втайне. Премудрая великая государыня, императрица Екатерина II, удостоверясь в утеснительном положении и охотном снесении всех бедствий, к пресечению оных, из единаго своего соболезнования, всемилостивейшим манифестом 1762 года, декабря 4-го и указом правительствующаго сената

того ж года, декабря 14-го, даровала отлучившимся за границу всепрощение, позволила селиться в Саратовской, Черниговской и прочих губерниях и повелела с записных старообрядцев сложить двойной оклад, манифестом 17-го марта 1775 года 17-м пунктом, запрещение на вступление в брак без позволения местнаго начальства разрешила, а денежныя пошлины с женящихся тайно, не у церквей, отменила. И объявлена полная свобода в России всех вероисповеданий отправлять богослужение по чину и исповеданию праотцев своих.

Таким высокомонаршим милосердием оживленные старообрядцы, рассеянные за границы чужеземных государств, с восторгом спешили возвратиться в любезное свое отечество, и казалось, что дарованною свободою они из мертвых воскресли, или перешли в новую жизнь. С того времени старообрядцами во многих городах, а наипаче в Черниговской, Могилевской губерниях, Стародубовских слободах и в Саратовской губернии, по реке Иргизу, на отведенных от правительства местах, воздвигнуты многие монастыри, церкви и молитвенные храмы, между прочим, и мы, первопрестольнаго града жители, московскаго сословия старообрядцы, на отведенном от правительства предкам нашим в 1771 году за Рогожскою заставой кладбище, убеждаясь духом человеколюбия и страдания к бедным, устроили каменныя и деревянныя богадельни, в которых ныне содержится на общем иждивении прихожан (доброхотным подаянием) обоего пола престарелых и увечных до 1000 душ, кроме подкидываемых и воспитывающихся младенцев. При оном же богадельном доме три каменные молитвенные храма имеются, при которых с давних лет, в полотняной церкви Рождества Спасителя мира, по временам отправлялось служение божественной литургии. Но в 1823 г. отправление оной от правительства, неизвестно нам почему, воспрещено; в молитвенных же храмах, находящихся у нас по высочайшей воле, священниками и дьяконами служба божия и таинства по древлепечатным книгам вседержителю богу и поныне отправляются. Священники таковые, рукополагаемые в великороссийской церкви, сначала принимаемы были старообрядцами тайно, и те только, которые, по вере и внушению совести их, пожелают быть с нами во единомыслии и

отправлять богослужение и таинства по древлепечатным книгам и чиноположениям святыя церкви. Но по мерам, тогда принимаемым со стороны местных начальств для преследования таковых священников, они не имели нигде постояннаго себе жительства, а, переходя из места в место, из одной губернии в другую и назирая свою паству, скрытно отправляли у старообрядцев богослужение и нужнейшия христианския таинства и требы, отчего происходили немалыя затруднения в отправлении христианских треб и таинств неудобства. Даже самое правительство и местныя начальства не могли знать, где, сколько и какие находятся священники, и не имели точнаго сведения о числе родившихся, умерших и бракосочетавшихся старообрядческаго сословия, отчего в отправлении подушных податей, рекрутской повинности и даже в самих присутственных местах по разным предметам, касательно старообрядцев, происходили немалыя затруднения и недоумения. Таким образом, со времени облегчения Великою Екатериною II участи старообрядцев, при всеобщем духе веротерпения, издревле отличающем Россию, хотя и получили они полную свободу в отправлении своего богослужения, но изъясненныя выше сего затруднения, от неимения положительных правил происходящия, вполне не прекратились.

Приняв бразды правления, вечно достойный славы, государь император Александр I (кроме милостей из царственных уст его, старообрядцы ничего касающагося до совести их не слыхали), по вступившим от некоторых губернских начальств донесений, относящихся до тех старообрядцев и священников их, всеобъемлющий дух сего незабвеннаго монарха, в указе 1803 года 21-го февраля начертал, что правило, принятое его величеством, состоит в том, чтобы, не делая насилия совести и не входя в разыскание внутренняго исповедания веры, строго воспрещать соблазны, не в виде ересей, но как нарушение общаго благочиния и порядка, а в указе 1816 г. 9-го декабря, данном на имя херсонскаго гражданскаго губернатора, о переселении духоборцев, изрек сии достойныя памяти слова: «что не о переселении их помышлять надлежит, но об ограждении скорее сих самых от всех излишних притязаний, за разномыслие в ви-

де спасения и совести, по коему принуждение ни стеснение никогда участия иметь не могут».

Руководимый таковыми высокими правилами, усмотрев бдительным прозорливым своим оком из выше упомянутых донесений некоторыя стеснения по делам старообрядцев, от неустройства происходящия, и желая тишины и спокойствия всем своим верноподданным, всемилостивейше благоволил для единообразнаго к общему всех старообрядцев руководству даровать высочайше изложенныя в 26-й день марта 1822 года правила, каковыя по восшествии на прародительский престол, ныне благополучно царствующий государь император Николай Павлович; изъявляя то же желание полнаго счастия всем своим верноподданным, соизволил оныя высочайшим указом в 15-й день сентября 1826 года утвердить, которым все, прежде построенныя и существующия церкви, молитвенные храмы и часовни повелено оставить в настоящем их положении, не делая притеснений, и самый порядок перехода к нам священников и дьяконов, существующий у старообрядцев более полутора столетия, получил установленную форму, которым позволено жить при старообрядческих церквах, молитвенных домах и часовнях, отправлять богослужение и таинства по старопечатным книгам и вести для порядка метрики. Сим прекратились бывшия до того неустройства и восстановлен благоустроенный законный порядок, правительству известно стало число старообрядцев и священников, у них находящихся, и самыя дела по присутственным местам, касательно старообрядцев, получили правильный ход и законное течение. Успокоенные сим старообрядцы, благословляя милосердие венценосца, изливали теплейшия моления к царю царей о здравии и долгоденствии его императорского величества и всего августейшаго дома.

Таким образом, на основании выше изложенных и высочайше утвержденных правил, и были везде принимаемы старообрядцами приходящие к ним, по внутреннему убеждению совести, их священники и дьяконы, каковых у нас в Москве, при Рогожском кладбище, находилось девять священников и два дьякона, что̀ и продолжалось до 1827 года. Но в сем году, в ноябре месяце, объявлена была нам от местнаго начальства высочайшая воля, состоящая в том, чтоб означенных свя-

щенников и дьяконов оставить у нас в покое, а сверх сих вновь более уже не принимать. Но как в последствии времени, смертию и по другим обстоятельствам [1], означенное число священников уменьшилось до пяти, каковое количество, по числу многочисленности прихожан Рогожскаго в Москве кладбища (коих как в столице, так и в губернии ея может оказаться до 50,000 [2]), весьма недостаточно, так что и ныне уже в самой столице нужнейшия христианския требы и таинства исправляемы бывают с большим затруднением; а кольми паче в уезде и губернии ея, где издавна построенные молитвенные храмы, в которых всегда находящимися при оных священниками, как-то: Бронницкаго и Богородскаго уездов в деревнях: Чулковой, Слободищах и прочих, отправлялись богослужения, христианския требы и таинства, но ныне, по неимению священников, остаются впусте, и даже в некоторых воспрещено старообрядцам собираться для общаго молитвословия, почему живущие там старообрядцы лишаются: умирающие — христианскаго напутствования, умершие — должнаго погребения, а младенцы — святого крещения.

Видя таковое бедственное положение в деле спасения души и обращаясь к самим себе, с горестью помышляем, что во времени благоустроенный вышеупомянутыми, высочайше утвержденными мудрыми правилами, законный порядок перехода к нам священников неминуемо обратится на прежде бывшее неустройство, тем более, как невозможно нам быть без священства, от котораго, по вере нашей, чрез совершаемыя им таинства, получаем мы освящение, то некоторые из старообрядцев по необходимости найдутся иметь у себя не явное священство, а почему и должно для них последовать от местных начальств преследование, а по присутственным местам в делах, касательно старообрядцев, паки прежде бывшия затруднения и недоумения, и самое правительство не будет иметь о числе родившихся, умерших и бракосочетавшихся старообрядцев и находящихся у них священников точнаго сведения. Какая от сего неустройства произойти может польза, рассуждать не осмеливаемся.

---

[1] То есть за переходом некоторых священников в православие.
[2] Официальная цифра, несколько даже уменьшенная.

Находясь в столь прискорбном для души настоящем положении и опасаясь будущих последствий, возымели мы смелость в 1827 г. повергнуть к стопам великаго государя императора всеподданническое прошение, в коем, объясняя угнетающия нас обстоятельства, умоляли его благость о дозволении нам по-прежнему, на основании вышеупомянутых, высочайше дарованных нам правил, принимать приходящих к нам священников и дьяконов, в чем питая несомненную надежду на милосердие и великодушие августейшаго монарха нашего, ожидаем его милостиваго снисхождения. Но между тем крайне стесняемся мы в вышеозначенных обстоятельствах почему в 1831 году подали на имя министра внутренних дел, г. Новосильцева, прошение о принятии вновь на убылое место уволеннаго от своего начальства заштатнаго священника владимирской епархии, села Рясниц, Ивана Петрова Сергиевскаго, изъявившаго добровольное согласие иметь жительство при московском старообрядческом нашем Рогожском кладбище и отправлять богослужение и христианския таинства по древлепечатным книгам. Вследствие таковаго прошения последовало на оное высочайшее повеление: взять от нас объяснительное показание касательно просимаго нами священника, желаем ли мы принять онаго как правильно уволенного духовным начальством, на правилах единоверческих церквей, на что, по чувствам нашей совести, объявили мы, в данном 1831 г., в июле месяце, вашему сиятельству объяснении, что на правилах единоверческих церквей принять означеннаго священника Сергиевскаго мы не желаем, и впредь принимать на таковых правилах священников, по совести нашей, изъявить согласия не можем, потому более, что несовместным с совестью почитаем иметь пастыря не единомысленна с нами, поелику таковый не по вере и усердию его к святочтимым нами древним обрядам и чиноположениям святыя церкви, внушенным совестью, отправлять будет богослужение и христианския таинства, по древлепечатным книгам, а токмо по воле и по предписанию духовнаго его начальства, без сердечнаго к тому расположения и душевнаго чувства, на которое призирает благость божия, а потому и сомневаемся противу совести нашей принять и вверить такому нелицемерно дело душевнаго спасения нашего, в котором

праведно судящему богу, создателю душ наших, дать ответ почитаем себя обязанными.

Объяснив таким образом выше сего причины, подвергнувшия многолюдное сословие старообрядцев в крайнее положение по недостатку священнослужителей, осмелились ныне прибегнуть к особой помощи и покровительству вашего сиятельства, как государственнаго наместника, коему вверено внутреннее управление древней столицы, заключающей в себе многие разноплеменные народы, даже и не христианскаго исповедания, из коих каждому мудрыми законами дарованы права по совести их отправлять беспрепятственно в построенных на то храмах их служение, у коих и браки, совершаемые ими по их обрядам, признаются во всех отношениях родства и наследства законными, но только одни старообрядцы, всегда верные сыны отечества, точные исполнители всех гражданских обязанностей, не имеют еще совершеннаго счастия удостоиться, к довершению многих к нам милостей и снисхождения, получить высочайшее разрешение о дозволении им принимать по-прежнему для совершения таинств священников и дьяконов, на правилах, высочайше изложенных в 26-й день марта 1822 года и в 15-й день сентября 1826 года всемилостивейше утвержденных.

И как по просьбе нашей о дозволении нам принимать по-прежнему священников и дьяконов, судьба участи великаго числа старообрядцев зависеть будет единственно от милосердаго вашего разрешения, в каковом случае старообрядцы московской столицы и губернии ея умоляют ваше сиятельство взойти в крайнее совести их положение, быть представителем и ходатаем за них у подножья престола милосердаго монарха о снисхождении в изъявлении им просимой милости к успокоению их совести и духа».

Более трех лет рогожские попечители ожидали благоприятных для себя последствий от этой записки. Но они ждали напрасно. Ни ходатайство их в Москве, ни «хождение по делам» Кочуева в Петербурге, ни просьбы, подаваемые ими разным начальствующим лицам и даже особам царской фамилии, не увенчались тем успехом, какого они ожидали. Правительство твердо стояло на своем. Считая оскорбительным для церкви дозволение православным священникам уклоняться в рас-

кол, оно не только не восстановляло правил 1822 года, но с каждым годом более и более стесняло старообрядцев.

Здесь не лишним считаем сказать несколько слов о главном лице рогожского посольства, Федоре Андреевиче Рахманове, который в то время стоял во главе задуманного предприятия образовать заграничную иерархию.

В Рогожском обществе в тридцатых годах существовал кружок богачей, вышедших из Гуслицкой волости, особенно же из Вохны. Земляки связаны были между собою дружбою, единомыслием, а некоторые даже родством. Все были сваты друг с другом. К этому кружку принадлежали и Рахмановы, до 1812 года крестьяне большой помещичьей деревни Слободищи, что̀ в Гуслицах. Рахмановых было три брата: Федор, Алексей и Дмитрий, и кроме того двоюродный брат Василий Григорьевич. Откупившись от крепостной зависимости, они приписались в купцы по городу Ардатову, но жили в Москве, производя, посредством приказчиков, обширную торговлю на Волге. В апреле 1825 г. Рахмановы пожертвовали пятьдесят тысяч рублей в пользу комитета о раненых, за то вскоре получили звание потомственных почетных граждан и переписались в московское купечество, но объявили капитал по 1-й гильдии не раньше 1845 года, хотя давно их считали в восьми миллионах. Старший из Рахмановых, Федор Андреевич, был человек добрый и щедрый, но не отличался ни особенными способностями, ни начитанностью, ни какою-либо долей образования.

Мало разумея грамоту, немного заикаясь и притом картавя, не мог он сделаться «мужем совести», но богатство и щедрость его заставили забывать природные недостатки. Угодники льстили ему, и Федор Андреевич, встречая отовсюду удивление своему «высокому уму», возмечтал, что он и в самом деле необыкновенно умный и даже деловой человек. Был он крайне честолюбив, всячески искал известности и почета и, полагая, что с большими деньгами все возможно, он, недавно бывший крепостным, захотел быть дворянином. В то время купцу можно было достигнуть дворянства посредством Ордена, и Федор Андреевич делал одно за другим значительные пожертвования на общую пользу, надеясь та-

ким образом достигнуть дворянского достоинства. Дворянство сильного и богатого члена Рогожской общины Шелапутина не давало спать Рахманову. И вот он, не жалея быстро нажитых денег, сыплет их щедрою рукой на общеполезные дела, но вожделенный орденский крест как клад не дается, правительство считает неприличным сделать рогожского туза кавалером. Для удовлетворения непомерного честолюбия Федора Андреевича оставалось одно поприще — среда раскола. Его «тайности» только и могли удовлетворить стремления Рахманова. Здесь ему, как ревностнейшему рачителю о древлеблагочестивой церкви, были и почет, и уважение, и первое место в собраниях. Здесь имел он значение, участвовал во всех совещаниях, подавал советы попам и игуменьям, «началил» уставщиков, певцов, читалок и призреваемых в богадельнях. Его слушали с уважением, зная, что каждое подобное вмешательство Рахманова в кладбищенские дела непременно кончится щедрым от него подаянием. Величая его «светлые рассудки» и «высокий ум», славили усердие его к вере отеческой, хвалили его милосердие к бедным, превозносили все дела его, а тихонько в стороне подсмеивались над «господином Блаким» [1]. Видя со всех сторон уважение, доходившее до крайнего низкопоклонства, Федор Андреевич уже не ставил никого выше себя и с полною уверенностью говорил, что все Рогожское только им и держится. Из переписки Кочуева знаем, что Рахманов надменно говаривал на кладбище: «вы моим старанием и моими успехами только и благополучны, без меня вы бы не умели и к ставцу лицом сесть», а рогожские жители и жительницы низко за то ему кланялись и говорили со смирением: «точно так, милостивый благодетель наш, Федор Андреевич: только вами и дышим».

Приехав в Петербург, Рахманов подробно рассказал Громовым обо всем происходившем на рогожском соборе и стал с ними советоваться о том, как приступить к делу. Громовы не давали решительного ответа и не высказывали окончательного своего мнения. Окороков и Суе-

---

[1] Федор Рахманов заикался и картавил. Читая вслух молитвы, он вместо: «благого и вернаго раба Твоего», произносил: «блакого и вернаго раба», отчего и прозван был «Блаким» («Следственное дело о Кочуеве»).

тин совещались о том же предмете с Дмитриевым. Имя Авфония у всех было на устах. Много было говорено об его уме и начитанности, о знаниях его дел церковных, об его красноречии и о тех подвигах, которые он принимал на себя до поступления в Иргизский монастырь. Королёвские ждали его нетерпеливо, но он медлил, ибо не успел еще кончить записку для Мотылева и Белова.

В мае Кочуев с Кузнецовым приехали наконец в Петербург. Путешествие его в не виданную еще до тех пор столицу совершилось благополучно, если не считать неблагополучием свалившейся в ров подле шоссе кибитки с рогожскими грамотеями. В Петербурге Кочуев был встречен с распростертыми объятиями всеми важнейшими членами Королёвского общества. Молва об его подвигах, рекомендательные письма уважаемого королёвцами Силуяна, отзывы Рахманова, Окорокова и Суетина — отворили ему двери во все старообрядские дома Петербурга. Всякому прихожанину Королёвской моленной желательно было хоть посмотреть на знаменитого подвижника и «страдальца за старую веру», обладающего редким знанием старинных уставов, искусным пером и необыкновенным даром слова. Громовы приняли его с особым уважением и любовью. Кочуев водворился в их доме. Они стали смотреть на Авфония как на человека, воздвинутого самим богом на спасение и восстановление бедствующей церкви древлего благочестия.

Вот он, бедный горбатовец, еще недавно закупавший небольшие партии сухого судака, воблы и коренной рыбы на низовьях Волги, еще так недавно державший проповедь в лесах, безмолвствовавший в Жигулях и юродствовавший в Симбирске, широковещательно разглагольствует в громовских роскошных комнатах, ходит по мелкоштучному паркету и дорогим коврам, среди тропических растений, при свете только что появившихся тогда у нас карсельских ламп. Ему, еще недавнему бедняку, ходившему босиком, в одной рубашке по Симбирску, с благоговением внимают одни из первейших богачей Петербурга. Кочуев прислуживает в моленной отцу Василию, Кочуев ведет умную беседу с Великодворским и Чистяковым, Кочуев услаждает душеспасительными сло-

вами Елену Ивановну, о Кочуеве все толкуют, все оказывают Кочуеву глубокое уважение.

Громовы с живым сочувствием приняли проект Кочуева, но по наружности отнеслись к нему как к делу невозможному и рогожским послам наотрез отказали от содействия рахмановским затеям. Но они хитрили. Сергей Григорьевич о предложении московских послов сказал Алексею Великодворскому. Этот одобрил проект, но, успев в короткое время узнать вдоль и поперек и Кочуева и Рахманова с Суетиным и Окороковым, посоветовал Громовым отклонить на первое время от дела московских богачей, а Авфония Кузьмича удержать при себе. Рахманов гордился своим делом, как будто оно было уж сделано, и был неосторожен, рассказывая слишком многим старообрядцам о московском предприятии. Таким образом, благодаря его излишней разговорчивости, дело могло огласиться, как уже и огласилось было в Москве. Великодворский справедливо опасался, что таким образом намерения старообрядцев могут сделаться известными правительству, которое, конечно, примет строгие меры, чтобы уничтожить затею в самом ее начале. Для этого он и предполагал отстранить до поры до времени участие в деле московских старообрядцев и даже отклонить их от него, сказав, что искание архиерейства дело несбыточное и крайне опасное. Громовы, посоветовавшись с Григорием Дмитриевым, так и поступили: Рахманову, Окорокову и Суетину от имени всего Королёвского общества объявили решительный отказ от всякого участия в деле искания архиерейства и советовали им, чтоб они лучше вместе с партией Царского ходатайствовали о восстановлении правил 1822 года. Окорокова и Суетина тотчас же убедили Громовы, и они уехали из Петербурга. Но не так легко было убедить упрямого Рахманова. Он настаивал на своем, горячо спорил и обижался, что не хотят во всем поступить, как он хочет. К крайнему изумлению Рахманова, Кочуев, тайно уже склонившийся на сторону Великодворского, громко и решительно заговорил то же, что говорили и Громовы. Мало того, Федор Андреевич получил неприятные для его самолюбия известия из Москвы: Окороков рассказал на кладбище, как петербургские старообрядцы приняли рогожское предложение, передал все опасения Громовых и открыто пристал к Царскому. За ним последовали и другие. Все охладели к де-

лу, за которое взялись было так горячо. Поп Иван Матвеевич молчал. Надо думать, что он был посвящен в тайные замыслы столпов Королёвского общества, подобно конторщику Синицыну, которому обо всем сообщил Кочуев. Таким образом дело, по-видимому, рушилось окончательно, но оно только начиналось.

Оскорбившийся Рахманов излил досаду на Кочуева и Кузнецова и, по обыкновению, стал «началить» их. «Куда вам, дуракам, против меня идти? Я знаю, что̀ надо делать, вы должны меня во всем слушаться. А вы с Громовыми заодно. Что́ бы вы все без меня были? Только моими стараниями и успехами вы и были благополучны. Без меня вы и к ставцу лицом сесть не умеете». Кочуев с Кузнецовым о нападках «Блакого» писали на Рогожское кладбище одному из уставщиков, Петру Осиповичу Смыслову, державшемуся партии Царского. Смыслов, не подозревая хитрости Кочуева, считал его искренно перешедшим на сторону Царского и отвечал шутливым письмом, советуя вооружиться терпением и сказать напрямки Рахманову, что пора его прошла, что разумные люди взяли верх над тщеславными богачами и что в Москве всё переходит на сторону противную «Блакому».

Рахманов, обращаясь в среде королёвских старообрядцев, с каждым днем чувствовал свое положение более и более неловким. В Петербурге ему не угодничали, не кланялись, не удивлялись «мудрым речам» его и от предприятия, которым он думал навеки прославить свое имя, отказались равнодушно, иногда даже смеялись над ним. Пожертвовав в Королёвскую моленную пудовые свечи, с затаенным чувством оскорбленного самолюбия покинул Федор Андреевич негостеприимные, по его мнению, берега Невы и возвратился в дом свой.

На Рогожском и думать перестали об архиереях. Нарушенное согласие восстановилось. Все единодушно постановили хлопотать о восстановлении правил 1822 года, для чего и дали оставшемуся в Петербурге Кочуеву доверенность.

О предположении искать архиерея знали только Громовы, Дмитриев, Алексей Великодворский, Кочуев, да еще серковский игумен Геронтий. Они разделяли уверенность всех почти старообрядцев, что где-то на Востоке сохранилась неповрежденная православная вера и архие-

реи древлего благочестия. Надобно отыскать эту страну и уговорить одного из тамошних епископов принять в свое управление вдовствующую в России старообрядческую церковь. Вопрос о том — где устроить кафедру древлеблагочестивого епископа, окончательно решил Геронтий. Необходимо устроить ее, говорил он, вне пределов России, но неподалеку от границы. Для этого предстояло избрать местность в Турции, Молдавии или в Австрии. В Турции, то есть в Добрудже, сочли основание архиерейской кафедры невозможным: султан исполняет всякую волю правительства и по первому требованию его уничтожит кафедру; притом же живущие в Добрудже старообрядцы, некрасовцы, народ грубый, буйный, едва ли в их местах епископ будет безопасен. О Молдавии и говорить нечего: она находилась тогда под совершенной властью России. Оставалась Австрия. Геронтий, как самовидец, рассказал о трех слободах, населенных в Буковине липованами русского происхождения, и о том, что в одной из них, Белой-Кринице, есть маленький монастырек, в котором, по его мнению, можно было бы устроить епископскую кафедру. Но беда в том, что часть тамошних липован совершенные беспоповцы, а другая, более значительная, хотя и приемлет священство, но, придерживаясь отчасти согласия чернобольцев, сочувствует в некоторых отношениях беспоповству. Монахов там мало, да и те вовсе ненадежны. Прежде чем заводить в Белой-Кринице епископа, надо наполнить ее достойными монахами из России, которые бы образовали из себя настоящее старообрядское братство.

Где же сыскать путешественников, которые бы решились отправиться в дальние странствования для открытия древлеблагочестивого епископа? Кочуев вспомнил, что на Рогожском соборе игумен Лаврентьева монастыря Симеон говорил, что есть у него люди способные на такое дело. Лаврентьевские монахи коротко были известны Королёвскому обществу, ибо часто приезжали в Петербург за сборами; многих из них хорошо знали Громовы. Придумали послать из этого монастыря на Восток искателей архиерейства, а впоследствии лучших из лаврентьевской братии переправить за границу для образования из них белокриницкого братства. Завести обо всем этом переговоры с лаврентьевской братией поручено было Геронтию, который для того, возвращаясь

в свой Серковский монастырь, должен был, минуя Москву, ехать по белорусскому тракту и в Могилевской губернии остановиться на некоторое время в Лаврентьеве монастыре.

IV

ЛАВРЕНТЬЕВ МОНАСТЫРЬ

В Могилевской губернии, близ славной некогда старообрядской слободы Ветки, в 12-ти верстах от нынешнего уездного города Гомеля, среди дремучего столетнего бора, между трясин и болот, находился уединенный поповщинский монастырь Лаврентьев, с трех сторон окруженный глубокой, быстрой и омутистой Узой. Вокруг его стен жилья не было. Ближайшее находилось верстах в полуторах — это мельница Папера, на которой когда-то приготовляли писчую бумагу; потом в опустелых ее строениях проживали две или три семьи крестьян из огромного гомельского имения. В шести верстах от монастыря находилась и доселе существующая деревенька Давыдовка, населенная православными белоруссами, а с небольшим в девяти — небольшое старообрядское селение Миличи. Развалины Лаврентьева монастыря, уничтоженного в 1844 году, и теперь существуют.

По дороге к нему, почти от самого Гомеля начинался лес, сначала редкий и мелкий, потом, чем дальше, тем гуще и рослее. Вокруг самой обители дубы и осины достигали необычайной высоты и густоты; неприкосновенные росли они с первой половины XVIII столетия; никогда звуки топора не оглашали этой заповедной дебри. Заботливо берегла этот бор монастырская братия: он был и красою места и защитой приютившейся в чаще его обители. По узкой, пролегавшей к монастырю этим лесом, дорожке и в ясный полдень бывало сумрачно; вечно шумевшие вершины развесистых дубов, переплетясь в высоте, представляли из себя темный густолиственный свод, не пропускавший на землю солнечных лучей. Идя по узкой, неровной, местами покрытой обнаженными отпрысками дубовых корней, дорожке, в этом таинственном полумраке, при однообразном шуме вер-

шин, подходивший к обители путник невольно проникался чувством благоговейного страха. И вдруг, у самых почти ворот монастырских, поражала его быстрая перемена картины: вместо темного, дремучего бора, взору его представлялась небольшая веселая поляна, покрытая изумрудною зеленью; по ней, сверкая как бы искрами, бежала речка и почти окружала красиво выстроенную обитель. Высокие, почерневшие от времени бревенчатые стены окружали обительские строения. Над святыми вратами, обращенными к лесу, стоял огромных размеров образ живоначальной Троицы. Когда солнце бросало лучи на эту надвратную икону, она как бы горела переливами светлых радуг, и вышедший из лесного мрака путник невольно проникался чувством уважения к месту.

Лес, окружавший обитель Лаврентьеву, в глазах местных старообрядцев почитался как бы священным. За грех считали его трогать, оберегали от порубок Лаврентьев лес и ходившие в народе легенды о болезнях и несчастьях, преследовавших будто бы во всю жизнь того, кто, зная или не зная о неприкосновенности священной дубравы, дерзал срубить в ней хоть одно дерево. Все двенадцать дочерей Ирода, все двенадцать лихоманок нападут на человека и станут мучить его до смерти. Вырубит в лесу кто-нибудь дерево на домашнюю поделку — в ту самую поделку на первый Спас [1] ударит молния, и сгорит дом нарушившего целость Лаврентьева леса, а с ним и деревня вся. И ничем того пожара утушить нельзя, кроме воды из реки Узы, освященной в тот самый день первого Спаса лаврентьевским священником. Свалившееся от старости дерево, сломившуюся ветвь нельзя поднять, не сказав: «Преподобный отче Лаврентие, прости и благослови принять сие древо за благословение». И ничего нечистого из того древа делать нельзя, и ничего ногами попираемого, иначе в доме сделавшего будут свары и ссоры и кровопролитие, и тати расхитят все имущество. Даже грибы да ягоды нельзя сбирать в том лесу без испрошения благословения у Лаврентия. Только деревца на троицкие березки да растущую по берегу Узы вербу для заутрени «Цветного воскресе-

---

[1] Августа 1-го.

нья» [1] можно всякому брать невозбранно; да еще дозволялось рвать прутья — на Егорьев день коров на первое поле выгонять. А кто «русальные венки» в том лесу станет завивать или «кумиться» вокруг дерева, а паче всего на день Предотечев [2] «Купалины огни» зажигать, тому несть прощения ни в сем веце ни в будущем. Не говоря уже о старообрядцах, даже православные белоруссы уважали неприкосновенность Лаврентьева леса. Даже жиды боялись налагать на него руку. Они, вероятно, держали в памяти не раз повторившиеся случаи наказания за неуважение, оказанное заповедному лесу. В архивах сохранились жалобы евреев на лаврентьевских иноков, которые за ничтожные порубки уважаемого леса нещадно пороли племя Израилево ветвями священных древес. Такими поверьями и такими обычаями охраняемый лес Лаврентьев рос, старел, подгнивал и однажды от сильной бури разом повалился на огромном пространстве. Случилось это вскоре по закрытии монастыря, в конце сороковых годов. Естественное явление старообрядцы объяснили чудом. «Разорили наш монастырь,— писали они в Петербург,— разметали жилища наши и место свято, храм молитвы, аки негодную овощную храмину раскидали. Погубили славную красоту церковную и распустили стадо Христовых овец. Все изгибло, все травой поросло. И красота драгоценных мест наших, любезный наш, очам и сердцам нашим превожделенный бор; вящше ста лет укрывавший иноков, премирное житие и многолиственными ветвями осенявший святую обитель, не стерпя онаго опустошения и устыдясь такого поношения места, волею вся держащаго в руце своей Создателя, во един час паде на лицо земли, аки сено под косою».

Начало Лаврентьева монастыря относится к тридцатым годам прошлого столетия. На Страстной неделе 1735 года полковник Сытин произвел так называемую «первую ветковскую выгонку». Сорок тысяч беглых великоруссов-старообрядцев, ушедших от гонений за литовский рубеж, силою оружия высланы были назад во владения Анны Ивановны. Но высланы были не все. Неко-

[1] «Цветным воскресеньем» называется воскресенье перед Пасхой, иначе называемое «Вербным воскресеньем», когда церковь воспоминает вход Иисуса Христа в Иерусалим.

[2] Июня 24-го.

торые изыскали способы укрыться от драгунских и казачьих полков в лесах, находившихся неподалеку от Ветки. В числе их был инок Лаврентий. Предание говорит, что был он родом из Калуги, пришел еще во дни Петра I на Ветку, принял здесь иночество и, постригаясь, желал получить имя своего святого согражданина Лаврентия, Христа ради юродивого, калужского чудотворца, которому, как уверял он свою братию, будто бы приходился родственником. Немало лет жил Лаврентий в Ветковском монастыре в послушании у игумена Власия, был свидетелем и едва ли даже не участником приема в старообрядство епископа Епифания. Избегнув высылки в Россию, инок-схимник Лаврентий с немногими из ветковской братии удалился в лес, на берега Узы, и здесь поставил келью и маленькую часовенку во имя Всемилостивого Спаса летом того же 1735 г., когда была произведена ветковская выгонка. Старообрядцы сходились к Лаврентию, и через немного лет на месте его кельи возник довольно людный монастырь, хотя и чрезвычайно бедный. В первые годы его существования, пока еще вновь не заселились великорусскими выходцами «ветковские пределы», братия Лаврентия не столько ради подвига иноческого, сколько ради нищеты невольной, питались нередко дубовою корой да кореньями. В часовне, кое-как срубленной из дубовых деревьев, было всего шесть икон, принесенных Лаврентием из Калуги. Не было на этих древних и потому уважаемых старообрядцами иконах никаких украшений, и только в великие праздники теплились перед ними восковые свечи; при обычной же, повседневной службе Лаврентий употреблял лучину. Зато обитель отличалась строгостью устава и истинно-подвижническим житием иноков. Бывали уклонения от строгого аскетического образа жизни, но редко, и каждый раз, как скоро кто-либо из братии бывал замечен в уклонении от обительских правил, его «смиряли нещадно». Если не внимал он увещаниям настоятеля и братского собора, ставили его на поклоны; если и это не действовало, сажали на цепь в подполье; если же и на цепи инок не исправлялся, со срамом изгоняли его из монастыря, запрещая, под страхом немилосердных побоев, близко подходить к монастырской ограде.

Из пришедших с Лаврентием калужским на берега Узы иноков, особенно отличался благочестивою жизнью

и строгими подвигами отшельничества некто Викентий, инок-схимник, из Москвы пришедший на Ветку еще в первых годах ее заселения великорусскими выходцами. Лет через пять по водворении старообрядской обители на берегах Узы, этот Викентий, с благословения Лаврентия, оставил ее ради вящих подвигов и отошел на пустынножительство поближе к тогдашней русской границе, к литовскому рубежу, как тогда говорилось в России. Здесь, вблизи Стародубья, неподалеку от старообрядской слободы Крупцов, в горе ископал своими руками Викентий пещеру и поселился в ней. Стали и к нему стекаться старцы и вскоре подле пещеры схимника устроили скит с двумя часовнями и несколькими кельями. Прошло еще немного времени, и кругом скитской ограды образовалась из пришедших великоруссов старообрядская слобода, получившая название Новых-Крупцов. Слава пещерного жителя и крепкого «древляго благочестия» хранителя, строгость жизни в его ските, еще бóльшая, чем в монастыре Лаврентьевом, привлекали к новому местожительству старообрядских подвижников и приобрели ему великое уважение со стороны их единоверцев. Вскоре Лаврентьев монастырь в сравнении с обителью Викентия показался «жительством слабым». И был он еще в большей бедности, еще бóльшую нищету и нужду терпели духовные чада Викентия, чем братия, собранная Лаврентием.

В такой же бедности, но и в такой же славе подвижничеством оставались и другие старообрядские монастыри того края: Макариев-Терловский, устроенный около 1750 года, в 32 верстах от Лаврентьева, иноком Макарием, пришельцем из Вереи,— Пахомиев, заведенный около 1760 также великорусским выходцем, но не знаем, из какого города, иноком Пахомием,— и Асахов скит, построенный, одновременно с Пахóмиевым, старцем Иоасафом, пришедшим из города Гжатска. Асахов скит был неподалеку от Гомеля и назывался также Чолнским, или Чонским, по урочищу «Чолнский-Обрыв», на котором был построен.

Через год после того, как воеводство Могилевское, в котором находились названные старообрядские монастыри, было возвращено России, умер Викентий Крупецкий. Собранный им скит неминуемо должен бы был уничтожиться сам собою, ибо под русским владычеством нель-

зя было разводить раскольничьих скитов, как водилось это при польских королях; притом же не осталось в Крупцах после Викентия ни единого старца, который бы, равняясь покойному, мог продолжать его дело. Особое обстоятельство поддержало однако Крупцы, хотя и ненадолго. Иссохшее, изможденное долговременным постом, молитвами, ношением тяжелых вериг, копанием стосаженного коридора в горе, тело столетнего почти Викентия, находясь в холодной, но сухой пещере, не предавалось тлению. Скитники стали разглашать о святости почившего своего настоятеля, и пошла по старообрядству громкая молва, что просветил господь своею милостью богоспасаемые Новые-Крупцы, явил верующим новоявленные мощи угодника своего, инока-схимника Викентия. Останки его крупецкие скитники положили в деревянную раку и поставили ее в той самой пещере, где подвизался он в молитвенных подвигах. Толпы богомольцев из старообрядских слобод соседнего Стародубья одна за другой потекли на поклонение мощам преподобного Викентия Крупецкого. В пещере ежедневно пелись панихиды с утра до вечера. Богомольцы брали из пещеры песочек, а из пещерного, ископанного руками Викентия колодца — воду. То и другое, считая за цельбоносную святыню, разносили по домам. Пошли толки о чудотворениях, бывающих у раки нового угодника. Кто-то составил, впрочем, довольно бестолково, а местами безграмотно: «Сказание о житии и отчасти чудес преподобнаго отца нашего Викентия иже на Новом Крупце», где, по подобию старинных «Прологов» и «Патериков», рассказывалось о подвигах Викентия, о крепком его состоянии в «древлем благочестии», о примерах его прозорливости и даже о том, как он пророчествовал и как однажды, находясь после долговременной молитвы в состоянии восторженности духа, имел будто бы видения. Но недолго чествовались старообрядцами Викентиевы мощи. Известие о них дошло до Петербурга.

Сведал про них черниговский архиерей Феофил (Игнатович). Священник приходской церкви в селе Денисковичах[1], Иван Еланский, в 1774 году донес ему, что «в слободе Крупце, близ часовни, живший в выкопан-

[1] Новозыбковского уезда Черниговской губернии, при речке Адамовке, в 30 верстах от Чернигова, в 15-ти от Новозыбкова.

ной в горе келии старец именем Викентий (который как умер другой год) крупецкими раскольниками сыскан, где и ныне оное тело лежит, о коем раскольники по раскольническим слободам разгласили, якобы тот старец Викентий, чрез их раскольническую веру, в святость пришел, и ходя из окольных белорусских и раскольнических слобод, тому телу поклоняются». Несмотря на то, что Крупец и другие белорусские старообрядческие слободы находились в области архиепископа могилевского, знаменитого Георгия Конисского, черниговский архиерей счел правильным представить от себя святейшему синоду доношение священника Еланского. Синод 31-го августа 1775 года сделал по рапорту архиерея следующее постановление: «надлежит в пещере, в которой раскольническия мощи лежат, от светской команды приставить караул, и какое там найдется мертвое тело, оное при определенных от епархиальнаго архиерея духовных персонах освидетельствовать, а потом оное зарыть в земле, в другом месте, где бы раскольники знать и, вырыв, обратно взять к себе не могли, о сем узнав предварительно, разглашаемыя ложныя мощи скрыть, то благоволил бы правительствующий сенат к сему принять надлежащия меры, а притом бы и о раскольнических монастырях, церквах и часовнях учинить подлежащее определение и какое об оном правительствующаго сената определение последует, о том святейший синод уведомить».

«Светская команда» распорядилась несколько иначе относительно Викентиева тела и Викентиева скита. Черниговской епархии «духовныя персоны» (едва ли не тот же священник Иван Еланский) довели до сведения той светской команды, что без малого сорок лет перед тем происходила подобная же «комиссия о ложно вымышленных раскольниками мощах», что полковник Сытин во время первой ветковской выгонки отпустил было с выселявшимися в Стародубье раскольниками гробы с ложными раскольничьими мощами Иоасафа, Феодосия, Александра и Антония, но что по велению императрицы Анны близ Новгорода-Северского те гробы публично были вскрыты, и ложные мощи сожжены. Пример этот «светскою командой» был принят за основание. Викентиево тело сожгли, пещеру зарыли, скит разрушили, скитников разослали по местам их ревизской приписки.

Но жгли останки Викентия, вероятно, не секретно; в потухшем костре старообрядцы отыскали обгорелые кости и кроме них будто бы оставшееся целым сердце сожженного и даже часть его срачицы. Устроив из белой жести небольшой ящик по подобию раки, они благоговейно положили в него собранные останки и тайно передали их в более безопасное место — братии Лаврентьева монастыря. Молва о находящихся в этом монастыре «святых мощах» через несколько лет распространилась по белорусским старообрядческим слободам, а оттуда достигла до Стародубья и других мест. Стали стекаться на поклонение Викентию в Лаврентьев, как стекались дотоле в Новые-Крупцы. По отдаленным местам даже распространен был слух, что сожгли не труп Викентия, а самого его заживо. Стали за то Викентия чтить страстотерпцем. Через несколько времени к «Сказанию о житии» его прибавлен написанный напыщенным и широковещательным слогом искаженный рассказ о том, как черниговский архиерей Феофил будто бы пытал, бил кнутом и наконец сожег живьем Викентия за его крепость в «древлем благочестии». Рассказ этот особенно сильно распространялся в местах отдаленных, например, между сибирскими раскольниками. Прошли десятки лет, и в самых слободах белорусских некоторые стали выдавать за непреложную истину сказку о том, что будто бы в Новых-Крупцах черниговский архиерей живьем жег преподобного пещерника Викентия. Таковы были последствия ревности не по разуму черниговских «духовных персон» и слепого усердия посланной в комиссию «светской команды». Без сомнения, известие о том, как поусердствовали над Викентием духовные персоны и светская команда, до сведения императрицы Екатерины не дошло. Не в ее духе были такие распоряжения, положительно вредные, ибо они-то и поддерживают более всего силу раскола.

В июле 1775 года, пышно торжествуя в Москве славный Кучук-Кайнарджиский мир, Екатерина пожаловала фельдмаршалу Румянцеву двенадцать наград, в том числе, «для увеселения его — деревню в пять тысяч душ в Белоруссии». Эта деревня была местечко Гомель с 293 тысячами десятин земли, на которой, между многочисленными поселениями белоруссов, находились старообрядческие слободы и монастыри Лаврентьев, Макариев,

Пахомиев и Асахов, или Чолнский. Новый владелец гомельского имения благосклонно отнесся к старообрядцам «своим подданным», как он выражался, и постоянно покровительствовал их монастырям. Вскоре по поступлении этих монастырей во владение кагульского героя умер Лаврентий, достигнув преклонной старости.

Старообрядцы рассказывают, что, когда вокруг смертного одра его собралась рыдающая братия, он благословил инока Феофилакта быть по себе игуменом и всех обязал клятвой неуклонно и строго соблюдать заведенный им в монастыре порядок и навсегда сохранить суровый устав иноческого жития, введенный им при первоначальном поселении на берегах Узы. Связав такою клятвой иноков и бельцов, умирающий будто бы в пророческом духе сказал: «Се ныне, отходя света сего, могу с Богоприимцем рещи: «Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, с миром, яко видеста очи моя спасение людей Твоих». Великий боярин, владетель мест сих, вас беспечальныя сотворит и тем соделает спасение ваше и святой обители сей. И богатство приидет к вам, братия, принесет же его некий юноша, живший с нами и суеты ради мира отошедший инуду». Пророчество Лаврентия сбылось. Действительно, Задунайский и сыновья его покровительствовали обители. Действительно, живший некогда в Лаврентьевой обители купец Морозов в 1832 году, почти столетним стариком, возвратился в покинутую в юношестве обитель и до ста тысяч рублей употребил на ее украшение. Нет сомнения, что сказание о предсмертной в пророческом духе беседе Лаврентия с братией составилось в позднейшее время, когда уже оправдались мнимые его пророчения. Особенно сомнительным кажется нам подлинность этого пророчества потому, что о нем не сохранилось преданий ни в самом Лаврентьеве монастыре ни, сколько нам известно, у старообрядцев Петербурга, Москвы, Стародубья, Керженца и Иргиза. Сохраняется оно в Пермской губернии и в Сибири и приписано к тому самому «Сказанию о житии Викентия», в котором рассказывается и о мнимом сожжении его живым. Вероятно, это прибавочное сказание составлено в тридцатых годах нынешнего столетия каким-нибудь выходцем из Лаврентьева монастыря в сибирские или пермские пределы. По смерти Румянцевых и Морозова

досужему уму легко было изобресть пророчество Лаврентия на смертном одре его. Упомянем еще об одном сказании, заимствуя его из той же сибирской раскольничьей рукописи. Умирающий Лаврентий завещал преемнику Феофилакту возвратить останки Викентия в Новые-Крупцы. Это было исполнено, и действительно жестяная рака с ними сохранялась в Крупцах до 1838 года. Это известно из дел официальных.

С тех пор, как Румянцев-Задунайский сделался владельцем гомельского имения, для тамошних старообрядских монастырей настало золотое время. Под его защитой и покровительством положение Лаврентьевой и других обителей значительно улучшилось. В 1775 г. гомельские старообрядцы, с дозволения фельдмаршала, устроили новые монастыри в его владениях, как, например, женский в Спасовой слободе, составляющей как бы предместье Гомеля. Все монастыри, находившиеся на землях Задунайского, наделены были им пахотными землями и сенокосами и получили право свободного въезда в леса гомельской экономии, где могли рубить не только дровяной, но и строевой лес. Бор вокруг Лаврентьева монастыря самим владельцем сделан был заповедным. Игумен Феофилакт пользовался особенным расположением кагульского героя и нередко бывал у него в Вишенках. Здесь, в беседах с фельдмаршалом, любившим богословские предметы, и с покровительствуемым им Никодимом, впоследствии основателем единоверия, Феофилакт, говорят, склонялся было к сближению с церковью и изъявлял личное желание принять в свой монастырь правильно поставленного и зависимого от православного епископа священника. Но братия лаврентьевская упорно стояла на своем «древлем благочестии», и водворение в Лаврентьевом монастыре единоверия не состоялось. Зато монастырь Чолнский принял его около 1800 года.

В декабре 1796 года умер Задунайский, и гомельское имение досталось старшему его сыну, графу Николаю Петровичу, впоследствии канцлеру Российской империи. Гомель сделался любимым его имением, и граф великолепно устроил его. Бывая в Гомеле (а он редкий год не бывал в нем), граф Румянцев непременно посещал своих «подданных», облеченных в камилавки и кафтыри. В Лаврентьеве и других монастырях встречали его

с царскими, можно сказать, почестями. Заблаговременно извещенная о приближении знаменитого гостя, монастырская братия выходила за ограду, встречала графа с колокольным звоном и пением духовных песен. Навстречу посетителю выносились кресты, иконы, хоругви, зажженные свечи. Румянцев, приложась ко кресту, обыкновенно входил с пением иноков в часовню, прикладывался к образам и затем отправлялся к настоятелю. Иногда принимал участие и в братской трапезе. Можно представить, какое впечатление производили на старообрядцев, особенно живших в отдаленных от Белоруссии краях, такие посещения их монастырей столь важным государственным сановником. Нимало не удивительно, что в кругу старообрядском и доселе есть старики, полагающие за несомненное, будто канцлер сам придерживался «старой веры». Чем же иным, говорят они, можно объяснить то великое участие, которое граф Николай Петрович принимал во всем, относящемся до Лаврентьева и других на его земле устроенных монастырей? Он был ктитором их и втайне придерживался «древляго благочестия». Одно то обстоятельство, что он пожертвовал в Лаврентьев монастырь «походную икону» своего знаменитого родителя, с которой он подвизался против турок, не служит ли, говорят они, тому доказательством?

Конечно, нельзя допустить, чтобы покойный канцлер был действительно раскольником. Ни воспитание его ни вся молодость его, проведенная за границей среди дипломатов, ни отношения его к пастырям православной церкви не дозволяют ни на минуту сомневаться в том, что он никогда не был раскольником. Тем не менее в известных нам правительственных архивах сохранились следы о странном покровительстве его старообрядским монастырям, которое до некоторой степени не может не казаться загадочным. Так, например, в августе 1838 года могилевский губернатор Марков нашел в Лаврентьеве монастыре довольно богатую ризницу, в которой особенно замечательна была «небольшая старинная икона, в позлащенном окладе, принесенная в дар канцлером графом Н. П. Румянцевым и известная под именем *походной*. Таковые же иконы Румянцев принес и во все прочие монастыри и часовни, находившиеся в гомельском его имении».

Канцлер, тотчас, как получил по смерти родителя гомельское имение, оказал особенное покровительство Лаврентьеву монастырю. Вскоре после смерти лаврентьева преемника, игумена Феофилакта, когда монастырская братия была занята избранием ему преемника, приехал в монастырь местный комиссар Харкевич и вмешался в выборы. Произошли пререкания, за которыми последовали угрозы комиссара запечатанием часовни и келий, разогнанием иноков и даже гневом недавно перед тем воцарившегося императора Павла... Харкевич упомянул даже про кибитки, в которых повезут лаврентьевских монахов в Сибирь... Монахи перепугались и написали слезно-жалобное письмо к своему «милостивому благодетелю и отцу» графу Н. П. Румянцеву, прося его защиты. Ответное письмо к Шустову, гомельскому казнохранителю, управлявшему в то время всем румянцевским имением, и подписанное самим Румянцевым, сохраняется доселе в архивных делах. Вот оно:

«Яков Шустов! С получения сего имеешь объявить старообрядческаго Лаврентьева монастыря инокам, что я письмо их получил и сожалею о смерти начальника их Феофилакта, тем более, что он был, кажется, добрый и тихий человек. Но что ж касается до жалобы их в притеснении комиссара Харкевича, то уверь их, что оныя кончились отрешением, по достоинству, за произведенные им наглые и дерзкие поступки, чрез причинение *моим подданным* обид,— от должности. А на место его определен комиссаром Семковский, человек, по опытности знающий порядок, также и хранящий справедливость; следовательно ожидать должны, что посредством его не токмо они, но и все *мои подданные* будут совершенно защищены от всяких угнетаний. 11-го апреля 1798 г. *Граф Николай Румянцев*». «Получено мая 6-го дня 1798 года».

Сам могилевский губернатор получил при этом немалые неприятности. С тех пор, в продолжение сорока почти лет, Лаврентьев и другие монастыри, находившиеся на земле Румянцева, были как бы изъяты от ведения уездной и губернской администрации.

Граф Румянцев, заботясь о порядке в «своих» старообрядских монастырях и о твердом хранении в них иноческого устава, силою помещичьей власти, а несравненно

более силою своего государственного значения, распоряжался, ничем не стесняясь. Он изгонял из монастырей пришедших со стороны раскольников, если они чем-нибудь провинились перед игуменом обители и перед собором монастырским. Он приказывал телесно наказывать монахов и бельцов, находившихся в крепостной от него зависимости. Он самолично, или чрез управлявшего гомельским имением г. фон-Фока, разбирал монастырские ссоры и неурядицы и строго наблюдал за непорочностью инокинь и белиц Спасовой слободы. Немец фон-Фок [1] переписывался по духовным делам с лаврентьевским игуменом Симеоном и, немного, конечно, смысля в деле раскола, пускался в курьезные рассуждения о правилах старообрядского жития, выдумывая при удобном случае из своей головы небывалые изречения апостола Павла. Г. фон-Фок до того простер заботу о целомудрии разгульных белиц и инокинь Спасовой слободы, что возвел в сан игуменьи девичьего монастыря инока, не приняв во внимание, что избранная по его административным соображениям игуменья принадлежит не к тому полу.

Под покровительством Румянцева, гомельские старообрядские монастыри достигли цветущего состояния, особенно Лаврентьев. Во всех монастырях было более двухсот человек братии, в женском же до тридцати монахинь, не считая огромной вереницы непостриженных девок. И в мужских и в девичьем монастыре, в надежде на мощную защиту государственного канцлера, преспокойно жили беглые и беспаспортные. Земская полиция Белицкого уезда не решалась их преследовать, вероятно, памятуя участь комиссара Харкевича. Даже не на землях Румянцева в Белицком уезде привольно было жить старообрядцам: в начале нынешнего столетия неподалеку от гомельского имения устроился новый поповщинский монастырь — Никольский. Он заведен был в имении пана Поцея, помещика польского происхождения.

---

[1] Г. фон-Фок впоследствии был директором особой канцелярии министра внутренних дел и заведовал делами о раскольниках. Потом, в начале царствования императора Николая, был первым управляющим III отделения собственной его величества канцелярии.

Чем же объяснить такое покровительство графа Румянцева старообрядству? Знавшие лично канцлера объясняют это очень просто. Граф, собравший (преимущественно у старообрядцев) драгоценное собрание старинных русских рукописей, находящихся ныне в Московском музее, несмотря на огромное состояние, несмотря на то, что у него не было потомства, был неимоверно скуп. Так, он Калайдовичу за такой труд, как «Иоанн экзарх Болгарский», заплатил только 25 р. ассигнациями; такую же плату получали от него и другие составители и переводчики издаваемых им книг. Ограждая «своих подданных» старообрядцев, покровительствуя им, принося в дар их монастырям родовые иконы, Румянцев за бесценок, а большею частью и совсем даром, приобрел драгоценное собрание. Старообрядцы Лаврентьева и других монастырей, посредством своих агентов, повсюду собирали древние рукописи и дарили их могущественному покровителю.

По смерти Феофилакта игуменом Лаврентьева монастыря избран Симеон (1797 г.), пользовавшийся большим уважением старообрядцев не только местных, но и отдаленных. Особенно он был уважаем в Петербурге. Был он уроженец города Ржева, пришел в Лаврентьев монастырь еще в молодости и прожил там до преклонных лет. Пользуясь особенным покровительством графа Румянцева, этот домостроительный игумен успел довести бедный до того монастырь до цветущего состояния.

В Лаврентьеве монастыре была построена обширная холодная церковь, во имя Живоначальные Троицы, деревянная на каменном фундаменте, о шести куполах. Рядом с ней стояла колокольня с колоколами и башенными часами с боем. Другая часовня во имя Сретения Господня, теплая, и при ней трапеза или келарня стояли неподалеку. Кроме того в ограде монастыря находились: большой дом для настоятеля, семнадцать братских келий, хлебный амбар, два сарая, конюшня — все деревянное. За оградою рига и другие хозяйственные постройки. Все это построено при графе Николае Петровиче Румянцеве и с его разрешения.

«Лаврентьев монастырь,— говорит в своей записке покойный В. А. Алябьев, бывший в нем перед самым закрытием,— стоит на полуострове, образуемом рекою

Узой, за которою на несколько верст тянутся непроходимые болота и леса. Через реку положены «кладки», через которыя раскольники при появлении полицейскаго чиновника усылают бродяг и беглых в прилегающие леса и болота. Этот монастырь сам по себе, как и все уединенныя места, внушает чувство благоговения. Древность его, предания, жизнь, по-видимому, довольно строгая, дряхлых и в преклонных летах находящихся иноков — запечатлели в народе это благоговение и вместе с тем расширили молву о святости места. Из Москвы, с Дону и из отдаленных губерний спешили усердствующие и набожные раскольники приносить сюда дары. Приношение одного московскаго купца, который умер в этом монастыре иноком, простиралось в недавнем времени, по словам монастырских жителей, до пятидесяти тысяч рублей ассигнациями. Скопленное такими приношениями богатство доказывается ныне, при всем умалении подаяний, многоценною ризницей, образами в дорогих окладах, из коих некоторые сто̀ят, по словам иноков же, от трех до пяти тысяч рублей ассигнациями, постройкой деревянного здания под названием «ризницы» и новых келий вместо сгоревших от бывшаго в монастыре пожара, и наконец найденными в монастыре хлебными запасами (1.000 четвертей). Таким образом знаменитость монастыря укоренилась, влияние его на народную массу усилилось до того, что он брал преимущество не только над другими монастырями Белицкаго уезда, но и над находящимися в слободах смежной Черниговской губернии. Словом, Лаврентьев монастырь сделался собором раскольников. Монахи-мещане — это бывшие купцы. Они принесли с собой значительные капиталы, остающиеся в их руках до смерти, а потом поступающие в собственность монастыря. Все они занимаются собственным хозяйством и свойственным каждому ремеслом. Продавая свои произведения в Гомеле, куда отлучаются по своей воле, они все добытое ими не отдают в общую братскую кассу, но оставляют для себя. Избранный ими настоятель обязан кормить их, одевать, оплачивать за них подати и ходатайствовать у местнаго начальства за их проступки, что̀ и исполнял, дабы сохранить свое звание, употребляя для сего два средства: приношения усердствующих и рассылку по разным губерниям иноков для сбора подаяний. Все собранныя таким образом деньги

настоятель расходует безотчетно, равно и сборщики подаяний отдают набранное настоятелю тоже безотчетно. Здесь каждый молчит, хотя мысленно и уверен в обмане, в котором каждый участвовал или надеется, в свою очередь, когда-нибудь участвовать. Столь обеспеченное состояние иноков, при собственном каждаго достоянии, доставляет жителям монастыря жизнь спокойную, независимую, с неограниченною волей каждому делать все, что̀ хочет, не отдавая никому ответа в своих действиях. На церковных службах монахи и бельцы бывают, когда приходит им охота молиться».

Онуфрий, бывший епископ браиловский и наместник белокриницкого митрополита, а потом инок Николаевского единоверческого монастыря в Москве, живший некоторое время в Лаврентьеве монастыре, рассказывает, что сборщики, о которых сейчас шла речь, бывало, наперед сторгуются с игуменом — сколько дать ему по возвращении: половину или треть, а остальное удерживали в свою пользу. Отправляясь в путь, каждый сборщик напечет, бывало, просфор, насушит их целый мешок и пойдет с ним странствовать по городам и деревням, уверяя старообрядцев, что он антидор раздает. За эти просфоры собирали очень много денег от доброхотных дателей. Некоторые в особых ящиках разносили св. дары, но были ли они действительно освящены или нет — это же оставалось на совести сборщиков. Особенно отличался в Лаврентьеве монастыре сборщик старец Исаакий: никто, бывало, столько не наберет денег, как он, ибо имел большое знакомство с зажиточными старообрядцами. Бывший лаврентьевский инок Иоаким Кашин однажды из одного Моршанска привез семь тысяч рублей.

Пока жив был канцлер Румянцев, не только полиция не имела въезда в старообрядские монастыри гомельского имения, но и православное духовенство лишено было возможности действовать на монастырских жителей путем духовно-нравственного убеждения. Января 2-го 1826 года канцлер умер, и могилевский архиепископ Гавриил не замедлил посетить Лаврентьев монастырь. Это было летом того же 1826 года. Старообрядские иноки встретили его с почетом: звонили в колокола, вышли навстречу с пением, с иконами, свечами, с хлебом-солью. Архиепископ благосклонно отнесся к инокам, осмотрел

их обитель и стал уговаривать принять единоверие. Семь монахов из самых значительнейших, и во главе их Иаков, подписали акт о присоединении к православию на условиях единоверия. Архиепископ представил этот акт в Петербург, но присоединение не состоялось. Как скоро уехал Гавриил, в Лаврентьеве монастыре возникли ссоры и распри, были и драки, во время которых победа оставалась, разумеется, за более многочисленными противниками Иакова. Симеон в это время уже одряхлел и не мог восстановить порядка. Полиция, дотоле не вмешивавшаяся в дела Лаврентьева монастыря, начала в нем распоряжаться. Дело поведено было так, что неизбежная ссора монастырских жителей представлена была в виде «бунта Иакова». Говорили и писали, что Иаков подписался на предложенный архиепископом Гавриилом акт единственно с целью получить прибыльное место игумена. Говорили, что Иаков подвержен запою — это действительно за ним водилось. Лаврентьевские монахи распространили слух, будто Иаков запоем пил и в то время, когда в монастыре был архиепископ. От имени братства написано было слезное просительное письмо о защите к брату канцлера, графу Сергею Петровичу, которому досталось гомельское имение. В архивных делах есть указание, что, по его ходатайству, в Петербурге дело о присоединении к единоверию некоторых из лаврентьевской братии было оставлено без последствий. Старообрядцы ободрились, увидя, что и по смерти канцлера не лишились они сильного покровительства. Иаков с единомышленниками был изгнан из монастыря с позором. После он жил в Никольском монастыре (Полоса), что близ посада Клинцов. По настояниям родных сестер, старообрядских инокинь, он оставался в расколе и умер в нем.

Тридцать два года управлял Симеон монастырем Лаврентьевым (1797—1829), держал в нем строгий порядок и возвысил в среде старообрядцев доброе о нем мнение. Не богатством украшений церковных, не многолюдством иночествующей братии, как монастыри иргизские, стародубские и керженские, прославился в симеоново время Лаврентьев монастырь, но благоустройством. Отдаленный от селений, а что̀ еще важнее — не имевший в соседстве женских монастырей, не представлял он возможности развиться в монашеской среде разгулу,

обыкновенно господствовавшему в обителях старообрядских. Пьянство случалось, но далеко не столь безобразное, как, например, на Иргизе. Без меры предававшихся этому пороку смиряли телесными наказаниями, сиденьем в поварне на цепи и даже изгнанием из монастыря. Но не столько монастырские наказания, сколько боязнь гнева могущественных покровителей обители, Румянцевых, воздерживала от беспорядков лаврентьевскую братию. И в других старообрядских монастырях бывали игумены не хуже Симеона — люди благочестивые и строгие, но никогда не могли они содержать беспастушную свою братию в таком повиновении, как содержал ее Симеон, нигде не могли так сохранить благочиние, как сохранилось оно в монастырях гомельского имения. По сознанию самих старообрядцев, столь нередко бывающие в среде их бесчиния, безобразные поступки и другие нарушения устава, от буйства охмелевших подвижников до соблазнительных споров и взаимных клятв, которыми в последнее время столь усердно обмениваются самые их епископы, происходят единственно вследствие отсутствия сильной власти, власти законной,— власти, зорко наблюдающей за поступками духовенства и монашества. При отсутствии ее — своеволие неизбежно, и средств уничтожить его нет. Для монастырей гомельских государственный канцлер представлял если не законную, то весьма сильную и влиятельную власть. Достаточно было Симеону, возведенному графскою волей в должность благочинного над всеми старообрядскими гомельскими монастырями, сказать одно слово о нарушителе монастырского благочиния,— его немедленно постигала грозная кара могущественного Румянцева (или выгонят, или выпорют). Не говоря уже о бесчиниях в монастырях мужских, в самые даже любовные похождения обитательниц девичьего монастыря заботливо проникал всесмиряющий взор государственного канцлера, а ревностный поборник целомудрия читалок, немецкий человек фон-Фок, с свойственною племени его аккуратностью спешил все привести в должный порядок. При такой сильной поддержке, лаврентьевскому игумену не трудно было сохранять благочиние в монастырях, вверенных его попечению.

В последние годы своей жизни устарелый Симеон только носил звание игумена. Лета и заботы утомили деятельного некогда старца. Особенно ослабили его прежнюю энергию горькие испытания 1826 года: смерть графа Николая Петровича, затем так называемый «бунт Иакова» и наконец строгость новых правительственных мер относительно старообрядства. Они разрушительно подействовали на здоровье и силы Симеона. Обительскими делами управлял казначей Боголеп. Симеон умер в 1829 году, и на место его в игумены избран старец Михаил, действительным же правителем сделался новоприбывший тогда из Кременчуга инок Аркадий Шапошников, о котором речь впереди.

В начале тридцатых годов в Лаврентьеве монастыре доживали свой век старцы, поселившиеся там еще в прошлом и в начале нынешнего столетия. Таковы были: старец Афанасий, пришедший в монастырь еще в 1788 году и семьдесят лет в нем проживший. Он значился в книгах белицким мещанином Андреем Тимофеевым, но вся монастырская братия говорила, что он не простого, а «высокаго рода». Действительно, Афанасий происходил из бедных великороссийских дворян и поступил в Лаврентьеву обитель под чужим именем. Был он «препрост человек», жил в совершенном послушании и отсечении своей воли, молился день и ночь, плакал и вообще вел себя как младенец. Не был он юродивым, но, проникнутый до последней степени аскетизмом,— дошел до состояния младенческого незлобия, но в то же время младенческой несмышлености. Его считали святым человеком, говорили, будто подобных старцев и в древности мало бывало, гордились таким подвижником, что̀ не мешало однако же лаврентьевским мнихам потешаться иногда над слабоумным. Жил в Лаврентьеве с 1798 года старец Игнатий, числившийся белицким мещанином Иваном Прокофьевым. Это был строгой жизни монастырский конюх, также не отличавшийся ни умом ни энергией, зато усердно исполнявший келейное правило, носивший тяжелые вериги и до такой степени усиливший пост, что в иные дни питался лишь сеном и овсом из одних яслей со вверенными попечению его конями. Был в Лаврентьеве строгий подвижник Илия (белицкий мещанин Родион Демидов), родом белорусс, живший в монастыре с 1803 года. Не менее его подвиж-

ническою жизнью отличался инок Сергий (московский мещанин Семен Сергеевич Масленников, уроженец калужский), сделавшийся казначеем по смерти инока Боголепа. Высокого роста, здоровый, даже тучный, считался он самым благообразным и представительным иноком из лаврентьевской братии, человек был умный, отличался трезвостью и ревностью к старообрядству, доходившей нередко до слепого фанатизма. Но всех более отличался строгим подвижничеством старец Харалампий. Давно исшел он из монастыря ради более суровых аскетических подвигов и поселился в лесу, питался кореньями, носил тяжелые вериги и только раз в неделю, по субботам, приходил из пустынной келии в монастырь. Никто никогда не замечал, чтобы отец Харалампий на кого-нибудь осердился или о ком-нибудь сказал укорительное слово. Он почти не спал, а иногда налагал на себя обет молчания и безмолвствовал года по два и больше. Такая молва шла про отца Харалампия, и старообрядцы заживо сочли его святым. Жил еще в Лаврентьеве монастыре замечательный старец, о котором мимоходом было уже упомянуто. Еще в пятидесятых годах прошлого столетия, старообрядец по рождению, уроженец Москвы, восемнадцатилетний юноша Морозов, начитавшись «Патериков», возжелал подражать жизни преподобных пустынников старого времени. Оставив родину и дав пред богом обет сделаться иноком, перешел он тогдашний литовский рубеж и явился к Лаврентию. Лаврентий принял его к себе в послушники, но не более трех лет пылкий юноша мог разделять труды и лишения с бедною еще тогда лаврентьевской братией. Смущали его и страсти, влекли они юного Морозова назад, в легкомысленно покинутый им мир. Видя внутреннюю борьбу в своем послушнике, сам Лаврентий потребовал от него, чтобы оставил он пустынную обитель, и, пока не утихнут в нем страсти, пожил бы в мире. На возражения Морозова, что он дал уже перед богом обет неисходного жития иноческого, Лаврентий будто бы сказал ему: «будет время — наденешь камилавку, а теперь поживи пока в мире». Об этом-то юноше, рассказывают старообрядцы, предрекал умирающий Лаврентий, говоря, что принесет в устроенную им обитель великое богатство некий юноша, живший в монастыре, но суеты ради мира сего отшедший инуду. Морозов, покинув монастырь, же-

нился и занялся торговыми делами. Счастье везло ему, и он вскоре составил хорошее состояние. Переселившись в Елисаветград, он сделался там самым значительным купцом и нажил миллионный капитал. Жил он в этом городе до тридцатых годов нынешнего столетия. Было ему почти сто лет, жизнь стала в тягость. Свет опостылел, смерть не приходила. Много и слезно просил он Бога о кончине, но тщетно. И пришло богатому купцу в помышление, что до тех пор не вкусит от смерти, пока не исполнит данного богу и нарушенного во дни юности обета. И вот, оставив мир и почет, которым пользовался, направил он путь к монастырю Лаврентьеву. Его сопровождал верный его приказчик, Данила Астафьев, не захотевший разлучиться с хозяином, решившийся служить ему и в монастыре. Поставили они себе в Лаврентьевой обители келью, поселились в ней и оба приняли иночество. Морозов наименован был Иоасафом, Астафьев — Дорофеем. Это было в 1832 году, в то время, как началось дело искания архиерейства. Пробыв во иночестве лет шесть, Иоасаф Морозов умер и был погребен подле большой часовни, близ гроба прежнего своего наставника, старца Лаврентия, основателя обители. До ста тысяч рублей употреблено было им в шесть лет на устройство монастыря, в который пришел он искать смерти. Остальное богатство досталось родственникам. Хорошо устроенная келья Морозова была лучше игуменской и полна всякого рода движимостью. По смерти хозяина досталась она пришедшему с ним в монастырь иноку Дорофею.

В последние годы Симеонова игуменства большое значение в Лаврентьевом монастыре получил старец Аркадий, пришедший из Кременчуга с восемью другими старообрядцами этого города. Он поселился здесь в 1825 году, незадолго до смерти покровителя старообрядцев гомельских, графа Николая Петровича Румянцева. Когда в 1826 году приехал в обитель могилевский архиепископ, по совету этого самого Аркадия, с первых дней пребывания в монастыре возвысившегося над прочею братией умом и ловкостью в обхождении, нежданному гостю сделан был почетный прием. Но когда вслед затем известный уже нам Иаков вздумал обратиться в единоверие, в Аркадии он нашел самого сильного соперника. Стараниями кременчугского пришельца рас-

строено было намерение соглашавшихся принять единоверие; он сочинял посланное к графу Сергею Петровичу письмо, он возбуждал братию против Иакова и достиг своей цели. Это возвысило Аркадия во мнении старообрядцев, он стяжал своим поступком славу крепкого стоятеля за «древлее благочестие» и сделался настоящим правителем обители еще при жизни престарелого Симеона. Сам игумен и казначей Боголеп ничего не делали без совета с ним; всякое слово Аркадия было словом решительным на монастырском соборе. По смерти Симеона избран был в настоятели старец Михаил; при нем влияние Аркадия на монастырские дела еще больше усилилось. После кратковременного игуменства Михаила, братия единогласно избрала его в настоятели.

Аркадий (Андрей) родом был из посада Клинцов, Черниговской губернии, сын тамошнего мещанина Родиона Харлампиевича Шапошникова. По смерти родителей, он и все братья и сестры его переселились в Кременчуг, кроме старшей сестры Татьяны, вышедшей замуж на родине за мещанина Черкасова. Старший из братьев, Александр, занимался в Кременчуге соляной торговлей, двое других, Василий и Андрей, писали иконы и продавали их старообрядцам; младшая сестра, Анна, вышла замуж за кременчугского купца Протопопова.

Андрей Родионович Шапошников, будучи еще очень молодым человеком, женился в Кременчуге на *вдове* Хионии Яковлевне, дочери тамошнего купца Якова Ивановича Дударева, человека достаточного. Хиония Яковлевна от первого мужа Игнатия, по фамилии нам не известного, имела двух сыновей: Михаила и Самуила, которые, может быть, и до сих еще пор занимаются выделкою овчин в Кременчуге. Молодая вдова, кажется, не принесла семейного счастья Андрею Родионовичу. Он имел от нее сына, умершего в младенчестве, и вскоре после его рождения начались у мужа с женой несогласия. В 1824 году, после трехлетней супружеской жизни, Шапошников тайно оставил постылую жену и пасынков и вместе с другими восемью старообрядцами ушел из Кременчуга «душу спасать». На родине, в Клинцах, Андрею жить не захотелось, и он решился «бегати в пустыню». Пошли кременчугские выходцы в Лаврентьев монастырь. Здесь страннопримный Симеон принял их под гостеприимную сень своей обители. Узнала Хиония

Яковлевна, где укрылся ее сожитель, собралась наскоро и прискакала в Лаврентьев, торопясь, чтобы застать мужа, пока еще он не надел иноческой мантии. Три дня, три ночи проплакала она у ворот монастыря, не допустили ее на свидание, дали на возвратный путь денег, и она воротилась в Кременчуг. Андрей Шапошников, постригшись в иночество и получив имя Аркадия, приобрел, как сказано выше, большое влияние на дела монастырские и снискал уважение лаврентьевской братии.

Он был одарен обширным умом и редкою энергией. В Лаврентьеве он держал себя с большим достоинством и строго соблюдал иноческие правила. На советах мнения его преобладали над мнениями прочих. Он отличался в среде лаврентьевской братии разнообразною и обширною начитанностью и умел хорошо писать — ясно, кратко, выразительно, хотя и весьма крупным, прямым почерком, который знаком нам по архиву министерства внутренних дел, где сохраняется немало автографов Аркадия в многочисленных прошениях, подаваемых им перед закрытием монастыря Лаврентьева. Не покидал Аркадий и в обители, где водворился, кременчугского своего занятия: писал иконы. Доселе с особенным уважением хранятся у иных старообрядцев образá его кисти. Необыкновенная память, редкая быстрота соображения, всегдашнее уменье найтись и благоразумно поступить в самых затруднительных обстоятельствах — отличали Аркадия от прочей лаврентьевской братии. Громовы были в восторге от него, и старики петербургского Королёвского общества доселе не могут нахвалиться таким «знаменитым мужем», каков был Аркадий. Старообрядцы, лично знавшие Аркадия в Лаврентьеве, единогласно отзываются о нравственных его качествах с большою похвалой. При другой обстановке, в другой среде, из этого человека должен бы был выработаться редкий и замечательный деятель.

Аркадий сделался игуменом Лаврентьева монастыря в 1832 году. В это же время гомельское имение перешло в другие руки. Покровительствовавший старообрядцам этого имения не менее своего брата, граф Сергей Петрович, последний в роде Румянцевых, не имел законных наследников, но у него были три побочные дочери, по фамилии Кагульские, в память славной победы их деда, которым нельзя было по закону передать родового име-

ния. Чтоб обратить его в деньги, надо было продать. Но румянцевские имения были из таких, какие по своей многоценности не всегда могут иметь покупателей. Счастливый случай помог графу. За взятие Варшавы в 1831 году император Николай осыпал поистине царскими милостями фельдмаршала князя Паскевича, в числе данных ему наград был миллион рублей на покупку имения. Узнав о желании Румянцева продать гомельское имение, Паскевич поручил одному из пользовавшихся его доверенностью офицеров осмотреть его. Обозревая продажную вотчину, доверенный фельдмаршала встретился с Аркадием, который доставил ему немало сведений о действительном положении румянцевского имения и способствовал выгодному для покупщика окончанию дела. Когда покупка была совершена и гомельская вотчина перешла к князю Паскевичу, в виде заповедного майората без переоброчения, Аркадий, в награду за свое усердие, просил позволения представиться фельдмаршалу в Варшаве. Паскевич охотно согласился на это, и в конце 1834 года Аркадий, вместе с монахом Иоилем, отправился в Варшаву. Ласково были они приняты наместником Царства Польского и изъяснили ему о нуждах своего и других старообрядских монастырей, устроенных в гомельском имении. Паскевич подтвердил права, данные этим монастырям Румянцевыми, и, прощаясь с Аркадием и Иоилем, в январе 1834 года, дал им нечто вроде охранного листа на проезд до Лаврентьева, за собственноручным подписом и приложением наместнической печати. Этот документ, найденный в 1854 году при обыске у жившей в Клинцах сестры Аркадия, Татьяны Черкасовой, находится ныне в архиве министерства внутренних дел. Вот он:

«Могилевской губернии, Белицкаго уезда, старообрядческаго Лаврентьева монастыря, в имении моем состоящаго, настоятель Аркадий и инок Иоиль, приезжавшие в Варшаву для личного объяснения со мною по делам своего и других двух, там же находящихся старообрядческих монастырей, отправляются отсюда обратно, почему, в полном внимании к подъятому ими для столь дальняго путешествия труду, желая предохранить их от всяких на обратном пути остановок, прошу гг. начальников, по предъявлении им сего, делать помянутым инокам свободный пропуск и в случае надобности оказывать

им законное покровительство. В Варшаве, 28-го января 1835 года. Наместник Царства Польскаго, генерал-фельдмаршал *князь Варшавский*».

Наместник в этом листе Аркадия и Иоиля, можно сказать официально, называет — одного настоятелем, а другого иноком, хотя это и противоречило высочайше утвержденному положению комитета министров 21-го декабря 1817 г. и закону, вошедшему в изданный уже тогда «Свод Законов». Впоследствии, находясь в руках такого ловкого человека, как Аркадий, лист князя Паскевича вводил в заблуждение многих раскольников. Очевидно, что все отношения наместника Царства Польского к лаврентьевскому настоятелю ограничивались некоторыми услугами последнего и обещанием нового владельца гомельского имения не нарушать данных Румянцевыми прав старообрядским монастырям на пользование лесом и участками пахотной и сенокосной земли; но впоследствии, когда началось дело устройства русскими старообрядцами в австрийских владениях митрополичьей кафедры, документ Паскевича, как сказывают, играл роль немаловажную. Получение его Аркадием было одновременно с началом искания архиерейства. Впоследствии, когда иные влиятельные старообрядцы опасались принимать деятельное участие в этом предприятии, говоря, что осуществление его есть противление воле государевой, что оно может повредить всему старообрядскому обществу, ловкие люди, вроде Авфония Кочуева или братьев Великодворских, убеждали нерешительных тем, что будто бы основание заграничной иерархии не противно воле государя. Конечно, говорили они им, государь не допустит учреждения митрополии в самой России, но он ничего не имеет против учреждения ее за границей или даже в Царстве Польском. Такой близкий к царю человек, такой доверенный сановник, как князь Паскевич, говорили они, нарочно вызывал настоятеля лаврентьевского в Варшаву для совещаний по этому предмету. Доверчивый верил на слово, а менее доверчивому ловкие люди советовали съездить в Лаврентьев монастырь и попросить игумена Аркадия только показать ему «Паскевичеву бумагу». Он показывал ее охотно, ибо она льстила его самолюбию, и видевшие верили во все и сами уверяли других.

Несмотря на энергические усилия, принимаемые Аркадием, благочиние в Лаврентьевском монастыре, которым он славился при игумене Симеоне, быстро стало падать. Без сомнения, главнейшей причиной того было прекращение патронатства Румянцевых. Страху лаврентьевским инокам не стало, вот причина возникших в монастыре неслыханных дотоле беспорядков. Прежде всего пьянство водворилось в иноческих келиях, суровые меры Аркадия не могли его уменьшить; упившиеся иноки ни во что ставили старого игумена, приказаний его не исполняли, чуть не каждый день затевали крамолу. Унять бесчинников было некому и нечем, ибо боязнь, что сам Румянцев вмешается в дело, прекратилась. Говорят, будто бы Аркадий жаловался на бесчиние иноков в письме к Паскевичу, но фельдмаршал не только себя, но и управление своей гомельской экономии устранил от вмешательства во внутренние дела монастырей и от опеки над нравственностью старообрядских иноков. Иные из строгих подвижников, не стерпя возникших в Лаврентьевой обители безобразий, покинули ее. Монастырь от того не опустел. Иноков стало даже больше, чем при Симеоне, но почти все они были «слабы житием» и ходили «по волям своим». Немало мучился с ними Аркадий, ревностно желавший восстановления благочиния, которым прежде славился управляемый им монастырь, но сил его недоставало. Прежде иноки Лаврентьева и других гомельских монастырей видались между собой только раз в неделю, по понедельникам, на базаре в Гомеле, куда сходились продавать свои рукоделья, собирать подаяния за поминовения и потолковать между собою об общих делах. Теперь чуть не каждый день стали они бродить в Гомель и обыкновенно возвращались оттуда мертвецки пьяные. Иные пропадали по нескольку дней, иные шатались из монастыря в монастырь друг к другу в гости, и каждое угощение без водки не обходилось. Кроме гостей, от времени до времени стали появляться в монастырях и гостьи. Тщетно Аркадий началил братию, она его больше и слушать не хотела. Напрасно игумен приковывал пьяных, как водилось прежде, при Румянцеве, к цепи на поварне; монахи с цепи уходили, пропала наконец и самая цепь, и ее видели после у какого-то жида в шинке. Благочестивые пустынножители ее пропили. Измученный Аркадий сознавал свое бесси-

лие; нередко говаривал он близким своим: «хоть бы уж поскорей запечатали наш монастырь!»

Еще более заботы, еще более опасений причиняли Аркадию некоторые обитатели Лаврентьева монастыря, люди трезвые, начитанные, строгой жизни и безукоризненные, но непокорные и властолюбивые. Пример Иакова, хотевшего, посредством перехода в единоверие и обращения Лаврентьева монастыря в единоверческий, достигнуть в нем игуменства, не остался без подражания. Румянцевых не стало, и некому было вновь отвратить от монастырей гомельского имения грозившую в тридцатых годах всем старообрядским монастырям участь упразднения или обращения в единоверческие. В Лаврентьеве и Макарьеве явились иноки, желавшие сделаться единоверцами. Игумены лаврентьевский Аркадий, и макарьевский Матвей и преемник последнего Феофилакт употребили все средства, чтоб избавиться как-нибудь от этих людей. В то время в Лаврентьеве водворился молодой инок Иоаким, человек достаточный, с большими связями в старообрядском мире, начитанный, пылкий, всем увлекающийся и чрезвычайно нетерпеливый. Он был трезвой жизни и враг всяких беспорядков в иноческом житии, особенно же разврата, более и более водворявшегося в Лаврентьеве монастыре. Друг и земляк его, Павел Андреев, отлично знавший церковный устав, лучший певец в монастыре и хорошо писавший, был единомыслен с ним. Они успели составить партию из немногого, впрочем, числа трезвых монахов. Партии этой хотелось на место Аркадия посадить Иоакима, а средство для того видели они в принятии единоверия. Но они скрывали такое намерение до поры до времени, ибо при первом неосторожном слове авторитет их тотчас же бы пал. Но Аркадий, проникнув замыслы их, всею душой возненавидел Иоакима и Павла Андреева и вступил с ними в тайную, но упорную и деятельную борьбу. Напрасно старался Аркадий внушить братии, что противники его идут по стопам Иакова, замышляют сделать монастырь единоверческим,— Иоаким и сторонники его так были осторожны, что такие слова проникавшего намерения их игумена считались наветами, внушенными недоброжелательством к людям, открыто порицавшим некоторые из его распоряжений. Борьба с Иоакимом для Аркадия бы-

ла несравненно труднее, чем с водворившимися в его обители поборниками разгула.

По документам, которыми мы пользуемся, можно было бы представить пространное сказание о деяниях сих поборников разгула в монастырях гомельского имения. Ограничимся сказанием лишь об одном старом и хромом гуляке — регистровом товарище Колычеве, баснословные рассказы которого, будучи усвоены лаврентьевской братией, содействовали в некотором отношении делу искания архиерейства за пределами России.

В конце прошлого столетия в московском университете слушал лекции медицинского факультета уроженец Новгород-Северского наместничества, регистровый товарищ Константин Константинович Колычев. Он был уже в зрелом возрасте, когда поступил в университет студентом, или вольным слушателем, наверно не знаем. Почему-то курса он не кончил, по крайней мере у него впоследствии не было диплома на звание врача. Живя в Москве, Колычев познакомился с старообрядцами Рогожского согласия, а через них сблизился с земляками своими, старообрядцами Стародубья. Он хлопотал о признании его в дворянском достоинстве, но не получил его, что̀ не помешало однако же ему до конца жизни называться дворянином, да еще принадлежащим к старинной русской фамилии Колычевых и, на этом основании, родственником святого Филиппа, митрополита московского, который, как известно, был из этой фамилии. У знакомых московских старообрядцев встретился он однажды с приехавшими в Москву за обычными сборами старицами Оленевского скита, что̀ на Керженце, и узнал от них, что в числе тамошних обителей есть одна, основанная еще в конце XVII столетия внукою брата митрополита, старообрядской инокиней, схимницею Анфисою Колычевою. Константин Константинович сказался роднею и Анфисе, отправился на Керженец, был встречен там с большим почетом и немало веселых дней и ночей провел в обители мнимой родственницы, в обществе молодых инокинь и белиц. Потом разъезжал он по разным старообрядским общинам, живал на Дону, на Кубани, на Урале и в Сибири, и, сблизившись с старообрядцами, сам перешел в поповщинское согласие и записался в купцы. Хотя Колычев и не имел медицинского

диплома, но лечил и даже составил себе известность счастливым лечением старообрядцев. Он собирал библиотеку и был прославлен в среде раскольников за необычайно умного и ученого человека. В 1805 г. Колычев стал печатать для старообрядцев книги. Известно, что старообрядцы, воспользовавшись дозволением императрицы Екатерины II открывать всякому желающему вольные типографии, завели в 1784 г. такую в посаде Клинцах. Типография эта, принадлежавшая тамошнему купцу Федору Карташеву, была закрыта в 1797 г., когда по повелению императора Павла все вольные типографии прекратили свою деятельность. Хотя в 1801 году император Александр Павлович и согласился было на восстановление в Клинцах типографии, чтобы перепечатывать в ней дониконовские книги для старообрядцев, но, по мнению ярославского архиепископа Павла, принятому всем святейшим синодом, в Москве учреждена была типография единоверческая, получившая право монополии на «переводы», то есть на переписку старопечатных богослужебных книг. Несмотря на то, в 1805 г. старообрядцы завели две типографии без дозволения правительства. Одну в Клинцах завел тот же Карташев, другую в местечке Янове[1] Константин Константинович Колычев, бывший в то время киевским купцом. На деньги московского купца Дмитрия Федорова (сто червонцев) купил он старообрядскую типографию у московского мещанина Павла Ивановича Селезнева, которую этот содержал тайно в городе Махновке, Киевской губернии. Посредством факторов-евреев Колычев купил у Селезнева эту типографию лишь с двумя станками, но значительно увеличил ее и работал в Янове на десяти и даже на двенадцати станках. Ноября 24-го 1814 года Федоров передал Колычеву в управление Яновскую типографию по формально совершенной доверенности. Для старообрядцев печаталось в Янове: «Страсти Христовы», «Житие Василия Новаго», «О лжеучителях, Аввы Дорофея», «Поучение Иоанна Златоуста», «Псалтирь», «Часослов», «Евангелие», «Шестоднев» «Толковыя Евангелия», «Канонники», «Ефрем Сирин». В выходах этих книг обыкновенно выставлялось место печатания и первоначальные буквы имен Колычева (К. К. К.) и купца Федорова (Д. Ф.) Чтобы судить о количестве на-

[1] Литинского уезда, Подольской губернии.

печатанных Колычевым книг, достаточно упомянуть, что типография его существовала двенадцать лет (1805—1817), и что он сам дал показание графу Холоневскому[1], производившему в 1817 г. над ним следствие, что «книги из типографии Яновской отпускаемы им были в год четыре раза, количеством по одной тысяче всякой отправки, в Москву, к доверителю его Федорову». Стало быть, Колычевым переслано из Янова к московским старообрядцам во все время существования Яновской типографии около сорока восьми тысяч экземпляров. Колычев не ограничивался, впрочем, печатанием одних книг для старообрядцев, он печатал венчики и разрешительные молитвы как старообрядцам, так и по заказам православных священников, например, яновского протоиерея Степана Левицкого. Кроме того Колычев печатал книги и для католиков, на польском языке: «Złoty Ołtarzyk», «Oficyuszki», «Elementarz», «Hrabia Olgorusky», словари польско-латинский и русско-польский. Печатал также и другие книги на латинском, французском и немецком языках. Все этого рода книги печатаемы были им с цензурного разрешения от виленского университета. Типография Колычева в июле 1817 года была запечатана; тогда он переехал из Янова в селение Майдан-Почапинецкий и здесь снова завел тайную типографию с одним станком для печатания старообрядских книг; она сгорела 25-го октября 1821 года. После того Колычев стал заниматься больше лечением, собирать травы и делать лекарства, которых при обыске в 1822 году нашлось у него несколько шкапов. Но не мог он расстаться с полюбившимся ему печатным делом: в 1822 г. в третий раз завел тайную типографию и в том же году отправил в Москву с купцом Избушкиным тысячу книг и шесть тысяч букварей. В 1823 году, согласно с мнением московского архиепископа Филарета и тогдашнего министра духовных дел и народного просвещения князя А. Н. Голицына, все типографские принадлежности и старообрядские книги, отобранные у Колычева в Майдане-Почапинецком как и прежде того в Янове, были истреблены. Гражданские книги, составлявшие библиотеку Ко-

[1] Граф Холоневский, поляк и католик, был владельцем Янова; он жил в этом местечке, и ему, по званию маршала Литинского повета (литинского уездного предводителя), поручено было производство формального следствия над Колычевым.

лычева, и медикаменты, в которых не найдено ничего недозволенного,— ему возвращены.

С 1817 года Колычев в разные судебные места и разным лицам подавал множество просьб о возвращении ему типографии, а потом о вознаграждении его за истребленные типографские принадлежности и книги. Не получая желаемого, решился он снова приняться за тайное печатание старообрядских книг, но уже за границей. Для того ездил он к некрасовцам, но те и слышать не хотели ни о типографии, ни о новопечатных книгах. Говорили они: «те только книги святы, что́ напечатаны при патриархе Иосифе». За всякие другие вводителя новшеств обещали «намочить», то есть в куль да в воду. Года четыре пробыл Колычев за границей, побывал в Константинополе, пробирался к казакам, живущим в Малой Азии, но едва убрался оттуда подобру-поздорову. Во время начавшейся у нас войны с турками в 1828 году был он еще у некрасовцев, потом как-то перебрался в русский лагерь, а отсюда вышел в Россию. Но желание завести вновь типографию не покидало Колычева, и вздумал он устроить четвертую на своем веку тайную типографию в монастыре Лаврентьеве, куда и пришел в 1829 году. В это время было ему уже лет под семьдесят, давно уже он был хром и ходил на костылях. С большим почетом принят был Колычев игуменом Симеоном, братия взирала на него с особенным уважением, как на дворянина-старообрядца [1], хотя в действительности он и

[1] Старообрядцы всех толков чрезвычайно дорожат дворянами, принадлежащими к их согласиям. Не говоря о том, что они весьма почитают единоверцев своих, дворян из казаков уральских, кубанских, терских и донских, всегда они с гордостью упоминают о князьях Мышецких (братьях Денисовых), о Спиридоне Потемкине, Федоре Токмачеве (устроителе скитов на Керженце), об Анфисе Колычевой, основательнице обители в Оленеве, о княжне Болховской, двоюродной сестре царицы Евдокии Федоровны, основательнице обители Бояркиных в ските Комарове, о галицкой помещице Свечиной, основательнице скита Улангерского, и проч. В тридцатых годах нынешнего столетия жил в одном из Керженских скитов (Улангере) инок Иона Сухонин. Он был мелкопоместный дворянин того же Семеновского уезда, в котором находился и скит, приютивший его. Несмотря на то, что Иона Сухонин был полоумный, он пользовался огромным уважением старообрядцев. До высылки в 1853 г. из Керженских скитов посторонних лиц жила в Улангере вдова одного гоф-фурьера; на нее смотрели как на боярыню, удалившуюся от царского двора ради правой веры. В обители Бояркиных скитские матери с гордостью показывали на венце храмового их образа Нерукотворенного Спаса александров-

не имел дворянского достоинства, как на мнимого родственника святого Филиппа, как на странствователя по дальним зарубежным старообрядским «палестинам», как на врача-старообрядца и наконец как на великого ревнителя по «древлему благочестию», претерпевшего столько бед за распространение полезных у старообрядства книг. Заведение в Лаврентьеве типографии было по мысли приближавшемуся ко гробу отцу Симеону и ближайшим к нему инокам. И слава и большие барыши от распродажи книг обольщали их. Надеясь, что под крепкою защитой графа Сергея Петровича Румянцева они беспрепятственно поведут печатное дело, они отвели Колычеву особую, поместительную келью, где предположено было поставить и станок. Типография однако не состоялась. Кажется, сам Румянцев не одобрил затеи своих «подданных». Колычев остался однако в монастыре и вместо шрифтов, касс и станков наполнил свою келью лекарствами. Сам собирал травы, сам сушил их, сам составлял лекарства. Стали к нему стекаться больные из окрестных мест, и не только старообрядцы, но и православные, католики и даже евреи. Слава о безмездном враче-бессребренике распространилась по Белоруссии; иные, конечно, считали его знахарем, колдуном, уверяя, что на снадобья он что-то нашептывает, заговоры говорит. Сперва Колычев в самом деле не брал денег за лечение, но по смерти Симеона, случившейся вскоре по водворении врача-типографщика в обители Лаврентьевой, не стал он отказываться от посильного вознаграждения за врачевание, впрочем, не иначе, как бутылками и штофами, которые и распивал с самими болящими и с винолюбивыми иноками, к немалому горю Михаила. Не знал игумен, как и быть с Колычевым: с каждым днем он больше и больше спаивал честную братию. И жаль было Михаилу прогнать такую знаменитость, и не мог он оставаться равнодушным, видя, как славный муж

скую ленту и орден, которые были привешены к нему основательницей обители, княжной Болховскою в XVIII столетии. Орденские знаки достались ей по смерти внучатного ее племянника, генерал-аншефа Василия Абрамовича Лопухина, у которого она жила в доме до уклонения в раскол и до поступления в скит. Некоторые видят в раскольниках демократическое направление; напротив, раскольники очень любят разные знаки отличия, а дворянами, находящимися в среде их, всегда гордились и теперь гордятся. Слово «боярского рода» у них много значит. Даже и лжедворяне, вроде Константина Константиновича Колычева, у них бывают в немалой чести.

распространяет в пустынной обители горькое пьянство. Один случай решил наконец судьбу Колычева, избавив отца Михаила от нашедшей на монастырь напасти. К Колычеву, как уже сказано, приходили из разных мест больные разными недугами за исцелением. Которые были «по древлему благочестию» и лечение которых требовало немало времени, тех оставляли в Лаврентьевой обители на более или менее продолжительный срок, и жили такие в келье Колычева или по соседству с нею. Однажды привезли к безмездному врачу двух девушек: одну четырнадцатилетнюю с раком на груди, другую семнадцатилетнюю с бельмом на глазу. Обе были помещены в келье седого как лунь и хромого Колычева. Он начал их пользовать. Через несколько времени родители той и другой жаловались игумену и братии, что престарелый врач обеим девушкам сделал насилие. Нашлись тому неоспоримые доказательства. Молва о преступлении Колычева распространилась, родители обесчещенных девушек потребовали от монастыря значительное денежное вознаграждение, грозя в противном случае судебным преследованием. Делать было нечего, Михаил поспешил удовлетворить обиженных из монастырской казны, по общему приговору соборных старцев, а Колычева с позором изгнали из монастыря, задержав все его имущество для пополнения суммы, заплаченной монастырем. Старый сластолюбец, на костылях, с мешком за плечами, побрел в Москву. Здесь жил он до конца сороковых годов, шатаясь из дома в дом и питаясь подаянием. Он умер в Москве, будучи девяноста лет от роду и почти совершенно выжив из ума.

В Лаврентьеве Колычев прожил года три либо четыре, то есть все почти время настоятельства отца Михаила. Был он человек словоохотливый и умел красно говорить, а будучи выше всех жителей обители по образованию, естественно увлекал их рассказами. Много видал он на своем веку, много странствовал по суше и по морям и любил рассказывать про виденное и слышанное, не скупясь при этом на прикрасы собственного вымысла. Рассказывал он про житье-бытье старообрядцев по разным местам России, про скиты и монастыри, про жительство отшельников в лесах пермских, кайгородских и ветлужских, про гробницы разных старообрядских угодников; рассказывал чудные повести о не-

видимых градах и монастырях, о славном озере Светлояре, о Беловодье или Опонском царстве, куда будто бы сам ходил. Рассказывал он и про житье «славнаго войска Кубанского», то есть некрасовцев, про житье потомков казаков, живущих в Майносе и около Синопа; рассказывал наконец и о таких заграничных поселениях русских старообрядцев, каких никогда и не бывало. Лаврентьевцы заслушивались рассказов Колычева и во всем верили ему на слово.

Легковерных собеседников красноглаголивого Колычева не столько интересовали рассказы его про житье некрасовцев и про разные диковинки, будто бы виденные и слышанные им во время дальних странствований, как баснословные сказания его о небывалых старообрядских церквах и при них епископах, пребывающих будто бы на Востоке. Колычев уверял, что сам он видал старообрядские монастыри и великие лавры, и не только епископов и митрополитов, но самого даже патриарха антиохийского, цело сохранившего «древлее благочестие». «Был я,— сказывал он,— за Египтом, живут там старообрядцы русскаго языка, во области, нарицаемой Емакань; там у них истинная вера сияет как солнце: много церквей и монастырей, много святых мощей и чудотворных икон, и есть там епископы истинно-древлей православной веры: молятся и благословляют в два перста, аллилуию сугубят и служат на семи просфорах. А то еще на Черной Горе, за Сербской землей, где подвизался преподобный Никон Черныя Горы и писал «Устав», там есть свой «древляго благочестия» епископ, он и землею правит по закону церковному, а не по гражданскому». Таким образом Колычев и черногорского владыку сделал в своих рассказах старообрядцем. Лет через пятнадцать после того, как баснословил он в Лаврентьеве, старообрядские искатели архиерейства в самом деле пробрались было к черногорцам, но едва убрались от них целы. Рассказывал Колычев и про «стрельцов», будто бы ушедших из России от гонений на старую веру в Персию и там доселе будто бы соблюдающих «древлее благочестие» ни в чем неизменно и имеющих своих епископов, зависящих от патриарха антиохийского.

Много было толков между старообрядцами, жившими в Белоруссии и Стародубье, по поводу россказней хромого паломника. Переходя из уст в уста, они делались

более и более баснословными и даже принимали характер фантастический. К сказочным сокровенным святым местам старообрядцы не замедлили приурочить чуть не рай небесный. В тех местах, благословенных господом, рассказывали досужие повествователи, в тех местах, уготованных самим царем небесным для своих избранных, каждый, как во дни Соломона, живет под виноградом своим, под своею смоковницей; земли там не пашут, хлеб сам родится; рыбы в реках такое множество, что зачерпни только ведром — и вынешь рыбы столько, что целый день большая семья сыта будет. За скотом ухода никакого, без пастухов стада пасутся по тучным пажитям, а к вечеру коровы сами подходят к домам, чтобы их подоили. Работать не надо, живи век свой, руки сложа, только благодари господа за его милости. И между людьми тамошними ни ссор ни вражды не бывает; живут они в мире, в любви да совете; судов нет, для того, что судить некого: не бывает в тех блаженных местах преступлений, нет у тамошних людей никаких пороков, все живут яко ангели на небесех, оттого и начальства нет никакого, кроме духовных отцов и епископов.

Этим не удовольствовались слагатели басен. Еще до 1830 года ходил между старообрядцами слух, передаваемый, впрочем, за великую тайну, о благочестивом Персидском царстве. Колычев говорил только про «стрельцов», будто бы живущих в Персии; какой-то досужий язык прибавил, что там, у этих «стрельцов», у сей «благочестивой Христовой рати небреемой», пребывают не только истинные, старой веры епископы, бояре и вои, но сам царь древлеблагочестивый, прямой потомок царя Михаила Феодоровича Романова. Вот отрывок из письма, отправленного из Стародубья в Керженец в июле 1830 г.:

«Еще же поведаю вам, матушка, как Христос хранит непорочную невесту свою, святую церковь, по неложному своему обещанию, что пребудет с нами на земле до скончания века. Истинные свидетели от наших христиан под клятвою уверяют, что в Персидской земле много обретается наших древлеблагочестивых христиан, бежавших из России от огнепального гонения Никона патриарха. Иде же святый мученик Иаков, за Христа пострадавый (зри о сем в «Прологе» 27-го ноября), тамо ныне благочестие сияет, яко светило. Не точию священ-

наго чина иноков исполнена страна та, но и епископы древлеблагочестивые в ней есть, имеют даже царя своего, благовернаго и христолюбиваго. Егда Никон патриарх возвея на церковь всемрачную бурю и ересей море великое и пространное на Российское царство испусти, царь же Алексий Михайлович и весь синклит и вся вои вослед онаго отца ересем пошли, тогда убо старейший царевич, царя Алексия Михайловича сынок, не восхотел отступити от истинно-древней православной веры и крепко утвердися в староцерковном благочестии. И воздвиже на него царь гнев свой, и томлен бысть царевич во единой от царских палат, яко в темнице, обаче ни поколебати ни к своим волем преклонити не возмогоша. И бежа тот старейший царевич, с благочестивыми стрельцами и с казаками, за море, в Персидския страны и приян бысть персидским царем набожно (?), испроси у него земли ради населения с теми стрельцами и казаками... И устроил тамо благоверное царство и приян от антиохийскаго патриарха, благочестива суща, митрополита и епископов, священный же и иноческий чин и доживе до старости, устрояя царство, честне живот свой сконча, на царство же Персидское благослови сына своего старейшаго. И до дней наших царский благочестивый корень тамо не изсяче. Аще и не пространно царство, обаче по Спасову словеси: «не бойся, малое стадо», благочестием сияюще, яко до Никона патриарха вся Россия сияла, то малое царство пребывает десницею господнею прикровенно. И выходу оттуда благочестивым христианом в наши места нет, приходящих же туда наших христиан с великою радостию приемлют. Тако сияет сокровенная божия церковь, чистая и непорочная невеста Христова, и такое божием милосердием соблюдается царство то благочестивое по писанию, яко имать церковь быти до скончания века и врата адовы не одолеют. Истинно извещаю вам, матушка пречестная инокиня Екатерина, что некие от наших христиан ходили в Еросалим (Иерусалим) поклонитися живоносному гробу господню и святым местам спасительных страстей Христовых и доходили до того места, и в том без сумнения под клятвою утверждают» [1].

[1] Письмо от 13-го июля 1830 г., подписанное *г. и. Е.*, то есть «грешная инокиня Е.» (вероятно, ездившая за сборами), к игуменье Екатерине, бывшей в Комаровском ските, Семеновского уезда, Нижегородской губернии.

Таким образом память о самозванце-царевиче Алексее Алексеевиче, бывшем у Стеньки Разина (ходившего и в Персию), воскресла в среде старообрядцев в начале тридцатых годов нашего столетия. Пущенная в ход, вероятно, вследствие баснословных сказаний Колычева, сказка о Персидском царстве и о царе из дома Романовых поддерживалась отчасти и солдатами из старообрядцев, воротившимися из персидского похода 1826 года. Вследствие известной склонности наших солдат, побывавших в дальних походах, рассказывать сельщине-деревенщине разные диковинки с обильным украшением красным словцом, басня о раскольничьем царстве в Персии разошлась по разным местностям [1]. В своем месте мы расскажем, как искатели архиерейства устремились в персидские пределы, претерпевая страшные лишения в пустынных местах Малой Азии, и гибли там от болезней, тщетно разыскивая благочестивое царство. Сколько сил по пустякам растрачено было на эти искания! При иной обстановке, при ином образовании, люди, погибшие от болезней в пустынях, могли бы стать наряду с самоотверженными путешественниками из Западной Европы, проникавшими в неизведанную глубину Африки и во внутренность австралийского материка. Нельзя не сочувствовать энергии и самоотвержению русских людей, пускавшихся в многотрудные дальние странствия, но нельзя и не сожалеть, что их силы потрачены были лишь на разыскание небывалых архиереев и баснословного царя.

Во время Рогожского собора, бывшего в начале 1832 года, когда зашла речь о людях, способных искать по иноземным государствам епископов «древляго благоче-

---

[1] Замечательно, что изданная в 1831 году (то есть во время распространения толков о мнимом персидском царе из дома Романовых) книжка г. Берха: «Царствование царя Алексея Михайловича», в которой едва ли не впервые в русской печати говорилось о самозванцах-царевичах Алексее и Симеоне Алексеевичах (1—261 и 279), разошлась в значительном числе экземпляров между старообрядцами. В любом ските или монастыре старообрядском можно было найти эту книгу. У Авфония Кочуева было несколько экземпляров ее. До тридцатых годов нынешнего столетия, сколько нам известно, раскольники не толковали о Персидском царстве. По крайней мере не сохранилось о том ни малейших намеков ни в известных нам раскольничьих рукописях ни в обозренных нами правительственных архивах.

стия», лаврентьевский игумен, как мы уже сказали в своем месте, заявил, что у него в монастыре есть такие люди, не по одному разу бывшие за границей, люди смелые, ловкие и готовые на все. Вероятно, разумел он Колычева, жившего в то время еще в Лаврентьевской обители, хотя по преклонным его летам (под семьдесят лет) едва ли можно было рассчитывать на самоличные его странствия. А может быть, увлеченные рассказами его, некоторые из лаврентьевской братии в это время и сходили уже за границу, и их-то разумел лаврентьевский игумен в предложении, сделанном на Рогожском соборе.

В Лаврентьеву обитель, как сказано в предыдущей главе, должен был заехать, по поручению петербургских коноводов поповщины, Громовых, пробиравшийся из столицы назад в свой Серковский монастырь игумен Геронтий. Приехав в Лаврентьев осенью 1832 г., он пробыл там несколько месяцев, с осторожностью исполняя данное ему в Петербурге поручение. Присмотревшись к монастырским порядкам, заметил он, что по столь важному делу нечего ему и входить в сношения с игуменом Михаилом, человеком старым и озабоченным мелочами обыденной жизни монастыря: посылкой за сборами, закупкой припасов, кормленьем братии и исправлением обычных богослужений. Осторожно повел Геронтий речь с Аркадием. Аркадий уже знал, что возникшая на Рогожском соборе затея об учреждении заграничной старообрядской иерархии всеми оставлена, что Рахманов уехал из Петербурга ни с чем, и что в Москве никто и не думает более об осуществлении кочуевского предположения. Как только Геронтий завел с ним об этом деле речь, он отнесся к нему даже с негодованием, говоря, что такие затеи, вместо пользы старообрядству, принесут ему одну пагубу. «Если и теперь,— говорил Аркадий Геронтию,— стеснения старообрядства в России с каждым месяцем усиливаются, что̀ будет, если правительство узнает об этих замыслах? Если бы даже удалось нам устроить заграничную иерархию, какие невзгоды постигли бы тогда старообрядцев в России! Кроме того,— продолжал он, и слова его оправдались на деле,— прием епископа к старообрядцам будет «новшеством», ибо со дней Павла Коломенскаго, в продолжение ста семидесяти лет, не бывало у нас епископа; это «новшество» немину-

емо произведет раздор и разделение в старообрядстве». Люди, хорошо и близко знающие Аркадия Шапошникова, уверяют, что он был против старообрядской иерархии даже и тогда, как она уже основалась; что он до тех пор не примирился с нею, пока сам не попал в архиереи. Даже и во дни своего архиерейства, еще немного лет тому назад, поспорив на письмах с Кириллом белокриницким, Аркадий писал к нему: «Да что́ мы с тобой за архиереи?», явно высказывая, что не верит в законность принятого сана.

Осторожный и сдержанный Геронтий не пускался более в рассуждения с Аркадием об учреждении заграничной иерархии. Через несколько времени завел он с ним другую беседу, о переселении кого-нибудь из лаврентьевцев за границу, в знакомую ему Белую-Криницу, где бы, по петербургскому громовскому проекту, образовать братство из людей хороших, начитанных и степенных. Аркадий был и против этого. Завел наконец Геронтий речь об отправлении в восточные страны ходоков для отыскания древлеблагочестивых епископов не ради приглашения их в Россию, не для того, чтобы они поставили русским старообрядцам епископа, но единственно для удостоверения, справедливы ли распространившиеся в последнее время о них слухи. И тут не встретил сочувствия Аркадия. Вероятно, убедясь, что Аркадий не только не будет пособником затеянному в Петербурге делу, но еще, пожалуй, станет ему противодействовать, Геронтий не входил более с ним в разговоры о том, за чем был послан. Беседовали Аркадий с Геронтием о хозяйственных делах; тут они сошлись: и тот и другой были отличные домостроители. Они расстались добрыми приятелями.

Живя немалое время в Лаврентьеве, Геронтий успел узнать тамошних иноков. С лучшими из них была у него ведена речь об искании архиерейства и о том, как бы завести в заграничной Белой-Кринице благоустроенную обитель с иноками хорошей жизни, преданными старообрядству, начитанными и энергическими. Такие слова Геронтия пришлись им по сердцу. Некоторые из них заявили даже желание тотчас же двинуться в путь — искать архиерея. Иноки Аркадий Лысый, Ираклий Сорокин и другие решились идти в неведомые страны. Всего охотников странствовать набралось до двенадцати

человек. Не говоря ни слова игумену Аркадию о своих намерениях, один за другим выбрались они из Лаврентьева, как бы за сбором подаяний, и перешли за молдавскую границу, где и собрались в тамошнем Мануиловском старообрядском монастыре. В 1833 году было совершено ими первое хождение на Восток для поисков древлеблагочестивых епископов.

Одновременно с лаврентьевскими, даже, быть может, несколько раньше, старообрядцы и из других мест отправились на Восток искать тех блаженных мест, где «древлее благочестие» сияет. В 1833 году вообще стало заметно небывалое дотоле в среде старообрядческой явление: до того времени они совершенно равнодушно относились не только к святыням киевским, но и к святым местам Палестины. «Хоть и святы места, да в руках никониан,— говорили их начетчики,— и потому благодати там нет, одна мерзость запустения, Даниилом пророком предвозвещенная; не для чего ходить туда». И старообрядцы слушались начетчиков, ходили только к своим святым местам на поклонение: в леса пермские, к тамошнему их святому Иову, к угодникам керженским, на Иргиз и пр. Во Ржеве оглашены были части мощей святого Саввы, именно глава его, взятая будто бы раскольниками из московского Андроньева монастыря во время французского разгрома. И сюда потихоньку ходили молиться. Около Москвы, в Волоколамском уезде, между деревнями Лобановой и Хованью, в лесу, погребены более ста лет тому назад старцы Филарет и Феодорит. Сюда на поклонение им собиралось множество народа не только окрестного, но из Москвы, из Ржева, из Гжатска, преимущественно же в праздники Вознесения и Троицы. Так много стало ходить сюда поклонников, что в эти дни на Феодоритовой могиле устраивались даже сельские ярмарки. Кроме того, по разным местам оглашены были древние иконы чудотворными, например, Казанской Богородицы в ските Шарпанском, Николая Чудотворца в Глафириной обители Комаровского скита [1], Казанской Богородицы в Макарьевском монастыре, что́ в гомельском имении, и много других по разным местам. Сюда ходили набожные старообрядцы, минуя древние святыни, как находящиеся в храмах и обителях право-

[1] Оба в Семеновском уезде.

славных. С 1833 года старообрядцы поповщинского согласия, и только одного поповщинского, стали в значительном количестве ходить на поклонение в Киев, откуда пробирались в свои монастыри. Стали ходить и в Иерусалим. В Константинополе и в Палестине чаще и чаще стали являться не виданные там дотоле кафтыри и камилавки старообрядских иноков. Появление там старообрядцев замечено было и нашими дипломатическими агентами; они сообщали о том для сведения правительству. Видели в этом начало сближения раскольников с православною церковью; никто и не догадывался, что странствователи-старообрядцы стремятся на Восток совсем с иною целью — отыскать вожделенные святые места, своих единоверцев и небывалых своих архиереев.

С 1833 года между старообрядцами распространились так называемые «Иерусалимския письма». Нам известны два такие письма, но их было пущено в обращение несравненно больше. В Саратовской губернии ходило по рукам «Сказание некоего христолюбца о благочестии во Египте». Автор не назвал, разумеется, своего имени, но полагать можно, что он был из иргизских монахов. Вот оно:

«Лета 7341 (то есть 1833),— говорит он,— на праздник святыя Пасхи были мы с товарищем во святом граде Ерусалиме и у гроба Господня, зрели како вси веры еретическия на едином месте молятся, отслужат свою службу проклятии армене, на их место пойдут проклятие латины, потом сирийцы, потом же кофты (копты), и арабы, все в шапках и чуть не голы, пляшут и беснуются, тут же и греческие служат. Поистине, смешение языков, каково бысть по потопе у столпа Вавилонскаго. Искахом благочестия не обретохом ни во Ерусалиме, ни в Вифлееме, ни на реце Иордане — всюду пестро и развращенно; истиннаго же пения и достойныя службы ко Господу нигде нет. Молятся некаково нелепо, и козлогласуют, и беснуются, и в органы играют на месте святе, в запустении сущем. И быв в Ерусалиме, уведахом яко древлее благочестие и святая непорочная вера Христова неблазненно соблюдается на острове Кипре, иде же православный благочестивый архиепископ, со епископы и со всем освященным и мнишеским чином, непреткновенно веру соблюли и преда-

ния, святыми отцы заповеданыя, крепко хранят. И тот кипрский архиепископ ни под которым патриархом не состоит [1]; от того от самого и сохранил веру и праведное житие, не преткнувся на какую ересь или новшество. Будучи в том зело самовидцами уверены, на Фоминой неделе пошли мы во град Иоппию, чая отплыть в Кипр. Но седши в корабль греческий, привезены были не на тот святый остров, но в великий град Александрию, во Египетскую страну. Обманом взяли нас греки и обманом привезли во ину страну. Во Александрии не обретохом благочестия, ниже в Каире [2]. И уведахом во оном граде, яко в земле Фаваидской, глаголемой Емакань, благочестно Христова вера, от самих апостол насажденная и напоенная, сохраняется. По великой реце Нилу, обширностию и широтою яко *наша* Волга, плыли мы много дней и потом пеши шли с караванами египтян (зело разбойных сущих, почитай нагих нас оставили) до места Емакань. Тамо люди благочестивы: молятся в два перста и благословляют яко же и Христос, аллилуию сугубят, а третие: *слава тебе боже* возглашают: крестят в три погружения во имя отца и сына и святаго духа, а не поливательно. Монастырь, в нем же нас, странных, христолюбцы, спаси их бог, милосердно успокоили и одежду нам дали и всем довольны на обратный путь отпустили, стоит при древах и источниках и вельми красуется, будет *с наш Криволучный* [3]. Братии триста человек, а по пустыням и в колибах подвизающихся таковое же, сказывают, число. Игумен зело стар и сединами благоукрашен, милостив и держит братию строго, в послушании. Поистине, в том монастыре живут земные ангелы, небесные же человецы. И священнаго чина у них довольно — иереев и дьяконов. И сказывали нам иноки того монастыря, что в их Емаканской земле три благочестивые епископа и полное освящение. И пребыхом в том монастыре три недели,

---

[1] Кипрский архиепископ, равно как и синайский, действительно автокефальны и не зависят от патриархов. И до сих пор некоторые старообрядцы, рассчитывая на старообрядство этих архиепископов, мечтают об единении с ними, помимо вселенской православной церкви.

[2] В подлиннике: «Кагере».

[3] На Иргизе. По этому выражению и думаем, что сказание это писано кем-либо из живших на Иргизе.

уведахом и уверихомся яко церковь божия не изсяче, аще и великими бурями ересей и новшеств повсюду побораема, по неложному обетованию Христа Спаса, яко церковь святая пребудет до скончания века и врата адова не одолеют».

В другом известном нам письме, относящемся к 1834 году, находится три сказания о мнимых старообрядских епископах. Как видно, составлял его какой-то молдавский старообрядец Матвей Сидоров. Распространено оно было с Рогожского кладбища по Москве, по Московской губернии [1], а, вероятно, и по другим местам. Вот это письмо, заключающее в себе три сказания:

«Прислана сия тетрадь из Еросалима в 7342 (1833) году ноемврия в 15 день. Был некий человек, наш христианин молдавский, Матвей Сидоров, пленен бысть от сращин, и пришел в Еросалим поклониться гробу Господню. Також де обрете в Еросалиме три человека, и сказали ему, что пришли також де поклониться своему Создателю, а мы живем на Багдате реке. И сказали ему все жительство свое, и написали ему сию тетрадь. И поведа тако брат всем христианом:

Сказание первое. Свидетельствуем вам, христолюбивая наша братия, о христианех, что на Дунае реке есть нашего согласия христиане даже до Ясс. Свидетельствуем о том и к общей нашей пользе написали сие. Если поревнуете избегнуть належащаго душевного глада, то можете к нам в Еросалим от общества вашего прислать

[1] Серпуховский земский исправник в январе 1838 года донес, что экономической деревни Глазовой крестьянин Никита Федотов, раскольник, живущий в Москве, на Рогожском кладбище, еще в 1836 году, летом, прислал эти сказания в деревню Глазову крестьянину Василью Максимову, с кем — не помнит, только с раскольниками. Максимов показал сказания пришедшему в их часовню, где он, Максимов, уставщиком, помещичьему крестьянину Филиппу Васильеву Бардину, который взял тетрадку на фабрику купца Путохина и показал ее православному рабочему Аксену Федорову, а этот, списав копию, представил ее Троицкого собора протоиерею (доставившему митрополиту), а подлинник, по возвращении от Бардина, Максимов отослал обратно в Москву к Федотову с раскольниками, но с кем именно — не помнит. На очной ставке 10-го февраля 1838 года Максимов уличал Федотова, что он получил от него в 1836 г. присланную, не помнит с кем, тетрадь. Федотов от него отрекся. Смотритель Рогожского кладбища 27-го января 1838 года уведомил, что Федотов живет на Рогожском кладбище в числе псаломщиков и певцов.

два или три человека для обстоятельнаго переговора; ибо всего за скоростию отъезда не могли написать. А мы в Еросалим пришли три человека, ради поклонения гробу господню, и будем во Еросалиме жить до Пасхи. Если посланные ваши сделают успех и в сказанное время прибудут в Еросалим, где могут о всем следующем от нас узнать, если же во Еросалиме не будет нас, разузнать о нас во Свялии (?), то есть пристань корабельная, от Еросалима расстоянием верст шестьдесят. Если и тамо не случится нам с вами видеться, то да спросят остров Санторин. А ежели не застанут и в Санторине, то спрашивать во Египте; тамо есть наши христиане, имеют лавки и торгуют, и их спрашивать о Багдате реке, на которой мы имеем жилище, расстоянием пятьсот верст от Египта, и место ко всему угодно, именуемое Емакань. Нас там немалое число, 5.000 или более, имеем же три епископа и попов изобильно. И когда у вас належит душевный глад и ежели царь ваш позволит, то *мы вам отправим епископа* и священников к душевной пользе. А у нас христианская вера и святая соборная апостольская церковь яко солнце сияют, изобильно же вам к душевной пользе и телесной. Еще свидетельствуем вам, что есть христиане между землею Турскою и Перситскою при реке Куре, именуемые «стрельцы».

Второе сказание. Еще свидетельствуем о христианах. Сказание гречанина в Яссах, который гречанин прежде сего живал близ Сербской земли у Никона Черныя Горы. Живут и тамо русские люди, близ сербскаго града, званием Бай. А в тот град идти через Дунай в Болгарскую землю на Шведов; а от Шведова града на Переквет, а от Переквета на Солнок, а от Солнока на Пегит, а от Пегита на Буддин, а от Буддина на Тричин, а от Тричина на Бай; недалеко тут русские люди живут. И тому же сказанию гречанина сходно сказание Марка иконописца, и ему, Марку, сказывал во святой горе постриженник изограф, именем Иоанн, родом москвич. Подлинно де есть зовомые Филиппы[1] в Сербской земле близ Никона Черныя Горы, а от Горы расстоянием езды полтретья дня до Филиппов, и их два села большия, яко великие грады; *в тех двух селах два епископа православных и древних.*

[1] Филиппы-филипоны, липоване — так зовут старообрядцев в юго-западной России, в австрийских, турецких и румынских владениях.

Третье сказание. Сказание пленника Симеона Иванова, который был в плену за Царем-Градом на Белом[1] море, на острове Азамире (?). Сказывал оный пленник: «Были мы с хозяином турчанином на том же Белом море на острове Карабузове (?). Живут на том острове «стрельцы», двумя селами, в тех селах две церкви и попы». Где сказывали ему, пленнику, мы попов берем из другого острова, от монастыря Семнскаго, и той монастырь близ Океана, а от острова Карабузова кораблем бегу 18 дней, а от Царя-Града до острова Карабузова 18 дней кораблем бегу. А град на острове Безароем (?), греческие люди и села около русских людей: первое Чемиликиой, второе Ахазиди, а «стрельцов» греки зовут русскими. А еще свидетельствуем: при Евфрате реке есть множество христиан и монастырей. Видите, отцы и братие, где есть христиане и что̀ будем делать уведавши сие, или что̀ будем требовать? Спросить в Царе-Граде жителя цареградского, Ивана Васильевича, стрельца; живет подле Кужины, пашины Меледы».

Так называемые «Иерусалимския письма» быстро расходились по разным старообрядским местностям. Они читались, перечитывались, писались и переписывались нарасхват, с каждым днем распространяясь более и более. Распространение этих «Писем» важно в том отношении, что старообрядцы по всем захолустьям узнали из них, что за границей есть христиане «древляго благочестия». До того многие из них не знали о существовании заграничных единоверцев или имели о них самое смутное понятие. В большинстве, и притом самом значительном большинстве старообрядцев, утвердилось было даже мнение, что вне пределов России, в государствах мусульманских и латинских, не только нет, но и быть не может веры истинной. Если б «Иерусалимския письма» не были благовременно распространены, если бы посредством их старообрядцы не узнали, что и вне России может существовать и существует их «древлее благочестие», по всей вероятности, появление в австрийских пределах белокриницкой иерархии было бы встречено ими с крайним недоверием. Они бы единогласно возопили тогда, что это не что̀ иное, как ловушка в латинскую ересь, как и говорили некоторые, несмотря на торжественное

[1] Архипелаг.

на всю Россию возвещение властей белокриницких: «да не смущается сердце ваше, веруйте, яко может Бог и в чуждей благочестия стране светильник свой поставити».

Петербургские деятели по делу устроения заграничной иерархии воспользовались «Иерусалимскими письмами». На Графской бирже Громовых они переписывались во множестве экземпляров и распространялись посредством сборщиков и сборщиц, приходивших в Петербург к Королёвским за подаяниями. Авфоний Кузьмич Кочуев и Алексей Великодворский неутомимо рассылали их по разным местностям, близким и отдаленным, подготовляя таким образом народ к радушному принятию затеянного ими дела.

ПРИМЕЧАНИЯ

НА ГОРАХ

Впервые напечатан в журнале «Русский вестник» за 1875—1881 годы (1875 г. тт. 117 — май, 119 — октябрь; 1876 г. тт. 124 — август, 126 — ноябрь; 1877 г. тт. 129 — май, 130 — июль, 131 — сентябрь и октябрь; 1878 г. тт. 133 — январь, 135 — май, 136 — август, 138 — ноябрь; 1879 г. тт. 143 — сентябрь, 144 — декабрь; 1880 г. тт. 146 — март, 147 — май, 148 — август; 1881 г. тт. 151 — февраль, 152 — март).

В начале журнальной публикации роман имел подзаголовок *Рассказ. Продолжение рассказа «В лесах»*. Это было прямое указание на композиционное единство обоих романов. П. Усов в своей книге сообщил, что у Мельникова был заранее составленный план, в котором определялись основные композиционные и сюжетные контуры всего произведения в целом. Но по мере реализации плана многие его детали и подробности уточнялись или видоизменялись. Некоторые персонажи заняли более значительное место, чем предусматривалось планом. «Так,— пишет Усов,— хотя Дуня Смолокурова и Самоквасов упоминаются в плане, но в нем ни слова нет о хлыстах, столь подробно представленных в романе «На горах»... По плану Самоквасов делает предложение Дуне Смолокуровой еще при жизни ее отца, который вместе с ней отправляется в Казань, чтобы узнать о семье Самоквасова, и присутствует при разделе ее членов».

С другой стороны, многое из намеченного планом не было осуществлено. Так, например, в плане предусматривался рассказ о том, как «Манефа с Фленушкой и головщицей Марьей приезжают на Макарьевскую ярмарку, причем обе девицы попадают даже в театр». В плане предполагалось «описать артель гвоздарей, положение рабочих вроде павловских, швецов по деревням, охоту на рябчиков, мозжевеловые игрушки, опахивание при падеже ско-

та, угольщиков и смолокуров, пожар в скиту, пропившуюся раскольничью обитель Кутилину, набойщиков и красильщиков, прях-мужиков, разносчиков-вязниковцев и проч.». (П. Усов, стр. 300—302).

Даже те немногочисленные подробности плана, которые сообщает Усов, позволяют сделать вывод, что Мельников отступал от ранее намеченного по крайней мере по двум причинам. Часть материалов он не использовал, не желая, по-видимому, перегружать основного повествования. А некоторые материалы не введены в роман, вероятнее всего, по цензурным соображениям. Описание бунта рабочих на смолокуровских баржах позволяет представить, в каком духе было бы обрисовано, например, положение рабочих и мелких кустарей. Тема эта в литературе того времени была новой, и к правдивому ее освещению цензура относилась крайне настороженно. Мельников имел достаточно серьезные основания опасаться цензорского запрета. А издатель «Русского вестника» Катков читал последние части романа придирчивее самых трусливых цензоров и вычеркивал из рукописи слова и фразы, казалось бы, не содержащие в себе никакой особой крамолы. Так, в главе 19-й второй части «На горах», в рассказе о драке, учиненной «посельским старцем» Нифонтом и его «соборными» гостями, во фразе: «Все было как следует быть по монастырскому обычаю» — слова «по монастырскому» были вычеркнуты. В 3-й главе третьей части «На горах» — там, где повествовалось о делах ловкого «честного старца» игумена Израиля, который сам крал и архиереям взятки давал, была выброшена фраза: «И вот уж лет двадцать доедает, допивает и в карман кладет скудные остатки богатств князя Хабарова. Четыре архиерея сидело при нем на владычном столе, и каждому из них отец Израиль приятен и весьма любезен был». В той же главе, отвечая на «мятежные речи» возроптавшего отца казначея, игумен Израиль «рек» следующие слова: «И к слову не моги поминать о владыке, разве только прославляя святую его жизнь, ангельскую кротость, душевное смирение, неумытное правосудие и иные многие архипастырские добродетели...» В этой фразе выделенные слова, только усиливавшие саркастическую интонацию, но не изменявшие существа нарисованной картины монастырской жизни, также были выброшены. Что подобные «операции» производились по инициативе Каткова, подтверждается тем, что когда Мельников предпринял отдельное издание «На горах», ему удалось кое-что из вычеркнутого восстановить. Хотя, конечно, и в этом издании Мельников не мог восполнить всех потерь текста: необходимо иметь в виду, что оно выходило во второй половине 1881 года, когда после казни Александра II народовольцами в стране воцарилась оголтелая реакция,

и цензура свирепствовала почти так же, как в последние годы николаевского царствования. Все это дает основание предполагать, что замысел всего произведения по не зависящим от Мельникова причинам был воплощен в значительно урезанном виде.

Книга первая

(*Часть первая*)

Стр. 15. *Слыхали... про тульского кузнеца Демидова...*— Речь идет о Никите Демидовиче Антуфьеве (с 1702 года — Демидов), который по разрешению Петра I и при помощи казны построил на Урале многочисленные металлургические заводы.

Два туляка, братья Андрей да Иван Родивоновы — дети оружейника Поташова.— Дальше рассказывается о реальных исторических лицах — Андрее Родионовиче и Иване Родионовиче Баташевых, положивших во второй половине XVIII века начало металлургической промышленности в центральных губерниях России. О Баташевых идет речь и в очерке Мельникова-Печерского «Семейство Богачевых» (см. т. 1 наст. изд.).

Стр. 125. *...разукрасил кадуцеями Меркурия...*— Меркурий, в древнеримской мифологии посланец богов и покровитель торговли, изображался с кадуцеем — жезлом, увенчанным крыльями.

ОЧЕРКИ ПОПОВЩИНЫ

Впервые опубликованы в журнале «Русский вестник»: 1863, № 4, 5 и 6; 1864, № 5; 1866, № 5 и 9; 1867, № 2.

В настоящем издании «Очерки...» печатаются с некоторыми сокращениями (не включена часть авторских ссылок на архивные материалы и на старообрядческие рукописные догматические сочинения); текст дается по изданию: Полное собрание сочинений П. И. Мельникова (Андрея Печерского). Первое посмертное издание... М. О. Вольфа, т. XIII и т. XIV, СПБ., 1897[1].

В «Очерках поповщины» (как и в «Письмах о расколе») П. И. Мельников дал итог своих многолетних изучений старообрядчества — его догматики и его истории (в журнальной публикации произведение было так и озаглавлено: «Исторические очерки поповщины»).

---

[1] Тексты всех остальных произведений Мельникова-Печерского печатаются по изданию: П. И. Мельников (Андрей Печерский). Собрание сочинений в 6 томах, изд-во «Правда», М., 1963.

Здесь основные проблемы старообрядчества он осмысливает иначе, чем в пятидесятые годы. Он по-прежнему смотрит на раскол с позиций просветительского неприятия, но теперь решительно выступает против административных притеснений. В одной из последних докладных записок министру внутренних дел он писал: «Не надобно забывать, что раскол, собственно так называемый, т. е. поповщина и беспоповщина, есть порождение грубости и невежества и что он должен со временем уничтожиться, когда просвещение проникнет в низшие слои народа. Перед светом общечеловеческого образования не устоять расколу, если не будут воздвигаться на него новые преследования и новые гонения». (П. Усов, стр. 222).

М. Еремин

НА ВКЛАДКАХ:

1. *И. С. Глазунов.* На горах. 1963.
2. *И. С. Глазунов.* На горах. 1963.
3. *И. С. Глазунов.* На горах. 1963.
4. *И. С. Глазунов.* На горах. 1963.
5. *М. В. Нестеров.* Великий постриг. 1897.
6. *М. В. Нестеров.* Девушка-нижегородка. 1887.
7. *М. В. Нестеров.* Пустынник. 1888—1889.
8. *В. И. Суриков. А. М. Васнецов.* Этюд к картине «Юность преподобного Сергия». 1890.

СОДЕРЖАНИЕ

П. И. МЕЛЬНИКОВ
(Андрей ПЕЧЕРСКИЙ)

Собрание сочинений
в восьми томах

Том VII

Оформление художника
Б. В. Столярова.

Технический редактор
А. И. Шагарина.

Сдано в набор 27/I 1976 г. Подписано к печати 20/VII 1976г. Бумага типогр. № 1. Формат 84×108[1]/32. Объем 29,82 усл. печ. л. 32,69 уч.-изд. л. Тираж 375 000 экз. Изд. № 1789. Заказ № 1738. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография газеты «Правда» имени В. И. Ленина. 125865, Москва, А-47, ГСП, ул. «Правды», 24.

Индекс 70683